

ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ

БЕЗ НАРКОЗА



**ГРИГОРИЙ
ГЛАЗОВ**

БЕЗ НАРКОЗА



**ВЫНУЖДЕННЫЙ
ДЕТЕКТИВ**



ПОВЕСТИ

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985**

Художник *Александр ЛАВРЕНТЬЕВ*

Глазов Г. С.

**Г 52 Без наркоза. Вынужденный детектив: Повести.—
М.: Советский писатель, 1985.— 496 с.**

Действие повести Г. Глазова «Вынужденный детектив» происходит в польском городке во времена фашистской оккупации и в наши дни. Маленькая группа интеллигентов, пытаясь спасти от фашистов чертежи, схемы и планы архитектурных памятников, уничтоженных врагами, поплатились жизнью за свой смелый шаг. Новая повесть «Без наркоза» посвящена советским медикам, писатель поднимает в ней научные и морально-этические проблемы.

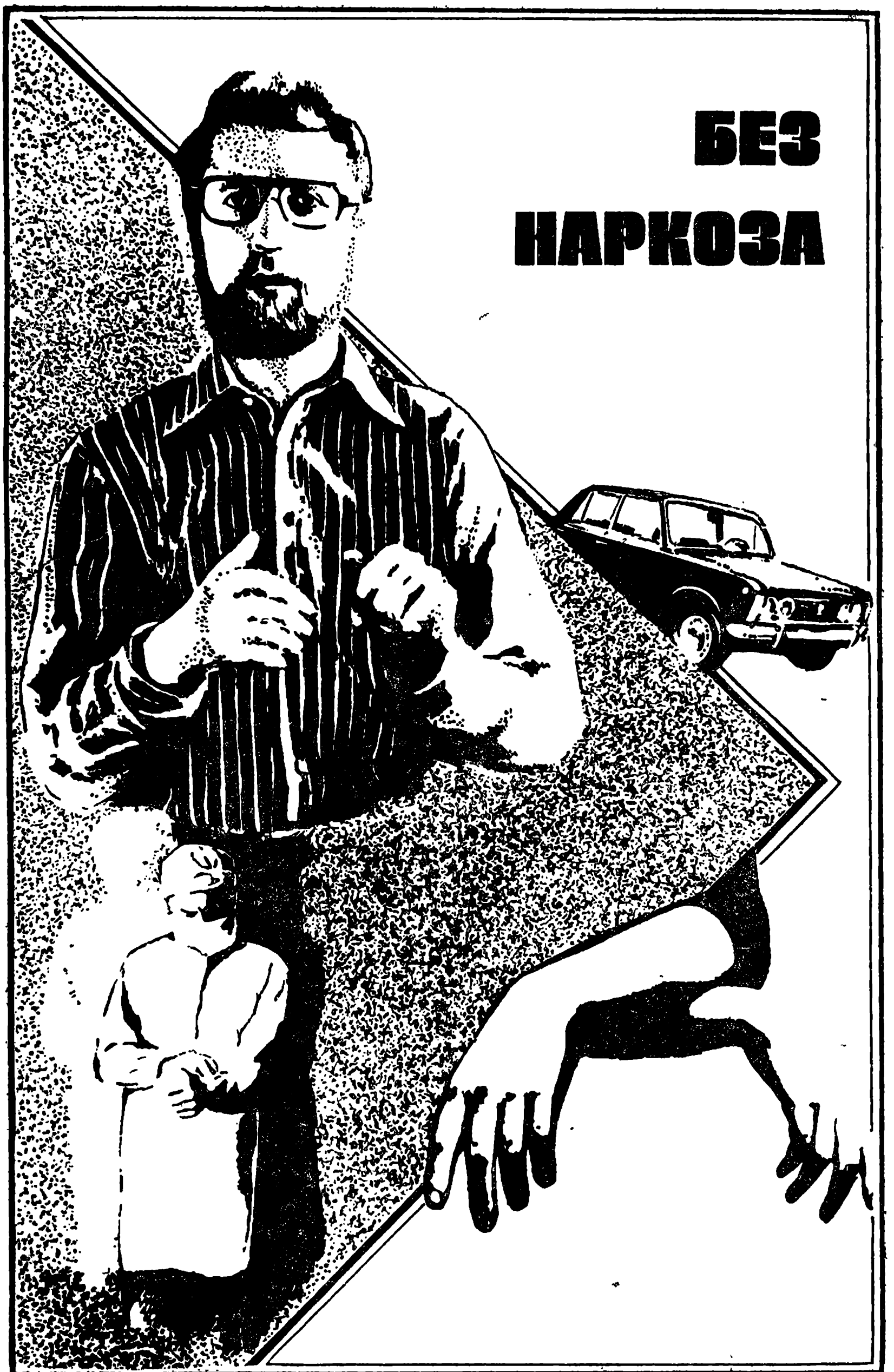
4702010200—253

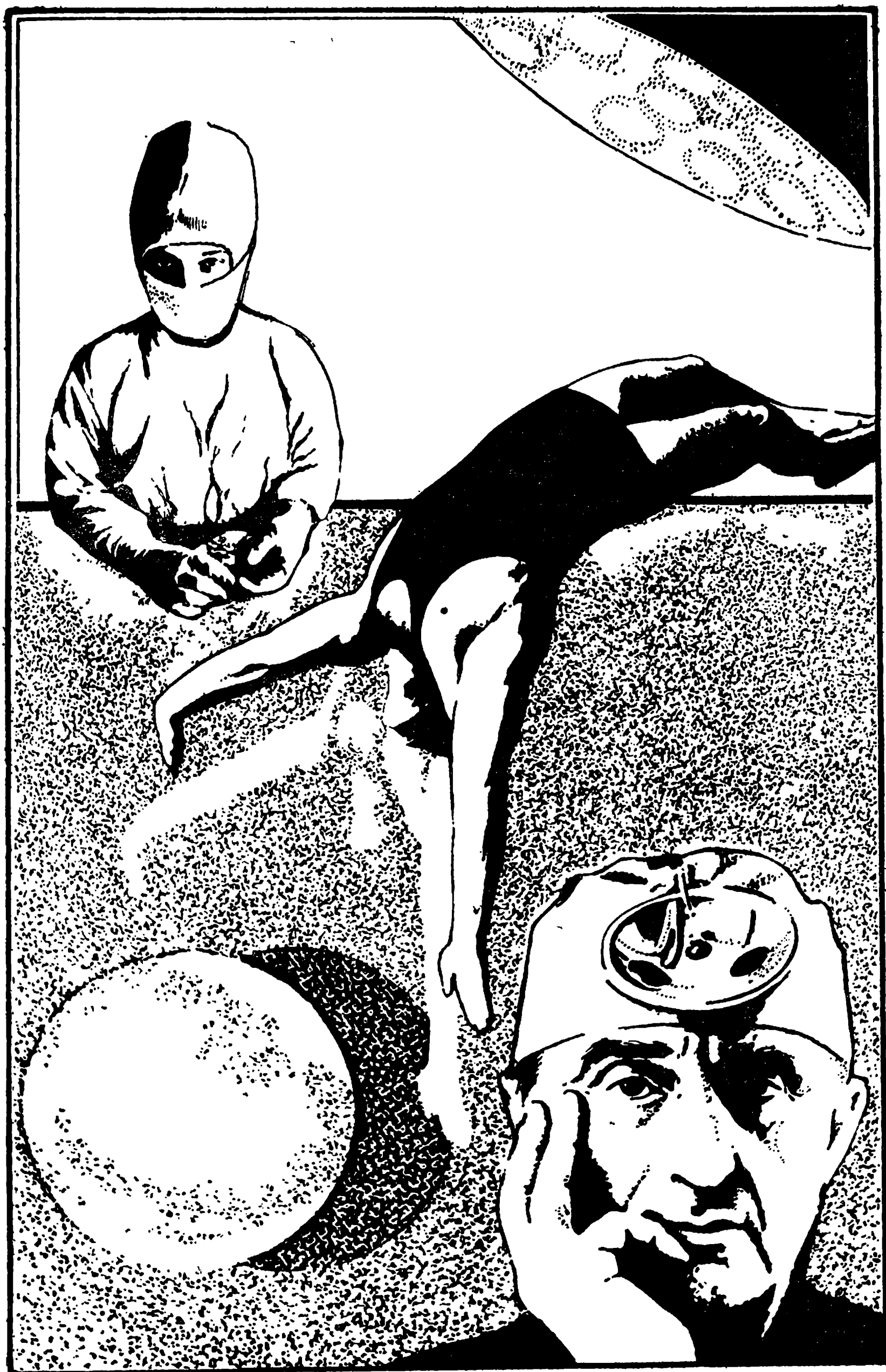
**Г ————— 38—85
083(02)—85**

ББК 84.Р7

© Издательство «Советский писатель», 1985 г.

БЕЗ НАРКОЗА





В середине октября вдруг ударил циклон, дохнуло ранней зимой, ветер гнал мокрый снег. Желто-зеленая, не догоревшая за лето трава на газонах покрылась белыми пятнами. По радио передавали: «Снег с дождем, налипание на проводах, на дорогах туман, видимость двести метров».

Серые дома, низкое волглое небо. Сырая белая дымка заползала с полей в узкие улицы, влажно оседала на асфальте и брусчатке.

Аэропорт был закрыт. Застрявшие в его остекленном нутре пассажиры, кто с багажом, а кто уже налегке, уныло сидели в креслах или теснились в очереди к стойке и заискивающе выясняли, когда же объявят посадку.

Алексей Каймаков не любил и не признавал неожиданностей, отнимавших и путавших распланированное им время. Поэтому еще дома, за два часа до вылета, выяснил в справочной, что его рейс задерживается до тринадцати. В аэропорт приехал с сорокаминутным запасом. Машину поставил на стоянке, снял «дворники», отключил аккумулятор тумблером, спрятанным под капотом. Прежде чем отворить стеклянную дверь в зал ожидания, еще раз оглянулся на машину. Он оставлял ее на пятницу, субботу и воскресенье — улетал к брату на свадьбу в Днепропетровск, не боясь, что угонят; снять же уже ничего нельзя — колпаки оставил в гараже, — разве что лобовое стекло или колеса. Но на стоянке всегда полно машин; хорошо освещенная, она располагалась у людной площади, где постоянно прогуливается милицкий патруль. Улетая куда-нибудь на два-три дня, всегда оставлял здесь, удобно: вернувшись, не надо торчать в очереди на такси или ехать домой двумя троллейбусами. Многие милиционеры его уже знали, дружелюбно кивали на его приветствие — небрежный взмах рукой...

В тринадцать объявления о посадке не последовало. Скользнув взглядом по толпе, осаждавшей справочную, Каймаков поднялся, подхватил «дипломат» и праздным шагом

направился к двери с табличкой «Дежурный начальник аэропорта».

В маленьком кабинете всю стену занимал фирменный календарь — красивая стюардесса улыбалась на фоне Кремлевской стены, пейзажей Крыма и мечетей Самарканда. За столом листал бумаги пожилой аэрофлотский служака в залоснившемся кителе с потускневшими шевронами и орденскими планками в четыре этажа. Седая крупная голова, сильная мускулистая шея, кожа в трещинках, смуглая, исхлестанная заполярными ветрами, иссушенная жаром степных аэродромов Украины.

— Слушаю вас. — Дежурный оторвался от бумаг.

«Старый, отлетавший свое ворон... Пил или не спал всю ночь. Печень, наверное, с три моих кулака», — гадал Каймаков по его воспаленным, в мазках желтизны глазам. Но сказал весело:

— Принимайте «Лив-52».

— Вы по какому вопросу? — голос был усталый, шершавый.

— Я врач, «Лив-52» — таблетки, индийская желчегонная травка, очень полезно. — Каймаков сел, нога на ногу, и все еще улыбался.

— Улетаете или встречаете? — За долгие годы дежурный привык к изобретательным предисловиям.

— В Днепропетровск надо, на срочную операцию, — соврал Каймаков.

— Не раньше шестнадцати часов. Туман, — он встал, — плохо.

— Хуже не бывает, — смяв улыбку, поднялся и Каймаков.

— Бывает, — махнул сильной жилистой рукой дежурный. — Простите, занят, — взял фуражку...

Домой ехать было бессмысленно, да и рискованно. Он поднялся на второй этаж, к ресторану, понимая, что проканикулится здесь до самого взлета. Но в ресторане был перерыв. Сквозь дверное стекло видел, как две молоденькие шустрые официантки с белыми наколками-кокошниками на пышных, соломенного цвета шиньонах расставляли фужеры; уборщица, намотав на швабру мокрую тряпку, протирала пол, а в закутке возле шторы, прикрывавшей вход в раздаточную, за двумя сдвинутыми служебными столами отдыхали другие официантки, лениво болтали.

Каймаков разглядывал их, прикидывая, которой начать улыбаться. Одна грузная, с двойным подбородком, лет сорока, с высоченной грудью, покрашенная в два слоя, лицо

утомленно-брезгливое, на пухлых пальцах, словно перевязанных на суставах ниточками, облупившийся багровый лак, дешевый золотой перстень. «Неудачница, раннее замужество, комнатенка в коммуналке, муж-алкаш, выгнала, взрослые сын или дочь, не ладит, изредка спит с давним, состарившимся хахалем, работу свою ненавидит, посетителей ресторана презирает», — дешифровывал Каймаков. Вторая такого же возраста, спокойное, домашнее лицо, ногти без лака, на пальце тоненькая «обручалка». «Эта, наверное, живет в пригороде, есть свой домик, огород, ездит сюда электричкой, муж тоже работает в городе — на стройке или на заводе, — от земли оторвались, но и к городу равнодушны, трудяги, помогают сыну и невестке (дочери и зятю), которые живут уже в городе...»

— Так и будем стоять? — услышал Каймаков за спиной.

В черной овчине — укороченном тулупе, — в ондатровой шапке стоял мужчина лет тридцати. Лицо бледное, узкое, по щекам вниз две длинные морщины, а серые глаза веселые, озорные.

— Сейчас изобретем, — подмигнул Каймаков. — Я — врач, вы — послеоперационный больной. Сопровождаю. Улыбку — в карман, больше мўки в глазах. — Каймаков решительно постучал в дверь.

На стук оглянулась одна из молоденьких, глаза незлые, наивно тоненькие дужки выщипанных бровей.

«Эта особь нам и нужна, — определил Каймаков. — Таковую на любых танцульках выдернешь, танцует со скоростью тридцать километров в час, — посмотрел он на ее ноги. — Года двадцать три. Разница у нас в шесть лет — в самый раз. Это первое, что она вычислит, ну, ошибется на год-два в ту или иную сторону». И, изобразив деловитость, поманил пальцем.

Приоткрыв дверь, она сказала:

— Перерыв, товарищи. Нам ведь тоже отдохнуть и прибраться надо.

— Все правильно. Но знаете, в чем сила общественного питания? Оно позволяет регулярно питаться. А для послеоперационного больного, которого я, как врач, сопровождаю, — он кивнул за спину, — регулярное питание — залог здоровья. А мы уже сидим восемь часов. Ведь что сейчас происходит с его гемоглобином? — Каймаков покачал головой. — А мне человека надо довести живым.

— Ладно уж, заходите, покормлю. — Она оглянулась на товарок: знала — взропщут. — Вот туда, в уголок, чтоб незаметно.

— Разумеется,— строго сказал Каймаков.— Я тоже не люблю завистников... Добрый день, девушки! — приветствовал он официанток.— Не взыщите, потревожили вас. Обстоятельства.— Те проводили его и спутника гадающими взглядами.— Значит так,— сказал он, когда уселись.— Ваше имя, спасительница?

— Зоя.— В руках она уже держала блокнотик, вертела в пальцах карандаш.

— Мы будем есть, Зоенька, самое вкусное. Начнем с закуски. Маслинки есть? Хорошо. Язычок?.. Заливной? Не страшно, несите. А рыбка?

— Осетрина, но пахнет рыбьим жиром.

— Ничего, это все же лучше, чем просто пить рыбий жир. А пить мы будем вот что: я двести граммов водочки, а больному «эссентуки», желательного номера семнадцатый, в крайнем случае боржом.

— У нас только «Миргородская».

— Так уж и быть... Что на первое?

— Солянка сборная, куриный бульон с пирожками.

— Сборное ничего не люблю. Бульончик годится... Натуральное мясо?

— Лангет с жареным картофелем.

— Сойдет.

— А на третье? Компот, чай, кофе?

— Кофе, Зоенька. Гипотония,— указал он на своего спутника.— Ему в самый раз...

Она ушла.

— Все Зои — прелесть,— констатировал Каймаков.— Давайте знакомиться: я — Алексей Каймаков.

— Игорь Трушевич. Вы в самом деле врач?

— Абсолютно.

— А я думал, соврали девчонке.

— Полуправда в подобных обстоятельствах — самое надежное... Знаете, я вас все-таки видел,— сказал Каймаков.— И, по-моему, в мединституте. Не заглядывали в приемную начальника научно-исследовательского сектора?

— Да, был там. Но вас не заметил.

— В приемных мы сосредоточены на секретаршах.

Официантка принесла графин с водкой, воду и закуску.

— Зоенька, а книгу жалоб и предложений? — удивился Каймаков.

— Зачем? На кого?

— На судьбу. Очаровали вы нас, а нам улетать. И предложение... Впрочем, предложение могу на ушко.

Она кокетливо тронула высокий шиньон, спросила:

— А вы по какой специальности врач?

— Хирург. Если аппендицит — прошу ко мне. Животик у вас, наверное, сплошные мышцы, жирком еще не обросли, через недельку сможете галопировать на танцульках. Шов сделаю ювелирный, муж не отыщет.

— Ну вас, — игриво смутилась, отошла.

— Но меня вы лишили водки, — засмеялся Трушевич. — Хотя мне не очень показано, холецистит.

— Вот и не дразните... Ладно, налью подпольно в фужер, вроде минералки... В командировку?

— Возвращаюсь домой, в Новокамск...

Каймаков ел с аппетитом, по-жонглерски орудовал ножом и вилкой одновременно, подмечал, что Трушевич, глотнув водки, поморщился, жевал вяло. За разговором графин осилили, незаметно перешли на «ты», взяли еще сто пятьдесят. По костистому бледному лицу Трушевича пополз румянец.

— ...И кем ты там, в этом НИИ? — спросил Каймаков.

— Младшим научным в секторе пластмасс.

— А при чем здесь наш институт?

— Мы сварганили сверхэластичную пластмассу для автопромышленности. С институтом хоздоговор имеем: необходимо заключение ваших морфологов. На его основании потом дается рекомендация для промышленного изготовления.

— А приезжал зачем?

— Подтолкнуть. Работа ведется поэтапно.

— Какая кафедра?

— Патанатомии, доцент Рацер.

— Ада Львовна?!

— Знаком?

— Пожалуй, лучший в городе патогистолог.

— Это чувствуется!

— Придирчива?

— Скажем, с запасом гарантий хочет... Слушай, Леша, — покусывал он спичку. — Есть одна идея.

— Сейчас родилась? — Каймаков щелкнул пальцем по графину.

— Я серьезно. Мы у себя насчет этого уже толковали. Вы шьете раны кетгутом или какой там еще нитью. Так? Какое к этому материалу идеальное требование? Пластмасса наша сверхэластична, сечение может быть любое, с карандаш или с волос. Это уже забота технологов. Промышленное применение она найдет широкое, уверен...

— В том случае, если Рацер против пункта «токсичность» поставит прочерк.

— Кое-какие прочерки уже есть... Почему бы медикам не попробовать, хирургам? Эластичность имеется, даже сверхэластичность. Отсутствие пористости? Налицо. Значит, минимальная угроза инфицирования.

— Смотрю, набрался ты кое-чего у нас. Но есть еще и такой пустячок, как биологически идеальная способность восприниматься организмом. Слышал про такое?

— Попробуй у себя, а? А как приеду, вышлю тебе посылочку с нитью разного сечения.

— Шустряк ты,— засмеялся Каймаков.

— А что? Поговори с Адой Львовной. Если возражать не будет, попробуй. Пройдет нормально — официально пробьём клинические испытания у вас. Дело престижное.

«А что? — вдруг подумал Каймаков, глядя на Трушевича, ноготком мизинца почесывая уголок рта.— Все не так смешно и несбыточно».

— Вижу, спешите с этим,— сказал он.

— А как же! — прихлебывал остывший кофе Трушевич.

— Это спешит твое медицинское невежество. Сколько Рацер еще работать с вашей пластмассой?

— Года три. В договоре срок четыре года.

— Обещать ничего не буду. Повалять в мозгах надо твое предложение и кое с кем посоветоваться,— серьезно сказал Каймаков и подумал: «Шефиню бы зацепить на этот крючок, она насчет престижа... За версту чует, башка светлая».— Присылай посылку, давай.

— Вот это разговор. В долгу не останусь. Машина есть?

— «Жигуленок».

— Через неделю буду на ВАЗе. В марте опять к вам заявлюсь. Оснастим твоего «Жигуля» итальянским панорамным зеркальцем и шведскими инерционными ремнями. Есть возражения?

— Нет возражений...

Только сейчас Каймаков заметил, что все официантки сидят уже склонившись над раскрытыми книгами и тетрадями. А в торце стола — молодая женщина в синем шерстяном платье. Пальто ее коричневой подкладкой кверху переброшено через спинку пустого кресла, и Каймакову виден потертый изнутри мех воротника — кролик, крашенный под норку.

За окном на ближней полосе неподвижно ревел самолетный двигатель, в открытую форточку втягивало керосиновую вонь.

Женщина, сидевшая в торце, поочередно спрашивала у официанток фамилию, имя, отчество, образование. Каймаков слышал ответы: «десять классов», «десять классов», «семь и курсы в комбинате бытобслуживания», «железнодорожное училище», «пять классов». Училище оказалось у крашеной, с двойным подбородком и высоченной грудью, а пять классов — у той, с крестьянским домашним лицом. Потом, женщина в синем платье сказала:

— Я буду заниматься с вами английским языком. Час в неделю.

— Нам-то он на что? — презрительно пожала плечами крашеная.

— А почему нет?! — возразила ей Зоя.

Остальные выжидательно молчали.

— Нужен он вам или нет, меня прислали сюда, — спокойно ответила преподавательница.

Она диктовала алфавит, произносила первые слова и фразы: «Здравствуйте», «Добро пожаловать», «Доброе утро», «Добрый вечер». Официантки хором и отдельно повторяли, мучаясь, зачем-то выпячивали губы, с излишней старательностью шевелили языком. Зоя и ее молоденькая подружка хихикали, та, с лицом крестьянки, с интересом переспрашивала, крашеная же от натуги сунула брови...

Что-то унижительное было в неловкости, в неумении этих женщин, как-то не вязался их усталый вид с бодрыми «Хау ду ю ду!» и «Велкам!»...

Нелепой казалась сама ситуация, и жалкими были женщины. Поначалу это смешило Каймакова, но вскоре жестокое превосходство наблюдателя, снисходительно понимающего, что для него это эпизод, промелькнет и забудется в делах более важных и близких, едва он выйдет из ресторана, внезапно угасло. Память подтолкнула к чему-то похожему, уже бывшему, личному, болезненно лежавшему, как неотомщенная обида, в потаенном месте души. Ему не хотелось пробираться туда: срабатывала защитная реакция — боязнь испортить себе настроение. Но память, уже независимо от этого нежелания, обратила Каймакова в одиннадцатилетнего мальчика...

...Школьный двор, глубокая осень, холодно, ледящий резкий ветер сдирает с деревьев последнюю желтизну. Листья кружатся в пыльном смерче, как рыжая собака, норовящая поймать свой хвост. Вокруг волейбольной площадки маршируют по залякшей земле ученики восьмого класса. Веселые верзилы. Несмотря на студеную погоду, им забавно и радост-

но, что их сняли с пятого и шестого уроков: идет репетиция перед конкурсом строевой песни. Маршируя, они нарочито нестройно горланят ее. А рядом, едва переставляя ноги, уставшая, вдвинув посиневшие пальцы в рукава легкого старенького пальто, с трудом поспевает их пожилая классная руководительница. Это — мать Алеши Каймакова. Глаза ее слезятся, она поворачивается спиной к ветру, полы пальто разлетаются. Маленький Алеша, подняв воротник куртки, стоит у столба, к которому привязана сетка. Он ждет мать, чтоб вместе идти домой. Остается еще минут пятнадцать. Он видит, как заоченела, утомлена мать, но его эгоистическое детское любопытство привлечено к забавам проказников: один заплетает ногу идущего впереди, другой истошно визгливо затянет высокую ноту и сорвется на ней, третий вдруг резко остановится, и весь строй сбивается в кучу. Всем весело. И Алеше тоже. Рядом с ним в синем синтетическом тренировочном костюме, в лыжной вязаной шапочке стоит, скрестив руки, здоровенный физрук: ответственный за этот конкурс, он наблюдает, иногда подает команды: «Шире шаг! Левой, левой, раз-два-три! Раз-два-три-четыре! Громче!» И тут ветер срывает с головы матери шляпу, треплет серые, поседевшие волосы, мать пытается удержать их ладонями, а фиолетовый велюровый колобок катится по двору. Строй рассыпается, с хохотом бегут за шляпкой. И опять всем весело. И Алеше тоже. Весело и неловко за мать, и немножко жаль ее. Робко улыбнувшись, он поднимает голову, видит, как ухмылка превосходства наблюдателя растянула полнозубый рот физрука. Наконец звонок... Домой Алеша едет с матерью в трамвае. Потом ровный стук костылей: отец идет открывать им. Он инвалид войны первой группы, дважды ампутировали: сперва ступню, затем по колено; культя постоянно перевязана бинтом — не заживает; еще у отца нет одного легкого... Сняв в прихожей туфли, мать в чулках идет на кухню, освобожденно вздыхая, садится на табурет. Ноги у нее толстые, отекающие, и она долго растирает их, сволакивает чулки, влезает в разношенные, без задников, суконные шлепанцы и идет к отцу. Алеша слышит их разговор: «Устала?» — «Ноги». — «Какой идиот придумал этот конкурс? Если что, от них не это умение потребуется. В атаку строем не ходят!.. И когда жгут танки, строевые песни не горланят». — «Успокойся. Не школой придумано, не школе отменять». — «Ненавижу бессмысленную трату человеческих усилий! — кричит отец. — Знать бы, какой недоумок поусердствовал, я б его по пять часов по-пластунски на плацу гонял! Да чтоб строевую песню мне испол-

нял, лёжа на животе!» — «Ты у меня герой... Обедал?» — «Обедал, обедал... Ты на будущий год от классного руководства откажись. И от этих часов в продленке. С голоду не умрем». — «Умереть не умрем. Но двое сыновей... Что гадать, учебный год только начался. Пойду Алешку кормить...» Спустя много лет, когда матери уже не будет в живых, а отец переедет к брату в Днепропетровск, Каймаков однажды вспомнит все это. Студент пятого курса, он тогда прирабатывал на тяжелейших ночных дежурствах в реанимации, а утром, сменившись, невыспавшийся бежал на лекции. В одно из таких дежурств привезли с инсультом пожилую женщину. Он увидел ее бесформенные отекающие ноги. И вдруг вспомнил ноги матери: опухшие синюшные ступни в разношенных, без задников, шлепанцах. И такая обида обожгла, так возненавидел он тот день и школу, будто только они и были повинны в смерти матери. Еще он мучился от презрения к тому одиннадцатилетнему Алешке, весело наблюдавшему за проказами восьмиклассников, улыбавшемуся, глядя, как ветер гоняет по двору фиолетовую шляпку; мучился от невозможности заставить того Алешку увидеть, как тяжело матери догонять эту шляпку, как больно ей плестись за строем; он мучился от презрения к той давней улыбке, робкой, но все же улыбке существа, боящегося проявить сочувствие к «училке», к чужой немощи, и потому показно обращенной к здоровенному детине в синем тренировочном синтетическом костюме: мол, и мне смешно. И, вспомнив ответную ухмылку того, Каймаков запоздало возненавидит краснорожего физрука, захочет пойти в школу, которую заставил себя забыть напрочь, найти физрука и сказать ему какую-нибудь гадость, а главное — как-то унижить. Боясь, что перегорит, остынет, он отправился в школу, но никакого физрука не нашел уже, физкультуру преподавала молодая женщина. Каймаков ушел расстроенный, со странным огорчением понимая, что встреча не состоится и впредь, задыхался от обидной мысли, что со временем он, Каймаков, будет обладать все большим преимущественным положением и возможностями перед «синтетическим человеком», обладать большей свободой и силой, с какой он смог бы унижить ускользнувшего физрука... Но постепенно злость эта рассосалась, и однажды на дежурстве в бессонную ночь он понял, что порыв его смешон, все коснулось его лично, никакого отношения к тому, что происходило со всей жизнью вокруг, не имело...

А женщины долдонили английские фразы. И он уже сочувственно думал: «Час в неделю! Да еще в этой обстанов-

ке! Они и за десять лет не осилят ста фраз! Ошалевшие за день от беготни с тяжеленными подносами, от духоты, запахов кухни, ворчания посетителей, измученные головной болью от гипоксии¹... Бабы... В сердце каждой скребутся свои заботы: о доме, о своих мужиках, детях, мечты о модах, тряпках, да мало ли!.. А им — «Хау ду ю ду!»...

И тут по внутреннему радио объявили посадку на Новокамск.

Трушевич положил на стол десятку.

— Забери, — отодвинул Каймаков.

— Брось ты, чего ради?!

— В другой раз — твоя очередь. С волжской икоркой.

— Ну что ж...

— Я провожу тебя... Запиши. — Он продиктовал свой адрес и телефон. — Зоенька, — позвал официантку, — я скоро вернусь, вещи пусть тут побудут...

Они вышли. Возле застекленного накопителя остановились.

— Значит, жди посылку, — сказал Трушевич.

— Уже жду.

Весело попрощались, сильно хлопнув ладонью о ладонь.

Табличка на двери поменялась: «Ресторан открыт». На свое место встал гардеробщик. Хлынули пассажиры, быстро занимали столики, устраивали у ног авоськи, сумки, усмиряли капризничавших детей. Официантки носились из зала к раздаточной и обратно.

Окончив урок, Сима села в углу за служебный столик. Чтоб к ней не подсаживались, официантка поставила деревянную кругляшку с воткнутым флажком Кубы. Ожидая, пока накормят, Сима пощипывала хлеб, солила и медленно жевала. Она заказала дешевый комплексный обед: полпорции борща, блинчики и компот. До конца рабочего дня далеко: предстояла еще обзорная экскурсия автобусом по городу с туристами из Канады. Жили они в новой гостинице «Лебедь» на левом берегу реки, в другом конце города. Значит, домой придется возвращаться электричкой. Экскурсию по дополнительной заявке в бюро обслуживания, где работала Сима, сверх нормы спихнули ей: коллега не вышла на работу...

Сима достала из сумочки листок с графиком следующей недели. Завтра суббота... Свободна... И воскресенье тоже. В понедельник с утра с теми же канадцами поездка в Соколий

¹ Г и п о к с и я — кислородное голодание организма.

заказник, в музей деревянной архитектуры. Пятьдесят километров туда, пятьдесят обратно... После обеда еще одна экскурсия по городу по заявке облздравотдела с участниками какого-то семинара медиков. Живут тоже в «Лебеде»...

Сегодня домой она попадет, конечно, только после восьми, усталая, иззябшая. В комнате нетоплено, три дня ночевала у Лаевских. На ужин попьет чаю с сыром; пока будет нагреваться кафельная печь, обвяжется шерстяным платком и усядется за пишущую машинку с латинским шрифтом впечатывать фразы в кандидатскую какого-то соискателя с кафедры классической филологии. Знакомые иногда подбрасывали диссертантов, те неплохо платили, довольные, что нашлась грамотная машинистка да еще с «латинкой»... А может, к черту сегодня машинку?.. Поехать к Лаевским? В уют, в суету шумной семьи; где всегдалюдно, можно что-то услышать, узнать, самой сказать... Она давно уже была кем-то в этой семье. Но кем?.. Это длится уже восемь лет. В любое время суток могла прийти к Лаевским — имела свои ключи, свою постель, свое место за столом, знала, что где лежит в четырехкомнатной квартире, кто что любит есть. Если не заставала дома, проверяла, есть ли в шкафчике на кухне сахар, чай, хлеб; не оказывалось — шла в гастроном. Смотрела на подоконник, в случае нужды там оставляли записку: «Симка, сходи на рынок, купи мяса или курицу, петрушку. Свари бульон, на второе макароны, к ним натри сыр. Вернемся поздно». Возле записки деньги. Или: «Симка, я выстирала чехлы от машины, сохнут на чердаке, нужно погладить. Завтра едем на Мельничные озера. Купила тебе кофту итальянскую, у меня в шкафу, примерь».

В городе Лаевских знали; больше, конечно, Ирину Казимировну, приму-балерину, избалованную зрителями, в тридцать ставшую народной, лауреаткой разных конкурсов. Грубовато-прямолинейная, трудная в общении, Лаевская ловила обостренным самолюбием второй, часто не существующий смысл в обычных фразах; вместе с тем веселая, широкая, радовавшаяся гостям, любила и умела их вкусно кормить. Дом всегда кишел ими: актеры, писатели, художники, музыканты и еще разный люд. Все знали Симу. Во время вечеринок, именин Сима помогала Лаевской готовить и подавать. За минувшие восемь лет все привыкли к ее присутствию, толком не зная, кто она Лаевским: родственница, экономка-приживалка, квартирантка, назойливая приятельница хозяйки? Расспрашивать было не принято, а если кто и пытался, Лаевская, не стесняясь, обрывала. «По-моему, сейчас «В мире

животных». Юра, включи телевизор», — говорила она мужу. И Юрий Федорович Лаевский, начальник облуправления бытобслуживания, обожавший жену, тут же выполнял просьбу...

Подошла Зоя, принесла первое.

— Вы не возражаете, я пересажу к вам того мужчину? — указала на Каймакова. — Семью обслужить надо, четверо их, с детьми.

— Сажайте, — безразлично ответила Сима.

— Не помешаю? — Каймаков поставил «дипломат» в свободное кресло и стоял перед Симой с чашкой кофе в руке.

Сима мотнула головой, поднося ложку ко рту.

— Главное — молча, да? — Каймаков отодвинул кресло.

Сима кивнула, опуская ложку в тарелку.

— Как в том анекдоте, парикмахер спрашивает клиента: «Как вас стричь?» Клиент отвечает: «Молча».

Она подняла насмешливые глаза, не терпела допотопных анекдотов, в доме Лаевских слышала их уйму. Каймаков понял, не смутился.

— Хорошо. За мной остается что-нибудь посвежее и по-остроумнее.

— Если можно, в другой раз.

— Но для этого нужно...

— Вряд ли... И чтоб покончить, сообщаю: зовут меня старомодно — Серафима, фамилия еще хуже — Гелета, не замужем, хотя мне уже двадцать восемь, работаю в «Интуристе» переводчицей-экскурсоводом, подрабатываю печатанием на машинке, беру дорого — сорок копеек за страницу русского текста и пятьдесят за английский. Бумага, лента, копирка — заказчиков...

Пока она говорила и, не глядя на него, ела постный борщ, Каймаков прислушивался к ироничному тону и добродушно изучал ее лицо. «Некрасивое — очень узкое, слишком выступает лоб, за волосами не следит, глаза никакие... Но вот рот! Великоват, но губы и зубы — как с цветной рекламы на английской зубной пасте по рубль двадцать за тюбик. Вот где ее изюминка...»

— Зоенька, еще кофе, — позвал он. — Вам тоже, Серафима? — нарочито назвал полным именем.

— Благодарю, я компот, он дешевле.

— Я хотел угостить...

— Тоже в другой раз.

— В вашей пространной анкете меня заинтересовало наличие «латинки», — сказал он.

Сима выпрямилась, улыбнулась, обнажив плотный ряд одинаково ровных, влажно-белых зубов.

— Однако вы... без церемоний, что ли...

— Не люблю бесполезных знакомств,— в той же манере ответил Каймаков.

— С деликатностью не густо? — усмехнулась Сима.

— Тон задали вы... Как мне вас разыскать, если понадобится?

— Запишите два телефона.

— Рабочий и домашний?

— Оба домашних.

Он поднял брови.

— Оба,— повторила Сима,— по одному из них найдете меня...

Официантка принесла Симе блинчики и бледно-розовый, как слабо разведенная марганцовка, компот.

— Посчитайте, пожалуйста, Зоя,— попросил Каймаков.

— А где же ваш больной? — Официантка выстраивала в блокноте колонку цифр.

— Улетел.

— Один? Вы же сопровождаете?.. Пятнадцать восемьдесят...

— Выздоровел. От вкусной еды.— Каймаков подал четвертак.

— Сплutowали вы? — отсчитывала она сдачу.

— Что было делать?.. Спасибо вам, и желаю успеха в английском.— Посмотрел на Симу, встал, поклонился.— Приятного аппетита! Очень рад нашему знакомству.

— Заметно... Всего доброго.— Сима придвинула поближе хромированную тарелку с блинчиками...

Пятница — последний рабочий день недели, самый суматошный. Кипа бумаг — папку не стянуть тесемками. Прочитать, решить, рассортировать. Вторая папка — документы на подпись — гора! Один заместитель в командировке в Москве. Другой болен. День неприятный, но, отмахиваясь от секретарши, в дверь непрерывно заглядывают: то штатные уже жалобщики, то свои, облздоровские, со срочными делами, то с периферии какой-нибудь главврач или районный специалист с неотложным вопросом. Не отошлешь обратно за сотню километров, хоть и приехал, не согласовав время. А на горбу у тебя кустовое совещание руководителей ведущих служб облздоров двенадцати областей, оно — в понедель-

ник. Значит, в пятницу все уже должно быть отлажено, уточнено, обеспечено: программа, помещения для пленарных заседаний, места в гостинице, транспорт, кафе, где будут питаться по безналичному расчету, бронирование авиа- и железнодорожных билетов на обратную дорогу. В последний момент несколько телеграмм: одни надумали приехать с женами — хлопоты о дополнительных местах в гостинице; другие решили прибыть на два дня раньше: за субботу и воскресенье посмотреть город, наверное, заглянуть в магазины, заведомо зная, что в них то же, что и там, дома; у третьих обнаружились здесь родственники или знакомые, а тут okazия — субботу и воскресенье провести с ними, благо есть гостиница, значит, не в тягость...

И сейчас, в восемь вечера, когда уже совсем стемнело, заведующий облздравотделом Виктор Викторович Юшин, освободившись наконец, устало поднимался по крутой и долгой лестнице к железнодорожным платформам пригородных поездов.

Конец осени жили как-то суетливо: то в городе, то на даче; рядом вырос новый жилой массив, и в расписании прибавилось электричек, ходивших прежде лишь вдоль восьмидесятикилометровой зоны отдыха.

Шофера Юшин отпустил — тому еще гнать в гараж, в другой конец, а потом троллейбусом и трамваем тащиться домой...

Час пик миновал, но народ еще не схлынул, тянулся вдоль платформы. Чавкало и хлюпало под ногами черное месиво. Кто, торопясь, расталкивал, обходил впереди идущих, кто с мыслью об отдыхе на вагонной скамье продвигался неторопливо.

В полутемном вагоне Юшин с облегчением сел и, пристроив рядом портфель, повернулся к окну. Сквозь мутное, с грязными потеками стекло он видел, как мимо шли люди, сиделись расчетливо — в конце, середине или начале состава, давно изучив, где вагон остановится на нужной станции. Пустяковая эта экономия не занимала Юшина. Вроде и спешил домой, как все после работы, да еще в пятницу, и вместе с тем не спешил, иногда даже оттягивал; когда, случалось, оставался без машины, торчал на остановке в часы пик, спокойно пропускал два-три автобуса, не желая ввинчиваться в толпу, першую к еще не открывшимся дверцам. Потеря такого времени для него ничего уже не значила, поскольку ничего не решала, время это было его личным, начиналось за порогом кабинета, а домой ему не то чтобы

не хотелось, но ничто и *не манило*... Любил ли свой дом, дочь, жену?.. Дочь любил, это точно... Жену?.. Женился вроде по любви. На белокурой толстушке Верочке, медстатистке... Двадцать два года назад... «Ужас! Двадцать два года!.. Пролетели!» — беззлобно и равнодушно думал Юшин... Начинал в райздравотделе... Теперь завоблздравом, заслуженный врач республики... Какие претензии к жене? Никаких... Не скандалит, все принимает как должное... Гипертония у нее, страшного ничего, как у многих теперь, последние годы ушла в свою болезнь, сосредоточилась на ней... Лекарства беспрерывно новые, отвары, диета, режим. Но все молча, безропотно. Это характер, что тут сломаешь, изменишь? Всем довольна. Даже никогда не говорит об этом, довольна, и все тут, заранее. Его это обволакивало, как муху, упавшую в банку с медом: сладко, но не выползешь... В чем попрекнешь? На чистоте помешана, чтобы все были обихожены, сыты. Скребет, натирает, моет. В квартире сияет... Страсть к вязанию: кофты, свитера, шарфы — ему, дочери. И — шьет! Беспрерывно! Сонно стрекочет немецкая «Веритас». Шьет племянницам, племянникам, каким-то убогим троюродным сестрам, отправляет в посылках — вся ее родня в Ижевске... Скорее достойно уважения... Почему же давно стало так безразлично и безрадостно возвращаться домой? Вопрос, перед которым стоит он, как перед закрытой дверью... Она не хочет в театр, в кино, особенно в гости. Причина? Болит голова. Что тут скажешь? В чем ее вина? Просто *живет*? Эмоции зависят от потребностей. Ей — *так* достаточно... Ведь это *безвредно* для других. Вот ее готовый, на всякий случай, ответ, в существовании которого он уверен. Это и есть запертая дверь. Но ведь он никогда не попытался проникнуть *туда*, взломать. Тишина, покой, равновесие. Знал, что, проснувшись ночью от жажды, найдет на тумбочке заботливо поставленную бутылку боржоми, стакан и открывалку. Был уверен: заведи он женщину, жена даже виду не подаст. Не от гордости, не от уязвленного самолюбия, а от животной, как инстинкт, уверенности: эту бутылку боржоми, как, впрочем, и многие другие маленькие, но приятные удобства, к каким она его приучила, ему не захочется менять на неизвестное, предположительное, чему и названия нет и чего, возможно, вообще не существует... Для того чтобы разрушить все это устойчивое, удобное, должен найтись принцип. А его нет. У нее же, как ни парадоксально, есть: дом, уклад с той атмосферой надежности и равновесия, в какой они живут многие годы...

Под вагоном завыл генератор, стало светлее, по поездно-му радио объявили маршрут, остановки, электричка тронулась. Ехали в основном женщины, и тотчас возникли негромкие разговоры, одни и те же в этих ежедневных поездках на работу и с работы: кто женился, кто умер, о заработках мужей, ценах на рынке, какую-то Нюрку из гастронома арестовали за торговлю водкой в розлив, в детсадике карантин — корь; куда на это время девать детишек — неизвестно...

Юшин слушал, как за спиной возникают и испаряются чужие слова из чужой жизни, они казались знакомыми, слышанными прежде не раз. За окном проплыли товарная станция, двор депо, стройка — бульдозер на верхотуре взрытой земли наклонно навис над котлованом. Юшин стал дремать. Бессвязно светились и гасли какие-то мысли, обломки событий минувшего дня, что-то вспоминалось, но было невмочь сосредоточиться...

Зашелестело, забулькало в динамике, голос произнес: «Внимание! Если в поезде есть врач, просим пройти в третий вагон».

Разлепив веки, Юшин тупо соображал: то ли почудилось, то ли и впрямь куда-то звали врача. Хриплый голос повторил просьбу.

«Что там? — вяло гадал Юшин, усаживаясь поудобней. — Роженица?.. Драка?.. Гипертонический криз?.. — Он снял шапку, расстегнул пальто. — Пойти?.. Если что серьезное, какой я врач? От практикующего стоматолога и то больше проку... Разве что давление еще могу измерить. Да и то нечем... Кто-нибудь найдется во всем поезде...» Он смежил веки.

Отскочила с железным стуком дверь, просунулась голова в заячьем треухе.

— Эй, бабы, врач требуется! Не слышите, что ли? Есть тут?

Молчание.

— Ну нет так нет, — сказала голова и исчезла.

Юшин сидел еще какое-то время, потом поднялся.

В холодном гремевшем тамбуре курили юнцы в куртках, пожилые мужики. Пахнуло перегаром дешевого вина, кто-то уже успел после работы хватить «бормотухи»...

Войдя в третий вагон, он сразу увидел толпившихся у скамьи, протиснулся боком поближе. Откинувшись на спинку, выделялась белым лицом старуха в подшитых резиной валенках. Глаза прикрыты, платок сполз, из волос выткнулась

шпилька, и седая прядь повисла вдоль шеи. Старуха как-то осторожно дышала. Возле нее уже возилась щуплая женщина, черный вязаный берет с козырьком прикрывал лицо. Она проворно выпростала руку больной из рукава суконного полупальто, расстегнула пуговку на манжете ситцевой кофты, задрала высоко, обнажив старчески белую кожу, из красной дерматиновой сумки извлекла завернутый в вафельное полотенце стерилизатор со шприцами.

— Вы врач? — спросил Юшин.

— Медсестра. — Она вытащила из сумки мешочек с позвякивавшими ампулами.

— Подождите. — Юшин положил пальцы на тонкое запястье старухи, пошевелил ими, улавливая пульс, стал считать, кося глазами на часы. — Что у вас есть? — спросил медсестру.

— Кордиамин.

Юшин кивнул. Прямо на лавку она выкатила несколько ампул, надела очки, одну поднесла к свету, читая маркировку.

«Просто склад, — смотрел Юшин на ампулы: розовые — «В-12», чуть желтоватые — камфара и еще всякие. — Не покупает же она это... — взыграл в нем администратор. — Шприцы, конечно, свои, собственные... Наверно, едет с работы. Поест, часок отдохнет и — по улицам, по сляксти, с этажа на этаж, где с лифтом, где без лифта, и так — допоздна из подъезда в подъезд... Не позавидуешь такому приработку... Узнать бы, в каком она медобъединении... — Но этот интерес был сейчас бессмысленным и бестактным. Смотрел, как ловко пощелкав по ампуле, срезала горловину, набрала в шприц и незаметным усилием ввела иглу в мышцу... — Опытная... Такими главврачи дорожат сейчас...»

Когда старухе полегчало и она, глубоко вздохнув, осмысленно, как-то извинительно-благодарно подняла глаза, Юшин успокоился: обошлось. Потихоньку, спиною раздвинув любопытных, выбрался к проходу. Оставаться в этом вагоне не хотел, в тот, в котором ехал прежде, возвращаться тоже не стал, а, выйдя из тамбура, уселся в первом же, почему-то совершенно темном. Был доволен, что и сам, как та старуха сердечница, выпутался вроде из какой-то опасности: не пришлось мучительно вспоминать то, чему учился еще студентом, беспомощно суетиться возле старухи, не зная, что предпринять, постыдно чувствуя, как в затылке жжет от напряженных, а может, и насмешливых взглядов столпившихся позади, угадывавших его бесполезность тут и никчемность...

Только сейчас он заметил напротив фигуру женщины.

— Простите, кажется, толкнул вас.— Юшин вспомнил, что, садясь, задел кого-то.

— Ничего... Не знаете, что там случилось? — спросила Сима.

— Сердечный приступ, старая женщина.

— Врача нашли?

— Медсестра. Кордиамин ввела.

— Помогло?

— Должно.

— Удобное слово... На всякий случай...

— Что ж, и такое слово нужно.— Он почувствовал иронию в словах женщины.

Она ничего не ответила. Ехали молча. Он испытывал неловкость: вроде и молчать неудобно, а заговорить, хотя и не знал, о чем,— не расценит ли, что ищет знакомства.

— С работы? — спросил погода.

— Да,— сказала Сима.

— Далеко вам?

— Привыкла. Летом проще...

Пошел обычный дорожный разговор о гнилой в этом году зиме, о нерасторопности коммунальщиков, не запасшихся песком, о том, как быстро и разбросанно растет город по обеим сторонам реки...

Юшин всматривался в ее лицо, в темноте не мог различить его черт, и лишь когда проносилась встречная электричка и коротко перебежал ее свет, Юшин видел высокий лоб, скулы, большой рот. От быстрой смены света и тьмы лицо женщины возникало и как бы таинственно исчезало, и от этого казалось Юшину загадочным, красивым. Темень и тишина в вагоне, ритмичный стук колес под ногами, мелькание света сняли напряжение незнакомства, в разговоре становилось меньше пауз, слова звучали доверительно, даже иная высокопарная фраза казалась кстати...

Так и беседовали всю дорогу. И Симе лицо Юшина виделось красивым. Тень и свет, тень и свет, как мозаику, соразмерно складывали это лицо, на котором отсутствовал возраст и были уже не существенными детали...

Поезд сбавил ход. За окном становилось виднее, приближались вокзальные фонари и высокая платформа, где останавливались пригородные электрички. Проплыли застекленные щиты для газет, скамьи.

Юшин и Сима поднялись одновременно, пошли к выходу. Бетонные плиты с растоптанным снегом были залиты белизной, лившейся с двух высоких фонарных дуг. Народ хлынул

к лестницам по краям и посередине платформы — каждый к своим улицам.

— Вы в какую сторону? — спросил Юшин.

— На Вторую Баррикадную.

— А мне на Топольную, — назвал он улицу, находившуюся в противоположной стороне.

Они стояли у длинной бетонной скамьи, хорошо теперь видимые друг другу. В холодном, пронзительно белом свете лица их сейчас оказались вовсе не такими, какими примерещились в темноте вагона. Каждый увидел, как зауряден, даже некрасив его недавний попутчик. И если Сима, подумав о себе, внутренне привычно усмехнулась, то Юшин испытывал неловкость, словно обманул незнакомую женщину, которая к тому же оказалась много моложе его.

— Всего хорошего, — заторопился он.

— До свидания, — ответила Сима.

С минуту он смотрел ей вслед, затем двинулся в другой конец платформы, шел не спеша, бездумно, покачивал портфелем. Навстречу попались парни, громкие голоса, гогот нарочитый, с вызовом, как те юнцы из его подъезда. Тоже лет по семнадцать-восемнадцать, соседские дети. В том нагловатом возрасте, когда за усмешечками и переглядыванием выпирает жажда превосходства над старшими, уверенность в этом превосходстве, когда с ними не всякий умеет найти естественный уровень отношений, который был бы не обиден ни для какой из сторон. Юшин и не сумел. И они почувствовали это в его попытках говорить с ними в их же тоне, в его молодцеватом подмигивании им в ответ на циничные откровения, в подмигивании, означавшем: мол, я свой парень, ребята, еще не так стар, чтоб вас не понимать; в неизменных угощениях «Кентом» или «Марлборо».

Однажды дочь сказала ему:

— Папа, зачем ты так с ними?

— С кем? — не понял Юшин.

— С этими, в подъезде. Подлаживаешься зачем?

— Откуда ты знаешь? — смутился Юшин.

— Какая разница — знаю.

— Это их обижает, что ли? — притворился он.

— Не их, а тебя. Что ты хочешь им доказать? Что еще не стар, современен? Это же унижительно. Они над тобой насмеются, сопляки.

— Разве? Значит, я уже стар, по-твоему? Ничего, и они скоро станут старше, и все само пройдет. Какие же они сопляки, твои ровесники...

Обладавший властью над сотнями людей, умевший жестко требовать от подчиненных и внушать им необходимость исполнения своих решений, он терялся перед этими парнями, сникал и был противен самому себе. Дочь понимала его, и тот их разговор возник лишь после того, как однажды вечером, стоя на балконе у соседки, услышала под козырьком подъезда диалог:

— Давайте чего-нибудь в стиле «ретро» ему устроим!

— Затянем дедулю в «Аквариум», не откажется, подыграет, накачаем коньячком, подкинем ему Людку. Он сразу сдюит, пустит, они в этом возрасте свежак любят!

— Людка его сперва наукой зашибет, про психоанализ, про Фрейда. Она этот прием вызубрила. А потом выпотрошит на полста. Вот потеха будет!

— Представляешь, если она его танцевать потащит, диско!..

Все это дочь рассказала Юшину. «Могла бы и не говорить», — подумал он тогда. На следующий день, стоя в проеме лифта, прежде чем нажать кнопку, Юшин сказал парням:

— Мужики, как с «Аквариумом»? Когда завалимся? Только Людку прихватите. Сообразим что-нибудь в стиле «ретро», бабки у меня есть, не стесняйтесь... Вот так-то, мужики. — Он нажал кнопку.

Поднимаясь, лифт тоскливо гудел. Внизу кто-то из парней медленно пощипывал струны гитары...

Шел мокрый липучий снег, ленивые густые хлопья.

Бакшеева стояла у окна профессорской, прижавшись коленями к батарее, чувствуя приятное тепло. В кабинете было прохладно — уходя в субботу после полудня, открыла, как всегда, форточку, за два дня комната выстыла и сейчас наполнялась свежим теплом. И этот дух чистоты, и шедший от натертого до блеска пола запах скипидара, и надетый только что халат — вчера выстиранный и накрахмаленный дома (она не любила халаты из больничной прачечной, от них пахло хлоркой и еще чем-то кислым) — все несло молодое ощущение новизны, предчувствие начала чего-то. Так всегда с нею по утрам в понедельник, когда ничто еще не начато, впереди шесть дней словно неведомых, что-то обещающих, хотя знала подробно наперед каждый из этих дней: пятиминутки, утренние обходы, операции, консультации в других больницах города, лекции студентам, заседания ученого совета, вызовы по санавиации и в промежутках — вроде мелочи —

стычки с главврачом, вынужденные — для утешения — разговоры с родственниками больных, которых оперировали или собирались, писание нужных или нелепых отчетов в ректорат, улаживание кафедральных споров или склок, беседы с аспирантами.

Потянувшись всем телом, она с силой провела ладонями по бедрам, разъяла слипшиеся от крахмала края карманов и, разлепив их внутри упрямым шевелением пальцев, успокоила руки, туго натянув книзу халат.

Отсюда, с пятого этажа, были видны огромный двор с голыми заснеженными газонами и клумбами, с жесткими кустами, корпуса клиник, а справа часть улицы. Бежали на лекции студенты, парни и девчонки, швырялись снежками, весело толкали друг друга, на мгновение соприкасались руками, телами, отзывались на это улыбкой, мимолетным блеском взгляда. Игра... Вечная, меняющая с возрастом лишь свои приемы...

Она подумала о Наташе — дочери, почти такой же, как эти. И что-то ревниво, пугающе царапнуло, словно случайно увидела, как в этой игре кто-то чуть дольше придержал Наташу в объятиях... Тут же усмехнулась, одернула себя: «Дура... Сама-то еще первокурсницей целовалась, аж в ушах звенело... Зависть, что молодость ушла, а вроде еще не все вкусила?..» И, упершись в карманах сжатыми кулачками, снова потянулась, словно проверяла каждую мышцу тела...

Стройная, высокая, с ровной по-девичьи спиной и осанисто выгнутой шеей, в сорок пять лет не обросла лишним весом, знала, что еще хороша собой. Иногда мужчина, шедший сзади, норовил обогнать, глянуть, какова лицом. Ах, мужики, мужики!.. Чего стараетесь? На ноги б посмотрели, когда не в сапогах и без чулок, все бы ясно вам стало: синие варикозные узлы. Участь почти всех хирургов, женщин в особенности... А Наташке-то замуж пора, уже врач-интерн. Вчера заявила около трех ночи, гуляла со своим Петей, курсантом политучилища. Родители в Тамбове, отец машинист, мать вязальщица на швейной... Зачем Наташке этот Петя-курсант? Какой-то никакой, то ли глуп, то ли молчун, то ли скромн, краснеет, когда заходит, и — ни слова... Столько своих ребят... Кто они, свои? Профессорские дети? Клан, замкнутый круг, родители стремятся переженить их... По любви, или без любви, или по принципу: хоть дурак, но свой... Что-то в этом мерзкое, как кровосмешение, но зато соблюдено равновесие...

Открылась дверь, и сразу — голос за спиной:

— Разрешите, профессор? — Вошла старшая сестра. — Добрый день, Анастасия Георгиевна.

— Здравствуйте. Пора на обход? — посмотрела на часы.

— Минут через десять... К вам посетитель, Анастасия Георгиевна, муж той женщины, которую вы вчера смотрели. Можно ему?

— Пригласите.

Вошедший был могуч, грудь дугой, подперта высоким животом. Короткий больничный халат, выданный привратницей, перекошенно наброшен на тяжелые плечи, на лацкане заношенного пиджака какой-то значок.

— Я по поводу жены, — сказал посетитель. — Вам должен был звонить товарищ Лаевский. Моя жена — его двоюродная сестра.

— Как фамилия?

— Медовая... Раиса Илларионовна.

Она размашисто записала на календаре.

— А ваша фамилия, надо полагать, Медовый? Сладкая жизнь, если два человека с такой фамилией, — пошутила Бакшеева, видя, что тот смущен и ею — строгой, подтянутой, и собой — громоздким, неуклюжим.

— Была сладкая. — Он все время дергал сползавший с плеча халат. — Я вот о чем, товарищ профессор... Хочу, чтоб жену оперировали только вы. Двое детей у нас...

— Почему вы решили, что нужна операция?

— Так в нашей поликлинике сказали. Но если операция... Я хотел бы, чтоб вы...

— У нас есть хорошие хирурги, вы не беспокойтесь.

— Я пришел получить от вас твердое обещание. Юрий Федорович Лаевский заверил... — Уже освоившись, он смотрел ей в глаза. — Для вас, понятно, дело обычное, а для меня — внезапное несчастье. — Он старался объяснить их разное восприятие происшедшего: ее, для которой женщина по фамилии Медовая — очередная больная, и свое, для которого она — жена, чья болезнь самое и единственно важное сейчас, что существует в жизни.

— Хорошо, — сказала Бакшеева, словно он доказал ей, что болезнь жены и для нее, Бакшеевой, случай из ряда вон...

Когда он ушел, Бакшеева вернулась к окну. Сквозь движение снега она увидела, как у высокой бровки тротуара почти одновременно возникли два контрастных пятна: синее и желтое — две машины «Жигули». Вышедшие из них мужчины поздоровались и пошли рядом, направляясь к этому зданию. Одного из них, старшего, она знала более двадцати

лет: Сережа Долинин, профессор Сергей Никитич Долинин. Первая ее любовь... Первая?.. Была ли вторая?.. Теперь они просто друзья, общаются домами... Все прошло... И вспоминается редко... Не потому ли, что не ушло туда, где живет все успокоившееся, и что иногда извлекаешь, разглядываешь с веселым любопытством? Не ушло, а тайно замолкло в ней. Как эхо, от которого не бывает эха. Всегда боялась разбираться в этом... зачем? Теперь они просто друзья. Он выбрал другую женщину, к которой она не питает ни любви, ни ненависти...

Второй же, совсем молодой, — Алеша Каймаков, врач-ординатор, ее ученик. Его она тоже хорошо знала: хваток, талантлив, хирург божьей милостью. Далеко не идеален, ей известны его недостатки. Но во время операций не раз губы ее, скрытые белой маской, удовлетворенно улыбались его сообразительности... Надо дать парню шанс, пусть станет на ноги, и тогда недостатки исчезнут — многое в характере окажется ненужным, отпадет, как рудименты...

Беседуя, мужчины приближались. «О чем они так увлеченно? О машинах, о работе, о женщинах?» — любопытно гадала, перебегая глазами с одного лица на другое...

Этот трехэтажный прямоугольник был построен в конце века. Из гулкого вестибюля белая дверь вела на кафедру патологической анатомии с ее музеем болезней человека, основанным в 1896 году: с того момента, когда в этой больнице произвели первое вскрытие первого умершего; с тех пор здесь хранилось около семидесяти тысяч протоколов вскрытий.

Два верхних этажа занимали кафедры общественных наук и политэкономии. Это старинное здание соединялось на третьем этаже длинным тоннелем-переходом с новым семиэтажным хирургическим корпусом. Почти никто из сотрудников не пользовался его парадным входом, особенно в непогоду, — удобней было подняться в коридоры кафедры политэкономии и по тоннелю-переходу пройти к себе в хирургию.

Каймаков тоже пользовался этим путем и сейчас вместе с Долининым приближался к торжественному крыльцу, восходившему широкими ярусами к высокой дубовой двери с тяжелым бронзовым кольцом, висевшим в львиной пасти...

Они поднимались уже по ступеням, стучали ногами, сбивая снег у входной двери.

— Круглый год ездите? — спросил Долинин.

— Гаража нет. Держу под окнами. Да и зачем машина, если не ездить? — ответил Каймаков.

— А как резина?

— Задние скаты с шипами, финские. Случайно купил с рук.

— Сколько уплатили?

— Двести восемьдесят за пару.

— Почти две ваших зарплаты? — Долинин прищуренно посмотрел на него.

— А что делать, Сергей Никитич? Ездить надо, а скользко; стукнешь кого-нибудь или тебе вмажут, дорожке станет.

— Тоже верно... Если вам попадутся такие, финские, возьмите мне.

— Это дело случая.

— Понимаю. Я и говорю, если попадутся.

— Конечно, Сергей Никитич.

— Вы что-то небриты. Что так?

— Я прямо с самолета. Домой не успевал. Летал к брату на свадьбу. У меня бритва с собой, побреюсь в ординаторской.

— Профессор Бакшеева говорила, диссертацию пишете?

— Половина готова.

— О чем?

— Если в общем — язвы желудка, двенадцатиперстной, послеоперационная реабилитация.

— Неплохо. У нас близко к этому одна идея возникла.

— Какая?

— Рекламирывать еще рано. — Долинин перебросил портфель из руки в руку.

Широко шагнув, Каймаков поймал бронзовое кольцо и, потянув тяжелую черную дверь, пропустил Долинина.

В холодном высоком вестибюле было пусто и тихо. Обычно здесь толпились студенты, но первая пара уже началась. В глубоких нишах вдоль овальной стены по обе стороны двери стояли потемневшие от времени и пыли гипсовые бюсты великих медиков прошлого.

Кивнув друг другу, мужчины направились каждый к себе: Долинин — налево к белой двери; Каймаков, легко перешагивая через две ступеньки, взбежал по лестнице.

Войдя в коридор, Долинин снял кепку и расстегнул пальто, хотя раздевался у себя в кабинете, имел две вешалки: для верхней одежды и для халатов.

Опустив портфель на пол, остановился у доски объявлений. Особой нужды в чтении их не было, под стеклом письменного стола у него лежал лист бумаги, где уже расписана по дням и часам вся неделя: заседание кафедры, заседание ученого совета, собрание землячества ливанских студентов, которое курирует кафедра, клинико-анатомическая параллель, консилиум по биопсиям, лекции, прозекторская конференция и многое прочее, где он должен присутствовать. Листок этот обновлялся каждый понедельник врачом-интерном Наташей Бакшеевой, садившейся при необходимости за стол секретарши-лаборантки, ушедшей в декрет.

Долинин свернул за угол. Вдоль стен длинного коридора на застекленных стеллажах и в шкафах в банках с фиксирующим раствором покоились экспонаты — органы, отказавшиеся служить человеку, отклонившиеся от нормы, которую установила природа. И над всем этим надпись: «Музей болезней человека».

Кабинет Долинина состоял из двух комнат. В первой, огромной, стоял заседательский стол, впритык — стол секретарши; шкафы с папками, три столика с микроскопами и старинный подбуфетник с самоваром и чашками на подносе.

Из этого, как называли, «предбанника» — дверь в собственно кабинет; там — письменный стол, полки с книгами, в больших рамках рисованные портреты основателей кафедры, знаменитых патологоанатомов — бородатые люди, под стоячими воротничками галстуки...

— Доброе утро, Наташа, — сказал Долинин, разматывая шарф.

— Доброе утро, Сергей Никитич. — Она вскочила, высокая, как и мать, в тонком, немнущемся нейлоновом халате.

Не останавливаясь, Долинин прошел к себе, разделся, влезая в халат, спросил:

— С чего начнем?

— Звонили с кафедры глазных болезней, профессор Мухин просил посмотреть биопсию¹ Сенковского. — Наташа стояла в дверях с бумажкой в руке.

— Где она? — Сняв очки, он протер их полкой халата.

— В коробке слева.

— И что же там, в их диагнозе?

— Опухоль с двумя вопросительными знаками.

— Кто еще звонил?

¹ Биопсия — микроскопическое исследование тканей или органов больного.

— Больше никто.

— Хорошо. Ты перепечатала отзыв для Минска?

— Заканчиваю.— Она вышла, плотно притянув дверь.

Долинин низко склонился над бумажкой под стеклом: «Лекция — вторая пара. Ученый совет в 14. Прозекторская конференция в 15.30». Прикоснулся ладонью к верхнему карману. Там всегда лежало с десятков аннотационных библиокарточек с круглой перфодыркой вверху. Чистые с обратной стороны, плотные, они удобно служили ему вместо блокнота, особенно когда надо было, сокращая слова, быстро что-нибудь записать.

Он вышел в большую комнату, где Наташа медленно стучала по клавишам разболтанной «Эрики», присел к микроскопу у окна. В ящике, состоявшем из двух половинок, соединенных медными петлями, и похожем на тот, в котором хранят шахматы, лежали стекла; на каждом цветное пятно — тончайшие срезы с удаленного в чьем-то глазу новообразования. На стеклах вместо фамилии больного синим фломастером нанесены лишь порядковый номер из регистрационного журнала и дата, когда сделана биопсия.

Долинин пристроил первое стекло, включил подсвет, приткнулся к окулярам и сразу же увидел, что материал плохо окрашен, срезы деформированы. Он погасил свет, бросил стекло в ящик и по внутреннему телефону вызвал заведующую гистологической лабораторией. Она по его лицу, по знакомому жесту — очки зажаты в кулаке — поняла: чем-то недоволен.

— Кто делал номер двенадцать тысяч? Узнайте и пришлите эту мастерицу ко мне. По такому материалу, — он повертел перед ее глазами стекло, — я не могу понять эту абстрактную живопись.

Возвратилась завлабораторией с рыженькой, кудряво завитой девушкой. Лицо ее от испуга было взволнованно красное, на скулах гуще проявились веснушки.

— Вы готовили? — Долинин показал ей стекло. — Номер двенадцать тысяч.

— Я, — сглотнув, кивнула девушка.

— Очень плохо сделано. Как можно? Ведь взято не у трупа, а для биопсии у больного, который ждет нашего диагноза.

Лаборантка потупленно молчала.

— Это материал после хирургического вмешательства, — медленно, как на лекции, внушал он. — По нему мы должны уточнить, подтвердить, голубушка, или отвергнуть диагноз

врачей-клиницистов. Мы выступаем в одном лице и как терапевты, и как окулисты, отоларингологи, стоматологи, и, разумеется, как хирурги. Они знают нормальное течение болезни, мы же, помимо, а может, прежде всего, — ее варианты. Знаем с помощью этого. — Он положил стекло на письменный стол. — Зазубрите эту мини-лекцию. Идите... Пойдите... Плакать нечего. Я не сказал вам ничего обидного. На входных дверях у нас написано не «Нормальная анатомия», а «Патологическая»...

Когда девушка вышла, он спросил у завлабораторией: — Кто у нас глаза хорошо делает?

— Андриевская. Но она на бюллетене. Повторно я сама сделаю, Сергей Никитич.

— Нет, пусть все-таки эта девчонка. На завтра... Пусть она, скажите ей, я просил, чтоб она... Что вы смеетесь?

— Я не смеюсь... я так...

— Дайте немножко хорошей краски, — вдруг просительно сказал он.

Улыбка тут же слетела с ее лица.

— Не дам. Держу остаток английской для биопсий. Сами же потом будете ругать меня, как эту девчонку, что материал плохо окрашен. — Она догадывалась, для чего он просил хорошую краску: готовились учебные некропсии¹ для студентов.

Он знал заранее: откажет. Для исследовательской работы даст, пожалуйста. Тут в случае нужды вывернется наизнанку — все достанет, пойдет в военный госпиталь, там у нее какие-то связи, поплачется, но выклянчит. А вот для учебных пособий — не проймешь, хотя понимает, что даже на самых лучших цветных иллюстрациях в учебниках студента не натаскаешь. Он проработал с нею одиннадцать лет, помнил, когда только пришла из медучилища, спросил тогда:

— Вышивать любите?

Она удивилась:

— Вышивать?

— Лаборантке нужны чуткие терпеливые пальцы. Главное — тер-пе-ли-вы-е!..

И она это помнила. Закончила потом биофак заочно и теперь, принимая кого-нибудь на работу, задавала тот же вопрос...

— Наташа, набери-ка коммутатор глазной, профес-

¹ Н е к р о п с и я — микроскопическое исследование тканей или органов умершего.

сора, — попросил он. Когда их соединили, сказал, потирая лоб: — Аркадий Андреевич? Здравствуйте... Долинин. Да-да... Мне передали... Маленькое недоразумение... Нет, готово, но я уронил стекла... Вдребезги... Так что извините... Завтра непременно, с утра... Понимаю вас...

Потом он вычитывал перепечатанный Наташей отзыв на автореферат какого-то соискателя из Минска. Уж как ни исхитрялся, а от стереотипов не ушел: за многие годы настроил этих отзывов уйму, где уж тут блистать стилем!.. И он черкал, пытаюсь как-то оживить текст, ругал себя, что согласился писать, постеснялся отказать коллеге — научному руководителю этого неизвестного соискателя...

Затем взялся писать ответ Мише Куреневичу. Этот некогда щуплый мальчик, живший на одну стипендию в общежитии и вечно пропадавший у него на кафедре, нынче врач в Африке, в Замбии. Опять прислал препараты со слезной просьбой сделать биопсии и дать заключение. До этого несколько раз отправлял препараты в Институт патологии армии США, но там «...дерут по двадцать пять долларов за каждую биопсию, а у меня, как сами понимаете, карман не такой пузатый». «Это ж надо: двадцать пять за одну, — подумал Долинин, — а я их в день делаю по пятьдесят... Миллионером был бы», — усмехнулся он...

В дверь робко постучали.

— Да! — Долинин отложил ручку.

Вошла молодая женщина, лицо милое, если б не круглый полноватый подбородок, даже красивое.

— Здравствуйте, Сергей Никитич. Не узнаете меня?

— Вы садитесь... Честно говоря...

Она устроилась в старом кожаном кресле обок стола, берет положила на колени, прикрыла руками, и Долинин увидел красные неухоженные пальцы с низко стриженными ногтями.

— Погодите, — снял он очки. — Оля Пескарева?! — все же узнал. — Когда же вы выпускались?.. Значит, четыре года прошло?.. Где же вы, кем?

— В Каменко-Озерецкой райбольнице, патологоанатомом.

— Сто двадцать километров всего! И ни разу за все время не появились! Вы же были у меня лучшей студенткой на курсе!

— Не с чем было появляться, Сергей Никитич. Много всякой неразберихи набралось в душе за эти годы. И гладко было, и скользко, и сражения, и поражения... Вот не выдер-

жала, приехала поплакаться.— Она резким движением одернула воротник, высвобождая шею.

— Снимите пальто, здесь жарко... Личное?

— С этим бы я к вам не пришла... То, чему вы меня учили, не стало защитой врачебной чести, а стало стеной. Я либо лоб разобью, либо она погребет меня, обвалится... Как говорит моя мама, в тесные сани я села.

— Это выводы, А что же им предшествовало?

— Главврач недоволен моими диагнозами в протоколе.

— Большие расхождения между клиническими диагнозами и вашими?

— Расхождения? Для наглядности скажу так: как разнятся смерть от падения с крыши и смерть от запущенного перитонита.

— Что же говорит ваш главврач?

— Что я не дорожу репутацией больницы, случилось несчастье, умер человек, его уже не вернуть никаким точным диагнозом, весь коллектив, дескать, переживает, лечивший врач в ужасе, зачем же усугублять ситуацию.

— А вы?

— Я сказала, что фальсифицировать диагнозы не буду, речь идет не об ужасе лечившего врача, а о его профессиональном промахе.

— А он?

— Он говорит: «Как хотите, но, видимо, мы не сработаемся». Вот так все четыре года.

— Что же вы решили?

— Приехала советоваться. И уезжать оттуда не хочется, привыкла, коллектив хороший, городок милый, зеленый, озеро. И оставаться страшно.

— Кто еще знает о вашем конфликте?

— Только я и он, боится выносить сор из своего кабинета... Пойти мне в облздрав? — спросила Оля.— Попрошусь на прием к Юшину, расскажу, пусть решает.

— Никуда не ходите, поезжайте домой, работайте спокойно. Что-нибудь придумаем. Может, удастся перевести вас в другой район.

— Не хотелось бы, привыкла.— Оля сняла пальто с вешалки.— И выхода не вижу... Сражаться с ним? Как долго? Всю жизнь?

— Думаю, чем-нибудь помогу вам.

— Извините, Сергей Никитич, что я так вот... к вам... Время отняла.

— Что вы, Оля! Вы-то не попусту... Значит, договорились: ждите моих вестей...

До начала лекции оставалось минут пятнадцать. Вошла Наташа.

— Чаю, дядя Сережа.

— А что у тебя к чаю?

— Овсяное печенье.

— Давай... И набери, пожалуйста, облздрав, приемную Юшина.

Держа трубку, ждал, шли длинные гудки, наконец отозвался женский голос:

— Облздрав, приемная.

— Попрошу Виктора Викторовича,— сказал Долинин.

— Его сегодня не будет, он на кустовом совещании. Кто спрашивает?

— Профессор Долинин... Спасибо...— Он опустил трубку.

Наскоро выпив чай и сжевав несколько рассыпчатых печений, Долинин взял папку и вышел в коридор.

В противоположном крыле размещались гистологическая, гистохимическая лаборатории, лаборатория сердечно-сосудистой патологии и комната доцентов. Загораживая полкоридора, к окну был приткнут белый стол — «стол вырезок». Долинин поморщился, как морщился ежедневно, глядя на этот, как он называл, «верстак». На нем в баночках, пузырьках от пенициллина, в мисочках и лотках лежали залитые формалином удаленные у больных органы и ткани — материал для биопсий. Он поступал из операционных. Склонившись над эмалированным подносом, орудовала пинцетом доцент Ада Львовна Рацер — дежурный сегодня патогистолог. Рядом с нею лаборантка. И так — изо дня в день, однообразный в своей последовательности процесс: патогистолог рассекал, иссекал, делал срезы и ставил предварительный диагноз по макропрепарату¹. «У Ады и макродиагноз бывает безоговорочный», — подумал Долинин, наблюдая, как лаборантка тут же записывает ее слова в журнал. Писанины хватало: порядковый номер, фамилия больного, дата поступления к ним материала, откуда поступил, клинический диагноз и предварительный диагноз патогистолога. «А ей присесть даже негде, теснота, — вздохнул он. — Срезы загружат в автоматы, начнется фиксирование материала — он под микроскопом должен предстать таким, каким был в живом

¹ М а к р о п р е п а р а т — удаленные органы, ткани, изучаемые невооруженным глазом.

организме; проводка в спиртах, обезвоживание, обезжиривание, парафинирование. Через 19—20 часов с кусочка ткани, застывшего в парафиновом кубике, ножом микротом сделают тончайший срез, нанесут на стекло, окрасят. Биопсия готова, патогистолог ставит последний диагноз. Срез... Идеальный — пять микрон. Получаем же практически восемь — десять, нет хороших камней точить ножи микротомов... А в день приходится делать около пятидесяти биопсий, — подумал он. Материал поступал отовсюду, где только есть операционные: из пяти хирургий, урологии, отоларингологии, проктологии, клиники глазных болезней, стоматологии, из таких же служб центральной железнодорожной больницы, да еще из районных больниц всей области, где нет своих патологоанатомов. — И этот «верстак» торчит в коридоре! Какая, к черту, эстетика, культура труда! Наконец, баночки и мисочки, Каждый случайный любопытный заглядывает... Стол надо убрать из коридора! Но куда?..»

Студентов Долинин отпустил чуть раньше: отсюда, с кафедры, им бежать на третью пару в отдаленный корпус. Ученый совет начинался через двадцать минут. Неторопливо одевшись, Долинин вышел в вестибюль, держа буклированную кепочку в руке.

— Сережа! — раздался сверху голос Бакшеевой.

Она спускалась в распахнутой шубе, в высоких красивых сапогах, одна на просторе широкой лестницы. Дневной свет, падавший через сквозной застекленный купол откуда-то издалека, белый мрамор стен, величественное сошествие женщины — было в этом что-то театральное.

— Ты чего уставился? — спросила Бакшеева.

— Как Клеопатра! Любовался тобой.

— Поздновато ты этим занялся.

— Сказать женщине, что она хороша, никогда не поздно.

— Врать ты не умеешь. Значит, я еще ничего. В особенности не при ярком свете, да еще бьющем в спину. Клеопатра с портфелем. — Она приподняла разбухший тяжелый портфель...

Выйдя, направились к главному учебному корпусу, где были ректорат и зал заседаний. После духоты и больничных запахов свободно дышалось холодным сыроватым воздухом. Снегопад кончился, высоким ветром прорвало облака, и в отсиненном холодном небе празднично горело солнце.

Их догнали двое профессоров, поравнялись, поздоровались, пошли рядом. Бакшеева придержала Долинина за

рукав, дала возможность уйти коллегам вперед и, посмотрев им в спины, обтянутые мягкой овчиной, спросила:

— Почему Нина не купит тебе дубленку?

Он удивился неожиданному вопросу, даже приостановился. И тут же понял эту несложную — сразу в два адреса — подковырку: дескать, плохо жена за тобой смотрит, а ты тюфяк.

— Зачем? — улыбнулся. — У меня хорошее пальто, сам выбирал.

— Ты не в состоянии купить себе дубленку? — настаивала Бакшеева. — В чековом бывают югославские. У тебя же в Венгрии вышли две монографии.

— Два года назад. На эти деньги я помог детям купить кооператив. А сейчас влез в капитальный ремонт.

— Дети бы подождали, ничего бы не случилось. И вообще это неразумно, с кооперативом, мог попросить у ректора письмо в горисполком: профессор, доктор наук, известный ученый и прочее, однокомнатную квартиру. Пусть похуже, в худшем районе, но не за чеки!..

— Ты придаешь такое значение одежде?

— Представь себе.

— Для женщины это, наверное, действительно существенно.

— И для мужчины тоже. Уж поверь мне. Хорошая одежда придает человеку уверенность, и самочувствие его зависит от того, как он одет. Так что попроси Нину, пусть купит тебе дубленку. Смотри, как они солидны, — указала на шедших впереди. — «Дипломаты» и портфели в тон.

— Хорошо. Перед тем как идти куда-нибудь просителем, непременно обзаведусь овчиной. Для самоутверждения. Даже если это будет в июле.

— Дурак.

— Ты думаешь? — засмеялся он.

— Чуть-чуть есть. Некоторые твои студенты ходят в дубленках.

— Так это же профессорские дети!

— Но-но, без намеков!..

Войдя в здание, они повернули к залу заседаний...

Операционную Каймаков покинул обессиленный. Давно так не волновался и не выматывался. И сейчас еще чувствовал, как прилипла к спине майка и почему-то мелко подрагивало под коленом. Он должен был ассистировать Бакшеевой,

но когда мылись, та вдруг заявила, что оперировать будет он. Сперва обрадовался: операция редкая, в его небогатой практике таких числилось немного. Но потом засомневался: то ли внутренне не готов был, то ли испугал возраст больного — выдержит ли? И все же желание если не блеснуть, то хоть показать свою уверенность Бакшеевой и остальным взяло верх, в операционную вошел совершенно спокойно, приступил, заказав себе даже не глядеть на Бакшееву, чтоб не подумала, будто каждый взгляд его — вопрос: так ли делаю? Поначалу все шло хорошо, потом у больного резко упало давление, вдобавок с крупного сосуда сорвалась лигатура, кровь хлестнула в лицо, он подавал быстрые команды: «суши», «суши». Сузившиеся глаза Бакшеевой смотрели на его руки. Это было неприятней всего, чувствовал: если она не отведет взгляда, он не сможет работать; сделал шаг в сторону, почти спиной к ней, и все два с половиной часа старался не видеть ее лица...

Потом, в предоперационной, Бакшеева сказала ему грубовато:

— Руки у тебя хорошие. Поменьше бы гонору, тогда совсем было бы хорошо. Все-таки я профессор, а ты все время норовил ко мне задницей. Но за эту операцию прощаю. Дежурному врачу передай, чтоб ночью глаз с этого больного не сводил:

— Я останусь на ночь,— ответил он.

Из операционной вышел вместе с сестрой. В коридоре было душно, на навоощенном паркете лежали жаркие солнечные пятна, и над ними дрожал теплый воздух.

— Ну и топят! — Каймаков слизнул с верхней губы росинку пота.

— В палатах вообще дышать нечем.— Она несла эмалированный лоток, прикрытый марлевой салфеткой.

— Немедленно на биопсию,— показал он на лоток.— Вы взяли достаточно?

— Все, кроме внешне здоровых участков.

— Это для нас с вами они здоровые. Патологоанатомам важна и переходная зона, они всегда скандалят. Так что не жалейте, не надорветесь.

— Вас ждут, доктор,— подошла к нему привратница.

— Кто?

— На лестничной площадке, женщина.

Каймаков выглянул за дверь и увидел Олю.

— Привет!

— Привет! Закончил?

— Идем,— повел он ее в ординаторскую.— Снимай паль-

то.— Он потянул за скобу, отворил верхнюю поперечную фрамугу окна.

— Операционный день? — спросила Оля.

— Я уже закончил... Если, конечно, кто-нибудь не подвалит urgently.— Он сел напротив нее на кушетку.— Ну, сколько же мы не виделись? — Каймаков внимательно разглядывал ее.

— Года два, наверное... Как тебе работается?

— Жаловаться грех... Устаю, правда. Бывает, торчу здесь по десять часов. Дома одни стены, спешить некуда.

— Не женился?

— Некогда,— засмеялся он.

— Делаешь кандидатскую?

— Полработы готово... Ну, а ты как? Там же, в районе?

— Там же... Вот приехала к профессору Долинину... по делу. Зашла тебя повидать.

— Значит, все без перемен?

— Если не считать, что разошлась с мужем.

— Почему?.. Прости. Если не хочешь, не отвечай.— Заметил, как Оля поморщилась.

— Если тебе интересно, могу сказать: он не хотел, чтоб я сохранила беременность.

— И ты уступила?

— Да. Потом были всякие разговоры на эту тему... Целую философскую систему создал. И мне стало противно... Ладно об этом,— махнула она рукой.— Кого видишь из нашей группы?

— Почти никого. Разметало по стране... Ты сегодня возвращаешься?

— Автобус в десять вечера.

— Это к часу ночи приедешь? Оставайся у меня, утром уедешь.

— Я не для того тебе рассказала, что разошлась с мужем.

— Что за ерунда, Оля! Просто я буду ночевать здесь. Тяжелый послеоперационный больной.

— Нет, Леша, я поеду. К девяти утра на работу. И мне еще тут надо по магазинам, как всем провинциалам. Так что убить время найдется где.

— Давай хоть пообедаем вместе. Потом провожу тебя на автовокзал и вернусь сюда.

— Давай пообедаем,— подумав, согласилась она.

— Ты иди в свои магазины, а в шесть встретимся.

— Где?

— Если с музыкой, то у ресторана «Лебедь», а хочешь по-тихому — в Доме ученых.

— Тогда уж с музыкой...

Он проводил Олю до вестибюля, еще раз напомнил: «У «Лебеда», в шесть». Возвращаться к себе не стал, застегнул на все пуговицы халат и толкнул дверь на кафедру патологической анатомии...

Когда все разошлись, ректор спросил:

— Так что у вас, Сергей Никитич?

— Хозяйственные хлопоты. Все вырезки для биопсий делаем в коридоре, на случайном столе, тут же приборы. Не говорю уже об эстетической стороне — все открыто, на виду, коммуналка какая-то.

— Мы не можем опять затевать у вас ремонт. За два года на вашу кафедру институт истратил большие деньги: перестроили полуподвальное помещение под учебные аудитории, купили электронный микроскоп, новые микротомы. Дать вам средства за счет других кафедр? На каком основании?

— Но дальше такое терпеть нельзя. Для вырезок необходимо отдельное помещение. Библиотеку с протоколами вскрытий храним в лаборатории, там же целлофановые мешки с блоками биопсийного материала, стекла с биопсиями! Это же ценнейшие архивы!

— Что вы предлагаете?

— Есть две студенческие раздевалки. Одну из них переоборудовать под гистохимическую лабораторию, а в освободившуюся комнату переместить все из коридора. Тут небольшие затраты.

— А где взять рабочих? РСУ за такую работу не возьмется.

— Подрядчика я найду. Старый испытанный способ.

— Студент?

— Да. Его папа главный инженер треста Сантехмонтаж.

— Набьют нам когда-нибудь мозоль на мягком месте за эти дела, — сдавался ректор.

— А какой выход? В титульные списки с нашими копейками не попасть.

— Кстати, о деньгах. Как с хоздоговором по вашей кафедре?

— Двигается.

— Из новокамского НИИ приезжал заказчик. Просил форсировать.

— Есть договор, сроки оговорены. Мы уложимся.

— Чем раньше, тем лучше. По этому хоздоговору получим приличную сумму. Кто ведет работу?

— Доцент Рацер.

— Но ей, кажется, скоро на пенсию?.. Жаль, хороший патологоанатом.

— Посмотрим,— уклончиво сказал Долинин. Он давно знал, что Ада Львовна сразу же уйдет, едва оформит пенсию: недвижимая после инсульта мать, двое внуков; знал, что оставить ее еще на один доцентский срок не удастся. И тут подвернулась эта хоздоговорная работа, решил: если взвалить на Рацер, ей и завершать, значит, останется еще минимум на два года. А там видно будет. Не представлял себе, как останется без Рацер. Проработали бок о бок столько лет, создавая славу кафедре! Когда пришел выпускником, Ада уже трудилась тут... Он не любил, когда кафедру впрягали в хоздоговоры, дело хлопотное, отвлекало время и силы сотрудников от прямых обязанностей, от исследовательской, научной работы, непосредственно касавшейся медицины. Но приходилось браться: институт зарабатывал на этом большие деньги, кое-что из них перепадало и кафедре на ремонт, на обзаведение новыми приборами.

— Что ж,— ректор потянулся к пачке сигарет,— будем считать, что вопрос решен...

В приемной сидело много народу. Знакомый доцент полусутоливо попрекнул Долинину:

— Долго вы, Сергей Никитич. Нас бы пожалели, сейчас куда-нибудь уедет, не попадем.

— Может, и к лучшему,— тоже отшутился Долинин.

Каймаков любил наведываться к патологоанатомам даже без нужды, нравилась небольшая атмосфера, отсутствие суеты, каждый как бы автономен — в ассистентской, в доцентской, даже у интернов: сидят над микроскопами, меняют стеклышки, что-то записывают.

Он остановился у шкафа, видел его не раз, но сейчас привлекло новшество — на корешке каждой папки наклеена узкая цветная полоска, а отдельно на листе картона с заголовком «Перечень документации» — пояснение:

1. Научно-исследовательская работа — красная.
2. Учебно-методическая — желтая.
3. Патанатомическая служба — синяя.
4. Кадры, обществ. работа, хоздела — серая.
5. Переписка — черная.

Чье изобретение? Долинина? Прimitивно, но удобно, не надо рыться, даже с юмором, возможно случайным: на папке с перепиской черная полоска...

Из доцентской вышла Рацер.

— Здравствуй, Алеша.— Она знала его еще студентом.

— Здрасьте, Ада Львовна,— обрадовался он, соображая, как выудить что-нибудь о пластмассе Трушевича, выяснить отношение к ней Рацер, но передумал: не посоветовавшись с Бакшеевой, нельзя, они приятельницы. И когда еще Игорь пришлет свою хваленую пластмассовую нить?..

— За результатом биопсии пришел? — спросила Рацер.

— Нет, просто так... Вскрытия нет сегодня?

— Пока нет, если вы не подбросите.

— Не накаркайте, Ада Львовна, не дай бог ни нам, ни вам... Хорошо у вас тут, тихо, целый НИИ,— посмотрел он в даль коридора.

— Чего же не пошел в патологоанатомы?

— Поманила надпись на знамени Анастасии Георгиевны: «Таланту все прощается». Решил испытать, вдруг талантлив,— засмеялся он.— Победителей вроде не судят?

— Некоторых победителей, Алеша, следует опасаться. После их побед остаются бо-о-льшие разрушения.

— Не разрушишь старое — новое не построишь. Закон прогресса.

— Ишь ты!.. Прогрессист... Некогда мне с тобой, свинки и кролики ждут...

Он заглянул к интернам, увидел две спины, склоненные над микроскопом. Заходить не стал, двинулся к профессорской. За пишущей машинкой сидела Наташа Бакшеева, работал портативный диктофон. Она печатала, вслушиваясь в медленно диктовавший голос.

«Хороша! Как эту красоту природа делает? Вот секрет! — весело подумал Каймаков, любясь.— Целовать такую — удовольствие! С ума сойдешь от зависти к себе!.. А ведь целует кто-то...»

Заметив Каймакова, Наташа выключила диктофон. Поздоровались.

— Шеф у себя? — Каймаков указал глазами на дверь к Долинину.

— На лекции... Вы к нему?

— Нет... так... зашел в ваш монастырь передохнуть. Операция была тяжелая.

— Ассистировали маме?

— Нет, мама — мне.

Наташа хмыкнула, спросила:

— Чаю хотите?

— Не прочь.

— Есть еще бутерброд с сыром. Могу поделиться.

— Делись...

Чай был горячий, пахучий, заварен крепко. Каймаков пил маленькими глотками, поглядывал за окно на прохожих. Наташа включила диктофон. Печатала она еще неуверенно, и Долинин, когда диктовал, делал большие паузы между словами: «...прежде всего гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной. Гипоксия, кислородная недостаточность, как причина... Изначально же — дефекты сосудов. Интересны в этом отношении случаи за 1929—31 годы, 1947—49 годы, 1960—69 годы. Отмечены мною в «Журнале регистрации биопсий». Тут важен и послеоперационный период...»

Наташа снова выключила диктофон — не успевала за голосом Долинина. Перемотала кассету назад и опять нажала на клавишу «пуск». Так повторялось несколько раз. И, жуя бутерброд с сыром, Каймаков вслушивался, постепенно вникая в смысл этого рубленого текста, который не был ни докладом, ни статьей, а скорее — тезисами, заметками, соединенными одной идеей...

Чай был допит, но блюдец с чашкой Каймаков держал в руке: не хотелось уходить. Наташа уже сменила кассету, их несколько лежало в картонной коробке, и снова печатала, вбивая в бумажный лист слова, звучавшие из динамика, а Каймаков, напрягшись, слушал. Из вороха слов что-то вдруг выделилось, его зацепила и повлекла какая-то смутная мысль, медленно обретавшая отчетливость, словно переводная картинка, с которой он постепенно снимал верхнюю пленочку.

Приоткрылась дверь, и сестра из хирургии прошептала:

— Ой, ищу вас, Алексей Юрьевич! Там пришла мама этой девочки из седьмой палаты... После аппендицита которая... Что сказать? — стрельнула глазами в сторону Наташи.

— Иду.— Он встал.— Спасибо за чай, Наташа.

— Заходите.— Наташа выдернула из машинки дописанную страницу и стала подтирать ластиком опечатки.

Истекал третий день отдыха Лаевских на Высоком Перекате. Место облюбованное: крутые холмы, поросшие плотным сосняком, ломали горизонт, меж холмами речушка, натываясь на белые, вросшие в ложе валуны, спешила в русло боль-

шой шумной реки. На окраине маленького поселка Высокий Перекат была база отдыха инструментального завода. Не только заводчане, а и те, кто по разным поводам имел дела и водил дружбу с завкомом, ездили сюда отдыхать на субботу, воскресенье и в праздничные дни.

Поездку устроила Ирина Казимировна Лаевская: позвонила кому-то на завод, а тот — директору базы отдыха, благо время несезонное, и для известной актрисы с семьей была забронирована комната.

Выехали в пятницу после трех и к вечеру прибыли. Во дворе уже примостилась чья-то «Волга». На этаже были четыре спальные комнаты, выходили они в общую гостиную, там в незапертом буфете имелась казенная посуда. В гостиной стояли большой обеденный стол, диван, телевизор и кресла. Была и кухня с газовой плитой, с почерневшим, в жирных пятнах алюминиевым чайником.

Кто поселился в остальных комнатах, Лаевские не знали, но, сидя у себя и распаковывая рюкзак с едой, слышали за тонкой стеной и в коридоре голоса, шаги.

Дениска вышел на балкон, плевал вниз, целясь в какой-то ящик, в последнем багровом свете угасавшего неба разглядывал сверху лесопилку на противоположной стороне улицы. На большом дворе лесопилки грязь была исчерчена путаными следами автомобильных скатов, под навесами и просто под забором лежали штабеля бревен и досок, и оттуда шел свежий смолистый дух древесины.

Юрий Федорович отправился на кухню заваривать чай, а Лаевская и Сима накрывали в гостиной стол, вытаскивая казенную посуду из буфета. Решено было поужинать и сразу улечься, а утром, наскоро закусив, пораньше отправиться в лес.

В пятирожковой люстре горела только одна лампа, по углам комнаты было сумеречно. Денис ел нехотя, а Юрий Федорович — много и с аппетитом.

— Зачем тебе на ночь наедаться? — останавливала мужа Лаевская.

— Ты же знаешь, я утром не могу есть.

— Денис, держи вилку как следует и не раскрывай так рот, — поучала Ирина Казимировна.

— Воды хочу, — просил мальчик.

— Сырую после сала вредно. Выпьешь лучше чаю, потерпи. — Лаевская отбирала у сына кружку с водой.

— Я не буду чай, хочу холодной воды...

Из соседних комнат никто не появлялся: видимо, уже от-

дыхали. У дежурной на первом этаже взяли еще одну постель — для Симы, чтобы постелить в гостиной на диване, к ночи вряд ли кто-нибудь приедет, свободной оставалась лишь одна комната, а если кому из соседей и понадобится ночью в туалет или ванную, увидят на диване спящего, не велика беда — тихонько прогуляются в потемках.

Юрий Федорович достал таблетку соды и, не запивая, поморщившись, проглотил.

— Началась изжога? Говорила, не ешь столько. — Лаевская и Сима убирали со стола.

Распахнув окно, выходившее во двор, Юрий Федорович выглянул.

— Что там? — спросила Ирина Казимировна.

— Да вот думаю, как с машиной. Не ободрал бы кто. Может, лечь мне в машине?

— С твоим радикулитом? Господи, первый год машина, а столько хлопот!

— Все равно ведь не усну, мерещиться будет: то колесо снимают, то зеркальце выворачивают.

— Тебе не машину иметь, а танк. Тогда, может, на отдыхе спал бы нормально.

Он захлопнул окно, взглянул на жену. Наступило молчание. Долгое, неудобное. Каждый понимал, чем оно должно кончиться.

— Симка пойдет в машину, успокойся, — сказала наконец Лаевская. — Где спальный мешок, матрас?

— В багажнике.

— Пойдешь, Симка? Не боишься? — злясь на мужа, спросила Лаевская.

— Конечно, конечно... Да нет, там хорошо, — торопливо засоглашалась Сима, довольная, что пауза разрядилась.

Вдвоем с Юрием Федоровичем Сима, прихватив постель, спустилась во двор. Было темно, сыро от реки и тихо так, что щелчок замка в дверце автомобиля показался пугающе громким. Лаевский отбросил спинки сидений, навалившись, выровнял их, накачал матрас, на него положили старый спальный мешок с намалеванными по зеленой ткани автомобилями разных марок.

— Ну вот, — как-то огорченно вздохнул Лаевский. — Не замерзнешь? Ключи я оставляю. Если что, запри и поднимайся к нам, — сказал он, зная, что Сима никогда этого не делает. — Не страшно будет? — от неловкости спросил еще раз и глянул за реку, где лес черными зубьями неровно обкусал

густое звездное небо.— Может, прогреть салон, пошуметь немножко? — топтался он.

— Идите отдыхайте, Юрий Федорович.— Боясь, что он увидит, как дрожат ее губы, Сима влезла в салон и стала расстилать простыню.

Лаевский ушел. Сима слышала в темном подъезде его шаги, как он споткнулся, поднимаясь наверх.

Утопив на дверцах фиксаторы замков, она улеглась. Холодно не было, но отчего-то знобило, шел озноб изнутри. Сима боялась, что не уснет не только потому, что ей действительно было страшновато в запертой металлической коробке, одиноко стоявшей в немоте разлившейся ночи. Натянув до подбородка одеяло, она смотрела сквозь лобовое стекло на изморозное мерцание звезд. Она еще вроде ни о чем не думала, а из уголка глаза уже потекла тайная родная слеза.

Сима давно уже привыкла, что многие беззлобно и бесхитростно считают чье-то одиночество нормальной формой существования, которая как по жребию досталась какой-то части человечества, и, следовательно, людям одиноким присуще не вникать в свои тяготы, потому они, естественно, безболезненно переносят разные неудобства жизни. Те, кто считал так, не всегда были дурными, жестокими, невнимательными; они по-своему любили и опекали своих братьев-одиночек, удерживая их при себе, привыкли к их вроде малым потребностям, к их умению никогда не сетовать и расценивали это как отсутствие душевной необходимости в исповеди... И хотя Сима знала все это, вдруг впервые, кажется, за многие годы, что прожила как член семьи Лаевских, заплакала.

Давно уравновесилась со всем прочим в ее жизни поглощавшая прежде страсть к балету, обрела реальные черты все еще блистающая Лаевская — женщина, в чьем характере смешалось так много и так пестро всякого. Те, кто знал Лаевскую, снисходительно принаровились и к сумасшедшим вспышкам неподдельной доброты, и к неожиданным озлоблениям постоянно настороженного самолюбия, но кое-кто попадал и впросак, обласканный ее искренними комплиментами, которые могли тут же обернуться едкой фразой, если Лаевская взрывалась вдруг от обиды из-за не так понятого слова о ней или о ком-то из близких. Обида эта могла быть и из-за Симы, и из-за какого-нибудь блюда, с любовью приготовленного Лаевской, но почему-то не пользовавшегося вниманием гостей...

Что-то стесняло, мешало дышать, Сима вспомнила, что не расстегнула лифчик. Выгнулась, завела руки за спину, освободила пряжки и, сдернув лифчик, облегченно провела ладонью по упругим, по-девичьи приподнятым грудям. О том, что случилось однажды и давно, вспоминать страшно, как о всяком предательстве...

Ей едва исполнилось тогда двадцать, он был старше на шесть лет, работал в геологоразведочном управлении. В двадцать лет хочется верить всему. И она верила его деликатному ухаживанию, его улыбкам, его силе, когда он чуть-чуть приподнимал ее от пола во время танца, его умению оставаться трезвым в шумно веселившейся компании, верила его словам о любви — ее любовь знала только взлет. И в ту ночь, когда впервые осталась у него, ей казалось, что это и было обещанное судьбой пребывание по ту сторону жизни, где плоть, изломанная судорогой, ничего большего уже не жаждет, потому что ничего иного уже не воспринимает. В этом высоком парении с закрытыми глазами она слышала только гул своей крови, окликала с этой немыслимой высоты любимого, откуда-то издалека отзывался его голос, произносивший незнакомые ей прежде слова... Утром, когда уходила по двору, заросшему посохшим в белой изморози бурьяном, ей казалось, что ступает по мягкой нежной траве большого прекрасного сада, и хотелось вспомнить все ощущения минувшей ночи, она подыскивала слова для этого, но не удавалось, и наконец поняла и бессилие слов, и бессилие памяти, поняла, что только сами ощущения способны повторять и помнить себя...

Продолжалось так около двух месяцев. Однажды он сказал, что уезжает до пятницы в командировку, вернется вечером и зайдет. Но в пятницу утром, не выдержав, Сима по дороге в университет позвонила из автомата. «Алло, слушаю», — отозвался женский голос. Решив, что ошиблась номером, Сима извинилась и внимательно набрала еще раз. Но снова тот же голос: «Вам кого?» — «Станислава, пожалуйста». — «Он вышел, будет часа через два». — «А вы кто?» — волнуясь, спросила Сима. Была короткая пауза — и ответ: «Я его невеста...» Сима вышла из будки, прикрыла спиной дверь и стояла, навалившись, не в силах сдвинуться с места. Потом сорвалась, поймала такси. Шла через знакомый двор, пустынный, скучный, с пожухлым бурьяном, с валявшимися консервными банками...

Дверь ей отворила девушка, но первое, что увидела Сима, — это не лицо ее, миловидное, с неубранными, спутанны-

ми, как после сна, волосами, а свой розовый халат на ней. Он был не застегнут, полы запахнуты, девушка придерживала их. Отстранив ее, Сима прошла в комнату. На широкой тахте белела постель и — как ослепило — рядышком две подушки. В кресле цветной кучкой — трусики, комбинация, лифчик, чулки. «Что вам нужно?» — дошел до Симы голос. Сима посмотрела на нее: халат был наброшен на голое тело, босые ступни в больших мужских шлепанцах. «Это вы звонили? Я же сказала, Станислав будет через два часа. А вам чего?» — «Я пришла за своим халатом!» Сима рванула за полу. Девушка испуганно сжалась, обхватила себя руками, пыталась защитить наготу. «Я надела его один раз», — испуганно сказала она. «Не имеет значения. Все равно придется выстирать... Впрочем, можешь оставить себе на память. Тебе еще будет что вспомнить!» — словно жалея ее, сказала Сима и выбежала...

Вот и все. Быстро началось, быстро кончилось. И поволоклись пустые с вымершими звуками и поблекшими красками дни, взгляд ни за что не цеплялся, все стало плоским, утратило рельефность — человеческие лица, дома, деревья. Ходила в университет, но на лекциях сидела, ничего не воспринимая, возненавидела слова; образовавшееся, как темная яма, свободное время не знала чем заполнить.

Однажды, возвращаясь с лекций, наткнулась на новую афишу: «Жизель». Купила билет. Сидела в крайнем у прохода кресле. Справа два места пустовали, была довольна, что никто не обращался с вопросами, не делился впечатлением. Смотрела на сцену. Движения и музыка... И никаких слов... Музыка и движения — и этого вполне достаточно...

Так впервые увидела Лаевскую. Когда спектакль окончился, торопливо ушла из театра, чтоб не слышать, как люди обмениваются впечатлениями. Шла домой потрясенная, а придя, не сняв пальто, остановилась перед зеркалом, ладонями сильно оттянула волосы к затылку и долго всматривалась в свое лицо, хотела что-то произнести, но, сжав губы, сделала лишь плавное движение рукой, словно произнося те слова, которые умерли в ней...

С этого пошло. Она не пропускала ни одной балетной премьеры, на иные спектакли ходила по нескольку раз, на те, в которых была занята Лаевская. Как-то после спектакля пошла к служебному входу, стала у водосточной трубы, ждала, пока выйдет Лаевская, молча, внимательно всматривалась в ее лицо, одежду, походку. Следующий раз пришла туда же с букетиком гвоздик, протянула. «Спасибо, милая». —

Лаевская переложила цветы в другую руку, отвернулась к своему спутнику, взяла его под руку. Стояние после спектаклей с цветами у служебного входа стало привычкой. «Ты много тратишь на это денег,— наконец обратила на нее внимание Лаевская.— А сегодня я вообще не заслужила. Плохо танцевала сегодня... Любишь балет?» Они уже шли рядом. «Не знаю»,— ответила Сима. «Как же так? — удивилась.— Не пропускаешь почти ни одного спектакля». — «Там нельзя солгать». — «Где?» — не поняла Лаевская. «В балете. А в словах лгут». — «Тебе сколько лет?» — рассматривала ее Лаевская, будто впервые увидела. «Двадцать». Лаевская рассмеялась... Стояние у водосточной трубы кончилось. Сима уже проходила к балерине в гримерную, по просьбе Ирины Казимировны дежурные вахтеры не препятствовали. В маленькой теплой комнате с висевшей над зеркалом трубчатой лампой дневного света жили, смешавшись, запахи грима, лосьона, духов и пота. Сперва робко и трепетно Сима наблюдала, как, сбросив байковый халатик, устало прикрыв глаза, Лаевская медленно, с наслаждением выкуривала сигарету, разгримировывалась, костюмерша уносила легкую сценическую одежду. Со временем Сима стала помогать балерине снимать корсаж, пачку, развязывала светло-розовые тесемки на пуантах, в резную деревянную шкатулку складывала бижутерию. С ярким махровым полотенцем через плечо Лаевская уходила в душевую, а Сима ждала ее, рассматривая прижатую кнопками к стене репродукцию «Голубые танцовщицы» Дега...

Домой они теперь всегда возвращались вдвоем. Сима стала бывать у Лаевских все чаще и чаще. Наблюдая Лаевскую дома — гремевшую на кухне кастрюлями, чистившую картошку, гладившую мужу и сыну белье, грубоватую, резкую, хриплым голосом язвительно рассказывавшую по телефону какую-нибудь пикантную театральную новость,— Сима дивилась: неужто это одна и та же женщина, которую она боготворит?! И, словно сочувствуя, за что-то оправдывая Лаевскую, говорила себе: здесь, дома, актриса живет вынужденной жизнью, насилует свой характер, свою суть; есть другая Лаевская, которая не стесняется быть собой только там, на сцене, там она настоящая, только там она счастлива, потому что подлинная Ирина Казимировна — это нежные, любящие, одухотворенные, устремленные к добру, правде, свету, верности Одетта, Жизель, Мария, Джульетта... Боже мой, как хорошо, когда тебе двадцать и ты почти ничего не понимаешь!..

Шли годы. В доме Лаевских к Симе привыкли. Ирина Казимировна привозила из гастрольных поездок по стране и из-за рубежа подарки сыну, мужу и в равной доле Симе; если доставала хорошую косметику, большую и лучшую часть отдавала Симе: «Бери, Симка, ты моложе, тебе нужнее, я обойдусь, те, кто меня любят, — уже не разлюбят, а кто не любил — уже не станет»...

Все о Симе Лаевская узнала от нее самой. Однажды, когда Юрий Федорович был в командировке, а Дениска гостил у бабушки, обе, вернувшись после спектакля, скучали в спальне. Лаевская лежала на кровати поверх покрывала, набросив на ноги плед, а Сима, вымыв голову, сидела на пуфе перед зеркалом, тюрбаном намотав на мокрые волосы полотенце.

— Симка, а почему бы нам не выпить? Мужчин наших нет, скучища без них. Тащи-ка водку, по ломтику хлеба и по кусочку горбуши, — сказала Лаевская.

Сима принесла, поставила на черное стекло подзеркальника, убрав на кровать коробочки и тюбики с кремами, пудреницу, флаконы с духами.

— Тебе хватит половинки? Ну а мне можно полную. — Лаевская налила водку в рюмки. Выпили без тоста, не чокаясь. — Рыба уже пересохла, давно лежит. Сала вам купила, высокое, розовенькое, его бы с чесночком да горчицей! Тоже лежит, не жрете. Просили вареники с картошкой — налепила, полная морозилка. Один только раз и сварили. Вот уйду на пенсию — ух, дорвусь! Ладно я, но ты-то чего постишься? Фигуру держишь? А зачем, кому? И так тощая. — И тут же без всякого: — У тебя мужики уже были? Ты чего это? — испугалась Лаевская, заметив, как напряглась Сима. — Ну-ка, — она нежно провела ладонью по ее щеке, — что-то не так я? — Не доев, отложила хлебную корочку, налила водки только себе, выпила, легла навзничь. — Погаси верхний свет, в глаза бьет. — Протянула руку, зажгла ночник. И после долгой паузы: — Ну, расскажи.

И Сима рассказала...

Уснула Сима незаметно, под эти воспоминания, дрожа то ли от холода, то ли от возбуждения, свернувшись калачиком, втягивала воздух сквозь постукивавшие зубы. Спала крепко и сладко, как спят дети от жалости к себе после слез, не высказав взрослым своей на них обиды. Разбудил ее Лаевский, легонько постучал в матовое запотевшее стекло.

— Замерзла? — спросил сочувственно и виновато, видя,

как она зябко сжалась, выбираясь из машины.— Ночи здесь холодные.

— Нет, там было тепло,— солгала Сима.

В комнате Ирина Казимировна застилала постель. Денис еще спал, натянув одеяло до ушей.

— Вскипяти чай,— услала Лаевская мужа.— Дурацкая поездка,— стояла она перед Симой, держа подушку,— сиди дома, если так боишься за свою таратайку,— смотрела на Симу, ожидая каких-то слов.— С радикулитом вообще нечего ездить в такое время... Сейчас я напою тебя горячим чаем с коньяком.

— Я... все нормально. Я хорошо спала.

— А я не спала! — крикнула Лаевская.— И ты не ври. Дурацкая поездка,— повторила она.

— Почему?

— Если ты не понимаешь и он не понимает, тогда идите вы оба к черту! Продам я эту машину! — Она швырнула подушку на кровать.

— Пойду умоюсь.— Сима взяла целлофановый кулек с зубной пастой, щеткой и мыльницей.

В запущенной ванной от деревянной решетки на полу пахло прелью, раскисшим мылом, из кранов капало, на эмали темнели ржавые подтеки, но речная ледяная вода заметно отличалась вкусом, мягкостью от городской, и, вычистив зубы, Сима с удовольствием глотнула ее из горсти...

Завтрак прошел неразговорчиво, в натянутой тишине. Сквозь оконное стекло солнце обманчиво тепло заполняло комнату, но железный скат крыши какой-то хозяйственной постройки белел на теневой стороне инеем.

Лаевские ушли к себе укладывать рюкзак для похода в лес. Сима убирала со стола. В глубине коридора стеклом задребезжала рассохшаяся дверь, слышались голоса, и, направляясь к лестничной площадке, в гостиную вошли двое мужчин. Один, с портфелем, посмотрел в сторону Симы, поздоровался, еще не видя ее лица: она стояла спиной к окну, солнце лишь контурно обрисовывало ее. Но Сима ясно разглядела сощуренные от солнца глаза, выбритые свежие щеки человека, с которым недавно разговорила в электричке. Сима удивленно кивнула в ответ, но Юшин уже шел к двери и лишь на самом пороге оглянулся и тоже узнал ее, стоявшую уже у раскрытой дверцы буфета с сахарницей в руке.

— Петр Егорович, вы пока заводите, прогревайте, я сейчас,— сказал Юшин шоферу и шагнул к Симе.— Не ожидал вас здесь встретить.

— А где ожидали? — улыбнулась Сима.

— Ну... это так говорится... Просто неожиданно, бывает так ведь, а?.. Теперь уж надо знакомиться. Меня зовут Юшин, Виктор Викторович.

— Сима... Серафима Андреевна. Как вам будет угодно, — ответила она и, отвернувшись, поставила сахарницу в буфет.

— Вот ведь... Действительно мир тесен, — топтался Юшин. — Что же вы здесь делаете, если не секрет?

— Приехала отдохнуть на два-три дня.

— А я в командировке... На сутки... Здесь летом хорошо и в сентябре. Места грибные. Осенью грибов — хоть коси.

— Я бывала здесь.

Внизу, прогреваясь, набирал обороты мотор. Открылась дверь, и из комнаты раздался голос Лаевской.

— Симка, ты скоро?

— Вы с кем-то еще? — спросил Юшин.

— Да.

В гостиную вошла Лаевская — в брюках, заправленных в невысокие резиновые сапоги, в куртке. Все в тон — ярко-желтое. Заметив Юшина, остановилась, не понимая, что происходит. Удивление или недовольство — было не угадать, — но что-то вспыхнуло в ее глазах и тут же, словно отложила выяснение на позже, погасло.

— Догонишь нас. Мы пойдем по тропинке на Семидворки.

— Догоню.

Лаевские ушли.

— Я вернусь часам к четырем. Вы будете здесь?

— Возможно.

— Вы на Подпорожье бывали?

— Нет.

— Если захотите... Там очень красиво. Сверху — и река, и долина, и лес.

Она не ответила... Да и что отвечать?.. Назначал ей свидание?.. Кто он? Солиден, деликатен... Глаза умные, только растерянность в них какая-то...

— Вы простите, мне пора, — сказал Юшин.

Сима приподняла плечи: ваше дело, какие тут могут быть извинения, полужнакомые люди...

— Я постараюсь к четырем, — повторил он.

Чтобы не отвечать, Сима принялась притискивать болтавшуюся на петлях створку буфета и зачем-то старалась запереть ее проворачивавшимся ключиком, у которого давно была сломана бородка.

— Кто это? — спросила Лаевская, когда Сима догнала их в лесу.

— В электричке познакомилась.

— Что он хотел?

— Он здесь в командировке, — безразлично ответила Сима.

Но опытная Лаевская уловила нежелание Симы продолжать разговор...

Вернулись они уставшие, запаренные, довольные и голодные.

— Хватанули мы сегодня кислорода! — Повеселевшая Лаевская жадно курила вторую за день сигарету, разогревая на газовой плите тушенку. Юрий Федорович вспарывал банку сгущенного молока; Денис строгал из куска легкой, как пробка, сосновой коры лодку; Сима вынимала из целлофановых мешочков хлеб, соленые огурцы, сало, персональный творог Юрия Федоровича.

Около пяти, когда они уже пообедали, возвратился Юшин.

Старшие Лаевские отдыхали, Денис и Сима сидели у телевизора. Сима слышала, как внизу, зашумев мотором, остановилась машина, хлопнули дверцы. Вошли Юшин с шофером.

— Вот освободился, — сказал Юшин. — Как ваша прогулка?

— Добрались до Присного, — ответила Сима.

— И видел косулю. — Задрав голову и приоткрыв рот, Дениска откровенно разглядывал Юшина.

— Если не устали, успеем еще на Подпорожье... Я только переоденусь...

— Я не устала, — как бы соглашаясь, ответила Сима.

Они взбирались по крупной галечной осыпи, по крутому, лысому после порубок холму.

— Раньше здесь было много бука. Извели. Теперь опомнились, а кругом одни осыпи. В затажные дожди все ползет вниз, на поселок. Пришлось оградительную дамбу запроектировать. А летом ветер поднимает тучи пыли. — Он поставил ногу на расщепленный пенек, и Сима только сейчас увидела, что Юшин в кирзовых сапогах, в каких утром был его шофер. — Вот вам и окружающая среда, — сказал Юшин.

— Это модно — об окружающей среде. Возвышенно и покаянно. Вы случайно не писатель?

— Не писатель. И дело не в моде. Места здешние знаю давно. И все эти холмы, — махнул он рукой, — были лесами. К чему может привести? Не предугадаешь. Вдруг ползет

вверх кривая заболеваемости дыхательных путей... Как видите, все проще, не возвышенно и не покаянно.

— Вы медик?

— До некоторой степени... А вы?

— Переводчица в «Интуристе». Далековато от проблем окружающей среды. Не обижайтесь, не терплю пустопорожнего балабонства. Дамы в косметических кабинетах за педикюром любят скорбеть о гибнущей природе, а ступить босиком на стерню — колко...

— Ну, это как раз необязательно — ступать.

— Вы в электричке тогда сказали, что мы обременены терминами. Что вы имели в виду?

— Что за терминами порой не видим самого предмета... Вот они не обременены, — показал наверх, засмеялся.

С холма спускались два мужика в брезентовых куртках, один с пилой через плечо. Попросили у Юшина закурить и, пока прикуривали, ухмылисто поглядывали то на Симу, то на Юшина. Оба были выпивши, от их откровенно двусмысленных взглядов, словно одобрявших Юшина в какой-то его затее, связанной с Симой, Юшину стало не по себе. Она это заметила. И когда прошли несколько шагов, он сказал:

— Простые люди, — словно оправдываясь за тех двоих.

— Все прихорашиваем: «простые люди», «простой человек». Умиляемся. Что вы вкладываете в эти слова?

— А вы?

— Ничего! Это миф. Путаницу вносит эпитет «простой». Подмените его, и миф исчезнет. Я часто езжу электричкой, насмотрелась. Ходит там по вагонам один в замызганном халате, торгует плавлеными сырками, вафлями от дорожного ресторана. Красивый, лет тридцати. Глаза вечно красные от вина, грязь под ногтями. Большой любитель общаться с женщинами интеллигентного вида, которым чуть за сорок. Подсаживается, доверительным шепотом хрипит им «за жизнь», словечки вкручивает поглубже, позабористей. И все повторяет: «Ты уж извини, я человек простой». А некоторые дамы умиляются: «Ах какая непосредственность! Как он колоритен!» Телефончик свой суют. Непосредственность? Нахал и невежда, из тех, что бьют себя в грудь: «Я — работяга!» Не верю я им, стесняемся дать отпор или млеем от их «фольклорных» исповедей, боимся, что заорет: «Я простой человек, а ты меня не уважаешь!»...

Юшину было странно, все это она говорила тихим, спокойным голосом, будто давно убедившись в чем-то, чему уже никто не хочет сопротивляться.

— Может, вы и правы,— согласился он, и сам не раз встречавший подобных людей — липких, настырных, с трудом отделявшихся от них, испытывая при этом иногда неловкость: не обидел ли?..

Они уже взошли на макушку холма. Багровела полоса заката, придавленная накипью облаков, и темно-лиловыми стали леса вдаль, розовела пена на стрекже стремительной реки, бившейся о тяжелые и скользкие ледниковые валуны. Подпорожье. Красотища! Слабый отсвет далекого небесного пожара лежал на скулах и выпуклом лбу Симы. Юшин залюбовался.

— Что вы? — сухим, еще не отдышавшимся после подъема голосом спросила она.

— Спустимся к Подпорожью?

Спустившись, молча стояли на мокром галечнике, слушали грохот воды, заглушавший шорохи леса, тесно сплотившегося за их спиной...

Когда возвращались, Юшин неожиданно для себя спросил:

— Вы разрешите мне позвонить вам?

— Зачем?

— Не знаю, что и ответить... Очень уж прямолинейно у вас это «зачем?».

— Согласитесь, что ваш вопрос требовал единственного ответа: «Зачем?»

— Могли и проще, например: нет телефона или вообще не следует звонить вам по каким-то причинам. Даже без причин.

— Хорошо вы вывернулись,— засмеявшись, покачала она головой.— Виноватой осталась я... Телефон у меня есть, даже два. Я вам дам.— Сима протяжно посмотрела на него.— Но прежде чем позвонить, подумайте, нужно ли это вам настолько, чтобы рисковать.

— Рисковать? Чем?

— Вам лучше знать. Вы же не собираетесь мне звонить, чтоб сообщить сводку погоды. Так что у вас могут появиться сложности, едва обзаведетесь моим телефоном.

— С вами непросто,— понял, что она подсмеивается.

— Это уж точно... Записывайте, есть куда и чем?

— Говорите, я запомню.

— Оба?

— Оба...

Идти с осыпи вниз было труднее, ноги скользили, и Юшин осторожно взял Симу за локоть. Когда вошли во двор, где стояли машины, было уже совсем темно.

— Ты с ума сошла! Где ты была? — встретила ее Лаевская. — Я уже не знала, что и думать!

— Ходила к Подпорожью.

— С этим... командировочным?

— Да.

Словно впервые увидев, Лаевская удивленно разглядывала ее.

— Спать ложись здесь, в гостиной.

— А как же машина?

— А вот так и будет! Никто ее не тронет!..

Юшин лежал, заложив руки за голову. На соседней кровати храпел шофер. Лунный свет подновлял старые вздувшиеся обои, стеклянно стыл на пустой глади полированной тумбочки. Юшин устал — два совещания в двух районах, тряская дорога. Но спать не хотелось. «Что это я? — думал он о прогулке с Симой. — Неужели позвоню ей?.. Зачем?.. Навязался девчонке... Ну, не девчонка, тем не менее... В сорок семь лет... в командировке... вот такое затеял... А что позволял себе в тридцать семь, в тридцать два? Хоть и помоложе был, в командировках почаще... Никогда ничего... Не вспомнишь, как другие... В загулы не пускался, баб не имел... И в голову не приходило... Дом, работа, работа, дом... Семья... И не задумывался, радоваться ли, сожалеть ли, что все так гладко, спокойно, бестревожно, без щекочущего холодка риска, без раскаяния потом, без отмашки рукой: мол, черт с ним, чего каяться, жизнь-то одна... Ничего этого не было... Что ж, неужто сегодня и был лучший день в жизни? Закат, увиденный с кручи, леса направо и налево... Видал ведь такое десятки раз, на курортах бывал, наблюдал закаты на море, вид с Ай-Петри... Только и понимал, что красиво... А тут вот почувствовал, чуть не захлебнулся от радости, что живу, вокруг — такое!.. Да рядом кто-то, кому рассказать это хочется... И стесняешься... И от этого тоже хорошо, от стеснения... Потому что чувствую, а не только глазею...»

Рано утром, выйдя из комнаты, не зажигая света, тихо миновал гостиную. На диване лицом к стене спала Сима. Он видел лишь ее волосы на подушке. Осторожно, чтоб не стукнула, притянул за собой дверь. Через пятнадцать минут «Волга» уже катила по извилистой грунтовке к автостраде...

Лаевские уехали через час.

...В открытую форточку влетал запах жирного угара: во дворе на костре разогревали закопченную железную бочку; два работяги, нанятые инвалидом, раскатав рулон рубероида, смолили крышу гаража. Капли смолы падали в огонь, он с треском разлетался, разгорались в черном дыму головешки. Вертелись мальчишки, окунали прутики в бочку, поджигали и разбегались, размахивая, вычерчивая в воздухе дымными лентами кабалистические знаки...

До встречи с Олей оставалось два часа.

Приподнявшись на тахте, Каймаков смотрел в окно. Костер и мальчишки с тлеющими прутиками напоминали детство: таинство шевелящегося огня и поныне завораживало. Атавизм, что ли, еще одно генетическое наследство?..

На полу валялись дочитанные рукописные страницы, в которые он внес сейчас последние правки. Сел, свесив ноги, и, склонившись, уставился в белые листки... Конечно, мыслишку свою Долинин подкрепит солидным патанатомическим материалом, но не будет того, что ежедневно наблюдает, узнает, подмечает хирург-клиницист, непосредственно общаясь с больным. Этого Долинин лишен, тут его слабина, на каком-то этапе запнется, притормозит неведомо насколько. А это опасно, где-то кто-то может смекнуть: идея-то носится в воздухе! И все уплывет из-под носа в другие руки. Тут надо спешить!.. Все, что собирал год для третьей главы диссертации, вдруг обернулось полезным вдвойне: накопленные наблюдения вон как пригодились для статьи!.. Пять рукописных страничек, на машинке будет две с половиной, даже не статья, а так — статейка, сообщение... И все равно придется просить Толю Стежневского, чтоб протолкнул быстрее, он там у них ответственный секретарь, сможет, иначе пролежит в редакции не менее года... Статья написалась быстро, неделю держал в столе: раздумывал, не решался — что-то все же скребло в душе, как гвоздем по стеклу. Вспомнил: тогда, слушая голос Долинина, звучащий из диктофона, слушая, как Наташа пальчиком вбивала слова Долинина в белый лист прекрасной финской бумаги, он следил лишь за возникшей и отделившейся от всего мыслью, оставив остальные слова Долинина за пределами внимания. Не задумался: не является ли она, эта его, Каймакова, мысль, общей идеей Долинина, и следил за нею, словно за назойливо жужжащей медоносной пчелой, позабыв, что еще есть рой. Лишь много позже понял это, но отступать так не хотелось, столько своего уже вложил, оципывая долининскую идею. Успокаивал себя, что, дескать, не высиживал чужие яйца в чужом гнезде. Был, правда, момент,

когда уколола щепетильность, толкнуло поделиться с Долининым, но испугался, как бы тот не встал на дыбы. Тогда прощай все...

Перечитав еще раз рукопись, он убедил себя, что все готово, все *свое*. На память жаловаться не приходилось, сразу вспомнил: Серафима Гелета, молодая острязыкая женщина, к которой подсел тогда в аэропорту; полистав блокнот, тут же нашел ее телефон.

«Едем, Алеша!» — сказал он себе и, рывком поднявшись, подобрал с пола странички, прихватил скрепкой...

На телефонный звонок отозвались быстро, словно женщина на том конце сидела у аппарата и нетерпеливо ждала, когда же ей позвонят.

— Здравствуйте, Серафима.

— Здравствуйте... Кто это?

— Однажды в ресторане аэропорта я пытался рассказать вам старый анекдот, — весело начал Каймаков.

— Было такое. Сейчас вы хотите что-нибудь посвежее?

— Могу. При личной встрече.

— Вот как! Но мне тяжело угодить. И времени нет на «личную встречу», — отрезала она.

— Тогда перейду к делу. Нужно перепечатать статью, в которой есть латинские термины.

— Как быстро?

— Срочно. Согласен на дополнительный тариф за срочность. Могу приехать немедленно.

— Приезжайте. Запишите адрес. — Она назвала. — Через сколько вы будете?

— Надеюсь, что за час доберусь.

— Деловой вы человек... — слышался смешок. — Жду. — Она повесила трубку.

Он плохо знал район, где жила Сима, дома были на одно лицо, корпус «А», корпус «Б». Наконец нашел, машину поставил на дорожке возле входа в котельную и с целлофановой папочкой шагнул в подъезд.

Дверь открыла Сима. Каймаков не сразу узнал ее, показалось, будто стала выше ростом. Чепуха, конечно. Просто была в брюках и туфлях на тонких высоких каблуках. А лицо такое же — некрасивое, лобастое, но, кажется, другая прическа. Поэтому тоже не сразу узнал.

— Проходите, — посторонилась она. — И не пугайтесь, у меня не очень... Вы позвонили, когда я только вернулась...

Он шагнул в коридор, услышал, как за спиной защелкнулся дверной замок.

...В подъезде стоял въевшийся запах свежеразведенной извести и сосновых досок, белые следы подошв вились с этажа на этаж.

У двери Долинин тщательно вытер ботинки о мокрую тряпку, с авоськой вошел на кухню, где они теперь по сути жили: в двух комнатах, гулко пустых и голых, подсыхали стены, подготовленные под обои, но обои еще предстояло достать; в третьей обновляли столярку, на рамах, подоконниках и филенках выделялись пятна-шпаклевки. Вся старая мебель была продана, новая, нераспакованная, стояла в свободном гараже у знакомых.

— Устал? — спросила жена.

— Есть немножко. — Он сел за маленький кухонный стол, на котором лежала пачка ученических тетрадей, перехваченная резинкой. — Опять сочинения?

— Два класса. — Она разогревала обед. — На следующей неделе фронтальная проверка, комиссия гороно... Да, — вспомнила, — Катюша звонила, просила тебя достать лекарство, Максиму нужно для кого-то, название я записала тебе в блокнот.

— Сам не снизошел, поручил Кате?

— Ты ж его знаешь...

— Знаю, Нина, знаю, — сказал он о зяте.

Отношения у них сложились нелегкие. Едва дочь вышла замуж, зять заявил, что жить они будут самостоятельно, никакой помощи ни от своих, ни от ее родителей не желают.

«Это достойно уважения, Максим, — сказал тогда Долинин. — Но разве не естественно, что родители на первых порах помогают детям?» — «Дело не в уважении. Я хочу, чтобы ни у вас с Ниной Борисовной, ни у моих родителей не оставалось права требовать безусловного выполнения советов, как мы с Катей должны жить, — высокопарно сказал зять. — Уж простите за прямоту. Нину Борисовну и вас я буду называть не «мама» и «папа», а по имени и отчеству. Иначе как-то лицемерно звучит». — «Что ж, как вам угодно, Максим». Долинина задела такая откровенность. Но жена с чисто женским пониманием ситуации сказала тогда примиряюще: «Лишь бы Катюше было хорошо». Однако, когда возник вопрос о кооперативе, вести переговоры с зятем Долинин отправил жену: «Не буду же я коленопреклоненно выпрашивать его позволения внести часть денег». Но все решилось проще, зять сказал: «Спасибо, Нина Борисовна, передайте нашу с Катей благодарность и Сергею Никитичу. Долг я постараюсь вернуть лет за пять». Обсуждая такой оборот дела, Долинин

и Нина Борисовна обратили внимание (но каждый отдельно) на фразу зятя «нашу с Катей». В ней прозвучала грустная для родителей констатация, что дочь, словно прячась за спину Максима, согласна с ним во всем. И если сперва Долинин и жена переживали, что Максим принудил Катю повести отношения с ее родителями таким образом, то теперь и Нина Борисовна, и Сергей Никитич поняли, что эта стратегия вырабатывалась не без согласия Кати... И оба сказали друг другу: «Бог с ними»...

— Ты чего не ешь? Невкусно? — услышал он голос жены.

— Нет, ничего... вкусно... — Он посмотрел на обшарпанную кухню. — Знаешь, хорошо бы эти три стены обшить сосновыми рейками, чтобы была видна фактура дерева. Красиво, правда?

Она быстро взглянула на него и, опустив глаза в тарелку, сказала:

— Как у Бакшеевых?

— Пожалуй, — ответил он, хотя именно Бакшеевых и имел в виду. Ему нравилась их кухня после ремонта, куда Анастасия Георгиевна не без лукавства заводила гостей. Кухня был обшита деревом, мебель сделана на заказ — стилизованный, грубоватый, тяжелый стол из белых неполированных плах, массивные стулья и лавка.

— Мы не можем тягаться с Бакшеевыми. Лучше у нас не получится, хуже — будем выглядеть смешно... Ты же помнишь, с каким размахом они делали ремонт: новый наборный паркет, финская сантехника, чешской плиткой облицевали ванную и туалет. Сколько может стоить, чтоб обшить кухню деревом?

— Наверное, дорого... Займем.

— У кого? Мы и так у мамы последние ее сбережения взяли.

— У Бакшеевых.

— О нет! — Нина Борисовна даже встала.

Он понял, что допустил оплошность. Последние годы с нею что-то происходило. Все чаще отказывалась ходить к некоторым его коллегам, особенно к Бакшеевым. «Пойми, — сказал он однажды, — новых друзей в нашем возрасте уже не заводят». — «Какие это друзья? В сущности, равнодушные друг к другу люди. Сходятся, чтобы выпендриваться: у той еще одно кольцо, тот купил новый ковер, та схватила в комиссионке редкую вазу... Господи, конца-то этому нет. Они были твоими друзьями в студенческие годы. Теперь общаетесь по инерции, поддерживаєте отношения. Ведь потребности

видеться, говорить у вас нет. И обращение на «ты» — просто символ давности знакомства... Присмотрись к Насте! Завышенные самооценки, желание выглядеть в собственных глазах и в глазах других в лучшем виде. Для этого отыскивается негативный фон». — «Ты утрируешь, Нина, — обозлился он, — или сама хочешь освободиться от того, что приписываешь им». — «Странно ты заговорил». — «Пойми, с этими людьми мы прожили рядом всю жизнь. И ничего плохого они нам не сделали. У тебя же вообще никого нет». — «Потому что ты всегда препятствовал, куда бы и к кому бы я тебя ни звала из своих знакомых, ты вечно упирался, считал неудобным перед своей компанией, соблюдал какие-то обязательства. Хотя я не понимаю, какие тут могут быть обязательства! А ведь сколько раз нас приглашали на праздники в другие дома другие, интересные люди». — «Сейчас об этом говорить уже бессмысленно». — «Вот именно». — «Тебя раздражает, что Бакшеевы любят собирать много народу. Но это их право». — «Какое мне дело? Если уж хочешь знать, я считаю ненормальной, неестественной потребностью с таким количеством людей общаться. Такое бывает либо от неуверенности в себе, либо от отсутствия внутренней жизни. Толстой и Достоевский жили в одно время, знали друг о друге, но не были знакомы. А ведь это не случайно. Как говорили, «Толстой блистал своим отсутствием». — «Ты желаешь «блистать» своим отсутствием у Бакшеевых?» — «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю»...

Он знал, что Нину Борисовну раздражают выставленные как напоказ у Бакшеевых хрусталь, маски и фигурки из красного и черного дерева, изящные медные кофейники, кувшины и подносы с чеканкой, роскошные бутылки джина, виски и тоника. Эти подарки привозили аспиранты Бакшеевой, ездившие на каникулы к себе на родину — в африканские и ближневосточные страны. Долинин понимал: жена не опускалась до обычной зависти, но, бывая у Бакшеевых, вынуждена и их приглашать в свой дом — трехкомнатную квартиру с голыми стенами и старой полированной, что уже немодно, мебелью, за стеклами которой не вспыхивал гранями дорогой хрусталь, не сияли кобальтом и золотом тарелки.

Нина Борисовна никогда не упрекала его, что живут они заметно скромнее других его коллег, заведующих кафедрами, и, наверное, даже удивлялась себе, думал он, что ее, человека широких и демократических взглядов, стала как-то унижать чужая роскошь. Замечал, как иной раз жена стояла перед раскрытым шкафом, долго не решаясь выбрать что

надеть, когда они собирались в гости к Бакшеевым. Прежде такого за нею не водилось. «Это — чисто женское», — заранее прощал ей даже тайные мысли, возможно рождавшиеся в душе по поводу их относительно скромной жизни, не догадываясь, что переживала-то Нина Борисовна из-за него, хотя ему на весь этот хрусталь было наплевать...

Сегодня, пожалуй, впервые она открыто выразила свои чувства, когда так решительно отклонила его намерение занять денег у Бакшеевых, сами-то вовсе истратились на ремонт, купили новую мебель, правда не совсем такую, какую Нине хотелось, но все же новую. У Бакшеевых просить унижительно для нее. Вот в чем дело... Вспомнил английский чай в красивой металлической коробке с узорами. Его привез Бакшеевой кто-то из Шри-Ланки. Однажды, прогуливая пса, чета Бакшеевых неожиданно заявила к ним. Настя не любила появляться с пустыми руками и притащила эту килограммовую коробку чая. Нина была смущена подношением, вроде означавшим: «Не беспокойтесь, у нас есть еще». К тому же Настя сообщила, что чай с жасмином, а ни она, ни ее близкие с жасмином не пьют, пахнет сеном и, когда заварить, бледен, гостям подать неудобно, впечатление такое, что заварке три-четыре дня. «А я люблю с жасмином», — спасая положение, сказал тогда Долинин.

И сейчас, вспоминая все это и пытаясь ее развеселить, пошутил:

— Мои пациенты народ некредитоспособный, я встречаюсь с ними уже в секционном зале... Ты почту вынимала?

— Да. Тебе письмо из Ашхабада. — Она сняла с холодильника пачку газет.

Письмо было от профессора Союнова, на конец марта назначена региональная конференция патологоанатомов. Союнов предлагал выступить с докладом, просил подтвердить согласие, сообщить тему...

— Поехать? — спросил Долинин.

— Поезжай. Такая возможность. Ты ведь не был в Туркмении. Сам туда не соберешься, а тут приглашают. Повидаешься с Михаилом. Он теперь, кажется, в Туркмении...

— Черт его знает, — недовольно пробормотал Долинин. — Где его там разыскивать?

— Позвони Лизе, она-то уж знает адрес.

— Звонить ей — значит, пообещать, что я его разыщу, увидаю. Но будет ли у меня время, возможность? Он же не в самом Ашхабаде, а в каком-то медвежьем углу.

— Как хочешь. Это твоя сестра, твой племянник.

Сестра Долинина, Елизавета Никитична, ботаник, долго работала директором филиала института растениеводства, который существовал на базе пригородного совхоза-гиганта. Она была старше Долинина на пятнадцать лет. Рано вышла замуж. Мужа потеряла в войну, посвятила себя сыну, свихнулась на нем: «Мишенька, Мишенька, Мишенька». Все, что вкладывала в него, вроде обещало окупиться: был способный, окончил биологический, попал в аспирантуру, поначалу шло гладко, начал диссертацию, устроился в солидном НИИ, а потом вдруг сорвалось, покатилося: под каким-то глупым предлогом все бросил и понесся скитаться по стране. Редкие письма матери слал то с Таймыра, то с Дальнего Востока, то из Нагорного Карабаха. Последнее пришло из Туркмении. Все письма были краткие: жив, здоров, познаю жизнь. Тон ернический, посмеивался над собой, над покинутым уютом и благополучием, сообщал, что обрел лучшую в мире профессию — «работаю кем придется»; но в этом ерничестве было что-то неврастеническое, прикрытое жаргонными изломанными словечками, нахватался их, мотаясь по окраинным городам и весям... Однажды к сестре заявила молодая женщина, смуглая от ветра и загара, скуластая, узкоглазая, в спортивных нитяных шароварах и какая-то шальная. «Я бывшая жена Михаила, — заявила весело. — Я у вас переночую, утром самолет в Ленинград». — «Сколько же вы прожили с Мишенькой?» — спросила сестра. «Два года», — смеясь ответила женщина. «Детей нет?» — осторожно поинтересовалась сестра. «Детей? Кто же в нашем положении заводит детей? Мишка хотел вербоваться на Чукотку, а мне там делать нечего, я мостостроитель».

С сестрой Долинин виделся редко, каждая встреча кончалась ссорой. Одинокая, несчастная, издерганная жизнью женщина, с первыми признаками склероза, грозившими перейти в тяжкий недуг, она не терпела, когда кто-нибудь неодобрительно говорил о ее сыне, которого Долинин иначе как шалопаем не называл, и во всех своих разочарованиях, во всех эскападах сына обвиняла «равнодушный, нечуткий» мир. Позапрошлой весной она вынужденно оставила работу, ушла на пенсию...

«Сколько же этому шалопаю сейчас? — подсчитывал Долинин возраст племянника, которого не видел уже лет десять. — Сорок? Неужто уже сорок?.. Как летит время... Ну да, Лизе-то шестьдесят третий».

В тот же вечер он ответил профессору Союнову согласи-

ем, назвал тему доклада и после долгих раздумий, пожалев сестру, позвонил, сообщил, что поедет в Туркмению и, если Михаил еще там, постарается его повидать...

В это время в ресторане обычно бывало пусто: комплексные обеды кончились, а пора вечерних посетителей еще не наступила.

Поправив прическу и спокойно оглядев себя в большом зеркале у вешалки, Оля в сопровождении Каймакова вошла в зал. Место выбрали у окна, подальше от эстрады.

— Тут хоть поговорить можно,— сказал Каймаков.— Музыка в ресторанах по уровню шума уже сравнялась с ревом самолетного двигателя.

— Почему ты на такси? А твоя машина где?

— Оставил возле института. Мы же с тобой выпьем чего-нибудь?

— По правилам живешь? — улыбнулась Оля.

— Не всегда. А вот езжу по правилам,— подмигнул он, протягивая ей карточку меню.

— Выбирай сам,— отодвинула она.— Первое мне можешь не заказывать. Все остальное — на твой вкус. Я голодна, все съем.

— А я без первого не могу. Люблю горяченького похлебать. Мы иногда с отцом и на ужин, бывало, по тарелочке борща врубим. Это у него солдатское, с войны, и меня приучил.

— Отец жив?

— У брата в Днепропетровске... Водку будем или коньяк?

— Мне безразлично.

— Так нельзя. Тут различие весьма...

— В цене?

Он укоризненно глянул.

— В результате.

— Результат один.

— Э-э, нет! Водка дает свой эффект, коньяк — свой.

— Бери что хочешь, раз уж ты так осведомлен.

— Тогда водку...

Пока он ел первое, Оля управлялась с закуской.

— Вкусно! — затрясла она головой, жуя бутерброд с ветчиной.

Пила Оля по-мужски, до конца, не было в этом ни нарочитости, ни лихости, почти не хмелела, только зажегся румянец и мягко поблескивали зрачки, глаза стали больше...

Появились оркестранты, сняли с барабана чехол, на барабане оказалась надпись «Феникс». Почему, собственно, «Феникс» — оставалось, наверное, загадкой и для самих музыкантов. Они были молоды, патлаты, с крепкими плечами и шеями, с нагловатыми лицами. Каймаков не понимал их, как и молодых мужчин, танцующих в балете, когда видел обтянутые трико их могучие мышцы и гениталии, считал их прыганье на сцене делом постыдным для мужчин с такой мускулатурой, уж куда лучше они выглядели бы, выворачивая ломами шпалы на железной дороге. Он понимал смешную и несправедливую сторону такого максимализма, но это существовало в нем в цепи с прочим, что было ему присуще, и потому избавиться не мог, разве что, как человек неглупый, никогда вслух не высказывался...

После вступительного марша загремела танцевальная музыка.

— Пойдем? — спросил Каймаков.

— Пойдем!

Танцевала Оля легко, послушно, доверчиво подчиняясь его движениям. Каймаков близко чувствовал ее тело, согласное соприкосновение ног и не старался прижать ее ближе, с первого же танца Оля сама определила расстояние между ними, которого и ему было достаточно, чтобы ощущать музыку, партнершу и себя чем-то единым, что отрезвляюще распадалось, когда умолкал оркестр.

— Ты хорошо танцуешь, — шепнул он ей на ухо.

— С десятого класса бегала на танцульки, обожаю! — смежила она веки. — И в институте на вечера... не пропускала.

— Я редко этим занимался.

— Знаю. Ты в реанимации на ночных дежурствах подрабатывал.

— Работал, так точнее. Заработок был постольку поскольку...

В студенческие годы они хорошо знали друг друга, иногда встречались в одной компании, какое-то время он даже ухаживал за Олей, но потом что-то развело их, и, не пытаясь выяснить что, они продолжали дружески относиться друг к другу. В Каймакове нравились ей аккуратность, ровность характера, незлая насмешливость, умение точно определять поступки людей и судить о них снисходительно-безразлично, как о шалостях чужого ребенка, беспокоиться о котором должны родители. Оля же была ему симпатична: веселый нрав, отсутствие жеманства и комплексов, прямота и неза-

висимость в отношениях с теми сокурсниками, которых называли «элитой», имея в виду должности их пап или мам в институте... Но все это было поверхностно и давно. В сущности же они плохо знали друг друга, между ними уже прошла важная полоса жизни, уточнившая в каждом какие-то принципы, окрепшие в характерах за минувшее время самостоятельного бытия, за время, какое они не виделись...

Возвращаясь к столику, Каймаков украдкой и удовлетворенно оглядел ее фигуру, ноги, заметил немодные, местного производства туфли на маленьком грубом каблучке.

— Приёмы сейчас большие в институт? — спросила Оля.

— Смотря на какой факультет. А вообще, не думаю, что эта цифра существенно меняется. Значение имеет не это.

— А что?

— Ты мне скажи, почему из двухсот поступивших все двести обязательно должны закончить?

— Почему все? Отсев же бывает?

— Он ничтожен, почти символичен, есть официально допустимая норма. Остальных лоботрясов и дубов тянут за уши. Нужны они медицине или не нужны, а их потащат до диплома ради статистики. Результат впечатляющий в цифрах, а КПД? Отсеву нельзя препятствовать, это нормально, как сбрасывать лишний вес.

— Экономически невыгодно, затраты большие, оплата преподавателей. Она из расчета набранных на первом курсе.

— Ерунда, окупаемость за счет здоровья людей? А не накладно ли потом?.. Еще? — взялся он за бутылку.

— Нет, мне хватит, начну делать глупости.

— Какие?

— Возьму и не уеду сегодня. Что будешь делать?

— Угадай.

— Дашь мне ключи от квартиры, а сам пойдешь ночевать в клинику.

— Тебя это устроит?

— На сегодня — да.

— Но неизвестно, когда мы опять увидимся.

— Это уже будет зависеть от нас.

— Согласен.

— Нам не пора, Леша?

— Еще уйма времени, — посмотрел он на часы.

— Тогда давай действительно поедem к тебе, я приму душ... Кажется, я перебрала... Прохладный душ — прекрасно!.. У меня ведь удобств нет.

— А как же ты там?

— Комбинат быта воздвиг баню...

Пока Каймаков брал у гардеробщика одежду, Оля опять подошла к зеркалу, задумчиво, словно решая что-то, разглядывала себя.

«Женский рефлекс,— усмехнулся Каймаков,— уходим уже, а зеркало подай».

Когда приехали, Оля в прихожей с облегчением сняла туфли, пошевелила пальцами, в одних чудках пошла в комнату. Каймаков, прислонившись к двери, следил за нею.

— Неплохо у тебя,— обернулась Оля.

— А чего ты ожидала?

— Обычную холостяцкую квартиру. Немытая посуда, грязные рубашки, запахи разные... женские духи с дезодорантом...

— Увы! — засмеялся Каймаков.

— Ставлю вам пять, коллега!.. Полотенце чистое дашь?

Он вытащил из серванта радужно яркую, аккуратно сложенную после глажки махровую простыню.

— Сам стираешь?

— Ты хочешь меня совсем пай-мальчиком сделать. Нянечка из клиники. И раз в неделю убирает.

Когда уже вовсю шумела вода, он, вспомнив что-то, подошел к ванной, дверь была не заперта, даже неплотно прикрыта, светилась щель, постучал.

— Тебе чего? — крикнула Оля.

— На полочке в розовой обертке непечатое мыло... И шапочка для волос...

— Ладно! Я уже намылилась другим...

Он вернулся в комнату, сел в кресло, взял газету, скользнул по заголовкам, но сознание не вбирало их смысла, а вникать не было желания — мешали сосредоточенность на шелесте воды и ощущение какой-то душевной сумятицы, словно он не у себя дома, а приглашен в чужой, и сидел сейчас в неловком ожидании, пока хозяйка принимает душ, после чего что-то должно последовать по ее замыслу, которого он не знает и потому чувствует себя неуверенно, будто познакомился с этой женщиной два часа назад, впервые попал к ней и ожидает ее, опасаясь, чтобы кто-нибудь не пожаловал сюда сейчас в гости...

На столе лежал желтый нестандартный конверт. Завтра заберет у Симы статью, вложит в этот желтый нестандартный конверт, надпишет адрес редакции журнала и пойдет

на почту. Заказным с уведомлением. Адрес надо черным фломастером, фломастеры в коробке, на книжной полке. Он сидел, задумчиво уставившись на чистое пока поле большого конверта...

Шум воды утих. Каймаков угадывал, как Оля стоит в ванне, поставив одну ногу на край, и вытирает ее или перед зеркалом,— босая на резиновом коврике, набросив на плечи простыню,— разглаживает ладонями лицо...

Но появилась она, как и вошла в ванную: в бордовом платье с длинными рукавами, в чулках. Он поднялся навстречу и с не успевшей осесть хрипотцой в голосе сказал:

— С легким паром!

— Благодать! — Она провела рукой по еще влажному лбу. Блестели от испарины брови и ресницы, лицо было светлым, свежим, промытым до сияния.— Ты имел в виду это? — Она держала нераспечатанный кусок мыла в бледно-розовой обертке.— «Нарру дау», «Счастливый день». Дюссельдорф... Можно распечатать?

Он пожал плечами: пожалуйста, распечатывай.

Оля зашелестела бумажкой, поднесла открывшийся край к лицу, шевельнула ноздрями.

— Приятный запах, нежный. Как от хорошего мыла,— засмеялась она, подворачивая на место отогнутую обертку.

— Возьми себе.

— Угу... Возьму... Спасибо. Буду пахнуть Дюссельдорфом на весь райцентр...— и осеклась: показалось, что обиделся.

Они стояли близко, он увидел на ее подбородке тоненький белый шрам. «Наверное, упала в детстве»,— решил почему-то. И еще увидел, как дрогнули, приоткрылись внезапно набрякшие ее губы. Было какое-то обоюдное недолгое ожидание. Но Оля вдруг легко сказала:

— Ты вел себя хорошо.

— А ты?

— Время покажет.

— Жалеть не будем?

— Не знаю,— откровенно сказала она. Ей понравилось, что он употребил «не будем» вместо «не будешь».— Нам не пора?

— Еще минут двадцать есть.

— Тогда чаю бы,— попросила Оля.— Страшно пить хочу...

Пили чай. Она — жадно, обжигаясь, смешно, по-детски, дуя на кипятки, он — медленно, вроде нехотя.

— Ты чего к Долинину ходила? Биопсии? — спросил Каймаков.

— Нет... У меня конфликт... — И она рассказала.

— Подлая ситуация.

— Ты не ситуацию жалеешь, а меня.

— При чем тут жалость, — махнул он рукой.

— Что же делать?

— А что Долинин?

— Обещал помочь.

— Плохо все это. Вариантов тут немного. Все зависит от того, на каком счету твой главврач в облздраве.

— Но есть же вещи, которые сами по себе, объективно, выше всего. Даже не в смысле морали, а чисто практическом.

— Совершенно верно. Но твое «практическое» входит в противоречие с «практическим» этого главврача. Потому как он не просто врач, а глав. Администратор.

— Налей еще чаю, — нахмурилась Оля.

— Я вижу вещи такими, какие они есть.

— А такими, какими они могли бы быть?

— Только в случае, если это еще зависит от меня. — Он вышел на кухню за чайником. И когда вернулся, сказал: — Положись на Долинина. Он придумает. Возможностей у него побольше, чем у нас с тобой.

— Я не искала твоих возможностей. Просто ты спросил, я тебе рассказала... Оставим это, Леша, не то испортим вечер. — Она повертела ложечку меж пальцев и положила на блюдце.

— Самое главное — не паникуй. Из любого лабиринта можно выбраться. Даже из тупика. Просто стать к нему спиной и двинуться в обратном направлении, — улыбнулся он.

— Слушай, я опоздаю на автобус. — Оля пошла в прихожую одеваться...

Несмотря на запрет, дворники все же ухитрились сыпать на тротуар соль, широкими деревянными лопатами вышвыривали остатки снега на дорогу. Шоферы матерились — таявшая жижа разъедала скаты, забрасывалась в скрытые сечения машин, через неделю на металле проступала сыпь ржавчины.

Каймаков был спокоен: за сотню рублей (это считалось

по дешевке) бывший пациент, мастер-рихтовщик, обработал «бесшумкой» и еще какой-то смолой днище его «Жигулей», все щелочки и пазы, коробá, промазал ниши фар, куда в дождь захлестывало воду... Автомобиль его круглый год был в работе, всегда стоял под окнами, заляпанный, замызганный до лобового стекла. Каймаков редко мыл машину. Смеялся над пижонами, которые вылизывали, купали непременно с шампунем, натирали глянцующей пастой, лепили на стекла картинки с надписью «Fiat», небрежно называли машину «тачкой», ставили на скаты секретные гайки-эксцентрики, по субботам и воскресеньям валялись под ней, что-то подкручивали, пылесосили умопомрачительные чехлы, купленные у фарцовщиков, но накатывали за год в лучшем случае тысячу-полторы километров...

Ему же машина необходима, чтобы быстрее передвигаться, быстрее покрывать расстояния, для этого она и придумана... Разумно только то, что функционально.

А писание историй болезней — неразумно. Отнимает у врача пятьдесят процентов времени. Врач должен лаконично и точно продиктовать все на магнитофонную ленту, а медсестра списать это в историю болезни... И — точка... Он подошел к столу, на котором лежала пачка историй, сегодня их необходимо было заполнить: обследования, послеоперационные данные, трое шли на выписку. Среди них — Медовая, его больная. Хотел было готовить к операции, но завотделением вдруг запретил, велел перевести в терапию на повторное тотальное обследование: дескать, для хирургии она непрофильная больная. Каймаков возражал, однако убедить не смог... Доложил Бакшеевой, той уже звонил родственник Медовой, кажется брат, какой-то Лаевский... И сейчас, Каймаков знал, в кабинете Бакшеевой шла баталия...

Завотделением, низенький могучий человек, сцепив пальцы, положил на стол сильные руки. Бакшеева возвышалась, специально не садилась, хотела, чтоб стоял перед нею, тогда и разговор будет короче: он был ниже ее на полголовы; разговаривая, смогла бы смотреть сверху, что обычно доставляло ей удовольствие. Но тот, уловив ее замысел, удобно устроился в кресле, на этику ему было наплевать (пусть стоит, ежели хочет), поскольку и Бакшеева с ним не очень церемонилась. Это он знал, хорошо помнил. Кафедра была на базе его отделения. Обычно завотделением и зав-

кафедрами ладили, либо верх брал тот, у кого характер сильнее и авторитету побольше. Тут же нашла коса на камень...

— Что вам далась эта Медовая? — подняв голову, выкатил он глаза. — Она не наша больная! Терапевтическая! Ее надо перевести в терапию. Пусть попробуют консервативно.

— С чем? После чего? С каким диагнозом? — стояла на своем Бакшеева. — У нас больше возможностей для обследования. И оперировать ее придется, помянете мое слово.

— С такой гипертонией?! С такой стенокардией?!

— Риск есть, но есть и шанс, немалый.

— А если она у нас на столе... того?..

— А если нет? Каймаков же показывал результаты последних анализов.

— Каймаков, Каймаков! Мальчишка! Вы его настраиваете против меня! Я знаю. Он мой подчиненный, а пляшет под вашу дудку... Вскружили голову: талант, золотые руки... А если он ее угробит?

— Оперировать буду я. Каймаков ассистирует.

— Простите, но у меня такое впечатление, что сейчас в вас говорит больше хирург, а не врачеватель.

— Хочу оперировать ради практики? Набивать руку? Помилуй бог! — Она не оскорбилась, даже улыбнулась, словно прощая его бестактность как последний беспомощный аргумент. — Я ведь уже не начинающий хирург.

— Когда я работал в районе...

— Вы работали хирургом и меньше административировали, — сочувственно сказала она, предвкушая, что сейчас вмажет ему.

— У меня почти не было детальных исходов.

— Знаю. И помню, что вы считались неплохим специалистом, не приглашали консультантов. Но вы избегали оперировать детей и сложных больных, таких, как Медовая, хотя оперировали много. Вот откуда ваша репутация самого надежного и благополучного хирурга... Наш спор мы, видимо, решим в кабинете Юшина. И сегодня же! Медовую держать в таком состоянии больше нельзя!

Он понял, что Бакшеева одолела: во-первых, знал о ее отношениях с Юшиным — приятели; во-вторых, дальше держать Медовую, ничего не предпринимая, действительно опасно, а переводить в терапию Бакшеева все равно не даст. Конечно, можно бы собственной властью, но если потом что

случится, союзников не будет, Бакшеева первая укажет на него перстом...

— Ну что ж, Анастасия Георгиевна,— он поднялся, сутулясь от собственного веса,— предупредил вас, считайте, официально. Дальше как знаете.— Он пошел к двери.

— Не посчитайте за труд, пожалуйста, пришлите Каймакова,— в спину, как посыльному, сказала Бакшеева, понимая, что сейчас он и это стерпит...

— Готовь Медовую на пятницу. Оперировать придется в два этапа,— сказала Бакшеева.

— Уломали? — повеселел Каймаков.

— Не злорадствуй. Он старше тебя, был хорошим хирургом. Не знаю, как бы ты повел себя на его месте.

— Я? — притворно удивился Каймаков.— А зачем мне его место?

— Ладно, ладно!.. Цыплят по осени считают... Как у тебя с третьей главой?

— Выправил, сделал вставки. Перепечатать надо, много латинского текста.

— Машинку достал?

— Нашел машинистку с «латинкой».

— Не затягивай, к осени надо автореферат, а весной следующего года с божьей помощью...

— Я не затяну, Анастасия Георгиевна,— посерьезнев, задумчиво сказал он.— Анастасия Георгиевна, есть одна интересная штукавина.— Он сунул руку в карман, где лежали три моточка пластмассовой нити разного сечения. Позавчера получил бандероль из Новокамска от Трушевича и все раздумывал, как подступиться к Бакшеевой с разговором, как попасть в удачную амплитуду ее настроения. Сейчас, похоже, поймал этот момент: победа Бакшеевой над заводделением — удачный взлет ее самолюбия, в этом несущем потоке можно попытаться воспарить и со своей затеей.— Посмотрите.— Каймаков подал Бакшеевой мотки.

— Что это?

— Новый кетгут,— хитровато сощурился он.

— Не морочь голову, это не кетгут.

— Пластмасса.

— Ну и что?

— Новая, экспериментальная.

Бакшеева стала натягивать нить, мять в кулаке, вертеть меж пальцев.

— Очень эластичная. Откуда у тебя?

— Сверхэластичная, образцы.— И он не без расчета рассказал сперва о Трушевиче, а уж затем, чтоб укрепить ее интерес, сообщил, что хоздоговорную работу ведет Ада Львовна Рацер.— Неплохо бы испытать. Кажется, не токсична и не канцерогенна.

— Откуда эти сведения?

— От Трушевича.

— Рекомендована для клинических испытаний? — Вопросы ее были по-деловому лаконичны, однозначны. И Каймаков сообразил, что словесными петлями и эмоциями Бакшееву не стреножить.

— Нет, еще один пункт у них не проверен.

— Какой? — Она хотела знать все.

— Генетические последствия. Но это может выясниться и через сто лет... Анастасия Георгиевна, узнайте подробней, а?

— Ты меня не учи.

— Представляете, если мы...

— Представляю.

— Так что?

— Не вздумай...— Бакшеева возвратила ему два моточка, один оставила себе.

— А если через сто лет выяснится, что она генетически безопасна? — Каймаков намотал на палец кончик нити.— Такое дело упустим... первыми...

— Мы об этом уже не узнаем, утешься.

— Жаль.

— Так что не суетись и помалкивай. Понял? — многозначительно сказала она.— Как твой бухгалтер с прободной?

— Уже оклемался, закурить просит.

— Результаты биопсии знаешь?

— Нет еще.

— Пойди, наверное, уже готова.

Каймаков отправился на кафедру патанатомии. В коридоре у стен стояли грязные ведра с песком и мелом, валялись разводные ключи, ржавые крюки, пахло карбидом. По устланному старыми газетами паркету ступали сотрудники, перетаскивали в другие комнаты широкоформатные секционные журналы, книги индексов некропсий, архивные протоколы вскрытий, переплетенные за каждый год в отдель-

ный фолиант, ящички с музейными стеклами и прочее хозяйство. Затеянная Долининым перестройка была в разгаре.

Каймаков перешагивал с газеты на газету, держал руку в кармане халата, поглаживал там мотки с нитью. Навстречу шла Наташа, прижимая к груди горку плоских деревянных ящичков и картонных коробок.

— Помогать пришли? — шутя спросила она.

— Могу. — Он взял у нее несколько коробок. — Куда?

— Вниз.

Сошли в полуподвал. В небольшой комнате с витыми решетками на окне, похожем на бойницу, висел белый экран. Сюда Долинин ходил просматривать слайды. Стояло несколько шкафов. Наташа раскладывала в них коробки. Каймаков прохаживался вдоль шкафов, за стеклами висели бумажки с описью: «Нефриты», «Аневризмы аорты», «Рак легкого»...

— Это учебные пособия, — сказала Наташа.

— А тут что?

— Это личный шкаф профессора. — Она поставила пенальчики со слайдами и коробку с магнитофонными кассетами. — Все! Пошли отсюда! Спасибо! — Наташа отряхнула на груди халат. Поднялись вверх. — За биопсией?

— Ага, — задумчиво ответил Каймаков. — Позавчерашний материал. У кого?

— Зайдите в ассистентскую, там сейчас все. Через полчаса у нас консилиум по биопсиям. — Она свернула за угол, к себе.

Как всегда, собралось их, патологоанатомов, человек двадцать пять: с кафедры, из городской и областной служб, из онкологического диспансера, из объединенной железнодорожной больницы, из больницы скорой помощи, из госпиталя военного округа. Каждый сидел возле своего микроскопа.

«Ишь какая армия!» Долинин радостно придвинул регистрационный журнал.

Это была его идея — раз в неделю собирать всех на такие консилиумы. Еще недавно все они были разобщены, вынося свое суждение, и одиночество это, как всякое при выяснении истины, было чревато ошибками. Теперь же точность диагноза, высказанного одним, проверялась рядом сидящими: стекло шло по кругу, от микроскопа к микроскопу, каждый молча записывал в свой журнал свой диагноз,

и если возникало расхождение, обсуждали. Общие разум, опыт, знания! Становилось ясно, кто чего стоит как специалист, в том числе и отсутствующий лечащий врач, клинический диагноз которого проверялся теперь — подтверждался, уточнялся или опровергался — не одиночкой-патологоанатомом, а двумя десятками людей. Молодые врачи-интерны были тут же, на равных. Долинин натаскивал их не в условной учебной атмосфере, а в жесткой ответственной реальности...

— Все готовы? — спросил он, когда завершился молчаливый просмотр стекол. — Тогда начнем... Номер восемьдесят пятый. Чей больной?

— Наш, — отозвался моложавый патологоанатом из военного госпиталя, халат топорщили на плечах прямоугольники погон. — К истории вопроса...

«Кажется, капитан», — вспомнил Долинин, вслушиваясь в голос военного, приходившего сюда в случаях крайних.

— ...Во время рытья окопа в учебном центре впервые возникло неприятное ощущение в правом боку. Был госпитализирован...

Долинин посмотрел в журнал, в графу «возраст больного». Двадцать лет... Скоро должен демобилизоваться...

— ...Опухоль на десятом ребре. Обнаружили при повторном снимке. Ребро удалено, — коротко докладывал капитан.

— Ваш диагноз? — спросил Долинин.

Капитан назвал, но тут же добавил:

— Но я отказываюсь. У хирургов тоже все с вопросительным знаком.

— Почему отказываетесь? — Долинин встал.

— Я это вижу второй раз в жизни, — он показал стекло, — и настаивать не могу.

По лицам коллег Долинин уловил, что капитан в своих сомнениях не одинок, никто не хотел «давить» своей версией, уж слишком большим оказывалось расхождение: называли четыре вида опухоли.

— Для меня этот случай тоже не ясен, — сказал Долинин. — Есть новообразование на ребре. Злокачественное. Но что это за опухоль? Надо послать в Москву. У них больше опыта по опухолям костей.

— А до удаления ребро облучалось? — спросила Ада Львовна.

— Не знаю, — ответил капитан.

— Надо выяснить, это существенно, — сказала она, прикоснувшись левой рукой к шее справа, словно что-то прикрыла ладонью под воротником халата.

«Что за странный жест у нее появился?» — посмотрел Долинин.

— После лучевой терапии бывают своеобразные морфологические изменения, — сказала Ада Львовна.

«Она права, — мысленно согласился Долинин. — Может быть, поэтому нам трудно назвать, что за опухоль... Парню двадцать лет... Надо спешить... В этом возрасте все процессы происходят активнее». Он давно привык ко всему, пересмотрел тысячи стекол, поставил не одну сотню роковых диагнозов людям, скрытым под номерами, но почти никогда не испытывал потребности увидеть или узнать этих людей: адаптация профессии. Но сейчас вдруг захотел увидеть этого паренька. Какой он? Белобрысый?.. Темноволосый?.. Веселый?.. Задумчивый?.. Слабосильный или крепкий, с жилистыми руками, с ободочками грязи под ногтями, туго набившейся, когда терпеливо рыл себе окопчик в учебном центре и вдруг почувствовал боль в боку?.. Кто его родители, один ли у них или есть еще дети?.. Может, еще не поздно?..

— Поторопитесь с Москвой, отправьте стекла... А лучше, если бы вы сами немедленно отвезли их, — сказал Долинин капитану.

— Сергей Никитич, — отвлек его патологоанатом из железнодорожной больницы, — нам ясно: злокачественная, зачем нам эта скрупулезная дифференциация, разве что для музея, — указал он на шкафы с экспонатами.

— Она важна и для больного, и для онкологов: та ли это опухоль, которую они еще успеют одолеть, или... — покачал Долинин головой. — А представьте, клиницисты публикуют статью со ссылкой на нас, на эти четыре вида опухоли, то есть на наши расхождения. Какой тогда от нас прок? Варианты, расхождения допустимы у клиницистов, а от нас требуется однозначность... Следующий номер...

Так уж сложилось в их семье, что почти все хозяйственные хлопоты лежали на муже. Не то чтобы Ада Львовна заставляла его или приучала с первых дней замужества. Получилось само собой, повелось, стало обычным. Он и продуктами обеспечивал, на рынок ходил, даже любил; картофель и огурцы на зиму заготавливал, стиральный порошок — сразу полсотни пачек, туалетную бумагу — сразу коробку. И еще многое другое, вроде мелочи, а в быту не обойтись. За Адой Львовной оставались кухня и уборка квартиры. Тут было где намахаться: четыре комнаты з

старом добротном доме с высоченными окнами и потолками. Полезной площади, без служб, под восемьдесят метров, а с длинным коридором, ванной, туалетом, кухней, кладовой — еще добрых тридцать: семья, слава богу, — семь человек.

Рацеры любили эту квартиру. Прожили долго на Севере, муж, майор, служил в военной прокуратуре. Из-за этого в институт Ада Львовна поступила в критическом возрасте — в двадцать семь лет. И когда после низеньких сборных домиков, разбросанных в тундре, въехали в этот дом, не поверили, что такое бывает. Благоустраиваясь, вложили и любовь, и деньги, и надежды, что это жилье не просто надолго, а навсегда. Когда сын женился и возникла угроза размена, Ада Львовна с тоской осознала, что эти стены оказались все же временными, но мужественно сказала сыну и невестке: «Вы, наверное, захотите жить отдельно. Тогда подыскивайте вариант размена. Нам с отцом этим заниматься некогда». Последняя фраза была маленькой хитростью: слабой, но все-таки надеждой, что молодым будет лень изо дня в день ходить на квартирную биржу, читать объявления. Ада Львовна знала, что на это уходят и месяцы, и годы. Но получилось вдруг неожиданное: сын с невесткой переглянулись и ответили, что такую квартиру грех разменивать, что они *не прочь* жить вместе. Ада Львовна улыбнулась этому «не прочь» как снисходительной уступке из жалости к чудачествам и привязанностям стариков. Она не стала разубеждать и объяснять многое, понятное лишь опытным людям, прожившим военную кочевую жизнь, и не очень понятное молодым, для которых квартира — всего лишь крыша над головой. Но как бы ни было, душа обрела покой, все решилось без потерь, особенно ощутимых, когда уже под пятьдесят, когда заменить их уже нечем, потому что ничего другого уже не нужно, не хочешь...

Она сидела в кресле, очки на лбу, на коленях газета. За столом пили чай и болтали сын, невестка и муж. Внуки спали. Мать, перенесшая инсульт, была у себя в комнате. Домашние давно привыкли, что после вечернего чаепития Ада Львовна не принимала участия в этих разговорах, садилась в стороне с газетой или книгой. То ли любовь мужа к застольным беседам, его непраздный интерес к ним, особенно когда к детям заходили их друзья, то ли неумение Ады Львовны участвовать в споре, который никак не мог повлиять на результат, потому что предмет спора либо пребывал в невероятном прошлом и все уже было давно ясно, или же находился в том будущем, когда прогнозирование

представлялось ей вообще бессмысленным, оно не опиралось на точные факты,— но, так или иначе, Ада Львовна не участвовала ни в беседах, ни в словесных баталиях, она была к ним равнодушна. Ее представления о мире складывались из вещей конкретных, доступных взору, чтобы быть понятными разуму. Это соответствовало и характеру, и профессии; Ада Львовна привыкла, что лишь конкретность объясняет механизм жизни и смерти человека. Пожалуй, никто — даже самые уважаемые ею люди — не смог бы убедить ее в существовании явлений и вещей из такого ряда, как летающие тарелки, инопланетяне, снежный человек, модные нынче экстрасенсы, способные на расстоянии передвигать предметы, ставить диагнозы одним прикосновением руки и лечить целой серией подобных манипуляций. Более всего она не верила очевидцам, считая, что это либо шарлатаны, либо слишком эмоциональные особы с плохо развитым чувством юмора...

Иногда, правда, ее задевало, что во время этих громких бесед к ней уже не обращались. Но, понимая, что устранилась сама и пенять не на кого, со временем привыкла настолько, что, даже сидя рядом, вовсе не вникала в то, о чем они говорили, лишь иногда, повернув голову, видела, с каким запалом муж отбивался от оппонента или насккивал на него, крича: «Нет, без пол-литра нам это не решить!» Со смехом вставал, шел к буфету за бутылкой, нарезал на кухне колбасу, сыр, открывал какую-нибудь банку консервов, тащил из холодильника масло, майонез и все, что годилось к этому случаю. И тогда после чая с вареньем начинался пир. Становилось еще шумней, ее уже вовсе не замечали, и она уходила в спальню-кабинет. Она была рада, что ее дом еще дает людям возможность после забот и хлопот пошуметь о пустяках, которые в момент спора, да еще подогретого рюмкой водки, кажутся проблемами, а решение их будет найдено именно здесь и сейчас...

И снова — рефлекторное движение, осторожное, чтобы никто из домашних не заметил, и на которое (она об этом не знала) обратил внимание Долинин,— левой рукой прикоснулась к какой-то точке на шее справа. Она пошла в спальню, сбросила домашний халат и приблизилась лицом к большому зеркалу. Рядом с бретелькой лифчика, выше ключицы, темнела большая родинка — синевато-коричневая, уродливая, подвижная, на тонкой ножке. Ей столько, сколько Ада Львовна помнила себя. Никогда вроде и не замечала ее, не чувствовала. Родинка не росла. Но недавно стала слегка кровить, боли не причиняла, Ада Львовна просто стала

ощущать ее. Как патогистолог высчитала возможные тут причины, из которых самая безобидная — механическое раздражение: воротником, бретелькой от лифчика или комбинации, мочалкой во время купания. Но знала и другие объяснения, торопившие обратиться к специалисту и решить, что делать. Собиралась, да все откладывала. Дома ничего не знали, иначе бы силой поволокли, а в душе каждого поселился бы комочек страха, тот, что, еще не поделенный на всех, шевелится пока только в ней. Но потому, что была патогистологом и сотни раз смотрела препараты родинок под микроскопом, чтобы поставить кому-то диагноз, оттягивала свой визит к врачу, под различными предложениями говорила себе: «Завтра». Таких «завтра» набралось уже много...

— Ты что, спать так рано? — Муж вошел в спальню.

— Да нет, люблюсь своей шеей.

— В одиночку?

— Морщинки надо разглядывать в одиночку, Лазарь. Старая я стала.

— Молодыми должны быть любовницы. А жене положено быть здоровой, — смеясь, обнял ее за плечи.

— Кстати, любовник, ты в санчасти был? Обещал же мне, что на этой неделе сделаешь кардиограмму.

— Не успел. Совсем уж перейду на преподавательскую работу, тогда начну ходить по врачам.

— Был у генерала?

— Не попал, обещал завтра принять.

— Отпустит?

— Кто его знает...

Муж после увольнения из армии работал начальником следственного отдела управления милиции. Год назад, когда перенес микроинфаркт, врачи порекомендовали подыскать место поспокойней. Начальство обещало отпустить на преподавательскую работу в школу милиции, заочникам он уже читал там курс, но по совместительству. Однако от обещания до решения в приказе дистанция длинная, загроможденная повседневными оперативными и рутинным делами, которые в один день не оборвешь, не отбросишь, чтоб почувствовать себя сразу свободным от них. Ада Львовна понимала, что он и не торопился, к преподавательской деятельности интереса не испытывал. И не ясно было, как отнесется к его рапорту генерал, сам сравнительно молодой, омолаживавший аппарат, но понимавший, что давний опыт и живая память старого сотрудника надежнее архивных бумаг и картотек...

И Ада Львовна, и муж вступили уже в тот возраст, когда

в спокойной атмосфере прочной семьи возникала потребность говорить о каком-то жизненном итоге, о неизбежном приближении рубежа, обиходно называемого «пенсионный возраст». Разговоры о нем, обо всем, что грядет с ним, велись обстоятельно, словно произойдет это завтра, охватывали не замкнутый круг семейных забот и проблем, а широкое пространство с людьми, которые за многие годы оказались крепко связанными с ними такими нитями, какие оборвать немислимо.

И он спросил, будто продолжая прерванный разговор:
— Ты говорила Сергею, что уйдешь, как только оформишь пенсию?

— Он и так догадывается, — ответила Ада Львовна. — И не хочет этого по многим причинам. Во-первых, неизвестно, что получит взамен; во-вторых, спокоен: я ведь ни на что не претендую. Да и двадцать лет дружеских отношений чего-то стоят. Зря, думаешь, он подвесил мне эту хоздоговорную работу? Убивает двух зайцев: знает, не уйду, пока не закончу, и застраховался от возможных намеков начальства, что кафедра стареет. У него есть ответ: «Рацер ведет серьезную хоздоговорную тему, не можем мы в самый разгар менять руководителя». Пусть похитрит, мне-то что... Не кури здесь...

Она слышала, как муж прошел на кухню — проверял, погашен ли газ, закрыты ли краны в раковине, потом выносил ведро с мусором; опрокинув, стучал по баку, стоявшему у подъезда. Это были его заботы, хозяина...

Операция Медовой прошла удачно. Но о благополучном исходе говорить было рано. Медовая лежала в палате интенсивной терапии, у высокой кровати стояла капельница, работал кардиомонитор, подключены были датчики, торчали трубочки дренажных отводов.

Врачей не хватало — кто-то бюллетенил, кто-то в отпуске, кто-то на курсах повышения квалификации, и Каймаков, ассистировавший Бакшеевой, вызвался дежурить вне графика. В напарники ему достался врач-интерн Шурик.

— Если что, звони мне немедленно, в любое время, — уходя, распорядилась Бакшеева. — Следи за давлением. Главное — убереечь от пневмонии...

Он видел, что она действительно безмерно утомлена. Операция длилась четыре часа. Вспоминая лицо и руки Бакшеевой, ее светлые, словно от напряжения углубившиеся глаза, он еще раз понял, каких усилий стоило этой женщине

самообладание, ведь сознавала риск, на который пошла, но сумела выглядеть хладнокровной и передать всем им уверенность в необходимости того, что они вместе делали. Он видел ее глаза и высокий лоб, меж бровей гармошкой морщинки, остальное закрывала маска. Быстрые руки ее вдруг замирали на долю секунды, как мыслящие инструменты, перед тем как выбрать следующее движение, а он, стоя рядом, старался определить, каким оно будет, почти всегда угадывая, и короткие команды Бакшеевой не заставляли его врасплох. Дважды или трижды — сейчас уже не помнил — она даже не кивком, а лишь на мгновение опустив веки, высказывала ему одобрение...

Что ж, он был доволен собой и, ассистируя, смог показать, на что способен, как умеет мыслить, на несколько этапов вперед просчитывая ход такой сложной операции. А техника — дело наживное, когда-то и вскрытие флегмоны казалось ему Рубиконом... Но и она молоток, ничего не скажешь. Не хочет стареть, не сдает... В общем-то и не стара еще, сорок пять... Интересно, есть ли у нее любовник?.. Ох, не завидую ему! Матрона...

Еще когда учился, два человека вызывали в нем уважительную зависть: Бакшеева и Долинин. От них он что-то перенимал, но лишь такое, что соответствовало его характеру и представлениям о необходимом. Время уточнило облик этих людей, что-то отобрав, что-то прибавив, и Каймаков выделил для себя некие их составные. Хотя известность Бакшеевой как хирурга была заслуженной и никогда Каймаков не ставил это под сомнение, все же оценивал ее не шире этого: опыт, техника, доведенная до совершенства, смелость, рождавшая умение мастерски рискнуть, почти мужское самообладание в сложных ситуациях и как итог — победная, откровенная, чтоб все видели, улыбка снисходительности к другим, улыбка не злого, но гордого тщеславия, присущего незаурядным и властным женщинам, выделяющимся в силу занимаемого положения. Знал, как она любила поздравления коллег, искренние и вынужденные, признательность больных, не стеснялась ее, даже если в их благодарности бывали излишества. Сделав сложную операцию, чутко ловила в последующие дни, кто что говорил — хорошее и плохое, хотя это несколько не умаляло существа сделанного ею как специалистом... Самолюбие ее, подстегнутое успехом, всякий раз устремлялось туда, где опять можно блеснуть, выйти из операционной, независимо сидеть в профессорской и, достав из сумочки кольца — одно с большим изумрудом, другое с

бледно-розовой камеей, — надевать их на растопыренные гибкие пальцы, с открытой улыбкой любоваться украшениями, а на самом деле демонстрировать присутствующим свои руки: мол, вот они, сильные, умелые, послушные моему мозгу и воле, и только что ими я совершила чудо...

Все в Бакшеевой Каймакову было ясно. Ее неопасная, веселая, но с привкусом высокомерия снисходительность к другим редко относилась к Каймакову, возможно, потому, что он оставался всего лишь учеником ее, а возможно, и благодаря чему-то общему в их характерах, что Бакшеева интуитивно ощущала и по этой причине так же интуитивно оберегала, как нить своеобразного родства...

И куда неоднозначней был для Каймакова Долинин. Жизнь на его кафедре существенно отличалась от жизни прочих кафедр. Прежде всего — специфика. Но и это Долинин обратил на пользу: к нему привыкли ходить за советом и консультацией с клинических кафедр; будущие диссертанты — терапевты узких специальностей, хирурги, акушеры-гинекологи заглядывали сюда, зная, что Долинин всегда подкинет свежую идейку; многое, что оставалось за пределами интересов своих сотрудников, Долинин упорно заставлял сохранять в виде какого-то архивного следа в надежде, что это станет недостающим звеном в чьем-то исследовании, что найдется человек, пусть со стороны, которому это понадобится, — могут возникнуть аналогии, и, значит, будет уже с чем сравнить. Такое бывало. И тогда Долинин говорил: «Мне попадался такой случай. Дайте-ка вспомнить...» И он вспоминал. Исследования на его кафедре не всегда были подчинены сиюминутному результату, за что Долинина, как знал Каймаков от Бакшеевой, попрекали: мы — вуз, а не НИИ, а вы — не его сектор, от вас требуется бóльшая отдача практическому здравоохранению. Долинин отвечал, посмеиваясь: «А разве есть непрактическое здравоохранение? Вот бы поглядеть на такое!..»

Каймаков слышал, что, внешне мягкий человек, Долинин раздражал многих неуступчивостью, той степенью нравственных оценок, которые порой казались резонерством и для тех, кто плохо знал его, звучали неискренними. Каймаков понимал, что дидактика Долинина — желание внушить свою мысль или правило поведения в их чистом виде, без удобной шелухи условного наклонения. Каймаков понимал, что Долинин как патологоанатом иначе, но и яснее иных клиницистов представлял себе страдания людей: по маленькому срезу на стекле он видел всю механику болезни, знал,

какие силы она еще вовлечет в свое разрушающее действие. И долгий опыт этого горького прогнозирования, и то, что Долинин не был непосредственно и каждодневно связан с больными, с их видом и недугами, по-своему сосредоточило его мысли и помыслы на бедах людей, лежавших в сотнях палат, расположенных за окнами его кабинета. Случалось (Каймаков знал опять же из рассказов Бакшеевой, а к ней информация приходила от дочери), вдруг прервав просмотр стекол, Долинин срывался и шел в клинику смотреть больного, когда необычность биопсии останавливала перед выбором диагноза. «Я же все-таки и терапевт (хирург, акушер-гинеколог) немножко...» — шутил, пряча тревогу. Но кое-кто и за это, слышал Каймаков, считал Долинина лукавым святошей: хорошо ему быть мудрым и распинать нас, сидя перед микроскопом; попробовал бы каждый день иметь дело с больными, с их капризами, с их субъективными ощущениями, которые нередко путают лечащего врача; да еще бесконечное писание историй болезней, да еще терпеть норы медсестер и санитарок, от которых зависишь... Что ж, понять можно...

Многое в Долинине нравилось Каймакову, но как-то абстрактно. Трезво же осознавал, что таким, как Долинин, не станет — характер не испытывал в этом потребности. Бакшеева должна быть Бакшеевой, Долинин — Долининым. А он — Каймаковым. Иначе все люди носили бы одинаковые имена и фамилии и назывались бы «рыбья икра», где какое зернышко ни возьми — оно все равно останется рыбьей икрой... Тому, чему у них надо научиться, — научился или еще научиться, но без насилия над собой, Каймаковым... Он не сможет так властвовать, так владеть собой, как Бакшеева, не сможет любить медицину, как Долинин — *только* ради ее назначения, в каждой профессии, полагал он, человек ищет утоления и своих личных претензий... Разве это может помешать ему быть хорошим хирургом, профессионалом высокого класса?!

Каймаков любил свою работу. Она была его бытием. Его сместило стремление некоторых коллег не то чтоб увиливать, а изворотливо высвободить время «для себя», будто за порогом клиники кончалась повинность и начиналось главное — другая жизнь. Как человек молодой, он тоже любил все, что любит возраст, но время для этого *выделял* расчетливо, не жертвовал тем, ради чего приходил по утрам в клинику, оперировал, мог сидеть ночь у постели послеоперационного больного и анализировать минувшую операцию. А

оперировать любил — хлебом не корми, и нередко с ощущением, что это — ради себя, для себя, влекла мысль: на что еще способен, что могу еще? Ответ на этот вопрос, как свет в конце тоннеля, удалялся с той же скоростью, с какой настигал его. И все же искал: нестандартную тактику, иные подходы, искал за пределами собственно хирургии, думал о причинах, приведших к оперативному вмешательству, и о вариантах последствий его. Хотел удовлетворить свое *любопытство*. Он делал бы все так же добросовестно, с той же мерой *интереса*, будь не хирургом, а инженером-конструктором, физиком-экспериментатором, шофером такси, маляром. Но раз уж материалом для выяснения своих возможностей служили люди, то имелся еще коэффициент добавочной добросовестности...

— Вы что, Алексей Юрьевич? — спросил интерн Шурик, заметив, что молчащий Каймаков шевелит губами.

— Да так, вспомнилось...

Они сидели в ординаторской. Была глубокая ночь. Только что выпили по две чашки кофе, который Шурик носит в термосе на ночные дежурства. Разница в возрасте у них всего в пять лет, однако отношения определены: Каймаков уже писал диссертацию, а Шурик — вчерашний студент, добродушный парень, невероятно оборотистый. Говорили, что он может все: достать новый диск Челентано — пожалуйста; рубашки «Мистер Д» — назовите цвет; крестовину к «Жигулям» — хоть завтра; билеты на концерт «Червоных гитар» — сколько штук? Шурик общался с самой невообразимой категорией людей. «Ты что, фарцуешь?» — как-то спросили его. «Зачем? — засмеялся Шурик. — Просто перераспределяю дефицит. Владельцу крестовины достаю духи «Фиджи», а владельцу духов — билеты на хороший концерт, таким образом билетный бог получает желаемую крестовину». — «Ну а сам-то, какой навар имеешь на этом?» — «Никакого. Зато все хотят состоять со мной в приятелях», — снова смеялся Шурик. Все же некоторые подозревали, что он подфарцовывает; другие, правда, начисто отрицали, ссылаясь на его широту, обязательность и щепетильность в денежных расчетах... Шустрый и обаятельный, он располагал к себе, больные его любили за веселый нрав, сестры и санитары — за то, что не гнушался никакой работы, выручал, когда, случалось, они не поспевали: и укол сделает, и систему подключит, и судно подаст и вынесет, и накормит больного...

— Загляну-ка в седьмую. — Шурик встал, потянулся. — Старушка, у которой почку удалили, температурить начала.

— Я ее смотрел... И туда не забудь,— кивнул Каймаков куда-то за спину.

— А как же!..

«Малый вроде ничего, надежный»,— посмотрел ему вслед Каймаков.

Толстая канцелярская тетрадь была размечена Долиным по продуманной им схеме. Кроме фамилии, диагноза, возраста в отдельной графе указывалась и профессия умершего. Архивные стекла с некропиями постепенно заполняли вместительную синюю коробку от подарочного столового набора. На ней он наклеил бумажку: «Инфаркт миокарда. Склероз. Молодой возраст». В эту коробку он собирал и текущие стекла. Начинала просматриваться какая-то система: ранние инфаркты у людей определенной группы профессий. В чем дело? Откуда это почти одинаковое поражение сосудов? Может быть, что-то попадает в них извне?.. Мысль была робкой. Но он стал накапливать схожие случаи с упорством археолога, который еще не знает, следы чего он ищет в недрах, но предчувствие гонит его вглубь...

Два слова — «сосуды» и «склероз» — плотно сошлись, осели в его сознании, как кристаллы, выпавшие из перенасыщенного раствора. Захватил не внезапный соблазн, думал об этом давно, понимал, что уже отречься, спокойно заниматься только лекциями, повседневными делами кафедры, частными исследованиями, которые дают ближайший результат,— не сможет: слишком сильна инерция, набравшая разгон в течение всей жизни, необратим привычный режим мозга, остановить немислимо, как немислимо заставить течь кровь в обратном направлении. Все это казалось сильнее страха. А страх был. Перед собственным возрастом — скоро пятьдесят, а там — годы покатятся, как с горы; перед временем, чтоб перейти это новое огромное поле, ведь на проверку любой гипотетической мысли могут понадобиться годы. А если мысль эта окажется либо ошибочной, либо упрется в тупик? И еще предстояло принять немаловажное решение — направление работы. А их было два: гипоксия, кислородная недостаточность — как следствие состояния сосудов, а гастриты и язвы — как итог гипоксии; и — загадочная патология сосудов, а как итог — инфаркты у молодых людей определенной группы профессий. Внешне разные направления, они уходили в глубину непознанного параллельно, связанные общим словом «склероз». Двигаться по обоим

одновременно? Дольше и труднее, хотя и заманчиво. Но ведь может оказаться, что где-то в невероятном отдалении они перестанут быть параллельными, больше того — круто разойдутся? А время будет уже исчерпано на удвоенный объем исследований... И все-таки...

Теперь важен был покой. В быту, на кафедре, в собственной душе. Ремонт на кафедре — пустяк, скоро закончится. А вот ремонт квартиры затянулся! Не хватило облицовочной плитки для ванной, нет обоев, когда начали стелить новый линолеум в прихожей, выяснилось, что доски прогнили, лаги необходимо заменить, достать для черного пола сухие плахи...

Жена видела состояние Долинина, догадывалась, в чем дело, — такое бывало: подступая к чему-то новому, он наводил порядок в себе самом, чтобы ничто не отвлекало потом, когда все глубже и глубже станет втягивать работа. В такую пору душевной лихорадки, когда терзало ощущение, что время убывает с удвоенной скоростью, Нина Борисовна старалась уберечь его от досаждавших мелочей быта, на которые вроде и можно махнуть рукой, однако же они пролезали во все щели, не увернешься...

Вот почему вечером она сказала ему:

— Эти лаги и доски я достану.

— Ты?! — удивился Долинин, зная полное неумение жены предпринимать что-либо, связанное со словом «достать».

— Отец одного моего ученика начальник заготовительного цеха на ДОКе. Есть же у них там брак или что-нибудь бросовое, списанное. Заплатим.

— Думаешь, сделает?

— Сделать-то сделает, не хочется быть обязанной. Десятый класс, аттестационный балл. В какой бы деликатной форме ни происходил разговор, все равно в нем будет присутствовать: вы — мне, я — вам. Единственное утешение, что ученик этот сильный.

— На медаль идет?

— Нет, медали тут не будет. У него две четверки...

Он знал психопатию родительской любви накануне экзаменов на аттестат зрелости, готовность на унижения, на что угодно, лишь бы чадо выпорхнуло из школы на крыльях пятибалльного аттестата. Знал, что к жене не рискнут обращаться с просьбами даже окольно — через директора или завуча. Откажет. Не грубо, не высокомерно, без проповеди о порядочности, но откажет, деликатно напомнив, что в классе

есть ученики не менее способные, но за которых похлопотать некому,— это либо брошенные отцами и живущие на алименты, либо полусироты, заботы об аттестатах матери возложили на них самих, потому что других хлопот по уши: чтоб дети не ощущали ущербности своей — питались и одевались не хуже прочих...

Выскажи Долинин хоть малейшее сомнение, даже просто покривись — стоит ли, чтоб доски доставались таким путём,—Нина Борисовна обрадованно тут же согласилась бы с ним, что не стоит. Но он промолчал, а ее царапнуло, и она сказала:

— Но об обоях ты уж позаботься сам.

— Попрошу Настю. У нее всегда какие-то связи...

— Да-да, она это умеет,— мстительно заметила Нина Борисовна, хотя и не любила никаких одолжений от Бакшеевой. И уже миролюбиво сказала: — Забегала Катенька. Ее опять вызывали, просили поторопиться с ответом.

— Просто не знаю, что и сказать,— пожал он плечами.

— Ну, это не доски и не лаги.

Он пропустил мимо ушей, подошел к сушилке, выровнял накренившуюся меж прутьев тарелку. Нина Борисовна ждала. Было над чем ломать голову: дочери предложили поехать на два года в ФРГ преподавать в Бохумском институте русского языка. Заманчиво, конечно. Не на последнем месте тут соображения и материального порядка, дочь и зять стремились утвердить свою независимость от родителей, и от них требовался сейчас ответ лишь на один вопрос: согласны ли они на время отсутствия Кати взять внучку. Но Долинина смущало не это: Машку, конечно, они с Ниной возьмут к себе. Было другое: наводя справки, Долинин узнал, что институт этот, «Руссикум», посещают не просто студенты, молодежь. Это — хозрасчетное заведение, где русский язык изучают все, кто пожелает: и студенты-слависты, и фирмачи, и домохозяйки, и менеджеры, и дипломаты, и иностранцы — англичане, американцы, швейцарцы,— постоянно или временно проживающие в ФРГ. Долинин ясно представлял себе сложности, соблазны, неожиданности, какие могут возникнуть в нынешнее взвинченное время. Гладко не будет. Не на две недели ехать, не туристкой, а на два года работать. А Катя, в сущности, девчонка еще. Чей жизненный опыт в нужный момент заменит ей свой собственный, едва прозревший? И какой он будет: добрый или коварный? Отодвигается и поступление в аспирантуру...

Высказав все это Нине Борисовне, он все же поубавил

мрачные краски, не хотел настраивать ее на категорическое «нет». В этой двухгодичной командировке виделись вместе с тем приятные и полезные обретения; правда, каждое из них оценивалось Катей и им с разным количеством плюсов — всякий возраст имел в виду свое.

Но имелось еще одно общее — у Нины Борисовны и у него — сомнение, о котором они до поры деликатно умалчивали. Нынче же, как мать и просто как женщина, Нина Борисовна отбросила околичности и, понимая, что обоюдную волюнку-молчанку тянуть больше нельзя, сказала:

— Два года Максим будет предоставлен самому себе. Машка у нас. Он один, свободен...

— На эту тему я не могу с Катей...

— Я не сомневалась... Я говорила с нею.

— И что она?

— Смеялась. Но смех этот... — Нина Борисовна покачала головой, — скорее защитная реакция. Она, видно, и сама решает эту нелегкую задачу.

— Мы не можем быть при Максиме сторожами. Тут или — или...

— Ты говоришь как о ком-то постороннем, а не о дочери. Речь идет и о судьбе Машеньки. Ради чего рисковать?!

— Но не можем же мы брать у Максима гарантийную расписку?! Тут Катя должна решать сама. Если мы выскажем сомнение, а она все же надумает ехать, с каким настроением она там будет жить, работать? Два года! Ей там хватит нервотрепки, а если еще и боязнь, не спутается ли муж тут с какой-нибудь девкой!.. Если он порядочный парень, то тем более мы не вправе ее настораживать. А если сукин сын, то, останься она дома, когда-нибудь из него это полезет.

— Это теории, Сережа. В жизни все проще и примитивней...

Долинин не стал возражать, понимая жену, ее несложную буднично-упрощенную схему, природный, охранительный женский инстинкт. Что тут скажешь?!

Так и сидели в согласном молчании, не выяснив, к какому же мнению пришли, чувствовали, что выбор придется делать не им...

— Нужно съездить к маме, — погодя сказала Нина Борисовна. — Она купила нам телятину. Поедешь?

— Когда?

— Часов в восемь, в половине девятого...

Его отношения с тещей были путаными. Она не могла простить ему, что он не поехал в Житомир за камнем для

памятника мужу. В Житомире в облисполкоме каким-то начальником служил школьный приятель Долинина. И теща об этом знала. Но поездка сулила сплошные неудобства. Во-первых, потеря времени; во-вторых, ехать за таким делом к человеку, которого не видел лет пятнадцать, неловко. Может, при встрече и говорить уже будет не о чем, кроме этого камня. И Долинин сказал, что из местного камня тоже получится вполне пристойное надгробие, а основание можно сделать из мраморной крошки, покойнику безразлично, что над ним взгромоздят, все это живые делают больше для себя, ради нелепого кладбищенского престижа. Теща оскорбилась, ко всему Нина Борисовна заняла сторону мужа, пыталась внушить матери, что Долинин с этим школьным приятелем давно не поддерживает никаких отношений.

Долинин же не мог забыть теще, что та не пожелала переехать к ним, а квартиру свою уступить Кате с мужем. «Я хочу жить независимо, ко мне еще ходят гости». Долинину пришлось покупать кооператив. И дело было не столько в деньгах, сколько в усилиях, хлопотах, истраченном времени, хождении по инстанциям в роли просителя.

Теща была человеком деспотичным, чувство справедливости направлено в ней лишь в одну сторону — к себе, по отношению же к другим его не существовало. Раздражалась до гнева, до слез обиды, когда Долинин или Нина Борисовна, вступаясь за него, уличали ее в неправоте, припирали к стенке. Теща не говорила: «Не помню», а стояла на своем: «Не было такого, не делайте из меня идиотку! Вы скоро меня сумасшедшей объявите...» Могла, конечно, и не помнить, старый человек, но ей было невыгодно помнить, она не хотела, это не совпадало с ее позицией. «С вами надо вести протокол», — говорил в таких случаях Долинин. И тогда начиналось: валокордин, сетование на одиночество, на то, какая у нее жуткая старость, как ее не ценят и унижают. Непробиваемая эта демагогия бесила Долинина, он готов бы сорваться на крик, исчерпав логику, но, видя умоляющие глаза жены, сокрушенно сдавался.

Возникали еще какие-то взаимные обиды, вроде мелкие, но кусучие, и сейчас уже трудно установить, кто был изначально виновен, чьи обиды старше.

Общался с тещей он редко. Когда же появлялась необходимость посещать ее, не отказывался, чтоб его долгое отсутствие не было расценено как демонстративное нежелание видеться...

Он вздрогнул от телефонного звонка.

— Сергей, ты разыскивал меня?

— Витя? Здравствуй!.. Да!..— узнал он голос Юшина.

— Вертелся последнее время как заведенный... Конференция, совещания. В Москве две недели сидел, недавно комиссию принимал. Потом еще что-то... Как вы там?

— Живем... Мне повидать тебя надо.

— Ты что завтра делаешь?

— Воскресенье... Как обычно...

— Может, в баньку? Директор спортбазы «Трудрезервов» приглашает... Есть рыбка к пиву, и о жизни поговорим. Ну?

— Неплохо, конечно,— что-то прикидывая, не сразу ответил Долинин и подумал: «Можно и в баньку. Пошло все к черту: и ремонт, и все!.. Посидеть с Витькой в парилке, поболтать... Ведь почти не видимся».— Хорошо! В котором часу?

— В двенадцать заеду. Годится? Паше Бакшееву позвоню...

— Давай, жду!

— Тогда все. Нине привет!..

— Виктор звонил,— сказал Долинин, заметив вопрошающий взгляд жены.— Привет тебе передавал. Предложил завтра в сауну.

— Он и меня пригласил? — спросила, посмеиваясь.

— Нет, мальчишник... Тебе с нами скучно будет,— засмеялся.

— А я думала, мы по дому что-нибудь сделаем.

— Неловко теперь отказываться.

— Конечно, уже неловко.

— А ты что будешь делать?

— Подошью занавеси... Включи телевизор.

— Да брось ты это шитье, успеется! Сходи лучше к Аде.

— Я найду себе развлечение...

Он видел: жена недовольна. Она никогда не возражала против нечастых его отлучек с Виктором, но оставаться на все воскресенье одной в разгромленной квартире ей тоже не хотелось. Знал, что недовольство это пройдет быстро, начини он рассказывать какую-нибудь забавную институтскую новость. Она не так уж жаждала этих новостей, просто понимала нехитрую его уловку и охотно шла навстречу, в глубине души сознавая, что ему необходима какая-то разрядка: сауна, пиво с воблой, хмельная болтовня с Виктором и Павлом или футбол по телевизору (на стадион он перестал ходить — местная команда вылетела из высшей лиги)...

Когда приехали к теще, застали гостей — четырех еще бодрых старух и совсем дряхлого Александра Ивановича; они пили чай, о чем-то говорили и ужасно обрадовались появлению Долининых, оживились. Нина Борисовна и мать, извинившись, ушли на кухню, старухи усадили Сергея Никитича, налили чай, тут же сообщили ему какие-то сногсшибательные медицинские сенсации. Александр Иванович отверг эту тему, его интересовала проблема безработицы в Америке и Афганистан, на границе с которым он когда-то служил...

Ещё не так давно Долинин заставлял в этом доме «полковничьи вечеринки», как прозвал он. Шесть ушедших в отставку полковников погранвойск и их жены. Это были люди, любившие вкусно поесть, умевшие выпить, шумно, без натуги веселиться, готовые судить обо всем непререкаемо авторитетно. Государственные и семейные праздники они отмечали вместе, были знакомы с двадцатых годов, сперва молодыми холостяками, затем уже с женами, служили бок о бок, кочевали по разным границам. Служба то разводила их по разным заставам, то вновь собирала. И так — почти сорок лет. Их объединяли общие память, убеждения, общие слова, им всегда было о чем говорить. Их дети меняли за десять лет учебы по пять-шесть школ: отцов перебрасывали с границы на границу, и вновь их пути где-то пересекались, где-то они опять оказывались в одном погранотряде, а семьи — в стенах одного коммунального жилья. Они не накопили добра-барахла, мебели, чем были насмешливо горды, осуждая и обсуждая новое поколение. Было в этом детское, наивное непонимание естественных перемен, происшедших в жизни. Частые и внезапные переезды приучили их довольствоваться минимумом необходимого, да и потребности в чем-то большем они не ощущали. Жены их — тогда молодые, крепкие, полнотелые, с загоревшими лицами — не хуже мужей сидели в седле и стреляли из нагана, накануне гарнизонных соревнований месили крутое тесто в тазах или затевали стирку, чтобы завтра, во время стрельб, набрякшая силой рука была устойчивой, не дрогнула, всаживая в мишень пулю за пулей не дальше круга, помеченного восьмеркой...

Состарившимися, но еще бодрыми застал этих людей Долинин и всякий раз думал: «Мы смотрим на них, на нас смотрят наши дети, неужто как на паноптикум? В чем же загадка неумения возраста адаптироваться в ином времени?..»

Иногда, сидя с ними за обильным столом, он слушал их споры; разговоры, в которых оценки прошлого и нынешнего

совпадали в категоричности и однозначности, полутонков эти люди не знали: «Да это же вредительство! В наши дни за такое — к стенке ставили!..»

Случалось, Долинин ловил себя, что разделяет требования их раздраженной совести, но тут же спохватывался, что-то в их правоте коробило, их взыванию к честности и исполнительности противоречила жестокость, которая только и должна охранять порядок и нравственные устои...

А потом началось страшное: смерть принялась выбивать этих стариков, сперва выстроив в череду мужчин. Так к позапрошлому году осталось пять вдов и один вдовец. Они по-прежнему собирались, отмечали дни рождения, а теперь уже и дни смерти, праздничные даты или просто попить чаю и поиграть во фраз. Поубавилось еды и выпивки, разнообразие уступило место пресным диетическим блюдам. Что-то щемящее и трагическое было в той серьезной заботе, с какой пять старух в канун Дня Советской Армии или Дня Победы отправлялись сообща покупать подарок единственному живому мужчине, в том, как сажали семидесятипятилетнего Александра Ивановича, немощного, глуховатого, во главу стола, обхаживали, подносили лучшие куски, подавали пальто, когда он уходил, навещали, когда болел, тряслись над ним, оберегали, боясь, что с его исчезновением распадется и исчезнет не только их прекрасная прошлая жизнь, но даже память о ней. Как младенцу, прощали они Александру Ивановичу, когда он путал события и годы, имена давно умерших сотоварищей, не поправляли его, чтоб не обидеть, а лишь горестно переглядывались.

Долинин не сразу привык к этому зрелищу; нередко, возвращаясь от тещи, подавленно думал о жестокой насмешливости старости, о том, что когда-то эти люди были молоды, подвижны, независимы, совершенны физически, обладали красивыми сильными телами. Ведь было, было так! И жизнь они прожили не ради грядущих воспоминаний о ней, говорил он себе, а ради любимого дела...

Привез их солдат-водитель Бакшеева, молча и сосредоточенно гнавший машину по мокрому асфальту. Еще накануне Бакшеев предложил свой «уазик».

— Когда за вами, товарищ подполковник? — спросил солдат.

— Давай в семнадцать. И не гони, скользко. — Бакшеев сильно захлопнул дверцу.

С портфелями в руках они стояли, окруженные тишиной сырого леса. Кое-где белел слежавшийся снег со следами затвердевшей лыжни. Раскачивая старые сосны, ветер размешивал в стилом воздухе едва уловимый запах хвои.

Баня на берегу реки была выстроена с размахом. Со стороны шоссе, рассекавшего лес, высокий, огороженный забором сруб из тяжелых потемневших бревен. Внутри него — банкетный зал человек на двадцать, с камином, где жарили шашлыки, со старинными каретными фонарями по стенам, в углу обшитый медью ларь с посудой. Длинный коридор, по одну руку комната отдыха с телевизором и телефоном, подсобные помещения и раздевалка, на фигурных кованых крюках — махровые халаты, свежие простыни стопкой и деревянные сабо с брезентовыми ремешками; по другую сторону коридора — предбанник, бассейн с речной водой, душевая и дверь в святая святых — в сауну, а из нее дверь сразу же на мостики над рекой...

Директор спортбазы, моложавый, но уже с брюшком, квадратный, то ли бывший штангист, то ли борец, по зеленой ковровой дорожке проводил их в раздевалку. Из банкетного зала долетали рваные ритмы музыки и молодые голоса.

— Наши боксеры, — объяснил хозяин. — Вес сбрасывали перед соревнованиями.

— Под шашлыки? — подмигнул Юшин.

— Упаси бог! Только сок!.. Вы уж извините, Виктор Викторович, я вынужден вас покинуть... Вы тут человек свой, распоряжайтесь, все, что надо, — готово.

— Что это он суется вокруг тебя? — спросил Бакшеев.

— А ты как хотел? Санслужба-то — моя парафия... Сергей, чего сидишь? — повернулся он к Долинину. — Раздеваться тут надо самому, это в обслуживание не входит.

— Э-э-х! — сбросив сапоги, блаженно вытянул огромные ноги Бакшеев.

— Почему ты в форме, сегодня ж не служишь, воскресенье? — спросил его Долинин, снимая свитер.

— С вами этак надежнее, — хмыкнул Бакшеев. — А служу я, Серега, двадцать восемь часов в сутки.

— С нами ты, Паша, будешь тут в основном без портков, так что мог погоны оставить дома, — сказал Долинин.

— А голого мы тебя не боимся, — подыграл Юшин. — Да что мы! Тебя и Настя такого, наверное, не боится!

— Но-но! Поговорите еще! Пешком хотите домой топать? Как-никак — восемнадцать верст... Ну что, вперед? — Здоро-

венный, мускулистый, он возвышался над ними, намотав вокруг бедер полотенце.

Громко стуча сабо, они двинулись в сауну. Бакшеев сразу же полез на третий полук.

— Не усердствуй, тебе не двадцать,— предупредил его Долинин, чувствуя во рту сухой палящий воздух.

— Слезь, Пашка, постепенно надо,— сказал Юшин.

— Вы можете помолчать? Дайте понаслаждаться! — На лице и могучих плечах Бакшеева уже блестел пот.

Долинин сидел, закрыв глаза, постепенно освобождаясь от бремени тела, лишь учащенной работало сердце, пока легкие приспособлялись к высокой температуре жаркого воздуха. Не хотелось ни о чем думать, полное ощущение свободы. «Клиническая смерть», — смешно мелькнуло в голове. Он посмотрел на Юшина. Тот, лоснясь от пота, поглаживал волосатую грудь, вяло кивнул в ответ: мол, что еще человеку надо, чтоб быть счастливым?!

После душа они устроились в комнате отдыха, закутанные в махровые халаты, пили пиво с вяленным лефом. Вошел курчавый темнолицый парень в белом халате, в тапочках. Поздоровался.

— С кого начнем? — спросил.

— Это в каком смысле? — Юшин поднял глаза.

— Я массажист.

— Давай, Сережа, иди,— предложил Юшин.— Я не буду.

Долинин тоже отказался.

— Ну и дураки,— поднялся Бакшеев.

— Еще пива,— предложил Юшин, когда остались вдвоем.

— Полстакана.— Наливаться пивом не очень любил, тяжело мутнела голова, от водки хмелел радостней, что ли.

— Славный он парень,— сказал Юшин о Бакшееве.— Спокойный, ровный со всеми, видит вещи такими, каковы они есть.

— Они что, всегда такие, какими он их видит? — сощурился Долинин.

— Для него, во всяком случае... Но для Насти он слишком покладист, ей бы поупрямее кого, она любит преодолевать,— засмеялся Юшин.— Как это все же она не женила тебя на себе? А ведь хотела! Ух как она тебя любила! А за Пашку пошла, чтоб досадить.

— Что это вспомнил? Полагаешь, меня можно было женить таким манером?

— С ее-то характером? Удивляюсь, что уступила тебя... Красивая она была...

— Красивая,— согласился Долинин.

— Не жалеешь?

— Ты всегда хорошо относился к Нине. Что-то изменилось?

— Мы с тобой почти никогда не обсуждали наших семейных дел, наших жен. О работе, о политике, о футболе, об урожае, в котором ни хрена не смыслим,— пожалуйста. А вот о домашнем, о женах не принято, правда? «Как дома?» — «Все в порядке». — «Привет жене».

— У тебя возникла потребность? Пожалуйста, давай,— шутливо предложил Долинин.

— Ты ведь, помню, не одобрял мой брак.

— Мало ли чего я не одобрял в молодости,— пожал плечами Долинин.

— Экий ты, Сережка!.. В твоей стерильной деликатности ни цвета, ни запаха, иногда ее хочется дерьмом, что ли, разбавить.

— Витя, ты чего от меня добиваешься? — Он видел, что Юшин отяжелел, разговор казался хмельной блажью.— Ты прожил с Верочкой всю жизнь, у вас семья, дом, в котором я бываю, ем, пью. А ты вроде вымогаешь какой-то уж бессмысленной откровенности — и с чего вдруг?! — о твоей жене. Тебе хочется укрепиться в каких-то своих мыслях за мой счет? Чтоб я вслух поддакнул тому, о чем ты молчишь? Зачем? Что произошло?

— А ничего не произошло... У нас в семье ни-че-го не происходит. В том-то и дело,— внезапно произнес Юшин.— Вы телепат, профессор, только иногда придуриваетесь.— Он вышел в коридор, посмотрел влево, вправо. Из банкетного зала все еще грохотала жестко-ритмичная музыка. Юшин вернулся и уже обыденно, спокойно спросил: — Ты чего разыскивал меня?

— Кто у тебя главврач в Каменко-Озерецком районе?

— А что?

— Сукин сын он. Принуждает патологоанатома фальсифицировать диагноз в протоколе вскрытия. Ему, видишь ли, не нужна истинная причина смерти больного.

— На то он и главврач,— усмехнулся Юшин.— Каждый смертный случай по нашей вине — это скандал... Кто там патологоанатом?

— Моя бывшая студентка, Оля Пескарева. Толковая, серьезная... и уступать не хочет. Но она одна.— Долинин

смотрел на побелевшую от горячего воздуха и воды кожу рук, они казались исхудавшими.— Ты знаешь, что такое профессиональное одиночество?! Тем более для молодого специалиста?

— Ну, не так уж она одинока, коллектив там большой.

— Она одинока профессионально, как патологоанатом,— раздраженно повторил Долинин.— Остальные — врачи-клиницисты. Пусть они хорошие люди, знают свое дело и к Пескаревой прекрасно относятся. Но каждого, наверное, грызет червячок страха: «А вдруг у меня умрет больной, кто, если не главврач, заинтересован защитить меня?»

— И ты всех готов тащить на экзекуцию?

— Чисто по-человечески я их понимаю. Никто не застрахован. Но очень уж подвижной становится граница между неизбежностью и промахами, халатностью, неумением.

— Сережа, ты втолковываешь мне, что дважды два — четыре. В чем ты видишь выход из положения? — спросил Юшин, хорошо зная Долинина, и милостиво подумал: «Пусть пофантазирует, если получает удовольствие, хотя, честно, фантазии эти давно ясны всем настолько, что пора бы им стать реальностью».

— Не положено по логике, чтоб патологоанатом подчинялся тому, кто отчитывается за смертность. Это в идеале.

— А не в идеале?

— Они не должны зависеть от главврачей тех учреждений, где работают.

— А кому же они должны подчиняться?

— Областному патологоанатому при облздраве. И не символически, как сейчас, а во всем административном объеме. Областного патологоанатома надо уравнивать в правах с главврачом областной клинической больницы: у одного свой штат, у другого — свой. Исчезнут конфликтные точки соприкосновения. Кафедру оставляю в стороне, мы — учебная единица института.

— Если принять твой проект, мы в облздраве совсем пропадем, теперь мы уже окажемся вынужденными либо сочинять липу, чтоб усидеть в кресле, либо показывать правду, что равносильно заявлению «по собственному желанию». А так нам сейчас есть с кого спрашивать: с маленьких главврачей, пусть выкручиваются.

— Ты мыслишь извращенно, как чиновник, или валяешь дурака.

— А ты?! — взорвался Юшин.— Ведь я и есть чиновник.

— Успокойся. Я не собирался тебя уязвлять. Твоя работа

нужна не меньше моей. В рассуждениях же моих одна забота: эта реформа повысила бы ответственность лечащих врачей, их квалификацию, значит, общий уровень медицины. Тогда станет меньше поводов для альтернативы: либо врать, чтоб усидеть в кресле, либо показывать в отчетах истину.

— Красивая схема.— Ссутулившись, Юшин разгребал в тарелке рыбы очистки, нашел плавничок с кусочком янтарного мяса и обсасывал его, запивая пивом.— Что ж, я не возражаю. Напиши министру, пусть проведет опрос завобл-здравотделами,— посмеиваясь, сказал он.— А пока суд да дело, будем решать, что нам подвластно с твоей Пескаревой. Что ты хочешь конкретно?

— Поменяй: дай в эту райбольницу зубастого парня, а девчонку заведи сюда. Если бы у меня была вакансия, я взял бы ее к себе.

— Вот тут ты реалист.

— А в остальное не веришь?

— Я — чиновник, Сережа, это мы уже выяснили,— уклончиво ответил Юшин, встал, запахнул халат.— Пойдем еще потеть? Пашка небось без нас там наслаждается, пока мы решаем нерешающиеся задачи.

— Нерешающиеся?

— В этой сауне — нет, может, там, в другой,— указал куда-то пальцем и, не ожидая Долинина, застучал деревяшками.

Вот уж правда, понедельник, будь он неладен, и есть самый подлый день: едва шофер Юшина выехал за ним из гаража, полетела рулевая тяга, машину за пятерку отбуксировал водитель случайного самосвала, а Юшин на работу отправился троллейбусом. Понедельник — присутственный день, и Юшин с раздражением видел, что опаздывает,— хотел приехать на час раньше, до приема посетителей, просмотреть бумаги, непрочитанные письма...

В троллейбусе было тесно, как острят в таких случаях, настолько, что даже мужчины стояли. И он стоял, прижатый к чьей-то широкой спине, вцепившись в портфель, который все время оттирали перемещавшиеся пассажиры, и то и дело подтягивал его к себе, скользил взглядом по утренним лицам людей.

В приемную уже набился народ, и, направляясь в кабинет, Юшин успел заметить сидевшего около копировальной машины главврача Каменко-Озерецкой больницы.

«Я ведь его еще не вызывал,— удивился Юшин.— Каким святым духом принесло?..»

Повесив пальто и шляпу в шкаф, он причесывался перед зеркалом, вделанным с внутренней стороны дверцы. Вошла секретарша, положила на стол папку с надписью «Срочно».

— Ну что, Валя, начнем? Кто у нас там из своих? — сел он за стол.

— Старшая медсестра областной клинической больницы и главврач из Каменко-Озерецкой. Остальные — на прием.

— Пригласите старшую,— сказал он и подумал, что полагалось бы сперва побеседовать с главным врачом областной клинической больницы, а потом с его старшей сестрой. Но тот был человеком вспыльчивым, мог понестись сразу же выполнять приказы начальства, обрушил бы гнев на своих подчиненных. И пошло бы цепной реакцией, покатилося бы бог знает по какому числу людей, от заведомых до санитарок. Кроме того, Юшин предпочитал иметь дело с непосредственными исполнителями, полагал, что так надежнее, Иван не будет кивать на Петра. Старшую же он знал много лет, спокойно переносил ее грубоватое ворчание, прощал резкость, когда отбивалась, считая себе правой. Но и работником была незаменимым, фронтовичка, высокая, крупная женщина по фамилии Скуратова. Медсестры всех отделений боялись ее как огня и называли между собой «Малюта» — за властность, строгость и мужеподобную походку.

Старшая вошла, села без приглашения.

— Я вызвал вас,— он порылся в папке,— опять по поводу игл и шприцев. Инфекционисты дали сведения, что пошла в рост кривая сывороточного гепатита.

— Она растет во всем мире.

— Это я знаю. Но меня интересует не весь мир, а то, что происходит у нас. Нарекают на медсестер.— Он подал ей листок.

— А на кого же еще?! На вас, что ли, будут нарекать! — ответила, не глянув на бумагу.

— Нужно ужесточить контроль. Шприцы и иглы для перенесших боткинскую хранить и кипятить за сто верст от прочих! Мне уже надоело повторять.

— Не в этом причина, Виктор Викторович. Сама проверяю все отделения. На каждом стерилизаторе надписи. Гоняю сестер. Не в этом дело. С периферии сколько поступает больных? А в их историях не всегда указано, перенес боткинскую или нет, или пишут «нет». Попробуй проверь!.. Да и не наше это дело! Врачи, которые направляют, должны выяс-

нять. А доноры? Разве они всегда говорят правду, чем переболели? А мы заряжаем капельницы, не зная.

Юшин понимал: права. Придется вновь собраться с инфекционистами и главврачом, ломать голову, какой еще изобрести контроль, проверки, систему выявления всех, перенесших боткинскую, но не взятых на учет...

— Пустое это,— сказала внезапно старшая.— Тычем пальцами, обвиняем друг друга. А иметь бы разовые шприцы да разовые иглы, никаких тебе кипячений и перекипачений: уколол, выбросил на помойку. Давно уж пора, чтоб как у людей... Вон «Жигулей» наклепали же! Улицу не перебежишь, весь кислород сжирают. Вместо них бы фабрики, чтоб шприцы и иглы выпускали. Дешевле государству обошлось бы: по листкам нетрудоспособности сколько этим гепатитчикам платим, человеко-часы на рабочих местах теряем... А так...— Она поднялась.— В общем, в среду соберу медсестер на головомойку еще раз.

— Да... Пожалуйста...— Юшин проводил ее до двери, покачал головой: ай да «Малюта»! И ничего не скажешь — права...

Главврача из Каменко-Озерецкой райбольницы он умышленно придержал и принял перед самым перерывом, хотя тот дважды порывался войти.

— Что у вас? — хмуро спросил его Юшин.

— Банк не пропускает смету на ремонт родильного отделения. Говорят, не ремонт это, а новое строительство.

— Покажите.

Главврач подал сцепленные большой скрепкой страницы.

— Оставьте, сейчас мне некогда читать. Подрядчик есть?

— Директор цементного завода обещал дать строителей.

— За ваши красивые глаза?

— Откроем здравпункт у них.

— По номенклатуре не положено, заводишко, а не завод.

— На вас надежда, может, пробьете.

— Посмотрим,— отложил документы по левую руку.— У вас все?

— Да,— поднялся главврач.

— Не спешите... Кто у вас патологоанатом?

— Молоденькая. Пескарева такая.

— Вы ею довольны?

— Если откровенно — не очень...

— Неграмотна?

— Не сказал бы, даже наоборот. Принципов излишек.

— Хотели бы от нее избавиться?

— Да как вам сказать...

— Так и говорите, как я спросил.

— Не прочь, если взамен кого-нибудь посерьезней.

— Хорошо, я ее заберу у вас... Если не ошибаюсь, вы сами начинали как патологоанатом?

— Да.— Он не понимал, к чему идет.

— Имеете право на полставки на этой должности. Вот и займите ее. И вместо Пескаревой я никого посылать не буду.

— Это как же? — растерялся главврач, сообразив, что влип.

— А вот так.— Юшин легонько хлопнул ладонью по столу.— В одном лице главврач и патологоанатом. Стало быть, конфликтовать не с кем будет.

— Но я ведь... я не смогу...

— Сможете. Завтра отправим приказ... Все! Смету я посмотреть и позвоню вам...

— Позвольте, Виктор Викторович, это ведь... прецедент...

— Возможно. В Англии все судопроизводство построено на прецедентах. И ничего. Живут так уже несколько столетий.

— Что ж, как знаете,— обиженно ответил главврач и понуро вышел.

— Сколько человек осталось? — спросил Юшин, вызвав секретаршу.

— Трое. Поедете обедать?

— Нет, приму уж всех...

Прием он окончил в начале третьего. Очень хотелось есть. Домой ехать было уже бессмысленно. За углом кафе. Там стоя можно выпить чашку кофейной бурды с молоком и сжевать какой-нибудь коржик. К пяти надо все текущие дела расхлебать — обещал заехать Журавский, председатель колхоза-миллионера. Мужик прижимистый, хитрый, зря деньги не транжирит, если вкладывает, то во что-то дельное. Охотно согласился на долевое участие в строительстве неврологического отделения Бужанской райбольницы. Но, узнав, что в поселке Сенцы обнаружили богатую минеральную воду и что в перспективе Сенцы — большой курорт, выдвинул условие: отделение строить не в райцентре — Бужанске, а в Сенцах, где со временем будет бальнеологический санаторий и где сейчас центральная усадьба колхоза. Что ж, смекнул по-хозяйски. Но Госплан не включил строительство в титульный список нового года. Заедет, чтоб вдвоем решать, кого и как на козе объехать. В упряжке с ним, конечно, легче: депутат Верховного Совета, Герой Социалистического Труда,

в Совмине засиживаться в приемных не привык. Краснолицый толстяк с подкуренными усами, сельскими грубоватыми анекдотами вгонял в краску секретарш — и пожилых, степенных, и молоденьких писклявок, — похохатывал с ними, и пока они вникали в его витиеватую речь со словечками, смысл которых он один и знал, он уже оказывался в нужном кабинете... За такое строительство, конечно, надо держаться зубами, у Минздрава на это деньги не скоро выцыганишь. А тут — как с неба свалилось...

Он уже оделся и двинулся к двери, чтоб идти в кафе, как загудел телефон прямой связи, лампочка мигала на номере зампредисполкома.

— Слушаю, — Юшин снял трубку.

— Виктор Викторович, тут у нас гости из Венгрии. Товарищи проездом, врачи. Надо бы им показать, что там у вас есть завидного.

— Я очень занят сегодня. — От досады он сжал трубку, будто хотел раздавить. — Может, кто-нибудь из моих инспекторов?

— Не тот уровень. С ними в гостинице и пообедать придется.

«Да при чем тут уровень! — раздражался Юшин. — Какая разница, кто будет рассказывать венграм, что, где, зачем и когда построено?» — молча сопел он в телефон.

— Они сейчас будут у меня. Мы ждем вас, — понимая, что кроется за долгой паузой, недовольно сказал зампред.

— Сколько их?

— Трое. Одной машины хватит.

— Я без машины. В ремонте.

— Я пришлю свою. Значит, мы ждем вас...

— Меня сегодня больше не будет, Валя. Я в облисполкоме, — коротко бросил Юшин секретарше, покидая приемную.

— Хорошо, Виктор Викторович, — ответила как можно сочувственней. Она работала с ним давно, накопила достаточно модуляций в голосе и сейчас догадывалась, что он не случайно хлопнул дверью кабинета и, не остановившись, буркнул, что уходит...

А он у подъезда ожидал машину. Если бы спросили, любит ли он свою работу, пожалуй, растерялся бы: такая мысль никогда не возникала, да и вряд ли могла возникнуть. Много лет с утра до вечера был занят работой настолько, что она подчинила себе его, стала как бы вторым его биологическим состоянием. То, чем ворочал, соответствовало масштабам не

только огромного города почти с миллионным населением, а всей области: десятки поликлиник, больниц, здравпунктов, которыми ежедневно пользовались тысячи людей. Это увеличивало в размерах его собственную жизнь, естественно отстраняло, делало невидимыми какие-то подробности, как на карте, где в одном сантиметре умещается стокилометровая площадь, на которой видно только то, что крупно. И потому, быть может, казалось, что его работа существовала ради самой себя. Он никогда не задумывался, для кого и для чего занят ею по уши. Нянечка в больнице перестилала постель, а сестра делала перевязку конкретным Иванову, Петрову, Сидорову. Юшин никогда не видел их, не знал и не думал, был занят тем, чтобы достать тысячи простыней, наволочек, пододеяльников для тысяч и тысяч безымянных для него людей, «выбивал» десятки тонн перевязочного материала для них же: ему никогда не приходило в голову оценивать степень важности своей работы, сравнивая ее с чьей-нибудь другой. Чуткость или нечуткость, доброту или безразличие он мог выказать, лишь столкнувшись с чем-то видимым, когда возникала конкретная потребность проявить это.

Отобедав и распрощавшись с венграми, Юшин из холла гостиницы позвонил в бюро обслуживания, спросил Симу. Ему ответили, что она проводит экскурсию с иностранцами и вот-вот вернется. Он уселся в глубокое кресло перед низеньким квадратным столом. Лицом к застекленной стене. Была видна площадь, там под указателем парковались интуристовские автобусы.

Он уже несколько раз приходил сюда, чтобы встретиться с Симой. Отсюда они шли бродить по городу, а если успевали — в картинную галерею или в какой-нибудь из музеев, где, по сведениям Симы, обновлялась экспозиция. Юшину было безразлично, все для него было впервые, он честно признавался, что последний раз заглядывал в эти залы еще в студенческие годы. Выставка старинных часов или старинной мебели оказывалась для него открытием, и он искренне удивлялся — то, чем занимался он, давно вытеснило из его сознания все, что создавалось вручную и в единственном экземпляре...

Сегодня ему особенно не хотелось возвращаться на работу и еще больше не хотелось домой. В каком-то оцепенении он терпеливо просидел минут сорок, выкурив две сигареты, когда к углу здания подкатил «Икарус», сипло вздохнул тормозами. Вывалились туристы с сумками через плечо и

фотоаппаратами, в основном люди пожилые. Сима оставалась в машине, подписывала шоферу путевой лист.

Толкнув дверь-вертушку, Юшин вышел к подъезду.

— Вы давно ждете? — подошла Сима.

— Не очень.

— Почему же заранее не позвонили?

— Не получилось... Вы спешите?

— Нет, на сегодня уже все.

Они стояли лицом к лицу и, хотя встречались уже не в первый раз, молча, как в какой-то игре, угадывали мысли друг друга: что же должно последовать дальше, кто первый определит, как начнется и как закончится сегодняшнее свидание...

— Устали? — спросил Юшин.

— Устала, — призналась Сима.

— Тогда, может... — Он оглянулся на окна гостиничного ресторана, хотя ему вовсе не хотелось туда возвращаться.

— Нет, — поняла Сима. — Давайте спустимся к реке. У меня есть бутерброд, в обед не успела съесть, дожую на ходу. Шокировать вас не буду?

— Ради бога!

По берегу они прошли к заводу, к плавучему деревянному причалу с запертой будкой кассы. Отсюда летом, в сезон, в Заречье уходили катера и моторки с отдыхающими. Сейчас было пустынно и тихо. Причал под их ногами покачнулся, вяло шлепнула в невысокий берег волна и, отразившись, угасла. Облицованная плитами стена набережной кончилась, осталась вдали, откуда доносились шум пронесившихся машин и гудение набравших скорость троллейбусов. А здесь по косогору над заводью поднималась негустая дубовая роща, деревья низкорослые, хилые, измученные засушливыми в этих краях летними месяцами. На причале меж деревянных штанг на натянутой веревке висели закутанные в марлю два жереха, сквозь марлю выпирали их заостреннейшие плавники...

— Вам чего, молодежь? — На скамье за будкой в телогрейке и высоких резиновых сапогах сидел сторож. — На тот берег? У меня моторка, за трешницу можем сгонять. А к назначенному времени вернусь за вами. Дело привычное. Дак что, заводить?

— В другой раз, отец, — сказал Юшин.

— Как знаете, а так я вполне в понятие вхожу, нужда-то житейская, не стесняйтесь, я всякую клиентуру видел.

— А жерех не в сезон суховат,— отвлек его Юшин, указав на рыбины.

— Скоро и такого не будет.— Старик снял картуз из кожаного чехла, поскреб темя.— Может, все же желаете на тот берег? Чайная там, кофей с коньяком, лесок удобный... Нет, благодарствую, некурящий я... И вам доброго здоровья... А приспичит когда, милости прошу, переправлю, с той трешницы целковый на бензин, а два мне за труды, к пенсии, значит...

По тропе через рощу они снова поднялись к парапету набережной, где была кольцевая остановка троллейбуса.

— Мы лишили его заработка, вас не мучит совесть?— весело спросил Юшин.

— Вам так хотелось кофе с коньяком? — лукаво и вместе с тем серьезно спросила она.

— Вы ведете себя не по правилам, Сима.

— Виктор Викторович, какие правила? Условности — вот главное правило.

— А если пренебречь? Спрашивать то, что хочешь, отвечать то, о чем спрашивают?

— Не позволяют.

— Кто?

— Ваши близкие, друзья, просто знакомые, начальники, подчиненные, соседи. Даже тот, кто нарушает эти правила и тешит себя иллюзией, будто освободился, все равно остается в пределах замкнутых понятий. Обрубленные нити со временем оживают, и человек ими, как присосками, снова срастается с той же пуповиной, пусть и в другом месте, в стороне от всего прежнего.

То, что Сима говорила, звучало для Юшина как предупреждение, словно он решился на что-то, прежде немислимое, а она, как возможный соучастник, предостерегала: не хабришься, даже если двинешься *против*, помни, что все мы перемещаемся в одной плоскости,— значит, нежелательные пересечения неизбежны... Она поучала его!

Он слушал, дивясь, откуда у женщины, которая много моложе его, такое обнаженное восприятие жизни: только ли умом или и зрением личного опыта увидела она, как все сцеплено, все сочленения, лабиринты, тупики жизни?..

— Возразить трудно, конечно,— сказал Юшин, скользнув взглядом по ее выпуклому лбу.— Однако что-то же и

выпадает из этой железной конструкции?! Человек полон желаний, страстей, непредугаданных поступков.

— Сколько угодно! Но,— она смешливо сощурила глаза,— есть регламент, товарищ человек, так что не трепыхайтесь, никуда вам от условностей не убежать, даже в могилу.— Сима вдруг засмеялась.— Чтоб похоронить кого-то, мы и то решаем, на каком кладбище, чтобы был, так сказать, престижный уровень, заседаем на эту тему, хотя человек тот уже ушел за все пределы... Мой троллейбус.

— А все-таки попробуем!— с задорным отчаянием сказал Юшин.— Поломаем железную конструкцию, нарушим регламент, а?

— Не расшибиться бы,— задумчиво сказала она.— Побегу, троллейбус.

— Я провожу вас. Вы до какой остановки?

— До Пролетарского проспекта, а потом на электричку.

— Прекрасно. Значит, вместе.

— Вы что, специально отпустили машину?

Он ничего не ответил, взял ее под руку...

На прозекторскую конференцию собирались раз в месяц, в том же составе, что и на консилиум по биопсиям, в том же месте — в комнате музея, перегороженной на две половины шкафами с экспонатами; сидели за столами, сдвинутыми вдоль стен прямоугольником; перед каждым — микроскоп. Ждали Долинина.

Он вошел, извинился, устало отодвинул стул и, только сев, заметил незнакомого молодого врача. По его напряженной позе, по бессмысленным движениям пальцев, затакивавших манжет синей рубахи в рукав халата, Долинин догадался: виновник... Явился с повинной, переживает... Но виновник ли?.. Посмотрим...

— Сколько у нас сегодня? — спросил Долинин.

— Четыре случая,— ответила Рацер.— С одним все ясно: инфаркт легкого, двадцать лет страдал астмой, хроническая пневмония, восемьдесят два года. Вскрытие делала я.

— Давайте второй. Кто делал вскрытие?— Долинин пробежал взглядом по лицам.

— Интерн Бакшеева в присутствии доцента Гайского.

— Докладывайте, Наталья Павловна.

И в который раз он удивился ее сходству с матерью. Только глаза нежнее, что ли... За счет молодости?.. Высокая шея, золотая цепочка с какой-то подвеской... Вспомнил: когда родилась, скинулись на подарок — Витька Юшин, Ада Рацер и он, — купили в букинистическом два разрозненных тома Стефана Цвейга, изданных еще кооперативным издательством «Время» в Ленинграде... Недавно видел их у Насти, позавидовал. Тогда на всякие торжества принято было дарить книги, нынче — хрусталь, золото... Скинулись, кажется, по четвертаку — два пятьдесят по-нынешнему. Да... Так что там она? — вернул его голос Наташи.

— ...Острые боли в животе, никаких жалоб на сердце. Доставлен в больницу скорой помощи с соревнованиями. Предварительный диагноз — острый приступ холецистита. Перевели в хирургию.... Там и умер. Наш диагноз — инфаркт. Тут хирурги... — она пожала плечами, — странное совпадение их последнего диагноза с нашим, у них теперь тоже написано «инфаркт».

— Возраст? — спросил Долинин.

— Двадцать четыре года.

— Чем занимался?

— Пловец. Кандидат в мастера.

— Ну и ну! — Долинин сдернул очки и почти швырнул их на стол. — Двадцать четыре года — инфаркт!

— Видели б вы его сосуды! — махнула рукой Наташа. — Все склерозировано. Удивительно не то, что он плавал, а как вообще жил до сих пор!

Долинин повернулся к гостю, молодому хирургу, видимо впервые попавшему на прозекторскую конференцию. Он все еще возился с манжетом рубахи, нервничал.

— Коллега, как вы объясните совпадение последнего вашего диагноза с нашим? — обратился к нему Долинин. — Наш-то появился после смерти больного. Выходит, вы просто списали его из нашего протокола: зачеркнули свой — холецистит и вписали наш — инфаркт? Подобный «плагиат» нас не обижает. Но вы же себя ставите в дурацкое положение: больного же вы собирались лечить в соответствии со своим первичным диагнозом.

— Что уж тут... Виноваты, — вяло шевельнул он пальцами. — Случай сложный...

— Дайте мне протокол вскрытия, Наталья Павловна, — попросил Долинин.

Прочитав, какое-то время молчал, затем спросил:

— Какие будут мнения?

— Вынести на клинико-анатомическую параллель,— неожиданно первой высказалась Наташа.

От неожиданности Долинин закусил губу, заметил, как дернулась в сторону Наташи голова молодого хирурга и свет из окна словно вдавил его белый взмокший висок. Долинин переглянулся с Рацер. Она поняла.

На клинико-анатомические параллели — многолюдные специальные заседания — выносились особые случаи полного расхождения диагнозов либо случаи, когда смерть больного являлась следствием халатности, незнания или врачебной ошибки. Вину врача-клинициста, степень ее устанавливали патологоанатомы. Вел параллель Долинин. И то, что он был патологоанатомом, а не врач-клиницист, исключало предвзятость, необъективность. В этих разбирательствах он опирался на патологоанатома, делавшего вскрытие...

— Не вижу оснований выносить на клинико-анатомическую,— после паузы сказала Ада Львовна.— При таком инфаркте спасти больного было немыслимо. Даже если бы точный диагноз поставили мгновенно.

— Что ж, проголосуем,— произнес Долинин.— Так... Трое за предложение интерна Бакшеевой, девятнадцать против. Я тоже против.

— Пожалуй, я пойду,— медленно встал молодой хирург.— Я ведь пришел сюда так... я не был обязан... мне просто было интересно... Однако вы тут без сантиментов, без наркоза... Забыл, что привыкли иметь дело с трупами.— Он говорил, все время глядя на Наташу.— Не ожидал... Простите.— Он отодвинул стул и, приложив ладонь ко лбу, вышел.

В тишине стал слышен царапающий звук — за окном на жестяном подоконнике возились, поклевывая кусочки хлеба, синицы, которых подкармливали интерны.

— Н-да,— вздохнул Долинин.— Продолжим. Следующий!

— Семнадцатый номер,— встала патологоанатом судебно-медицинского бюро.— Автокатастрофа.— Она перечислила характер травм.— Погибшему тридцать один год.

— Какие у кого мнения?

— Все ясно,— сказал кто-то.

— Сергей Никитич,— сказала вдруг патологоанатом из судебно-медицинского бюро,— причина смерти, конечно, та, что указана в нашем диагнозе. Но на вскрытии я обнаружила и свежий инфаркт миокарда, вся задняя стенка разнесена.

— Интересно! — Долинин надел очки.

— Думаю, инфаркт и стал причиной аварии.

— Не натяжка ли? Насколько он совпадает по времени с автоаварией? — спросила Рацер.

— Я искала косвенное подтверждение. Нашла человека, который сидел в этот момент в кабине «Жигулей». Он отделался переломом шейки бедра. За несколько секунд до аварии водитель вскрикнул, схватился за сердце, повалился на руль, и они врезались во встречный-pane-левоз.

— Сердце описано только макро? — спросил Долинин.

— Нет, я сделала и микропрепараты, вот стекла, — подала она.

«Разве это сосуды? — разглядывал он под микроскопом стекла. — Это же свечка, из которой вытянули фитиль: все склерозировано! И это в тридцать один год!.. В чем дело? Инфаркт за рулем... мог быть и не за рулем... Совпадение...»

— Где работал погибший? — спросил он.

— Завскладом на базе химбыттоваров.

Она стояла, ожидая, что он еще что-то скажет или спросит. Но он молчал, думая о своем, и никто не решался его отвлечь.

Когда со всем было покончено, он вдруг раздраженно сказал:

— Хочу предупредить: начну взыскивать за легкомыслие.

Все удивленно переглянулись.

— Что имею в виду? — спросил, глядя на недоуменные лица. — А вот что: кто из вас описывает макропрепарат и притом подробно? Почти никто!

— Зачем же нам эта писанина? — спросил кто-то. — Скажем, тот же удаленный аппендикс?

— А затем, — Долинин, пригнувшись, словно для прыжка, оперся ладонями о стол, — чтобы знать и зафиксировать, в каком состоянии удаленный орган поступил к нам! В каком состоянии увидел его хирург. Если тот же аппендикс попадает к нам уже в стадии гангрены, упаси бог... И еще: сами же вы жалуетесь, что из операционных иногда присылают крохи от удаленного органа. Мы смотрим и ничего не находим, главное осталось на том участке, который к нам не попал. Разве это не основание фиксировать, как выглядит материал, поступивший для исследования?.. Существует бланк, прошу, чтобы в нем больше не зияли пустоты!.. На

сегодня все! Наталья Павловна, а вы останьтесь, — неожиданно повернулся он к Наташе.

Когда все вышли, он подсел к ней.

— Ты сегодня была несправедлива к этому парню, хирургу. Случай действительно каверзный. Да и больной не оставлял надежд. А ты потребовала вынести случай на клинко-анатомическую параллель. К этой крайней мере... — Он предостерегающе поднял палец. — Выставить на такое судилище, как говорит твоя мама, врача и распинать его в присутствии полтораэта его коллег-клиницистов всех специальностей...

— Дядя Сережа, я понимаю, для клинко-анатомической параллели мы должны иметь серьезные основания. И в данном случае истина...

— Не надо, детка, так часто пользоваться этим словом. Претензии к клиницистам мы выдвигаем от имени больных, иногда, к сожалению, после рокового опоздания. Но и в этом случае врач-клиницист даже на клинко-анатомической параллели имеет право на защиту... Ты поняла?

— Поняла, конечно.

— В представлении обывателя патологоанатомы только и делают, что стоят в секционных¹ и вскрывают. Основное же, чем мы заняты как исследователи, остается для непосвященных в тени. Такова наша участь, — улыбнулся он. — Как сказал этот молодой хирург, работаем без наркоза. Сильная метафора. Сказано, конечно, в запальчивости. Смерть одного больного для нас не финал, а начало излечения другого, конец чьей-то жизни и начало диагностики неразделимы. Если будешь служить этой мысли, что-то из тебя получится, не пожалеешь, что выбрала такую неблагодарную специальность в медицине.

— Я не жалею, дядя Сережа.

— Не спеши, ты только начала. Время покажет... Иди, Наташенька...

Он устало откинулся на спинку стула, бросив вдоль тела руки. Сейчас, когда день кончился, можно бы пойти к себе и поработать. Неделя за неделей забиты: совещания, заседания, писание отзывов, лекции. Но не играет ли в прятки с собой? Не сам ли охотно влезает в этот плотный распорядок, чтобы оправдаться утешающей фразой: «Не было времени сесть подумать, сосредоточиться, проклятая текучка». Не

¹ Секционный зал — специальное помещение, где производят вскрытие.

расставание ли это с наукой? Жива, конечно, бессонная его забота — сосуды. Сперва рванулся было, а теперь появилась какая-то робость. Топчется давно, а коснуться сути боится: сорвет верхнюю пленочку, а под ней глубина, и тогда погружение неизбежно. Но сколько на это потребуется времени? У жизни годы займы не возьмешь... Сосуды! Вот что сегодня первоочередное! Они вопиют: познайте причины наших страданий, иначе они уничтожат вас... Все это видели еще сто, восемьдесят лет назад. Но объяснить было немыслимо, как читать книгу тайн, не зная, на каком языке она написана. Теперь язык известен, его надо изучить, а потом читать эту книгу, разбухшую за минувшие годы. Ох-хо-хо! Он догадывался, сколько ученых приблизились к этому соблазну — лакомый кусок для науки, фермент для ее пищеварения, — впряглось в эту телегу, чтоб выволочь ее из рытвин на проезжую часть, и пока он собирается с духом... Его шанс, возможно, предпочтительней: если клиницисты обладают лишь звеном, то у него, как у патологоанатома, вся цепь, правда, в разборе, и звенья надо только соединить. Он усмехнулся: только соединить! А еще до этого — установить, в какой последовательности! Уйдут годы!.. Остались ли на это силы, время, возможности души? Да, его шанс в чем-то предпочтительней: накоплено много биопсийного и некропсийного материала, он весь описан; рядом, в другой комнате, — фолианты протоколов вскрытий почти за сто лет. Два года потратил, чтоб просмотреть часть из них, отыскивая описание сосудов нужных ему случаев. Но продвигался медленно, с большими паузами, не будучи уверен, что решение подойти вплотную уже принято. И все же, что-то подхлестывало, возбуждало, особенно когда, просматривая стекла, натыкался на интересные случаи, ощущал, что он, не исключено, единственный обладатель такого... И все-таки зачем *ему* все это? Когда-то страстью его были лимфатические сосуды. Здесь достиг многого, о чем мечтал: все щедро ушло на кандидатскую, докторскую, на десятки статей, на две монографии, ушло с пользой... Так зачем ему все это сейчас, что в случае удачи изменится в его жизни? Достиг всего. Слава? Дым! Достаточно той, которой обладает. Карьера осуществлена. Предлагали возглавить в столице НИИ — отказался: новые люди, новые отношения, больше административных функций. Может, там и светило выбраться в членкоры. Ну и что затем?.. Вернуть бы молодость — вот единственное, ради чего не страшны никакие усилия и риск. Но она невозвратна. Понимал: рано забеспокоился об

этом, сорок семь лет, еще можно что-то успеть. И все же... Однажды стоял в секционном зале в тяжелом фартуке со скальпелем в руке, вокруг толпились студенты. «Что же мы извлечем для живых из этого случая?» — спросил он студентов и вдруг увидел их юные лица. Ближе всех стояла черненькая девчушка, румянец по смуглым чистым щекам, в зале было душно, над тугими губами ее светились росинки пота. И он с горечью подумал: «Господи, да какая разница, что я извлеку! Поменяться бы с ними местами! Ах, как было бы славно!..» Значит, остается работа? Кажется, Короленко сказал: если не можешь не совершить нечто хорошее, хотя заранее знаешь, что никто не увидит твой поступок, никто не узнает о нем, значит, эта потребность и есть совесть... Чужие утешительные сентенции. Ими не убьешь ощущения, что выдохся... Но, может, просто устал? Кроме институтской и кафедральной суеты еще и ремонт дома, вот уже третий месяц. Бивачная жизнь. Ушла уйма денег, а конца не видно...

Он вышел из музея, направился к себе. Минуя комнату интернов, услышал музыку, там стоял старенький «Рекорд». Значит, кто-то еще сидит, работает. Наташа уже ушла: дверь была заперта. Он отворил своим ключом, переоделся и, держа буклированную кепочку в руке, позвонил домой.

— Ты давно пришла? — спросил, услышав голос жены. — Уже выхожу... Что надо купить?.. Хорошо... Столяр был? Сколько?.. Зря, как бы не запил...

На улице было холодно. Поглубже натянув кепку, полез в карман, где под перчаткой лежали ключи от машины. Он еще стоял на верхней ступеньке, когда его окликнули:

— Профессор Долинин?

Внизу у темных кустов стояла маленькая женщина.

— Простите, профессор, я задержу вас ненадолго. — Она была закутана платком, в толстой шубе выглядела как колобок.

— Слушаю вас.

— Я мать Коли Новокшанова, пловца. Нам сказали, что он умер от инфаркта. Мы не верим, врачи проглядели что-то... Ведь у него болел живот... Мы хотим знать правду... Двадцать четыре года, спортсмен, откуда инфаркт?.. Ложь... И мы этого так не оставим!.. Мне сказали, вы знаете правду, вы ведь... — Она умолкла, как споткнулась.

Долинин понимал ее состояние, ее представление несведущего человека, что смерть от инфаркта — удел ста-

риков; в сознании этой женщины возраст сына, пловца, атлета, не вязался с этим словом.

— К сожалению, ничего нового я вам не скажу, сын ваш умер действительно от инфаркта, есть такая форма — боли в области живота, а на самом деле... — сказал он. — И спасти его было невозможно.

— Вы защищаете тех... кто его лечил, — сказала сокрушенно.

— Я вам сказал правду, поверьте мне.

— Нет, — упрямо твердила она. — Не может такого быть, чтобы такой молодой... Нет... Я думала, что вы... До свидания...

Какое-то время он смотрел ей вслед, пока темный силуэт не исчез в вечерней глубине улицы.

Внезапная оттепель началась шумным таянием снега, грохотом льда в водосточных трубах, блеском солнца. Менялись краски, запахи, ритм движения, даже слова. И лишь больничный уклад оставался прежним — с неубывающей нагрузкой работали автоклавы, стерилизационные камеры, стабильно держалась температура в операционных; так же, до потливости, замирали от страха перед предстоящим больные, когда на колясках-носилках их катили в эти залы с огромными бестеневыми лампами; и так же волновались хирурги; моясь, скрывали свое беспокойство за автоматизмом профессиональных движений рук, подставленных под струю воды, а затем вытянутых навстречу сестрам, которые ловким рывком натягивали на растопыренные пальцы резиновые перчатки, издававшие смягченный тальком слабый шорох.

Был операционный день.

Бакшеева и Каймаков сидели в профессорской, еще раз просматривали разбухшую историю болезни Медовой — все анализы, пробы, кривые на температурных листах, ленты многодневных кардиограмм: через час — второй этап операции, тяжелой полостной, за исход которой поручиться трудно, но выбора не было. После подробных консультаций с гастроэнтерологами и кардиологами, после серьезной беседы с мужем, которому в доступных подробностях объяснили ситуацию, Бакшеева, получив его робкое согласие, распорядилась готовить Медовую на сегодня.

— У Зиновьева закрыли одну операционную — стафилококк, — сказала Бакшеева. — Какое-то наваждение с этим

стафилококком. Снова комиссия облздрава.— Она повернулась к окну и, держа в обеих руках по рентгеновскому снимку, сравнивала их.

«Нервничает,— подумал Каймаков.— Зиновьев ей до фонаря, не в нем дело, боится, как сегодня у нас пойдет... Авксентьев в отпуске, не постеснялась, позвонила, чтоб пришел. Он, конечно, анестезиолог дай бог, но Власов уже ходит надутый — не доверила... Ничего, с Власовым уладит, вывернется, где-нибудь публично похвалит, пригласит на следующую операцию и потом в благодарность сделает какой-нибудь подарок, и все забудется».

— Стафилококк скок-скок, размотался колобок,— пропел он.— В Америке, говорят, больницы, где обнаружен стафилококк, сжигают.

— Слышала эти байки.— Она посмотрела на него, не понимая, с чего веселится, нахмурилась.— Ты случайно вчера не перепил? Смотри, гений, руки будут дрожать, отстраню.

— Я в полном порядке, Анастасия Георгиевна.— Он, как на приеме у невропатолога, прикрыл веки и вытянул вперед руки.— Я же у вас самый любимый и самый талантливый,— продолжал шутить,— кто же еще сможет вам ассистировать?

— Все проверил? Понимаешь, на какой риск идем?

— Понимаю,— ответил уже серьезно, шутливое настроение как ветром сдуло, только себе мог признаться, что веселость эта от нервного возбуждения, просто у Бакшеевой и у него беспокойство проявлялось по-разному.

— Ну, все!— Резким движением она оттолкнула от себя историю болезни, достала из ящика стола бумажную салфетку и прижала к губам, удаляя помаду. Скомкав салфетку с четким отпечатком красивого рта, выбросила в корзину. В операционную Бакшеева никогда не входила с покрашенными губами. Лишь потом, вернувшись к себе, долго и тщательно приводила в порядок свое лицо.— Пойдем, Алеша...

Пропуская Бакшееву к двери, он суеверно оглянулся: не забыто ли что на столе, возвращаться — дурная примета...

Она шла по коридору, стройная, гордая, независимая, слегка кивала на заискивающие поклоны больных, попадавших навстречу. И Каймаков подумал: «Что же она станет делать, когда уже не сможет оперировать, когда совсем

уйдет былая красота и не останется зрителей?.. Зрители нужны нам всем, статистам и великим мастерам... А иначе мы прозрачны, ничего не отражаем, даже нет тени... Так устроен человек. Даже тот, кто в какой-то момент сам зритель...» И еще Каймаков подумал, как усложнится его положение, независимо от того, кто возглавит кафедру после Бакшеевой,— ведь он любимый ученик, а новые хозяева прежних любимчиков не жалуют. «Но это еще не скоро,— утешил себя, глядя в ее спокойную спину.— Надо только поторопиться, успеть все, что наметил и спланировал...» Тревожило, правда, молчание редакций: статейку послал давно, а ни гугу. И ловил себя на том, что неизвестность отбивала охоту вникать в очередную главу диссертации; когда садился по вечерам править ее черновой вариант, все шло теперь как-то вяло, с натугой. Иной раз, сидя так и уставившись в лист бумаги, подумывал: а не свалял ли дурака, отправив статейку? Ведь благополучен, сыт и, как говорят, нос в табаке; диссертация, которая лежит перед ним, добротна, еще немножко покорпеть, и — порядок. И тут же возражал себе, как для успокоения: кто ее заметит в потоке прочих благополучных диссертаций-верняков? То, что там, в статейке, может обернуться новой темой, там грезился прорыв в некую даль, где можно снять навару побольше и погуще, такую работу могут заметить, выделить из навала прущего середняка... Нет, не зря поторопился... А там видно будет...

Звонили телефоны — и внутренний, и городской. Наташа ушла в лабораторию, и Долинину приходилось снимать трубки, отвечать, раздраженно удивляясь количеству звонков бессмысленных: девичий голос кокетливо просил позвать интерна Лебедева; из деканата лечебного факультета вторично требовали список студентов, занимающихся у Долинина в научном кружке, из канцелярии справлялись, сколько лекций прочитано сотрудниками кафедры через общество «Знание»...

Ада Львовна терпеливо ждала, пока Долинин закончит досаждавшую телефонную болтовню. По утрам они иногда запирались ненадолго в его кабинете, чтобы решить вопросы, накопившиеся за неделю, или обсудить что-нибудь срочное.

Вернулась Наташа, и Долинин велел переключить все телефоны, звать лишь в крайнем случае.

— Ну вот, отбился. Он снял очки, протер их полкой халата.

— Вчера меня встретил проректор.— Ада Львовна сделала паузу, чтобы придать значение тому, что собиралась говорить.— Поинтересовался, как долго я еще буду возиться с хоздоговорной темой. Взгляд какой-то у него был... недовольный.

— Он так и сказал: «возиться»?

— Нет, но я почувствовала по интонации.

— Не будь мнительной.

— Сережа, я с удовольствием передам завершать работу кому угодно.

— Перестань,— поморщился он, зная ее постоянно прислушивающееся самолюбие и до занудливости обостренную щепетильность.

— Если мне не доверяют...

— Да перестань ты!— крикнул он.— О каком недоверии речь? Ты что, отхватила завидную синектуру, эту хоздоговорную работенку? Все только и думают, как бы увильнуть от хоздоговоров. Считай, что делаешь одолжение.

— Будем откровенны: ты впряг меня в это, чтоб еще на какое-то время задержать на кафедре. Я поняла это с самого начала.

— Да.— Лицо его пошло пятнами.— Что ж, тут мой шкурный интерес. Но разве это как-то тебя ущемляет?

— Но эти интонация и взгляд...

— Плюнь ты. Человек мог быть просто озабочен чем-то своим, а тебе показалось. И все-таки... как долго ты еще будешь возиться с этим?— засмеялся он.— Я имею право на такой вопрос?

— Разумеется... На двух видах животных эксперимент закончен. Кое-какие рекомендации у меня есть: местное действие — влияние при соприкосновении с кожей, аллергизирующее воздействие, ингаляционное и проверка на канцерогенность. Здесь все вроде в пределах нормы. Скоро начну на третьей группе животных. Самое главное, конечно, выяснить генетические последствия.

— Кто выполняет эту часть работы?

— В Институте генетики, в лаборатории Сухоруковой.

— Брыкались?

— Ничего, мы ведь для них тоже кое-что делаем. В общем, думаю, в срок уложимся.

— Деньги еще нужны?

— Понадобятся. Пополнить виварий, кое-что для лаборантов.

— Когда заказчик появится?

— Недели через три, через месяц.

— Все же поторопись.

— Тогда с нового семестра освободи от практических занятий. Хотя бы в одной группе, у иностранцев. С ними больше возни во внеурочное время.

— Кому же я передам эту группу?.. Тут подумать надо.

— Подумай...

Вошла Наташа:

— Дядя Сережа, вас срочно к телефону.— В присутствии Ады Львовны она называла его дядей Сережей, как, впрочем, и Аду Львовну — тетей Адой.

— Кто?

— От мамы. Говорят, срочно.

Долинин взял трубку:

— Да!

— Сергей Никитич, добрый день. Доктор Каймаков. Звоню из операционной по поручению Анастасии Георгиевны. Она возле больной...

— Плохо вас слышу, говорите внятно.

— Я ассистирую, трубку держит сестра... Маша, трубку поближе... Сейчас лучше?.. Серьезная операция... Обнаружили на брюшине какие-то белые узелки. Не знаем, удалить их и идти дальше? А вдруг потом в рост пойдут? Или взять только на биопсию?

— Возраст больной, профессия, общее состояние?

— Тридцать девять, бухгалтер, состояние сейчас удовлетворительное... Под наркозом... Но больная тяжелая.

— В брюшной полости сухо или есть жидкость?

— Сухо.

— Берите на биопсию и можете оперировать дальше.

— Анастасия Георгиевна просит экспресс-биопсию.

— Ах вот что!

— Да. Если потом выяснится, что их удалять надо? Опять вскрывать живот? Это уже и так вторая операция. Пошли на нее с риском.

— Ладно, присылайте, распоряжусь. Возьмите побольше...— Он поднялся.— Экспресс-биопсия, Настя оперирует,— сказал Аде Львовне.— Зайди, пожалуйста, в лабораторию, пусть приготовят все... И загляни ко мне через час, закончим наш разговор.

— У меня еще лекции, две пары.

— Ты не забыла, завтра клинико-анатомическая параллель.

— Помню... Сколько ты выносишь на нее случаев?

— Два. Оба твои.

— Увы.— Ада Львовна вышла.

Из хирургии сестра принесла лоток, прикрытый марлей. Приподняв марлю, Долинин внимательно посмотрел, перевернул пинцетом, сказал завлабораторией:

— Давайте приступайте... Пусть все отложат, только это. Больная лежит на операционном столе... А вы не уходите, ждите возле лаборатории,— сказал он сестре.

Еще через двадцать минут Каймаков звонил уже в лабораторию.

— Операция приостановлена. Как там у вас?— Голос его был хриплым от волнения.

— Чуть-чуть потерпите,— ответила заведующая.— Уже ловят срезы, кладут на стекло. Высушим — и на окраску...

И еще через несколько минут стекла лежали у Долинина, он закладывал их одно за другим под микроскоп. Сестра с пустым лотком робко стояла рядом, боясь шевельнуться, словно одно ее движение могло что-то нарушить в действиях человека, чей сидящий затылок с косицей во впадинке был перед ее глазами.

— Все.— Долинин поднял голову, ребром ладони сдвинул стекла и позвонил в операционную.

— Слушаю!— тотчас отозвался Каймаков.

— Можете оперировать. Это туберкулез... Да-да... брюшины... Не беспокойтесь, я поставлю свою подпись,— и, вписав диагноз в бланк направления, вывел короткую, четкую, как факсимиле, подпись.— Забирайте,— велел он сестре.

Конечно, категоричность, с какой он говорил Каймакову, для него самого оставалась не такой уж надежной, полагаясь еще и на свой опыт, понимая безвыходность положения всех сторон — больной, хирургов и своего; экспресс-биопсия не дает ста процентов точности оценок, лишь завтра, когда тот же материал пройдет полный цикл обработки в автомате, он либо успокоенно вздохнет: и на сей раз не ошибся, либо... Но до завтра надо суметь заставить себя быть уверенным и спокойным не только за этот диагноз, но и за другие — день только начался...

И снова телефонный звонок. Обозленно сорвал трубку:

— Да!

— Чего ты кричишь? — спросил голос Юшина.

— Тут... по горло всего. Ошалел уже. Слушаю тебя.

— Помнишь спортсмена-пловца, умершего от инфаркта? Новокшанов Николай. Родители написали жалобу в министерство: никакого, мол, инфаркта, здоровый, лекари загубили... В общем, знаешь, как это бывает. Когда в семье такое горе... Единственный сын. А мне, сам понимаешь, расхлебывать... Кто делал вскрытие?

— Наташа и Гайский.

— Попроси, пусть еще внимательно посмотрят. Нужны убедительная справка и копия протокола. Мне бы, конечно, спокойней, если бы ты сам...

— Я проконтролирую.

— Жду...

Около двух зашла Бакшеева.

— Ты когда домой? — спросила.

— Через час-полтора, думаю, вырвусь. А что?

— Отвезешь?

— Конечно... Устала?

— Очень.

— Как прошла операция?

— Боюсь сглазить. Если неделя пройдет без осложнений, значит, бог миловал... Когда освободишься, позвони или Наташку пошли, я буду готова. — Она вышла и направилась в доцентскую.

Ада Львовна была одна. Сутуло сидела за микроскопом, что-то смотрела, записывала. Обернулась на шаги Бакшеевой.

— У тебя кофе есть? — спросила Бакшеева. — Свари, с ног валюсь.

Ада Львовна поставила турку с водой на электроплитку, достала из тумбочки банку с растворимым кофе, пододвинула.

— Бери сама. Хочешь, наверное, покрепче. Вот стакан.

— Долбишь хоздоговор? — посмотрела Бакшеева на микроскоп.

— Хуже. Два случая в гинекологии, и оба мои, выносим на клинико-анатомическую параллель.

Бакшеева всегда уходила после этих разбирательств уставшей, ее угнетал жалкий и беззащитный вид вытащенного на трибуну коллеги, на которого обрушивались факты, не имевшие никаких иных толкований, кроме неопровержимо добытых патологоанатомом. Сотни глаз, устремленных на виновника, стоявшего за трибуной, сотни ушей, слушавших

его лепет, сотни языков, которые и день, и два после всего будут обсуждать, разносить виденное и слышанное по другим отделениям и больницам... Не любила она бывать на этих экзекуциях, хотя и понимала их необходимость и даже полезность.

Она пила кофе, поглядывая на молчаливую Аду Львовну.

— Что ты на меня так смотришь? Плохо выгляжу? — спросила Рацер.

— С чего ты взяла?.. Слушай, я вот что еще хотела... — Она поставила стакан и вынула из кармана халата обрывок пластмассовой нити.

— Что это?

— Пластмасса, которую ты исследуешь.

— Откуда она у тебя?

— Алеше Каймакову прислал твой заказчик. Она эластична, как ни один кетгут. Можем ли ставить вопрос о ее клинических испытаниях?

— Шить раны? Нельзя. Неизвестны генетические последствия.

— А по остальным показателям?

— В пределах нормы.

— Если генетики скажут, что она безопасна, каков процент их гарантии? Сто? Ерунда, сто дает только эксперимент.

— Даже если девяносто девять и девять десятых — нельзя. В третьем или четвертом поколении именно эта одна десятая может быть избрана природой для отмищения. И родятся какие-нибудь многопалые.

— Многопалых и сейчас полно. Гребут к себе, только поспевай за ними... Значит, через сто — сто пятьдесят лет, когда не будет в живых моих внуков — если они вообще у меня будут, — вдруг возникнет гипотетическая опасность чего-то? А если не возникнет? А мы потеряем возможность уже сейчас облегчить реальным больным их реальные страдания.

— Настя, разговор беспредметный: генетикам еще работать и работать.

— Но ты обещаешь, что через год-полтора мы вернемся к этому разговору?

— Через год-полтора? — как-то странно улыбнулась Рацер. — Если не забудешь о моем обещании, считай, что получила его.

— Спасибо за кофе. — Бакшеева чмокнула Рацер в щеку.

...Раздевшись в прихожей, Долинин приткнул в уголок портфель и прошел сразу на кухню.

Нина Борисовна, освободив от тарелок уголок стола, готовилась к урокам на завтра.

— Зажги под зеленой кастрюлей, там борщ, я сейчас закончу, будем обедать,— сказала она.

— Я не голоден.

Она удивилась. Долинин, переборчивый, капризный в еде, не любил обедать вне дома. Даже борщ готовила по его вкусу: только на мясном отваре, почти без свеклы, вылавливала разварившийся лук, и — никакого укропа и петрушки, а капуста должна быть чуть сыроватая, жесткая. И ел он такой борщ без сметаны, но со жгучим стручковым перцем, с чесноком, размешав в тарелке немного горчицы.

— Я поел у Насти.

— Чего вдруг?— Нина Борисовна выпрямилась.

— Отвез ее домой, устала, была тяжелая операция. Зашел на минутку, как раз Павел приехал, заставили сесть с ними.

— Мог бы позвонить, чтобы я не ждала.

— Как-то так получилось.— Он чиркнул спичкой, поджег газ.— Ты сиди, я разогрею.— По очереди открыл крышки, заглядывая в кастрюли.

— Чем же тебя кормили?— спросила жена, продолжая писать план урока.

Вопрос не случайный, хотя и задан был вроде между делом. Иногда обстоятельства вынуждали его есть то, чего дома в рот не взял бы: скажем, какую-нибудь молочную лапшу или блинчики с мясом, из которого накануне был сварен бульон. «И не отравился? Как же так?— посмеивалась Нина Борисовна.— А у меня уже голова кругом идет, не знаю, чем тебя кормить, нельзя же так однообразно питаться: то не ем, это не люблю...»

Долинин ел у Бакшеевых постный суп с перловкой, от которого его дома передергивало, и котлеты с макаронами, политыми топленым маслом. Котлеты еще куда ни шло, но макароны, как и каши, он признавал только с мясной подливой.

— Так чем же тебя там кормили?

— Бульон с пирожками и жаркое,— соврал Долинин: кормила-то Настя Бакшеева. Примирить их он уже не надеялся. Что-то они не принимали друг в друге. Ему казалось, что Настя считала Нину «старой девой в за-

мужестве», ханжой, а для Нины Бакшеева оставалась интеллигентствующей обывательницей современного склада. Он знал, что пуританизм жены сильно преувеличен Настей, а образ жизни Насти видится Нине с перекосом. Вникать глубже в истинные причины обоюдной неприязни он не имел желания. Поскольку это сложилось давно и необратимо, удовлетворился тем, что обе женщины ради него и вообще приличия ради прикрывали свои отношения внешней терпимостью...

— Мы поедем за обоями?— спросил он, когда жена пообедала.

— Если ехать, то сейчас. Мне еще в школу надо.

— Зачем?

— Мои дети репетируют Островского. Надо посмотреть костюмы.

— Неужели, кроме тебя, некому? Пионервожатая или комсорг?

— Это мой класс, я не могу их обидеть, они с таким энтузиазмом взялись...

За обоями они поехали в магазин «Все для дома», занимавший первый этаж огромного здания. Из фургона сгружали ящики с краской, и на дверях висела табличка: «Прием товара». Покупатели, оттесненные к витрине, ворчали: крали их время, и никому до этого не было дела, приходилось стоять ждать.

— Вы не знаете, обои у них есть?— спросил Долинин высокого мужчину с серым угреватым лицом.

— Без понятия,— буркнул тот.— Я за рояльными петлями.

— Вторую неделю сама хожу. Обещались к концу месяца,— отозвалась женщина с авоськой, набитой стиральным порошком «Лотос».— Говорят, югославские были. За час расхватили.

— Ты, дядя, дай им по два рубчика сверху за каждый рулон — не то что югославские, марсианские получишь,— посоветовал Долинину разбитой малый в перкалевой замызганной куртке.— Так только ноги зря будешь бить. «Зайдите завтра»— слышал такую поговорку? А «завтра» у них каждый день. Им «навар» нужен.

— Здесь бессмысленно стоять,— подошел Долинин к жене.— Есть еще один вариант,— сказал он.

— Какой?

— Настя знакома с каким-то начальником из бытобслуживания,— сказал осторожно.— Но там накладные расходы,

придется оформлять через ателье и оплачивать стоимость работы.

— Если другого выхода нет... Решай сам... Дальше тянуть невозможно, живем как на вокзале.

Она не хотела говорить: «Звони Насте, проси Настю». Он это понял. Второй раз за сегодня ощутил то, что непримиримо... Жена добрый, деликатный, отзывчивый и умный человек. Уж за столько лет можно было как-то... Ведь бывают в доме друг у друга, праздники — вместе, именины и прочие торжества — вместе. Сколько раз сама говорила, когда вскипал против кого-нибудь: «Постарайся забыть», — на что отвечал любимой фразой: «Забыть — это потерять». А тут — ни в какую. Вспомнилась история с люстрой. У Бакшеевой появилась новая чешская люстра на шесть рожков, красивая, под старину, металл под бронзу, плафоны — как стекла для керосиновых ламп. Нина спросила Настю, где купили, тоже хотела такую. Настя ответила как-то уклончиво: «Случайно, с рук, кто-то привез из Москвы». Уж не помнит, как, но потом выяснилось, что Настя купила люстру просто в магазине электротоваров, было их там несколько штук. Нина тогда сказала ему: «Боже мой, чтоб человек настолько ужимался: дескать, такое, как у меня в доме, больше нигде не должно попадаться на глаза. А всего-то — ширпотреб». И когда он ехал в Москву в командировку, весело сказала: «Обязательно поищи такую люстру. Именно такую. Говорят, к ним есть еще и бра. Купи нам два и Насте два. У нее скоро день рождения...» Он не купил, не нашел. А Нина со смехом махнула рукой: «Бог с ней, ерунда все это...» Но когда к Нине приехала племянница с мужем и им надо было подыскать жилье, а главное — устроить прописку, та же Настя, узнав об этом из случайного разговора с Долининым, взялась немедленно и все уладила...

Фургон все еще разгружали...

По дороге домой Нина Борисовна вспомнила:

— Телеграмма из Ашхабада. От профессора Союнова.

— По поводу конференции?

— Да. Но лететь надо в Красноводск. Они там проводят.

— Когда?

— В начале следующего месяца. О точной дате сообщат. Будешь звонить сестре?

— Придется, пообещал... Жаль ее. Последнее письмо от этого шалопая она получила восемь месяцев назад.

— Постарайся повидаться с ним, хоть этим помоги ей.

— Конечно, — торопливо отозвался, не испытывая, однако, никакого интереса к возможной встрече с племянником...

Нина Борисовна уже спала, а он сидел на кухне перед стопкой бумаги, обдумывая доклад для конференции в Красноводске.

Просматривая стекла из синей коробки с надписью: «Инфаркты миокарда. Склероз. Молодой возраст», все больше склонялся к мысли, что в сосуды этих людей что-то попадало извне: изменения в сосудах не укладывались в привычные формы склерозов, которые видел сотни раз. Судя по профессиям, эти люди могли иметь отношение к каким-то химическим соединениям. Не здесь ли причины таких ранних и тяжелых склерозов? Утверждать эту мысль он не мог, она оставалась интуитивно теоретической, высказать ее надо в вопросительной форме, сославшись лишь на внушительное число примеров. Подтверждение он может получить только экспериментально — необходимы спектрограммы. Но сделать их можно лишь в биохимической лаборатории университета. Придется брать письмо у ректора и идти на поклон к университетским биохимикам.. На все это уйдет уйма времени...

Отложив доклад, он принялся сочинять проект письма в научную часть университета.

Все складывалось, как в расхожей фразе, — «один к одному». Самая опасная больная Каймакова — Медовая — поправлялась. Прошло две недели после операции, ни температуры, ни осложнений. Остальное — туберкулез брюшины — дело фтизиатров, вылечат... Заявились ее родственники: муж и двоюродный брат, какой-то Лаевский, начальник чего-то там, благодарили, спрашивали, когда выписывать думаем. Шефиня принимала их излияния стоя, с гордой усмешечкой, поигрывая пальчиком с камеей, выслушала, развела руками: мол, иначе и не могло быть. Молодец! Вот умеет держаться! Чтоб все чувствовали дистанцию... Иной мужик рядом с ней — авоська... Повезло мне, есть у кого поучиться и работать, и набирать авторитет... И меня в тени не держит: «Благодарите и доктора Каймакова, видите, какие у нас молодые специалисты! За эту операцию ему можете наперед простить все будущие грехи». И тут же их в нокаут — достала из тумбы армянский, три звездочки, наперстки и каждому плеснула: «За наш общий успех. Она тоже молодец, ваша

жена и сестра, не подвела». А когда те, ошавев, уходили, вроде вдруг вспомнила: «Да, товарищ Лаевский, как там насчет моей маленькой просьбы? Обои... Когда можно будет забрать?»—«В понедельник, Анастасия Георгиевна, мне принесут образцы, финские. Никуда за ними не надо ездить, дайте, пожалуйста, адрес, их доставят». Она тут же адресок Долинина. Ну и дипломат!.. Долинин, говорят, старая любовь у нее... Старая?.. А может, и сейчас еще взбрыкивает?.. Долинин... У того другие заслуги... Выхлопотал Оле место, перетащил к себе, и мне подарок: Оля рядышком...

Для него ничто не могло существовать само по себе, самостоятельно, все связывалось воедино и последовательно его отношением к жизни, только так, полагал он, вытекая одно из другого по законам целесообразности, все имело смысл. А то, что пыталось быть или было независимым, самим по себе, казалось ему нелепой претензией чего-то нежизнеспособного, даже бесполезного и теряло в его глазах привлекательность, исчезало из внимания. В эту сомкнутую цепь интересов входили и его взаимоотношения с женщинами, тут не было предмета для особых раздумий — это являлось производным: физиология, а он — нормальный, здоровый мужчина. И точка. Он не бросался направо, налево. Умея располагать к себе, не суетился, обладал чутьем безошибочного выбора. Редко кто отвергал конечную цель его ухаживаний, и редко кто обманывался, сделав встречный шаг. Он был нежен, заботлив, а главное — естествен. И, обрывая эти нечастые связи деликатно и натурально, без лживых уверток, оставался в добрых отношениях с этими женщинами, обращался к ним с деловыми просьбами, если возникала потребность, и безоговорочно выполнял их деловые просьбы...

Оля же возникла внезапно, как бы из ниоткуда, где все было само по себе, отдельно. Но ее появлению он вдруг обрадовался, искренне пригласил в ресторан, подмечал, как свободно и просто она вела себя, ела, пила, и чувствовал, что доволен их встречей. Может, потому, что напонила внезапно прошлое — студенческие годы, которые ему не с кем было вспомнить так доверительно, как с нею? Или с ее появлением тогда пообещалось нечто неясное, как предчувствие, с каким в детстве просыпаясь утром с ожиданием чего-то приятного, а чего именно — не знаем...

Каймаков стоял на кухне. Чистенько, прибрано. На подоконнике банка с японским грибком, прикрытая марлей.

Воду из крана он не пил — слишком хлорирована, завел это кисловато-сладкое питье.

Он нацедил полстакана, потягивал, смакуя, разглядывал на свет, наблюдая, как медленно отслаивается дымчатый осадок. И снова подумал об Оле. Виделись они теперь часто, работали в одном здании.

— Ну как тебе здесь? Довольна? — спросил однажды.

— Другая атмосфера, все вместе... У Сергея Никитича фабрика идей...

Он тогда напрягся. Оля заметила.

— В чем дело, Алеша?

— Несколько раз уже было так: ты заговариваешь о том, о чем я в тот момент думаю.

— О чем сейчас?

— Ерунда... Ты точно определила, что фабрика идей, все к нему бегает... Что-то он и тебе подкинет, не упusti...

Оля сняла комнату у вдовой старухи, та вскоре уехала в Рязань на год к дочери-роженнице...

Комната, правда, была на окраине, двух- и одноэтажные дома с дворами, застроенными сараями, куры, поросята. Он помог Оле перевезти вещи, собрал старую, но добротную деревянную кровать с тяжелым пружинным матрасом, хотя у Оли была своя раскладушка, поменял местами шкаф и стол, приколотил вешалку. Провозились допоздна, домой уже не поехал. Утром вдвоем уходили на работу. Во дворе тетка в телогрейке и сапогах на босу ногу выливала из ведра в таз темную, исходящую паром бурду, два поросенка, вымазанные чем-то черным от блох, что ли, оттирая друг друга, тыкались носами в таз, жадно чавкали; вокруг суетливо вертелись куры, поклевывая из лужиц, натекавших из ведра.

— Мы опаздываем на работу, Алеша. — Оля потянула его за рукав. — Ты что, поросят никогда не видел?

— Давно видел. В детстве... Как несложна жизнь. Посмотри на эту тетку. На лице довольство. А мы все наперегонки, кто кого, аж язык вываливаем.

— Кто же тебе мешает?

— Завести поросят и несушек?

— Нет, не гонять взапуски.

— Жизнь.

— Чего ж ты хочешь?

— Свиную отбивную на столе, чтоб мне ее в ресторане подавали.

Оля внимательно посмотрела на него.

— Как ты спал?

— Плохо.— Это было правдой, болели голова, тело, в глазах — толченное стекло.

— Из-за того, что на раскладушке?

— Какая разница сейчас, из-за чего, не нужно об этом.

— Почему же не?...— поняв, спросила она тихо.

— Не привык получать по морде.

— Ждал, что позову? Тебя так приучили? Мне что, извинения просить?

— Я тебя ни в чем не попрекаю.

— И за это спасибо.

— Оставь... Как школьники...

Разговор этот сохранился в памяти подробно. Понимал, что выглядел дураком. Позже, когда все разрешилось само собой, без напряженного поиска слов, без осмотрительных и выверенных движений и жестов, Оля, уже подтрунивая над ним, вспоминала этот разговор... Женщиной она оказалась искренней в любви, неторопливой, ничего не имитировала; когда рукам становилось уже невмочь высказать все, горячечные слова ее, хоть и знакомые, отобранные за тысячу лет и повторявшиеся каждый новый раз непродолжительно и в одни и те же краткие мгновения,— все же с ее утомленных губ срывались, как ему казалось, неожиданно, с тем тихим восторгом, какой познается человеком впервые. Он знал других женщин — распаляюще жадных, требовательных, обжигающе откровенных и до и после. С Олей — все иначе, и, пытаясь как-то определить это *иначе*, он, как ему казалось, нашел точное: для нее любовь была любовью...

Как-то предложил ей перейти жить к нему, во всех смыслах удобней. Она отказалась.

— Тебя смущает, что наши отношения не оформлены? — рискованно спросил.

— Не оформлены? — засмеялась Оля. — А если ты вдруг решишь на ком-то жениться? Представляешь: я с чемоданами съезжаю с твоей квартиры под аплодисменты соседок! А внизу в фате ждет твоя избранница. Зрелище!

— Жениться?... На ком?

— Когда-нибудь же придется.

— Если уж придется, то только на тебе, — подмигнул он.

— Предупреди заранее, чтоб у меня было время подумать. Я однажды уже выходила замуж.

— И зареклась?

— Нет, конечно... Но только не так: при свете дня не терпят друг друга, а в любви клянутся по ночам, в постели...

С трезвостью человека, приближавшегося к тридцати, Каймаков, оценивая Олю, которую узнал теперь много лучше, чувствовал, что постепенно привязывался к ней сильнее, видел, что и Оля прирастала к нему, отношения их становились доверчивее, ровнее, спокойнее, словно оба покончили с поиском, обрели уверенность, что не ошиблись...

Допив грибной настой, Каймаков ополоснул стакан, вытер полотенцем, висевшим на крючке-присоске возле раковины, и, поставив стакан в кухонный шкаф, вернулся в комнату.

Самолет в Красноводск пришел по расписанию. Здесь было уже совсем тепло. Долинин ощутил это, еще стоя на трапе в распахнутом пальто. Встречал его профессор Союнов.

— Куда едем?— спросил Долинин, усаживаясь в машину.

— Сперва в гостиницу, все оформим, а потом к моей сестре, она тут живет...

За столом сидели втроем, а точнее — вдвоем: Долинин и профессор Союнов. Сестра его, Джерен, устроившая обед в честь гостя, все время выпархивала то на кухню, то на застекленную веранду. Там, на широком деревянном настиле, поднятом над полом на метр и застеленном ковром, на белейших полотенцах, посыпанные мукой, лежали слепленные по-особому туркменские пельмени. На кухне в казане булькал плов, в кастрюле томился унаш — бараний суп-лапшевник.

Пока что пили чай — знаменитый байховый зеленый № 95. Перед каждым стоял фаянсовый чайник. Союнов наливал из него в пиалу, возвращал желтоватый настой снова в заварной чайник и лишь потом пил. Из вежливости Долинин делал то же самое. От шестичасового перелета, рева двигателей, смены временных поясов, от нежного загадочного лица Джерен он пребывал в состоянии легкой эйфории и старался все удержать в памяти. Разговаривая с Союновым, краем глаза следил за бесшумно входившей и исчезающей Джерен — миниатюрной, смуглой, с темными кистями рук. Он помнил сухое тепло ее узенькой ладони, скользивший на запястье широкий серебряный текинский браслет-белезик с тускловатыми старыми сердоликами. Как

и у всех восточных женщин, возраст Джерен трудно было угадать: то ли под тридцать, то ли под сорок. Узнал, что она тоже врач...

Потом пили водку, закусывали солеными баклажанами, ели из пиал унаш — горячий, жирный, обжигающий перцем и пахучий от специй. Долинин хмелел от водки и острых блюд, чувствовал, как завлажнел лоб. Он любил нешумное застолье, вкусную острую еду и, все позабыв, был счастлив, что он здесь, что в жизни его есть и подобные радости и что на них легко откликается душа.

— Такого обеда я еще не заслужил, — смеялся он, принимаясь за пельмени.

— Вы мой гость. Хотя я тоже здесь гость, да, Джерен? — отвечал улыбкой Союнов.

А она снова выходила на кухню за свежей порцией пельменей, двигалась легко, грациозно, освещая все яркостью прямого, свободно падавшего до щиколоток платья.

К концу обеда был снова заварен свежий чай, и Долинин только теперь оценил его. После острой и жирной еды жажда была нестерпимой, и, обжигаясь, он с наслаждением приканчивал третью пиалу, без сахара...

— Почему вы решили устраивать конференцию здесь, а не в Ашхабаде? — спросил Долинин.

— В столице многие бывали, а в этой части республики тоже есть что посмотреть. По программе один день выделен для экскурсии...

Когда отобедали, Союнов хотел вызвать машину, но Долинин воспротивился:

— Давайте пешком пройдемся и как-нибудь, чтоб к морю поближе, я ведь Каспий не видел.

Прощаясь с Джерен, он долго и искренне благодарил ее, извинялся за причиненное беспокойство. Она слегка кивала в ответ: «Ну что вы!» И в этом не было игры, словно вкусно накормить гостя доставляло хозяйке столько же удовольствия, сколько испытывал гость.

Не спеша пошли они по немногочисленным улицам, тянувшимся под уклон.

— Вон и Каспий, — сказал Союнов.

Море открылось внезапно за крышами домов; оно было холодным, это угадывалось в серовато-стальном его цвете, в пустынности. Но припекавшее спину весеннее солнце, блики его, плясавшие на мелкой волне, манили искупаться. Долинин понимал эту иллюзию, но все же сдернул с шеи шарф, затолкал его в карман и снял кепку. В сто-

роне виднелись ворота и корпуса рыбзавода, пахло ворванью, рыбой и солью.

— Отсюда паромом можно перебраться в Баку. Совсем близко,— сказал Союнов.

— Богатые вы люди, много песка и много воды.

— Песка хватает. А вот насчет воды... Город на жестком дефиците, иногда и на привозной живет.

Повернув от берега, они пошли к гостинице.

— Клыч Рахимович, у меня тут одно личное дельце: где-то в Красноводской области обитает мой племянник. Повидаться бы с ним хотелось, если, конечно, это не у черта на куличках,— сказал Долинин.

— Адрес у вас есть?

— Разумеется.— Долинин вытянул из кармана бумажку.— Вот...

— Это хуже, чем у черта на куличках,— выпятил губы Союнов.— Погранзона.— И, помолчав, сказал:— Что-нибудь попробуем сделать.

— Если это очень хлопотно, бога ради, не надо, у вас и так сейчас забот полно.

— Заботами мир счастлив, Сергей Никитич, у них есть результат... Паспорт у вас с собой? Давайте-ка...

У гостиницы остановились.

— Значит, до завтра,— сказал Союнов.— Начало в десять, заеду за вами в половине десятого.

— Большое вам спасибо за все. И еще раз мой поклон Джерен.

— У нас женщинам не кланяются. Но вы — гость, придется исполнить вашу просьбу, несмотря на мой живот...

Долинин боялся, что заснуть сразу не удастся: первая ночь на новом месте всегда у него так. И сейчас прокручивал в уме все, что видел за день, припоминал разговоры, думал, как все сложится завтра, не слишком ли длинен или короток доклад, не забыл ли что-то сделать на кафедре в предотъездной суете. К тому же еще и переел, будет томиться от жажды, а минеральной водой не запасася...

Он какое-то время лежал, думал, как странно устроен человек: дома дел невпроворот, и вроде бы все срочные, боишься истратить лишний час на что-нибудь постороннее, но едва уезжаешь куда-нибудь, как все отодвигается, теряет свою значительность, а вернувшись, обнаруживаешь, что ничего катастрофического не произошло, неотложное спокойно ждало его возвращения...

С этим, успокоенный, и уснул...

...Доклад Долинина состоялся по программе — на третий день. Еще дома он убрал из текста категоричность, ссылки на традиционные примеры, классические случаи; посвященный сосудистой патологии доклад завуалированно, в вопросительной форме предлагал новую гипотезу. Это было рискованно: шаблон мышления устойчив, идея, высказанная публично в виде вопроса, могла быть похоронена в зародыше — теоретические посылки не очень убеждают, в его профессии особенно, тут нужны зримые доказательства. Ими могли стать спектрограммы. Но когда еще он получит их?! И все же рассчитывал, что риск оправдан: необходим раздражитель, дрожжи, пусть возникнут возражения, споры, он нуждался в этом как в своеобразной проверке своих предположений. Когда еще представится возможность оценить все опытом стольких профессионалов?! Однако постигло разочарование: не последовало ни одобрений, ни споров, ни возражений — отмолчались. И он понял: не готовы, озадачены, каждый отложил свое мнение «на потом», чтобы спокойно и не спеша взвесить, обдумать услышанное, сверив со всем, что накоплено собственной практикой. И все же чувствовал, что его сообщение не осталось незамеченным, многие по ходу его выступления что-то писали в блокноты. Но, как ни утешался, настроение было, как после поражения. Даже любезнейший профессор Союнов сказал: «В вашем сообщении что-то есть. Надо на досуге подумать. Тут спешить нельзя...» Вконец настроение ему испортила промелькнувшая в зале физиономия Кудиновского. «И он тут, этот чиновник? — недоумевал Долинин. — Все равно что шимпанзе в планетарии». Но потом сообразил: ожидалось выступление об оснащенности лабораторий, а это по ведомству Кудиновского.

Давным-давно Феликс Кудиновский, химик, был на кафедре у Долинина старшим лаборантом. Ловчила, интриган. Но, что правда, исполнитель, как черт в аду. Долинин дотерпел его до какой-то очередной скандальной истории и изгнал, поклялся не подавать руки и забыл о его существовании. Спустя много лет, будучи на симпозиуме в столице, Долинин зашел в министерство — решить наконец вопрос о покупке для лаборатории двух шведских микро-томов. Все со всеми было согласовано, требовалась последняя подпись, он отправился за нею на этаж, куда никогда прежде не поднимался. В приемной увидел на двери табличку: «Кудиновский Ф. В.». Совпадение и фамилии, и инициалов сомнений не оставляло. Первым желанием было

уйти. Но микротомы... Без них зарез, их ножи позволяли делать срезы в пять-шесть микрон, а это повышенная точность биопсий и, в конечном итоге, точность диагнозов...

К удивлению, принят был Долинин немедленно. Кудиновский вышел из-за стола, приветливый, элегантный — в темно-синем пиджаке и в светло-серых фланелевых брюках, — поймал Долинина за руку и долго тряс, усадил в кресло. Узнав, зачем гость пожаловал, бумагу подписал мгновенно. Долинин не успевал реагировать на этот обвал доброжелательности. И, провожая, уже у двери Кудиновский сказал: «Вот как бывает, Сергей Никитич! Когда изгоняли меня, поклялись: руки не подадите. Вы, конечно, будете утешать себя, что сегодня отступились от клятвы ради дела. Ненадежная тут грань. Сегодня вы подали руку мне, а завтра — кому? Тоже ради дела? — смеялся он, забавляясь растерянностью Долинина. — Не огорчайтесь, Сергей Никитич, все мы, дорогой, вписались в интерьер, и все мы рядышком. Вы недоумеваете, как я здесь очутился, почему? Я такой же, как и был, просто я хорошо обслуживаю время. Впрочем, как и вы. Заботы-то у нас общие. Так что, когда надо, обращайтесь без стеснения и всяких там угрызений. Ради дела», — подмигнул и снова схватил руку Долинина, пожал...

Долинин вышел ошеломленный, с ощущением, что его вывалили в грязи, но присыпали сахарной пудрой. Спускаясь в лифте, проклинал себя, микротомы и бумажку с резолюцией, лежавшую в папочке...

Теперь встретиться с Кудиновским здесь, в Красноводске, в кулуарах конференции, было выше его сил. Пройти мимо, сделать вид, что не заметил? Но наглец может поймать за руку, остановить. По морде не дашь — вокруг «интерьер», в который, как тогда сказал этот прохиндей, они оба вписались. Чего-доброго, возьмет за локоток и шепнет с улыбочкой: «Заявочка ваша на красители уже лежит у меня...» А красители так нужны!.. Завтра предпоследний день работы конференции, послезавтра экскурсия... «Не пойду завтра, лучше поброжу по городу, у моря посижу...»

Не пошел он и на послеобеденное заседание, швырнул папку со своим докладом на стол и завалился на кровать. Вечером явился Союнов.

— Я искал вас. Плохо себя почувствовали? Может, врача нужно? — Запыхавшийся Союнов вытирал платком багровую шею.

— В зале душно. Голова разболелась. Никакого врача, Клыч Рахимович!

— У меня хорошая новость. С пограничным начальством улажено, пустят вас к племяннику.

— Вот славно! Когда?

— Послезавтра.

— Далеко это?

— По нашим масштабам — пустяк. В общем, решайте сами, Сергей Никитич. Сперва райисполкомовским «Москвичом», а дальше товарищи из ГАИ обещали помочь.

— Что уж решать... Поеду, конечно.

Когда Союнов ушел, он глянул на себя в зеркало и рассмеялся: «Надул я тебя, Кудиновский. Не возьмешь ты меня за локоток. Улизнул я. А красители ты мне дашь, сукин сын. Кланяться к тебе я не приду. Нужно будет — к замминистра пойду, а не к тебе». Но веселье тут же померкло, когда подумал, что улизнуть-то улизнул, однако Кудиновский остался там, в общем их «интерьере»...

Дорога была хорошая, асфальт, и стрелка на спидометре приклеилась к цифре 80. Слева виднелся тяжелый свинцовый студень моря, потом оно ушло в сторону, в голубоватой дымке возник Балханский хребет. По плоской равнине тянулась железнодорожная колея, но за алым колышанием маков ее не было видно; казалось, что состав с цистернами движется просто по земле, залитой красным. У обочин бродили верблюды, лениво обшаривая сухие кусты, или лежали, подогнув ноги, а иногда не обращая внимания на проносившиеся машины, неторопливо переходили шоссе. Промелькнуло голое, без единого кустика, тоскливое мусульманское кладбище с овальным голубым куполом старого мавзолея. В могильные холмики были воткнуты палки с болтавшимися по ветру ритуальными тряпками, изрезанными на ленты.

Вскоре их настиг вертолет ГАИ, покружил и, зависнув над глинистым, в трещинках, полем, стал снижаться.

Попрощавшись с райисполкомовским шофером, Долинин побрел к вертолету, неловко ступая по кочковатому полю затекшими ногами. У вертолета ожидал милицейский старшина — коренастый смуглый парень с бугристыми пятнами на лице. «Пендинская язва, наверное, с детства», — вспомнил Долинин, что в этих краях она считалась когда-то делом обычным...

— Вы за мной? — спросил Долинин.

— Как приказано. — Старшина козырнул.

Он помог Долинину сесть в остекленно-железное нутро, выпрямился в своем промятом кресле. Под колотивший рев двигателя и свист лопастей машина оттолкнулась, пошла ввысь. Проблеснули такыры с озерцами дождевой воды, аккуратно и надежно окопанной, в знойное безводье лета на эти такыры придут верблюды и овцы, воду надо не просто сберечь, но не замутировать...

От шума и вибрации Долинину казалось, что машина развалится, в ней оказалось много стекла — справа, слева, вверху, под ногами; это вызывало чувство ненадежности. Но старшина прижал скобу с микрофоном к изъеденной шрамами щеке, передатчик, видимо, отключил и негромко, для себя, пел что-то медленное и длинное. Из-за шума пытаться разговаривать было бессмысленно, и Долинин с небольшой высоты разглядывал землю, ее незнакомые черты ничего не объясняли ему, внушали ощущение такой древности, куда ни взором, ни мыслью не проникнешь...

Пролетели поселок, детишки, да и взрослые, заслышав грохот с неба, задирали головы. И снова — ровное плато, буро-серое, с красными пятнами маковых полей, с оловянно блестящими от солнца озерцами воды на глинистых такырах, потрескавшихся, как человеческая кожа от ожогов...

У развилки пустынной дороги, маленький сверху, как спичечный коробок, стоял «уазик». Плавно опустились, сели у такыра. В «уазике» Долинина ждал майор-пограничник. Коротко познакомились, и майор скомандовал солдату-водителю:

— Трогай.

Смуглый горбоносый водитель в потной на лопатках гимнастерке легким жестом сдвинул со лба на затылок зеленую выгоревшую панаму, круто развернулся и погнал машину по шоссе в открывшуюся низину. Потом пошла ухабистая грунтовка с редкими кустиками солянок, уже обметанных пылью.

— Тоскливое место, — сказал Долинин.

— Ничего, живем. Сейчас увидите. — Майор нетерпеливо завертел головой. — У нас ведь субтропики.

И действительно, вскоре распахнулся простор с зеленевшими кустами, с частоколом виноградников на рыжих пологих склонах, с купами деревьев, выметнувших под солнце весеннюю листву...

— Ну вот и приехали, — сказал майор.

Словно по команде, солдат тормознул. Долинина кач-

нуло. Он открыл дверцу, вышел, огляделся. Стояла пугавшая глубиной тишина. Вокруг лишь холмы, увалы. Слоистый ветер кружил изменчивые теплые запахи земли, окаймленной вдали то ли дымчатыми тучами, то ли горами. Под склоном Долинин увидел белостенную мазанку, участок, огороженный кольями, соединенными провисшей проволокой.

— Вы к нам надолго?— спросил майор.

— На сутки.

— Что так мало?

— Не получается.

— Значит, завтра заеду. Михаилу привет.

— Вы его знаете?

— Мы всех знаем. Граница...— улыбнулся майор.

Лязгнула дверца, машина с места рванулась, исчезла за холмом, и только по перемещавшемуся хвосту красноватой пыли угадывался ее петлявший в низине путь...

Было тихо, пустынно, дико. Долинин слышал свои шуршавшие шаги, его охватило ощущение покинутости, утраченной возможности вернуться к привычному. Словно, пробившись сквозь толщу земного шара, он вдруг вывалился наружу на противоположном конце и сейчас не знал, где находится. «Зачем я здесь? Что мне тут надо? Что за блажь была вообще тащиться в эту тьмутаракань?»— тоскливо думал он, приближаясь к мазанке.

Во дворе темнел закопченный тандыр, в дальнем углу у ограды косо торчала узкая будка сортира. Грядки. Уже взрыхленные, с ровными просохшими следами грабельных расчесов. За приближением Долинина, опершись на грабли, следила женщина. Молодая, рослая и, наверное, сильная — он заметил ее полные, уже подпеченные солнцем руки. Одета она была странно: закатанные до колен индиговые джинсы, белая футболка, на босу ногу утратившие и форму, и цвет мужские туфли.

— Здравствуйте,— подошел Долинин. Он ожидал, что в тишине голос его будет громок, но в огромном открытом до горизонта просторе прозвучал ватно, немошно.— Мне нужен Михаил Оверков.

— Проходите, он дома,— ответила женщина без любопытства, будто визиты на это подворье были делом обычным и уже наскучившим.

Крыльца не оказалось — три доски в настил и распахнутая дверь. У входа на вкопанном бруске был прибит желтый рукомойник в оспе отбитой эмали, под ним таз с мыльной водой, валялись кеды, волосяная щетка,

рулон с остатками хлорвиниловой пленки, куски войлока. В глаза лезли почему-то эти подробности, все указывало, что большую часть времени люди проводят вне стен дома.

Долинин шагнул в затененный проем, сразу попал в комнату. Было в ней низко, темновато, два небольших окна распахнуты, почти никаких запахов жилья. Широченный, на местный манер, самодельный топчан, где улеглось бы — хоть вдоль, хоть поперек — человек пять, допотопный холодильник «Саратов», убогий стол, покрытый слинявшей клеенкой, газеты, соль в блюде и лопнувший на Африке школьный глобус, белый железный медицинский шкаф с разнокалиберной посудой. Все это Долинин охватил сразу, ошеломленно и растерянно. В углу что-то зашуршало. Выпрыгнул черный котенок, игравший какой-то пятнистой вспученно заостреневшей шелухой.

— Ксана? — спросил кто-то. Шевельнулась пестрая занавесь, вышел мужчина. В густой рыжеватой бороде, сросшейся с усами, прятался маленький рот, голова лысая, лоб казался огромным, метнулись голубые глаза, постепенно узнавая лицо, фигуру и снова лицо Долинина. — Дядя Сережа! Ты?

Обнялись, трижды накрест коснулись друг друга щеками.

— Ты откуда? — спросил племянник.

— Из Красноводска. Конференция там.

— А сюда — ко мне, что ли?

— К тебе, к тебе.

— Вот это да!.. Ксана! — высунулся он в окно. — Бросай к черту, гость у нас!

Вошла женщина. Долинин увидел, что и она голубоглаза, скуласта, губы четкого рисунка обведены коричневой сухостью.

— Знакомься, это мой дядька, дядя Сережа, Сергей Никитич, мамин родной брат.

— Оксана. — Она протянула руку, и Долинин почувствовал, что рука у нее действительно сильная. — Вам бы умыться с дороги. Миша, возьми чистое полотенце, а я пока на стол соберу.

Вышли, Долинин разделся до пояса, поплескался под рукомойником. Племянник стоял рядом, держал полотенце и разглядывал родственника; все еще ошалевший, непонятно улыбался. Наклонив голову и вытирая затылок, Долинин спросил:

— Жена?

— Оксана? Жена.

— Которая же по счету?
— Третья.
— Успеваешь, смотрю... Чем занимается?
— Техник-мелиоратор... Здесь в ВИРе работает.
— Что такое ВИР?— Долинин перебросил полотенце через плечо.

— Всесоюзный институт растениеводства... Ладно, это потом... Как там мама?

— Есть люди, которые сами себе усложняют жизнь, надевают терновый венец мученичества, этим и живут. Вот она, твоя мама и моя сестра. Но она *твоя мама*. Она еще не смирилась с тем, что тебе сорок, а не двенадцать, и что ты сам выбрал то, что имеешь, а не стал, как она полагает, жертвой злых людей. Поэтому ты пиши ей не раз в год, а хотя бы раз в месяц. Пиши обо всем: как спишь, как ешь, какой у тебя стул, нет ли температуры. О переменах в личной жизни, про жен своих.

Михаил слушал молча, поскребывая в бороде.

— За что ты так зол на нее? Сестра ведь твоя, дядя Сережа.

— Она боится всего: услуг, одолжения, хорошего отношения. Всегда подозревает: это неспроста, мол, это нужно кому-то для чего-то.

Вошли в комнату. Оксана уже придвинула стол к топчану.

— Садитесь. Вы баранину едите, Сергей Никитич?— спросила.

— Ем. Все ем, спасибо.

— Огурцы и помидоры в этом году еще не пробовали? Это парниковые, но все-таки... Вот лепешки, свежие, утром в тандыре испекла. Гранат наш знаменитый... Наливай, Миша.

Рюмки были высокие, скорее для вина. Михаил налил «Пшеничной». В углу снова зашебуршал котенок.

— Чем это он играет?— оглянулся Долинин.

— Змеиной шкурой. Кобры, гюрзы. Сбрасывают старую, надевают новую, как линька у млекопитающих,— ответил Михаил.

— Водятся здесь?

— Сколько угодно... Ну, побежали.— Михаил подцепил рюмку.— Сперва встречную-невечную...— возбужденно провозгласил.

Выпили. Михаил фыркнул, оторвал кусок лепешки, занюхал, ухватил помидор. Оксана разложила по глубоким

супным тарелкам бараний гуляш, сваренный, наверное, вчера или сегодня утром и к ужину разогретый. Долинин угадал это по затвердевшей картошке.

По второй выпили незаметно, между делом, еще жуя закуску после первой.

— Ксана, а чал забыла?!— воскликнул Михаил.

Она вытащила из холодильника трехлитровую банку чего-то белого, густого, как кефир, наверху, под самой крышкой отстоялся с полвершка жир. Сильными корявыми пальцами, исеченными сизыми шрамами, Михаил потянул банку, подхватил ладонью, взболтал.

— Попробуй, дядя Сережа, это чал, молоко верблюдихи. И жажду утоляет, и похмеляться хорошо.— Он налил в тусклые граненые стаканы.

— С бараниной совмещается?— спросил Долинин, поднес стакан, шевельнул ноздрями, понюхал.

— Совмещается, совмещается, со всем, кроме дыни, тут без привычки просифонить может...

Они прикончили бутылку. Михаил зажал в кулаке горлышко второй, начал срывать винт.

— Не надо,— остановил его Долинин, потягивая чал.

Оба уже захмелели, были угнетены этим бестолковым сидением: говорить, оказалось, не о чем, в сущности, чужие. Но Оксана понимала: разговор возникнет, чужие не чужие, а профессор этот не зря сюда примотал, да и Миша слишком уж водкой себя подхлестывает, храбрость нагоняет. «Что ж, дело их, семейное. Я тут ни при чем. Только мешаю, похоже. Мне ничего не нужно. Пусть разбираются. Все равно Миша никуда не денется, такой он...»— следила Оксана, как изучающе родственник поглядывал на Михаила...

Совсем стемнело. Оксана зажгла свет, голая лампочка висела на коротком шнуре с пересохшей потрескавшейся изоляцией.

— Я, пожалуй, пойду, вы уж извините, Сергей Никитич, мне в пять утра вставать,— поднялась Оксана.— Миша, постельное белье для Сергея Никитича на нижней полке. И окно закрой. Ночи у нас еще холодные,— объяснила уже Долинину и ушла за занавеску.

Уход ее словно сдвинул какую-то заслонку, сдерживавшую напряжение.

— Ну что? Разбавим? — нервно спросил Михаил, опять берясь за бутылку.

— Хватит. Много пьешь?

— По случаю.

— Надолго здесь застрял?

— Я не застрял. Я живу.

— Не понимаю тебя, Мишка, ты ведь не дурак,— миролюбиво сказал Долинин.

— Имеешь в виду мой быт?— Он придвинулся к столу, вонзившись воспаленными глазами в лицо Долинина. Блеклая, стираная-перестираная ковбойка распахнута до живота, кожа на груди темная от постоянного загара, в рыжеватых завитках волос, на ней, как и на больших сильных кистях рук, сизые узлы маленьких шрамов.

— Быт ни при чем. Носишься по стране из угла в угол как неприкаянный. Дело! Каким делом занят? Тебе сорок. Когда же в себя придешь?

— Длинная анкета, дядя Сережа,— осклабился.— Попробую ответить. Каким делом занят? Пожил на Дальнем Востоке, в Находке. Работал в доке сварщиком, рыбачил, ходил матросом на танкере от Находки до Певека. Надоело. Подался в Заполярье, в Дудинку, тоже рыбачил, плотничал. Теперь здесь. Сперва в институте растениеводства подвязывал лозу, окучивал архивные деревья... Тебе и спяну не приснится, что я повидал и узнал!— Он вскочил, заходил по комнате.— Знаешь ты, сколько земля родила сортов винограда, а? Восемьсот шестьдесят! Шестьсот сортов абрикоса! Около двухсот инжира! Обалдеть можно! Слышал про мандрагору? Плод такой. Спелый полезен, недозрелый — как отравя. По легенде, вроде Иисусу Христу губы мандрагоровым уксусом смачивали, чтоб мучился посильней. Так вот с тех пор, говорят, мандрагору найти не удавалось. А у нас тут недавно нашли!— Он открыл шкаф, достал пол-литровую банку с коричневым настоем, прополоскал рот и выплюнул за окно.

— Сок мандрагоры?

— Ладно тебе! Шалфей, десну костью оцарапал.

— Ну и какой прок от всего, что ты знаешь о мандрагоре, об инжире, от всего, что видел?

— Для кого?

— Для тебя, для остальных людей?

— Э-э-э! Демагогия!— Михаил схватил тугой коричнево-красный гранат, долго мял его, пока не превратил в мягкий мешочек, продырявил вилкой, зажав в ладони, выдавил багровый сок в рюмку с остатками водки и заплеснул в рот.— Что я потерял? Кандидатскую, «Жигули», дубленку, а в придачу инфаркт, как некоторые мои одно-

кашники? Образумились? Нет, прут дальше, наперегонки, аж селезенка в боку бухает. А куда, зачем? Ухватить кооператив, «Волгу»? Жена шепчет: «У Ваньки, Петьки, Степки дача! А ты гребешь ушами!» Жмем докторскую. И все бегом, догоняем. Докторскую испекли, дачу отгрохали, «Волга» в гараже, и — бац, второй инфаркт. Шлагбаум. Оглянулся, вздохнул: «А на хрена все это мне нужно было?..» Вот и я подумал: действительно, на хрена мне все это нужно?..

Долинин слушал его, поражаясь злости слов, их напору.

— ...В Находке есть припортовый ресторанчик, как Ноев ковчег: бичи, рыбаки, портовики, наши, японцы. Познакомился там с одним парнем, программист, а плавает простым палубным на круизном судне. Никому не завидует. И счастлив. Ловил я на Енисее тайменя, живет шестьдесят пять лет, средний, так сказать, человеческий возраст. Так вот, эта рыба ежегодно меняет зубы. Ищет течение посильней, пасть открывает, вода щекочет десны, чтоб не так больно было. Пижон, женихом все хочет выглядеть, в форме быть, чтоб не обскакали... Все вы мне там, — махнул он куда-то в позабытое рукой, — напоминаете этого тайменя. Разве что зубы новые не вырастают, а носите вставные челюсти, и щекочут вас медсестры — растирают задницы после уколов. А у меня вот. — Михаил ощерил белые сильные зубы. — Кедровые орешки грызу, персиковую косточку запросто. Вот так, дядя Сережа. А тайменем я водочку закусываю.

— Ты, Миша, не меня сейчас убеждал, а для себя старался, как оправдывался перед собой, — спокойно сказал Долинин, всматриваясь в налившиеся малиновым цветом, уже сонно мигавшие глаза племянника. — Хочешь, я тебе скажу, почему ты сбежал?

— Ну-ну, скажи, дядя, а я послушаю. — Он снова прополоскал рот.

— Испугался ты своего дела. Ответственности за него. Быть никем легче, спокойней. Трус ты, Миша.

— Я — трус?! Это что? А это? — Он выбросил на стол тяжелые руки и тыкал пальцами в шрамы. — А это? — шаркнул ладонью по рубцам на груди. — Во! — вытащил из кармана скальпель. — Сам надсекаю после укусов кобры или гюрзы. Я уже год в серпентарии работаю, ловлю этих гадов для вашей вонючей медицины!.. А ты сможешь так, — он выставил скобой указательный и большой паль-

цы,— цапнуть ее — и в мешок? Целый день по зною, ищешь их. Да не зевай! Гюрза на три метра сигает. Хорошо, если ударит в руку или в грудь, а если в затылок — привет!.. Сможешь так?

— Не смогу,— пожал плечами Долинин.

— Так кто из нас трус?

— Я проявлял трусость. Когда надо было сказать: саркома или нет. Сказать «да» — ампутируют руку или ногу. А вдруг ошибся? Сказать «нет», кто знает, не обрекаешь ли на смерть через полгода, если тоже ошибся, пожалев руку или ногу... Я не о том, и ты это понимаешь... Закрой окно, в спину дует.— Он глянул в глубину ночи. Крупные разгоревшиеся звезды на черном небе напоминали небесный свод в планетарии, куда очень давно водил дочь, ей было тогда, кажется, двенадцать, начиталась о Галилее и Джордано Бруно.— Разговор наш, конечно, пустой, упустил ты время, в сорок лет начинать бессмысленно, наука не любит опоздавших... Жаль, ты был способным человеком... Но и так существовать тоже ведь нелепо.

— А я ни о чем не жалею,— отвернулся Михаил.

— Ты в этом уверен?

— Я хочу независимости.

— Независимость, милый ты мой, это возможность принимать серьезные решения. У тебя этой возможности нет.

— Пусть так... Но скажи мне: вот ты ученый, полон идей, устоев, а умереть за них сможешь, на плаху пойдешь? Ведь жизнь им посвятил! А?

— Знаешь, наверное, нет,— с улыбкой сказал Долинин.

— Ага! Что и требовалось доказать! — шевельнул Михаил челюстью.

— Это ничего не доказывает, Миша.

— Как же так: жизнь посвятил, а умереть за это не хочешь, значит, вся прошлая жизнь коту под хвост? — ухмыльнулся.

— Умирать никто не хочет, уж поверь мне. И не обязательно умирать на плахе. Я согласен и в постели. Но что в жизни сделано, то сделано, остается оно...

Ничего не сказав, Михаил вышел во двор. Вскоре вернулся.

Спать собрались в третьем часу. Уже когда погасили свет, Михаил спросил:

— Не замерзнешь? Может, дать еще чем накрыться? —

Он остановился перед занавеской, прикрывавшей вход в другую комнатенку.

— Не надо, не замерзну... Беда ведь наша в чем, Миша,— вдруг сказал Долинин в темноту,— ты слышишь меня?

— Да,— глухо отозвался племянник.

— Ты бросил науку, пошел в матросы, в плотники, лозу подвязывать. Думаю, ты не единичный экземпляр. А ваши места заполняют люди, способные лишь подвязывать лозу и окучивать деревья. И от этого у них возникает комплекс непомерных претензий при минимальных возможностях. Тогда они начинают создавать себе эти возможности любыми средствами... Так-то, Миша.

— Это уж ваша забота сражаться с ними. Я за свое место под солнцем не боюсь. А вот если тебе дадут коленкой под зад... Потеряешь кафедру, славу, деньги, удобства. А ухлопал на это жизнь.

— Конечно, потерять обидно,— согласно сказал Долинин.— Прости за резонерство, но любимое дело, наверное, и определяет то, что мы называем «жизнь состоялась». И отторгнуть человека от него — как оскопить.

— В скопцах не числюсь. Третья баба у меня, не жалуется... Ладно, спокойной ночи, поговорили...— Он ушел за занавеску.

Утром, когда встали, Оксаны уже не было. Есть не хотелось, дожевали остатки, выпили кисловатого резкого чала.

Вспоминая вчерашний разговор, Долинин сожалеюще поморщился: обещал ведь себе не затевать — образумить сорокалетнего мужика невозможно, да и ради чего? В науку возврата ему нет, а долдонить о потерянном бессмысленно, время необратимо... А был же способный, дурень...

— В серпентарий пойдем? — спросил Михаил, влезая босыми ногами в размятые кеды.

Долинин отказался.

— Обиделся? — спросил племянник.

— С чего ты взял?

— Показалось... Уж очень ты старался уязвить меня на сон грядущий... Ты, дядя Сережа, прости, если что не так. Но скажу тебе: ты всегда хотел, чтоб люди жили только по правилам, какие ты считаешь самыми полезными,— миролюбиво сказал Михаил и не то с сожалением, не то сочувственно развел руками.

— Даже если так, что плохого? — Сидя на постели, Долинин натягивал носки.

— Плохого ничего. Но ты часто упираешься в стену. Осуществить твои благодеяния тебе мешают те же самые люди, ради которых стараешься. Они-то тебя больше всего и раздражают, мешая облагодетельствовать их. Ты же этого не желаешь замечать. Но когда-нибудь уразумеешь, что хотел для них, но чтоб без них. Вот тогда и придет разочарование, потому что это уже бессмыслица. — Он нагнулся, снял кед, пошарил внутри, вытряхнул сухие стебельки и, выкатив глаза, глянул снизу. — Никому, дядя Сережа, ни хрена не нужно. Люди хотят, чтоб их оставили в покое, устали от нравоучений, беготни по замкнутому кругу. Что в нем? Меняются только вывески и действующие лица, чтобы создавалось впечатление, будто меняется суть...

То, что говорил племянник, задевало, обидно и колюче, и пугало — ведь в это можно было верить; даже сам он в какую-то минуту готов был с чем-то согласиться, как в гипнозе... И все же доволен был, что услышал, это надо было услышать... Но стоило ли ехать за этим тысячи километров?.. То, что исповедовал всю жизнь и внушал другим, оказалось пригодным не для всех... «Но этот-то выламывается, не верю ему, другим, может, и поверил бы, а ему не верю...»

— Нет, Миша. — Долинин присел рядом на корточки, пока тот зашнуровывал кеды. — Злобствуешь ты, оттого что жизнь профуфукал. Если я, по твоим словам, навязываю свои безвредные принципы, то ты навязываешь свое социальное раздражение... Однажды мы вскрывали умершего от газовой гангрены. Сердце, легкие, печень — все было в норме. И девчонка-интерн воскликнула: «Он умер совершенно здоровым!» Звучит?! «Умер здоровым!»

— Ты, как ездок: бьешь по седлу, чтоб лошадь поняла, — засмеялся Михаил. — Не старайся, дядя Сережа, меня не обидишь. — Он выпрямился, шаркнул ногами. — Это еще не про меня. И давай на этом закончим...

Майор приехал после полудня. Явился он кстати, оба уже тяготились друг другом.

— Это тебе, дядя Сережа, на память. — Михаил протянул Долинину высоченную черную баранью шапку. — Тельпек называется, их шьют из целой шкуры. А в этих авоськах дыньки, одна тете Нине, другая маме. Ты весу не пугайся, допрешь, там холуи найдутся, помогут. Таких дынь вы еще не ели, гарры-гыз, а по-русски — «старая дева», в авоськах на весу их храним...

Прощаясь, торопливо обнялись.

— Что матери передать? — спросил Долинин, пока солдат укладывал дыни в багажник.

— Главное — не усердствуй. Скажи, что я в порядке, работаю ботаником в ВИРе. Что тебе стоит? Соври ради родной сестры... Да, скажи, что осенью постараюсь выбраться к ней... Геннадий, — крикнул майору, — пусть солдат на железку не жмет, как-никак дядьку моего повезете, профессора...

Провожали Долинина Союнов и Джерен. Он даже не сразу узнал ее — худощавую, изящно затянутую в европейский костюм, на высоких каблуках, волосы туго оттянуты к затылку, в узел. Не было уже никакой экзотической Джерен, рядом стояла просто интересная женщина, отвечавшая слабой улыбкой, когда он осторожно заглядывал в ее черные глаза. Едва ли когда-нибудь сюда вернется и опять увидит ее. И в этом было тоже что-то волновавшее, необъяснимо грустное...

Союнов отошел к буфету выпить абрикосового соку, Долинин посмотрел на часы.

— Ну вот, Джерен, остается совсем немного, — произнес он, стараясь и ей внушить, что расстаются *навсегда*.

— Через несколько часов вы будете дома. — Словно поняв, она опять улыбнулась, как гостеприимная хозяйка. — В следующий раз приезжайте к нам осенью, прекрасное время.

— Будет ли он, следующий раз? На все хватает времени, а на свои прихоти — увы! — Большого говорить не следовало, почувствовал: дальше пойдет пошлость, ведь не влюбился же, просто какая-то приятная засасывающая игра.

Джерен поняла. Но ему все же было обидно, что-то ей не внушил, его прощание осталось неразделенным, даже удивился, как тоскливо это отозвалось в нем.

Объявили посадку.

Едва самолет взлетел, Долинин откинулся в кресле. Хотелось одиночества. Он закрыл глаза, отгораживаясь от всего, в затылок давил шов на гигиенической салфетке-чехольчике. Нужно было что-то вспомнить. «Потребность вспоминать, как голод, ее следует утолять, иначе задохнешься. — Он ощутил, как с набором высоты все сильнее тянет холодом, — сидел у стенки. Но ничего не вспоминалось, все, спутавшись в клубок, мельтешило. И, подумав о только что пережитом

расставании с женщиной, по которой, возможно, полагалось бы грустить, он вдруг сказал себе: — А как же, если действительно страдать?.. Страшно, но ведь необходимо... Стоматологи не любят прибегать к наркозу, когда лезут сверлить зуб, им нужен ответный болевой сигнал: дальше нельзя!.. Жить без наркоза... Иначе ты кукла с вечно голубыми и вечно невинными глазами, с вечным румянцем и одной на все случаи улыбкой... Но под целлулоидной оболочкой — полость, воздух...»

Дуло в бок, стало совсем холодно, Долинин попросил у стюардессы плед, укутался и, почувствовав вскоре, что начинает дремать, расслабленно вытянул ноги.

Он прилетел в сумерки, над городом висел розовый туманный отсвет, откуда-то тянуло горьким дымом. Разрытая мостовая, булыжины сложены у тротуара, объезд, красное неоновое слово «Автомобиль» над магазином, возле лотка ящики с капустными листьями... Радостно все это узнавал, сидя в такси, словно не был тут несколько месяцев. Туркмения ощущалась далеко и нереально, куда-то исчезли ее подробности, лица, голоса, будто покинул ее много лет назад, все рассыпалось, засохло, онемело. Единственно осязаемая явь — две пахучие дыни в багажнике...

Нина Борисовна была дома.

— Прибыл? — провела рукой по его волосам. — Зарос, говорила же тебе перед отъездом: пойдя постригись. — Поцеловала.

Сели ужинать. Есть после полета не хотелось, жевал, не чувствуя чем набит рот, отвечал на ее вопросы, вспоминал какие-то мелочи, о племяннике не говорил, об этом нужно было долго, пространно, требовало эмоций, а сейчас ничего такого не хотелось.

— Привезли обои, — сказала Нина Борисовна.

— Кто?

— Какой-то шофер, сказал, что ты знаешь.

— Красивые?

— По-моему, да. Финские.

— Как дети?

— Как всегда. Один раз заходили, подкинули Машку, на очередные именины бежали. У Машки диатез.

— Чем они ее кормят, черт их знает!..

Когда мылся под душем, поймал себя на том, что спешит. Знал, что в этот момент жена меняла постель, стелила све-

жее, шуршащее белье. Наскоро вытерся, глотнул из крана холодной воды и, еще чувствуя влагу на теле, вышел...

Лежали в гулко-пустой комнате, окна еще были не занавешены, лампу выключили, но с улицы светил фонарь, от стен пахло сырым мелом.

Долго тихонечко разговаривали, слегка прикасаясь друг к другу, потом он сильно привлек ее. И все было, как в молодости, как когда-то давно на юге. Жили в гостинице, знал слабость Нины — любила пожить в гостинице. За стенами море шелкало галькой, душный, истомный вечер, дверь на балкон-лоджию распахнута, ветер шевелил кисею занавеси, где-то внизу в ресторане или в баре небыстрая музыка. Всякий раз одно ощущение, едва поселялись: словно только что познакомившиеся любовники, будто все впервые. Он первым принимал душ (киснуть в ванне не любил) и ложился в постель, чуть прикрывшись еще несмятой, еще жестковатой простыней, и ждал, остро улавливая, как в ванной шелестит вода. Потом Нина выходила, обмотав бедра широким полотенцем, босая ступала по ворсистому одноцветному покрытию, а он нетерпеливо смотрел, как к нему приближалась незнакомая женщина со странным, изменившимся, почти трагическим лицом и, вздрагивая горлом, сглатывала воздух... И все, что было затем каждодневно, делало их сильными, счастливыми, доброжелательными. Лишь к концу отпуска комната становилась обычной, обнаруживались облупившаяся масляная краска за шторой, разохшаяся скрипучая дверца шкафа, ржавые подтеки в биде, помутневшее от влаги зеркало... Как давно это было и вроде недавно!..

Среди ночи жена разбудила:

— Сережа, ляг на бок, ты храпишь.

— Не выдумывай.— Он повернулся и тут же заснул.

Утром за завтраком просматривал местную газету: все номера за время его отсутствия Нина Борисовна сберегла, порядок этот был заведен давно. Завтракал один, у жены был первый урок, ушла рано. Он сложил газеты, составил грязную посуду в раковину, глянул на термометр, висевший за окном, проверил, на месте ли ключи от машины, и, покачивая портфелем, отправился в гараж.

К малоприятным, отвлекающим делам, какие Долинин не любил, относилась и просьба Юшина в связи с жалобой родителей пловца, скончавшегося от инфаркта. Затянул с

этим непозволительно, помешала поездка в Туркмению; подобных дел накопилось много, вроде мелочи, но не отмахнешься. Поэтому сразу же, с утра, попросил Наташу принести из архива протокол вскрытия, подписанный ею и доцентом Гайским. Прочитал дважды — подробный и обстоятельный — и ничего нового или мало-мальски сомнительного не обнаружил: смерть от обширного трансмурального инфаркта, катастрофическое состояние сосудов, атеросклероз. Это — то, что на бумаге. И уж вовсе неопровержимое — одиннадцать стекол некропсии. Он стал смотреть их одно за другим. Мельчайшее и тайное, увеличенное почти в 1200 раз, представало отчетливо откровенно, почти рельефно; казалось, тронь пальцем — и ощутишь неровности, губчатость или хрупкость склерозированных сосудов. Насколько же они поражены! У двадцатичетырехлетнего атлета, пловца!.. Было на этих стеклах что-то знакомое, виденное прежде... Да-да, стекла в той синей коробке из-под подарочного набора мельхиоровых ложек, на которой надпись его рукой: «Инфаркт миокарда. Склероз. Молодой возраст». Эту коробку, оклеенную внутри синим бархатом, он выпросил когда-то у тещи... «Что же я хотел?.. Синяя коробка...» — ловил он нечто мелькнувшее, как далекий сполох в грозовую ночь, даже не увиденный глазами, а угаданный... Некропсии пловца Коли Новокшанова и владельца «Жигулей», завскладом химбыттоваров, погибшего в автокатастрофе во время инфаркта, были удивительно схожи... Если верить предположению, что в стенки сосудов что-то губительное проникло извне... Выгрузка, погрузка, шесть-семь часов ежедневно завскладом дышал этой пылью... Но ведь Коля Новокшанов жил в иных условиях — плавание, режим, постоянное пребывание на чистом воздухе... И все-таки какая-то связь есть...

— Наташа! — позвал он. — Можешь все это забрать, — протянул протокол вскрытия. — Подготовь справку для областного здравоотдела.

— Что-нибудь новое, дядя Сережа? Что-то я неправильно?..

— Нет, все то же. Просто более подробную. И диагноз тот же. Я подпишу.

— Это срочно?

— Срочно... — Что ж, ничего нового в этой справке не будет ни для Юшина, ни для министерства, куда ее перешлют, ни в ответе родителям, который придет из министерства. Но для него, Долинина, это новое возникло на мгновение, как лишний удар пульса, нарушивший привычный ритм, удар

внезапный, случайно пойманный...— И сделай, пожалуйста, следующее: парень этот лежал во Второй городской клинической больнице. Справься, узнай мне его домашний адрес. Тоже срочно...

То, что он затеял, выполнить надлежало самому. Не мог поручить ни какому-нибудь интерну или аспиранту, ни даже кому-либо из ассистентов. Не потому, что не доверял или сомневался в их добросовестности. Возможный разговор с родителями Коли Новокшанова в самом начале таил непредсказуемое: на свои вопросы мог получить непредвиденные ответы, которые потребовали бы от него тут же и новых, неприготовленных вопросов. А задать их мог только он, ибо только он знал, ради чего затеял это. Не ждал ни удачи, ни неудачи, необходимо было иметь хоть какой-то ответ, чтобы сократить или расширить перечень невыясненного...

Это был старый район города, плохо освещенный, с провалами меж тротуарными плитами, но с добротной мостовой, где с давних времен остались плотно уложенные полукругами булыжники. Невысокие из красного кирпича дома соединялись заборами, за которыми лежали просторные дворы с металлическими гаражами.

На одной из таких улиц, Староказачьей, где до революции постоянно квартировал в двух кирпичных казарменных блоках казачий эскадрон, Долинин и отыскал квартиру Новокшановых.

Дверь открыла мать. Она не узнала Долинина.

— Вам кого?

Он назвался, напомнил.

— Проходите.— Она пожала плечами.

В узкой прихожей было тесно, на стене на двух крюках висел гоночный велосипед, в углу стояли весла от байдарки. Пахло тушеной капустой, чесноком, пыльной мебелью. «Наверное, плюшевая»,— подумал Долинин и сказал:

— Я на несколько минут; если позволите, пальто снимать не буду.— Он поискал, куда бы приткнуть кепку, но, не найдя, затолкал в карман.

Женщина проводила его в комнату. На серванте выстроились спортивные кубки, металл их не потускнел,— похоже, за ними постоянно ухаживали. А мебель оказалась не плюшевой — современная красная буклированная ткань.

— Садитесь.— Женщина устроилась у стола, подперев отечное лицо ладонью.— Я вас слушаю.

— Я еще раз все проверил,— сказал Долинин.— Коля действительно умер от инфаркта.

— И его нельзя было спасти, если б врачи вовремя...

— Думаю, что нет.

— Вы шли сюда ради этого, чтобы сказать мне такое?

— Я хотел бы задать вам несколько вопросов.— Он решил не говорить о просьбе Юшина и о том, что осведомлен о жалобе в министерство, это увело бы разговор в ненужную сторону.

— Что вас интересует?

— Коля болел чем-нибудь?

— Нет, он был здоров. Он же пловец, кандидат в мастера.— Она посмотрела на сервант, где стояли кубки.

— А в детстве?

— Как все дети — ангины, насморк, простужался. Потому мы и определили его на плавание, закаливать.

— Ну а кроме простуд?

— Крапивницы его донимали, диатезы,— подумав, ответила она.— Врачи говорили, аллергия у него сильная.

— А с возрастом прошла?

— Нет, случалось. Весной, да и летом, вначале, как поест первой ягоды или помидоров, так и обсыплет живот и бока.

— Лекарства принимал какие-нибудь?

— Таблетки врачи прописали.

— Какие?

— Не помню названия, мудреное какое-то, длинное. Он их всегда с собой носил, ездил-то много...

— Скажите, пожалуйста, кто хорошо знал жизнь Коли вне дома? — после паузы спросил Долинин.

— Кто же лучше отца и матери мог знать? Он от нас не таился.

— Но были же у него друзья, компания?

— Какая компания? Он ведь спортсмен. Товарищи по команде, тренер. И вся компания. Он у нас скромный.

— От какого общества он выступал?

— «Трудрезервы».

— Ну что ж,— Долинин поднялся,— спасибо вам. Вы извините меня... за вторжение... Я, конечно, понимаю...

— А для чего вам все это?— Она стояла перед ним, маленькая, в бордовой вязаной кофте со следами штопки вокруг петель; на щеке, которую все время подпирала ладонью, краснела примятая кожа.

— Может, что-то удастся выяснить.— Определенней он, пожалуй, не смог бы сейчас ответить даже себе.

— Хорошо бы,— согласилась женщина, хотя и не понимала, что имел в виду этот неожиданный посетитель, но слова «удастся выяснить», наверное, чем-то успокаивали ее...

Долинин работал увлеченно, как в былые годы. В первой половине дня, если выскальзывал из суеты хоть на час-другой, уединялся в кабинете, переключив телефон на Наташу. Но самые благодатные часы — тихие и спокойные — наступали с окончанием рабочего дня. Можно было сосредоточенно сидеть за столом, вставать, выходить в другую комнату, вышагивать там, заложив руки за спину, не боясь, что кто-нибудь ворвется с пустяком, перехватит вопросом, обратится с просьбой, просто захочет поболтать...

Но бывало, что и не ладилось. И тогда он тоже в спокойном одиночестве сидел, грыз сухарик и думал, что человек должен быть несчастен, оттого что лишен возможности материализованно *видеть* исчезновение времен, следить за ним, заранее *знать*, когда, в какой день и год, в какое время суток умрет в организме мизерная клеточка, управляющая интеллектom. Смерть эта длится мгновение, но уносит навсегда не сделанным то, ради чего, возможно, жил, но что откладывал свершить на после, а потом еще на после. Длились годы, а человек не знал, не чувствовал, что самый идеальный момент для свершения истек вчера или позавчера...

Однажды Виктор Юшин спросил:

— Слушай, сколько смыслов во фразе: «Живем один раз»?

Долинин удивился, задумался над этой неожиданной, вроде пустой задачей, стал вслух произносить фразу, меняя интонации. Получалось три смысла: бесшабашный, огорчительный, предостерегающий.

— Вот бы совместить их.— Юшин высунул язык.— А? Дудки!..

А ведь верно, не совместишь...

Теперь микроскоп постоянно находился на письменном столе. Стекла, отобранные из музея, и более поздние, текущие — все, что видел сам или коллеги,— вновь и вновь просматривал, сортировал, но уже по несколько иному принципу...

Сумерки, затенив окна, расползлись по углам, от электрокамина шло уютное тепло. Зажег настольную лампу, и сразу возникло ощущение, что в огромном здании он и вовсе один, хотя знал, что где-то рядом с ним разговаривают, стонут, едят, тайно плачут, читают, спят, молчат, закусив от боли губы, или радуются скорой выписке сотни больных. Их жизнь всегда казалась ему реальной, откровенней, нежели та, что шумит за больничными стенами, в ней куда больше притворства, в котором, хочет или нет, участвует и он...

Телефонный звонок резанул в тишине.

— Да-да! — Долинин поднес к лицу трубку.

— Сергей? Ты еще у себя? — спросил Юшин.

— Сижу.

— Я подъеду через полчаса.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего... В общем, подожди меня...

— Хорошо. — Он закрыл коробку и, выключив подсветку, отодвинул микроскоп к стене.

Шаги Юшина услышал еще издали — в просторной тишине коридоров.

— Тебе не страшно тут одному, в этом соседстве? — Юшин кивнул на шкафы с экспонатами.

— Они хотя бы не мешают, молчат.

— И то верно... Изобретаешь?

— Снимай пальто.

Уселись друг против друга в большой комнате. В открытую дверь из кабинета на паркет падал свет настольной лампы. В слабом его сиянии лицо Юшина показалось осунувшимся, озабоченным.

— Так что у тебя? — Долинин снял очки, провел ладонью по глазам.

— Ничего особенного. Собрался домой, решил на тебя посмотреть, видимся не часто.

— Не часто.

— Спасибо за справку. Обстоятельно.

— Отправил?

— Да... У меня к тебе еще пустячок один. Может, знаешь диссертанта, которому нужна хорошая машинистка. И английским владеет, и «латинка» есть. У нас в машбюро работает, нуждается.

— Буду иметь в виду.

— Дашь знать мне... Новость слышал? На место Булавина новый зампредоблисполкома идет, некий Лаевский.

Что-то было связано с этой фамилией, вспомнил, что через этого человека Настя доставала обои.

— Знаком с ним? — спросил Долинин. — Теперь твое прямое начальство.

— Встречаемся на сессиях исполкома, издали здороваемся. И только.

— Ты доволен?

— Новый хозяин — новые привычки. В нашем возрасте это уже непросто. Своих привычек хватает... Как съездил в Туркмению?

— Съездил.

— Что племянник?

— Юродствует. «Я, — говорит, — отстранился, хочу независимости». За этим фейерверком нежелание ответственности.

— Иной раз я и сам бы сбежал куда подальше, хоть к твоему племяннику.

— Устал? — вглядывался Долинин в приятеля.

Юшин неопределенно пожал плечами, умолк, смотрел мимо. Долинин ждал. Оба словно растягивали — каждый к себе — струну, надеясь, что она либо лопнет беззвучно, либо кто-то не выдержит, уступит, тронет ее, чтоб отозвалась.

— Если ты без машины, собирайся, отвезу.

— Мне еще тут повозиться надо...

Вышли в коридор. Входная дверь была распахнута, из вестибюля тянуло холодом.

— Сквозняки тут у тебя. — Юшин остановился.

— Боишься сквозняков?

— Ни черта я не боюсь, — махнул рукой, будто отвечая на другой вопрос. — Что с ремонтом?

— Вроде к концу.

— Как Нина? Привет передай.

— Ничего, спасибо... У тебя дома все в порядке?

— Пока да.

— Что значит «пока»?

— То и значит, Сережа.

— Женщина?

— Да.

— И насколько далеко зашло?

— Не знаю, не знаю, — и, боясь, что передумает, быстро сказал: — Разница в возрасте большая. Ей двадцать восемь. Не одобряешь? — как бы заранее защищался.

— Детей, во всяком случае, заводить не следует. — Долинин пытался за шуткой спрятать растерянность.

— Буду смешон или не успею воспитать? — Трудная улыбка пробежала по губам Юшина.

— Не рекомендуется в генетическом смысле, — в том же шутливом тоне продолжил Долинин.

— Спасибо, что предупредил.

— Кто она, Витя?

— Женщина. Умная, хорошая женщина.

— Н-н-да...

— Больше ничего мне не скажешь?

— Боюсь быть ханжой... Разве что... не спеши с решениями... Дома знают?

— Никто, кроме тебя, ничего пока не знает... Так и веди себя.

— Ну конечно!..

— Так-то, брат, бывает... Как у детей: бабочек, муравьев, слонов они видят сперва на картинках в детских книжках, а потом однажды все это предстает в натуральную величину, и все оказывается не таким: что-то меньшим, что-то большим... Вот так... Завтра увидимся у Бакшеевых, Павел папаху получил, обмыть хотят... Пока, Сережа...

Долинин возвращался по темному коридору, напряженно всматриваясь во что-то, будто не Юшину, а ему предстояло решать такое, отчего голова кругом и впору спрятаться от самого себя...

Вешалка была забита — шубы, пальто, шинели. Пахло сырым ворсом сукна, намокшим мехом. Ярko горел свет, отраженно умноженный зеркалом. Раздевались шумно; женщины легким прикосновением, чтоб не размазать помаду, чмокали друг друга в вытянутые губы, стряхивали с волос влагу, снимали сапожки, доставали из целлофановых пакетов туфли и спешили к зеркалу.

Бакшеев встречал гостей у дверей. Высокий, широкоплечий, в белой рубаше, пестрый галстук, воротник обжал сильную шею, на щеке след помады; держал, как веник, врученный Ниной Борисовной букет привозных гвоздик. Сама Нина Борисовна ждала, пока присевший на корточки Долинин застегивал туфлю, все не мог продеть тоненький замшевый ремешок в узкую пряжку.

— Дай бог тебе дослужиться до одной звезды, — сказала Нина Борисовна, опершись о руку Бакшеева.

— До младшего лейтенанта? — захохотал тот.

— Не придуривайся.— Она достала из сумочки пудреницу.— Сережа, ну что ты там возишься?

— А где полковничиха? — громко спросил Юшин, помогая жене снять шубу.

— На кухне! Где ж ей еще быть! — весело отозвался Бакшеев.

При этих словах управившийся наконец Долинин глянул на Нину Борисовну: сейчас она встретится с Настей. Внутри у него всегда что-то пугающе сжималось, когда этим женщинам предстояло сойтись. По дороге к Бакшеевым он мягко сказал:

— Нина, очень тебя прошу, води себя нормально.

— Не бить хрусталь? — серьезно спросила Нина Борисовна.

Долинин был удивлен, что Юшин пришел с женой, последнее время Верочка редко появлялась с ним, и если уж случилось такое, за весь вечер могла не проронить ни слова, сидела отрешенно, слушала чужие разговоры и, когда ловила на себе чей-нибудь взгляд, застенчиво улыбалась: мол, вы себе продолжайте, я ведь в этом ничего не смыслю. Застолье она выдерживала недолго и, смущенно сославшись на головную боль, тихонечко шептала мужу: «Витя, не пора ли?» И Юшины всегда уходили первыми...

Свет горел во всех комнатах, пылал в подвесках люстр и бра, в симметричных узорах хрусталя за стеклами серванта. Картины и маски на стенах, цветные корешки книг, мягкость ковров, музейное спокойствие медных ваз и кофейников, украшенных эмалью, игрушечная миниатюрность японского чайного сервиза, из которого, наверное, никогда не пили.

Три полковника, сослуживцы Бакшеева, стоя у балконной двери, вежливо кивали вновь прибывшим гостям. С блюдами холодца и заливного из петуха вошли Настя и Наташа — обе в одинаковых передниках: белый горошек по синему ситцу.

— Павел, освободи место, убери цветы, — велела Бакшеева.— Кто еще не пришел?

— Нет Ады и Лазаря.

— Тетя Ада верна себе, — сказала Наташа.

— Твое право голоса на кухне, малявка.— Бакшеев подергал дочь за нос.

— Павел, занеси водку и минеральную воду с балкона, — снова распорядилась Бакшеева.

Уже можно было садиться за стол. Бакшеева вышла в

другую комнату, к телефону, раздраженно набрала номер Рацеров, но никто не отвечал.

— Садимся! — скомандовала она гостям. — Ждать не будем.

На пустом блюде в центре стола лежали полковничьи погоны, их покропили водкой, лысоватый полковник с мясистым затылком произнес тост в честь Павла Ивановича Бакшеева. Застучали вилки и ножи. В самый разгар, после первых рюмок, когда зашумели, загалдели, невпопад отвечая друг другу, в дверь позвонили. Бакшеева пошла открывать. Пришли Рацеры.

— Слушайте, совесть у вас есть?! — набросилась она на Аду Львовну.

— У него спроси, — кивнула Ада Львовна на мужа.

— В чем дело, Лазарь?

— Ну ты же нас знаешь, пора было привыкнуть, — добродушно заулыбался Рацер. — Если честно — виноват я, принимал зачеты у курсантов-заочников.

— Быстро за стол, — потащила их Бакшеева.

— Заливной петух есть? — спросил Рацер.

— Есть, есть, но поторопись.

— Ничего, Наташка загашник для меня всегда имеет.

Они не были ровесниками — Ада Львовна, Долинин, Бакшеева и Юшин. Но по разным причинам сошлись когда-то в одной компании, с тех пор дружили. Самой младшей была Бакшеева, поступившая в институт сразу же после школы. Они знали друг друга так давно, так близко, что у каждого естественным было желание, а скорее потребность заинтересованно судить о поступках друг друга в быту: знать, кто чему радуется и что кого может огорчить. Но это была не мелочность. Никто из них не сомневался, что в чем-то важном, случись, каждый проявит и великодушие, и преданность, и отзывчивость, которых, как ни странно, может им и не хватало в будничном общении.

Часам к десяти постепенно стали отваливаться от стола. Еще предстояло сладкое — ореховый и маковый торты. Наташа уже принесла самовар и возилась с электрошнуром.

Долинин, отодвинувшись со стулом к серванту, посмотрел на Бакшееву. Она, улыбаясь, слушала лысоватого полковника, сидевшего напротив, положила руку на плечо мужа, оперлась о нее подбородком, и столько было в их позе благополучия, безмятежности, покоя, что Долинин залюбовался. Он видел ее глаза, чуть прищуренные в улыбке. И вдруг насторожился: показалось что-то нарочитое было в позе

Насти, рекламное, как определил он: мол, смотрите, знайте, как мы едины, счастливы, какой мир и благожелательность в нашей семье. «Зачем она демонстрирует? — удивился он. — Неужто все не так, а она хочет убедить нас в обратном? Но почему? Какая тут причина?»

Бакшеева почувствовала его взгляд, встретила глазами; нахмурившись, сняла руку с плеча мужа, выпрямилась и сидела уже с непроницаемым, неподвижным лицом, иногда раздраженно поглядывая на Долинина, как ребенок, пойманный на обмане, но обвиняющий в этом не себя, а разоблачителя...

А за ними, сидя в углу у тяжелой шторы, наблюдала Нина Борисовна. Глядя на сияющую Бакшееву, она справедливо или нет, но оценивала: «Сострадание как таковое ей чуждо. Ей надо созерцать чьи-то недуги, униженность, убогость, тогда она захочет сострадать; это укрепляет в мысли, что она хороший человек, возвышает в собственных глазах: я благополучна, счастлива, а вот умею сострадать... Сострадание за чужой счет...»

Спор завязался незаметно, когда Ада Львовна спросила у Юшина о каком-то враче, у которого неприятности.

— Доказать, что он перед операцией взял деньги с больного, невозможно, — ответил Юшин. — Разбираемся.

— А вот послушай, что я тебе расскажу. — Бакшеева насмешливо подняла брови, повернулась к Юшину. — Полтора месяца пролежал у меня молодой инженер из какого-то автохозяйства. Тяжелейшая операция, еле-еле вытянули его. Перед выпиской вошел в кабинет, протягивает конверт. Открыла — сто рублей. «Что это?» — спрашиваю. «За операцию, за то, что спасли». — «Это же взятка, милый». — «Нет, ваш гонорар». — «Спаси больного — мой долг, мне государство платит», — и еще что-то лопочу, что в этих случаях полагается. А он посмеивается, слушает, а потом говорит: «Мы ведь с вами, профессор, до операции ни о чем не сговаривались, условий вы мне не ставили, а сейчас я уже выписываюсь, так что могу поблагодарить, а могу и так уйти. Какая же это взятка?.. После рабочего дня, по вечерам, в свои выходные я делаю машины частникам: рихтую, обрабатываю днища, чтоб не ржавели. Вкалываю, одним словом, сверхурочно. Краску, шпаклевку, бесшумку клиенты несут свои. У меня семья пять человек». — «Это разные вещи», — отвечаю. «Почему же? Вы ведь сидели возле меня после операции две ночи, да и потом по пять-шесть часов не уходили домой после работы, пока я был совсем плохой.

В субботу и воскресенье наведывались, когда мне перевязки делали, дважды среди ночи поднимали вас, когда у меня температура скакнула, градусник чуть не зашкалило...»

— Ты мне эту притчу к чему рассказываешь? — перебил Юшин.

— А разве не понял?

— Значит, узаконить? Интересно. — Юшин вместе со стулом придвинулся.

— Витя, не возбуждайся, — спокойно сказала Ада Львовна. — Проблема существует, решать ее придется, но лучше раньше. Чем дальше тянем, тем больше она обростает дурными нюансами. Я, как понимаешь, лицо менее всего заинтересованное, я — не клиницист. И он тоже, — кивнула Ада Львовна на Долинина, — мы имеем дело с покойниками.

— Прости, — отвернулся от нее Юшин. — Настя, ты не ответила мне. Значит, ты хочешь это узаконить?

— Если после операции больной принесет мне цветы, взятка это? — спросила Бакшеева.

— Допустим, нет.

— Но ведь за цветы заплачены деньги? — победно произнесла Бакшеева. — В словаре Ожегова сказано, что взятка — это подкуп, оплата преступных действий, Витя.

— Ты уже в словарь заглядывала? — усмехнулся Юшин.

— Представь. Термин должен соответствовать тому, что он обозначает. Если среди ночи врача поднимают с постели и умоляют куда-то ехать, кому-то плохо...

— Это твой долг исцелителя.

— Но и работа. И психология родственников в этих случаях одинакова: чувство неловкости, что ночью разбудили, вытащили из постели, мысль, что, отблагодарив за это врача каким-то образом, они обретают какие-то гарантии, что их близкий будет спасен.

— Но кое-кто из врачей привыкает считать, что врачебная помощь находится в прямой зависимости от материальных возможностей пациента.

— А знаешь ли ты бытующую поговорку: «Лечиться даром — даром лечиться»? Случайна ли она? — напирала Бакшеева.

— Но она и подтверждает, что человек обязан получать медпомощь без оглядки на свой карман! — не уступал Юшин.

— Вы все свалили в кучу, — сказал молчавший дотоле Долинин. — Взятка и частная практика — вещи разные. Так или иначе — частная практика существует. Закрывать на это

глаза нелепо. Ею надо просто разумно управлять, это поднимает уровень медицины: за свои деньги больной захочет идти к хорошему врачу, а чтоб стать им — извольте трудиться, читайте новейшую литературу, следите, что делается в остальном медицинском мире. Иначе больные от ваших услуг откажутся, закон конкуренции очистит медицину от невежд.

— Разовьем твою мысль.— Юшин потер ладони.— Выходит, к хорошему специалисту попадут те, кто может заплатить? Остальные обречены пользоваться услугами невежд?

— Что же ты предлагаешь, Витя? — спросила Бакшеева.— Сделать вид, что у нас с этим все в порядке? А больные будут совать нам подпольно деньги. Одни не станут брать, а другие возьмут.

— Ты что, очень страдаешь от этого?

Бакшеева как-то разочарованно развела руками.

— Виктор, прекрати, это уже не спор! — одернула Ада Львовна.

— Помянешь мое слово, Витя, проблему эту указами и параграфами не исчерпаешь.— Бакшеева перевернула ладони кверху и, уставившись в них, умолкла.

— Плебисцит, что ли, требуется? Так я не против! Мне больше вас обрыдло делать вид, что все благополучно,— закипал Юшин.— Убеждаю в этом по радио и по телевидению, а на работе читаю жалобу, что такой-то получил взятку, или, как ты называешь,— гонорар.

— Ты выйди на минутку из своей социальной роли,— сказал Долинин.— Настя практикующий врач, она знает, о чем говорит.

— Социальная роль?! Да пошел ты знаешь куда! — взорвался Юшин.— Ты привык, как проповедник, не испытываешь нужды в оппонентах. О чем мы спорим? Взятки, гонорар! Врач не может прожить на сто тридцать — сто пятьдесят рублей в месяц. В этом суть вопроса. Так что нечего тут мудрить, выяснять, что есть взятка, а что — гонорар.— Он налил в фужер воды, выпил залпом, отсел к стене...

Разговор перешел на другое, продолжался без Юшина — об институтских делах, о каких-то новшествах в сосудистой хирургии, влезли в дебри, куда Юшину было не продраться, он улавливал почти позабытую латынь, но оставался за пределами ее смысла: чужое, чуждое, и, отстраненный, молчал.

Что-то обидное ворочалось в его душе. Когда-то был Витенька Юшин, заводила, неугомонный комсорг факультета,

безотказный парень, безропотно тянувший пять лет лямку общественной работы. На Первомай или Октябрьские, когда по утрам собирались у главного корпуса, чтоб идти на демонстрацию, он всегда оказывался в центре веселого водоворота, раздавал транспаранты, плакаты, запевал, знал слова всех нужных к этому случаю песен. И пел хорошо, и голос был... Куда же девалось — и голос, и это умение?.. Субботники, воскресники, поездки с агитбригадами в колхозы, выступления в сельских клубах в канун выборов в Верховный Совет... И пока он справлялся со всем этим, они уже к чему-то приглядывались: Ада и Сергей по вечерам торчали в гистохимической лаборатории, Настя сбегала с лекций в клиники в дни, когда оперировали именитые профессора. Сперва ее изгоняли, но за настырность полюбили, махнули рукой, стали пускать в операционные... Он хорошо учился, сессии сдавал без троек, но понимал, что с поблажками. И когда шло распределение, ему назвали ближайший район. «Кем?» — спросил. «В райздрав, нужен инспектор, хороший организатор, вы как раз нам подходите», — сказал представитель облздрави. «Давайте!» — весело, безоглядно подписал и уехал... Вот и едет до сих пор... Кто знает, не сложишься так, может, и он стал бы хирургом не хуже Насти и не меньшего, чем Сергей и Ада, достиг бы как патогистолог в науке... Но сейчас это уже не проверишь... Вот они, мило беседуют... Хорошие или плохие?.. Нет, так нельзя. Нормальные. Свои недостатки, достоинства. У Насти, у Сергея. А у Ады? Да и у нее: болезненно щепетильна, мнительна в общении. Это раздражает окружающих. Сама себе создает сложности. Ей кажется, что всегда ее норовят ущемить... Каждый из них занят своим делом увлеченно, преданно. Если избавить их от недостатков, что изменится в их отношении к делу? Настя станет лучше оперировать, больше дрожать за судьбу больных? Она и так вся в этом. А Сергей? Начнет внимательней смотреть биопсии? Чушь! Кто дотошней и скрупулезней, чем он? А Ада? Десять раз перепроверит, прежде чем изречь диагноз. Сергей верит ей больше, чем себе. Но занудства в ней хоть отбавляй... Что же всех нас связывает? Общность и преданность профессии или остальное: мелочность, самодовольство, тщеславие, вздорность, существующие, потому что рядом есть свои, близкие, со своими удобней — простят. Каждый из нас хорошо знает, что за кем числится. Но никогда об этом не говорим. Не принято. Благопристойней? Сосуществуем? Неужели так удобней?.. Зачем?.. Или жизнь, бытие и состоят из всей этой мешанины? Кажется, у Маркса есть

мысль, что только человечество в целом может считаться человеком во всей его полноте...

Юшин огляделся. Верочка внимала жене одного из полковников. Сами полковники, Лазарь Рацер и Павел Бакшеев, стояли у приоткрытой балконной двери, курили.

Потом все перешли в другую комнату, в гостиной отворили окно. Наташа убирала со стола, Верочка и жены полковников помогали ей. Никто не заметил, как Ада Львовна по-манила Бакшееву, вышли и заперлись в ванной.

— Хочешь посекретничать? — спросила Бакшеева. — О ком?

Ада Львовна молча расстегнула блузку, сбросила ее на стиральную машину, сняла с плеча марлевый тампон.

На нем темнело пятнышко крови.

— Посмотри. — Она отстранила голову, вытянула шею.

— Родинка эта давно у тебя? — Бакшеева мягко ощупывала место вокруг родинки, железы.

— Всю жизнь.

— Растет?

— Чуть-чуть, последнее время. А может, кажется мне.

— Кровит давно?

— Месяца два.

— Почему столько молчала?

— Все *опаздывают* из-за того, что стесняются своей мнительности, надеются, что обойдется.

— Но ты же врач. И не просто врач, уж кто-кто...

— Я — как все... в таких случаях. — Она стала одеваться.

— Скорее, конечно, от механического раздражения: одеждой, расческой зацепила, во время купания мочалкой. Не помнишь?

— Нет. — Прозвучало то ли «не помню», то ли «нет, не цепляла».

— Но удалить надо. Хотя думаю, что ерунда... Давай во вторник.

— Ерунда или нет, уж это тебе сообщу я. — Странная усмешка судорогой прошла по лицу.

— Глупости, — поняла Бакшеева. — Значит, во вторник жду...

Гости разошлись во втором часу ночи. Стало вдруг сухо, зетрено, звездно. По тротуарным плитам неслись обрывки газет, картонных коробок, куски целлофана, выдернутые ветром из переполненных мусорных баков.

— Верочка сегодня была молодцом, не торопила Виктора, досидела до конца, — сказала Нина Борисовна, когда пришли домой.

— Я рад за Виктора, он всегда из-за этого переживает. — В стакан воды Долинин опустил две ложки варенья, плеснул уксусу, добавил щепоть соды и, размешав, жадно выпил шипучую пенную смесь.

— Жаль ее, — сказала Нина Борисовна.

— Верочку? Почему? — подозрительно удивился он.

— Да как-то... — Жена пожалала плечами. — Странная у них жизнь.

— У всех по-своему. — Он закрывал капроновой крышкой банку с вареньем. — Спать хочу...

Нина Борисовна минут двадцать еще читала, а погасив ночник, сразу же уснула. А он лежал, вспоминая гостеприимный дом Бакшеевых, где, казалось, больше желать уже нечего. «В этом смысл жизни», — сказала Настя. Он не помнил, к чему было сказано, что имелось в виду, но — сама фраза... Употребляем по любому случаю, не задумываясь, соответствует ли этому случаю... И если бы его спросили, в чем он, его смысл, пожалуй, ответ имелся: в конечном результате работы, обеспеченном выбранной профессией... Но есть ли он, конечный результат? Ведь пока живешь, все оказывается предпоследним, предшествующим... В сущности, вся жизнь проходит в работе, большая часть времени занята ею. Отними у нас эту возможность — исчезнет черточка между датами рождения и смерти, они сомкнутся, не дав возникнуть надежде, цели, которой хотели бы достичь... Тривиальные истины, объясняющие нам нас самих... А вот в чем он у них, этот конечный результат? — вспомнил Павла Бакшеева и его армейских сослуживцев. Говорили они о чем-то своем, спорили о скорострельности, преимуществе каких-то систем, произносили непонятные ему аббревиатуры, называли, видимо, сопоставляя, такие же непонятные системы, но уже по-английски. Лишь одно он угадывал: спор шел о том, что быстрее убивает и разрушает... Это их профессия, ей они посвятили жизнь, тоже стремясь достичь совершенства. Но и тут, увы, предел невозможен, а если возможен, то лишь единственный, страшный, за которым уже ничего не будет... А они говорили о своем, не смущаясь, так же заинтересованно, как толкуют о необходимом пекари или плотники. Павел оглянулся на Наташу, весело подмигнул ей, галстук он снял, засунул в карман, смешно торчал его белый с синим уголок... Павел... Славный, недалекий в чем-то, но добрый, честный,

красивая жена, юная дочь, дом с немалым достатком. Но как неумолимо и жестко, едва отвернувшись от Наташи, он стал доказывать сослуживцам преимущества каких-то разрушающих средств. Что же, мы заняты взаимоисключающим — я с его женой и дочерью и он со своими коллегами? Неужто за пределами сауны, куда иногда ходим, квартир, где встречаемся, мы движемся с ним словно в противоположных направлениях?.. Нет, пожалуй, бремя его ответственности тяжелее, ее существо, наверное, в России, пережившей такую войну, понятней, чем где бы то ни было, — защитить... Он вспомнил свою поездку в США, вечер в доме у профессора Деспорда. «Неужели военные не устали от обременительного права решать, высчитывать, как долго мы еще просуществуем на земле? — спросил тогда профессор Деспорд. Мы сидели за столом с его женой и четырьмя дочерьми. Они все рыженькие... — Помнят ли эти военные, занятые своими служебными ежедневными заботами, что они еще и чьи-то сыновья, чьи-то отцы да и деды уже? Вопрос однозначный и у вас, в России, и в нашем Толедо, штат Огайо...» Был как раз День поминовения, поэтому, кажется, зашел разговор, у Деспорда брат погиб в Арденнах... Я старался ему объяснить, что вопрос неоднозначный. Но объяснимо ли то, что надо почувствовать, соотнести с личным опытом?.. И сказал ему, что у них День поминовения раз в году, а у нас все триста шестьдесят пять...

Долинину снились четыре рыжеволосые куклы в юбочках, сидящие на коленях четырех рыженьких девочек... не
ю...

Визит к матери Коли Новокшанова не забылся. Долинин перебирал в памяти свои вопросы и ее ответы. Что-то с чем-то должно было соединиться... Но что и с чем?.. Где-то был разрыв... Поражения сосудов Коли Новокшанова и завскладом были удивительно близки к тем, какие видел на препаратах, выделенных им в «определенную группу профессий», — шоферов, сварщиков, ювелиров... Но какая связь между пловцом и ювелиром? Если она есть, то в чем?.. Ах, как нужны спектрограммы! Биохимики из университета согласились сделать, но он ничего еще не мог им дать, необходимы свежие случаи, а их не было... И слава богу, конечно... Но... Повторяя в уме разговор с матерью Новокшанова, понимал, что он не окончен, должно быть какое-то продолжение. И минувшая ночь надоумила: тренер. Он должен знать парня пусть не лучше родителей, но как-то иначе, в другой атмосфере... Завтра же...

...Но утром, когда был уже в пальто, позвонили. Какое-то мгновение колебался, не хотелось уже возвращаться из коридора к телефону. Все же вернулся. Звонила Бакшеева.

— Как добрались вчера?

— Нормально, — удивился и звонку, и вопросу.

И тогда она произнесла:

— У Ады неприятности, — и подробно рассказала. — Ты же понимаешь, она сама захочет посмотреть биопсию. А что там, в этой родинке, — кто знает... Правда, свежей пигментации нет. Уплотнений вокруг и в железах тоже вроде нет. Но это — так, под пальцами. Ты должен что-то придумать. Ты меня понимаешь?

— Да-да, да-да, — повторил он, растерянный. — Сколько сможешь продержат ее у себя после операции?

— Какая там операция! Семечки. Обычно это амбулаторно делается. Ну, двое суток... В общем, отложи свою науку, придумывай что хочешь. Тут выбора нет, — сказала она. — Ни у меня, ни у тебя тем более.

— Хорошо. Как только иссечешь, все немедленно пришли мне. — Осторожно, словно начиненную взрывчаткой, он положил трубку.

После обхода Каймаков направился к Бакшеевой в профессорскую. Он шел легкой независимой походкой счастливого человека, радуясь, что просто живет, шутит с медсесточками, снующими по коридору в нейлоновых халатах, под которыми, знал он, кроме комбинации и трусиков, ничего нет. Они любили его пустые, мимоходом, заигрывания, мимолетный обмен улыбками, которые забываются, едва люди разминутся. За дверью палаты раздавались голоса, стук, — забивали «козла»...

Бывает же, что у человека с утра хорошее настроение! Никаких осложнений с любимой женщиной. Вчера были в баре. В полутемном уютном зале пили слабые сладкие коктейли, немного танцевали, бармен гонял полтора часовую видеобобину с записью концерта Хулио Иглесиаса; по монитору смотрели любительскую видеозапись похорон Высоцкого. С Олей легко: не надо искать и придумывать слова, оглядываться.

— Смотри, какая красивая пара, — сказала она во время танцев, кивнув на какой-то столик. — Воркуют, он ее за руку держит. Как думаешь, муж и жена или, как мы с тобой, любовники?

— Ты не любовница,— весело замотал он головой.

— А кто же?

— Почти жена.

— В этом «почти» все дело...

— Я не шучу.

— Не надо так серьезно... Ты виделся с Крюковым? Ты должен ему помочь.

— Я должен? Я, Олюша, никому ничего не должен, мне никто ничего не одалживал.

— Но все-таки...

— В этом случае существует другая формулировка: ты можешь помочь или ты не можешь помочь. И только.

— Он так задерган.

— Ритм жизни. Люди издерганы, раздражены. Но рады, что именно это их объединяет: надо же на ком-то отыгаться, разрядиться.

— Я видела в комиссионном хороший немецкий миксер. Четыре приставки к нему: для теста, яиц и еще что-то.

— Купи.

— Правда, что этот парень был футболистом?

— Кто?

— Иглесиас...— Танцуя, через его плечо она смотрела на монитор.

— Правда...

И так — весь вечер: перескакивая с темы на тему, непринужденно, вроде ни о чем. Но он-то знал, что и в этом имелся смысл, пустые, лишние слова улетучатся, зерно останется. И по реакции Оли, пусть нескорой, поймет, что она в нем приняла, а что ей противопоказано. Она умна, если уж чему воспротивится, даст почувствовать...

Было светло на душе и по другой причине: Медовую можно выписывать. В небогатой его практике эта больная, пожалуй, сделала для него не меньше, чем он для нее: выжила и выздоровела. И сейчас он шел к Бакшеевой с историей болезни Медовой, чтобы окончательно решить, можно ли завтра выписывать...

Полистав жесткие странички серой бумаги, исписанные синей и черной пастой, просмотрев последние анализы, Бакшеева сказала:

— Выписывай.

— Молодцы мы, а?! — не удержался Каймаков.

— Это мы узнаем через год, если не будет рецидива,— равнодушно ответила Бакшеева.— Что у тебя еще?

— Трушевич приезжает. Телеграмму прислал.

— Кто это?

— Тот инженер, с пластмассой. Вы не говорили с Адой Львовной?

— Говорила. Рано...

— Жаль. Дело перспективное.

— Узнай, пожалуйста, свободна ли угловая операционная.

— Будете оперировать? Кого? — удивился, сегодня не операционный день.

— Возможно. — Она села на кушетку, отвернулась.

— Я сейчас. — Смущенный ее сухостью, Каймаков вышел и за дверью столкнулся с Рацер. — Здравсьте, Ада Львовна.

— Здравствуй, Алеша. Анастасия Георгиевна у себя?

— Да. Не вы ли к ней на таинственную операцию?

— Я.

— Вы же цветущая и ходячая, а к нам почти всех уже — на каталке. — Он сделал объясняющий жест.

— Всяко бывает, Алеша.

— Что будем резать?

— Прыщик.

— Шутите, Ада Львовна... Как ваша пластмасса? Заказчик послезавтра приезжает.

— Руки чешутся испытать ее?

— Ага! Нутром чую: нужная вещь для хирургии!

— Придется потерпеть.

— Сейчас бы в его приезд в самый раз.

— В другой раз, Алеша. — Она вошла в кабинет.

Сели рядом на кушетку, застеленную белой простыней.

— Сигареты есть? — спросила Ада Львовна.

Бакшеева достала из стола зеленоватую пачку «Нью-порта».

— Ментоловые.

— Какая разница... Сколько выдержишь тут... после этого? — спросила Ада Львовна.

— Максимум два дня... Что ты дома сказала? Лазарь знает?

— Все сказала.

— Зачем? Будут нервничать.

— А как же им объяснить мое отсутствие?

— Ну что, идем? Убавим тебе вес. — Бакшеева заставила себя пошутить.

— Такие убавления иногда кончаются значительным приростом.

— Перестань молоть чушь. Гаси сигарету...

Медсестра из хирургии, никого ни о чем не спрашивая — так распорядилась Бакшеева, — с лоточком, прикрытым марлей, прошла прямо к Долинину.

— Анастасия Георгиевна сказала, это лично вам, — поставила лоток на письменный стол.

— Спасибо. Можете идти.

Он приподнял марлю, долго смотрел, затем попросил Наташу, чтобы сходила за заведующей лабораторией.

— Сегодня я очень занят. Никаких посетителей, никаких звонков ко мне, — сказал он Наташе.

— А если из ректората?

— Ушел, уехал, умер, в квартире прорвало канализацию. Что угодно! Меня нет!

Она удивилась телеграфной быстроте его слов, суетливости движений — перекладывал с места на место бумаги и книги на столе...

— Прикройте дверь плотнее, — сказал заведующий лабораторией. — Сегодня Аде Львовне удалили родинку. — Он указал на прикрытый марлей лоток. — Нужна биопсия. Нигде ничего не регистрируйте, никаких разговоров на эту тему. Дайте самой лучшей лаборантке. Завтра утром стекла должны лежать у меня. Ада Львовна проявит особый интерес к этой биопсии. Так что в разговорах с нею будьте осмотрительны, хотя надеюсь, что все эти предосторожности окажутся ненужными. Но на всякий случай мы должны иметь подменные стекла. Вы меня понимаете? В трехстворчатом шкафу коробка с музейными стеклами, на ней наклейка: «Родинки, пигментные образования». Что, если взять оттуда?

— Опасно, староваты, у Ады Львовны глаз наметанный.

— Пожалуй... — Он снял очки, стал протирать полый халата.

— Лучше сделать свежие из архивного материала, я сейчас принесу. — Она вышла и вскоре вернулась с целлофановым мешочком.

Как игральные фишки, в нем постукивали давно пересохшие кубики — блоки парафина с законсервированными в их нутре кусочками кожи и родинок. Так ледники хранят в своей глубине останки животных, птиц, растений, донося нам через столетия правду о чьей-то жизни и смерти.

Долинин прочитал надпись на бирке: «Доброкачественные», выгреб с десятков блоков, перебрал и по каким-то признакам обособил один.

— С этого. Тоже завтра к утру.

Остальные она сгребла в мешочек, перевязала шпагатом с биркой и унесла...

У Лаевских шла стирка. Все было некогда, и незаметно накопилось столько, что не вмещалось в бельевую корзину. Сима взяла отгул, Ирина Казимировна вообще была свободна — во вторник в театре выходной. Запустили стиральную машину, вываривали в баке на плите, крахмалили и подсинивали в ванной. Лаевская, разгоряченная, с покрасневшимся, запаренным лицом и влажными, спутавшимися волосами, весело поторапливала Симу то грубоватым словцом, то шлепком пониже спины. Обе в стареньких халатах, из-под которых висели длинные ночные рубахи, таскали на чердак тазы с бельем, на шее у Лаевской болталась веревка с прищепками. На лестнице столкнулись с сонной толстухой, соседкой, та отпрянула.

— Видала, как эта шмондя на меня посмотрела? — захохотала Лаевская.

— Не одобрила.

— Еще бы: артистка, а таскается на чердак с бельем, нет чтобы отдать в прачечную, а все от скупости. Мымра, перекупает первую клубнику и у нас на рынке по десять рублей за килограмм дерет, вся засаленная, я б ее в машину, в пену, а потом на центрифугу...

Ирина Казимировна никогда не пользовалась услугами прачечной — белье рвут, плохо крахмалят, жутко гладят, не раздерешь. От матери сохранила любовь к хорошему белью, когда стирали еще без порошков, в корытах, на ребристых стиральных досках, раскатывали рубелем, намотав на большую скалку, и гладили утюгом, разогретым древесным углем, и когда стелили потом, оно хрустело, пахло летним садом или свежестью изморози...

Управились к вечеру, убрали в ванной, на кухне и уселись там, уставшие, пить чай с сухариками. Затем Сима собралась в библиотеку.

Юрий Федорович приехал поздно. Уже месяц он работал зампредоблисполкома. К этой перемене Лаевская отнеслась с необъяснимым даже для себя равнодушием, хотя и прежняя работа мужа ее не очень интересовала. У нее была своя

жизнь: репетиции, спектакли, все, что варилось в театре; жизнь балерины коротка, вот-вот подоспеет возраст, когда лучшие роли станут давать в счет былых заслуг, помня ее звание, положение в театре и в городе, где много лет пользовалась популярностью; но эта инерция начнет угасать, подопрут молоденькие, от руководства театром будет все больше вежливости, восхвалений, к сорока годам превратят в «старейших и лучших мастеров», но — все меньше и меньше ролей. Появилось и еще одно тайное, непривычное и смущавшее беспокойство: стал редеть круг самых разнообразных людей, в прежние времена калейдоскопически вращавшихся в их доме. Это были всякие люди: администратор драмтеатра с женой, чтицей из филармонии, актеры и околотеатральный народ, директор цирка и модельерша верхнего платья, некий автор, сочинявший либретто гала-концертов, журналистка-театровед, талантливый художник-витражист и лучший в городе мастер-любитель по ремонту электромузыкальных инструментов, работавший наладчиком автоматических линий на каком-то заводе, и прочий народ, запросто ходивший в гостеприимный дом Лаевских, почитая талант его хозяйки и просто любивший вкусную еду, непринужденное веселье, дом, куда для всех и всегда были открыты двери и где Ирина Казимировна сразу же всех сводила на «ты»...

Накормив Юрия Федоровича в главной комнате тушеной морковью и отварной куриной ножкой, Ирина Казимировна унесла посуду и салфетку, переоделась, причесалась и села у телевизора, разложив на банкетке маникюрный прибор, флакончики со смывкой и лаком. Запахло ацетоном. Шла программа «Время». Юрий Федорович сидел рядом в кресле. Дениска ушел на теннис.

Лаевский сказал вдруг:

— У Дениса в субботу день рождения. Будешь устраивать?

— Надо бы. Симка в пятницу до двух часов дня свободна, поможет ореховый торт сделать.

— Ты бы эклеры испекла.

Она знала: муж любит эклеры с заварным кремом. Но спросила:

— Для кого? Много гостей вроде не предвидится.

— Разве мы кому-нибудь отказали в доме? — раздраженно спросил.

— Нет, но они думают: вдруг нам теперь это не понравится.

— Я теперь тот же Лаевский, черт возьми, те же две руки, две ноги, два уха, ни меньше ни больше. Разве что у меня меньше возможностей выполнять чьи-то просьбы.

— Боятся не тебя, а чтоб ты не подумал, что приходят просить.

— Ну, тут уж я не виноват.— Он отодвинул кресло, вышел на кухню. Она слышала, как шумно доставал из буфета чашку, ставил на газ чайник.

Она согласилась: конечно, он не виноват, но от этого не легче, все это уже необратимо, не станешь каждому объяснять, что они остались теми же Лаевскими, что всегда рады видеть у себя всех, кто прежде перешагивал порог их дома легко, без опасений быть не так принятым; подобные объяснения выглядели бы нарочитыми и еще больше отпугивали бы, как плохо скрытая неискренность...

В пятницу с утра Лаевская с Симой взбивали желтки, пекли коржи для торта, кололи орехи.

— Сколько лет этой плите, а духовка печет, как новая! — радовалась Лаевская, глядя, как ровно выпекались коржи.— Нет, будем делать ремонт, плиту менять не стану.— Руки у нее были в муке, упавшую светлую прядь она убрала тыльной стороной ладони.

До ухода Симы на работу успели запечь свинину в тесте и зафаршировать курицу.

«Что ж, если придут не как бывало, будем доедать до конца недели, не надо будет каждый день стряпать, разве что Юре постный супчик, ему без первого нельзя», — успокаивала себя Ирина Казимировна...

Сима вернулась раньше обычного и, пока Ирина Казимировна посыпала торт натертым шоколадом, скрылась в комнате Дениски. Она любила эту комнату. Сегодня утром тихонько вошла. Дениска еще спал, выпростав из-под вкось лежавшего одеяла ногу. Длинная, не по возрасту, ступня белела нежной, еще не истертой в ходьбе кожей, розовые ровные ноготочки еще не искривлены обувью. Сима помнила, каким он был в младенчестве крохотным, как помогала купать, гладила пеленки, остригала эти ноготочки на узеньких мягких пальцах... Подарок Дениске уже приготовила — картонную коробку-гараж с пятью миниатюрными автомобилями, привезенную из Австрии сослуживицей по «Интуристу».

Сима причесалась, подкрасилась, надела новый, связанный из шерсти костюм. Ирина Казимировна все еще возилась

на кухне — шинковала на дощечке лук. Волосы были подвязаны марлевой косынкой, глаза от лука слезились, сиреневый стеганый халат распахнулся на коленях, открыв сильные мускулистые ноги; одна тапочка упала, и Сима видела, как деформированы на упругих пальцах суставы. Знала, что первые минуты на репетициях эти косточки нестерпимо болят, но по вечерам на спектаклях никто об этом не догадывается; затаив дыхание, следят, как порхает нежная Жизель, а женщина в ее облике, веселая и жизнерадостная, наслаждается аплодисментами, трафаретными комплиментами в газетной рецензии. Ведь большего ей и не нужно — только признательность и признания...

— Что это ты так рано марафет навела? — спросила Лаевская, увидев принаряженную Симу. — У нас еще на кухне дел полно.

— Меня вечером не будет, — тихо сказала Сима.

— Как не будет?

— Я занята сегодня.

Ирина Казимировна отложила нож и луковицу и посмотрела на Симу, будто та объявила, что отбывает на Марс: такого не бывало, чтоб в день рождения кого-нибудь из Лаевских Сима не сидела за столом; случилось, даже просила коллегу подменить ее на работе...

— Уезжаешь с туристами? — спросила Лаевская.

— Нет... Я должна встретиться с одним человеком.

— Свидание, что ли? — еще не веря, шутливо спросила Лаевская.

— Свидание, — серьезно ответила Сима.

Лаевская поднялась, машинально вытерла передником руки, пахнувшие луком.

— Симка, что с тобой? Хахаля завела? Влюбилась?

— Наверное.

— Не тот ли толстячок, что был на Высоком Перекате?

— Тот.

— Но он же старше тебя намного!

— Старше.

— Женат, семья?

— Да.

— Надолго это у тебя? Серьезно?

— У меня надолго и серьезно.

— Что же делать? — вдруг сказала Лаевская, будто не Сима, а она нуждалась в совете.

— Не знаю... Наверное, ничего не надо делать.

— Давай сядем. — Лаевская достала из кармана сигаре-

ты, закурила.— Кто он такой? — спросила, как спросила бы мать, узнав, что у дочери завелся приятель.

Но Сима не была ее дочерью, просто одна женщина тревожилась за другую.

— Так кто он?

Сима сказала.

— Хочет жениться на тебе?

— Не знаю.

— Ты живешь с ним? — Лаевская глянула ей в глаза.

— Да.

— А если забеременеешь, а он бросит тебя?

— Рожу.

— Ясно... Что ж делать, Симка? — повторила она.— Я ведь не знаю, как в таких случаях надо. Я ведь не секретарь райкома, я баба, как и ты.

— Пусть как будет.

— А может, женится?

— У него жена и взрослая дочь.

— Милая ты моя.— Она привлекла Симу, прижала к себе, и та, уткнувшись лицом в халат с запахами давней косметики, сдерживалась, чтобы не заплакать.— Ты думаешь, я все умею, все знаю, храбрая я? — вздохнула Лаевская.— Думаешь, мне легко? Нет, Симка, просто нужно нам, бабам, всегда держать форму. Театр — это тоже такая кухня, такая кухня... Там все должны видеть, что ты в порядке, смелая, все можешь, и дома у тебя благополучно, и ты не зря ходишь так уверенно, и если говоришь громко, значит, есть основания. Особенно если ты баба, а не мужик. И никто не должен знать, что белье стираешь, возишься у плиты в старом халате, нечесаная, неумытая. Но туда ты должна являться королевой: ровная спина, высоко поднятая голова, модная обувь, и благоухаешь...— Лаевская говорила почти шепотом, гладила Симу по голове узкой ладонью.— Давай-ка еще закурим,— отстранила она Симу.— Юрий Федорович наш... сама видишь, какой. Так что мужиком в доме приходится быть мне, он заслужил у меня заботу... Значит, не придешь к столу?.. Ну да ладно, иди... И не таись, если что, мне скажи. Обидит — я ему... знаешь, как я умею? — подтолкнула Симу к двери.

Именины детей — всегда повод собраться взрослым. Несмотря на опасения Лаевской, гости пришли, хотя и не все, кто хаживал сюда прежде в такой день. Когда сели за стол, Лаевский недоуменно спросил жену:

— А где Сима?

— Потом,— ответила предупреждающе тихо.

Поздравляли Дениску, целовали, разглядывали подарки, затем говорили о посторонних делах, Дениска отправился спать, а взрослые продолжали. Все было хорошо. Сидели не очень поздно, в половине двенадцатого разошлись.

Лаевская смывала в ванной тушь с ресниц, Юрий Федорович чистил перед сном зубы.

— Что же все-таки с Симой? — спросил он.

— У нее свидание.

— У Симы?!

— Помнишь, когда мы ездили на Высокий Перекат, мужчину такого полного?

— Не помню.

— Влюбилась Симка. Знаешь, кто он? Юшин, завобл-
здравом.

Лаевский оторопел. Он не был знаком с Юшиным, хотя виделись на официальных совещаниях, в лицо друг друга знали и завтра должны были встретиться по просьбе Юшина, решать какой-то вопрос.

— Он что, с ума сошел? — Паста пузырилась на его губах.

— Почему? Чем Симка хуже других?

— Не о ней речь.

— Но он же выбрал ее! Не такой уж сумасшедший.

— Не знаю... не знаю.— Он шумно полоскал рот.— Чем это кончится?..

— Юра, ты ведь тоже увел меня от мужа.— Вытирая лицо, она натягивала кожу на скулах.

— Но я был холост.

— Симка тоже не замужем. Говори уж, что у тебя на уме, не крути. Я-то понимаю.

— Вот и хорошо.— Закрыв тубик с пастой, он воткнул его в стакан и вышел.

Мысль встретиться в картинной галерее пришла на ум, когда Сима после обеда привезла сюда туристов.

Освободившись, она позвонила, как он и просил, после четырех.

— Пожалуйста, Виктора Викторовича.

— Кто спрашивает? — голос секретарши.

— Из «Интуриста». — Симе не хотелось называться.

— По какому вопросу?

— Товарищ Юшин знает.

— Одну минуточку.

Сима слышала, как секретарша, переключившись, спросила: «Виктор Викторович, звонят из «Интуриста». Вы ждете?» — «Да-да!» — услышала Сима его голос. Их тут же соединили.

Ему не очень хотелось туда, в картинную галерею, по многим причинам, но побоялся, что это нежелание обидит Симу, а его может унизить в ее глазах. А к ней домой сегодня нельзя, намекнула, не объясняя причины, и он не стал допытываться, почувствовав, что умолчала умышленно...

До закрытия картинной галереи оставалось около часу. Старинный дом стоял в глубине за узорной решеткой. Лужайка с соснами. По фасаду над венецианскими окнами гипсовая лепнина. Широкая лестница, тяжелая дверь, над нею козырек из чугунного ажурного литья. В вестибюле в застекленной камерке привратница вязала шарф, на спицах была распята зеленая шерсть. Женщина знала Симу, глянула равнодушно поверх очков.

В галерее было пусто, некоторые залы оказались уже запертыми.

— Я приходил сюда последний раз, наверное, лет пятнадцать назад, — шепотом сказал Юшин.

— Никому об этом не рассказывай, — погрозила Сима пальцем.

Вошли в зал с иконами. Седенький в костюме-тройке служитель, сидевший у белой изразцовой печи, отложил книгу, включил полный свет. И пока в матовых трубках, потрескивая, разгоралось белое пламя, с затененных стен, как из глубины, отделившись от ликов, за ними вопрошающе следили глаза — темные, подстерегающие, ни наивной синевы, ни доверчивой голубизны, словно писаны были сплошь с лиц восточных, поразивших иконописца в его странствиях. В темном цвете сила внушения...

— У тебя нет потребности преклонить колени? — внезапно спросил Юшин.

Она взглянула на него, готовая пошутить: «Я вижусь с ними раз в неделю как минимум», — но, заметив его серьезность, сказала:

— Ты просто давно здесь не был. Для меня это экспонаты.

— Для меня тоже. Однако... Иконы, только иконы, и никто в ту пору не писал чистые пейзажи или натюрморты. Интересно, почему?

Она удивилась неожиданности вопроса, эта мысль никогда не приходила ей в голову, но сказала:

— Дух был сильнее плоти, лицо — его отражение, индивидуальность. Не выработались еще стереотипы мышления. Годится такое объяснение?

— На первый случай, для меня, дилетанта, — засмеялся он и подумал: «Неужели время человеческих индивидуальностей уходит? Что остается? Честолюбие? Но и оно старается или вынуждено жить по принципу «соответствовать стереотипу». И на службе, и в быту. Эволюция мещанства?» — Значит, во всем виноват стереотип?

— Что делать. — Сима оглянулась на служителя: не слишком ли громко они разговаривают? — Наши поступки определяет внешняя среда. Приемлет или осуждает. Угодные ей поощряет, называя добром; те, что отвергает, причисляет ко злу.

— Но есть же что-то, не зависящее от нас? — сказал он, будто убеждал в чем-то себя. — Поступки, которым не нужно ждать оценок, потому что они сами уже добро. Что-то же их диктует!

— Совесть?

— Хотя бы.

— Она что, категория генетическая? — хмыкнула Сима.

— А вдруг?

— Это еще проверить надо...

Вышли из зала, по деревянной скрипучей лестнице поднялись на второй этаж. Потом во дворе сели на холодную скамью под соснами. Он взял ее руку, прикрыл своей, согревая. Сидели молча.

«Что же делать? — думал он. — Так больше нельзя... Но как быть?..» Знал, что и Сима мучается этим вопросом, у нее больше прав задать его...

Сима никогда не спрашивала Юшина о жене. Он это ценил, но, как всякий мужчина, не подозревал, что Симе хотелось знать, какая у него жена: добрая, злая, красивая, дурнушка, худая, толстуха. Лишь однажды в располагавший и безопасный момент спросила: «У тебя было много женщин?» Он не смутился, не взыграло и мужское бахвальство, ответил серьезно: «Да нет... Знаешь, некогда было. Смешно, правда? Некогда!.. Или жизнь так складывалась... А почему тебя это интересует? Ревнуешь?» — «Наверное, — призналась она. — Ужасно думать, что тебе с кем-то было так же, как со мной, или лучше. Глупости, конечно, ведь это в прош-

лом, а вот лезет же в голову». Он тогда добродушно рассмеялся, и она поняла, что ему приятно ее признание...

В их близости Юшин не ощущал с ее стороны ни опасений, ни предосторожностей, сам не заикался об этом и, не заблуждаясь по поводу скромного ее опыта, интуитивно угадал: многие одинокие женщины ее возраста, случись что, не хотят прерывать беременность. Материально и социально независимых — их страшит одиночество в той половине жизни, которая грядет, неся усталость, болезни им, подурневшим, теряющим с каждым годом надежду выйти замуж. И все же Юшин боялся появления ребенка, который может не узнать, кто его отец, — Сима скроет, не потому, что он, Юшин, плохой, недостойн, а чтобы избавить его от неприятностей... Постыдное избавление: не существовать в памяти своего ребенка...

Они пошли к ее дому. Стало легко — заговорили об обыденном: о его работе, о ее, не хочет ли перейти в бюро технической информации на какой-нибудь завод, там спокойней, зарплата повыше и прогрессивка; как она собирается провести лето, отпуск...

— До завтра? — спросила Сима, когда остановились у подъезда. — Не мучайся, не заставляй себя принимать какие-то решения, ты не готов к ним, а я тебя ни с чем не тороплю, — сказала вдруг она.

— Не храбрись. — Он неловко поцеловал ее за ухом, ощутив на лице прикосновение промытых душистым шампунем волос.

С электрички пересел на автобус, люди на остановках вносили с собой запах сырости, мокрого ветра, неуют. Юшин сидел у компостера, ему протягивали билеты: «Пробейте, пожалуйста». Кабина шофера была облеплена вырезанными из журналов портретами знаменитостей. Юшин не имел понятия, кто они.

Он ехал домой: в удобство, в тепло, в покой. В покой?.. Последнее время стал бояться дочери, ее расспросов, за которыми не было никакого подозрения, а ему мерещилось; боялся ее взгляда, пристального всегда, а теперь, казалось, полного какого-то значения. И сейчас он хотел, чтоб у нее нашлись какие-нибудь дела и она задержалась бы в городе, пока он не поужинает, пока не ляжет спать. Странное дело, она-то и оказалась оракулом, двадцатитрехлетняя родная любимая дылда, акселератка под метр восемьдесят, вдруг ошарашила. Однажды понеслась скакать в какую-то дискотеку. Было два часа ночи, а все не возвращалась. Не спали

с женой, извелись. Он в трусах и в майке метался от шкафа к окну, выглядывал, а жена топталась у входной двери, прислушивалась: не загудит ли лифт. Заявилась около трех. «Варенька, где же ты была?!» — обрадовалась жена. «Пить хочу ужасно, мам. Тебе же важно, не где я была, а что я уже дома». Они прошли на кухню. Он слышал, как из крана била струя. «Ух, хорошо! — Дочь стукнула пустой кружкой о стол. — Была я, мам, в дискотеке». — «Так поздно? В твоём возрасте... уже опасно так поздно, Варенька». — «Ничего в моём возрасте не опасно... — Потом, после паузы: — Пора становиться женщиной, мам». — «Да ты о чём?.. Что это с тобой?» — «Я не о себе... Опасно не в моём возрасте, а в твоём... Пора тебе становиться женщиной... Папа, конечно, человек хороший, любит нас... Но ведь такая любовь не всегда препятствие... для другой любви... Они могут сосуществовать. Тайно». — «Как ты мне — такое?! Варвара!.. Не стыдно тебе?» — «Не стыдно, мам. Мы ведь с тобой женщины... Ты не обижайся... Я давно хотела тебе сказать... как оно бывает». И, чмокнув мать, ушла в свою комнату.

И сейчас, вспомнив это, он спросил себя как постороннего: что же произошло? И ответил: я полюбил другую женщину, тонкую, умную, интересную. А она — меня. В чём наша вина? Может ли любовь быть безнравственной? Любовь как признание чьих-то достоинств... Разве только то, что я не люблю уже давно, до знакомства с Симой, свою жену, с которой прожил почти четверть века?.. Как же быть? Никому ведь нет дела, что я *люблю* — искренне, бескорыстно. Для всех это звучит: Юшин завел любовницу. Само слово «любовница» отдаёт для них грязью, хотя происходит оно от того же корня — «любовь».

Впереди с кресла поднялся подполковник милиции, стал протискиваться к выходу. Юшин узнал: Рацер. Потянулся окликнуть, но передумал: на душе было смутно, не до разговоров. А о чём бы ни заговорили, Лазарь свернул бы к их домашнему переполоху с Адой. А об этом так не хотелось, пришлось бы какие-то немужские слова лепетать. Вчера позвонила Настя, волнуется... Неужто у Ады?.. Вот так настигло её?! Ужас!..

Рацер сошел через остановку. Сквозь запотевшее стекло Юшин видел, как, длинный, сутулый, он зашагал к добротному старому дому, темневшему среди многооконных двенадцатиэтажных коробок. Юшин вспомнил: где-то здесь жил брат Рацера.

Звякнув, захлопнулась дверь...

...С Журавским — председателем колхоза-миллионера, согласившимся на долевое участие в строительстве неврологического отделения Бужанской райбольницы. — Юшин, как и уговорились, встретился в приемной Лаевского. Назначил Лаевский на десять, но внезапно его вызвал предоблисполкома, пришлось им ждать. Разделись. Журавский, как гимнастерку, одернул за полы пиджак, извлек расческу из верхнего карманчика, поскреб пушок на затылке.

— Так оно лучше. — Сощутив хитрые глаза, плечом он коснулся Юшина.

— Что? — не понял тот.

— А то, что мы к нему нынче, а не через месяц-два.

— Почему?

— Новенькие завсегда хотят угодить, они помягче, пока не огляделись. Вы ему так, с подходцем. Уболтаем, уверен.

— А если откажет?

— Отказ не обух, шишек на лбу не будет. Бумаги-то все у вас с собой?

— Все. — Юшин достал из портфеля документы и сложенную осьмушкой синьку проекта. — Есть, правда, кое-какие переделки.

— Какие? — насторожился Журавский, разворачивая синьку.

— Бассейн.

— А что это? — ткнул Журавский, уже не раз видевший проект.

— Это и есть бассейн.

— Что же он, как пруд, круглый. Бассейны такие не бывают.

— Мы что с вами затеяли строить: неврологию бальнеологического профиля или спорткомбинат?

— Ну да. — Журавский напрягся, стараясь понять, куда клонит Юшин. — Неврологию с этим, как его там, профилем.

— Если в здании будет стандартный бассейн, его быстро приберут к рукам спортивные организации. Тренировки, соревнования. Один раз главврач откажет, потом позвонит председатель райисполкома. Попробуй отказать. И пойдет. Лиха беда начало. А круглый он им ни к чему. Уразумели?

— Вы вижу тоже не пальцем деланы, — удовлетворенно заерзал Журавский.

Лаевский принял их через полчаса. Когда входили, он, поднявшись из-за стола, изучающе смотрел на Юшина и, пока тот приближался, раздраженно думал о нем как о человеке, который еще до знакомства уготовил ему беспокой-

ство, вовсе не имеющее служебного свойства. «Неужели читать ему мораль достанется мне, урезонивать, говорить о Симе? Что же я стану говорить против нее? Ведь она почти родня нам, как сестра мне и Ирине». Он подождал, пока те сели, сел и сам, спросил:

— Что у вас, товарищи?..

На кафедру Долинин приехал к десяти, по дороге на работу заезжал к теще, отвез стугерон — лекарство, она просила для отставника-полковника Александра Ивановича, страдавшего глубоким склерозом. Видел, как просветлело лицо тещи, словно заполучила не коробочку с таблетками, а волшебную палочку, которая вернет здоровье и память человеку, знавшему молодыми ее и мужа...

— Кто-нибудь звонил? — спросил Долинин, натягивая халат.

— Мама заходила, — ответила Наташа.

— Позвони, скажи, что я уже пришел.

Бакшеева явилась сразу же, поняла, что он ждал, — на столе перед ним лежали стекла.

— Они? — спросила. — Ну?

— Что тебе сказать? Сейчас ничего угрожающего. Но если родинка кровит сама по себе, значит, у нее какая-то тенденция. Какая? И когда даст о себе знать?

— Я иссекла с запасом.

— Видел.

— Аду выпишут к обеду... Ты покажешь ей эти стекла?

— Нет. — Он завернул стекла в лист бумаги и сунул в карман. — Я приготовил подменные, вовсе безобидные. Но ложь в чистом виде не пройдет. Слишком благополучные слова могут насторожить. Сама ведь десятки раз скрывала от других таким же способом. Думаю, ей нужен курс облучения.

— Я ей прямо так и скажу. Чуть-чуть пугану.

— Пожалуй.

— Господи, надо же...

В конце рабочего дня Ада Львовна явилась на кафедру. Не сняв пальто, не заходя к себе в доцентскую, направилась прямо к Долинину, была чуть бледней обычного.

— Ну, здравствуй. — Он поцеловал ее в лоб.

— Как покойницу?

— Дура. Все в порядке, переполоху наделала. Но удалить надо было. На. — Он открыл картонную коробочку, извлек стекла.

— Спасибо,— не взглянув, зажала их в руке.

В доцентской сняла пальто, аккуратно повесила в шкаф на металлическую вешалку, стряхнула с воротника дождевые капли, надела халат, застегнулась на все пуговицы, села к микроскопу. Прежде всего увидела, что стекла не пронумерованы стеклографом. Эта забота Долинина, чтоб биопсия осталась анонимной и на кафедре обошлось без болтовни, тронула ее.

Смотрела долго, отстранялась, сидела задумчиво и снова принималась к окулярам. Наконец выключила подсвет и упрятала стекла в ящик стола, в дальний угол. И, уже задвигая ящик, заметила обрывок пластмассовой нити, который показала Настя. Понравилась им эта нить. Генетические последствия, которые могут возникнуть? Так это через два, три, пять поколений. Кто скажет точно, когда? Такая даль, куда и заглядывать вроде несерьезно. А могут и не возникнуть. Чего же я грудью вперед лезу, боюсь? Кого? Да и что мне, если самой, возможно, жить осталось... Сколько?.. На тумбочке газовая горелка гудела игольчатым пламенем. Она поднесла к огню кончик нити, пластмасса закипела, укоротилась, зримый соблазн Бакшеевой и Каймакова превратился в твердеющий шарик, сплавился у самых пальцев. И ничего в нем ни примечательного, ни опасного. Если генетики дадут добро, имя Насти может прославиться: испытала, внедрила новый шовный материал. Если выскажут опасения, я наложу запрет, но моего имени убереженные от чего-то потомки и знать не будут... Забавно... Она потрогала остывший шарик. Совсем затвердел. Из такого можно опять сделать нить любого сечения и сказать: «Шей, Настя, держай, мне-то уже все равно...» Или еще не все равно?.. Взяв со стола пинцет и зажав в нем остаток нити, она поднесла его к огню и смотрела, как он ужимался, пока не исчез...

Они встретились в вестибюле, Бакшеева спускалась по лестнице, Ада Львовна вышла с кафедры. Бакшеева не очень удивилась, хотя строго просила ее после больницы не заходить никуда, отправиться домой, полежать до вечера.

— Ты почему здесь? — притворно нахмурилась Бакшеева. — Смотреть поспешила? Что высмотрела? — Они вышли на улицу.

— Пока ничего.

— Я советовалась с профессором Потерейко. Он рекомендует пройти курс облучения. Профилактически.

— А что еще мог порекомендовать онколог? У них выбор небольшой: удалить, облучить.

— Он хороший специалист.

— И я, говорят, тоже.— Они остановились.— Подобные родинки, Настя, могут проявиться метастазами и через два месяца, и через двадцать лет.

— Что ты хочешь сказать?

— Может, мне повезет. А может, нет. Надо жить и не морочить голову окружающим.

— Живи и не морочь... Пойдем через центр? Я хочу заглянуть в парфюмерный.

— Я еще не готова для этого. Хочу домой...

Комната тренера находилась рядом с бассейном и душевыми. Ободранный стол в пятнах чернил, несколько стульев и шкаф, за стеклом поблескивали кубки. На стенах разноцветные вымпелы. Когда открывалась дверь и кто-нибудь входил, в комнату влетали гулкие голоса, раздававшиеся под сводами бассейна, тяжелые всплески, шум воды в душевой, запахи хлорки, раскисшего дерева и мыльной слизи.

— Одну минуточку,— тренер набросил на двери крючок,— иначе поговорить не дадут.

— Я по поводу Коли Новокшанова,— сказал Долинин.

— Опять? Тягали уже меня, мылили, хотя не знаю, за что.— Он похлопал себя по затылку.

— Я не следователь, я — медик.

— Эксперт?

— В известном смысле... Скажите, он болел чем-нибудь?

— Здоров был как бык. Ну, иногда простуда, связку потянет — наши, так сказать, дела. Хороший пловец, жаль парня... Один талантливый футболист тоже умер от инфаркта, во время матча. Тут уж недоработка медиков. Я за режимом своих ребят слежу, как в детских яслях.

— Вы не замечали, он не принимал какие-нибудь лекарства?

Скрестив и высунув из-под стола длинные ноги в белых кроссовках, тренер откинулся на стуле, задумался.

— А знаете, два или три раза видел, глотал он розовенькие пилюльки, сказал, грибок на ноге, между пальцами.

— Не вспомните, принимал до или после соревнований?

— Вот этого не помню. А что?

— Пожалуй, все.— Долинин встал.— Благодарю вас.

— Что уж тут... Человека не вернешь...

Долинин ждал от этой встречи почему-то большего. Вроде что-то и вспыхнуло, но сразу угасло, поймал ниточку, надеялся: будет в конце узелок, а не оказалось... Пил что-то противогрибковое... Ну и что?.. Но все-таки пил?!

В пятницу к вечеру мастера закончили оклеивать вторую комнату. Нина Борисовна и Долинин расхаживали вдоль стен, разглядывали едва заметные завитки по бледно-серому нежному фону.

— Как жатый ситец,— сказала Нина Борисовна, провела ладонью, словно надеялась ощутить рельефность.— Даже стыков не видно.

— Красивые обои,— согласился Долинин.— Что ж, дело к концу!

— Устала я от всего этого.

В соседней, уже готовой комнате женщина по имени Липа мыла скипидаром паркет. Окна были распахнуты, по ногам тянуло холодом.

— Она босая, в одном халатике, не простудилась бы,— сказал Долинин.

— Я просила ее надеть твои старые спортивные брюки, предлагала свою кофту. Говорит, что привыкла, не боится.

Эту самую Липу порекомендовала Бакшеева. Липа ходила к ней убирать раз в неделю уже много лет. Пылесосила, выбивала, терла добросовестно, быстро, сама заглядывала во все уголки, искала пыль или паутину. Работала санитаркой в урологии. И в нескольких семьях подрабатывала таким вот образом. Ей можно было оставить ключи от квартиры, уйти, если надо,— к чужому не прикоснется. Жила с сыном и невесткой. Сын возражал, не хотел, чтоб мать ходила по чужим, невестка стыдилась, но Липа смеялась: «Мой приработок на внучика идет». Одно плохо — была запойная.

Два-три раза в год случалось. Лечилась, не помогло. И когда Бакшеева сказала, что пришлет им Липу, предупредила: ни в коем случае не угощать, даже полрюмки не давать. И если попросит авансом трояк или пятерку, не стесняться, отказать: просьбы об авансе всегда накануне запоя. С зарплаты, которую Липе переводили на сберкнижку, денег на вино не брала, не просила ни у сына, ни у невестки...

Скипидару не хватило, решили отложить на завтра. Липа помылась, переоделась, сели ужинать на кухне.

Долинин, с любопытством поглядывая на женщину, заметил, что ела она мало, разве что маринованные острые помидоры — с охотой, картошку круто солила и даже посыпала перцем. Он знал объяснение этому. Лицо у Липы было сероватое, нечеткое, не угадать, как выглядела в молодости, прямые короткие волосы просветлила седина. Разговаривая, Липа странным образом, не путаясь, перескакивала с одного на другое и так, как бы случайно, рассказывала о себе. В сорок третьем, семнадцатилетней, ушла в партизаны, попала — выдал односельчанин; немцы расстреляли ее и еще четверых, свалили тела на сани и выбросили в лесу, достреливать поленились, а она оказалась живой — пуля прошла меж ребер. В сорок пятом осенью выписали из госпиталя, уже наступил мир; слабая, хилая, возвращалась в родные места; в толчее на какой-то разбитой станции встретила того односельчанина — предателя, выследила, дома достала из тайничка завернутый в тряпку пистолет и днем, прилюдно, застрелила. Судили, но оправдали, время было свежее после войны. Замуж вышла поздно, за одно-рукого солдата-инвалида. Прожили недолго, умер он от воспаления легких, застудился в ночном — спасал тонущего жеребенка, сходить переодеться поленился, а был уже октябрь. Осталась с трехлетним сыном. «А сейчас уже внук есть, — радостно сообщила Липа. — Молодежь растет. Только вот санитарки наши — ветрогонки, им бы маникюр да чего помодней, а работа, мол, сама сделается. Квартира у меня небольшая, хорошая, две комнаты. В одной молодые, а я с внучиком. Трамвай теперь лучше ходит, маршрут удлинит, конечная остановка у самой больницы. Так вы купите еще бутылки три скипидару, завтра я в ночь, с утра и домою, приберу...»

Долинин слушал, рассказ женщины почему-то нагнал тоску, хотелось что-то сделать, чем-то облегчить ее судьбу, как бы извиниться за собственное благополучие и в прошлом и теперь. Он сказал об этом Нине Борисовне, когда Липа ушла.

— Она ведь не пыталась нас разжалобить, — ответила Нина Борисовна. — Больше того, какое-то довольство судьбой. Вроде даже благодарность ей. Слова одни, а интонации другие. О страшном и горьком — как о естественном, необходимом, без чего жизнь лишена смысла.

— Не Толстой ли у тебя сейчас по программе?

— Если можешь, объясни иначе.

— Долго и сложно.

— И главное — бессмысленно: ей твоя жалость не нужна, потому что будет непонятна...

И тут позвонили в дверь. Он пошел открывать. На площадке стояли девушка и юноша. Смущенно переглянулись.

— Здравствуйте, Сергей Никитич,— решила девушка.— Я Перебикивская,— торопливо представилась.

И тогда он узнал ее — дочь заведующего кафедрой физкультуры, незаметную средненькую студентку с факультета педиатрии.

— Сергей Никитич.— Краснея, она протянула красивый глянцеви́тый конверт.— Там приглашение.

— Куда же? На студенческий «Огонек»?

— Нет, у нас свадьба.— Она посмотрела на парня.

— Вы... меня на свадьбу?— удивился он.

— Да. С женой. Там написано.

— Что же мы тут стоим?! Зайдемте!

— Нет, спасибо, нам еще по многим адресам надо.— Она показала толстую пачку конвертов.

— Так мы ждем вас, Сергей Никитич,— серьезно сказал парень.— Обязательно!..

Он слышал, как они бегом спустились по лестнице.

— Неужели придется идти?— спросила Нина Борисовна, разглядывая приглашение: два сцепленных, оттиснутых золотых кольца в углу, а на развороте красным типографским набором: «Просим разделить нашу радость и быть дорогими гостями на нашей свадьбе». Дата, время и место — загородный ресторан «Березовый бор». И подпись: «Александра и Богдан».

— Мы почти незнакомы с ним,— пожал плечом Долинин.— В институте встречаемся, раскланиваемся, даже не останавливаемся... Пойти, конечно, придется. Но к чему мы там?.. Надо позвонить Насте.

— Зачем?

— Любопытно.— Он набрал номер.— Здравствуй, Паша... Живем, живем... Две комнаты закончили... Настя дома? Позови-ка... Настя, слушай... такое дело... ты не получала никаких приглашений на субботу?.. Понятно... Да, только что принесли. Вы пойдете?.. Что в подарок покупать? Попробуй сейчас купи... Что?! Это как-то... мне еще не приходилось... Хорошо, созвонимся...

— Ну?— спросила Нина Борисовна.

— Они тоже почти незнакомы, приглашены и удивлены. Настя говорит, этот Перебикивский ловкий человек, наперед заглядывает.

- Бакшеевы идут?
- Настя еще не решила.
- Может, не пойдем? Это же будет балаган человек на двести, бессмысленно вечер уьем.
- Сам не знаю... На этого Перебиковского начхать, девочку обижать не хочется...
- Она что-то сказала в отношении подарка?
- Настя? Это сейчас просто: деньги или облигацию в конверт и — молодоженам в руки. Мерзко, но удобно. Для данного случая, думаю, самая подходящая форма...

На свадьбу они все же пошли. Бакшеевы тоже. Гостей отвозили в загородный ресторан «Икарусами» с табличками «По заказу». Автобусы к назначенному времени стояли у дома Перебиковских.

Ресторан «Березовый бор» был удобен тем, что имел один зал, это исключало вторжение любопытных; принадлежал он потребкооперации, поэтому помимо стандартных блюд тут были и кровяная колбаса, фаршированная гречкой, и деруны с грибным соусом, и вареники с картофелем, приправленные свиными шкварками с чесноком; цены были пониже городских. Спиртное на свадьбу можно было привезти почти все свое, чтоб не брать с наценкой...

Сдав пальто гардеробщику, Нина Борисовна и Долинин поднялись в зал, уже звучал марш Мендельсона, молодые стояли в центре перед эстрадой, их поздравляли.

— Конверт отдашь ты, я что-нибудь сделаю не так, — сказал Долинин.

— Но ты хоть рядом стой, меня-то они вообще в глаза не видели.

— Тут, по-моему, все друг друга видят впервые. — Он оглядел зал. — Ты почти угадала: человек сто пятьдесят, не меньше. Вон Виктор с Бакшеевыми, у окна...

Свадьба началась. Гости с любопытством рассматривали друг друга, пытаясь угадать, кто есть кто. Было их такое количество, что, поев и выпив, многие могли уйти, их исчезновения никто бы и не заметил, разве что родители жениха или невесты. Тамада (как выяснилось позже — нанятый актер местного театра юного зрителя) в первую очередь предоставлял слово почетным гостям, подчеркнуто громко объявлял их имена, должности. С серьезными лицами они произносили торжественные тосты, высокопарные и длинные, больше похожие на доклады. Ошалевшие от шума, духоты, выпитого и съеденного, от грохота оркестра,

они, похоже, уверовали, что давно и искренне преданы семье, со стороны которой приглашены, и в своих тостах-речах заклинали молодых быть счастливыми, уважать друг друга, уступать и, конечно, помнить, чем обязаны родителям. Все сказанное казалось им самим произнесенным впервые. А слова витали, потеряв своих хозяев, с трудом сквозь шум и гам отыскивая тех, кому адресованы. От этого состояния всеобщей эйфории Долинину стало не по себе, он боялся, что тамада предоставит слово ему.

— Зачем такой купеческий размах?— склонился он к плечу Юшина, сосредоточенно извлекавшего косточки из куска селедки.

— Так модно, Сережа. Знай наших!— весело ответил Юшин.— Во-первых, можно будет говорить, что на свадьбе у дочери были известные люди. Во-вторых, кто-то из них может пригодиться.

— И мы с тобой, два идиота, тоже здесь.

— Едим, пьем и осуждаем хозяев.

— Кто же мы тогда?

— Ты — Долинин, я — Юшин.

— Дерьмо мы, вот кто.

— Это как сказать, Сережа. Разве тебя силой сюда загнали?

— Неудобно было, не хотелось обидеть.

— А может, все проще?

— Осточертело делать то, что не хочешь, что не нужно и чего можно избежать. Самообкрадывание. Нина вот умеет. А ты почему без Верочки?

— Голова у нее болит.

— Мог бы остаться дома, удобный предлог.

— А если у меня здесь свой интерес?— Глаза Юшина задорно блестели, он обхватил приятеля за плечо, красный, возбужденный. И Долинин гадал: то ли Юшин разыгрывает его, захмелев, то ли действительно что-то радовало его в этом бедламе, от которого раскалывалась голова.

— Ты о чем, о каком интересе?

— Ишь, любопытный! Давай-ка лучше еще вон того коньячка.— И пока Долинин, привстав, тянулся к бутылке, Юшин успел глянуть через два стола, где с Лаевской сидела Сима. Украдкой улыбнулся ей, она — ему, оба тайно понимали нелепость своего присутствия здесь, но, как счастливые заговорщики, были благодарны случаю оказаться опять хоть и порознь, но *вместе*...

В перерыве между холодной закуской и горячим,

когда официанты начали очищать столы, все с наслаждением встали. Одни танцевать, другие поразмяться, группками лепились вдоль окон. Шел шепоток: «Вон Лаевская». — «Балерина?» — «Да». — «А где ее муж?» — «Она с подругой». — «Ах да, он же теперь...»

Нина Борисовна стояла с Бакшеевыми, единственными, кроме Юшина, знакомыми тут.

Юшин и Долинин выбрались из-за стола.

— А Настя-то наша во Францию едет, слышал? — спросил вдруг Юшин.

— Да ну?

— Вот тебе и ну!

— По туристической?

— Как бы не так! Приглашена в клинику Дюпюи. Их заинтересовала ее методика двух операций.

— И молчала! Ну и Настька!

— О таких поездках заранее не болтают, из суеверия: а вдруг сорвется.

Музыка гремела. Юшин искал глазами Симу, направился к ней, когда Лаевскую кто-то увлек к эстраднему кругу, где уже топтались, подпрыгивали, скользили, раскачивались пары.

— Вы до конца будете? — спросила Нина Борисовна Павла Бакшеева.

— Он сластена, — ответила за него Анастасия Георгиевна.

— Хочу посмотреть главный свадебный торт и вкусить, — потер руки Бакшеев.

— Идем потанцуем. — Долинин взял жену за руку.

— Ты еще не забыл, как это делается? — спросила Нина Борисовна.

— Чем я хуже Виктора? Смотри, как отплясывает с какой-то девицей.

У эстрады было тесно, то и дело Долинины сталкивались с какой-нибудь парой, несколько раз почти вплотную сходились с Юшиным и его партнершей, видели его потное, счастливое лицо, а он их не замечал, увлеченно беседовал, путался ногами, не попадал в ритм, танцевал свое.

Нина Борисовна взглянула на мужа.

— Понятия не имею, — ответил Долинин.

— Давно я его таким не видела.

— Выпил. — Долинин начинал догадываться, в чем дело.

Они кружились еще три танца, один какой-то странный: все взялись за руки, притоптывая, наклонялись то

вправо, то влево, кто-то тащил весь хоровод за собой, замыкая кольцом тех, кто танцевал отдельно...

— Хочу домой,— сказал Долинин, когда сели.

— Автобусы подадут не раньше двенадцати,— ответила Бакшеева.

Музыканты ушли отдыхать. Оставив жену с Бакшеевыми, Долинин спустился в холл. Туалет был возле гардероба. Ополоснув лицо, он утерся платком и вышел на крыльцо.

После духоты зала с наслаждением вдохнул холодный лесной воздух. Из одинокого облачка вылупилась большая белая луна. По тропинке Долинин прошел к шоссе, тянувшемуся вдоль березняка. Оно было сухим, с редкими пятнами намерзшей льдистой корочки, между стволами белели остатки снега, еще не сглоданного дневной оттепелью. Он стоял, прислушиваясь к тишине. Одна за другой в сторону города пронеслись две «Волги». Стало холодить спину. Хотел было вернуться, но где-то за поворотом, гулко шурша и грохоча железными бортами, шла тяжелая машина. Долинин шагнул к обочине и, попав в свет фар, поднял руку. Это был «КрАЗ»-самосвал. С шипением взвизгнули тормоза.

— Тебе чего, парень?— высунулся шофер и тут же стал закуривать.

— В город подбросите? — спросил Долинин.

— Какой груз?

— Меня с женой.

— Садись.

— Я за женой схожу.— Он затрусил к ресторану.

— Не простудились бы,— сказал гардеробщик. Но Долинин уже взбегал наверх.

— Поехали домой, я машину поймал,— шепнул он Нине Борисовне.

Незаметно покинули зал, оделись, вышли.

— А где машина?— спросила Нина Борисовна, натягивая перчатки.

— Вон, у дороги.

— Самосвал? Ты с ума сошел!

— Ничего, протрясемся.

Шофер распахнул дверцу. Долинин помог жене, влез сам и, ощутив плотное, пропахшее маслом и бензином тепло кабины, весело сказал:

— Как-то в студенческие годы возвращался с вечеринки, знаете на чем? На мусоровозе... Теперь вот тоже с танцев, на самосвале. Поехали.— Он снял кепочку.

— Это обещанное.— Трушевич достал из желтого портфеля пол-литровую банку черной икры.— Домашнего посола, у одного стервятника. А это — рыбка ряпушка,— протянул он целлофановый мешочек.— Едал такую? То-то!

— Тоже у стервятника?— спросил Каймаков.

— Нет, приятель сам ловил, вполне официально.

— Спасибо. Сейчас будем ужинать. Оля нас чем-нибудь накормит.— Он взглянул на Олю.

— Никаких ужинов!— замахал руками Трушевич.— Умоляю, ничего не надо, не суетитесь! Ну прошу вас!

— Как же так?— огорчилась Оля.

На кухне уже стояла открытая банка майонеза для салата оливье, на дощечке лежали антрекоты и в кастрюльке, залитая водой, лежала начищенная картошка.

— Может, все-таки чего-нибудь пожуюшь? — опять предложил Каймаков.

— Только чаю,— согласился Трушевич.— Поголодать мне полезно. Покуда соблюдал диету, был героем, а потом закрутило по командировкам. А в командировках какая диета? Вчера посадили в Воронеже. Сутки торчали, народу тьма, в ресторан не пробыешься. Не удержался, проглотил в буфете кусок холодной печенки. Как подошва, черт знает, на чем жарили, похоже, на солидоле, до сих пор стоит,— прикоснулся он к животу.

— Заварю свежего чаю,— поднялась Оля.

— У врача давно был?— спросил Каймаков.

— Был. После очередного приступа. Предлагали вырезать пузырь, камешки, сказали.

— Отказался, конечно, умник?

— Во-первых, некогда.— Он вскинул на Каймакова темные, в густой усталости глаза.— Во-вторых, элементарно боюсь. Всегда боялся боли, с детства. Прыгнуть мог откуда угодно, реку переплыть — пожалуйста, в прорубь сигал. А палец порежу — до обморока холодею.

— Давай я тебя положу к нам, обследуем хорошо.

— В тебе лекарь говорит.

— Глупо, этим не шутят.

Инженер Игорь Трушевич прилетел в полдень. И сейчас, поглядывая на него, Каймаков чувствовал, как все больше нравится ему этот прямодушный, согнутый, хилый — кожа да кости — человек, толково хватавший суть с первого слова, будто новичок, влюбленный в свое хлопотное ремесло. И надежен, поскольку без претензий, все принимает как должное, даже тяжбы со смежниками. «Там тоже на-

род, живые люди, у них свои смежники, а у тех — свои», — объяснял он. Наивен: «У вас, в медицине, проще: знай себе лечи. У нас туже. Я на производстве начинал. Ушел. Почему? Вот слушай. Был у нас директор, мужик неглупый, жилья, бытовки всякой строил много; выходит, людей к месту приручал, дельный вроде. А ведущие специалисты все же уходили. Долго никто не понимал, с чего такое. Завод работал нормально, ритмично, почти без штурмовщины, всегда план, прогрессивка, гнали испытанную продукцию, гнали высококачественно. А люди из СКБ убегали. Что оказалось? Ребята разрабатывали новые модели, более современные, каждому хочется себя попробовать. Открыто не запрещал — ретроградство. Но давил сроками, назначал заведомо нереальные для внедрения, чтоб заporолись, отказались от своей идеи. А он сочувственно разводил руками: дескать, не готовы мы еще для этого, всему свое время... А человеку ведь что надо? Немножко надежды, что он чего-то стоит. Это так важно. А он ее прикарманивал...»

Оля внесла чай. С порога взглянула на мужчин. Они сидели в креслах, тихая речь, спокойные жесты, свет настольной лампы въелся в коврик на полу, высветив несоразмерно огромные ноги Трушевича в размятых ботинках с болтавшимися, безразлично завязанными бантиком шнурками. Лицо Трушевича заморенное, болезненно-серое, на худой шее петушиный кадык...

— Вот это чай! — Угластymi, как плохо сросшимися после переломов, пальцами он держал блюдце с чашкой и втягивал широкими ноздрями пар. — Пусть чуток остынет... Итак, где успел побывать сегодня? Был в вашем институте, в научно-исследовательском секторе и у проректора по науке. Все прошло любовно. Привез им гарантийное письмо. К концу квартала перечислим деньги. У меня несколько новых пунктов по технологии пластмассы. С этим завтра к вашей Рацер. Вот и все... Теперь информируй, какая конъюнктура, как подступиться к Рацер с нашей затеей.

— Пока надо утереться, — спокойно сказал Каймаков.

— Да ну тебя! И нет надежды?

— Любишь ты это слово... Для промышленных нужд она тебе вот-вот зеленый свет даст. А с нашим делом не суйся, выставит. Пока генетики ей не выложат все — не разрешит.

— Бойтся?

— Я бы это не так назвал.

— Последствия через сто лет? Да к тому времени знаешь сколько новых пластмасс наворотим?.. Да... Обидно... А может, есть надежда?

— Все есть, и надежда,— не выдержав, засмеялся Каймаков.— Чай, чай пей, остынет совсем.

— А я ведь уже прокачал с технологами мыслишку, как тянуть нить любого сечения,— не унимался Трушевич, медленными глотками попивая чай.— Вернусь, засмеют ребята: через сто лет последствия!

— Ладно, кончай с этим, пустой номер. Я тоже люблю пирог с начинкой, а тут изо рта унесли,— нервно сказал Каймаков.

Оля видела: начал раздражаться, потому что вынужден убеждать не только Трушевича, а и себя еще раз в том, в чем был убежден, но боится, что останется в дураках, если выяснится от той же Ады Львовны, что нить можно было испытывать в клинических условиях; выяснится для него запоздало: дело перестанет быть его тайной, выйдет из-под его контроля и может достаться тому, у кого связи понадежней, кто поближе к людям, накладывающим резолюции...

— А представляешь, какой бы мы коллективчик сколотили под это рацпредложение?! — мечтательно сказал Трушевич.

— Вот что, коллективист,— Каймаков сцепил пальцы, сдерживался,— эмоций у тебя избыток. В таких вещах надо отпугивать, а не сластить, на сладкое налипает излишек желающих. И получается уже куча мала, толкотня.— Он сделал жест, будто что-то размешивая.

— Ну и что! В толпе веселее!— задвигался Трушевич.

— Еще бы! В такой толпе легче скрыть за счет другого свою немощь, присвоить то, чем не обладаешь: скупой — щедрость, бездарный — талант. И так далее. В куче это сподручней, никто не станет разоблачать: каждый ведь нуждается в чем-то, чего бог не дал.

— Значит, избранники?

— А что? Ну, скажем, талантливые люди, если тебе так приятней. С них спрос двойной, потому и могут позволить себе вести дело, как им удобней. Ждут-то от них. Понимаешь, *ждут*,— повторил с напором.

— Как же ты выяснишь, кто талантлив, а кто — нет?— Трушевич положил руки на стол, склонил на них голову и с любопытством смотрел на Каймакова.— Узнаешь, только

поработав с человеком рядышком годок-другой, иначе промахнуться недолго.

— Я не промахнусь.

— В отношении себя? Тоже рискованно, Алеша,— засмеялся Трушевич.

— Нет, жизнь вносит поправки, по закону естественного отбора, в нужное время все и всех — по местам.

— Но до этого можно и дров наломать,— неожиданно отозвалась Оля.

— Неси тогда ответственность.— Каймаков невозмутимо шевельнул бровью.— Хочешь иметь убеждения — знай: за это платят судьбой. Тут уж выбирай: либо убеждения, либо сиди тихо, как мышь. Или мычи, как все стадо, собственного голоса не слышно, зато надежно: ты — как все.

— А давай как все!— Трушевич вскочил и весело потряс Каймакова за плечи.— Веселей будет, Алеша, веселей!

Но Оля уловила в этой резвости какую-то фальшь, словно хотел прервать разговор, чем-то ему неприятный.

— Пора мне, ребята,— сникнув внезапно, сказал Трушевич и, подобрав с пола портфель, стал застегивать.

— Мы тебя проводим до гостиницы.— Каймаков стянул домашнюю фланелевую сорочку, надел тонкий свитер.

Уже горели фонари. Над гигантскими градирями, похожими на египетские пирамиды со срезанными верхушками, плыл пар. Пролязгал пустой трамвай с надписью «пробный». Высунувшись из окна второго этажа, женщина, сжимая у горла воротник блузки, кричала: «Вова! Вовка! Марш уроки делать, немедленно!»

Час пик давно миновал, город делал глубокий вздох, ощущая дневную усталость. Тоскливые манекены в освещенных витринах магазина «Одежда» равнодушно смотрели на пустующие улицы, будто вопрошали: «Угомонились?..»

— Любишь город?— вдруг спросил Трушевич.

— Не задумывался... Что тут любить или не любить? Родной муравейник, со своим лесом, урочищами, полянами, зверьем,— ответил Каймаков.

— А ромашек на полянках нет.

— А мне и не нужно. В киосках гвоздики. Тебе ромашек хочется?

— Я к цветам равнодушен. Ночные вокзалы люблю.

— Спать на скамейках?— спросила Оля.

— Нет, спать люблю в хорошей постели.. Что-то есть в ночных вокзалах чужих городов такое... душу смущает,

чего-то начинаешь хотеть, но уезжаешь, так и не узнав — чего. И так каждый раз, гонишься будто за чем-то...

— Годам к пятидесяти догонишь... Муть все это,— сказал Каймаков.

— Ну вот и мой дом.

Они остановились у гостиничного подъезда, по ту сторону стеклянной стены швейцар вглядывался в них. Трушевич пошарил по карманам, ища визитку. Попрощались.

— До завтра...

— До завтра...

Возвращались, чувствуя какое-то смущение, и не могли понять — отчего.

— Симпатичный парень.— Что-то надо было сказать, и это сделала Оля.

— Водка дома есть?

— Есть полбутылки в холодильнике,— удивилась она.

— С жареной картошкой, с антрекотами. А? На кухне, вдвоем.— Он прижал ее локоть.— Вон такси свободное!

— Я — в парк!— сказал шофер.

— Двойной тариф.— Каймаков выставил два пальца.— На именины опаздываем...

В ночь с воскресенья на понедельник клиника была ургентной. Эти воскресенья не любили, ощущалась определенная закономерность: «скорая» привозила больных в основном с острым панкреатитом, с прободными язвами, с холециститами, с ущемленными грыжами и аппендицитами. Чаще всего после пирушек — именин, свадеб, юбилеев и прочих явно обильных застолий.

— Все проклятая жратва без меры. Два выходных подряд тоже бедствие: гуляют братцы. Можно, нельзя — пьют, жрут. У него камни в почке или в пузыре, а он пару рюмок врежет, салцем закусит, пивком запьет.— Каймаков сдирал с рук перчатки.

— Надо послать кого-нибудь за кровью, может не хватить до утра.— Анестезиолог скомкал пустую пачку от сигарет.— Курева бы где достать. Кто курящий на травм-пункте?

— Понятия не имею.

Дежурили три хирурга, анестезиолог и интерн Шурик. Валились с ног, в обеих операционных свет не гас, сестры носились в приемный покой.

Около пяти утра наступила пауза, тишина. Кофе в термосах уже был выпит, бутерброды съедены. Дремали в

ординаторской, говорить не хотелось, скорее бы девять, новый рабочий день.

В шесть загудел грузовой лифт. Кого-то привезли. Вошел ответственный по смене — пожилой бритоголовый Вартан Саркисович, позвал второго хирурга:

— Разлепляй глаза, идем мыться. Аппендицит.

Вышли. Каймаков остался дремать за столом, положив голову на распластанные руки, белые, шершаво-сухие от беспрерывного мытья. То ли оцепенение, то ли сон, но краткий, урывками, как забытье.

И в один из таких провалов он не услышал ни гудения лифта, ни попискивания колесиков на каталке с носилками...

— Алексей Юрьевич!

Поднял голову, потер веки, облизнул губы. На кушетке в прежней позе сидел интерн Шурик, обалдело помаргивал.

— Алексей Юрьевич, — в дверях стояла сестра, — новенький. В пятой. Вартан Саркисович уже помылся, но успел посмотреть. Холецистит, состояние тяжелое, сказал — немедленно на стол...

В пятой палате у окна, запрокинув голову на тощей подушке, лежал Трушевич.

Сперва Каймаков не узнал, а когда понял, сжался, окатило горячим, мелькнуло: «Вот оно!» Много позже вспомнит и не сможет объяснить, что означали эти два слова. Судьбу? Чью? Или был в них обыденный смысл: жареная печенка с луком в буфете аэропорта. Не она ли стала критической массой, и все полилось через край?.. Лицо землистого цвета, сыпь пота на лбу, виски вдавлены. Морщась от боли, Трушевич судорожно дышал.

— Игорь, — Каймаков присел на кровать, взял за руку, нащупывая пульс.

Трушевич разлепил веки, глаза дрогнули, узнал.

— Постарайся... чтоб... не надо, — прошептал с одышкой.

Каймаков считал, глядя на секундную стрелку.

— Сейчас решим, — ответил. — Ты не волнуйся... Решим, как лучше...

Осматривал долго, спрашивал. Трушевич с усилием высвобождал слова, устало умолкая от боли.

Приступ начался около двух ночи. Терпел, глотал таблетки, всегда возил с собой, а когда скрутило вконец, выполз в коридор, и переполошившаяся дежурная по этажу вызвала «скорую».

Каймаков понял: оперировать, и как можно быстрее. За спиной ожидали сестра и интерн Шурик.

— Готовьте,— тихо сказал сестре.— Мыться, Шурик.— Поднялся, осторожно опустил отяжелевшую руку Трушевича на одеяло...

Он лежал в палате интенсивной терапии еще в тумане наркоза, подключенный к кардиомонитору. Каймаков сидел обок на стуле, сестра снаряжала капельницу.

— Идите, сам подключу,— услад Каймаков сестру.— Анастасия Георгиевна пришла?

— Все уже пришли, на пятиминутке.

Он посмотрел на часы, удивился: было четверть одиннадцатого утра, а ему казалось, что все еще ночь, хотя каким-то вторым сознанием отмечал и дневной свет в окнах, и шаги в коридоре. По необъяснимой предубежденности, усвоенной от старших коллег, давно внушил себе: никогда не оперировать близких или знакомых. Сегодня... надо же! Но, кажется, все хорошо, вовремя... В желчном пузыре было пять крупных камней, все воспалено, начиналась флегмона...

Устало прикрыл глаза и почувствовал, что поплыл. Семь операций за ночь... Душ и — в постель, и плыть, плыть... Заставил себя выпрямиться, еще раз посмотрел на спящего Трушевича и вышел.

Санитарки выносили из палат грязную посуду, шел обход. Доносился голос Бакшеевой: «Если не умеют лечить болезнь, лечат симптомы». Голос презрительно спокойный, короткие фразы, кого-то распекала, не обращая внимания на толпившихся студентов-практикантов, а те с усмешечкой переглядывались, догадываясь, что спектакль в назидание им. Особняком, но поближе к врачам, стоял интерн Шурик, уже выбритый, при галстукe. Каймаков знал, что на дежурства парень таскал в «дипломате» электробритву, несессер, свежие сорочку и халат, утром умывался в ординаторской, брился; переодевшись, дожидался обхода и лишь к обеду исчезал...

Вместе с Бакшеевой и свитой Каймаков еще раз зашел к Трушевичу. После укола промедола тот спал.

— Ваш?— Бакшеева смотрела в осунувшееся лицо Каймакова.

— Мой,— протянул историю болезни.

— Кто дежурил в приемном покое?— Вопрос ее привычный, но все же задело и в этот раз: врач приемного покоя первым определял, есть ли показания для немедленной операции. Дальнейшее решала степень его авторитета: хирурги либо соглашались, либо поступали по-своему.

Иногда, доверяя коллеге, принимавшему больного от «скорой помощи», шли на операцию даже после беглого осмотра. Бакшеева хорошо знала, кто чего стоит, и, не заботясь о чьем-то самолюбии, всегда интересовалась, кто из хирургов дежурил в приемном покое.

— Доктор Зубенко, — ответил Каймаков. — Расхождений с его диагнозом не было ни у Вартана Саркисовича, ни у меня. Операция подтвердила.

— Идите отдыхайте. — Она вводила свиту к следующей палате успокоенная: с мнением Зубенко считалась, хороший диагност. Не спросила даже, какая была ночь, хотя видела, что измочален. Но может, это и было доверием к нему, Каймакову, если даже не поинтересовалась, как прошла операция? А то, что устал, ей плевать: сама умела работать до изнеможения; случалось, находилась в клинике по десять — двенадцать часов, не считала ни своего, ни чужого времени, и если до нее доходило, что кто-то сетовал, отвечала с усмешечкой: «Профессиональная нагрузка — залог профессионального долголетия. Ваша жена недовольна, что вы мало бываете дома? Скажите, что проводите время со мной...»

Он оделся, спустился вниз, зашел к Оле. Она стояла в коридоре за столом вырезок, сегодня был ее день. Едва увидела, поняла: что-то случилось. Отложила скальпель и пинцет, подошла.

— Что?

— Игорь... — Он коротко рассказал. — Надо же, чтоб в мое дежурство...

— Кто ассистировал? — спросила и пожалела: вопрос двусмысленный. — Прости... Все будет хорошо... Пойди поспи. Захочешь есть — в холодильнике жареная свинина, в миске свекла, залей майонезом. Телефон выключи...

— Перед уходом домой поднимись, узнай, как он. Температуру.

— Обязательно. Иди отдыхай...

Утром следующего дня Каймаков, улестив телефонистку и начальницу смены междугородки, дозвонился в институт Трушевича, сообщил о происшедшем. Жена Трушевича — гидролог — находилась в экспедиции где-то в Тихом океане, больше никого близких. После сумасшедшей ночи имелся отгул, но, поев наспех, Каймаков отправился в клинику: сидел у постели Трушевича, подбадривал, вспоминал всякие байки...

К исходу вторых суток температура полезла вверх. Ор-

ганизм Трушевича с чем-то боролся. С чем? Каймаков нервничал, гадал, хотя знал, что после таких операций бывает.

И снова висел на телефоне: ждал, заказал институт — обещал им звонить. Серый морок кончавшегося дня залепил окна. Зажигать свет не хотелось. Откинулся в кресле, прикрыл глаза, так легче видеть что-то одно, важное. Оля ушла на заседание городского общества патологоанатомов. На спинке стула лежал ее халат. Отнес его в ванную. Было около шести, рабочий день кончался, мог уже никого не застать в институте. Стал названивать в справочную. В ответ шли короткие гудки. Но только опустил трубку, как прорвался звонок. Голос Бакшеевой:

— Чем занят, Алеша?

— Да так... Ничем.

— Тогда собирайся. Срочный по санавиации.

— Куда?

— В Величарово.

— Ничего себе!

— Встретимся в аэропорту, не задерживайся.

Он прикинул: до Величарова — триста да еще километров с тридцать от посадочного поля до больницы. Два дня минимум. Что там стряслось, если *сама* летит?..

Собрался быстро, дорожный саквояж — изящное импортное изделие, купленное с рук через того же интерна Шурика, — всегда наготове. Записку Оле оставил на кухне на видном месте и выскочил ловить такси. Моросило, заволокло красные предупредительные огни на телевизионной башне, торчавшей на высоком холме над городом. Такси шли занятые: мерзкая погода, час пик. Остановил левака — рыжий «Москвич»-пирожок с синей надписью «Почта».

— Куда гуляем? — Черные, ровной стрелочкой усики шофера — как наклейка на щекастом пухлогубом лице.

— В аэропорт, — уселся Каймаков.

— Трояк.

— Главное — шевелись...

Прилетели вовремя и все сделали вовремя, а теперь засели — томились в вагончике на краю мокрой посадочной площадки: с рассвета все заволокло неподвижным туманом. Флюгерная «колбаса-зебра» на шесте обвисла. У вкопанной по горловину цистерны беспомощно стоял самолетик. Пилот ушел в деревню раздобыть молока и хлеба. Лишь к вечеру подуло, ветер начал сдирать с поля и кустов серый войлок, скатывал его к дальнему лесу, обнажая располосо-

ванное колесами поле. Вылетели к полуночи, уставшие, иззябшие...

Город спал, опустело сквозили улицы, пронесся одинокий грузовик с молочными бидонами. Миновав гулкую подворотню, Каймаков поднял голову и сразу заметил выделенное светом свое окно на кухне. Оля забыла погасить?

Только вышел из лифта; увидел ее в проеме распахнутой двери. Ждала. Почему-то одетая, в темно-синем костюме, причесана, в чулках, но в шлепанцах. А лицо страшное — не заспанное, не измученное бессоньем, а какое-то скомканное, с замерзшими глазами. Молча посторонилась.

— Что? — Он поставил саквояж.

— Игорь... — Навалилась спиной на дверь, щелкнул замок.

Он понял. Холодно, тяжело отлило к ногам, не мог шевельнуться, а тело стало пустым, невесомым...

— Когда?

— Сегодня... вчера. — Она посмотрела на часы с кукушкой. — Перед ужином... Разлитой перитонит...

Доплелся до тахты, сел, зажав руки меж колен, раскачивался, бормоча: «Как же так?.. На пятый день...»

— Вскрытие сегодня... Сними куртку... Я заказала разговор с его институтом... На десять утра... — Она потянула замок-молнию, стала стягивать с Каймакова куртку, он безвольно поддавался, а Оля больше ничего не могла произнести; страшное, главное сказано, прочие слова не имели смысла, ими не успокоить, не облегчить, не исправить ничего в прошлом, и в будущем тоже ничего не изменишь, они здесь вдвоем, живые, а *тот там* — мертв. *Навсегда...* За истекшие сутки Оля не то чтобы успокоилась, но была уже способна профессионально мыслить, и тогда возникли вопросы, но понимала, что сейчас ими трогать его нельзя, хотя спросила бы деликатно, осторожно, не прямолинейно обыденно, как, возможно, это сделают другие из профессионального интереса...

Она сидела рядом, держала в руках его руку. Так, почти не разговаривая, дождались рассвета.

— Ну?! Результаты вскрытия знаешь? — Бакшеева вертела вокруг пальца тугое обручальное кольцо.

— Знаю, — обреченно ответил Каймаков. Он осунулся, синь под глазами старила, сидел сутуло, заранее зная все, что она станет говорить.

Как только закончилось вскрытие, Оля позвонила: мел-

кий камень из желчного пузыря ускользнул в общежелчный проток, закупорил, застряв в фатеровом соске... Механическая желтуха, застой секрета поджелудочной железы, острый панкреатит, перитонит и — смерть... Как элементарно последовательно!.. Словно по учебнику...

— Почему не сделал ревизии желчного протока после удаления пузыря? Учила же вас, дураков! На авось надеялся?!— Она говорила медленно, приклеившись взглядом к его сморщенному лбу.

Ему захотелось исчезнуть, ничего не слышать, ничего не знать, оторваться от холодного, заползавшего внутрь голоса, заткнуть уши, как в детстве, когда, бывало, мать журила. Тогда это не казалось ни смешным, ни унижительным, а сейчас ему хотелось крикнуть: «Замолчите! Знаю, все знаю!»

— В пузыре было пять крупных камней,— через силу начал он.— Решил, что мелких быть не должно, ведь из практики... Но один помельче ускользнул...

— А о том, что на всякий случай зондируют проток, слышал?

— Не хотелось затягивать операцию, он такой измученный был... Да и травмировать проток... не хотелось...

— Измученный... Облегчил ты его мучения... Мог же рентгенографию сделать, на столе, в ходе операции.

— Рентгено-контрастного вещества не оказалось...

— За это тоже будет спрос с кого надо. А с тебя — за твое. Завтра у профессора Долинина прозекторская конференция. Будь готов к тому, что там решат вытащить тебя на клинко-анатомическое судилище. Иди, не о чем нам тут... больше...

Ничего не ответив, Каймаков вышел. Но это был не конец, еще предстоял вызов к главврачу, и там не просто разнос, а с криком, со стучением кулаком по столу, в стаканчике будут подпрыгивать карандаши. И это придется вытерпеть. Но только бы не клинко-анатомическая параллель, позорище, как сквозь строй, сотни глаз... Игоря не вернешь... А мне оставаться жить, работать среди тех, кто будет там, на параллели... Каждый день потом встречаться, видеть их глаза, гадать, что они думают.

Долинин смотрел биопсии, присланные из эндокринологического отделения, когда позвонила Бакшеева.

— Мне нужно с тобой повидаться, Сережа.— Голос приветливый, тон доверительный.

— Как тебе удобней — ты ко мне или я к тебе? — спросил он.

— Давай я к тебе. Дело не терпит.

«Что-то уж очень воркующе для дела, которое не терпит, — подумал Долинин. — Когда приглашает к себе, значит, для простого разговора, а уж если сама решила пожаловать — жди просьбы. В эти шахматы Настя умеет играть: гостю, мол, не откажешь».

Явилась Бакшеева сразу же. Вошла и без предисловий спросила:

— Прозекторская у тебя завтра?

— Да. А что?

— Случай с Трушевичем тоже будете рассматривать?

— Разумеется. — Он уже догадался, с чем пришла.

— А ты можешь этого не делать?

— Могу лишь оттянуть на какое-то время. Не рассматривать его вообще невозможно: вскрытие состоялось, есть протокол.

— Понимаю... Ну а не выносить эту историю на клинико-анатомическую параллель?..

— Настя, это решаю не только я. Нас двадцать пять человек. Вскрытие делала твоя дочь...

— В присутствии Ады.

— Но докладывать будет Наташа. Я лишь задам вопрос: выносим ли на клинико-анатомическую или нет? Остальные голосуют.

— Зачем ты мне так подробно? Я все это знаю. — Раздраженно заходила по кабинету.

— В этой ситуации я относительный хозяин положения.

— У себя на кафедре хозяйка я.

— У нас разные...

— Взгляды?

— Разные кафедры. В смысле их функций. Бывают несчастные случаи, но бывает и халатность. И если двадцать пять патологоанатомов скажут, что случай с Трушевичем — халатность и его надо выносить на клинико-анатомическую, как будет выглядеть мое возражение?

— Но не могу же я просить всех... Каймаков будет наказан. Администрацией, мною. Но я не хочу... — Она остановилась перед ним, сидевшим, повторила: — Не хочу судилища в присутствии ста пятидесяти человек. Он мой ученик, я руковожу его диссертацией. «Диссертант Бакшеевой зарезал больного» — вот как это звучит.

— Ты знаешь, я для тебя готов сделать все, но тут... В подобных случаях...

— «Подобных случаях»... Почему во множественном числе? Отказываешь и на будущее? Или даешь понять, что отказываешь не только мне?

— Понимай как хочешь.

— Почему же не прекратил этот разговор сразу, полез в объяснения?

— Так уж разговор наш пошел.

— Каймаков способный хирург. Эта история собьет его с ног.

— Не думаю, он молод, просто послужит уроком.

— Не прикрывайся резонерством. Мы говорим о конкретном факте, о конкретном человеке.

— Если бы Каймаков был талантливым пианистом и сфальшивил в концерте, публика бы ему простила — талант! В нашем конкретном случае...

Но она уже не слушала: стояла за его спиной у полки с книгами. Все зря, надо было уходить, уходить побежденной, а не привыкла, сносить же отказ от близкого человека было и вовсе тягостно. Но трезвый, практичный ум уравновешивал эмоции, и, сказав: «Очень жаль», — удалилась...

По коридору вышагивала не спеша, выпрямив спину, лицо было уже той Бакшеевой, которая не знает ни поражений, ни неудач: никто не должен и помыслить иначе, встретив ее. Вдоль стен на стеллажах и в шкафах в герметичных стеклянных емкостях содержались залитые фиксирующим раствором составные великого механизма человеческой жизни: все, что *должно* гарантировать безотказную его деятельность, работу интеллекта, просто позволять существовать на земле. *Должно!* Но здесь, в этом музее, в этих прозрачных банках, собранное почти за столетие предшественниками Долинина, им самим и его коллегами, все это находилось потому, что отказалось служить человеку. Почему? На это отвечали и все еще искали ответы наука и практика, которыми занимались Долинин, ее родная дочь, впервые попавшая сюда школьницей, когда по просьбе учительницы биологии с разрешения Долинина привела на экскурсию своих одноклассников. Бакшеева видела эти банки десятки раз, но давно забыла объясняющие надписи под ними. И сейчас шла медленно, с каким-то новым любопытством читала все поясняющую латынь. Когда-то и ей, студентке, на этой кафедре открывались тайны жизни, но, увы, лишь через познанную тайну смерти. Тогда еще

Долинин не был Долининым, а просто Сережа, тоже студент, но были его учителя и те, у кого учились эти учителя, и далее, далее — вглубь... Как ни крути; как ни злись, как ни конфликтуй иной раз с патологоанатомами, а вся клиническая медицина заквашена на патанатомии, а все мы, врачи-клиницисты со степенями, званиями и без, выросли на ее дрожжах. И я потому доктор наук медицинских, что — от ее же корня... Она старалась быть справедливой сейчас, с трудом, но старалась, и мысль, что способна на это, приносила успокоение и даже самоуважение...

И все же в этот день она сделала еще одну попытку: после работы отправилась в облздрав к Юшину.

— У себя? — спросила, переступив порог.

— Да, — подняла от машинки голову секретарша, готовая что-то еще спросить или услышать. Но Бакшеевой было достаточно знать, что Юшин у себя. В углу стояла вешалка, но, даже не сняв перчатки, Бакшеева шагнула к двери.

У Юшина сидел сотрудник, о чем-то говорил, голова к голове, склоненные над бумагами. Юшин удивленно взглянул на нее.

— Давайте завтра с утра закончим, — сказал Юшин сотруднику. Тот понял, что его усылают, заторопился сгребать бумаги. — Садись, Анастасия. — Он уперся руками в край стола, расправил плечи. — В институте скоро распределение, смотрели вакансии.

— Веселое времечко наступает?

— Не говори! Звонки, просьбы, мольбы, папы, мамы.

— Знакомо. — Она сняла шапку, бросила в нее перчатки. — О нашем ЧП слышал?

— С Каймаковым? Наслышан. Жду докладную главврача.

— Не спеши, все непросто. Ночь сумасшедшая была, Витя, семь операций, как на конвейере.

— Это все понятно, но как объяснишь умершему? Извинишься?

— Уговори Сергея не выносить на клинко-анатомическую. Мне жалко не просто Каймакова — хирурга в нем загубим. Самолюбив он, убьем смелость, а робкий хирург — что может быть страшнее?

— Это невозможно, Настя! — Неожиданность просьбы смутила. — Ты просишь о странной вещи. Я обязан наказать Каймакова за халатность на основании протокола вскрытия, диагноза, поставленного патологоанатомами.

— Но этот диагноз бьет и по тебе: в подчиненной тебе клинической больнице по вине твоего сотрудника умер больной. Зачем раздувать?

— Ну, вывернула! Предположим, я приму твою сторону и пойду к Сергею. Ты хоть на минуту веришь, что мне удастся его уговорить, с его-то принципами? Да и вообще...

— Дело, возможно, не в принципах, Витя. Он — это кафедра мединститута, а ты — облздрав. И ему чихать на твои заботы.

— Так не пойдет, Настя, ты меня на Сергея не науськивай. Что это с тобой?

— Я не собираюсь вас ссорить, упаси бог! — Поняла, что переборщила. — Я просто вижу положение вещей таким, каково оно есть. Я уважаю Сергея, если хочешь, восхищаюсь им, но иной раз он раздражает, видит только то, что перед ним, бокового зрения у него нет... Ладно, я сделала все, что могла. — Медленно натягивая перчатки, она уминала мягкую черную кожу меж пальцев.

— Пожалуй, — миролюбиво ответил Юшин.

Бакшеев находился в поле, на учениях. В такие дни Наташа на ночь перебиралась в родительскую спальню. Кровати стояли рядом. В одинаковых, из желтого ситца, ночных рубахах, прикрыв ноги одеялами, мать и дочь расчесывали только что вымытые и высушенные феном волосы.

— Я знаю, что ты была у дяди Сережи, — произнесла Наташа.

— Он сказал?

— Да. Не нужно было тебе этого делать.

— Тоже он сказал?

— Нет, это я так считаю.

— Ты меня не учи, милая дочь. Я давно уже различаю, что пишут в книгах, а что предписывает жизнь. Тебе все это еще предстоит. Говорила не раз и повторяю: пока не поздно, подумай, ту ли специальность в медицине избрала. Не равняй себя с ним. По многим причинам.

— Но я люблю патанатомию.

— Ты влюблена в нее, верю. А любишь ли — выяснится через много лет. Давай откровенно, Наташенька. Я не отрицаю красоты подвига. Но совершить один героический поступок легче, чем ежедневно бороться с тем, что подсовывает жизнь, быт. С неудобствами, а значит, и с соблазнами. Придется выбирать между неверным мне-

нием, которому тебя вынуждают подчиниться, и своими убеждениями, бороться с искушениями, если придется жить в условиях, непривычных тебе. — Она обвела рукой комнату. — Быт нелегкое испытание: эгоизм, свой и чужой, и много еще всякого. Мы ведь с отцом люди не вечные, когда-нибудь ты останешься без нашей опеки. В лучшем случае выйдешь замуж. А если — одна? Материальная независимость — состояние весьма существенное. Вот почему я не очень довольна твоим выбором. А хороший врач-клиницист — это все-таки... иные возможности... Ежедневное преодоление — тоже подвиг, но выдержишь ли? Одной личной честности тут маловато. Так что подумай, время еще есть, я могу поговорить с ректором.

— Не стоит, мама. Хирургом я всегда успею стать.

— Это не так просто. Патологоанатомов не хватает, отпускают их неохотно, ты это знаешь. И неизвестно, смогу ли я через несколько лет сделать то, что сегодня гораздо проще...

Наташа подошла к зеркалу. В длинной, до щиколоток рубашке, худенькая, босая, слабо освещенная ночником, смотрелась она в зеркало, вытягивала шею, вертела головой, выдавив из тюбика колбаску крема, пальцем нежно втирала его в кожу под скулами.

«До чего похожа на меня, — внезапно обрадовалась Бакшеева, — и волосы, и узенькая ступня, розовая пяточка — все мое. Только характер Павла».

— Ты любишь меня, мама? — глядя на мать из зеркала, вдруг спросила Наташа.

— Люблю немножко, — улыбнулась Бакшеева.

— Нет, я серьезно.

— Конечно, люблю.

— А за что, мама?

— Ты моя дочь.

— Только за это?

— Тебе этого мало? — Рука Бакшеевой с резиновой щеткой для волос остановилась, в голосе проскользнула обида.

— Тогда разреши мне самой... Мне нравится то, чем я занимаюсь у дяди Сережи. А там будет видно. Может, ты окажешься права. Но сейчас мне бы не хотелось ничего менять. Ты ведь когда-то тоже сама решила, тебе было столько, сколько мне. Почему ты так решила?

— Мне нравилось быть с больными, каждый день видеть их, помогать им, — успокаиваясь, ответила Бакшеева.

— Вот видишь. — Наташа села возле матери, подобрав

колени к подбородку, оттянула рубаху книзу. Лицо ее от крема влажно поблескивало.— Ощущать чью-то боль или не ощущать, зависит не от профессии, мама. Тут приоритета у вас, клиницистов, нет.

Боясь спугнуть эту возвышенную серьезность, Бакшеева сдержала улыбку. Инфантильная вера в слова... А слова-то Сережкины!.. Из вступительной его лекции студентам. Он повторяет их каждый год... Неужели я была такой в ее возрасте? Нет, взрослее. Впрочем, отсюда уже не видно... какими мы были. Я тогда ходила уже беременная, кажется, на седьмом месяце. Павел получил старшего лейтенанта. Сережкиной Катке исполнился год... Все улете-ло... И Сережка... и жизнь. И слава богу, есть она, дочь...

— Давай-ка спать, подружка.— Бакшеева обняла Наташу, привлекла.

— Когда папа приедет?

— Завтра, наверное... Гаси свет...

Клинико-анатомические параллели проводились раз в месяц в клубе областной клинической больницы. На них собирались врачи почти всех отделений. Тут объективно и неопровержимо излагались характер и причина рокового промаха, доказывалась степень врачебной вины. Эмоции в расчет не брались, не имели значения субъективные оценки или личные взаимоотношения. Врач-клиницист держал ответ перед сутью, зафиксированной последней инстанцией— протоколом вскрытия. С разными чувствами приходили врачи сюда: одни — извлечь для себя предостерегающий урок, другие — просто из профессионального любопытства, третьи — посожалеть и посочувствовать коллеге, но кое-кто шел и со злорадством — потешить личную неприязнь к «имениннику» или услышать свою правоту, а не правоту ответчика, мнение которого в свое время перевесило, однако оказалось ошибочным и привело к печальному результату...

Зал находился на первом этаже старого, барачного типа здания. На стенах висели санитарно-просветительные плакаты, стенгазета с немудреным названием «Медик», выпущенная еще к Новому году.

В широком и длинном коридоре уже слонялись врачи, интерны, разговаривали — одни серьезно, другие весело; у курительной комнаты хохотала компания любителей анекдотов, сразу и безошибочно находивших друг друга в кулуарах любых совещаний. Висел гомон, будто бы встре-

тились все после долгой разлуки и сейчас спешили вывалить ворох новостей. Отдельно жались студенты-старшекурсники, любившие ходить на эти зрелища...

Вел клинико-анатомические параллели Долинин.

Начали вовремя, здесь никто никого не ждал. На сегодня было вынесено три случая. И когда закончили с первым, вошла Бакшеева, заняла свободное кресло, оглянулась, ища Каймакова. Тот сидел впереди, у самой сцены, здесь было удобней: до трибуны два шага, когда настанет его черед, не надо будет мучительно плестись на виду у всех через весь зал.

Что-то уже произошло, догадалась Бакшеева по легкому шуму, прошедшему по рядам, как эхо от слов Долинина. Он стоял за столом на сцене, выжидая тишины.

— Уважаемый коллега,— Долинин вытянул руку с бумажкой,— обиженно говорил, что якобы мы по-особому пристально следим за их больницей. Заблуждение. Мы хотели бы в известной мере остаться без работы. Но вам, клиницистам, тогда пришлось бы трудиться вдвое больше. Так что не гневайтесь на нас за наши заслуги.

В зале засмеялись.

— Есть определенный парадокс,— продолжал Долинин.—Если бы человек не был смертен, не существовала бы и патологическая анатомия. Но — увы. Приведу некоторые цифры к этому грустному признанию. В нашем городе почти с миллионным населением около ста сорока отделений хирургии, терапии, урологии, проктологии и прочего. В них лежат тысячи больных, и каждый надеется уйти здоровым. Но жизнь есть жизнь, и медицина не все-сильна. Поэтому не надо смотреть на нас как на прокуроров. Мы всего лишь ваши помощники. И обладаем не правом судий, а объективным преимуществом окончательно судить, ошиблись вы или нет. Если да, то до какой степени. И этим предостерегаем от ошибок. Иногда роковых...

Бакшеева слушала его спокойные, логически скроенные фразы. Все реже и реже последние годы возникали у нее желание и возможность любоваться им, вот так, со стороны, как сейчас. Светлые седеющие завитки надо лбом, жест — снимать очки, когда о чем-то задумается или взволнован,— все так давно знакомо, так всегда *существует* рядом в ее жизни, вроде и родилось с нею и было первым, что увидела уже не перевернутым, как в младенчестве, а в истинном состоянии. Ее чувства к нему отодвинуты временем так далеко, куда и памятью редко заглядываешь.

Острота прежнего сгладилась, стерлись ее заусеницы, сохранилась лишь инерция отношений...

Но в эти минуты каждое слово Долинина отзывалось в ней и тревогой: она наконец отыскала аккуратно постриженный затылок Каймакова.

— Второй случай более неприятный, — звучал голос Долинина. — Лечащий врач доктор Ермаков. Вскрытие делала доцент Рацер. Рецензент — доктор Яценко.

Бакшеева взглянула на Аду Львовну, сидевшую рядом с Долининым. «Постарела Ада. Разница у нас восемь лет, но — те самые восемь, когда с женщинами как-то сразу все и происходит... И эта история с родинкой тоже далась дорого... Хоть бы на этом все кончилось... Но и жить, все время думая о худшем...»

В тишине к сцене шел врач, названный Долининым. Бакшеева увидела повернутые к нему растерянные глаза Каймакова. Тяжело поднимаясь по ступенькам на сцену, врач споткнулся и мучительно, у всех на виду, добрал до трибуны, уставился в бумаги, долго ими шелестел, пока не нашел нужные, хотя ясно было, что все в его папочке лежало загодя разложенным.

— Больная была доставлена «скорой помощью» с жалобами на боли внизу живота и тошнотами, — заговорил он. — Перитонит.

— Громче! — раздалось из зала.

— За неделю до поступления в проктологии амбулаторно ей удалили полип, — продолжал чуть громче. — Причину начавшегося перитонита установить было трудно. Через два дня я ее прооперировал и на прямой кишке обнаружил перфорацию¹, ушил...

Голос его звучал рядом, а Каймакову казалось, что доносился он издали, продираясь сквозь что-то плотное, вязкое. Все в этом деле было ясным, даже обыденным для всех в зале, а ведь его, Каймакова, случай еще элементарней: неотвратимо банальным будет выглядеть то, что через несколько минут он станет беспомощно объяснять с этой трибуны... Но как бы то ни было, главное — не выглядеть таким жалким, уничтоженным...

— Что ж, давайте разберемся, товарищи, чья здесь вина, — встал Долинин. — Ваше заключение, — повернул он голову к Рацер.

— Полип был удален электрокоагуляцией, в амбулатор-

¹ П е р ф о р а ц и я — в данном случае: отверстие, прорыв.

ных условиях. Возможно, тогда и повреждена кишка,— сидя отчеканила Рацер.— Смерть наступила от перитонита.

— За такими больными после амбулаторных операций необходимо наблюдение,— сказал рецензент.— Кто удалял полип?

— Я удалял,— поднялся проктолог.— Это у нас, пожалуй, первый случай при таком незначительном полипе.

— Была ли вообще необходимость в удалении, если вы считали его незначительным? — спросил Долинин.

— Полипы — предраковое состояние,— защищался проктолог.

— У меня вопрос к лечащему врачу!— крикнул кто-то с места.— Почему вы сразу же не пригласили проктолога? Тогда бы своевременно сделали повторную операцию.

— Мы звонили в проктологию, но никто не явился.

— То есть как не явился?!— воскликнул Долинин.— Кто конкретно?

— Не знаю,— робко пожал плечами лечащий врач.— Заявку делала старшая сестра, она, наверное, помнит.

— Ну и ну!— Долинин покачал головой.— Что ж, будем считать вопрос ясным, вернее — проясненным. Остальное в компетенции администрации.— Он повернулся к инспектору облздрави:— Тут уж вы сами разбирайтесь, кому какая серьга, с медицинской стороны дела мы покончили. И все же хочу еще раз высказать сомнение: следует ли спешить с удалением полипов?

«Не прав,— подумала Бакшеева.— Такая постановка вопроса может отпугнуть проктологов от профилактического вмешательства».

— Больные требуют, предполагая, что у них самое худшее,— ответил проктолог.

— С этой манией — в каждом прыщике видеть рак — надо бороться,— вдруг громко произнесла Рацер.— Поводом для операций служат не просьбы больных, а медицинские показания...

— Следующий случай,— объявил Долинин.— Лечащий врач доктор Каймаков.

Возвращались втроем — Долинин, Бакшеева и Рацер.

— Не наше с тобой дело решать, когда они должны удалять полипы,— сказала Ада Львовна Долинину.

— Ада права, опоздание тут чревато безнадёжным опозданием,— поддержала Бакшеева. Она оглядывалась,

искала глазами Каймакова в редевшей толпе, расползавшейся по клиническому городку.

— И тогда удобно будет ссылаться: профессор Долинин рекомендовал не спешить,— сказала Рацер.

— Ерунду вы говорите обе,— отмахнулся Долинин.— Будто спорим о каких-то абстрактных возможностях! А что показал сегодняшний конкретный случай?

— А тебе не приходило в голову, что перфорация могла произойти не в момент электрокоагуляции в амбулатории, а уже дома, спустя три-четыре дня?— спросила Рацер.

— Возможно и так,— согласился Долинин.— Но сейчас это установить невыносимо.

— Тем более ты не должен был пугать их ранним вмешательством,— сказала Бакшеева.

— Мое мнение не приказ. Они вправе с ним считаться или послать меня к черту. Но с протоколом вскрытия не считаться нельзя. И там Адой написано, что перитонит возник от перфорации. Вот что главное. Ведь на выволочку мы вытащили лечащего врача, а он-то больную получил, как говорится, уже из вторых рук — с перфорацией и перитонитом.

— Ладно, я побежала, у меня еще лекция.— Рацер свернула на засыпанную хрустким гравием дорожку.

Какое-то время шли молча. И тут Бакшеева увидела Каймакова. Он одиноко пробирался за кустами вдоль забора к калитке на хозяйственный двор, которой пользовались санитарки, бегая в прачечную, оттуда можно было пройти на улицу. Окликать не стала, говорить уже не о чем, успокаивать глупо, и не она ему сейчас нужна. Вспомнила его закаменевшее бледное лицо, как, боднув головой воздух, уставился в зал, ожидающе затихший после краткого сообщения рецензента и единственной заключительной фразы Ады, исключавшей дебаты, разбирательство,— все было убийственно ясным. Но жалок он не был, как его предшественник на этой же трибуне... И все же...

— Не завидую ему,— сказала Бакшеева.

— Кому?— не понял Долинин.

— Каймакову.

— Чему уж тут завидовать...

— А тебе бывает жаль нас? Когда мы вот так, перед всеми? Потом идем домой, там мужья или жены, дети, нужно что-то говорить, на следующий день — на работу, все уже всё знают.

— Что тебе сказать, Настя? Объективно наживаешь

врагов. А если еще человек знаком тебе давно и сам не очень здоров, дома что-то не так у него... Жалость не жалость, а не по себе... Но ведь работа.

— Работа, когда прав всегда ты?

— Все еще обижаешься?

— Твоя работа, Сережа, позволяет тебе жить в мире принципов. А мне, грешной, хоть я и не главврач, приходится хлебать такое! И санитарки, и сестры, и больные, и родственники больных. Если бы жизнь состояла из одних принципов, мы бы вообще утратили ощущение реальности.

— Наверное, ты права. Но есть и такая реальность: закрой мы глаза на случай с Каймаковым, пожалей мы его сегодня, кто пожалеет больного, которого он или другой завтра таким же способом... — пожал он плечами. — Безнаказанность легкомыслия... она...

— Чревата, чревата, Сережа, — сказала насмешливо. — Видишь, ты опять прав.

— Я не обижаюсь, Настя, не старайся.

И опять шли молча.

— Я еду во Францию на восемь дней, — неожиданно сказала она. — Пригласили сделать две показательные операции у профессора Дюпюи. Что тебе привезти?

— Шведский микротом, — засмеялся он.

— Боюсь, это не по карману.

— Тогда блок двойных лезвий к бритве «Жиллет-контур».

— Это обещаю. Напиши точно, как это называется, чтоб не забыла.

— Павел чем бреется?

— Электрической.

— Барахло. Купи и ему «Жиллет-контур», понравится.

— Хочешь один секрет? — спросила вдруг.

— Твой?

— Чужой.

— На каких условиях? — Он знал, если уж заикнулась, никаких условий не будет — чужие тайны тяготят.

— Виктор бабу завел.

Долинин остановился. Она подозрительно посмотрела: удивлен или прикидывается?

— Ты-то откуда знаешь? — спросил он.

— Какая разница, знаю. Кто бы мог подумать: наш вечно занятой ответственный Витенька! Или все вы такие? Неужели он тебе ничего не говорил?

— Ты ее видела?

— Нет. Мечтаю увидеть. Насколько помню, он в студенческие годы особым вкусом не отличался: санитарки, официантки.

— А если это серьезно?

— Глупости! Предупреди его, слушок пополз, тебе удобней.

— Может и послать. Ты в это не лезь, а главное — помалкивай.

— Ну что ты, конечно! — пообещала она то ли ему, то ли Юшину, то ли себе. — Вон уже по мою душу, сейчас начнется, до чего он занудлив! — Оживление исчезло, лицо стало строгим, взгляд заранее победным: навстречу шел заведомо; на клинко-анатомической он не был и, видимо, не найдя Каймакова, спешил все узнать у Бакшеевой.

— Воюешь?

— Его не устраивает мой характер.

— А тебя — его?

— Мне безразлично.

— Ну, воюй. Пока!

На клинко-анатомическую параллель Ольга не пошла: ради Каймакова. Одно дело — все видеть и слышать самой, другое — узнать от него, предоставив возможность, если пожелает, пересказать, что-то сместив, что-то убавив, что-то подкрасив, чтобы выглядеть перед ней как ему удобней. Маскируя эту уловку от него, сказала, что занята: Долинин просил срочно посмотреть биопсии из урологии. Однако взяла с Алексея слово, что по окончании он позвонит...

Она слышала, как вернулись Рацер, затем Долинин. А Каймаков все не звонил. Стала нервничать, не знала, как там все было, чем кончилось, расспрашивать же Рацер или Долинина не хотела. Дождалась конца рабочего дня, понеслась домой.

В комнате, которую снимала, Оля теперь почти не появлялась, жила у Каймакова, даже не заметили оба, как оно так получилось. Знакомые ее ни о чем не расспрашивали: то ли из деликатности, то ли от неведения. Долинин был внимателен, относился, как и прежде: подсовывал то интересную статейку, то стекла с сомнительным диагнозом, то сам приглашал, если ему попадался редкий биопсийный материал; словом, все складывалось лучше, чем надеялась, ощущала, что стала точнее и увереннее в суждениях, не была профессионально одинока. Но что-то все же тревожило. Настолько глубокое и тайное, что и сама боялась дока-

пываться, чтоб извлечь и разглядеть, разобраться. Знала только: связано с Алексеем. Не могла даже определить это никаким конкретным словом, зыбкая, колышущаяся поверхность, едва различимая, как в тумане, но именно оттуда дымилась тревога...

Он был дома.

— Почему не позвонил? — Запыхавшаяся, сбросила пальто, села рядом, обняв за плечи.

— Неоткуда было.

— А из автомата не мог? Я ждала, с ума сходила!

— Прости... так получилось. — Сидел как в столбняке, покусывая сухие, словно после жара, губы.

— Расскажи, — тихо попросила.

— Распинали, — кашлянул, освобождая голос от хрипотцы. — Пять минут, и делу конец — дело-то какое? Элементарное, защищать было нечего и нечем. Субъективное, объективное, всякие там тонкости сопутствующие... Смешно было даже упоминать.

— Чем кончилось?

— Заканчивать будет главврач в приказе или облздравотдел. Но на ЛКК¹ не передали.

— ЛКК — это было бы плохо?

— Плохо?! — Он скривил лицо. — Запретить серьезные операции! Только вскрывать фурункулы, карбункулы, абсцессы от расчесанных прыщей! Фельдшер! — Вздохнул. — Все, с этим покончено! В работе все затрется... Забыть не смогу, не прощу себе, но не в петлю же самому! — Он высвободил плечи от ее рук, ушел в ванную, долго и шумно умывался.

— Будем обедать? — спросила Оля, когда он вышел, растирая лицо и шею полотенцем.

— Ты ешь, я еще не могу. Есть еще одно тягостное дело. Прилетели оттуда, из его института, за телом. Я должен пойти...

Они ждали Каймакова возле морга — молодая женщина из отдела Трушевича с измятым, заплаканным лицом и пожилой месткомовец в синем затертом драповом пальто, вздымавшемся на животе, хмурый; тяжело, сипло дыша, все время сосал «Беломор», папироса гасла, он непрерывно чиркал спичками, заталкивая сгоревшие обратно в коробок.

¹ Лечебно-контрольная комиссия.

С Аэрофлотом все было улажено, месткомовец оказался пробивным, с набором вразумляющих красных книжечек в кармане.

— Он полный кавалер,— сказала женщина, когда месткомовец ушел к санитарам договариваться о чем-то последнем.

— Чей кавалер?— не понял Каймаков.

— Славы.

— Жене дали знать?

— Он через Москву, через какое-то морское управление столкнулся, радиogramму дадут,— сказала она уважительно о месткомовце.

— Дети у них есть?— вспомнил вдруг Каймаков.

— Нет...

Вернулся месткомовец, недовольный санитарями.

— Фильмы дай им заграничные, шмотки — заграничные. Под «нулевку» бы остричь! Не сделали, что просил, стервцы патлатые.

— Стрижка под «нулевку» не признак патриотизма,— сказал Каймаков. Он знал этих санитаров — третьекурсники, жили на стипендию, подрабатывали тут.

— Плевать мне на их благонадежность, не за тем сюда ехал. Где машину доставать будем? Фургон нужен,— уперся в Каймакова повелевающим взглядом.— Хоть какой-нибудь прок от всех вас. Живого я б его потащил по шпалам.

— Попробую.— Каймаков направился к перекрестку. С тыльной стороны большого мебельного магазина, во дворе, где сгружали товар, всегда торчали какие-нибудь машины.

И на этот раз из фургона два мужика вываливали ящики, укутанные гофрированной бумагой.

— Где хозяин?— спросил Каймаков.

— Понес накладные...

Из подъезда вышла продавщица в синем халате, за нею — шофер; весело покручивая на пальце брелок с ключом зажигания, откровенно оглядывал ее заметные бока.

— Привет,— шагнул к нему Каймаков, прикидывая возраст шофера.— Съездим?

— Мебель?

— В аэропорт. Человек умер, гроб к самолету подвезти. Четвертную тебе и по червонцу грузчикам,— без предисловий назвал дело и плату за него.

— За час управимся?

— Управимся,— сказал Каймаков, зная, что не управятся и за два: пока доедут, в аэропорту то да се, но важно,

чтоб согласился, а там никуда не денется; в крайнем случае еще десятку, совесть должна быть.— К моргу подъезжай...

— Шустрый вы, однако,— встретил Каймакова месткомовец.— Оно и понятно: покойники в тягость.

Женщина неодобрительно взглянула на него. Каймаков отмолчался: ему ли после всего обижаться на слова...

Когда приехали в аэропорт, оформили все и погрузились, месткомовец спросил Каймакова:

— Сколько с нас?

— Я уже рассчитался.

— У нас на это казенные отпущены. Впрочем, как желаете; торговаться — не тот случай. Будьте здоровы.— Засопел, раскуривая папиросу, и пошел на посадку, засеменял, как все полные люди, выворачивая ступни наружу.

Каймаков зашел в буфет, у стойки народу было немного.

— Полстакана коньяку,— сказал буфетчице.

— Вы что! Так нельзя, пятьдесят, к кофе, разве не знаете?

— Не знаю. Человека помянуть надо, наливай, я не из торгинспекции.

Оглянувшись по сторонам, она налила, спросила:

— А закусить?

— Не хочу, сыт по горло.— Хотелось сесть, но было негде, кофе тут пили стоя. Он отошел к окну, видно было летное поле, вдаль, к взлетной полосе, рулил самолет. Тот ли, где был гроб, Каймаков не знал. Пил коньяк медленно, провожая глазами самолет. Прощай, Игорь... Хотел сказать «прости», но не смог...

Из аэропорта поехал в клинику, нужды не было, заставил себя: что-то следовало переломить, и именно сегодня, пока все свежо, пусть труднее, но все вытерпеть надо сегодня, освободиться для завтрашнего дня, а завтра с утра перешагнуть порог, уже не остерегаясь чьих-то глаз, вопросов, вздохов... Вот только встреча с главврачом завтра... Какой длинный день...

Никого не встретив, прошел в ординаторскую. Было время ужина. Надел халат, сунул руки в карманы, в правом что-то лежало. Маленький комочек пластмассовой нити, все, что осталось... Понадобится ли кому-нибудь? Или все зря? А если и понадобится, то через сколько месяцев, лет?.. Зажав в кулаке, смял потуже и швырнул в открытую форточку; легкий моток, не долетев, упал на подоконник, но Каймаков не заметил. Застегнув халат, отправился по своим палатам.

...У Нины Борисовны был свободный, как она говорила, «творческий» день, и после пяти они отправились к дочери, соскучились по внучке, вечером собирались расставлять новую мебель и рассчитывали вернуться от дочери с зятем, он поможет.

Дверь открыла Катя, в носшибануло спертостью, табаком, каким-то вокзальным духом, в комнате бились резкие голоса. Нина Борисовна пытливым материнским глазом уловила растерянность и усталость в лице дочери, вопросительно подняла брови.

— У нас гости,— шепнула Катя, целуя мать.— Виталик и Ира приехали из Иркутска. Они там работают. Коля Макаров зашел.

За столом сидели зять, два парня и девушка. В глубоких тарелках лежали дешевая вареная колбаса, соленые огурцы, лук, яйца. Все нарезано наспех, крупно. Три пустые четвертинки, еще одна — начатая, вместо рюмок цветные фужеры на высоких ножках. Стоял галдеж, космами плыл табачный дым. Спор, очевидно, шел давно — осипли. Одинокaя Машка сидела на тахте, возилась с плюшевым зайцем и однорукой куклой в обтрепанном платье.

На появление Долининых не обратили внимания. Сергей Никитич помрачнел. Нина Борисовна отворила форточку, унесла Машу на кухню, одела и увела гулять.

— Ты с нами посидишь, папа?— смущенно спросила Катя.

Долинин подсел. Слова троих перекрывал голос зятя. На минуту он умолк, схватился за сигареты, заметил Долинина, кивнул, сказал, как отмахнулся:

— Катюша, налей папе...— И снова взвился:— Нельзя семью превращать в темницу для двух людей!

— Тогда зачем же ты женился?— взвизгнула девушка с белой челкой, прикрывавшей напудренный лоб.

— Нам хорошо вместе! Вот и все. Правда, Катюша?— повернулся он к Кате.— Мы могли и не регистрировать свой брак.

— Чего ты пристала к нему, Ирка! Он против формальности!— гаркнул на девуцу бородатый малый в черной косоворотке.

— Но Максим говорит, что в наши дни обязательства супругов друг перед другом должны быть упрощены, потому что прежние формы семейных отношений устарели... Почему ты молчишь?— накинулась она на мужа, худого, большеухого, осоловевшего.

— Я со-гла-сен со все-ми-и-и!— неожиданно басом пропел он.

— Дурак!— махнула рукой девица.

— Сильный аргумент!— захохотал бородатый.

— Разводам препятствовать нельзя.— Максим размахивал вилкой.— Брак — дело добровольное, я бы вообще упразднил его регистрацию.— Он тыкал в огурец вилкой, огурец был какой-то жидкий, соскальзывал, лоб Максима взмок, из-за уха по шее стекала капля пота.— Сегодня женщина человек независимый, ей не нужен прежний муж в домостроевском смысле.

— А каковы же тогда твои функции в семье?

— Лично мои? Служу ей.

— А на работе что ты делаешь?

— Тоже служу.

— А когда же ты живешь?

— Во внеслужебное время. Скажем, на рыбалке.

— А когда с Машкой гуляешь в скверике, возишь ее в коляске, это что?

— Тоже служу!

— Интересно!— Девица весело хлопнула в ладоши.

Сперва Долинин слушал рассеянно, снисходительно, пока не вник в существо спора. И чем надсадней взлетали голоса, выплескивая слова, тем тревожней вглядывался в лицо зятя. «Да полно,— думал Долинин,— он что, серьезно или кого-то дразнит?.. Если серьезно, откуда это? Почему Катя молчит?..»

— ...значит — развод, пожилы — и по сторонам, вот почему не нужны эти дурацкие штемпеля в паспортах.— Максим отвечал своей оппонентке.

— А если я не хочу давать развод?— воскликнула девица.

— Зря! Надо быть самолюбивой.— Максим громко жевал огурец.

— А что мне потом делать с этим самолюбием, когда останусь одна? Оно среднего рода, спать с ним не ляжешь.

Максим снисходительно развел руками:

— Мужчина же не ставит вопрос таким образом...

Вернулась с Машкой Нина Борисовна. Сразу же собрались домой. Дочь, прощаясь у двери, смущенно сказала:

— Пап, мам, уж извините... так получилось... Неожиданно нагрянули, прямо с вокзала.

— Ночевать у тебя будут?— Нина Борисовна застегивала на ее блузке верхнюю пуговицу.

— Нет, у них есть тетка, на даче живет.

— Забавные у вас разговоры,— сухо сказал Долинин.

— Не обращайтесь внимания, выпили, понесло...

— О каком разговоре речь? — спросила Нина Борисовна.

— Я тебе потом расскажу.— Долинин вышел на лестничную площадку. Он понимал, что это пьяная болтовня, но в ней он слышал неуважение к дочери, и давняя неприязнь к зятю всколыхнулась.

По дороге подробно пересказал Нине Борисовне все, чего наслушался.

— Бред какой-то... Не придавай значения,— успокаивала Нина Борисовна.— Это пустяки, вот Машка совсем запущена.

— Пустяки? Все ведь начинается с чего-то.

— Надеюсь, Катюша...

— Она просто молчала... Хочешь знать, я теперь доволен, что она два года проведет в этом Бохуме, в ФРГ. И если наш милый зять спутается с кем-нибудь, буду только рад. Избавимся. Машку вырастим без него.

— Катя его очень любит. Для нее это будет ужасно. Ты не выносишь его и все преувеличиваешь.

— Хотел бы, чтоб ты оказалась права...

Долинин встал с головной болью, в глазах зуд: по четыре-пять часов над микроскопом, обострился хронический конъюнктивит. Что-то поменялось и в погоде, перемены эти он, гипотоник, переносил плохо. Ночью слышал, как по жестяному подоконнику пробегали капли дождя. Проснулся тяжело, отупело. Небо заплывало серым, за окном ветер дергал черные ветки платанов. На кухне, не выключенная с вечера, вещала радиоточка. Накануне легли поздно, долго говорили о дочери и зяте, расставляли мебель вдвоем, поцарапали пол. Конечно, приди зять помочь, не пришлось бы волоком... Вдобавок оказалось, что стену неточно замерыли и низкий буфет не умещался,— хотели встык с горкой, а пришлось ставить углом. Нина Борисовна огорчилась — не смотрелось. Потом обозлился, что Нина Борисовна должна ехать со своими десятиклассниками на экскурсию куда-то за двести километров.

— У тебя же каникулы!

— Каникулы не у меня, а у детей. У учителей каникул нет. Сто раз тебе объясняла.

— Но почему ты? Есть же комсомол, пионервожатые!

— Я — классный руководитель, последний год с ними. И так почти никуда не ездила, как другие учителя со своими, зачем, чтоб дети с обидой ушли от меня?.. Готовить тебе будет Катя.

— Мотаться туда-сюда, между мной и своим домом?

— Если хочешь, она переберется с Машкой на неделю сюда.

— Буду питаться в студенческой столовой,— произнес жертвенно...

И сейчас, идя по коридору главного учебного корпуса, был зол, заведен.

— Сергей Никитич! Доброго здоровья, дорогой!

Перед ним стоял Перебиковский, заведующий кафедрой физкультуры, устроитель памятной купеческой свадьбы.

— Здравствуйте...— Долинин забыл его имя-отчество, не понимал, почему «дорогой», с каких пор?

— Что же вы тогда нас покинули? Хотели, чтоб вы тост объявили, а вас и след простыл.

— Знаете, жена... плохо себя почувствовала. Как-нибудь в другой раз.

— Это что же, мне дочь дважды замуж выдавать?— вроде испугался Перебиковский.

— Я имею в виду, еще представится случай.

— У вас, надеюсь, все в порядке? В теннис не играете? Открылся новый хороший корт в спортклубе, могу устроить пропуск.

— К сожалению, не играю, спасибо,— ответил, гадая: «Что ему от меня нужно? Чтоб взял дочь в аспирантки?..»

— Заходите с женой, без всяких там, запросто, будем рады.

— Спасибо... Простите, спешу.— Боком подался к двери.

На одиннадцать назначил аспирантам. Оставалось полчаса, и, придя на кафедру, созвал сотрудников.

Колебания в его настроении научились улавливать давно. Первый дурной признак — когда, явившись, заглядывал во все кабинеты, с чего начал и сегодня.

Когда собрались, он уже сидел за столом в большой комнате. Рассаживаясь, старались, чтоб без лишних движений, переглядывались.

— Кого нет?— спросил, не взглянув.

— Анны Петровны, у нее лекция,— тихо ответила Наташа.

Первый залп пришелся по кураторам студенческих групп, не сдавшим в деканат планы воспитательной работы.

Он знал об этом давно, смотрел сквозь пальцы, изготовлению канцелярских бумажек не придавал значения. Но сегодня было дурное настроение, ухватился за первое, что пришло на ум. Все это поняли, никто не оправдывался, молча выслушали, согласились, пообещали...

— Полгода на доске объявлений висит приказ. Он запрещает произвольное употребление различных по происхождению медицинских терминов.— Долинин потряс листками бумаги.— Вот это мне возвратили.— Он пофамильно пересчитал авторов.— Существует основа — Парижская анатомическая номенклатура, принятая Международным конгрессом. Ваш язык — латынь, а тут какая-то тарабарщина. Вы что, впервые об этом слышите? Или заведем практику: каждый расписывается под приказом?.. Заберите, переделайте,— пустил бумажки по столу, подождал, пока авторы разберутся в страницах.— Дальше.— Сделал паузу.— Почему на руках столько протоколов вскрытий?

— Сложные случаи, Сергей Никитич,— попробовал кто-то.

— Лень печатать!— оборвал он.

— Покойники, куда нам спешить?— тот же голос.

— Есть куда! Срок десять дней, а вы маринуете третью неделю. А вдруг еще подвалит? Совсем зашьетесь! К пятнице все сделать! Подробно, слова не экономьте!— Он посмотрел на часы, вдруг спросил:— У кого есть кофе?

Все знали: кофе ходят пить к Рацер.

— Я сейчас приготавливаю,— поднялась она.

Это означало, что всем можно уходить.

С двумя аспирантами он засел в кабинете, читал принесенные главы, делал пометки на полях, расспрашивал, советовал. С третьим отправился вниз, в полуподвальную комнату, где был экран, смотреть слайды, две коробки. Слайды ему понравились, отобрал наиболее характерные и самые четкие.

— Остальные сохраните как пособие для студентов,— сказал он.— И переделывайте вторую главу. Иначе вам могут сказать: «Вы нашли факты, толково описали их, ну и что?» А вы должны иметь возможность ответить: «Я нашел и смысл этих фактов»...

Они сидели в темной комнате, окно было занавешено черной бумажной шторой, пустой белый квадрат экрана освещен проектором. Вошла Наташа.

— Сергей Никитич, вас к телефону.

— Я занят,— ответил, не оборачиваясь.

— Говорят, по важному делу.

— Кто?

— Какой-то тренер.

— Какой еще тренер?.. Хорошо, скажи, что сейчас подойду...

Пока поднимался и шел по коридору, настигла слабая догадка, знакомый тренер имелся один...

— Товарищ Долинин? Это из спорткомбината «Трудовых резервов», тренер Коли Новокшанова. Вы были у нас.

— Да-да! — зашевелился нетерпеливо. — Слушаю вас.

— Тут убрали в шкафчике у Коли, оставались кое-какие его вещички, мыльница, шапочка... Нашли флакончик с пилюльками.

— Название... Как называются?

— Сейчас... Какое-то длинное, — читал почти по складам. — Прислать вам?

— Присылать не надо, — почувствовал, как жаром, будто в парилке, обожгло уши. — Цвет? Какого они цвета?

— Розовенькие такие.

— Посмотрите, какая расфасовка, сколько штук, там должно быть написано. И посчитайте, сколько осталось.

И пока тот считал, мысль Долинина совершала свои витки.

— Написано — пятьдесят, осталось одиннадцать, — сообщил тренер. — А что это за пилюли?

— Лекарство. Но принимал он его, видимо, как допинг.

— Кто же его научил? — переполошился тренер.

— Это уж вам разбираться. Спасибо большое, что позвонили. Всего вам доброго...

Концы связались, круг замкнулся. Теперь за его пределы он не выйдет! Новокшанов Коля принимал гормональный препарат! Кто-то подсказал парню, что помимо основного назначения препарат усиливает мышечный тонус... Кто знает, сколько он принял таких флакончиков! Мать подтвердила, что страдал аллергией, — значит, был подходящий фон, чтоб от этих таблеток возник острый *аллергический васкулит*¹.

Неделя у Юшина была тяжелой, шла аттестация врачей — дело хлопотное: заслуживающих очередной категории или просто желающих ее имелось сверх лимита. Юшин

¹ В а с к у л и т — поражение стенок кровеносных сосудов.

знал: пойдут слезы, претензии, жалобы, кляузы, письма в обком партии, в министерство. Месяц будет лихорадить — проверки, комиссии, писание наверх пояснительных справок. Но всем этим не отменишь текучки, а в ней возникло разное. Так, в некоторых поликлиниках маленьких райцентров выплывала непозволительная статистика: врачи, работавшие с утра, принимали по 20—25 больных, а во вторую смену кривая приема круто летела вниз — два, в лучшем случае — три больных за день. Одни врачи роптали, другие были равнодушны: закрыл бюллетень-другой, нет больных — сиди себе, плюй в потолок, читай беллетристику до конца рабочего дня. За эту недогруженность Юшин устраивал разносы главврачам, но у тех был свой аргумент: если в большом городе вторые смены необходимы, то в амбулаториях небольших райцентров бессмысленны, никто из глубинных сел не ездит и не станет ездить в послеобеденную пору, в особенности с октября по май, когда с транспортом ненадежно — заносы, распутица, — а световой день короток. Понимая, что главврачи правы, лучше знают обстановку, Юшин нашел половинчатое решение: сельское население принимать с утра, жителей же райцентра во вторые смены. Попробовали, но не получилось, больные шли, когда им было удобней, и к тем врачам, к каким хотели, — привыкли, верили.

— Что ж, переводите всех на утренние смены, — сдался Юшин.

— Не получится, Виктор Викторович, — отвечали ему. — Кабинетов не хватает, надо строиться, расширяться, — загоняли его в угол.

— А где деньги взять? — спрашивал он их и себя.

И начинались совместные поиски, старались не очень дразнить закон.

Так изо дня в день — не одно, так другое. Убывало время, как всякое время, отведенное человеку на этом свете. Но если раньше он не замечал, привык, то в последние месяцы, когда в его жизни появилась Сима, иногда задумывался, пугался, но ненадолго: начинавшийся день засасывал в глубину забот, а к вечеру вышвыривало на поверхность уставшего, с давящей болью в затылке. Если прежде, пока добирался домой, приходило чувство освобождения, то теперь, едва покидал кабинет, все в нем сжималось под тяжестью тревоги: как быть, как долго будут длиться эти пугающие тайные и счастливые свидания с Симой то в музеях, то в сырой парковой аллее, то у нее дома, где самым мерзким было ощущение страха, когда выходил из лифта на лестничную площадку,

куда были нацелены три глазка в трех дерматиновых дверях Симиных соседей.

Обман, в котором он теперь обитал, унижал и тяготил. Много лет он прожил без особых перемен, а если и брезжила невнятная тоска по ним, то какими должны быть эти перемены, ясного представления не имел. Жил в четких границах, где всегда оставалось все знакомым, понятным, надежным, потому и стоял на ногах крепко: ответственная работа, ухоженный дом с сияющим паркетом, спокойный миротворящий голос жены, постоянная бутылка боржоми на тумбочке у кровати... А почему бы и нет? И вдруг все как-то наклонилось, заскользило, начало сдвигаться со своих мест...

Обо всем таком он и думал субботним вечером, сидел на кухне, паял штекер к магнитофону дочери. Пахло расплавленной канифолью. Постукивала швейная машина, жена строчила фланелевую детскую сорочку. — готовила очередную посылку своим племянникам в Ижевск. Дочь, зажав под мышкой колготки, комбинацию и юбку, носилась из ванной в комнату, одевалась, готовилась идти в театр.

«Неужели они *ничего* не знают, не догадываются, не чувствуют?» — думал он о жене и дочери, то ли жалея их, то ли извиняясь перед ними. Все, что происходило с ним последнее время, было огромно, клокочуще, распирало: ему казалось, никакая оболочка не в силах удержать это. Однако же...

Дочь что-то весело напевала. Она шла на премьеру «Спартак», Лаевская в главной роли. Это он знал от Симы, она тоже там будет. Что, если они окажутся в креслах рядом — Сима и дочь, познакомятся, будут улыбаться друг другу?.. Рука с паяльником дрогнула. На кухню заглянула дочь, он опустил голову.

— Получается, папа?

— Получится, — тихо ответил.

— Учти, мне нужно на завтра...

Около девяти вечера позвонил Долинин. Голос был возбужденный, радостный.

— Пройтись не желаешь?

— Куда? — спросил Юшин.

— Ко мне. Нина уехала на экскурсию со своими лоботрясами. Зайди, есть бутылка армянского, лимоны.

— С чего это ты кутить надумал?

— Вроде есть повод. Я, кажется, одну мыслишку довел до удачного конца.

— Какую?

— Зачем тебе подробности, приезжай.

— Боишься, что не пойму? Тогда поищи собутельника попонятливей.

— Да нет... Не то что не поймешь... Я хотел сказать...— Долинин пытался исправить бестактность.— Может, тебе просто не очень интересно будет.

— Все-то ты знаешь, кому что интересно. Пей сам.

— Как хочешь... Посидели бы, поболтали.

— Нет настроения, Сергей. Будь здоров.— С неосевшим раздражением он опустил трубку.

Эту глухоту Долинина Юшин воспринимал, пожалуй, болезненней, чем Ада Львовна или Бакшеева. У тех имелся свой, адекватный долининскому, профессиональный эгоцентризм, как защитное ограждение. Юшин же в общении с ними был его лишен: числился медиком, но по сути не был им. И хотя приятели всегда соблюдали деликатность, обращались к нему чаще, чем он к ним, с разными деловыми просьбами, это не уравнивало положения.

Нынешний звонок Долинина нужен был прежде всего *самому* Долинину. Вот в чем дело. Потребность поделиться с кем-то, конечно, естественна, но Сергею годился *любой* немой слушатель, стена отражения, а не именно он, Юшин. Делалось это бесхитростно, без малейшей мысли задеть самолюбие, с той наивной непосредственностью и откровенностью, которая требовала только понимания. Но нашлось бы у Сергея такое понимание, поменяйся они местами?.. У Насти все проще, грубее, и все же не так обижает. Перед отъездом сказала: «Я еду во Францию. Пожалуйста, не затапывай Каймакова. Отвесь ему, что положено, но и пожалей. Толстяк (имелся в виду заведомо) будет усердствовать, не поддавайся, в мое отсутствие он захочет свести с ним счеты, ревнует ко мне...»

Без всякого: я — во Францию, а ты тут охраняй...

— Будем ужинать? — вошла жена.

Он посмотрел на нее, пытаясь понять, о чем она, весь еще в своих мыслях.

— Ужинать? Давай ужинать, что же еще делать...

В субботу вдвоем с Липой Наташа убирала квартиру. Липа, как обычно, шлепала босыми широкими ступнями с уродливо выпиравшими косточками, курила свою вонючую «Приму», стряхивала пепел в ладонь и рассказывала о внуке.

Они обмели пыль, выбили ковры, перебросив их через

балконные перила, сняли шваброй невидимую паутину в углах. Сделали перерыв, сели обедать, у Липы разболелся затылок.

— Давайте я вам давление измерю,— предложила Наташа.

— Пройдет,— отмахнулась Липа, но Наташа уже разматывала черный манжет аппарата.

— Нижнее высокое,— сказала Наташа, вытаскивая из ушей стетоскоп.— Я вам дам таблетку адельфана. Полнеть вы давно начали?

— Девкой тощая была, как черенок от лопаты. А когда родила, так и понесло в боках. Мужик мой был доволен. «Ты,— говорит,— не толстая, а мягкая»,— хохотнула Липа.

— Головокружения бывают?

— Нет, внутри не кружится, а все вокруг вертится, а потом останавливается.

«Эгоцентристка,— со смехом подумала Наташа,— Не голова у нее кружится, а мир вокруг нее вращается...»

— Вот и прошло,— Липа встала, поправила волосы на затылке, словно ощупала, куда девалась досаждавшая боль.

Наташа принялась за сервизы и хрусталь. «Это вымой сама,— велела перед отъездом мать.— У Липы руки дрожат. Для хрусталя добавишь в воду синей жидкости, она в кладовке на полке».

Затем вдвоем намазали пол, но полотер вдруг заглох, пришлось ногами, став на сукоинные тряпки...

На следующее утро Наташа еле поднялась — болели мышцы ног, связки в паху, но решила, что клин — клином, и, как была в ночной рубаше, морща нос, несколько раз присела, разминаясь. Форточка оставалась открытой всю ночь, но от паркета все еще истекала скипидарная вонь. Накинув халат, Наташа спустилась в подъезд за почтой. Писем не было, только газеты и ежемесячник по хирургии.

Приняла ванну, выпила крепкого кофе с черствым ломтиком бисквита, оставшегося от давних гостей, и уселась на тахту. Отцовские «Красную звезду» и «Советский спорт» отложила, полистала общедомашнюю «Неделю». Журнал, который много лет выписывала мать, обычно не читала, разве что-нибудь там, когда мать советовала. Хватало своего читива: Долинин подбрасывал или кто-нибудь из сотрудников кафедры рекомендовал.

Открыв журнал, пробежала глазами оглавление и увидела: «А. Ю. Каймаков». Отыскала страницу, принялась читать статью, и стало не по себе, казалось, что зябнет, даже локотки

прижала к бокам: очень уж было знакомым — из надиктованного Долининым на диктофон, что затем перепечатывала, — гастриты... предъязвенные состояния... язвы как следствие гипоксии из-за пораженных сосудов... Но знакомы были не слова, а основополагающая гипотеза. Текстуального подобия никакого. Все иное: статистика примеров и сами случаи — не долининские, а какими могут располагать только практикующие хирурги-клиницисты, повседневно наблюдающие больных. Примеров немного, но для такого сообщения достаточно. Выводы и рекомендации тоже хирурга-клинициста. И все же... все это... И испугавшая фраза — ссылка в тексте: «...под наблюдением профессора А. Г. Бакшеевой»...

Она отложила журнал, задумалась, опять перечитала, уже медленно, стараясь все разделить, взвесить, и ужаснулась: как ловко и вместе с тем невинно... Немедленным желанием было звонить Долинину, рванулась к телефону, но остановилась: в статье имя матери... Посоветоваться не с кем... Отец... Тут он советчик никакой, но хотя бы отец... Но он третьи сутки с генералами из Москвы в каком-то дальнем гарнизоне... Знала, что этот журнал Долинин не выписывал, кафедра тоже... Но слух дойдет до него: автор-то свой, живет и работает рядом, в институте прочитают, станут поздравлять Каймакова, чего доброго, и мать, так или иначе содержание статьи дойдет до Долинина... Кто же есть?.. Дядя Витя — вспомнила... Набирая номер, спешила, сорвала, набрала заново.

— Тетя Верочка, это Наташа... Дядя Витя дома?

— Сейчас, Наташенька... Витя, к телефону, — позвала.

Он подошел не сразу. Наташа нетерпеливо разматывала скомкавшийся шнур.

— Здравствуй, Наталья. От матери что-нибудь есть?

— У нас большие неприятности, дядя Витя, — сказала тихо, словно их могли подслушать.

— С матерью? А где отец?

— С ними все в порядке... Вы нужны мне срочно...

— Приезжай.

— Нет, я хотела бы, чтоб мы вдвоем...

— Но что случилось? Все здоровы?

— Все, все... Тут другое...

— Не паникуй... Через час приеду. Так годится? Хорошо...

Ожидая его, она опустошенно бродила по комнатам, подгоняемая пугавшими догадками. На звонок в дверь метнулась открывать.

— Что стряслось? — спросил Юшин, увидев ее, растерян-

но-беззащитную, со сжатыми кулачками у груди. Он снял пальто и шляпу, стал на «лыжи» — две суконки у двери.

Она торопливо повела его за собой.

— Вот, — подала раскрытый журнал.

Привыкший читать много бумаг, Юшин, не вникая в детали, быстро пробежал по абзацам, схватывая главное.

— Так из-за чего переполох? — Он все еще был добродушно весел. — Интересная идея.

— Она принадлежит дяде Сереже, — замотала головой и стала рассказывать, как Долинин копался в архивах кафедры, собирая статистику случаев, как надиктовывал тезисы, как она перепечатывала их с кассет...

— Идея-то, в общем... — Он стал сворачивать журнал трубочкой. — Я не ставлю ее под сомнение... Вместе с тем вроде все так просто, понимаешь, внешне, в том смысле, что документа тут могли многие одновременно.

— Нет, дядя Витя, слишком много совпадений: сама гипотеза, авторы живут в одном городе, знают друг друга, работают рядом... — Она мучилась, что была не в состоянии объяснить ему, как немыслимо объяснить запах, те тонкости, которые знала, подробности, детали, мелочи, из которых сложилась долининская гипотеза, как все это группировалось на ее глазах, укрепляя идею. А он видел только то, что на поверхности... Были ее страстные слова, которым он вроде верил и не верил, когда она доказывала, откуда пошло первоисточник...

— Согласен, — не очень убежденный, сказал Юшин. — Но статья-то чисто хирургическая, а не патанатомическая, примеры из клиники, где работают мама и Каймаков... — Он встал, посмотрел под ноги. — Наследил я тебе все-таки. — Передвигая «лыжи», ушел в дальний конец комнаты. — Вот что, пока помалкивай, к Сергею я пойду сам, услышим, что он скажет...

К Долинину Юшин отправился на следующий же день. Наташа сидела за своим столом осунувшаяся, грустная.

— Он в секционном зале со студентами, — сказала она. — Позвать?

— Я сам. — Юшин разделся. В кармане пиджака торчал свернутый трубочкой журнал. С трудом втиснувшись в чей-то халат, висевший у шкафа, посмотрел на нее строго.

Перед дверью с табличкой «Секционный зал. Посторонним вход воспрещен» остановился. Оробел. Побоялся, что, войдя, побледнеет, облитый липким потом; пожалуй, со сту-

денческих лет не входил сюда, отвек от запахов, вида людей, склоненных над столом, от всего, чем занимаются здесь. Но, пересилив себя, вошел. Было прохладно, просторно, возникало ощущение торжественности, несмотря на дурманящий запах, чуждый всем земным запахам, обозначающим жизнь.

Долинин в прозрачном хлорвиниловом переднике со скальпелем в руках был окружен студентами: одни у стола, другие смотрели сверху, с площадки, полуколыцом висевшей над залом, туда вела узенькая металлическая лестница. Огромный выпуклый застекленный фонарь потолка был полон наружного света, голубело небо с редкими темными клочьями облаков.

Происходившее на столе Юшину не было видно, ближе подходить он не стал, позвал:

— Сергей Никитич!

Студенты расступились. Долинин увидел Юшина и тревожно удивился — ни по каким еще поводам сюда Юшин за ним не являлся.

— Пройди, пожалуйста, ко мне, я только помоюсь, — сказал Долинин, стараясь подавить обеспокоенность...

— Прочитай. — Юшин вытащил журнал.

Они сидели в кабинете: Долинин за столом, Юшин напротив в кресле на фоне белой изразцовой печи.

Долинин читал, лицо его, как казалось Юшину, постепенно теряло черты, оплывало, мышцы у рта ослабли, несколько раз он нервно подергал дужку очков.

— Немыслимо, — прошептал Долинин, медленно закрывая журнал. — Немыслимо... Это же... — Он вздернул плечи. — Все мое и не мое... Настя?! Тут он ссылается на нее...

— О Насе пока не будем... Совпадение возможно? — спросил Юшин, даже не удивившись, что Долинин не поинтересовался, откуда у него журнал, откуда он вообще осведомлен обо всем этом.

— Совпадение?! Чего?

— Самой гипотезы.

— Теоретически... Только теоретически... Но все остальное... — И он перечислил те же доводы, что и Наташа накануне. — Под это, — похлопал он ладонью по журналу, — подставлен свой, оригинальный фактический материал. Удачно обобщен, не без блеска найден новый поворот мысли и... от меня ничего не осталось!.. Ничего! Все не мое — чужое, хорошо мотивированное и сцепленное собственными наблюдениями. Вот это работа!.. Откуда же он узнал? От кого?..

— Нужно дожидаться возвращения Насти. Возьми себя в руки, не шуми, никому ни слова. Ничего не предпринимай без меня...

Долинин ничего не ответил, даже не встал проводить... Выйдя, Юшин позвал глазами Наташу.

— Ну что? — шепнула она, когда вышли в вестибюль.

— Мог Каймаков знать все это так подробно? Откуда? Если не от тебя, то не от Сергея же!

Скусывая с пальца заусеницу, она смотрела мимо него, думала.

— Мог. Он заходил несколько раз, когда я печатала с диктофона. Но неужели он... — И вдруг подумала об Оле, но удержалась.

— Что ж... Иди... Постарайся его чем-нибудь отвлечь... Иди, не бойся. — Он понял, как ей сейчас не хочется оставаться с Долининым...

В Москве Бакшеева не задерживалась. Взяв такси из Шереметьева, поехала в «Россию»; не сразу, но устроилась, переночевала, утром понеслась в министерство, сдала заграничный паспорт, получила свой и поздним последним рейсом вылетела домой.

Наташа решила ничего матери не говорить, не отравлять ей первые часы возвращения. «Утром перед уходом на работу скажу», — думала пряча журнал меж пластинок, стопкой лежавших возле проигрывателя.

Они стояли обнявшись в коридоре. Наташа уткнулась лицом в пушистый черный воротник, от него пахло чем-то уютным, далеким, кожа пальто была холодной, влажной.

— Где отец? — Присев на тумбу вешалки, Бакшеева снимала сапоги.

— Послезавтра вернется, у него комиссия из Москвы.

— Ну как вы тут без меня?

— Все в порядке. Тебя ведь не было всего девять дней. Идем, буду кормить.

— Сперва вымоюсь. Есть не хочу, пить — умираю, поставь чайник... Достань тапочки. — Она прошла в спальню, разделась, освобожденно повела плечами. — Ох, хорошо! — Отдернув покрывало, села на кровать. — Что вообще новенького?

— Ничего особенного.

— Вытащи мой синий халат и ночную рубашку.

— Какую, мама?

— Ситцевую, венгерскую...

Вдвоем вошли в ванную. Постояв перед зеркалом, Бакшеева вынула шпильки из узла на затылке, тряхнула соскользнувшими на плечи волосами.

— Давай вымою тебе голову,— сказала Наташа.

— Давай.— Они любили мыть друг другу волосы, светлые, тяжелые, мягкие, одинаковые у обеих.

Мать редко уезжала из дому, и каждое ее возвращение становилось праздником. Наташа любила эти быстрые минуты их встреч, путанные разговоры, подтрунивание Бакшеевой над чем-то, что было там, куда она ездила. Болтали обычно в ванной, под шум воды, летевшей из душа. Наташа сидела на табурете, слушала шелестящий сквозь воду материнский голос, смотрела, как струйки гладко скатывали мыльную пену с ее красивой, еще упругой кожи...

И сейчас, открывая новый флакон шампуня, наблюдая, как мать, сбросив комбинацию, одним, знакомым с детства движением сняла, как содрала с себя, пояс, трусики и чулки, Наташа думала, как все будет завтра, когда она увидит журнал...

Потом они пили чай на кухне, Бакшеева рассказывала об Орлеане, о клинике, где оперировала, как ей ассистировали, как отлажена работа анестезиологов. Оставив чашки невымытыми, перебрались в спальню, сидели в постелях, и снова Наташа спрашивала, Бакшеева отвечала коротко или пространно, перебивая себя каким-нибудь более интересным воспоминанием.

— ...Накануне операции осматривала я эту женщину. Молодая, некрасивая, вижу: и любопытство ко мне, и испуг. То ли операции боится, то ли меня: как же — из России! Решила я спросить. «Мадам,— отвечает,— если вы не умеете, то не надо этого делать нигде: ни во Франции, ни в России. А если умеете, я благословляю вас, у меня двое детей».

— Ты с нею по-французски?

— Прямо! Все тот же Леон переводил. Муж этой женщины потом подарок мне сделал: библию на русском языке, шведское издание, маленькая, с конверт.

— Почему именно библию?

— Как символ чего-то там, вроде все мы перед жизнью и смертью равны, и библия тому свидетель. Так мне объяснили.

— Покажи!

— В гостинице оставила, где жила.

— Понятно... В театре, в кино была?

— Один раз в кино, ничего особенного...

Она не хотела признаваться, что смотрела «Эммануэль» — сексфильм. Леон повез ее в огромный супермаркет на окраине Орлеана. По дороге успел рассказать, что зовут его не Леон, а Левон Дабагян, он армянин, родился в Нанте, дед и родители приехали во Францию в 1916 году, они «спюрк» — «рассеявшиеся», «разбросанные», в семье три языка: французский, армянский и русский; два года изучал медицину в Сорбонне, бросил, перешел на славистику, работает в клинике по связи с прессой, рекламой.

Когда возвращались, включил магнитофон, пел приятный баритон, часто повторялось имя «Эммануэль».

— Это из фильма,— сказал Леон. Одной рукой он держал руль, другой извлек из бардачка газету, посмотрел, что в каком кинотеатре.— Еще идет, если хотите, можно сегодня вечером, сексфильм, ничего.

— Голых мужиков вижу каждый день,— ответила Бакшеева,— а голыми бабами не интересуюсь.— Но подумала: «Решит, что ханжа, у них это первая мерка нашего пуританизма».

— Но это действительно неплохой фильм, красивые женщины, много музыки, экзотика. Непал или Таиланд, уж не помню, и прочее.

— Что ж, ради экзотики,— усмехнулась Бакшеева.

Зал был маленький, полупустой, фильм уже шел, в темноте уселись с краю. Сперва она видела светившийся экран, двух действительно красивых молодых женщин, обнаженных, в непристойных позах. Пошли заключительные титры, и без перерыва фильм запустили сначала.

Постепенно глаза Бакшеевой привыкли к сумеречности, она огляделась. Европейцев в зале почти не было: арабы, негры, японцы...

Первые двадцать минут ей еще было любопытно, внове сами обстоятельства: непрерывные совокупления на экране, затем стало скучно, сюжет давно исчерпался, шли просто вариации на одну тему. Когда вышли, Леон спросил:

— Ну как вам, мадам?

— Для меня безопасно, Леон. Мужчинам два часа смотреть это вредно, говорю вам как медик.

— Почему, мадам?

— От напряжения могут образоваться варикозные узлы,— грубовато сказала она и объяснила, на каком месте и отчего.— Вы ведь изучали медицину, работаете в клинике, так что уж извините за подробности, я вам как коллеге. Когда мы выходили, я заметила в зеркале, вы со спины

оглядели меня: фигуру, ноги. Если бы я была без чулок, Леон, вы бы разочаровались: у меня на икрах этот самый варикоз. Но, во-первых, я рожала, а во-вторых, это профессионально, у женщин-хирургов особенно: мы ведь работаем стоя.

— Мадам, вы великолепны! — смеялся Леон...

«Впрочем, ничего страшного, если бы рассказала Наташке, — покончив с воспоминанием, подумала Бакшеева. — Взрослая, врач, поняла бы, посмеялась...»

— Тащи, Наташенька, чемодан, будем распаковываться. Терпишь ведь, не спрашиваешь, что купила. Я тебе кое-что привезла, тащи сюда...

Спать они легли в четвертом часу ночи.

Утром, когда позавтракали, Наташа сказала:

— Мама, у нас неприятность.

Бакшеева подняла голову, спросила сдержанно:

— Дома? В клинике? — Чем больше волновалась, тем спокойнее становилось лицо, лишь скулы делались какими-то известковыми.

— Как тебе сказать... я сейчас. — Она выскочила, вернулась с журналом, подала раскрытым на том самом месте, стала рассказывать.

Затем Бакшеева читала, внимательно, словно ощупывала каждую фразу, покривилась, наткнувшись на свою фамилию; отложив журнал, швырнула железно звякнувшее:

— Стервец!

Наташа облегченно вздохнула.

— Сергей знает?

— Знает, мама.

— Кто еще?

— Дядя Витя.

— Еще?

— Больше никто.

— Одевайся. Пора. — Посмотрела на часы и — ни слова, встала, пошла одеваться.

Наташа знала: сейчас лучше молчать — никаких успокоительных фраз, ласковых, ободряющих или гневных, сочувственных мать не примет, она была человеком действия, движения, в словах признавала минимум, необходимый для прояснения той или иной ситуации. Лишь на лестничной площадке сказала:

— Возьми свои ключи, я могу сегодня задержаться...

Поехали автобусом. Всю дорогу молчали...

Бакшеева не стала подниматься к себе, вместе вошли на кафедру Долинина. Дверь в «предбанник» оказалась запер-

той. Долинина еще не было. Наташа взяла у привратницы ключи. Едва разделись, как в коридоре послышались шаги Долинина.

— Идет,— сказала Наташа.

— Никого не пускай к ней.— Бакшеева встала у двери. Он увидел их обеих сразу и все понял, никак не мог попасть ключом в скважину, наконец вставил, остервенело крутнул.

— Входи,— пропустил Бакшееву.

Она села, ждала, пока он снимет пальто, влезет в халат, пройдет за свой стол,— не спешила, стараясь сама успокоиться и дать ему возможность адаптироваться к такой их встрече.

— Здравствуй, с приездом.— Полой халата он протер очки.

— Я напишу в редакцию опровержение,— задуманным голосом произнесла Бакшеева.

— Что ты будешь опровергать?

— Он же ссылается на меня! Без моего ведома. И вообще... что статья...

— Статья умная, нужная. Зачем же опровергать? Он на это и рассчитывал. Если ты напишешь, затеешь скандал — поставишь под сомнение саму гипотезу. Он точно поймал ее...

— Поймал?! Ты это называешь «поймал»?!

— И развил довольно оригинально, он — хирург-практик. Так что, как ни крути... автор — он. Там все его, кроме самой мысли,— усмехнулся Долинин.

— Но он же тебя обокрал!

— Это уже вопрос морали, проглочу. Ради науки,— снова усмехнулся он.— Знаешь, я ведь для Наташки хотел это, для диссертации.

— Что же ты намерен с ним сделать, как поступить?

— Никак! Тут твоя привилегия. Он твой выкормыш.

— Это я помню, зря язвишь. И зря ведешь себя как Иисус Христос, такие вещи прощать нельзя.

— Я не Христос. Сила Христа в словах. А тут... Что бы я ему ни сказал, в ответ могу услышать примерно такое: «Разве медицине, больным я нанес этим вред? Ущерб я нанес только вашему самолюбию. Но стоит ли ради блага тысяч больных считаться с тщеславием одного человека?» И возразить нечего. Если начнется клиническая апробация его методики и получатся хорошие результаты, тогда против чего вообще воевать?.. А с безнравственностью, увы, словами уже

не справишься. Истерлись, звучат тривиально, за сто верст разит риторикой: «будьте честными», «трудитесь для общества», «уважайте личность». Этого уже не слышат, слышат лишь нравственный максимализм и морщатся от него... Что поделаешь, Настя... Оно и впрямь — победителей не судят. Так что поступай сообразно...

— Нет уж! — Она встала...

Время отодвигает все. Смерть Трушевича, долго стеной вплотную стоявшая перед Каймаковым и все застилавшая, постепенно отстранилась, уменьшилась; унялось все пережитое на клинико-анатомической параллели и после строгого выговора в приказе, обсуждения на собрании сотрудников отделения. Уже виделось прочее, что движется в жизни, давая ей новый смысл. К этой поре и подоспел журнал. Семь месяцев ждал он этого дня! Была радость, когда прочитал свое имя, набранное четким устойчивым шрифтом, но и страх; знал, конечно, заранее, что возможна гроза, но куда ударит молния: в него или в громоотвод?.. Перечитывал статью, придирчиво оценивал: не выперло ли чужое, но, не обнаружив никаких совпадений, иных явных улик, итог подвел в свою пользу, несколько успокоился. Рассчитал вроде точно: не станет Долинин шуметь, материалы-то из его, Каймакова, практики, не захочет Долинин губить собственную мысль ради мести, не имея при этом никаких прямых доказательств. А вот с Бакшеевой... тут не спрогнозируешь.

Ее возвращения ждал с тревогой. И когда сестра сказала: «Алексей Юрьевич, вас просит Анастасия Георгиевна», — почувствовал, как во рту высохло.

Покамест шел, думал, как вести себя, не лепетать, это ясно, лепетать — значит, признать какую-то вину, надо с достоинством, с юморком; если удастся, и ей сиропчику: и на вас ссылаюсь как на авторитет, вы ведь мой шеф; будут поздравления, а ко всяким поздравлениям у нее слабина...

— Запри дверь, сядь, — сказала, когда вошел.

По ее лицу было не понять, как пойдет разговор, ни черточки не шевельнулось, только глаза, всегда изморозно-голубые, сейчас отблескивали каким-то нетерпением.

— Зачем ты вставил мою фамилию? Ты сделал меня соавтором этой подлой истории.

«Не с вами я соавтор, Анастасия Георгиевна, а с Долининым», — просилось на язык, но ответил:

— Как всегда. — Выдержал ее взгляд.

— Вот как? Почему же отправил, не показав?

— Хотел, чтоб был сюрприз, если опубликуют.

— Сюрприз состоялся... Зачем ты это сделал?

Он понял, что имела в виду, все же спросил:

— Вы не согласны со статьей?

— Я не о том.

Подумал, что морочить ее непониманием не стоит, и сказал:

— Если эта методика найдет клиническое подтверждение... Представляете!.. Тысячи больных гастритами, язвами скажут нам с вами спасибо.

— Нравственная безнравственность? — усмехнулась она. — А что они скажут профессору Долинину?.. А если... твоя... эта... не найдет клинического подтверждения? — Глаза Бакшеевой сузились. — Если все окажется ошибкой? Тебе не приходило такое в голову? Ведь мараясь, не мог не предвидеть такого оборота? Какой тогда хвост поволочешь за собой? Как же ты так неосторожно? — с веселой злостью спросила Бакшеева.

— Увлекло, захватило, — сипло сказал он.

— И в подлости оттенок благородства?

— Это стихи, Анастасия Георгиевна, а мы с вами живем в иных реалиях.

— Что ты заладил: «мы с вами», «мы с вами»! Я не с вами, Алексей Юрьевич! — вдруг перешла на «вы». — С кем и где вы окажетесь завтра, это дело ваше! — И снова на «ты». — Зарвался, мальчишка! — крикнула.

Каймаков растерялся: она никогда не срывалась так, и от крика ее в нем шевельнулась злость. Он знал, как с ним бывает, когда почва уходит из-под ног: ожесточался, делал ошибки, не успевая подумать, взвесить, трезво оценить. Ишь ты, в «подлости оттенок благородства»! Какую цитатку приготовила!.. И вдруг все в нем обмякло. Откинулся на стуле ожидающе, вздохнул легко и освобожденно, вроде все мечты, досаждавшие так долго, наконец-то оставили в покое.

Она уловила это его состояние.

— Тебе придется уйти из клиники. Надеюсь, ты это понимаешь? Ни я, ни Юшин... — Она не досказала, но он догадался: ни она, ни Юшин не простят. Однако назвала себя и Юшина, Долинина не упомянула.

— Откуда в тебе это... злое тщеславие, тяга наверх? — Уперлась локтями в стол, сцепила пальцы, устроила в них подбородок и разглядывала его, вроде впервые заметила.

Теперь ему уже было наплевать, понял, что ее слова не угроза — решение: Долинин, должна искупить вину, слишком

многое их связывает. Оставалось уйти без ощущения, что вышвырнула пинком в зад, и он сказал:

— Когда-то школьником я ходил к своему соученику за книгами, у них была богатая библиотека. Его мама дальше кухни меня не пускала. Вот и запомнилось... Кое-что и вы мне внушили, и я не в претензии.

— Еще бы!— Глаза ее сощурились, напоминание прозвучало как намек на какое-то соучастие.— Что теперь будешь делать? Ведь половина диссертации готова.

— Она уже вчерашний день. Начну все заново.— Шевельнул пальцами, как ощупывал что-то.— В этой идее, по моему, есть перспектива.

— В чужой идее.— Бакшееву оскорбило: «вчерашний день» означало, что и она, его научный руководитель, топчется во вчерашнем.

— Пусть так,— равнодушно пожал плечами,— но и мои мысли ей не повредили... Жаль, конечно, угробил на диссертацию два года.— Видел, как побелели ее скулы, понял, что обидел нестерпимо.

— Можешь идти.— Вытянув высокую шею, провела ладонью по горлу.

— Пожалуй, пойду...

С бедой, говорят, нужно ночь переспать, а там отхлынет. Эту самую ночь Долинин провел бессонно, думал, разглядывал ситуацию и так и эдак. А потом были еще дни и ночи, и наконец пришло холодное понимание: дальше заниматься патологией сосудов, ведущей к кислородной недостаточности стенок желудка и вызывающей гастриты и язвы, бессмысленно: сукин сын (так он называл Каймакова) оседлал гипотезу эту надежно и, если смотреть со стороны, выглядел и автором, и грамотным истолкователем...

Происшедшее утратило вдруг трагическую окраску: заморозило сообщение тренера о таблетках, оно стоило многого, и главное — получил первые спектрограммы, вытягивавшие мысль из робких проблесков.

Почти ежедневно к вечеру возвращался на кафедру, сидел до десяти-одиннадцати. Эталонами служили некропсии Новокшанова и заведующего складом химбыттоваров. Сравнивал по ним стекло за стеклом из синей коробки. Как похожи! Будто на них нанесены срезы сосудов одного человека! Теперь он видел у всех этих шоферов, сварщиков, ювелиров, продавцов химбыттоваров не склероз, а острые васкулиты аллергического происхождения! У пловца — от глупейшего

приема лекарства, у заведующего складом — от пыли химикатов, у других — от воздействия свинца, марганца, ртути, кадмия и прочих соединений, включавших тяжелые металлы. Все попадало в организм извне, инфаркт сваливал людей в сравнительно раннем возрасте...

Долинин завел на каждого перфокарты-досье, гонял интернов и аспирантов в больницы за историями болезней, чтобы выяснить, чем болели и как лечились за всю свою жизнь эти люди, какие профессии меняли. Нашел таких, чья судьба была схожа в чем-то с судьбой Коли Новокшанова: долго лечились от разных недугов, принимая неумело, неразумно — длительно, чрезмерно и одновременно — лекарства разного спектра действия. «Сколько же в быту, — думал он, сортируя карточки, — неизвестных нам случаев, когда врач назначает препарат на две недели, а больной, страхуясь, глотает его и месяц, и два?!»

Он знал, клиницисты — терапевты, кардиологи — давно заметили: у молодых инфаркт протекает не так, как у стариков. Но четкого объяснения этому не имели. Можно ли их винить?! Они считали: ранний склероз. Ну а мы? Я?! Почему мы не дифференцировали?! Новое изменение в сосудах — значит, новый вид атеросклероза. Вот как мы мыслили! «Атеросклероз» — модное слово!.. Гипноз традиции, устоявшегося термина... Бесперывно вываливающийся гвоздь мы все время пытались вбить в ту же самую дырку!.. Шаблон мышления: сосуд сузился — атеросклероз! И лечим подряд: молодых, старых, пианистов и сварщиков — всех одинаково... Конечно, васкулиты со временем вызывают гипертонию, к старости она дает классический склероз... Но это уже следствие... Васкулиты... Похоже, все связывалось последовательно, уже не надо было подбирать отдельные звенья и отыскивать им место в цепи... Но не ищет ли он новые термины для прежних понятий, чтобы обосновать свою гипотезу?..

Он шел по солнечной стороне весенней улицы, был май, от просыхавших плит отделялся почти невидимый в прозрачном сиянии пар. Город пересекала река, она словно убегала из тесных набережных от первой пыли, запахов бензина и сожженной солянки в широкие чистые долинные просторы. Все так же улетали самолеты, уходили поезда, теплоходы, баржи, кого-то и что-то увозя. И все так же прибывали другие самолеты, поезда и баржи, доставляя туристов и командировочных, уголь и нефть, бревна и цемент. На бойню в грузовиках с высокими бортами везли понурых, безразлич-

ных к городскому грохоту бычков. Все так же, полоснув по сердцу сиреной, неслась машина «неотложки», и люди на улицах оборачивались: «К кому на этот раз?»

Долинин шел на платную стоянку, где оставил машину: в гараже появилась вода, затекла задняя стена, надо будет подновить отмостку. Почему-то вспомнился Красноводск, неудачный доклад. Так уж был устроен: чаще помнил неудачи, чем успехи. Сейчас понял: сам виноват был тогда, схитрил, пробный камень оказался слабым по весу, вот и не пошли круги. В конце года Всесоюзный съезд кардиологов. Послал тезисы. Пригласили все же, заинтересовались! Готовиться надо ох как! Поднять знамя с новым лозунгом — заполучить не только союзников, но и противников, их, как всегда, окажется больше. Шаблон мышления живуч... Вчера на синей коробке со стеклами в надписи «Инфаркт миокарда. Склероз. Молодой возраст» сперва после слова «склероз» поставил вопросительный знак, долго держал на весу красный фломастер, затем жирно зачеркнул «склероз» и осторожно надписал сверху «васкулиты»... Если гипотеза верна, во взглядах на сердечно-сосудистые заболевания возникнут изменения, начнет вырабатываться стабильная идеология первичной профилактики молодых, появятся новые методики диагностики инфарктов, профилактики их, новый подход в лечении, наконец, комплекс новых мер по охране труда и экологии!.. Смягчится фраза «профессия как фактор риска»... Размечтался и мысленно видел все это с вершины, но вспомнил, что туда еще предстоит взобраться, пока что приблизился только к подножию, усмехнулся...

Он шел через сквер — дневное пристанище стариков. Радуюсь, что дожили до новой весны, одни сидели на скамьях, шелестели утренними газетами, иногда из-под очков щурились на солнце, другие медленно прогуливали надменных и капризных собак. Было тепло, взрыхленная у комлей земля быстро просыхала, светлела.

Он держал в одной руке кепочку, другой, в кармане, поигрывал ключами, смотрел по сторонам и думал, что все вёсны, в сущности, одинаковы: надоевшие декорации заменялись другими — тоже знакомыми, как из давно не шедшего спектакля. Но все-таки каждый прожил свою, неодинаковую зиму...

В роли зампредоблисполкома в Госплан Лаевский ехал впервые. Вопросов набралось много, поэтому отправились втроем: он, председатель областной плановой комиссии и

Юшин. Председатель вылетел утренним самолетом, чтобы успеть решить какие-то попутные дела. Лаевский и Юшин выехали поездом, в двухместном купе.

Переодевшись в дорожное — Лаевский в синий шерстяной тренировочный костюм, а Юшин в клетчатую байковую сорочку и бежевые вьетнамские брюки, — они сидели друг против друга в натопленном светлом купе.

Отбивали свой ритм колеса, за белой занавеской с печатью «МПС» уходила вдаль неподвижная темень, купе повторялось на черном стекле, иногда тьму прошивал встречный грохот, мелькание окон, на мгновение в стекле исчезали их отраженные лица, тарелка с сахаром, постели, и снова возвращался привычный, казавшийся тихим перестук под вагоном.

Оставшись вдвоем вне служебных кабинетов, оба ощущали неловкость. Юшин догадывался, что Лаевский как-то осведомлен о нем и Симе, и все время настороженно ждал чего-то. Лаевский же понуждал себя говорить о всяких пустяках, комментировал статью в «Известиях», сомневался, надо ли открывать фирменный магазин «Минеральная вода», своей, местной, не было, а как будут снабжать Грузия, Армения, Северный Кавказ и другие регионы, неизвестно. Потом коснулись автотранспорта, ведь ехали выбивать сверх фондов. Лаевский не надеялся, что выпросят четыре «Волги» для «Скорой помощи», а Юшин сетовал: нужны позарез для районных больниц...

В этом разговоре отпустило, Юшин даже вздохнул, сел свободнее, подобрал ноги на постель. Не то чтобы он страшился, начни Лаевский напрямую, а начать мог, ситуация удобная, можно неофициально — вдвоем в купе, вроде по-домашнему, — не страшился, а не желал. Дело это его, личное, пришлось бы что-то объяснять, а в них он не посвящал даже Сергея, а уж Лаевского, чужого...

Проводница принесла чай, разложили еду.

— Берите пирожки с капустой, жена в дорогу наготовила, — угощал Лаевский.

— С удовольствием, — отозвался Юшин. Он знал, что пирожки и ватрушки с творогом испекла Сима. Вчера, когда уходил от нее, сказала: «Обязательно попробуй мои пирожки с капустой, он непременно угостит».

В дорогу Лаевского собирала Сима, у Ирины Казимировны днем был прогон, а вечером — спектакль.

Жуя пирожок, Юшин хотел сказать: «Передайте жене, что очень вкусные». Но укоротил фразу:

— Очень вкусно.

Лаевский посмотрел на него. Юшин опустил глаза.

Опасался Лаевского он зря. Когда Ирина Казимировна узнала, что едут они вдвоем да еще в одном купе, предупредила:

— Не вздумай!

— Ладно тебе! — буркнул он. — Говорить найдется о чем...

Поужинав, улеглись читать. У Лаевского имелся свежий номер «Науки и жизни», Юшин захватил журнал «Физкультура и спорт» с интересной статьей Стива Шенкмана о спорте и медицине. Но не читалось.

Лаевский думал, что вот через две-три недели решится вопрос с новой квартирой, на набережной, в центре города, дом экспериментальный по чешскому проекту, с холлом, мусоропроводом, в полуподвале автоматическая прачечная и сушилка. Жена была еще в неведении, сообщать не спешил, не знал, как отнесется, захочет ли менять, все-таки в старой прожили двенадцать лет, пожалуй, лучшие годы, каждый уголок обжит, с чем-то связан, гараж во дворе...

О другом думал Юшин. Дал себе зарок: вернется из этой командировки и все решит. Дальше так нельзя. Мúка. Для него, для Сима, для семьи, ее-то за что мучить этим тайным обманом... Важно еще, что скажет Сима. Может сказать, что ее устраивает все, как сейчас. Чтоб пожалеть его, семью... Но лучше ли это?.. Вчера, когда уходил, произошло вроде пустяковое, но запомнилось. Сима одевалась медленно, стояла босая на коврике, сделала вид, что не заметила, когда он вошел из кухни, где курил. И ему показалось, что медлила нарочно, как будто надеялась, что он прервет ее одевание и все начнется сначала. Эта маленькая хитрость почему-то смутила его, словно ему устраивалась проверка.

Когда прощались в прихожей, Сима, прильнув, сказала:

— Знаешь, у Стендаля есть мысль, определяющая женскую природу: жинщина — как плющ, который умирает, если не привязывается...

Что имела в виду? Что он должен быть с нею и только с нею? Или ей по многим причинам (по каким?) хотелось бы сохранить нынешнее положение?.. Я увяз в собственной жизни... Какие-то предметы, слова, люди, понятия... Мельтешит все... Не выбраться, не освободиться... Освободить это от себя?.. Может, тогда станет легче, просторней?.. Но как?.. Или оставить все как есть, плыть дальше?.. Вспомнил, как мальчишкой бросился в реку. Плыл размашисто, даже обго-

нял приятелей. Но никто не знал, что не плыл, а брел по песчаному дну, быстро отталкиваясь ногами, а руками красиво взмахивал на поверхности... Такое оно было, плавание... Конечно, если уйдет совсем к Симе, многое из прежнего придется забыть. А забыть — значит, потерять. На том «этаже», где по своей должности он обитал, не потеряют такого. Оставайся все как есть, возможно, и обойдется: будут делать вид, что ничего не знают, не слышали, не видели, мало ли что болтают, слухи, сплетня. А вот бросил семью, ушел к какой-то девке, к любовнице, этого *там* не простят. Конечно, с точки зрения объективного смысла, он сделал бы глупость: ушел от жены — доброй, заботливой, мягкой женщины, с которой тихо прожил почти двадцать пять лет, терял (это он понимал) любимую дочь, работу... Но может, благоразумие — это форма трусости, за которую потом расплачиваешься всю оставшуюся жизнь?..

Лаевский, опустив на лицо журнал, спал. Юшин погасил верхний свет, зажег в изголовье софит, разделся, заполз под одеяло. «Не забыть лекарство для Ады, — вспомнил он. — В главке там кто-то новый теперь, в крайнем случае пойду к самому... Неужели с Адой... так плохо?»

Колеса простукивали ночную тишину, тьма за окном будто остановилась, накрыв гигантские пространства, но невидимое отсюда движение людей, их мыслей — жизнь — продолжало одолевать свои расстояния и препоны...

Никогда Каймаков не расспрашивал Олю, что делается на кафедре, хотя она и не была там в штате: не хотел, чтоб она невольно предавала Долинина, такого бы не простила. Потому считал, что перед Олей чист.

Он лежал на тахте, Оля сидела в кресле. Одна лампочка в торшере перегорела, свет падал сбоку, половина лица ее оставалась в тени, и Каймаков не мог понять, что оно выражало сейчас.

— Как же так... ты?.. Зачем?.. — тихо спросила Оля.

— Тут одной фразой не ответишь.

— Но с чего-то началось?

— Я тебе расскажу, с чего началось. Многое тебе будет знакомо. — Он задрал голову, вперился в потолок. — Знаешь, что такое абитуриент?

— Поступающий в институт.

— Нет, буквально, с латыни — «тот, который должен уйти». А я не хотел уходить, считал, главное — поступить, остальное зависит от меня: буду заниматься столько и так,

чтоб остаться в медицине не по воле случая. Но уже со второго курса заметил несоответствие между моими идеальными представлениями и реальностью.— Он говорил монотонно, словно считывал с давно не беленного, в трещинках, потолка тайные письма.— Наш с тобой сокурсник Бурков всегда сдавал «досрочку». Помнишь? А мне не разрешали. Водолажская поехала с докладом в Венгрию на конкурс научных студенческих работ. А меня не послали, хотя моя работа была куда интереснее. А знаешь, почему? Бурков — сын завкафедрой гигиены. Все сессии сдавал досрочно, не с группой, а один на один с преподавателями. Всегда получал пятерки. Удобно, правда? А научную работу Вальке Водолажской сочинил аспирант ее мамы — завкафедрой гистологии. При мне сдавала детские болезни твоя тезка — Ольга Нейменова. Глупенькая, тупенькая, путалась в элементарной терминологии. А получила пятерку! Я сидел рядом с нею, потел над своим билетом, хотя знал все три вопроса. Едва огреб четверку. Папа Нейменовой — доцент на кафедре глазных болезней. Я как-то подсчитывал: на лечфаке у нас на каждом курсе в среднем шесть преподавательских чад. Значит, на всем факультете их тридцать шесть. А факультетов в институте пять. Все получили красные дипломы. Были, конечно, и толковые ребята. Но была и серость, посредственность, да и просто тупицы. Им бы — кому в инженеры, кому в швеи, кому еще куда, мало ли хороших профессий! Но родители сунули их в медицину.

— Существуют же династии шахтеров, врачей,— робко возразила Оля.

— Да, но медицина особое дело. Почему почти все профессорские детки остались либо в аспирантуре, либо в клинической ординатуре, в общем, вышли на научную стезю?

— Ты тоже не поехал в район, остался в городе, в отличной больнице.

— Только потому, что отец инвалид первой группы. А мой красный диплом тут не имел никакой силы...— Он лег на бок, подложив ладонь под щеку.

То, что он рассказывал, было Оле известно, но память хранила это где-то далеко, заглядывать туда не приходилось — не было потребности. По тому же, как въедался в подробности Алексей, угадывала, что это спеклось в нем с каждодневным, не заживало, грызло, куда-то подталкивало... Куда?..

— Все это я наблюдал шесть лет,— сказал он.— И понял: моим идеалам это сражение не выиграть. Шел не естест-

венный отбор, не конкуренция способностей. Детки эти сейчас будут двигать науку. Хорошо, если кто-нибудь из них сам сделает диссертацию. А если ее сварганят ассистенты и доценты с кафедр пап и мам? Шла бы речь об инженерии — черт с ним!

— Какая разница?

— Извини, извини! — Он приподнялся. — Там станки, чертежи, железо, одним словом. А в нашем деле всегда и только — человек! Он идет к тебе поправить здоровьице или спасти свою жизнь. И если в нашей науке, да и в практике нет естественного отбора...

— Его надо подменить чем-то — равным по результатам? Безразлично, чем?

— Тут выбор большой. Был бы результат.

— Боюсь я цинизма, Алеша.

— Бойся другого: если и дальше в медвузы будут принимать, а потом распределять в науку по просьбам пап и мам... Уйдет поколение Бакшеевых, Долининых, Рацер, лечиться будет не у кого. Хоть наряжай шимпанзе в белый халат, один черт!.. А цинизму меня обучил чужой цинизм. В моем, хоть какой-то прок, он функционален. — Каймаков усмехнулся. — Компьютеры нужны, а не приемные комиссии. Исключает протекционизм, зато точный отбор мозгов... По старинке принимать можно разве что весь этот разговорный жанр — филологов, философов, юристов...

Она ждала не такого, может, покаяния, пусть попытки соврать ей, чтоб оправдаться, объяснить, но он лежал на тахте и *рассуждал*. Не о пустячном, действительно важном, но сейчас ли об этом и — так?.. Чувствовала, все наговоренное им — пространное, обдуманное не раз и для себя, по-видимому, по-своему аргументированное — обоснование главного. Чем же оно, главное, так страшно, что потребовало такого большого разгона?.. И она сказала:

— Ты себя убеждаешь в чем-то или меня? Если меня... — Словно отмахиваясь от чего-то, она дернула головой. — Если меня, я не готова воспринять и не смогу так: для любой цели, самой благой — любые средства... Может, ты проверял себя: на что годишься? Тогда ты опасно увлекся. И думаю, в самый раз позаботиться не о реформе в вузах, а как быть теперь нам.

— Нам?! — Он сбросил ноги, сел. — То, что сделано, сделано мною. Чего ты так испугалась? Ты-то при чем здесь? Тебе нечего идти к шефу с извинениями. Не беспокойся, я не испорчу тебе будущее. Я уеду отсюда.

— Уедешь? — По тому, как он сказал, Оля поняла, что это не в запале.

— Уеду! Я уже и заявление сочинил. По собственному желанию. В Одессу. У меня дядька там. Важный человек в пароходстве. Устроит судовым врачом. А ты себе оставайся! Завтра, нет, хоть сегодня, сейчас можешь уходить к себе. Всем будет ясно, что ты меня осудила, порвала со мной!.. Ишь, испугалась: «Как нам быть теперь?..» А никак! Все! Я хочу спать, оставь меня в покое! — Он снова лег, повернулся к ней спиной...

Подавленная, ошеломленная его вспышкой, Оля, словно затаившись, сидела в полумраке, уронив руки на сомкнутые колени. По дыханию услышала, что Алексей действительно уснул, и удивилась. Дернула за шнурочек торшера, погасила и, чтобы не шуметь, не стала разыскивать тапочки, в чулках прошла на кухню. Сидела в полной темноте, опершись о подоконник, глядела в темное окно.

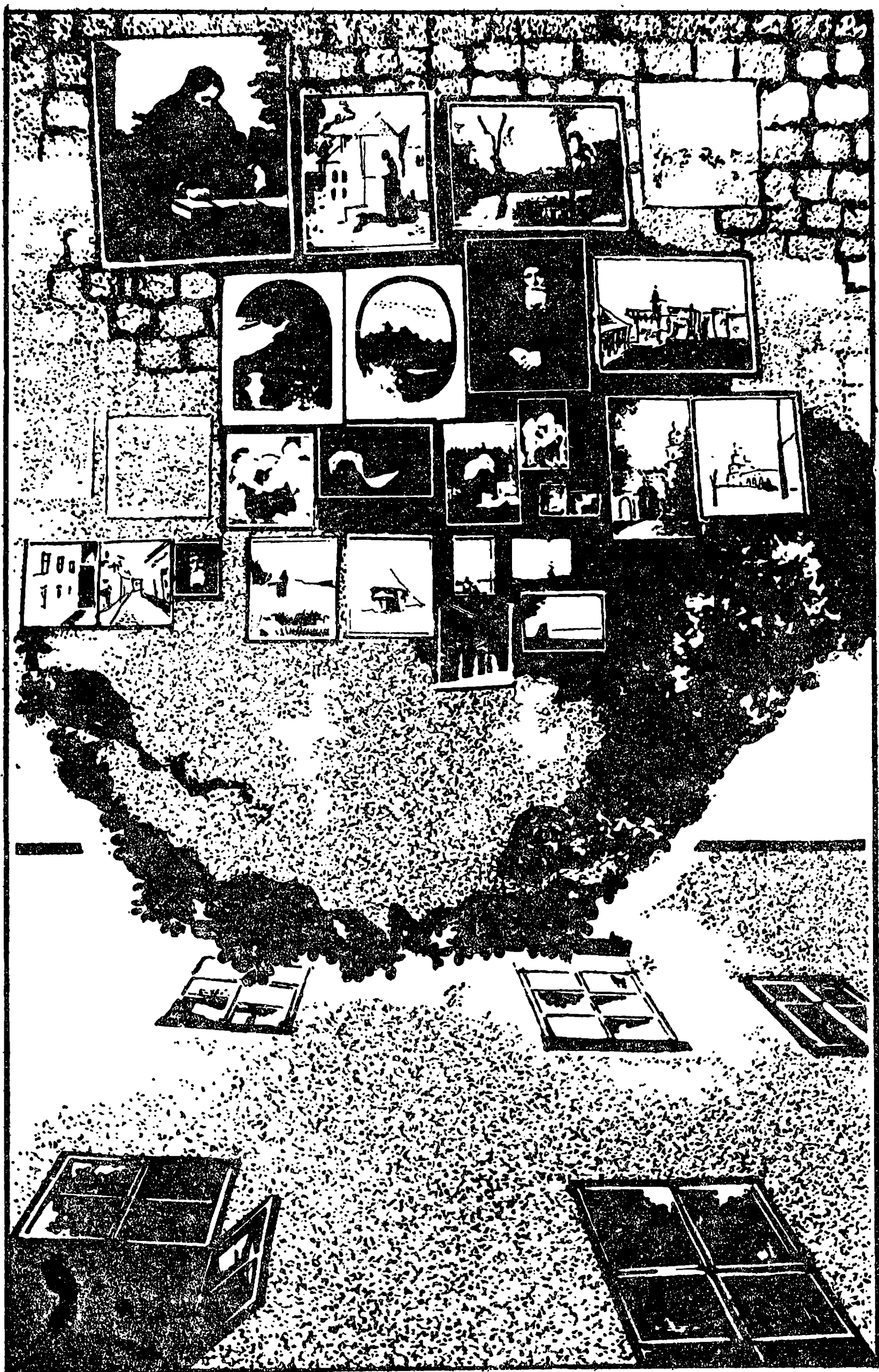
«Что же теперь делать? — думала она. — Я люблю его и поеду с ним. Это ясно... Просто я еще не решилась сказать ему... Совестилась... Его слов, поступка... Да совестилась ли, не лицемерила? И то, и другое... И не то, и не другое... Я люблю и поеду с ним... Но еще предстоит ужасный разговор с Долининым. Что скажу ему, как объясню, что я с Алексеем еду? «Сергей Никитич, — скажу, — я должна с вами объясниться. Пообещайте, что выслушаете меня до конца. Потому что, едва начну, можете захотеть выгнать из кабинета, но я не предавала вас, я благодарна за все, что сделали для меня и делаете. И останусь всегда преданной вам. Но я уезжаю с Каймаковым. Почему? Объяснить коротко, упрощенно? Я его люблю. То, что он сделал, вы вправе осуждать. Но тут все сложнее, глубже, запутанней в нем самом. И об этом надо долго и много думать. Поступок ясен, но ясен ли до донышка человек? Вам это трудно, даже невысказано... Это хочу сделать я, должна, потому что люблю его... То, что он совершил, не считайте недоступным пониманию или недостойным понимания. Понять — не обязательно простить, это мне и себя испытать: хватит ли меня, чтобы всю жизнь объяснять ему *всё*, в том числе — почему выбрала его, а не вас, и почему не считаю, что предала вас...» Боже, какой бред! Да захочет ли он выслушивать?..»

Каймаков так и спал — не раздевшись, лицом к стене. Ночь была уже на середине, а Оля все еще сидела на кухне, положив на согнутый локоть лицо, судорогой пробегал по нему свет молний, срывавшихся с трамвайной дуги...



ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ АВТОРА

В Варшаве мне оставалось пробыть два дня: истекала третья неделя пребывания в Польше. И на эти последние дни категорически посягала Сабина.

— Хватит музеев и театров,— сказала она во время обеда.— Ты не смеешь приехать домой с пустыми руками. Что-то же надо привезти жене и сыну! А без меня ты ничего не купишь. Или истратишь все деньги на какое-нибудь барахло. Не правда ли, Янек? — она выразительно посмотрела на мужа.

Ян обсасывал рыбью косточку. Спокойно отложив ее на край тарелки, он подмигнул мне. Я знал, что имела в виду Сабина: из Бухареста он привез ей в подарок браслет. Оказалось потом, что этот тонированный под бронзу железный обруч изготовлен в Кракове, их много продается на Краковском рынке в Сукеннице.

— Не ухмыляйся, Ян, ты знаешь, о чем я. Все вы одинаковы,— сказала она мужу.

— Конечно,— миролюбиво согласился он.— Ты, как всегда, права.— Ян не хотел сейчас обострять разговор, помня, что Сабина пережила из-за браслета, когда встретилась со своей приятельницей в кафе. Пили кофе, Сабина курила, высоко поднимая руку с сигаретой, так, что хорошо был виден сползавший с запястья браслет.

— Тебе это нравится? — спросила приятельница, кивнув на сиявший обруч.

— Очень мил, не правда ли? Янек с трудом достал это в Бухаресте.— И Сабина отвела руку, любуясь.

— Вот как?! Скажи, дорогая, он давно был в Кракове, твой Янек? — сощурилась приятельница.

— Да. А что?

— Их там полно. В ларьках в Сукеннице...

Ян был прощен не скоро...

Сабина действительно права. Я не мог приехать домой и ничего не привезти жене и сыну, как-никак — был за границей. Но при мысли, что надо бродить по магазинам, толкаться у прилавков, носиться от витрины к витрине, как это восхитительно ловко и неумолимо могла делать Сабина, да и не только она, мне захотелось слечь на пару дней с гриппом.

— Слушай, Сабина, — Ян опять взял с блюда большой кусок рыбы. — Я предлагаю ему, — моргнул мне, — более интересное занятие. По магазинам побегай ты. Времени хватит: сегодня полдня и завтра с утра. И голосовать не будем. Нас четное число: ты и я. Он не в счет, он гость. Из вежливости воздержится.

Они говорили обо мне, словно о грудном младенце, когда папа и мама спорят, как туго ему нужно спеленать ноги, а сам младенец не в состоянии еще высказать своего мнения.

— Оставь наконец рыбу, — сказала Сабина, пропуская слова Яна мимо ушей. — Возьми салат...

Они еще спорили о том, как я должен провести оставшиеся два дня, а я между тем думал, какие они славные — Сабина и Ян Юркевичи. Веселые, легкие на подъем. Дом у них как караван-сарай. Всегда полон гостей. Она драконит все, что Ян пишет для своего еженедельника, он — все, что Сабина рисует. Она театральный художник. Коридор в их квартире завешан афишами ее работы. На полках — разноцветные костельные свечи: круглые, цилиндрические, витые, как спираль, украшенные белой восковой пеной, как взбитые сливки, такой вкусной на вид, что лизнуть хочется.

Ян и Сабина очень разные. Они и сигареты курят разные: Ян смалит «Пясты», Сабина — ароматные «Кармен». Вечно подшучивают друг над другом, ворчат, но со временем я понял, что это — всего лишь давняя, вошедшая в привычку смешная игра двух очень дружных людей...

— А теперь выкатывайтесь, — сказала Сабина и начала убирать со стола. — Мне еще мыть посуду, а потом с Данутой к портнихе. Можете отправляться в СТС. Два места я забронировала.

— Ты всегда последовательна, дорогая, — захохотал Ян.

После спектакля мы отправились бродить по ночной Варшаве, по одному из колдовских ее районов — Старому Мясту. И если б я доподлинно не знал, что он полностью был сметен с лица земли в годы войны, а затем заново восстановлен, ей-богу, не поверил бы, что это можно совершить — повторить менее чем за полтора десятилетия то, что было создано народом на протяжении веков...

Мы ходили по путаным узким улочкам, по гулким переходам, стиснутым крепостными стенами из красного кирпича, вниз, вверх, — ступеньки, булыжник, старые тяжелые цепи, кованные из черного железа ворота. Искусно расставленные и упрятанные прожекторы заревом подсвечивали башни, лестницы и дома, — казалось, что это отсвет костров, разожженных у стен города, вокруг которых пируют орды татаро-монголов в предвкушении утреннего набега...

По-моему, кроме нас с Яном, в эту пору на Рынке никого не было, разве что какая-нибудь твистовавшая в баре час тому назад парочка таилась в низкой сводчатой подворотне в стиле XV века.

Еще один переход по лестницам, и вдруг внизу, под нами, как полоса медленно текущего черного мазута, тускло сверкнула Висла с завязшим в ней отраженными огнями противоположного берега. Потянуло сыростью.

— Закурим, — предложил Ян.

Щелкнула зажигалка. И сразу исчезло ощущение сказки, старины, вечности.

— Ты знаешь, что я придумал? — спросил Ян. — Какой смысл тебе садиться в поезд в Варшаве? Завтра Бронек на своей машине везет нас на Жешувщину. Там есть что посмотреть. Затем, двигаясь в сторону советской границы, заезжаем в Ланьцут: дворец Потоцких, коллекция карет и отличный ресторан. Будешь потом рассказывать, что обедал у Потоцких. Оттуда — дальше, на Перемышль. Там садишься на свой поезд Варшава — Бухарест, и через час — советская граница. Что скажешь?

Предложение заманчивое. Погода хорошая, днем даже в пиджаке жарко. Прокатиться на машине от Варшавы до Перемышля — такое не каждый день случается.

— Это неплохо, — согласился я.

— Прекрасно! Все дипломатические осложнения, которые возникнут с Сабиной, улаживаю я. Просто сообщу ей, что ты отказался от такой поездки. И тогда она скажет, что ты

идиот. Понял? Действуем от противного. В конце концов, не так страшно побыть немножко идиотом. Все-таки разнообразие. Значит, завтра после обеда жду тебя у «Фукера». А сейчас спать...

Возвращались мы другой дорогой. Ян потянул меня за рукав:

— Смотри, в этом доме жил Станислав Ежи Лец.

И я вспомнил некрологи, статьи, радио- и телепрограммы, которые варшавяне посвятили умершему писателю-сатирику, чьи афоризмы обошли весь мир. В одной из книжек Лец сказал о себе и о всех людях: «Не теряйте головы! Жизнь иногда захочет вас по ней погладить...»

На Замковой площади, где обычно полно автобусов, было пустынно и тихо. Транспорта уже не было никакого, и мы двинулись пешком по Краковскому Предместью, надеясь возле гостиницы «Бристоль» поймать такси.

* * *

До встречи с Яном оставалось еще полчаса, с утра он отправился в свою редакцию, а я, чтобы убить время, купил газет и стоя просматривал их, облокотившись о столб, недалеко от винного зала «Фукера». Заведение это столь же историческое, как и все в Старом Мясте; если не ошибаюсь, ему уже лет триста. Некогда гостей у входа встречал седобородый швейцар с алебардой.

Ян подъехал на такси.

— Идем, быстро... Все лопнуло. Сейчас расскажу,— он подхватил меня под руку.

В маленьком зале было сумеречно. Длинные лавки и столы вдоль стен тускло блестели. Зал был почти пуст. Лишь в углу сидели два парня и девица с большим ртом, обведенным контурной помадой. Она манерно курила, потягивая из бокала вино.

Мы взяли бутылку рислинга.

— Поездка наша опрокинулась. Человек предполагает, а редактор располагает. Властью,— сказал Ян, наливая вино.— Мне срочно придется ехать сегодня в Гдыню.— Он постучал о бутылку массивным обручальным кольцом, врезавшимся в палец. Подошла подавальщица.— Пачку «Пястов», пожалуйста,— попросил Ян.— Понимаешь, Закржевский в отпуске. Шеф сообразил, что я не менее гениальный, и решил послать меня. Событие, как он выразился, имеет политический аспект! Он любит все поднимать на котурны. Политический аспект! Не иначе. Приезжает некий тип по фамилии

Свидрак. Ежи Свидрак. Тебе что-нибудь говорит эта фамилия?

Я пожал плечами.

— Мне тоже ничего,— усмехнулся Ян.— Так вот этот Свидрак после оккупации смылся на Запад. Видимо, были грешки. Когда в тысяча девятьсот сорок восьмом году у нас шли процессы над эсэсманами, наши пригласили его в качестве свидетеля. Отказался. Опасался, что может с одной скамьи пересесть на другую. А нынче возжелал вернуться на любимую родину. И я должен ехать встречать его и описывать странствия этого Одиссея. Вот так! Ну, будем,— он чокнулся сперва о мой бокал, затем о пустую бутылку.

— Надолго это? — спросил я.

— Не думаю. Дня три-четыре. Плохо, что мы с тобой не увидимся...

Расплатившись, мы вышли на улицу. Солнце припекало совсем по-летнему.

— Ну что ж, давай прощаться. Мне нужно бежать в редакцию, а оттуда на вокзал. Сабине я позвонил. Собирать и провожать тебя будет она.

Мы расцеловались, и Ян убежал к автобусной остановке.

Несколько огорченный таким исходом, я поплелся к Сабине, понимая, что от прогулок по магазинам мне уже не отвертеться.

Она была дома, готовила эскизы к новому спектаклю. Большие листы ватмана лежали на столе и на полу. Две банки с кистями, коробка с красками и гора окурков в пепельнице. Среди всего этого расхаживала Сабина в синих брюках и тонком свитере.

— Он уже уехал? — спросила она.

— Да. Только что.

— Вот список всего, что тебе нужно купить домой,— сказала Сабина, протягивая мне листок.— На обороте тоже.

Я обреченно молчал.

— И не напускай, пожалуйста, на себя вид человека, равнодушного к вещам. Хочешь малиновый сироп со льдом? Возьми в холодильнике. Я пойду переоденусь...

* * *

Рано утром, едва пошли первые трамваи, я выволок из комнаты свой раздобревший чемодан, стащил его с третьего этажа на улицу. До трамвайной остановки было метров триста.

— Надо ловить такси,— сказала Сабина.— Ты стой здесь с чемоданом, а я сбегая на угол Звыченцев и Саски, там больше движение. Но, ради бога, не двигайся с места.

Я стал ждать. Прошло десять, пятнадцать минут, а Сабина не возвращалась. Я глянул на часы и ахнул: до отхода поезда оставалось полчаса. И тут из-за угла вывернулось свободное такси. Вскочив в него, я попросил шофера завернуть на Звыченцев, где должна была стоять Сабина. Но ее не было. Пока мы рыскали по маленьким боковым улочкам в поисках Сабины, она в это время, поймав такси, возвратилась, как потом выяснилось, на Звыченцев и, увидев, что меня нет, помчалась на вокзал.

Махнув рукой, я попросил шофера как можно быстрее ехать туда же, проклиная свое нетерпение: надо было стоять на месте и ждать. Единственное, что меня извиняло,— это общее для всего человечества ощущение страха при мысли о том, что опаздываешь на поезд.

В эту рань улицы Варшавы были еще пустыньны. И, увидев впереди у Рондо Вашингтона выскочившее с Французской такси, я подумал, что это, возможно, та машина, в которой едет Сабина. Догнать ее было немыслимо, потому что она так же спешила, как и мы.

И вдруг я растерялся: вечером, в суматохе сборов, я забыл узнать, с какого вокзала уходит мой поезд. Сомнения эти были небезосновательными, ибо в Польшу я прибыл на станцию Варшава-Всходня, но есть еще и Варшава-Глувна, находятся они на противоположных берегах Вислы, которую я между тем пересек уже по мосту Понятовского, мчась к Варшаве-Глувной, вслед за такси, в котором, я полагал, ехала Сабина.

Вконец расстроенный, я поделился этими мыслями с шофером.

— Варшава — Бухарест? Все в порядке,— коротко и уверенно ответил он.

Мне пришлось положиться на него. Я утешал себя мыслью, что шоферы такси народ наиболее осведомленный и практичный.

Между тем где-то у пересечения Аллей Ерозолимских и Маршалковской мы потеряли из виду шедшую впереди машину: здесь, в центре, движение было гуще, она вскочила в довольно плотный поток...

В вагон я влез со своим чемоданом буквально за пять минут до отправления. В это время к окну подошла Сабина. Она была совершенно спокойна, улыбалась и протягивала мне какой-то сверток.

— Я всю жизнь учу Яна: если я пошла искать такси, не двигайся с места, — сказала она. — У тебя и у него никакой логики. Сплошные импульсы...

Мы попрощались. Поезд медленно тронулся. Я видел, как по перрону удалялась Сабина. Замелькали пригороды Варшавы. Но еще долго был виден шпиль громадного Дворца культуры и науки.

Недалеко от него, на площади, у киосков и импровизированных прилавков к полудню соберется много народу — традиционная книжная ярмарка, День советской книги. Там будет весело, шумно, но и торжественно в разноликой, пестрой толпе варшавян, людей непринужденных, искренних и в серьезности, и в смехе.

* * *

Через две недели я неожиданно получил от Яна плотный пакет. Неожиданно, ибо расстались мы вроде недавно, писать было, собственно, не о чем. Да и давние отношения наши сложились так, что в год мы отправляли друг другу три-четыре письма, по телефону обменивались праздничными поздравлениями.

Итак, заказной пакет. Вероятно, какая-нибудь книга, решил я, расписываясь в реестре у почтальона. Однако, вскрыв, увидел объемистую пачку бумаги, забитой мелким машинописным текстом. Ян всегда писал на своей машинке «Колibri», таская ее за собой во все поездки.

Это уже было что-то новое для Яна при телеграфной краткости обычных его писем — многостраничное послание, схваченное большой канцелярской скрепкой.

Отложив все дела, я сел читать.

ПИСЬМА ЯНА

«Если ты внимательный человек, то заметишь, что до сих пор я разъезжаю по Труймясту¹ и его окрестностям. И мерзну. Сабина оказалась права. Второй раз в жизни. Первый раз она точно угадала, что лысеть я начну в тридцать лет. Сейчас угадала вторично: вопреки ее предостережениям, я поехал сюда, захватив легкий плащ, предвидя лишь милый весенний дождик. Но оказалось, помимо дождя бывает еще

¹ Т р у и м я с т о — три города на балтийском побережье Польши: Гданьск, Сопот, Гдыня. (Здесь и далее примечания автора.)

и холодный ветер с моря. Температура $+8$. В гостинице уже не топят — отопительный сезон окончен. Мерзну, но согреваюсь мыслью, что в курортном нашем Закопане еще веселей — выпал снег. Сам видел по телевизору, как на зелень, на цветы и на ранних туристов в шортах падал снежок — такой беленький, симпатичный. Правда, Вихерек¹ утешительно сообщил, что это всего-навсего «редкое явление природы». Конечно, лучше бы это произошло на Гавайских островах — там это действительно было бы редкое явление.

Теперь о главном. Сижу здесь так долго, ибо пан Ежи Свидрак, о бурной жизни которого я должен был сделать 150 строк, исчез. Едва он в Гдыне ступил на землю своей горячо любимой родины — и как в воду канул (дай бог, чтоб не в балтийскую — брр-р!). Дальнейшие события показались мне столь занимательными, что я, забыв о холоде и непогоде, дал своему редактору телеграмму с просьбой продлить мне командировку. Заботясь о тираже еженедельника, он согласился. Все мы, грешным делом, любим раздел «Происшествия». Одни не скрывают этого, другие — ханжески морщатся, но читают, хотя и тайно.

Ситуация же складывалась так, что у меня возникла смешная мысль описывать тебе ее развитие в письмах. Тот случай, когда сюжет не придумашь. Заранее ничего не знаю. Надеюсь, все кончится комически, но начало, как видишь, уже завлекательное — исчез драгоценный пан Ежи Свидрак.

Представляю себе лицо своей тещи! Она всегда считала, что Сабина могла удачней выйти замуж. Теще так не хватает возможности говорить своим знакомым: «Знаете, зять прислал мне из Мозамбика свежие ананасы. Он же аккредитован от своего еженедельника в Африке!..» Перебьется старушка. Но Сабине отольет пулю: «Вы что, так обнищали, что Ян вынужден сочинять пошлые детективы? Просто стыдно! Меня же в Варшаве все знают. И знают, что Ян твой муж. Если у вас нет денег, я заложу свое кольцо!» Никакого кольца у нее нет. Она его обменяла во время оккупации на два мешка картошки. Еще она не может простить мне, что мы венчались в случайном деревенском костеле на Жешувщине, а она, видишь ли, в Кракове, да не где-нибудь, а в Мариацком костеле перед алтарем Вита Ствоша². Ладно, бог с ней!..

¹ В и х е р е к — телепсевдоним диктора Варшавского телевидения, который сообщает сводку и прогнозы погоды.

² Уникальнейшее произведение искусства, созданное в конце XV века.

Все мои письма будут пронумерованы. Читай их по порядку.

И еще. Каждый, кто читает что-либо смахивающее на детектив, считая себя умнее автора, пропускает описание природы и прочие авторские отступления. Подавай ему только сюжет. Но бескультурье в чтении мстит: где-то на сотой, скажем, странице они обнаруживают, что не могут постичь связь событий и кто кого и за что. Приходится возвращаться назад, снова перечитывать отдельные страницы, отыскивать то, что упущено. Смотри не уподобься этим глупцам!

Итак — приступай! С этим вступлением посылаю первые три письма.

Обнимаю.

Я н».

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Прибыл пан Свидрак в полдень, в субботу. Шел беззвучный балтийский дождик, мелкий, как из пульверизатора парикмахера; конца ему, казалось, не будет. Стоя на причале, я посматривал на море. Небо над ним забило серо-синие, низко шевелившиеся тучи. Ничего хорошего ждать от них не приходилось. Такого же цвета и море. И если бы их поменять местами, ничего бы не изменилось. В тучах было столько воды, что они свободно могли бы стать морем, а море — небом. От этих великих мыслей меня отвлекал лишь ветер, носившийся над самой волной и свистевший меж бортами судов. Народу на причале было много. Кто-то кого-то встречал, какие-то делегации, представители фирм. Лайнер назывался «Биг Джерри», порт приписки — Бристоль. Белый красивый пароходик этажей в восемь. На таком прокатиться бы в тропиках, под знойным небом. В белых трусиках играть на палубе в теннис с беловолосой дочкой миллионера. А вечером в баре пить с нею «мартини». Можно даже не «мартини». И не с нею. И не там. А здесь, на причале, хватить бы полстакана «выборовой» и закусить сигаретой, чтоб согреться. Эти мысли, видимо, передались мне биотоками из головы Анджея Пославского, представителя Гданьской воеводской Рады Народовой, который вместе со мной прибыл в

нюрнбергским резчиком Витом Ствошем. Алтарь его работы во время оккупации был похищен немцами и лишь после войны возвращен польскому народу.

Гдыню встречать достопочтенного пана Свидрака. Анджей поднял воротник своего бежевого плаща и зябко поводил шеей. Руки он сунул глубоко в карманы. Я видел лишь синюю в пупырышках кожу на его скуле, и от этого мне становилось еще холодней.

От Пославского я узнал немного: Свидраку правительство разрешило вернуться на родину. Тут не было ничего удивительного: даже всякая неразумная тварь умирать уползает в свою берлогу. И еще узнал я, что жил он в Англии. И за все годы пребывания там в политику не лез, а молча и кропотливо сколачивал деньги.

— Вот он, спускается,— сказал наконец Пославский, указав на трап.— Интересно, сколько монет он отвалит в казну?

Мы протолкались поближе.

Свидрак оказался мужчиной лет под шестьдесят, плотный, в теплой коричневой куртке и в кожаной серой кепке.

Анджей представился. Поклонился и я. Гость посмотрел на нас, как на манекены в витрине, потом вдруг улыбнулся, топнул ногой по асфальту и закричал:

— Она! Земля! Здравствуй, земля! День добрый, панове! — и хлопнул меня по спине, стервец, так, словно я был возможным его наследником и, чтобы заслужить расположение дяди Ежи, мерз на причале. После этого патристического всхлипа он поставил свой элгантный саквояж из какой-то плотной ткани в белую и зеленую клетку к ноге, оглянулся на «Биг Джерри» и помахал кому-то рукой.

Больше стоять на мокряди было не вмоготу. Волны подросли, как на дрожжах, и ветер швырял их о камни причала, и я уже чувствовал на губах горьковатую соль Балтики. Мы утащили Свидрака в кафе «Фрегат», здесь же на морвокзале. В этом маленьком заведении варили вкусный кофе, и, сев в углу у окна, мы, обжигаясь, глотали его и обсуждали дальнейшую судьбу пана Свидрака.

— Завтра воскресенье,— сказал Анджей, обхватив ладонями горячую чашку.— Так что все дела начнем в понедельник. В Гданьске. Сегодня и завтра поживете здесь. Вам забронирован номер в отеле «Центральном».— Пославский выдрал листок из блокнота, протянул его Свидраку.— Запишите адрес отеля: Старовейска, один, и телефон на всякий случай — двадцать один восемьдесят сорок шесть.

Свидрак вытащил тонкий фломастер и зеленой пастой записал.

Пославский продолжал давать ему какие-то практические

советы. Я же прихлебывал кофе и курил. А Свидрак, снисходительно улыбаясь, слушал Анджея и на обратной стороне листка, на котором был записан адрес отеля, лениво малевал своим зеленым фломастером. Сперва он точным движением нарисовал окружность, затем пересек её другой, и овал, получившийся от пересечения, заштриховал ровными диагоналями, а полусферы — волнистыми линиями.

— ...С этим вообще задержки не будет,— продолжал бубнить Пославский.— В нашем посольстве вам, наверное, говорили. Машину вы могли и не продавать. Но это, в конце концов, дело ваше.

А Свидрак малевал. И меня это уже раздражало. Две пересекавшиеся окружности он уже заключил в квадрат и белое поле его заштриховал наглухо. Больше ничего он не мог придумать и, склонив голову, словно любуясь своей работой, принялся очерчивать новые круги, точные копии первых, повторил те же штриховые линии и квадрат. Давняя устойчивая привычка человека, не озабоченного вниманием к собеседнику. Дурное воспитание. Места на бумаге уже не было. Пославский излагал ему очередной параграф.

Свидрак, улыбаясь, спрятал фломастер, сунул листок в карман и, отвалившись на спинку стула, спросил вдруг:

— Коньяка хотите, панове?

Мы, разумеется, дружно отказались.

— У меня все,— сказал Анджей.— Можешь начинать,— повернулся он ко мне.

Я изложил гостю все, что мне требовалось от него. Добавил, что лично я человек нелюбопытный, но мои вопросы отражают специфику нашего еженедельника, читатели — народ разный: если одному достаточно знать, сколько лет герою репортажа, то другого интересует, сколько у него вставных зубов и кому заказывал он эти протезы.

Свидрак гладил полной короткопалой рукой седой ежик волос и все посмеивался, слушая меня. Затем, хмыкнув, навалился грудью на стол — я близко у своего лица увидел его серые, с молодыми чистыми белками глаза, чуть приоткрытые крупные губы.

— А зря пан такой нелюбопытный,— со странной улыбкой сказал он.— У Ежи Свидрака кое-что есть для пана такое, на чем пан может сделать хорошую карьеру.— Он снова откинулся назад.

Я поблагодарил его, сказав, что с моей карьерой все давно улажено, но если он действительно расскажет что-нибудь интересное, редакция будет ему признательна. И тут

я подумал, что все время, пока Анджей нудно объяснял ему, что и как, Свидрак, казалось, даже и не слушал его, а, малюя, улыбался чему-то другому, вроде ожидал, в какой роли перед ним выступлю я. На все слова Пославского об отеле, о формальностях, которые предстоит исполнять в понедельник в Гданьске, о вещах, которые доставят в отель, своим молчанием и улыбкой он словно отвечал Анджею: «Это пустяки, панове. Я знаю, что у вас все отрегулировано, никакой запинки не будет. И не нужно так много слов».

И будто в подтверждение этих мыслей, он сказал:

— Хорошо. Поскольку завтра воскресенье, значит, все дела переносим на понедельник, на утро. С вами тоже,— обратился он ко мне.— Все будет, как нужно. И не беспокойтесь: Труймасто я знаю не хуже вас, хотя не был здесь почти четверть века. Не заблужусь.— Он встал, цепко схватил саквояж.— За кофе плачу я, панове. Благодарю вас.

Нам ничего не оставалось, как попрощаться с ним...

Ритуал знакомства с нашим возвращенцем был исполнен, как видишь, без чопорности и звона колоколов. О первом впечатлении ничего определенного сказать тебе не могу. Держался он с достоинством и даже чуть снисходительно. То ли это от сознания, что богат, то ли для того, чтобы к нему не лезли с лишними вопросами. Все, что нужно, полагаю, он уже изложил в бумагах, когда подавал заявление с просьбой разрешить ему вернуться. Анджею не стоило расспрашивать о его впечатлении. Он был зол на погоду, на то, что пришлось тащиться сюда и мокнуть. Худое лицо стало серым, словно парня мучила язвенная изжога, а соды под рукой не оказалось. Для Пославского это — всего лишь служба, и никакие психологические нюансы его не волновали: он был человеком, исполнявшим протокол.

Мы вышли из морвокзала. Дождь все еще шел. Пока Анджей плелся к машине, я смотрел на громадные камни монумента «Дети моря», одиноко торчавшего на безлюдной площади, с тоской думая, что полсубботы и воскресенье пропали. Куда девать столько времени?

Анджей молчал до самого Сопота, всматриваясь в серую полосу шоссе. Пощелкивали «дворники», качаясь перед глазами вправо-влево. И тут Анджей сказал:

— А ты заметил, он не произнес ни одного английского слова. Я-то уж знаю этих возвращенцев! Проживут где-то два десятка лет, а потом в языке такая тарабарщина! Вроде: «Что вы ели сегодня на динер?» Или: «Я приду через один момент!»

— Ну и что это должно означать?

— Ничего.

— Так почему ты обратил на это внимание?

— Потому что другие говорят уже не так правильно, как Свидрак,— спокойно ответил Анджей.

— И все? — удивился я.

— Все.

— У тебя удивительная способность к анализу,— усмехнулся я.

Но он не обиделся.

В Сопоте возле самого мола Анджей подкатил к павильону. В зале мы оказались единственными и потому самообслужились быстро: взяли по порции печени по-римски с макаронами и по бутылке пива. В эту пору межсезонья Сопот был пустынный и тихий. Я подумал, что это и есть самое хорошее время для отдыха здесь. На молу, где ревел ветер, срывая с гребней волн всклокоченную пену, не было ни души. В разгар сезона гиды водят на мол туристов. Людей всегда подавляют цифры и успокаивает тщеславие, что они видели «самое-самое»: этот прогулочный мол один из «самых» длинных в Европе — 512 метров. У меня никогда не возникало желания проверить это шагами, тем более сейчас. Я жевал остывшую печень и холодные макароны и думал, что Анджей все же не случайно обратил внимание на то, что Свидрак, прожив в Англии почти четверть века, так естественно грамотно говорил по-польски. Может, он хотел подчеркнуть, что о с т а л с я тем, кем и был,— честным поляком, случайно отсутствовавшим около двадцати пяти лет?!

И тут опять Анджей сказал:

— Понимаешь, все-таки он вернулся. И заметь: не умирать. Знаешь, как некоторые: возвращаются, чтобы их похоронили в родной земле, в фамильном склепе.

— А почему же он не приехал в сорок восьмом, когда его приглашали на процесс свидетелем? — подталкивал я Пославского.— Чего он боялся?

Он отхлебнул пива, отодвинул тарелку и, сунув руки глубоко в карманы своего бежевого плаща, сказал:

— Времени, возможно.

— Не понимаю.

— Потерпи до понедельника. Потолкуешь с ним сам.

— Но что ты думаешь об этом?

— А что я могу думать? Я же не спрашивал у него! Откуда мне знать, что у него на уме! — с детской наивностью ответил Анджей.

— Ты что, дразнишь меня? — разозлился я.

— Нет, зачем же?! — спокойно удивился он. — Поехали...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Проснулся я оттого, что за окном, выходящим во двор, пели песни и кто-то бренчал на гитаре. Я вспомнил, что занимаю не номер в гостинице, а комнату в общежитии партийной школы на улице Кароля Сверческого, куда меня устроил Анджей. Как выяснилось позже, эти веселые люди с гитарой — молодые парни и девушки, обучающиеся в этой школе, — собрались ехать на экскурсию в Мальборк. Ну, бог им в помощь!

Знаешь, при всей моей любви к поездкам мне всегда в них недостает самой малости — домашнего комфорта. И, лежа в постели, перелистывая вчерашний номер «Политики», я думал о завтраке, который сейчас, будь я дома, приготовила бы Сабина. Все-таки мы с тобой самые обыкновенные домашние тараканы. Наши жены прекрасно об этом знают. Когда мы проявляем свой характер, стараясь куда-нибудь смыться, они, посмеиваясь в душе, дают нам возможность почувствовать себя самостоятельными и свободными мужчинами. Они понимают, что мы, как таракашки, все равно приползем домой вкусно поесть и отогреться. А то, что мы, заблуждаясь, будем думать, какие мы самостоятельные и независимые, их не смущает: наше самоутверждение им ничего не стоит.

Но поскольку Сабина в Варшаве, а я здесь и завтракать меня никто не позовет, я отправился в буфет тут же при общежитии. Две переварившиеся сосиски и экономно заваренный кофе немного приглушили мои трезвые размышления. Мне уже захотелось выбраться из четырех стен на волю, где я могу один, не подчиняясь ничьим прихотям, ходить по улице и смотреть на те витрины, которые нравятся мне, останавливаться у тех афиш, какие интересуют меня, думать о том, что ноги женщины, попавшейся навстречу, следовало бы обуть в более изящные туфли и в чулки потоньше.

На улице тем временем ничего особенного не происходило, несмотря на всю мою бодрость. Дождя уже не было, сизые тучи, сбросив излишек воды, поднялись повыше, в просветах даже чувствовался намек на солнце. Но ветер не утихал, и вода в грязном канале у Рыбачьей набережной морщилась, словно ее знобило...

Все это я пишу тебе уже вечером, дела никакого нет и поболтать не с кем.

Что же дальше? Отправился я в центр. Служба в Мари-ацком костеле уже закончилась, и я двинулся к нему, продираясь меж теми, кто, выслушав божье слово, покаялся, а теперь шел согрешить. Возле костела все еще продолжалась суета: люди из кардинальской свиты убирали провода и снимали динамики. В общем, делалось дело. В костеле было уже тихо, какие-то люди еще отирались по его углам и закоулкам, но они были так же заметны здесь, как муравьи на футбольном поле стадиона Десятилетия. Стены и своды белые, голые, отчего костел кажется еще выше и бесконечней, как белые пески пустыни. И от всего этого люди должны ощущать себя еще ничтожнее, когда вступают в этот предел господень. Всевышний словно твердит, глядя на этих козявок: помните, сколь вы малы, если вас столько умещается в одном храме, и в этом ничтожестве вашем смысл моего величия, посему пригнитесь еще ниже, ниже, вот так! И помните, что сотворил я вас для того, чтобы вы выполняли мою волю...

Я подошел к одной из ниш, к фигурке Христа-мученика с терновым венцом на голове. Окно в нише было забрано черной тюремной решеткой с надписями — названиями концлагерей, где сидели и погибли ксендзы. С потолка свешивались полотнища из полосатой ткани, вроде той, что шла на одежды лагерников. И на ней — номера, под которыми узники-ksenдзы числились в концлагерях.

Рядом стоял пожилой человек и что-то записывал в блокнот. По-моему, названия лагерей и номера узников. Писал он отличным «паркером» — черным, инкрустированным золотыми пластинами. Похоже было, что это турист-чужеземец — и по облику, и по одежде он как-то выделялся: бледное вытянутое лицо, толстые тяжелые линзы очков в элегантной оправе, редкие, плотно прилегшие к черепу светлые волосы, легкий плащ на тонком слое белого меха, темно-серый в полосу костюм, и на фоне голубовато-белой, без единой складочки рубахи — темный галстук с полосой, по цвету такой же, что и на костюме. Надеюсь, теперь ты представил себе этого человека. Да, еще ботинки: черные, с накладным дырчатым узором, на высокой подошве. В общем — то, что нынче модно, хотя и выглядит грубовато.

Мы стояли вдвоем, надо было что-то сказать. И я произнес:

— Остроумно, не правда ли? — и указал на нишу.

Он посмотрел на меня сквозь сильно утолщенные к

центру линзы таким взглядом, словно иностранцем здесь был я и он не может понять, что, собственно, остроумного я углядел в этой нише.

— Вы так полагаете? — спросил незнакомец, закрывая золотым колпачком золотое перо своего «паркера». — Остроумно? А что же именно? Это? — указал на фигурку Иисуса-мученика. — Или это? — повернул он лицо к полотнищу.

«Милый мой, да ты немец!» — понял я, услышав его акцент.

— Я имел в виду, что в этом есть мысль, — поправился я.

— О да!

— И вас она не смущает? Вас — немца?

Он рассмеялся:

— Слово «немцы» вмещает в себя миллионы людей. Зачем же воспринимать его как однозначный символ? Я понял вас. Нет, не смущает...

Мы вышли из костела. Площадь была уже пуста. Я предложил немцу зайти в «Марысеньку» выпить по чашке кофе. Народу в кафе было много, и нам пришлось ждать, пока освободится столик.

— Говорят, она была красивая женщина? — спросил он.

— Кто? — не понял я.

— Марысенька, жена Яна Собеского.

— У наших королей был хороший вкус и возможность удовлетворять его, — улыбнулся я, понимая, что он просто хотел проявить свою осведомленность в польской истории.

Затем, когда мы сели, он сказал:

— Вернемся к разговору у ниши. Вы спросили, не шокирует ли меня, немца, подобное напоминание о нашем и вашем недавнем прошлом? Лично меня нет. Я — католик. В свое время, может быть, случайно избежал участи тех ваших священников. И мысль церкви воздать им должное в той форме, в какой это сделано в костеле, близка и даже приятна мне. — Он говорил по-польски неплохо, правильно строя фразу. — Мне неприятно другое. Лозунги, которые вы повесили. Вы видели — на Длугом Тарге и над каналом. Зачем это? Ненависть всегда ненасытна. Зачем же еще подкармливать ее на протяжении десятилетий?

Я понял. Он имел в виду красные транспаранты, на которых было написано: «Мы были здесь, мы здесь, мы будем здесь» и «Не забудем, не простим!»

— Видите ли, мы, поляки, веселы, ироничны и даже легкомысленны. Но только не в том, что касается нашей истории. Вторую мировую войну Гитлер начал здесь, в этом нашем

городе. Судьба его особая: на сто сорок лет его захватили крестоносцы, потом на много лет — пруссаки. Мы ни у кого не отняли этот город, просто возвратились сюда. А сейчас мы празднуем тысячелетие Польши.

Он улыбнулся:

— Тысячелетие Польши? По-моему, тысячелетие католической церкви. Я видел эту цифру на костелах. Впрочем, это одно и то же.

— Ну нет! — ухватился я. — Не надо отождествлять. Кардинал хочет праздновать тысячелетие католической церкви — пусть, это его дело. У нас более реальные основания называть этот праздник тысячелетием Польши: мы наконец собрали все свои земли, которым тысяча лет! И лозунг «Не забудем, не простим!», показавшийся вам злопамятным, полякам ближе, чем идея кардинала: «Поймите нас, и мы простим». Нам нечего извиняться, — врезал я. И тут же разозлился за серьезность, с какой объяснял ему то, что понятно всем, кроме тех, кто не хочет этого понять. Но он все-таки что-то хотел понять, потому что сказал:

— В этой идее нет ничего ни парадоксального, ни унижительного для поляков. — Он элегантно отставил чашечку и сцепил пальцы — такие холеные, словно он ими всю жизнь прикасался только к воздуху. — Это просто христианское желание объединить людей, здесь не политика, а философия. А вы воспринимаете все очень утилитарно, каждое слово. Ужас для человечества заключается в том, что люди выбирают из слов ближнего только то, что соответствует лишь их представлениям о жизни. Все остальное остается без внимания. Никто не хочет заставить себя хотя бы вслушаться в те, отвергнутые, слова, чтобы постичь, почему их произнесли.

— Может быть, так, а может быть, нет, — сказал я, встретив взгляд хорошенькой шатенки, кормившей малютку пирожным. — А может быть, наоборот — из-за словоблудия, из-за обилия звуков и букв люди, запутавшись в них, не могут понять сути того, что они говорят друг другу. — С тоской я смотрел, как шатенка, расплатившись и вытерев девочке руки салфеткой, пробиралась между столиками, ее бедра натягивали платье, словно надували его.

И тут немец сказал:

— Мы возим нашу молодежь — студентов и старшеклассников — в места, где были концлагеря. В каникулы. Эти юноши и девушки по возможности выполняют там работу, которой занимались узники. И делают они это с охотой. Я бы даже сказал, со страстью...

Мне не хотелось его обижать, и я лишь спросил:

— Так сказать, трудовое воспитание?

— Ну что вы! — удивился он. — Нравственное! Именно в этом смысл подобной затеи. Неплохо, чтобы и в Польше мы имели такую возможность. Скажем, в Штуттхофе и в Аушвице¹. Это одна из целей моей поездки в Польшу. Я хочу заручиться поддержкой вашей церкви, чтобы затем начать разговор с властями. — Он выпрямился и, оглядев зал, вздохнул. — И еще хочу посетить места, где я бывал.

— Во время войны? — спросил я.

Он кивнул.

— Вы не будете возражать, если что-либо из нашей беседы я использую как журналист? — осенило меня.

— При условии, что я получу возможность сначала ознакомиться с текстом.

— Где вас искать?

— До тридцатого мая я буду в Восточном Берлине гостить у брата. Потом уеду домой. Я живу в Кельне. Вот, пожалуйста, — он протянул мне глянцевую визитную карточку, на которой было напечатано: «Доктор Франц Вильгельм Занне. «Новое католическое издательство». Кельн».

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Так вот: Свидрак исчез. Об этом я сообщил тебе в предисловии к своим письмам. Выяснился этот факт в понедельник утром, когда за мной зашел Пославский.

Когда я оделся и привел себя в порядок, готовый идти на встречу с Ежи Свидраком, Анджей, развалившийся на стуле, произнес:

— Не спеши. Тебе сейчас там нечего делать.

— Не понимаю.

— Он исчез.

— Свидрак исчез?!

— Свидрак.

— То есть как?

Анджей лениво пожал плечами:

— А черт его знает как!

— У тебя что, слова — по лимиту, как бензин?! — вскипел я. — Расскажи толком, что произошло!

Не поднимаясь, Анджей включил приемник на низеньком столе. Пославскому вдруг понадобилась музыка, и он нудно

¹ А у ш в и ц — немецкое название Освенцима.

шарил по шкале. Удовлетворившись гуральскими песнями, он наконец изрек:

— Я позвонил ему в Гдыню в номер, чтоб узнать, как он устроился. Телефон не отвечал. Дежурная по отелю сказала, что в субботу он привез вещи, примерно с час побыл у себя и ушел. Ночевать он не явился ни в субботу, ни в воскресенье.

— Интересно, — задумчиво сказал я.

— Ты так думаешь? — удивился Анджей.

— Это я просто риторически, — ответил я, усаживаясь на постель и соображая, что мне теперь делать.

— Пойдешь со мной? — спросил Анджей.

— Куда?

— В милицию. Надо же сообщить. Человек пропал.

— Ладно, пойдем, — согласился я.

В милиции у Анджея оказалось много знакомых. Пока мы шли по коридору — он впереди, я чуть сзади, — он то и дело раскланивался. Я удивился, что такой не очень коммуникабельный экземпляр, как Анджей, имеет столько знакомых, но вспомнил, что после окончания юридического факультета он несколько лет работал в милиции.

Наконец мы вошли в кабинет, где какой-то мужчина, стоя к нам спиной, возился у открытого сейфа. Потом он повернулся к нам, держа в одной руке фотоаппарат, а в другой папку. В углу рта у него дымилась сигарета, и мужчина жмурил правый глаз, — видимо, дым попал. Положив папку и фотоаппарат на стол, он первым делом выдрал изо рта сигарету, а потом уже отреагировал на наше появление в его кабинете и, жмуря глаз с набухшей в нем слезой, поздоровался с Анджеем:

— Никак Пославский! Привет!

— Знакомься, это товарищ из Варшавы, из редакции. Мой однополчанин, — кивнул на меня Анджей.

Мужчина протянул руку.

— Тим, — представился он. — Это моя фамилия. А зовут Мацей. Садитесь. Как живешь, Анджей? — он на мгновение повернул голову к Пославскому и тут же начал листать какие-то бумаги в папке. Был этот Мацей Тим приблизительно нашего возраста, чуть за сорок. Толстячок с добродушным румяным лицом человека, у которого нервная система, похоже, включалась и выключалась по его команде.

— Хорошо живу, Мацек, — ответил Анджей. Вопрос Тима не прозвучал для него праздно, как стандартное привет-

ствие.— Хорошо живу, Мацек. В прошлый понедельник забрал Баську из больницы и питаюсь уже дома.

— Тогда ты молодец,— хмыкнул Тим, не отрывая головы от бумаг.— А мы живем плохо. Скоро из этих бумаг будут торчать только наши уши.— Он вдруг захлопнул папку и, отпихнув ее от себя, поднял на нас синие веселые глаза.— Знаешь, иногда утром прихожу сюда, и кажется мне, что весь мир погряз в этом дерьме,— он придавил папку фотоаппаратом.— Как это говорится в пословице: «Когда ты в театре — кажется, что весь город в театре, а когда на кладбище — кажется, что весь город на кладбище». Но ты теперь далек от этого. И, может быть, правильно сделал, что сбежал от нас.

— Я не сбежал, Мацек. Я просто не сработался с Грохвяком... Ты это знаешь сам.

Мне начинала надоедать их семейная беседа, и я выразительно глянул на Анджея.

— Слушай, тут вот какое дело,— без перехода обратился он к Тиму,— исчез человек.

— Найдется,— Тим посмотрел на меня, словно исчезнувший — мой родственник, а я здесь в качестве просителя, которому оказывают протекцию.— Кто таков? — спросил Тим.

Кратко и ясно Пославский без лишних эмоций изложил Тиму суть дела. Тот, добродушно улыбнувшись пухлыми губами и засияв невинными глазами, спросил:

— А почему ты, Анджей, думаешь, что у нас не хватает работы? Зачем ты мне подваливаешь еще одно дельце, когда я хочу расчистить свои конюшни накануне министерской комиссии? Более двадцати лет он прожил в Англии! Кстати, и попал он туда, как ты говоришь, не по нашей командировке. Вот если бы это был просто приезжий, который украл в гостинице одеяло и сбежал или обокрал своего соседа по номеру,— тут уж я бы сразу взялся за дело.— Тим встал и хлопнул Пославского по плечу.— Посидите, я сейчас вернусь.— И он вышел из кабинета, захватив листок бумаги, на котором записал то, что Анджей рассказал ему о Свидраке.

— Здесь все такие? — спросил я Анджея.

— Какие?

— Юмористы.

— Зря ты. Он отличный человек. И работник — дай бог!

— А зачем этот спектакль?

— У него несколько нераскрытых дел висит, а я ему сую

Свидрака, черт бы его взял! Ты не думай, что Мацек розово-щекий простачок. Три года он гонялся по лесам за бандами НСЗ¹. И они за ним — тоже. Он, может, не знает речей Цицерона, но в своем деле сумеет доказать, что два плюс два — не всегда четыре.

— А это часто бывает?

— Что?

— Ну, два плюс два...

— Тут бывает, — показал Анджей на пустой стул Тима. — И ты этот тон оставь, Янек, не то уедешь с пустым блокнотом.

— Ну вот, все в порядке, — сказал, входя, Тим.

— Нашелся? — спросил я.

— Так нельзя, — ответил он, покачав головой и усаживаясь за стол. — Если я буду так быстро заканчивать все дела, начальство меня совсем завалит работой. Чем лучше и быстрее работаешь, тем больше тебе доверяет начальство, но у нас прогрессивной оплаты не существует, — усмехнулся он, отклеивая от губ окурок. — Значит, договоримся так: я уже скомандовал, чтоб поискали в Гдыне, в Сопоте и тут. Если к вечеру ничего не будет, съездим в Гдыню, угощу вас ужином. Рыбу с белым соусом любите? — обратился он ко мне. — Я знаю одно заведение, где ее очень вкусно готовят...

Когда мы с Анджеем вышли, начал накрапывать дождь, и я понял, что сейчас отправлюсь к себе в комнату и лягу спать. Мой интерес к Свидраку вдруг пропал, я был рад, что занимается им кто-то, а не я; ощущение легкости при этой мысли наполнило меня благодушием, безмятежностью и нежеланием что-либо делать. Я получил разрешение редактора «действовать, исходя из обстоятельств». Единственно полезное, что я мог извлечь из этой мудрой формулы сейчас, — это завалиться спать. Фундаментально: раздевшись, под одеялом, слушая, как шуршит за окном дождик. И не так, как дома: сидя в кресле подремывать, пока Сабина, носясь из комнаты в комнату в распахнутом халате, хлопает его полами меня по лицу.

— Ты знаешь, что такое сон? — спросил я Анджея.

Он посмотрел на меня как на идиота. Видимо, его занимали более серьезные мысли, но мне не хотелось сейчас

¹ НСЗ (Народове силы збройны) — националистические формирования, возникшие в годы войны, занимавшиеся террористическими актами против патриотов, боровшихся за освобождение страны от оккупантов.

ничего серьезного, искать Свидрака — забота милиции, и я сказал Анджею:

— Сон, милый мой, это лучшее блюдо на пиру природы. В этой банальной-сентенции большая правда, Пославский. И это я сейчас проверю на собственном опыте.

— А как нам проверить, где эти две ночи спал Свидрак? — отозвался Анджей. — Это тебя не занимает?

— Постольку поскольку. Возможно, он где-то пропьянствовал и подвел меня.

— Подвел. В этом слове уже есть кое-какой смысл. — И Анджей вдруг заговорил. Я даже не предполагал, что в нём упрятано так много слов. — Давай вернемся на двое суток назад. Помнишь, как он сказал: «...завтра воскресенье, значит, все дела переносим на понедельник, на утро». И добавил лично тебе: «С вами тоже». То есть он договорился с тобой встретиться сегодня утром. Заявил это деловым тоном. И вот запьянствовал и подвел. Теперь подумаем: похож ли он на человека, который, зная, что у него в понедельник с утра деловые встречи, махнул на них рукой и после пьянки где-то сейчас отсыпается? Учти, он более двадцати лет прожил в Англии, где к деловым встречам относятся очень серьезно. И если назначают время, то соблюдают его. Тем более что он был там хотя и маленьким, но бизнесменом — владельцем какой-то небольшой фирмы. И еще — он сказал тебе: «У Ежи Свидрака кое-что есть для пана такое, на чем пан может сделать хорошую карьеру».

Теперь я уже удивился цепкой памяти Анджея: как точно он цитировал Свидрака! А тогда казалось, он и не слушал его.

— Итак, — продолжал Анджей, — маленький бизнесмен, деловой человек Ежи Свидрак, впервые встретившись с польским журналистом на польской земле, где он не был более двадцати лет, и договорившись с ним о встрече, плюнул на все и сорвал встречу. Логично ли? Мог ли он, человек, по сути дела не столько вернувшийся домой, сколько приехавший за границу — понимаешь, мы для него еще за граница, — пренебречь возможностью встретиться с представителем прессы? К этому вопросу можно подойти и с другой точки зрения: отказал бы себе так легкомысленно поляк, который так долго не был на родине, в чести встретиться с тобой, польским журналистом, приехавшим специально ради него из Варшавы? Не забудь, он не из аристократов, а из той среды, где тщеславие регулирует очень многое в поведении людей. Есть еще один момент: из Польши он не

уехал, а сбежал. И вот сейчас, возвратившись, зная, что в понедельник утром он должен решать с официальными властями ряд вопросов, связанных с его дальнейшей жизнью у нас, так вот, мог ли он позволить себе такое легкомыслие?! Но факт есть факт: Свидрак подвел, если вернуться к твоему определению,— сказал Анджей и наконец перевел дыхание.

— Что же ты хочешь доказать этим психологическим упражнением? — не унимался я.

— Может быть, подвел не он, а его подвели какие-то обстоятельства, притом серьезные? — Анджей пожал плечами.

Мы стояли на углу Гроблой и Святого Духа. Здесь было не так холодно, старые, вплотную примыкавшие друг к другу дома прикрывали нас от ветра, дувшего с моря. Сыпался мелкий прямой дождь.

Все могло быть так, как говорил Анджей. Но могло быть и так, как подумал я: Свидрак запьянствовал и сейчас где-то отсыпается. В этом была своя простая житейская вероятность. В том, что высказал Анджей, было логическое обоснование. Поэтому я не мог отмахнуться от его слов, тем более что он не утверждал, а рассуждал.

— Значит, до вечера,— сказал Пославский, поднимая воротник своего бежевого плаща.— Я в воеводский комитет партии. А ты теперь можешь идти спать...

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В Гдыню мы поехали на служебной «Варшаве» Тима. Было около девяти вечера. Серые огрузшие тучи нависли над побережьем. Туман, как вата, висел меж стволами сосен, вползал в глубину леса, тянувшегося по возвышенности над шоссе.

В домах Сопота свету было мало, лишь пылали окна отеля «Орбис-гранд». Через месяц-полтора здесь будет повеселее, нахлынут отдыхающие, туристы, в «Ванде», в «Марии» — в этих пансионатах-ульях — номер достать окажется невозможным. Где же в эту пору буду я? Мы с Сабиной пока не решили, куда поедem отдыхать. Хочется, конечно, по-туристски в Ялту, на солнышко, выпарить из своего тела хотя бы те излишки сырости, которые оно впитало и еще впитает за дни моего пребывания здесь...

Эти мысли навевала черная полоса шоссе и повизгивающие на поворотах тормоза. Перед моими глазами торчал тяжелый затылок Тима.

За несколько часов, что мы не виделись с Тимом, он и его люди во всем Труймасте успели кое-что проделать, но — ничего утешительного. Выяснилось, что гражданин Ежи Свидрак милицией не задерживался, несчастного случая с ним не произошло: ни в «Скорой помощи», ни в больницах, ни в моргах такой не числился. Что дальше собирался предпринять Тим, я не знал. На вопрос Анджея Тим засмеялся и сказал:

— Поедем в Гдыню. Я же обещал вам рыбу в белом соусе.

Шофер, должно быть, знал место в Гдыне, куда собирался везти нас Тим. Мы стояли у светофора на улице Победы, когда Тим вдруг сказал водителю:

— Ну-ка сверни на Шленскую, заглянем к одному человеку.

Вскоре мы остановились у старого дома, поднялись на второй этаж, вышли на внутренний деревянный балкон, опоясывавший весь дом, и у одной из дверей Тим позвонил. Как правило, вход в таких домах идет через кухню. Я сразу почему-то представил себе, как может выглядеть квартира, куда привел нас Тим: старая кухонная плита из голубого кафеля, которой уже давно не пользуются, потому что рядом — газовая четырехконфорка; глубокая чугунная доверенная раковина фирмы «Феррум» с булькающим медным краном над нею; а дальше комната — узкая, с высоким потолком и перед нишей тяжелая цветастая занавесь...

Дверь открыла женщина, и, когда полоса света упала на Тима, она воскликнула:

— Мацек! Вот уж не ждала! Проходи!

— Я не один, Анна, — Тим оглянулся на меня и Анджея. — Я с друзьями. Они помогают мне, — усмехнулся он и кивком позвал нас.

Кухня была точно такая, как я и предполагал, только кафель не голубой, а зеленый. Ну да это неважно. А вот женщина оказалась полной неожиданностью для этой кухни: в элегантном стеганом нейлоновом халате. Было ей около сорока, но красота и порода словно ждали этой поры, чтобы в утешение проступить поярче: высокая, стройная, она была на голову выше толстяка Тима.

— Хорошеешь, Анна, — подмигнул ей Тим.

— В ваших глазах. Чем вы старше, тем мы лучше кажемся вам, — улыбнулась она большим красивым ртом. — Да и работа у Збышека такая, что я должна быть все время лучше тех, кого он возит, — не стесняясь меня и Анджея,

сказала женщина и закурила.— Ну, а как ты, Мацек? Выпьете что-нибудь? — спохватилась она.

— Нет, Анна, спасибо,— Тим помахал толстопалой рукой,— не тот случай. Как Збых? Как заработки? Много ездит?

— Все как и должно быть у таксиста. Ездит. Ты, конечно, к нему? Он к одиннадцати вернется. Будет жалеть, что ты его не застал!

— Вот что: скажи ему, пусть заглянет в «Снежку».

— Не люблю, когда он ходит туда.

— Что поделаешь, иногда надо. Да ты не бойся: он у тебя однолюб!

— Все вы однолюбы, когда дома,— засмеялась она.— Ладно, передам. Появляйся, Мацек, не забывай нас. В нашем возрасте уже поздно заводить новых друзей.

Когда мы сели в машину, Тим, сняв берет и поглаживая жирный затылок, повернулся к Анджею:

— Как думаешь, поедem сперва в «Снежку» или посмотрим номер Свидрака?

Пославский долго молчал, видимо что-то прикидывая, и, не дождавшись его ответа, Тим сказал:

— Нужно бы, а?

— А что ты хотел в «Снежке»? — спросил Анджей.

— Там всегда бывает разный народ.

— Может быть, он в номере оставил какую-нибудь записку? — мудро изрек я фразу, давно вертевшуюся в голове. Меня удивляло, что они до сих пор не высказали такого предположения. И вот я не сдержался — изрек.

Анджей и Тим переглянулись, и я понял, что это случай, когда меня осмеют, чтобы впредь я не лез со своими банальными советами. Но они проявили деликатность взрослых, наблюдающих с пониманием, как среди бела дня ребеночек писает в людном сквере у кустика.

— Понимаешь,— вдруг на «ты» обратился ко мне Тим,— это полагалось сделать с самого начала, но не хочется сразу такой шум поднимать. Все-таки отель! А вдруг твой Свидрак заявится еще сегодня или завтра утром?! Коряво получится.— Помолчав минуту и посмотрев на Анджея, Тим все же сказал: — Ладно, сперва в отель! Давай в «Центральный»,— сказал он шоферу...

— Сядем,— остановил меня Анджей, когда мы вошли в холл.— Мацек сам договорится.— Тим стоял у конторки администратора и что-то говорил женщине, одетой в темный строгий костюм.

Присев, я стал разглядывать рекламные плакаты, приглашавшие совершить путешествие. Все на них выглядело прекрасно: пейзажи, заманчивые названия, юные девы в бикини, длинноногие и белозубые. Тим уже куда-то звонил. И, увидев его полнощекое веселое лицо, добродушно подпертое рукой с зажатой в ней телефонной трубкой, я на мгновение представил его себе в каком-нибудь таком экзотическом месте, куда приглашает плакат, рядом с этой девицей в бикини. О чем бы он с ней говорил? Этого я представить себе не мог, хотя он, как полагаю, видел и знал о жизни столько, сколько человеку даже не нужно...

Тут Тим подошел к нам, сел в кресло и сказал:

— Я вызвал Врону сюда. Помнишь его? — спросил он Анджея. — Служил на флоте, после демобилизации пришел к нам. Сейчас поручник¹, здесь в розыске работает. Хорошо знает Гдыню.

Минут через пятнадцать появился этот Врона — высокий изящный паренёк в глянцевого плаща поверх модного тяжелого свитера домашней вязки. Завидя Тима, спокойно, не суетясь поздоровался с ним, кивнул Анджею, мельком скользнул взглядом по мне и сказал:

— Я возьму ключ от номера.

— Пусть администратор с нами пойдет и еще кого-нибудь захвати. Можешь его, — показал Тим на швейцара.

В номере Свидрака было душно, как-то не по-жилому аккуратно. Все стояло на своих местах. Потом по просьбе Тима позвали женщину, обслуживающую этот номер. Тим попросил всех постоять у двери, а сам с Вроной медленно обходил комнату, выдвигал ящики в тумбочке у постели, в письменном столе, раскрывал шкаф; склонившись, смотрел на поверхность стола, на котором лежал распечатанный блок сигарет «Филип Моррис».

— Кто застилал постель? — спросил он у коридорной. — Вы?

— Я, — ответила та.

— Когда?

— Еще в субботу, перед тем как заселили этот номер.

— А вчера и сегодня?

— Ее нечего было застилать — я как поменяла белье, застелила, так она и стоит, — женщина подняла покрывало, показывая, что постель не тронута. — Уж я-то узнаю, если после меня кто стелит: или одеяло не так положат, или подушки.

¹ Поручник — звание, соответствующее нашему «лейтенант».

— Эти дни номер убирали? — спросил Врона.

— А что его убирать? — пожала она плечами. — Только пыль смахнула.

— И со стола? — повернулся к ней Тим.

— Да.

— Жалко. Ну а бумажек никаких не убирали?

— Не было тут никаких бумажек.

— А там? — он указал на письменный стол.

— И там ничего не было.

— Почему стакан мокрый внутри? Вы что, мыли его? — спросил Врона.

— А как же! Сегодня мыла. Такой у нас порядок. И воду в графине меняла.

Тим махнул рукой.

Между шкафом и стеной стояли кофр и два черных чемодана.

— Вы вносили это? — спросил Врона швейцара.

— А кто же еще, пан поручник! — ответил швейцар, вежливо проявляя свою осведомленность в звании Вроны.

— И куда поставили?

— А туда и поставил, где они стоят.

— Значит, как поставили, так они и стоят на том самом месте? Правильно я вас понял? — переспросил Тим.

— Правильно поняли, так и стоят. Еще газетку пан гость положил сверху, когда рассчитывался со мной.

Поперек чемоданов, свернутая трубочкой, лежала газета. Тим развернул ее. Это была «Жице Варшавы» за субботу.

— Сколько он вам заплатил? — спросил Тим.

Швейцар смутился.

— Хорошо заплатил... — он запнулся, не зная, как дальше именовать Тима, и оглянулся на Врону. — Хорошо заплатил.

— Что значит — хорошо? — спросил Врона.

— Сто злотых. Сдачу брать не стал. У него этих, по пятьдесят да по сотне, полные руки. Я говорю ему: «Прошу пана, сдачу». А он смеется: «Бери, бери, поляк, мне приятно тебе давать. У меня их видишь сколько!»

— Ну что, посмотрим? — спросил Врона, присаживаясь на корточки у чемоданов.

— Придется, — ответил Тим.

Сперва они открыли кофр. Мне, грешным делом, хотелось заглянуть туда. Любопытство человеческое иной раз унижительно. Но вещи могут рассказать об их владельцах больше,

нежели владельцы о своих вещах. Однако с самого начала осмотра номера я стоял у двери, и теперь двигаться поближе к чемоданам было неловко.

Повозившись в кофре, они приступили к чемодану; я видел, как Тим держал в руках желтый конверт чуть больше стандартного, вынимал из него какие-то бумаги, часть из них откладывал на пол, другие же запихивал снова в конверт. Потом они принялись за второй чемодан и покончили с ним довольно быстро. Кряхтя, с побагровевшей шеей, упираясь ладонями в толстые ноги, поднялся Тим, подобрал с пола бумаги и сунул их в боковой карман.

— Сдадим в камеру хранения? — спросил Врона.

Выпятив губу, Тим какое-то время смотрел на чемоданы.

— Знаешь, пусть еще постоят тут. Может быть... — Он не сказал, что «может быть», но спросил у администратора: — Как оплачен номер?

— За пять суток.

— Ну и ладно, — сказал Тим, вытаскивая из кармана смятый берет. — Ты вот что, — обратился он к Вроне, окидывая комнату взглядом, — оформи все, пусть они подпишут, — показал он на швейцара и обеих женщин. Он заглянул в ванную и, убедившись, что там нет ничего для него интересного, что полотенца висят нетронутыми, надел перед зеркалом берет и вышел. — Пусть Ярошевский утром посмотрит тут все стекло — может, где-нибудь пальцы остались, — велел он Вроне...

Уже на лестничной площадке Врона спросил у коридорной:

— К нему никто не приходил?

— Никто. Уж я бы запомнила, — уверенно ответила женщина. — Если кто появится, я дам знать пану поручнику. — В ее словах, в том, как она вела себя в комнате и говорила там, не было ни нотки удивления или любопытства, словно такие истории, как исчезновение жильца из номера, который она обслуживает, случаются ежедневно и она к этому привыкла. И когда она произнесла: «Я дам знать пану поручнику», мне показалось, что она просто вошла в игру, в которой ей на равных предложили участвовать. Взрослые, как и дети, подвержены страсти чувствовать себя важными участниками событий, от которых хоть чуть-чуть веет таинственностью. Ну а тут такой случай подвернулся!

Но я был бы лицемерным снобом, если бы, иронизируя над этой человеческой слабостью, сказал, что серьезность, с какой Тим и поручник Врона проделывали все в комнате

Свидрака, совсем не задела меня. Просто каждому тут была отведена своя роль, которую и надлежало вести до конца. Анджей, все понимая в поступках Тима и Вроны, молчал, ибо то, что они делали, совпадало с его мыслями. Я же, не все понимая, тоже молчал, надеясь, что мне еще представится возможность что-то высказать и при этом не выглядеть глупо. Вот я и молчал, независимо и вроде безразлично, ожидая этого наития...

В «Снежку» Врона с нами не поехал, остался в отеле, сказав, что через полчаса прибудет...

Ресторан «Снежка» находится в темном закоулке Гдыни. Так мне, во всяком случае, показалось — улица освещалась плохо, в небе ни звездочки, все черно: здания, уходящие вдаль тротуары. Лишь светилось окно ресторана, расположенного на первом этаже.

Из маленького коридора мы вошли прямо в зал. Духота, табачный дым, запахи кухни, галдеж словно распирали стены неярко освещенного зала. Некоторые столики стояли вдоль стены, другие — чуть сдвинуты к центру, но так, что оставался проход к пятачку перед эстрадой, где сидел оркестр. Не знаю, по какому разряду числить этот ресторан, но Тим привез нас сюда не случайно. Кого он рассчитывал встретить здесь. С в и д р а к а? Вряд ли. Но все-таки выбрал он именно этот ресторан, и, конечно, не ради того, чтобы угостить нас ужином. Задавать же ему вопросы не хотелось... Я огляделся. Публика была осрбая, точнее — очень разная: крепкие парни в грубых рыбацких свитерах, иностранные моряки в кителях с шевронами, кое-кто в суконных форменках с гюйсами, другие — просто рабочих блузах; странные пожилые мужчины в черных вечерних костюмах и белых рубашках с «бабочками», чрезмерно галантно ухаживавшие за очень молодыми дамами. Женщин было немного. И когда оркестр шпарил допотопные фокстроты, вальсы и танго вроде «Умовились с тобой о девентой» или «Вшистки рыбки», юных дам спешно тащили танцевть под эти довоенные мелодии.

Место мы нашли не сразу и сели за стол, с которого еще не убрали грязную посуду. Высокий седой официант с манерами аристократа с достоинством наклонился к Тиму, что-то спросил и, получив утвердительный ответ, принялся за стол. Делал он все не спеша, но с толком. Накрыл на четыре персоны, хотя нас было трое: Тим, Анджей и я. Видно, он знал того четвертого, без которого Тим здесь, вероятно, не бывал, и этот четвертый — Врона — вскоре появился.

Пили мы «яжембьяк». Рыба в белом соусе оказалась действительно вкусной. Мы уже стали частью антуража ресторана, и с этой точки зрения я разглядывал новичков, заходивших с улицы, их сосредоточенные лица и растерянные глаза, когда, стоя еще у двери, они оглядывали зал в поисках места. Еда, рябиновая водка, гул голосов, музыка и пары, танцевавшие при интимном свете, если и располагали к размышлениям, то вовсе не о том, куда девался Свидрак. Мне было хорошо сейчас. Завтрашний день меня не интересовал. Тому, кто сочинял евангелие от Матфея, нужно было пребывать в похожем благодушном состоянии, чтобы, разомлев от вкусной, обильной еды и вина, изречь милую фразу: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Сейчас меня это устраивало. И тут Анджей, утирая рот салфеткой, нарушил всю эту гармонию.

— В номере у него не доставало одной вещи,— сказал он.

Склоненная над тарелкой голова Тима не шевельнулась, он только поднял глаза, продолжая вынимать изо рта рыбы косточки.

— Нет его саквояжа,— Анджей посмотрел на меня.

Я вспомнил: обтянутый светлым материалом в бело-зеленую клетку саквояж, когда Свидрак сидел с нами в кафе «Фрегат»! Мне хотелось восхититься наблюдательностью и цепкой памятью Анджея, но я смолчал, чтоб, чего доброго, не подумали, что я просто опьянел. Мне понравилось, что Тим не стал уточнять, не ошибся ли Анджей, хорошо ли помнит, что такой саквояж был, и т. д.

— Саквояж — очень удобная штука в дорогу,— задумчиво сказал Тим.— Я все время в командировки езжу с портфелем и давно мечтаю о красивом саквояже.

— Ты думаешь, он куда-нибудь уехал? — спросил Анджей, складывая треугольничком салфетку.

— А почему бы и нет? Ведь денег-то у него куча, как сказал швейцар. Думать можно, Анджей. Плохо, что приходится думать о многом сразу. И о том, что у него куча денег. Тут уже приходится думать о другом. Да, саквояж прекрасная штука в пути: зубная щетка, мыло, бритва, чистая рубаха, носки. Оч-чень удобно,— вытянул он губы, всасывая из сигареты дым.

— Если, конечно, недалеко и ненадолго ехать,— сказал красивый поручник Врона, отмахивая рукою дым, выпущенный Тимом.

— Но среди его вещей, по-моему, не было ни бритвы, ни зубной щетки, ни прочих туалетных принадлежностей,— Врона вопросительно глянул на Тима.— Уж какой-нибудь «ремингтон» или «филиппс» у такого путешественника должен быть. Не пальцем же он бреется!

Тут я понял: пришло мое время. И, глянув извинительно на Анджея, изложил, разумеется в своей интерпретации, соображения, что такой человек, как Свидрак, вряд ли бы так легкомысленно поступил, зная, что у него сегодня целая серия деловых встреч, в том числе и со мной. Все это я подкрепил логическими построениями, которые Анджей изложил мне утром. Анджей простил мне этот плагиат. И я продолжал дальше развивать свою мысль, стараясь делать это без особых эмоций.

Все это выстроилось в такую схему: Свидрак мог куда-нибудь уехать — это вообще не исключено; отсутствие саквояжа и туалетных принадлежностей возможное подтверждение этого, не станет же человек ходить по городу двое суток с саквояжем; если согласиться с рассуждениями Анджея, кто такой Свидрак, как он мог поступить, а как не мог, то, видимо, уезжал он с расчетом вернуться к утру в понедельник, то есть уезжал ненадолго (захватил с собой всего лишь саквояж) и недалеко.

Боже мой! Почему здесь не было Сабины! Ведь она всегда твердит, что я не умею мыслить логически, что мной управляют одни импульсы и эмоции.

И вдруг Тим расхохотался:

— Ну и ловкие мы ребята: каждый — по мыслишке, а в результате смотри какую красивую версию сочинили! А что, если в этот момент Свидрак уже храпит в своем номере?! Или кто-нибудь сейчас пропивает в Варшаве его денежки, а бывший их владелец валяется где-то в овраге с проломанным черепом либо на мягком донном песочке Балтийского моря?! — Он загасил сигарету, крепко вмяв ее большим пальцем в пепельницу.

— Я предупредил, где мы,— сказал Врона.— Если он появится в отеле, администратор позвонит сюда.

Подошел официант и стал убирать со стола, точно уловив момент, когда это надо делать. Это одно из редких качеств у людей их профессии: незаметно и неназойливо все сделать так, чтобы тонус застолья не спадал до такой отметки, когда начинают гасить сигареты в тарелках с объедками. Минуту перед нами был опустевший стол, очищенная скатерть, и вот

уже на ней — чашечки с черным кофе, о котором мы даже не думали, а лишь ощущали его желанность.

— Коста-риканский? — спросил Тим, наклоняясь над чашечкой и втягивая носом пахучий кофейный пар. — Ты — бог, Адам, — сказал Тим седому официанту.

Тот в ответ слегка, с достоинством склонил голову.

Тим полез в карман и извлек бумаги, взятые из желтого конверта в номере Свидрака. Я, честно говоря, забыл о них. Тим высыпал их на стол. Это были любительские фотографии: Свидрак в дверях какой-то лавки; у домашнего бара с миксером в руках; в кресле читает газету; в плавках на пустынном пляже. Фотографий было много. Мы разглядывали их, когда к нам подошел худощавый мужчина в черной куртке.

— Добрый вечер, — он положил руку на плечо Тима.

— А, Збышек! Молодец, что пришел. Садись.

— Сейчас Адам стул принесет. Мне Анна сказала, что ты заходил. Твой клиент? — спросил Збышек, показав на фотографии.

— Может, и твой тоже, — вместо Тима ответил Врона, придвигая к Збышку фотографии.

— Выпьешь чего-нибудь? — спросил Тим.

— Нет, Мацек, я на колесах, мне еще в гараж ехать. — Он сгреб к себе фотографии и сказал официанту: — Чашку кофе, Адам. Моего.

— У тебя что — особый здесь? — улыбнулся Тим.

— Тройной. Гипотония и устал как пес.

— Вот, Ян, смотри, — обратился ко мне Тим. — С этим парнем мы знаешь какие друзья! Лучше не бывает. Правда, строптивый, с характером. А, Збых?

— Это уже он тебе что-то настучал? — сказал Збышек, показывая на Врону. — Ты попробуй без характера на такси поработать!

— Знаешь, за что я люблю тебя и Анну? — усмехнулся Тим. — За то, что вы так долго любите друг друга! С детства, — повернулся он ко мне.

Я вспомнил красивую жену Збышка, посмотрел на него, на его узкие темные руки с черными ободками под ногтями. Было Збышку года сорок три — сорок четыре, но худоба делала его моложавым, хотя смуглое с тонким носом и острыми скулами лицо было не в вялых сеточках морщин от дневной усталости, а в тех, какие въедаются в нас незаметно, но навсегда. И я подумал, переведя глаза на Тима: что может связывать его с этим шофером и его красивой женой? Годы детства или война? Общие радости и страдания или один

веселый случай сдружил их? Збых был человеком моего поколения,— значит, мог быть и на баррикадах Варшавы, и в группе отчаянных ребят, охотившихся по ночам за эсэсовцами в Люблине, и мог просто просидеть за решеткой в Павяке¹, куда его сунули гестаповцы и не расстреляли лишь потому, что не успели. Иногда и у них не хватало времени на эту работу. А уж они-то были мастера управляться с этим!..

И тут, растроганный появлением своего приятеля, Тим начал вспоминать войну.

— У нас с ним было интересное знакомство,— кивнул он на Збышка.— Он появился у меня в батальоне летом сорок четвертого. Мы стояли тогда в Сухедньювском лесу. Мои ребята задержали его на опушке. Такой бравый паренек со «стэном»². «Ты откуда?» — спрашиваю. «Тоже из лесу. Из сотни майора Ендрыха».— «Из АК³, значит?» — «Да».— «Чего же пришел?» — «Воевать хочу со швабами»,— говорит, а сам смотрит на мой рукав, там у меня треугольная нашивка с буквами «АЛ»⁴. «А разве майор Ендрых демобилизацию объявил или уже всех победил?» — смеюсь. «У вас, знаю, дело настоящее, с размахом. Вы вон теперь уже Армия Людова. У вас и людей много, и вооружение дай бог! Говорят, пушки, минометы и русские противотанковые ружья есть».— «А разве вас англичане не снабжают?» — снова смеюсь и показываю на его «стэн». Тут Збых завелся: «Ты мне, командир, голову не морочь! Либо принимай к себе, либо нет. Найду других». Подумал я и решил: «Раз уж ты разобрался, кто мы, да что мы, да за что воюем, отправляйся-ка в свою сотню и растолкуй там другим. Поймут — приводи сюда. Не поймут — возвращайся сам». В общем, ушел Збых, а через неделю явился во главе взвода... Пом-

¹ П а в я к — тюрьма в Варшаве, где во время войны сидели политзаключенные.

² «Стэн» — английский пистолет-пулемет.

³ А К (Армия Крайова) — военные формирования, подчинявшиеся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне и его «делегатуре» (представителям) в Польше. Руководство АК не желало сотрудничать с революционно-патриотическими организациями, возглавляемыми коммунистами, в борьбе с оккупантами. Многие члены АК, введенные в заблуждение интригами и демагогией людей из «делегатуры», со временем, однако, поняли, что истинное место патриотов — в рядах тех, кто не только борется с оккупантами, но и несет стране социальное обновление.

⁴ А Л (Армия Людова) — военно-партизанские соединения и подполье, ставшие ядром движения Сопротивления в Польше, которое возглавляли коммунисты. Массовость, боеспособность и богатый военный опыт позволили со временем многим бригадам АЛ стать регулярными частями Войска Польского..

нишь, Збых?.. А как немецкую автоколонну в болото загнали?!

— Хватит тебе, ты не в исповедальне,— остановил его Збышек от неловкости, что его приятель при посторонних завел эту музыку.— Были, были, были! Мало ли кто каким был!.. Да и когда это было! Вечно ты свое!..

Тим не обиделся. Видно, такое не в первый раз случилось. Он только наклонил голову и криво усмехнулся.

Мне не хотелось больше присутствовать при этом разговоре. Я заметил, что Врона начал глазеть по сторонам, чтоб не смущать своим присутствием Тима и Збышка. И лишь Анджей сидел невозмутимо, покусывая спичку и продолжая разглядывать фотографии. Я ушел в туалет. Когда я вернулся, все уже вроде было в порядке. Збышек держал в руках одну из фотографий Свидрака.

— Хорошо, я опрошу всех таксистов-частников, может, кто вез его.— Збышек сунул фотографию в карман.

— Мне проверить государственные? — спросил Врона, беря из кучки снимок.— Одну минуточку,— сказал Врона и поднялся. Он кого-то увидел в зале.

— Вот посмотри,— сказал мне Анджей, протягивая какие-то две бумажки.— Мацек нашел их в конверте среди фотографий.

Я взял из рук Анджея бумажки. Одна из них оказалась просто визитной карточкой Свидрака: «Ежи Свидрак, посредническая контора «Ювентус», картины, антиквариат, Лондон...» Тут же указывался адрес. Вторая бумажка была письмом, отпечатанным на бланке с большой типографской надписью: «Славянская Миссия, Вестманнагатан, 30. Стокгольм, Швеция». Под этим общим заголовком справа и слева шрифтом помельче было набрано: «Общество Распространения Евангелия, Уппландсгатан, 28, Стокгольм» и «Книгоиздательство Славянской Миссии. Акц. О-во. Уппландсгатан, 28, 1, Стокгольм». Текст же самого письма, напечатанного по-польски, гласил:

«Уважаемый господин Свидрак! Благодарим Вас за пожертвования, переданные Вами нашей Миссии. Средства эти найдут честное применение всюду, где верующие христиане нуждаются в добром слове божьем. Вы правы: связи наши во всем христианском мире обширны, в особенности в европейских странах. Однако с лицами неславянского происхождения таких связей мы не имеем. Вот почему среди наших многочисленных адресатов не оказалось интересующего Вас лица. Сожалею, что в связи с этим мы не в состоянии

оказать Вам реальную помощь в Ваших розысках, а ограничиваемся лишь советом: попробуйте обратиться в «Комитет католического единства» в Кельне...»

Так как я не собирался в Лондон и услуги посреднической конторы «Ювентус» мне были ни к чему, а филантропическая деятельность пана Свидрака меня вообще не интересовала, то, пожав плечами, я возвратил Анджею визитку и письмо.

Тем временем к столу возвратился Врона.

— Никто из официантов тут его не видел, — он щелкнул по фотографии Свидрака.

— Вон там, в углу, сидит мумия в черной тройке с красным платочком в кармане. Видишь? — спросил Тим Врону. — Так вот, рядом с этим крашеным козлом — беленькая птичка.

— Стефка, что ли? — спросил Врона. — Я уже видел ее.

— Вот-вот! — ухмыльнулся Тим. — Давай-ка ее сюда!

Через минуту девица по имени Стефка сидела за нашим столиком и, заискивающе улыбаясь, тараторила:

— Я теперь редко сюда хожу, сегодня просто случайно. Честное слово. Вот не верите, а пан поручник знает, — она подняла накрашенные веки на Врону, но тот хмуро сдвинул брови.

— Кто этот пижон? — спросил Врона, показав взглядом на старика в черной тройке, от которого только что он увел «даму».

— Это не пижон! — взмолилась Стефка. — Это наш дальний родственник. Я ведь уже работаю, пан поручник. Учетчицей на холодильнике.

— Смотри, Стефка, доиграешься, — постучал пальцем по столу Врона.

— Где ты была в субботу вечером и в воскресенье? — спросил Тим.

— Дома! Честное слово, дома! — долго не раздумывая, ответила Стефка.

--- Ты не спеши, торопиться тебе некуда, старичок твой пошел вставную челюсть мыть, — кивнул Тим на Стефкиного «кавалера», вяло топавшего в туалет.

— Значит, дома? — спросил Врона, прищурив глаз. — Что-то память у тебя сдает. Ну, быстро! Соображай!

— Я была дома, пан поручник, — вдруг спокойно сказала Стефка. — Разве вы меня где-нибудь видели?

— В том-то и дело, что нет, — буркнул Врона.

— Разве я вам когда-нибудь врала, пан поручник? —

говорила Стефка.— Я же знаю, с вами надо по-честному. Вы легко можете проверить, что я делала в субботу и воскресенье. Да и пан Адам,— она показала на официанта,— подтвердит, что я здесь давно не была. А в другие места не хожу, там скучно.

— Хорошо, Стефка, мы, конечно, проверим, не тараторь,— остановил ее Врона.— Ну, а как поживает Марыська?

— Это уж вы ее спросите, пан поручник.

— А разве она тебе не рассказывает?

— А что она должна рассказывать мне? Наши разговоры с ней какие? «Как живешь?», «Где была?», «Что видела?» Ах, пан поручник! Вы такой интересный мужчина, а с девушками не умеете разговаривать! Пригласили бы меня лучше потанцевать... Мы бы с вами и поговорили. А так зря только время теряем.

— Слушай, Врона, она права,— заулыбался Тим.— Почему тебе не потанцевать с нею? Она ведь, наверное, лихо это умеет.

Покачав головой, Врона повел Стефку к эстраде. Играли танго. Мы молча смотрели, как они танцуют. Выглядели они действительно мило. Врона — стройный, ладный парень; девчонка тоже была хороша — высокая, с сильными длинными ногами, с тяжелым хвостом волос, перехваченных сиреневой, в тон блузке, лентой...

Глядя на них, Мацек посмеивался, а Збышек, сцепив на столе тонкие темные пальцы, устало опустил на них подбородок. Анджей, равнодушно откинувшись на спинку стула, ковырялся спичкой в пепельнице.

«Вот как это делается!» — думал я, подводя итог сегодняшнему вечеру. Меня разочаровывала незамысловатость решений Тима, банальность и примитивность вопросов, какие задавались Стефке. Я, конечно, понимал, что все это, как говорят футбольные комментаторы, давно наигранные комбинации, оно, очевидно, так и полагалось, ведь, делая наиболее употребимый ход $e_2 — e_4$, великие шахматисты выигрывали блистательные по своей сложности партии...

Танго кончилось, и подошедший Врона сказал:

— Поехали.

— Куда? — спросил Мацек.

— К Марыське. При всех Стефкиных «достоинствах» все же врать она не станет. Особенно мне. Свидрака она не видела...

Дождя уже не было, редкие фонари бросали в темень слабый свет, и, размазанный по лужам, на мокром

тротуаре и мостовой, он моментально погас в сильных лучах фар нашей машины.

— Куда ехать?— спросил шофер, прогревая двигатель.

— На Пруса,— сказал поручник,— это у стадиона.

Тим тяжело плюхнулся на сиденье и сильно захлопнул дверцу.

— Ну?— повернул он голову к Вроне.

— Марыська ей рассказывала, что познакомилась в субботу со странным типом.

— Где?

— В ресторане «Сим».

— Что ж в нем было странного?

— Черт его знает! Так сказала. Он попросил разрешения подсесть к ней за столик, угостил ужином, выложил пять сотен и сказал, что с удовольствием бы женился на такой славной польской девушке.

— Вот что, Врона, мы поедem в комендатуру, а девчонку ты привезешь туда...

Возле комендатуры мы вышли.

— Кто дежурит?— спросил Тим.

— Соха,— отозвался Врона из машины.— У него ключи от моего кабинета...

В дежурке, кроме старшего сержанта Сохи, никого не было. Верхние пуговицы его кителя были расстегнуты, фуражка лежала на столе, а сам Соха ножницами вырезал какую-то карикатуру из «Шпилек».

— Все спокойно?— спросил Тим, беря ключи.

— Пока да,— ответил Соха.— Понедельник. Впрочем, ночь еще впереди.

Отперев кабинет Вроны, Мацек вошел первым, и, судя по тому, как легко в темноте он нащупал выключатель, я понял, что бывал он здесь не раз. Кабинет поручника являл образец аккуратности. На письменном столе ни одной бумажки. Стулья расставлены вдоль стены. Корзина для мусора пуста. В открытую форточку тянуло свежим сырым ветерком. Это был кабинет некурящего человека: старая из толстого стекла пепельница стояла на сейфе, и Мацек, зная об этом, тут же водрузил ее возле телефона на маленький столик. Сунув берет в карман, Тим уселся за стол Вроны и, потеряв лицо обеими ладонями, сказал Пославскому:

— Анджей, произнеси хоть слово! Хоть какую-нибудь глупость. Ты так сакраментально молчишь.

— Я занят, Мацек,— ответил Анджей.— Я думаю, ищу истину. А истина, как заметил известный тебе Иисус Христос, сделает нас свободными.

— Как далеко ты продвинулся на этом пути?

— Я сейчас где-то между Гданьском и Варшавой.

— Не очень далеко,— подмигнул мне Мацек.

— А дальше пока и не нужно,— спокойно ответил Анджей. Это количество слов утомило его, и, расслабившись, он вытянул ноги.

— Когда же ты вернешься оттуда?— не унимался Тим.

— Мне-то спешить некуда. Ты бы попросил, чтоб Соха устроил нам по чашке кофе.

— Ну, а ты что думаешь? — обратился Мацек ко мне, снимая телефонную трубку.

Я ни о чем уже не думал. Мне просто хотелось спать. Мы сидели молча, покуда не прибыл Врона.

— Почему ты один?— спросил его Мацек.

— Пани Марыси нет дома,— усмехнулся поручник, снимая куртку и аккуратно прилаживая ее на вешалке.— Соседка сказала, что она не ночевала с воскресенья,— Врона произнес это так, словно осуждал Марысю за то, что она его подвела.

— Очень нехорошо с ее стороны,— буркнул Мацек.— Тебе придется еще раз нанести ей визит... Ну что, по домам?— обвел он нас взглядом.— Уже ночь. Пора в постель. Мечтаю — в свою постель. Никогда не пойму людей, которые не любят ночевать дома!— поднялся он из-за стола.

— Тебе хорошо, ты холост, можешь спать один,— изрек неожиданно Анджей и весело зашевелился на стуле.

В Гданьск мы вернулись в третьем часу ночи.

ПИСЬМО ПЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

«Стоп! Безопасность движения зависит от нас самих. Приветствуем школьную молодежь!..» Это начинается утренняя передача Варшавского радио о правилах уличного движения. Под такое предостерегающее восклицание диктора я допечатываю последние страницы своего повествования. Как видишь, начинаю с конца. Я уже дома. И довольно давно. Сразу объясню тебе, почему я молчал почти два месяца.

События в Гданьске и других населенных пунктах развернулись так неожиданно (для меня, во всяком случае), что писать тебе письма дневниково-хронологического

порядка я уже не мог: некие причины сбили с меня эпистолярное настроение. Я был бы последним идиотом, если бы пренебрег возможностью сделать то, что сделал бы на моем месте любой приличный журналист. Как-то Ежи Лец сказал: «И зло хочет нас однажды осчастливить». Для меня это был именно тот случай. И я решил написать свой репортаж (а если хочешь — по секрету — репортерскую повесть), уже зная, чем он закончится. Вот почему я отказался от последовательных писем к тебе. Кроме того, что не менее важно, — если до сих пор мои письма не были еще вторжением в следствие и разглашением его, то позже мне пришлось посчитаться и с этикой, и с правовыми нормами. Это, пятое мое письмо будет последним, ибо дальше пойдут просто главы. Как только допечатаю последние — сразу же вышлю...

Р. S. Начальные не посылаю, они, по сути, в моих письмах. Шлю сразу с третьей главы.

О Т А В Т О Р А

На этом кончились четыре письма Яна. Первые дни я с нетерпением ждал почту, надеясь, что Ян продолжит свою затею, в которую вовлек уже мое любопытство. Я старался придумать конец этой истории, но ничего не получалось: во-первых, я находился в плену той юмористической и снисходительной тональности, в какой были написаны письма; во-вторых, для того чтобы придумать что-нибудь в серьезном плане, мне необходимо было излагать сочиненные варианты собеседнику, чтобы иметь возможность на ком-то выверять свои дедуктивные способности. Но завести собеседника я опасался — чувство осторожности брало во мне верх: я боялся быть осмеянным, как взрослый, надумавший поиграть в нарисованные на асфальте мелом «классики».

Затем, разумеется, у меня нашлись дела поважнее, и вскоре интерес к судьбе пана Свидрака заглох среди хлопот более серьезных. Письма Яна легли на дно ящика стола, где хранятся разные бумаги, вроде и ненужные, но те, какие не хочется выбрасывать.

Так прошло около двух месяцев. И однажды с первой утренней почтой я получил заказную бандероль, обклеенную красивыми марками с изображением кошек разных пород. На бандероли стоял варшавский штемпель, а внутри я обнаружил толстую машинописную рукопись, — правда, на этот раз отпечатанную под копирку. Марки я снял для

соседского мальчишки, конверт выбросил, уселся поудобней, возбужденно предвкушая нечто приятное, закурил по этому поводу и принялся читать.

ГЛАВА 3

Во вторник утром меня разбудил стук в дверь. Дежурная по общежитию партшколы, милая пожилая женщина, считавшая меня почему-то лицом таинственно значительным и, наверное, по этой же причине разговаривавшая со мной почти шепотом, сообщила, что меня зовут к телефону.

Пока я торопливо сбрасывал пижаму, натягивал рубаху, брюки и спускался вниз, где была дежурка, я мысленно ругал Анджея (сомнений, что звонил он, не было) за столь ранний звонок. Не терплю, когда меня будят, люблю просыпаться сам. Иногда во время сновидений наша душа взлетает до таких высот, что мы проникаемся уважением к самим себе. И если я просыпаюсь утром по собственной воле, это благородное настроение сохраняется на целый день. Прерванный же как-нибудь сон низвергает меня с этих высот, и от дурного настроения я чувствую себя ничтожеством. По чьей-то вине! Когда-нибудь я напишу трактат о сне!

Итак, я спускался вниз в комнатных туфлях, которые на ступеньках все время сваливались, во мне звучала фраза, которую я выскажу Анджею. Общежитие уже проснулось. Его обитатели, кто спускаясь в буфет, кто возвращаясь оттуда, странно посматривали на меня, вернее — на мои босые белые ноги в комнатных туфлях, которые громко шлепали меня по пяткам.

Застекленная комнатка дежурной расположена возле самой лестницы, ведущей к входной двери в общежитие. Слышно было, как дверь хлопает, по ногам оттуда тянуло холодом. Я вошел в дежурку, взял трубку и сказал:

— Алло!

— Ты? — спросил Анджей. — Надеюсь, ты спал?

— Что-что?! — возопил я.

— Я говорю: ты спал ночь хорошо?

— Ты позвонил, чтобы выснить именно это?

— Понятно. Видимо, я тебя разбудил. Ладно, сходи сжуй сосиску, выпей кофе. Я зайду за тобой через двадцать минут.

— Что-нибудь случилось?

— Да как сказать...

— Что?

— Узнаешь.

— Что же все-таки?

— Значит, через двадцать минут. Все!— Он положил трубку.

Я поблагодарил дежурную, она улыбнулась мне так мило, словно я доверил ей одну из своих тайн, которых у меня, как она, вероятно, полагала, было очень много.

Позавтракав, я закурил и вышел на улицу. Слава богу, дождя не было, но дул сырой ветер. Небо не обещало ничего хорошего: там происходило борение каких-то сил, ворочавших серые с синими отеками тучи.

По моим предположениям, Анджей должен был идти со стороны ратуши. Чтобы не мерзнуть в подворотне, я решил пойти ему навстречу. Я увидел его, когда он подходил к памятнику Яну Собескому. Мой знаменитый забронзовевший тезка кое-где позеленел от времени, но гордо протянутая рука и вздыбленный конь, на котором он восседал, должны были убеждать нас, потомков, что перед славой время — категория ничтожная. Я был в этом смысле настроен менее оптимистично...

— Ну что там?— спросил я Анджея.

— Ночью Мацека подняли с постели,— мрачно усмехнулся Анджей.— В Езерно обнаружили труп.

— Чей?

— Пока неизвестно. Мацек умчался туда.

— Где это — Езерно?

— Железнодорожная магистраль Гданьск — Варшава. От Складзенья идет тупиковая ветка на Езерно.

— Может, имеет смысл поехать нам туда?— спросил я.

— Это имело бы смысл только в одном случае. Понятно?

— Понятно.

— Но не приведи господь. Кроме того, утренний поезд уже ушел. И все это не имеет ко мне никакого отношения. Я ведь зарплату получаю не в милиции...

— Понятно,— прервал я Анджея.— Что ты предлагаешь?

— Из уважения к тебе, запомни это, я пойду с тобой в милицию. Посидим, подождем, что сообщит Мацек.

Мы двинулись.

— Анджей, ты веришь в интуицию?— спросил я.

— Перестань.

— И все-таки?

— Не каркай!..

В милиции я остался ждать в коридоре, пока Анджей ходил по кабинетам. Наконец, выглянув из какой-то двери, он позвал меня. Я вошел. Кабинет этот был такой же, как у Мацека, или чуть побольше и поаккуратней, а владелец его был в форме майора.

— Фисняк,— представился он, захватывая огромной рукой мою ладонь.— Садитесь.

Сам он сел не за стол, а в одно из кресел, стоявших у окна. В другое опустился я. Анджей устроился на подоконнике между нами, словно переводчик или посредник.

— Перед нашим приходом коменданту¹ звонил из Езерно Мацек,— глядя на меня сверху вниз, сказал Анджей.— Это — Свидрак...

Я не подскочил и не вздрогнул. Я даже не удивился, почему так спокойно выслушал сообщение Анджея. Может быть, это кощунство, но где-то в глубине души, едва Анджей сообщил мне, что в Езерно найден труп, я внутренне стал уговаривать себя, что это скорей всего Свидрак. Не то чтобы я желал его смерти, отнюдь! Это было даже не желанием, не оформившейся мыслью, а всего лишь эгоистическим ощущением, что так было бы интересней. Не знаю, избавлены ли от этого те, кому по долгу службы приходится заниматься всякими расследованиями.

— Ты, конечно, захочешь поехать туда,— сказал Анджей тем же ровным голосом.— Разрешить это может только комендант или его зам по госбезопасности. Но их нет. Они в воеводском комитете партии. Если ты понравишься Фисняку, он постарается это уладить,— Анджей кивнул в сторону майора.— Он будет этим заниматься по своей линии.

— Значит, товарищ Тим будет отстранен от ведения этого дела?— спросил я официальным тоном.

— Нет, мы будем работать вместе,— ответил Фисняк. Мне не очень хотелось попадать в зависимость от Фисняка, я не знал, что он за человек и как будет реагировать на мое присутствие. Поэтому я сделал следующий ход:

— Может быть, мне лучше позвонить в Варшаву редактору? Он обратится в министерство, чтоб вы получили официальный приказ допустить меня к вашей кухне. Это для вас упростит многое,— сказал я, глядя Фисняку в глаза.

¹ К о м е н д а н т — должность, соответствующая начальнику управления. Один из его заместителей занимается милицией, другой — вопросами госбезопасности.

Но майор был тоже не промах. Меня просто ввело в заблуждение его простоватое широкое лицо.

— Можно сделать и по-вашему,— мягко согласился он,— но вопрос о пределах, до каких вы можете быть допущены, Варшава все равно предоставит решать нам.

— Давайте откровенно, майор,— решил я.— Раз вы внутренне уже настроились против моего присутствия, все равно где-то это прорвется. Если это так, в полдень я укачу домой. Но я хочу услышать от вас прямой ответ.

— Но разве вы уверены, что вам уже есть о чем писать? Ведь мы сами еще ничего не знаем! Нашли мертвого Свидрака, с которым вы вчера должны были встретиться. Вот, собственно, и все. Я пока не вижу вашей темы,— усмехнулся Фисняк,— а вы уже торгуетесь.

Он был прав. Мы можем приехать в Езерно, и Мацек сообщит нам: вскрытие убедительно доказало, что Свидрак: а) умер от инфаркта; б) от инсульта; в) попал под машину; г) скончался от прободения желудка и т. д. Господи, сколько возможностей отправиться на тот свет! Чего же я суечусь, как человек, выкупавшийся в кипятке?

Видя мою растерянность, Фисняк улыбнулся и сказал:

— Думаю, разумней будет так: с начальством о вас я договорюсь, все остальное будем решать по ходу дела. Я же лично ничего не имею против вашего присутствия. Это прямой ответ, которого вы хотели. Устраивает вас такой вариант?

— Устраивает,— согласился я.

— Для того чтобы вы поверили, как доброжелательно я отношусь к вашей затее, пойдемте, я что-то вам покажу.— Он встал, высокий, тяжелый, мундир гладко обтягивал его мощную спину.

Майор привел нас в чей-то кабинет. На письменном столе высилась горка скоросшивателей, туго набитых бумагами. Я подумал, что это, должно быть, какие-то архивные дела, так как сейчас таких скоросшивателей — с толстыми металлическими скобами — уже не делают.

— Это судебные материалы по процессу тысяча девятьсот сорок восьмого года над эсэсовцами. Вы, вероятно, его помните по печати. Так вот, на этом процессе свидетелем должен был проходить Свидрак. Но, как вам известно, он отказался.— Фисняк положил свою тяжелую руку на верхний том.— На всякий случай полистайте,— сказал он неопределенно.— Комната эта — в вашем распоряжении. Ее владелец в отпуске, мешать никто не будет

Располагайтесь. В Езерно мы поедем после обеда... Ты останешься?— повернулся он к Анджею.

— Нет, пойду к себе... Вот так, Ян, все у тебя есть: кабинет, занимательное чтиво и опекун,— Анджей посмотрел на майора.— Не пропадешь. Из Езерно позвони мне, как устроился. Будь здоров!

Вместе с Фисняком он вышел.

Когда я остался один и попробовал разобраться в случившемся, мне прежде всего вспомнилась мысль Анджея, которую я перехватил и так красиво развил тогда в ресторане: лишь крайнее обстоятельство могло задержать Свидрака там, куда он так скоропалительно умчался из Гданьска. Таким обстоятельством оказалась его смерть. Правда, в это мое построение не укладывалось следующее: для того чтобы встретиться со мной, как было договорено, в понедельник утром, Свидрак должен был вернуться в Гданьск либо накануне, то есть хотя бы в воскресенье к вечеру, либо уже в понедельник, но рано утром. Однако он продлил свое пребывание в Езерно на весь понедельник. Но тут же я подумал, что сообщение, полученное Мацеком, и время обнаружения мертвого Свидрака могут вовсе не совпадать со временем его смерти! Умереть он мог и в воскресенье, и в понедельник, мало ли когда! Но что погнало его туда так срочно? Какое не терпевшее отлагательства дело? Ломать над этим голову, сидя здесь, было бессмысленно...

ГЛАВА 4

Передо мной карта Польши времен оккупации. Она наклеена на внутренней стороне обложки скоросшивателя. Зачем она здесь — не понимаю. Вернее, это — не Польша. Лодзь, Торунь, Познань, Гданьск, Катовицы, Ольштын, Кошалин, Зелена Гура, Вроцлав, Ополе. Через все — красная надпись по-немецки «Reich». Остальное — генерал-губернаторство с дистриктами Краков, Люблин, Варшава, Радом. Само слово «Польша» исчезло. Наиболее циничное на этой карте то, что отпечатана она для нас, поляков, в Кракове. По приказу Ганса Франка. Тираж — десять тысяч. Об этом гласит надпись внизу, на самой кромке.

Перелистав еще несколько страниц, я нашел обвинительное заключение 1948 года. Вот цитата из него:

«...В ночь с 11 на 12 ноября 1944 года полицией без-

опасности и СД в Езерно были арестованы архитекторы Чеслав Лицен, Витольд Косинский, художник Зигмунд Ляссота, искусствовед Ядвига Глинска и шофер магазина радиотоваров «Мегон» (филиал варшавского магазина) Богуслав Банах. Они были схвачены в старой Цитадели, когда пытались вывезти с ее территории на грузовой машине ящики, в которых находились какие-то бумаги. Арестом руководил подсудимый, бывший гауптшарфюрер СС Иозеф Лехнер. Как установлено следствием, после трехдневных непрерывных допросов, сопровождавшихся жесточайшими избиениями, четверо из арестованных были расстреляны во дворе Цитадели взводом СС, которым командовал сидящий на скамье подсудимых бывший гауптшарфюрер СС Иозеф Лехнер. Пятому — шоферу Богуславу Банаху — удалось совершить побег в ночь накануне расстрела...»

Из допроса свидетеля Богуслава Банаха:

«П р о к у р о р. Что вы можете сообщить суду по настоящему делу?»

Б а н а х. Я сообщу все, что знаю. Во время оккупации я устроился шофером на склад магазина «Мегон». Заведовал складом некий Ежи Свидрак. Однажды Свидрак вызвал меня и познакомил с паном Витольдом Косинским, о котором я, как местный житель, знал, что он известный архитектор и уважаемый в городе человек. Пан Косинский спросил, не соглашусь ли я перевезти кое-какие вещи с квартиры его матери в Складзене в его дом в Езерно.

П р о к у р о р. Кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре?

Б а н а х. Да, присутствовал Свидрак.

П р о к у р о р. Вы дали согласие Косинскому?

Б а н а х. Да, я согласился. Почему же не услужить известному человеку?! Вечером я пришел к пану Косинскому. Он сказал мне: «Слушайте, Банах, вы честный человек и хороший поляк. Я буду с вами откровенен, но скажу вам столько, сколько имею право сказать. Так вот, никакие вещи мне перевозить не надо. Дело гораздо сложнее. Нужно угнать немецкую машину со двора Цитадели. Это очень важно для Польши, Банах. Вы знаете, что Цитадель охраняется немцами. Не скрою, дело риско-

ванное. В случае провала всех нас расстреляют. Я не тороплю вас с ответом, хорошенько подумайте, прежде чем согласиться. Если вы откажетесь, мы тоже поймем вас. Но если вы согласитесь, Польша никогда этого не забудет. О нашем разговоре, разумеется, вы не должны говорить никому ни слова. Мы ждем ваш ответ завтра».

Тогда я спросил у пана Косинского, кто это «мы» и что будет в машине, не оружие ли? Он ответил, что «мы» — это группа поляков-патриотов, а в машине будет не оружие, а нечто более дорогое для Польши, чем оружие.

Всю дорогу домой и ночью, лежа в кровати, я раздумывал над предложением архитектора. Я знал, что если нас накроют — виселица или расстрел. Но я понял, что так или иначе, а пан Косинский и его люди не откажутся от своей затеи. Не я, так кто-то другой согласится. И если у них все сойдет благополучно, как после войны я буду смотреть людям в глаза?! Если же они попадутся, то все равно их слава будет моим позором. Мне-то в ту пору было уже пятьдесят четыре года. Хорошо ли, плохо ли, а свое я уже пожил. Что же мне, на старости лет смотреть из окошечка, как юнцы гибнут с оружием в руках, как Польша кровью истекает?! Мне-то всего-навсего надо угнать машину. Не обязательно же мы должны попасться! В общем, я пришел к Косинскому и объявил, что согласен. Тогда он дал подписать мне бумагу, на которой было написано: «Я, Богуслав Банах, сознательный патриот Польши, добровольно и безвозмездно согласен выполнять ее волю и волю ее народа, борющегося против оккупантов. Я не предаю дело, которому тут присягаю, и людей, с которыми свяжет меня присяга, ни перед пытками, ни перед угрозой смерти. Став на этот путь, я признаю только суд народа и суд божий, потому что и народ мой, и господь наш вершат правое дело. В чем и подписываюсь». Здорово это было составлено! Разве такое не подпишешь?! Затем пан архитектор повел меня в другую комнату. А там сидели пан Лицен, и пани Ядвига Глинска, и пан Ляссота.

В Цитадель мы пролезли через городскую канализацию и до вечера сидели в подвале. Один раз я выглянул в окошко и увидел, что немцы грузят в крытый «даймлер» какие-то ящики с надписью «Имущество рейха». Часам к десяти они всё закончили и ушли. Ушел с ними и их солдат-шофер. Осталась только внешняя охрана Цитадели — два часовых, которые двигались навстречу друг другу.

Самый молодой среди нас и самый сильный был Зигмунд Ляссота, художник. Он и взялся убрать часовых. Но едва мы вылезли из подвала во двор, как на нас навалились эсэсманы. Ясно, нас кто-то выдал. Это была засада...»

Из допроса подсудимого Иозефа Лехнера, бывшего гауптшарфюрера СС:

«П р о к у р о р. Куда были доставлены арестованные вами польские граждане Ядвига Глинска, Зигмунд Ляссота, Чеслав Лицен, Витольд Косинский и Богуслав Банах?

Л е х н е р. Они содержались в подвале Цитадели.

П р о к у р о р. Знали ли вы, что в подвале вода?

Л е х н е р. Я обнаружил это, когда помещал туда арестованных.

П р о к у р о р. Значит, таков был ваш приказ?

Л е х н е р. Нет, приказ об их аресте и о том, что на период следствия они должны оставаться в подвале Цитадели, я получил от штурмбаннфюрера СС Пельцига.

П р о к у р о р. Пельциг был вашим начальником?

Л е х н е р. В какой-то мере.

П р о к у р о р. Я спрашиваю: да или нет?

Л е х н е р. Пельциг командовал эйнзацгруппой при особоуполномоченном штандартенфюрере СС Мюльмане¹. Я же находился в прямом подчинении у начальника полиции безопасности, но с прибытием в Езерно эйнзацгруппы обязан был выполнять и приказы Пельцига.

П р о к у р о р. Знали ли вы, что находилось в ящиках?

Л е х н е р. Нет.

П р о к у р о р. Кто вел следствие по этому делу?

Л е х н е р. Следователь полиции безопасности штурмфюрер СС Дингес...»

Из допроса подсудимого Дингеса, бывшего штурмфюрера СС:

«П р о к у р о р. На основании каких статей, какого законодательства вы вели следствие?

¹ М ю л ь м а н К а й (Каэтан) — особый уполномоченный генерал-губернатора по учету культурных и художественных ценностей. Кай Мюльман по приказу Геринга осуществлял организованный грабеж музеев и картинных галерей, о чем давал показания на Нюрнбергском процессе.

Дингес. На основании законов военного времени. Подсудимые пытались похитить имущество рейха.

Прокурор. Соблюдались ли правовые формальности при ведении следствия? Я имею в виду прокурорский надзор и участие защиты?

Дингес. В то время в этом не было необходимости.

Прокурор. Значит ли это, что вы единовластно вели следствие?

Дингес. В этом смысле — да.

Прокурор. А в каком же — нет?

Дингес. В том, что за результат его я нес ответственность перед Пельцигом.

Прокурор. Сколько дней длилось следствие?

Дингес. Три дня.

Прокурор. Ход его документировался?

Дингес. Нет. В этом не было нужды.

Прокурор. Как вас понимать?

Дингес. Все пятеро отказались давать показания.

Прокурор. И только поэтому вы сочли возможным не документировать ход следствия?

Дингес. Не только. Своим поведением они предопределили свою судьбу.

Прокурор. Каких же показаний вы добивались от них?

Дингес. Чье задание они выполняли. Имена людей, с которыми связаны. Явки подполья.

Прокурор. Свидетель Банах в вашем присутствии во время судебного заседания показал, что все пятеро подвергались на допросах жестоким избиениям. Вы подтверждаете это?

Дингес. Да, подтверждаю.

Прокурор. Кто выполнял эту функцию следствия?

Дингес. Люди гауптшарфюрера СС Лехнера.

Прокурор. Вы лично участвовали в избиениях?

Дингес. Нет.

Прокурор. Знали ли вы, что Ядвига Глинска беременна?

Дингес. Да, знал...»

Из допроса подсудимого Иозефа Лехнера, бывшего гауптшарфюрера СС:

«Прокурор. Знали ли вы, что Ядвига Глинска беременна?

Л е х н е р. Нет, не знал.

П р о к у р о р. Вы присутствовали при избиениях заключенных?

Л е х н е р. Иногда.

П р о к у р о р. Кто же давал вам приказ, когда начать и когда прекратить избиение?

Л е х н е р. Лейтенант Дингес».

Из допроса подсудимого Дингеса, бывшего штурмфюрера СС:

«П р о к у р о р. Кому вы отдали приказ расстрелять заключенных?

Д и н г е с. СС-гауптшарфюреру Лехнеру.

П р о к у р о р. Это была ваша воля?

Д и н г е с. Я получил такой приказ после того, как сообщил начальству, что дальнейшее следствие бесполезно.

П р о к у р о р. Вы присутствовали при расстреле?

Д и н г е с. Нет.

П р о к у р о р. Знали ли вы о содержимом ящиков?

Д и н г е с. Я знал лишь, что там какие-то бумаги, имущество рейха.

П р о к у р о р. Была ли у арестованных возможность высказать последнее пожелание перед казнью?

Д и н г е с. Да. Они попросили привести к ним ксендза.

П р о к у р о р. Вы исполнили их последнюю волю?

Д и н г е с. Я доложил об этом Пельцигу. Но он запретил посылать польского священника и прислал какого-то немца-католика, интендантского лейтенанта, в прошлом, кажется, викария. Точно сейчас не помню. Но заключенные отказались от его услуг...»

Из допроса подсудимого Иозефа Лехнера, бывшего гауптшарфюрера СС:

«П р о к у р о р. Кого лично расстреляли вы?

Л е х н е р. Никого. Это исполнили мои солдаты в моем присутствии...»

Из допроса свидетеля Богуслава Банаха:

«П р о к у р о р. Вы высказали предположение, что в заса-

ду вы попали из-за предательства. Кто, по вашему мнению, мог выдать вас?

Б а н а х. Это дело рук Свидрака! Он меня свел с паном Косинским, он и выдал! Не зря же убежал из Польши!..»

Из допроса подсудимого Дингеса, бывшего штурмфюрера СС:

«П р о к у р о р. Вы знали человека по имени Ежи Свидрак?

Д и н г е с. Нет. Такого человека я не знал...»

Из допроса подсудимого Иозефа Лехнера, бывшего гаупт-шарфюрера СС:

«П р о к у р о р. Знали ли вы человека по имени Ежи Свидрак?

Л е х н е р. Нет. Не знал и никогда не слышал...»

Из допроса свидетеля Вацлава Сапежны, бывшего руководителя подпольной организации АЛ:

«П р о к у р о р. Входили ли архитектор Косинский и его группа в вашу организацию?

С а п е ж н ы. Нет, эта группа к нам не имела никакого отношения. Мы даже не подозревали о ее существовании и узнали о ней лишь после того, как их арестовали. Полагаю, что они действовали совершенно самостоятельно. Насколько мне известно, группа Косинского ни разу не пыталась найти с нами контакт. Жаль, конечно. Мы бы помогли им опытом и делом. Может, они тогда бы и уцелели. Видимо, это просто честные интеллигенты, самодеятельно на свой страх и риск объединившиеся в маленькую группку во имя какой-то локальной цели. Я просматривал еще раз наши разведданные. В них Косинский и его товарищи не упоминаются даже косвенно.

П р о к у р о р. Не попадала ли в ваше поле зрения фамилия Свидрака как осведомителя СД?

С а п е ж н ы. Мы знали, что на Пельцига работало несколько осведомителей. Некоторых мы убрали. Вместе с тем

мы знали, что есть у него кто-то очень ловкий, опытный, хорошо законспирированный. В этом нас убедил провал русского радиста. Но выявить, чьих рук это дело, мы не смогли. За Свидраком ничего особенного замечено не было. Либо он был честен, либо, если подозревать его, умело работал... В первом случае требует объяснения его побег из Польши, во втором — это понятно...»

Так раскрылась для меня еще одна страничка далекого прошлого. Одна из рядовых историй, каких было много во время оккупации. Разумеется, если смотреть на это сегодняшним взглядом, припоминая обилие литературы на эту тему. Но для беременной Ядвиги Глинской и ее сотоварищей, когда их, измороженных за время допросов, вывели расстреливать во двор Цитадели, все это было не страничкой из книги, а горькой участью...

Свыше трех часов просидел я над томами судебного дела, извлеченного из архивов. Но, кроме того, что Свидрак мог быть осведомителем или мог им не быть, я ничего не вычитал. Сам же Свидрак теперь ничего не подтвердит и не опровергнет.

После обеда мы с Фисняком выехали в Езерно. Сидя рядом с шофером, майор иногда оборачивался ко мне и, как гостеприимный хозяин, пытался занять случайным разговором.

Мокрое шоссе убегало из-под колес, монотонно шуршавших, подскакивавших на выбоинах. Деревья еще были темные и влажные. Дождь, смыв снег, обнажил желтоватую прошлогоднюю траву и полосы вязкой земли. Но черные птичьи стаи, густо кружившие над дальней рощей, вселяли надежду, что настоящая весна все-таки состоится, что будет солнце и тепло, и я утешился, что подспудное, сосущее меня беспокойство объясняется, видимо, затянувшейся дурной погодой.

Чтобы отвлечься, я спросил Фисняка:

— Нашли вы что-нибудь в этом старом судебном деле?

— Ничего ценного. Просто искал подтверждение или опровержение заявлению шофера Банаха, что Свидрак был осведомителем.

— Ну и как? Успешно?

— Нет. Хотя в другом месте откопал один документ тех

лет. Это — информация немецких антифашистов. Правда, по иному делу, но в ней со ссылкой на Пельцига упоминается, что Свидрак якобы был его осведомителем.

— Но ни на следствии, ни на суде это не подтвердилось?

— Совершенно верно. Информация могла быть неточной, если учесть сложное время и, вероятно, непростые условия, когда она добывалась. Уточнить ее не удалось. В сорок восьмом году были заботы поважнее. И как сейчас согласовать с нею, что Свидрак не испугался и решил все же вернуться в Польшу?..

— А если поговорить еще раз с Банахом?

— Увы. Его нет уже в живых.

— Убит?

— Ну, зачем такие страсти? Умер своей смертью. В тысяча девятьсот сорок девятом году. Готовясь к судебному процессу сорок восьмого года над эсэсовцами, мы беседовали с людьми из АК, которые перешли к нам, перелопатили захваченные аковские документы. Но нигде и никто не упоминал Свидрака. Нет в них никакого упоминания и об этой четверке расстрелянных. Видимо, они действительно были сами по себе, вне всяких организаций. Время-то какое было! Каждый честный человек хотел хоть что-то сделать для Польши.

— И тем не менее...

— Да, тем не менее Банах до конца своих дней продолжал утверждать, что выдал их Свидрак, а подкреплял это свое обвинение тем, что Свидрак бежал из Польши и приехать на процесс в качестве свидетеля отказался.

— Что ж, это уже факты.

— Это верно, что факты,— засмеялся Фисняк.— Отраженный в зеркале флакон с духами, стоящий на подзеркальнике,— это ведь тоже факт, реальность. Однако сдвинуть с места отражение, чтобы открыть флакон и услышать истинный запах духов, вы не можете. Вам остается только догадываться о нем, воображать. Для того чтобы факт бегства Свидрака из Польши и факт отказа его приехать на процесс обрели истинный смысл, необходимо узнать еще что-то, чего мы не знаем. Поэтому в таких случаях я говорю: нельзя показать фигу, если у тебя нет большого пальца.

— Вы откуда родом? — переменял я тему.

— Я с Жешувщины. Предки мои пахали там земли краковского воеводы Любомирского.

— Что ж, значит, мы земляки. Это факт. А он дает право предполагать, что в давние времена ваши и мои предки, возможно, были хорошо знакомы или даже состояли в род-

стве. Так что вы уж учитывайте это в своем отношении ко мне.

— Это всего лишь предположение,— засмеялся Фисняк.— Но я готов принять его за истину.

— Будем считать, что мне повезло...

Вдали показались окраины Складзенья. Шофер сбросил газ и на малой скорости подкатил к бензоколонке.

— Будешь заправляться? — спросил его Фисняк.

— Возьму канистру про запас...

Пока он занимался своим делом, мы с Фисняком вышли размять ноги. На противоположной стороне шоссе велись какие-то работы, ревел дизель бульдозера. Люди в ярко-оранжевых, люминесцирующих куртках укладывали в ров трубы, обмотанные стекловатой. Укладывали теплотрассу. Я знал из газет, что в этих местах строится гигантский изоляторный завод, что вырастет здесь городок-спутник, который со временем сольется со Складзенем. Стройка уже велась — далеко в поле видны были поднявшиеся над землей железобетонные сваи, и дальним эхом отдавались удары по ним пневмомолотов; как жуки, один за другим ползли тяжелые самосвалы, увозя куда-то тысячи кубометров выработанного грунта... Большая жизнь шла своим чередом, и у каждого в ней были свои заботы. Я посмотрел на Фисняка.

Майор, словно забыв о моем присутствии, стоял ко мне спиной и с таким вниманием следил за движениями работающих, словно от этого зависело, доедем ли мы до Складзенья или нет. Я видел профиль его крупного лица, морщинки у сощуренного глаза. Фисняк словно примеривался к ритму движения рук в брезентовых рукавицах, поддерживавших трубу, висевшую на таях автокрана. И мне почему-то подумалось, что в этот момент хотя и мысленно, но он занят тем делом, которым занимаются эти рабочие, и что форма на нем и дело, каким он занимается, в действительности — просто нелепая случайность. Но в этих моих мыслях не было ничего обидного для майора. Просто таким видел я лицо Фисняка.

Шофер посигналил нам. Мы вернулись к машине. И вот уже позади остались ярко-оранжевые куртки и столбик бензоколонки под навесом.

Ни я, ни Фисняк не могли даже предположить, что эта бензоколонка еще сыграет очень важную роль во всей истории. Бензоколонка у в ъ е з д а в Складзень. Правда, потом это прозвучит иначе: бензозаправочная станция на в ы е з д е из Складзенья. И эта разница будет иметь значение...

Миновав железнодорожный переезд, мы въехали на окраину Складзенья и, не сворачивая в его центр, по окружной дороге понеслись к Езерно.

ГЛАВА 5

Езерно — маленький аккуратный городок, лежащий в стороне от главных магистралей. В нем пятнадцать тысяч жителей. Славился он архитектурной стариной, чистотой стилей, поглядеть на которую привозят на практику студентов из Варшавы и Кракова. Знаменита была и здешняя Цитадель. Но ее, стоящую на окраине, возле большого пустыря, оккупанты взорвали. От этого круглого оригинального кирпичного строения уцелело лишь одно радиальное крыло.

К Цитадели примыкает огромный лесопарк, заложенный некогда графом Потоцким, намеревавшимся строить в нем летний дворец и оранжерею редких цветов. За годы войны парк пришел в запустение. А в конце пятидесятых, после строительства фарфорового завода и нового жилого массива по другую сторону озера Бялого, места эти, естественно, потеряли для жителей интерес, ибо все потянулись туда, где заводом была создана новая зона отдыха — с павильонами, профилакторием для заводских, лодочной станцией и пляжем. Нынче же решено реставрировать парк, городским властям выделены средства — как-никак сорок пять гектаров ценнейших пород деревьев и кустарников. К тому же на пустыре рядом намечено новое жилое строительство.

Работы в парке начнутся с осени, пока же диковатую укромность его посещают лишь влюбленные парочки да владельцы собак водят сюда своих четвероногих любимцев...

Я брожу по длинным прямым аллеям, обсаженным старыми липами, и думаю о том, что со временем, когда на пустыре начнется жилое строительство, парк оживет. Но пока что здесь тишина, запустение и покой. Вдоль аллей, словно охраняя все это, выстроились грязные гипсовые рыцари в латах с мечами и античные девы в хитонах, серых от въевшейся в гипс многолетней пыли. У некоторых отбиты руки и разmozжены головы, — говорят, немцы упражнялись в стрельбе по этим безответным мишеням.

На полянах — высокие ели и старые кусты сирени. Крутые венецианские облупившиеся мостики декоративно выгнуты над каналами. Они почти сухие. По обложенному плитами дну стелется лишь зеленоватая слизь, а на стенах порос мох.

На аллеях и полянах попадаются тяжелые чугунные скамьи с ножками в виде львиных лап. На одной из них и нашли мертвого Свидрака. Об этом рассказал мне Мацек Тим. Мы живем с ним в одном номере местной гостиницы с восточным названием «Базар». Фисняк с шофером живут по соседству.

Увиделись мы с Мацеком в день моего приезда. Когда я вошел в номер, он лежал одетый на разобранной постели. На столе стояла недопитая бутылка молока и валялся берет.

На мое приветствие он, не вставая, спросил:

— Что нового в Гданьске?

Спросил, будто не был там бог знает сколько и только и ждал моего появления, чтобы узнать какие-то новости.

— Привет тебе от Анджея,— сказал я, вешая плащ.

— Спасибо,— ответил Мацек. Лицо его не было таким добродушным, каким я привык видеть его за время нашего непродолжительного знакомства.— Мои новости ты знаешь.

— Так, в общих чертах,— спокойно отозвался я, хотя вопросы так и распирали меня.

— Подождем Фисняка, тогда все услышишь. Заказал Гдыню,— кивнул он на телефон.— Что-то Врона молчит.

За окнами темнело, и в комнате становилось сумеречно. Я зажег лампу на тумбочке у своей кровати. Вскоре пришел Фисняк. Он уселся рядом со мной напротив Мацека, поздоровался с ним и, скрестив на могучей груди тяжелые руки, спросил:

— Ну что?

— Похоже, убит.— Мацек сел, пухлыми ладонями потер лицо.— Обнаружил его милицейский патруль. Они часто заглядывают в парк: место удобное на многие случаи жизни.— Мацек вздохнул.— Сидел Свидрак на скамейке как живой. Пуля вошла чуть выше левого соска. Выходное отверстие под лопаткой. Завтра будут готовы результаты вскрытия. Нашли и гильзу. Немецкая.

— Калибр? — спросил Фисняк.

— Девятка. Вот,— Мацек открыл ящик стола, извлек оттуда старую темную гильзу и роскошное, из тисненой коричневой кожи портмоне. Я узнал: портмоне Свидрака, он доставал его, когда мы втроем — Свидрак, Анджей и я — сидели в кафе «Фрегат» и пили кофе. И еще я узнал японский фломастер с зеленой пастой, которым он тогда малевал круги, квадраты и черточки на листке бумаги, лениво слушая, что говорил ему Анджей.— Документы и деньги на месте,— сказал Мацек,— хотя, может быть, что-то отсюда и исчез-

ло.— Он встал, взял бутылку с молоком и отхлебнул прямо из горлышка.— А вот рапорт патрульного,— он достал из кармана пиджака листки.

Рапорт патрульного капрала Владислава Торончака:

«Я, капрал В. Торончак, докладываю: обходя свой участок вместе с шереговым¹ К. Пишнярским в глухом месте парка Потоцкого на поляне со скульптурой однорукой Дианы-охотницы, в 22 часа 15 мин. обнаружил сидящего на скамье человека. На мой оклик человек не отозвался. Я тронул его за плечо и понял, что человек мертв. Это подтвердил вскоре вызванный мною врач-эксперт. Каких-либо следов борьбы вокруг и на самом трупе мною не обнаружено. Лишь после того, как мы расстегнули его куртку, чтобы поискать документы и установить личность мертвого, мы увидели небольшое отверстие и красное пятно на рубаше с левой стороны груди, что позволяло предположить о ранении. При первичном осмотре места происшествия обнаружены стреляная гильза со свежим запахом пороховых газов и свежие следы протекторов мотоциклетных скатов. Служебно-розыскная собака след не взяла. По документам, находившимся при трупе, покойный значился как Ежи Свидрак...»

— Что успели сделать? — спросил Фисняк.

— Сняли оттиски со следов протекторов. Будем искать владельца мотоцикла. Пытаюсь установить, когда и с кем Свидрак сюда прибыл, где жил. И жду результатов вскрытия.— Мацек снова сделал несколько глотков из бутылки.

Зазвонил телефон, дали наконец Гдыню.

М а ц е к. Ладно, Врона, я и так узнаю твой голос. Ну, что там у тебя? Нашел эту девчонку?

В р о н а. Нашел. Марыся Грженда.

М а ц е к. Дальше!

В р о н а. Твердит, что в субботу с полудня и до конца дня не выходила из дому.

М а ц е к. А ты?

В р о н а. Я тихонько показал ее официанту из «Сима» Он говорит, что она была в «Симе». Сперва сидела одна, позже к ней подсел пожилой мужчина. Похоже, при деньгах, потому что заказал богатый ужин и дал хорошие чаевые. Ушли они из ресторана вдвоем.

М а ц е к. Ты показал официанту фотографию Свидрака?

В р о н а. Да. Он опознал.

М а ц е к. Ты Марыське об этом сказал?

¹ Ш е р е г о в ы й — рядовой (польск.).

В р о н а. Нет, еще рано.

М а ц е к. Правильно. Как думаешь, почему она врет? Алло, алло! Врона, ты куда пропал?

В р о н а. Я не пропал.

М а ц е к. А почему молчишь? Ты не наделал глупостей?

В р о н а. Кажется, одну сделал.

М а ц е к. Какую?

В р о н а. Показал ей фотографию Свидрака и спросил, не встречала ли она этого человека.

М а ц е к. Она тебя не поблагодарила за эту глупость? Стоило бы. От меня ты за это получишь, но не благодарность! Теперь тебе понятно, почему она врет?! Что у тебя еще?

В р о н а. Никто из таксистов — ни частники, ни государственные — Свидрака не возили. Если, конечно, полагаться на их память.

М а ц е к. Хорошо. Теперь вот что: с Марыськой — больше никаких бесед! Но глаз не спускай. Выясни все о ее родне. Понял?

В р о н а. Понял.

М а ц е к. Если будет что-нибудь новое — звони сюда. Все!..

Вернувшись к столу, Мацек раскрутил в бутылке остатки молока и вылил их в горло.

— С чего начнем завтра? — спросил Фисняк.

— Выкладывай свои идеи, — сказал Мацек.

— Поищем тех, кто мог быть поблизости от места убийства в то время.

— Давай, — согласился Мацек. — Ну, и лица, вернувшиеся из мест заключения.

— Может, у него какие-нибудь родственники в Лондоне есть, — сказал я больше для того, чтобы оправдать свое присутствие, — и они как-то заинтересуются фактом смерти Свидрака.

— Об этом я уже доложил в Варшаву. Пусть там решают, — ответил майор. — У нас будет с избытком и своих забот...

ГЛАВА 6

Утро следующего дня принесло неожиданность, в ней в какой-то мере был повинен я.

В комнату к нам вошел Фисняк, выбритый, свежий, ото-спавшийся. Мацек в этот момент вправлял в манжет высокочившую запонку.

— Дай-ка я посмотрю еще раз портмоне Свидрака. И я бы хотел взглянуть на его бумаги, которые ты взял в гостинице,— сказал Фисняк, усаживаясь за стол.

— Возьми в ящике стола,— ответил Мацек, злясь, что никак не может протолкнуть запонку в петлю.

Содержимое портмоне и желтого конверта майор высыпал на стол двумя отдельными кучками. Отложил в сторону пачку денег, стопку чистеньких визиток Свидрака. И начал просматривать бумажки и документы, укладывая все это снова в портмоне. Я стоял за его спиной и смотрел.

Мацек наконец справился с запонкой, подошел к столу, чтобы задвинуть ящик, мешавший ему пройти, и заглянул в него.

— Вот еще бумажка,— он запустил в ящик руку.— Эту нашли, когда вывернули карманы брюк. Сунь ее в портмоне,— и он отдал Фисняку скомканный листок из блокнота Анджея Пославского. На нем Свидрак в день приезда под диктовку Анджея записал своим зеленым фломастером адрес и телефон гостиницы. На обороте листка он малевал тогда раздражавшие меня зеленые круги и квадратики.

Покончив с портмоне, майор принялся за желтый конверт. Передо мной опять замелькали фотографии Свидрака, затем Фисняк читал уже известное нам письмо из «Славянской Мисии» в Стокгольме. Дочитав, он подчеркнул карандашом последнюю фразу письма: «...мы не в состоянии оказать Вам реальную помощь в Ваших розысках, а ограничиваемся лишь советом: попробуйте обратиться в «Комитет католического единства» в Кельне». Потом ловко, как пинцетом, майор поддел и зажал между указательным и средним пальцем знакомую мне визитную карточку Свидрака. Фисняк хотел было втолкнуть ее ко всем остальным в портмоне, но, когда шевельнул пальцами, карточка перевернулась, и на обороте ее я заметил какую-то запись, сделанную все тем же зеленым фломастером. Склонившись, из-за плеча Фисняка я увидел размашисто записанный номер телефона, рядом слово «Кельн», а под ним имя и фамилию: «д-р Франц Занне».

— Минутку! — остановил я майора, обходя стол и усаживаясь перед Фисняком.— Как вы думаете, Войцех, почему эта визитная карточка лежит отдельно, в этом желтом конверте, а не со всеми вместе в портмоне?

— Возможно, из-за этой записи: «Кельн, д-р Франц Занне»,— ответил Фисняк.— Свидрак делал эту запись, очевидно, когда под рукой не было никакой другой бумаги. Ну и в этом же конверте лежит письмо из Стокгольма, из «Сла-

вянской Миссии», где Свидраку рекомендовали обратиться в Кельн. В обоих случаях Кельн.

— Это близко к истине,— заулыбался я.— Мацек, подойди-ка сюда.— Я полез в боковой карман и, вытащив оттуда прямоугольник глянцевої бумаги, положил его на стол.— Взгляните. Это тоже визитная карточка. И на ней написано черным по белому: «Доктор Франц Вильгельм Занне. «Новое католическое издательство». Кельн».

Мацек и майор переглянулись.

— Как это к тебе попало? — спросил Мацек.

— В воскресенье, три дня назад, я познакомился с этим человеком в Гданьске в Марицком костеле. Мы с ним мило побеседовали, посидели за чашечкой кофе в «Марысеньке».

Я глянул на Мацека и вспомнил подаренную мне приятелем фигурку китайского болванчика, которую он привез из Непала. Костяная голова его была укреплена на туловище каким-то шарнирным способом, и при легком прикосновении она долго ритмично покачивалась вперед и назад, вперед и назад. То же самое проделывал сейчас Мацек. Фисняк просто молчал.

— Рассказывай,— буркнул Мацек.

И я рассказал им. Я старался вспомнить все, постигая, какое значение это обрело сейчас.

Когда я закончил, Мацек сказал:

— Свидрак и этот Занне могли быть знакомы и встретиться в Гданьске, обусловив эту встречу. Могли быть знакомы, но встретились случайно.

— И не его ли разыскивал Свидрак? — напомнил я о письме из «Славянской Миссии» и подчеркнутую Фисняком фразу.

— Они могли быть лично и не знакомы. Но обусловить эту встречу письменно или по телефону. Они могли быть не знакомы, но Свидрак рассчитывал его здесь встретить.— Фисняк помахал перед нашими носами визитной карточкой Свидрака с записанным на обороте кельнским телефоном доктора Занне.— Свидрак мог позвонить в Кельн и узнать, что Занне уехал в Польшу и что он будет в Гданьске.

— И они могли вместе уехать в Езерно,— заключил я.

Мацек так посмотрел на меня, словно я был виноват в этой возможности, хотя, наверно, и сам подумал об этом. А дальше?.. Дальше надо было попридержаться фантазию, иначе домысливание, чем кончилась эта возможная совмест-

ная поездка, привело бы к очень неприятному предположению... Впрочем, оно так или иначе возникло у каждого из нас.

— Нет,— помотал головой Мацек.— Я этим Занне заниматься не буду! Где я его буду искать? Дотянись до него, если он уже в Кельне. Да он пошлет нас к черту в любом случае — имеет он к этому отношение или не имеет... Ну, кого еще ты встречал, с кем еще обменялся визитными карточками? — набросился он на меня.— Ты хороший парень, Ян, но с твоим приездом слишком много хлопот появилось,— вдруг засмеялся он.— Когда следующий раз соберешься в Гданьск предварительно позвони мне и сообщи, о чем собираешься писать...

Версии... Что это, в сущности, такое? Логическое построение из случайностей, из совпадений времени, действующих лиц и места действия? Разве не из случайностей вытекают великие закономерности? Не знаю, как написано в учебниках, но для меня сейчас это выглядело так.

— Слушай, а если все это совпадение? — произнес я.

— Что? — спросил Мацек.

— Просто приезд Занне случайно совпал с приездом Свидрака. Оба появились здесь совершенно по разным, не связанным между собой причинам. Каждый из них не предполагал о приезде другого. В конце концов, они могли и не встречаться! Ведь это же мы все время варьируем их имена, заставляем их в нашем воображении знать друг друга, встречаться, ехать вместе в Езерно... Этого всего могло и не быть?!

— Кроме одного,— отозвался Фисняк и снова помахал перед нашими носами визитной карточкой Свидрака, именно той ее стороной, где записаны телефон и имя доктора Занне.

— Н-н-да! — крикнул Мацек.

— Ну, а если эту надпись сделал ему сам Занне, своей рукой, при случайном знакомстве, в костеле, в ресторане, где угодно, как со мной! — вломился я.

— Он просто дал бы ему свою визитную карточку, как вам,— пожал плечами Фисняк.— Хорошо, с Занне я постараюсь кое-что уточнить,— сказал майор.— Не будем себе ломать день. Займемся тем, что наметили.

— Завтракать! — скомандовал Мацек, упираясь пухлыми ладонями в стол.

В кафе при гостинице кормили неплохо. За завтраком мы занимались только завтраком, никаких разговоров о делах. Мацек даже шутил, а Фисняк добродушно посмеивался, держа за ниточку мешочек с заваркой и окуная его в стакан с кипятком.

Я считал, что ходить целый день с Мацеком и Фисняком мне не следует: во-первых, я не знал, с кем мне интересней пойти — с майором или с Тимом; во-вторых, я боялся, что мое постоянное присутствие праздного человека может им осточертеть; в-третьих, бывая с одним, я вынужден был бы после расспрашивать другого, чтобы иметь представление обо всем. Поэтому я решил не есть отдельно тесто и отдельно яблоки, а заполучить готовый пирог целиком: Тим и майор будут еходиться, скажем, вечером, для подведения каких-то итогов — и все это будет происходить в моем присутствии.

Об этом решении я сообщил Мацеку и Фисняку, умолчав, разумеется, о яблочном пироге. По их ответам я понял, что мой вариант устраивает обоих. Пожелав им удачи и договорившись, что обедаем вместе, я отправился после завтрака бродить по Езерно.

Прежде всего я пошел в Цитадель, туда, где были расстреляны эти четверо. Они хотели совершить что-то для родины и не считали свои действия подвигом, их нравственность не опускалась до этого; они просто были гражданами, разделявшими горе своей страны. Но поскольку проявление гражданственности в условиях жесточайшего оккупационного террора требовало риска и жертвенности, мы вправе расценивать их поступок как подвиг, хотя мы не знаем даже, ради какого конкретного дела он совершался. И то, что мы не знаем об этом, должно быть для них обидно. Утешительна лишь мысль, что мертвым неизвестно об этом нашем жестоким неведении.

Двор Цитадели, плотно выложенный брусчаткой, был пуст. Я тщетно пытался представить себе то место, где расстреливали четверых польских интеллигентов. Отсюда давно вывезли кирпичи и искореженную взрывами арматуру. От взорванной части Цитадели остался лишь фундамент с зацементированными входами в подвалы.

В уцелевшем радиальном крыле — какое-то учреждение. Надписи на дверях не было. Приникнув к зарешеченному окну, я увидел большую комнату. Стены ее являли собой многоярусные стеллажи, заполненные толстыми аккуратными пакетами, стояли высокие шкафы со множеством ящичков, на которых проставлены буквы и номера. Я перешел к другому окну и сразу понял, что заглянул в мастерскую художников: несколько человек в халатах стояли у мольбертов. Боясь, что там заметят мою любопытную физиономию, я собирался было повернуть назад, когда меня окликнули:

— Если вам это так интересно, вы можете просто войти внутрь.

Обернувшись, я увидел у входной двери на невысоком крыльце молодого человека. Он был в тяжелом бежевом свитере и черных нарукавниках. Пальцы его были испачканы краской, и, покуривая, он осторожно подносил сигарету ко рту.

— Любопытство подвело, — развел я руками, пытаюсь наивно улыбнуться. — Что тут у вас?

— Хранилище музейных фондов и реставрационная мастерская. Вы приезжий? — спросил Бежевый Свитер.

— Да. Из Варшавы, — и я назвал свой еженедельник.

— Тоскливое издание, — закивал Бежевый Свитер, втягивая в выпяченные губы сигарету.

— Я передам это своему редактору, — пообещал я.

— Приехали писать об Езерно? — спросил Бежевый Свитер.

— Для начала посмотреть.

— Давно пора. Вся беда в том, что Езерно находится на отшибе, в своеобразном географическом тупике. А для умных туристов тут есть что смотреть: и архитектуру, и витражи, и живопись. Вы слышали когда-нибудь о нашей коллекции папских портретов?

— Нет, — признался я.

— То-то! — почему-то обрадовался Бежевый Свитер. — Начиная с пятнадцатого века, от Пия Второго. Не все, конечно, но Павел Второй, Сикст Четвертый, Иннокентий Восьмой, Леон Десятый, Марцелий Второй и далее по хронологии с некоторыми пробелами. А какая у нас роскошная коллекция гениальных подделок! Почище, чем Вермеер Дельфтский Ван Меегерн!¹

Все это Бежевый Свитер изложил мне между двумя затяжками. Затем, растоптав окурок и приоткрыв одной рукой дверь, он сказал:

— Приходите вечером в кафе «Сезам». Вам, наверное, здесь скучно одному. В чужом городе надо иметь двух-трех знакомых. Ну, привет! — И он скрылся за дверью.

Еще немного походив по Цитадели, я отправился в центр. Улочки, которыми я шел, были узки, с неожиданными пово-

¹ В а н М е е г е р н — талантливый голландский художник, знаток старой живописи и истории искусств, тончайший фальсификатор, написавший шесть картин в стиле величайшего голландского художника Вермеера Дельфтского. Одну из этих подделок — «Христос и женщина» — за миллион 650 тысяч гульденов купил в 1943 году Геринг. Ван Меегерн умер в 1947 году.

ротами. Дома — в основном двухэтажные, очень старой постройки, с лепными фигурами человекобыков, женщин с телами рыб, бородатых Посейдонов и ангелов с рогом в руках. Все они были без подделки XV—XVII веков. На многих домах не хватало окон — были лишь намечены их контуры, и издали казалось, что окна заложили кирпичом и заштукатурили под цвет стены. Однако именно это выдавало средневековый возраст дома, незнатность его владельцев: в ту пору за каждое окно на фасаде нужно было платить большие налоги, и много окон могли иметь лишь именитые и богатые жители города. Представляю, сколько содрали бы в те времена за обилие стекла в сооружениях нового центра в Варшаве!

Я пользовался старым разумным правилом: для того чтобы получше узнать город, в который ты попадаешь впервые, нужно рассчитывать только на свои ноги — пешком и только пешком! Выйдя на площадь Войска Польского, я начал отсюда свои дальнейшие (после Цитадели) прогулки. За три часа хождения я уже знал, помимо прочего, где находится кинотеатр, парикмахерская, ресторан с дансингом, несколько кафе, а среди них и «Сезам», куда меня пригласил Бежевый Свитер.

Меня приятно удивило, что в Езерно было много молодежи, что антураж старины озвучивался веселыми голосами. В позапрошлом году здесь открыли Высшую агротехническую школу. Ее студенты — народ, как и всюду, авангардистский, в особенности в одежде, — вовсе не разрушали ощущение жившей тут истории. Скорее наоборот — юными лицами, улыбками, смехом и, разумеется, самим фактом своего присутствия здесь парни и девушки обновили смысл этой старины, из разных концов страны принесли сюда гулкий ритм ее настоящего и, конечно, определили будущий облик города: ведь многие из них осядут здесь и в окрестных повятах¹, обзаведутся семьями, утвердят новый быт, не желая отступать от той динамичности, какая вообще характерна нынче для всей Польши. Ведь мы — одна из самых омолодившихся по населению стран мира. Приятное социальное и демографическое явление. Но человеку моего поколения при этой мысли вспоминается непременно и другое: в минувшей войне погибло шесть миллионов поляков.

Итак, Езерно оказался одним из тех городков, которые

¹ П о в я т — район (администрат.).

нравятся сразу, если, конечно, отвлечься от мысли, что несколько дней назад тут убили человека.

Кто и за что? Первую половину этого вопроса — «Кто?» — я мог оставить в покое, поскольку ответа дать не мог. Со второй частью обстояло почти так же, но здесь имелась возможность пофантазировать. «...За что?» Ограбление? Месть? Случайность? Самозащита? Ревность?.. Не закончив этого перечня, я ужаснулся от того, сколько дополнительных вариантов содержит каждое из этих слов, и с жалостью подумал о Мацеке и майоре Фисняке...

Они между тем испытывали ко мне несколько иные чувства. Я понял это по насупленным бровям Фисняка и по фразе Мацека, какой он встретил меня за столиком в ресторане, куда я явился, опоздав минут на сорок.

— Мы же договаривались обедать вместе, — сказал Мацек. — Ты что, заблудился и сорок минут искал гостиницу? Что будешь есть? — спросил он, пододвигая ко мне меню.

Ничего не ответив, я уставился в карточку и назвал первое, что попало на глаза:

— Гренки и флячки¹. Да, еще бутылку «сенатора».

Обедали мы молча. Чувствуя себя виноватым, я боялся задавать вопросы, надеясь, что к вечеру оба они смилятся.

После обеда Фисняк ушел к себе, а мы с Мацеком — к себе. Мацек улегся и сразу же заснул, а я начал просматривать купленные накануне газеты.

Тим проснулся именно в тот момент, когда я, утомленный обилием новостей, вычитанных из газет, мучительно захотел спать. Борясь с этим желанием, я слушал, как в ванной, кряхтя и фыркая под струей холодной воды, ополаскивался голый до пояса Мацек. Затем он вошел, растираясь полотенцем, белотелый, несколько уже ожиревший. Тем не менее я не мог не заметить, что некогда этот огрузневший, плотный человек обладал недюжинной силой, что мышцы его, затекшие сейчас салом, когда-то были подвижны и упруги. И еще я заметил несколько шрамов на груди и правом боку.

— Где это тебя? — спросил я.

— Тут разное, — махнул он рукой. — И сорок третий, и сорок пятый, и сорок восьмой. Это что! Ты бы посмотрел на Збышка! Помнишь, мой приятель-таксист? Вот его разрисовали — это да! И пули и осколки. Весь меченый. Во время Варшавского восстания...

¹ Ф л я ч к и — национальное польское блюдо, похожее на наши рубцы.

— Он был там?

— Пошел проводником с группой из советской фронтовой разведки. Переправлялись через Вислу, а потом — по канализационным ходам под Варшавой. Вылезли из люка и напоролись на немцев. Еле отбились... Он был там почти до самого конца. Отчаянный парень.

— Жена у него красивая.

— Анна. Да... А Збышек мне жизнь спас.

— Станный он какой-то, весь из углов.

— Будешь странным, — пробормотал Мацек, натягивая рубаху. — Анна от него уходила. Пил он здорово после войны.

— Чего же вернулась?

— Любит его. Они друг друга очень любят. Только про войну никогда не любит говорить, злится на меня, когда я затеваю эти разговоры. Ему кажется, что мы в такие минуты выглядим сентиментальными. От этого и смешными. Он и в кино не ходит на военные фильмы. А знаешь почему? Однажды пошел на какой-то военный фильм, очень честный и страшный, похожий на нашу военную юность. В зале было полно молодежи. За спиной у него шушукались, а Збых смотрел на экран, и ему хотелось плакать. В самом таком месте, когда у Збыха защемило сердце, сзади кто-то захохотал. Тогда он встал и вышел из зала. «Знаешь, мы таки, наверное, смешные. А они нормальные», — сказал он мне после. С тех пор и не ходит на военные фильмы.

— Я бы не ушел! Дал бы одному-другому, чтоб заткнулись, — сказал я.

— Э-э! — помахал пальцем Мацек. — Разве они виноваты, что молоды? И разве мы виноваты, что стареем?

— Да, ты прав, — согласился я, все еще думая, что на месте Збышка все-таки дал бы тогда в кино кому-нибудь в морду...

Мацек уже застегивал пиджак, доставал из кармана плаща свой берет.

— Есть какие-нибудь новости? — робко спросил я.

— Пробуем кое-что, — неопределенно ответил он. — Ладно, до вечера. Если зайдет Фисняк, скажешь, что я его не дождался.

Разговор с Мацеком отбил у меня желание спать, и я решил дочитать статью о профилактике гриппа. Такие статьи печатают ежегодно, они похожи одна на другую, как грипп прошлого года на нынешний. Но я все-таки дочитал бы, если б не раздался стук в дверь. После моего «войдите» на пороге появился странный человек.

Это был элегантный старикашка в черном, английского покроя пальто с маленьким бархатным воротником. Низкий бобрик волос его был совершенно сед, худое лицо тщательно выбрито, над губой красовались аккуратные усики с загнутыми кверху кончиками. В руке он держал черную велюровую шляпу-котелок, брюки были такие же черные в тонкую белую полоску, начищенные черные ботинки сияли. Английского образца поляк, словно вошедший в мою комнату из двадцатых годов. Он стоял у двери и спокойно смотрел на меня, и мне ничего не оставалось, как спросить:

— Чем могу быть полезным?

— Пан приехал из Гданьска?

— Да.

— Из милиции?

— Допустим. Вы проходите, садитесь.

Старик повесил шляпу, расстегнул пальто и, откинув полу, чтобы не смять пальто, осторожно присел на край стула, выставив худое колено.

— Моя фамилия Генсиорский. Люциан Генсиорский. Пан сержант Врублевский, обслуживающий наш участок, интересовался, где и когда я прогуливал своего Креза в воскресенье. Крез, смею заметить, чистой породы спаниель, очень аккуратное животное. Так вот. Я вывожу его гулять в положенное место и в одно и то же время уже много лет подряд. А именно в парк Потоцкого, к вашему сведению. Я никогда не нарушаю порядка...

Я слушал старика, и мне хотелось смеяться. Но, сдерживаясь, я спросил его:

— Это сержант Врублевский послал вас сюда?

— Нет. Он велел мне пойти в милицию к пану, прибывшему из Гданьска. Но, позволю себе заметить, я человек старых принципов, которым не изменял всю свою жизнь. А в наши дни, проше пана, считалось неприличным ходить в полицию и делать какие-либо заявления.

— В милицию,— поправил я.

— Прошу прощения, пусть будет так,— согласился старик.— Отель у нас в городе один, поэтому разыскать вас было нетрудно, и я позволил себе явиться именно сюда.

Теперь я понял смысл прихода старика. Я вспомнил сказанную вчера Фисняком фразу: «Поищем тех, кто мог быть поблизости от места убийства в то время». Старик Генсиорский, похоже, был одним из них, и обнаружил его участковый сержант Врублевский, который знал, что старик выводит на прогулку своего пса в парк Потоцкого.

Первой моей мыслью было отправить старика, пусть идет туда, куда ему велели, — в милицию. Но раз он пришел сюда, руководствуясь какими-то своими допотопными принципами, — пусть будет так. И кроме того, меня щекотал соблазн выступить хоть раз в роли допрашивающего, тем более что испортить тут я ничего не мог.

— Если вы разрешите, я буду записывать ваши ответы? — сказал я старику, вытаскивая блокнот.

— Это ваше право. Однако позволю себе заметить, что на подобных бумагах свою подпись я не ставил никогда.

— Как вам будет угодно, — ответил я. — Что ж, приступим.

И мы приступили.

Я. Ежедневно ли вы выводите пса в одно и то же место?

Он. Ежедневно. В одно и то же место.

Я. Значит, вы были там и в минувшее воскресенье?

Он. Да.

Я. В какое время?

Он. С девятнадцати до девятнадцати тридцати.

Я. И так ежедневно?

Он. Ежедневно с девятнадцати до девятнадцати тридцати.

Я. В каком именно месте?

Он. Всегда в одном и том же — на поляне, где стоит статуя богини Дианы с отбитой рукой.

Я. Там есть скамья?

Он. Да.

Я. А в воскресенье, когда вы были там, на этой скамье кто-нибудь сидел?

Он. Там было абсолютно пусто.

Я. Значит, от девятнадцати до девятнадцати тридцати вы не видели там никого?

Он. Даже ангела.

Я. Скажите, а нет ли в парке еще одной похожей поляны с подобной статуей и скамьей?

Он. Нет.

Я. Вы подумайте, постарайтесь вспомнить.

Он. Позволю себе заметить, что я живу здесь пятьдесят лет. И если я говорю, что в этом парке единственная статуя Дианы с отбитой рукой и что стоит она именно на этой поляне в десяти метрах от скамьи, то это так же точно, как то, что именно вы сейчас сидите передо мной в белой рубашке, но без галстука.

Я. Значит, если бы кто-нибудь сидел тогда на скамье, вы обязательно увидели бы?

О н. Непременно. Пока Крез гулял без поводка, на этой скамье сидел я.

Я. Может, вы слышали какой-нибудь шум, голоса, шаги?

О н. Там было тихо, как в захлопнутом сейфе. Еще могу отдать вам вещь, которую Крез нашел под кустом возле тропинки.

Он протянул мне очки в красивой оправе, с сильно утолщенными к центру линзами.

Ну что ж, большего, казалось, от старика не требовалось. Я полагал, что Мацеку этого будет достаточно. Поблагодарив старика, я отпустил его, получив заверение, что если он понадобится, то согласен прийти еще раз...

Мне не хотелось торчать в номере и, одевшись, я отправился на почту позвонить домой. Варшаву дали быстро, Сабина оказалась дома.

— Как ты там? — спросила она.

— Ничего, в порядке, — бодро ответил я.

— Почему ты не в Гданьске, а в Езерно?

— Так сложились обстоятельства. Ты бывала когда-нибудь здесь?

— Да. Но очень давно. Чудесный городок.

— Слушай, может, подъедешь сюда ко мне хотя бы на два дня? — из вежливости предложил я.

— Что ж, можно. В театре я отпрошусь. А вернусь в пятницу после обеда. Ведь в субботу у мамы день рождения. Ты, пожалуйста, не забудь поздравить ее. Ты же знаешь, как мама ревниво относится к вниманию с твоей стороны.

Это я знал! И хорошо, что Сабина напомнила мне знаменательную семейную дату, которую я никогда точно не знал. Я не ожидал, что Сабина согласится на мое предложение приехать. Но дело было сделано, веселым голосом я сказал ей, что очень рад буду ее приезду, что мы тут побродим, кое-что посмотрим и что ей как художнице интересно будет побывать в хранилище музейных фондов (это я вспомнил рассказ Бежевого Свитера). Произнося все это, я представлял себе лицо Сабины, оживленное оттого, что она ловко поймала меня на приглашении приехать. Телефонный аппарат у нас стоит в коридоре на столике возле зеркала. И я знал, что Сабина, разговаривая со мной, покуривает сигаретку и смотрится в зеркало.

— Ты когда выедешь? — спросил я.

— Вероятней всего, после обеда. Ты в гостинице живешь?

— Разумеется. Где же еще я могу жить? — скорчил я

гримасу, словно Сабина могла видеть всю степень моего удивления.— Значит, до завтра,— попрощался я.

— Целую, Янек,— отозвалась Сабина и положила трубку...

С почты я не собирался возвращаться в гостиницу, но теперь приезд Сабины вносил существенные коррективы в мои планы: надо было позаботиться о двойном номере.

Дежурная администраторша очень вежливо выслушала меня. Когда я хотел представиться ей, она многозначительно сказала, что знает, кто я и в каком номере живу, но увы... помочь мне ничем не может: завтра начинается повятовая конференция крестьянской партии, и все забронировано.

Мысленно чертыхнувшись, я вышел на улицу, злясь на себя за необдуманные слова, сказанные Сабине так, между прочим, из вежливости... Что же делать? Не звонить же ей, чтобы она не приезжала! «Нет номера?! — ухмыльнется она.— Ну, Янек, ты же у меня молодец, что-нибудь придумай. Я уверена, что ты все уладишь. Итак, до завтра»,— скажет она твердым голосом и повесит трубку...

Уже стемнело, и можно было двигаться в кафе «Сезам» на встречу с Бежевым Свитером. Настроение у меня было не из лучших, но все-таки я пошел в кафе, полагая, что две-три рюмки коньяка с кофе вернут мне постоянное мое расположение к действительности.

Кафе «Сезам» находилось в старом доме. Два небольших зала с тяжелыми сводчатыми потолками. Белые голые стены, чугунные, стилизованные под старину подсвечники создавали атмосферу аскетизма и праведности, несмотря на густой табачный дым и возбужденный шум голосов отнюдь не праведников, сидевших за низкими столами. В особенности это касалось женской половины. Мини-юбки здесь были скорее символикой, нежели одеждой, призванной прикрывать наготу.

Оба зала были отделены друг от друга раскачивавшейся изгородью из бамбуковых тростей, которая свисала с потолка, не достигая пола. Я разглядывал людей за столиками, ища единственно знакомое мне лицо Бежевого Свитера. В конце концов, подумал я, он мог и не прийти, ведь конкретно мы ни о чем не договаривались. И тут кто-то положил мне на плечо руку. Я обернулся. Это был Бежевый Свитер. Он, видимо, сидел перед стойкой бара, находившейся за моей спиной, поэтому я его не заметил.

— Пойдемте за наш столик,— сказал Бежевый Свитер, увлекая меня за бамбуковую изгородь.

За столиком, к которому мы подошли, оказались две молодые женщины, парень и пожилой высокий мужчина. Я назвался, представились и сидевшие за столом. Бежевый Свитер куда-то убежал и через минуту вернулся с креслом для меня. На столе стояла бутылка «выборовой» и большое блюдо канапок с колбасой, сыром и сардинами.

— Пьете? — спросил меня пожилой.

— Если дают, — отозвался я.

— Дадим гостю? — воскликнул Бежевый Свитер.

— Дадим! — со смехом отозвались все...

Потом я заказал бутылку, дело пошло веселей и непринужденней, и вскоре я уже знал, что одну женщину зовут Божена, другую — Эва, парня — Эдвард, пожилого — пан Михал Щепаньский, а человека, которого я прозвал Бежевым Свитером, — Петр.

Говорили мы все разом, как и прочие вокруг, шумно и торопливо, спорили, отыскивая вдруг такие великолепные аргументы, какие в ином случае, в серьезном трезвом споре, вовек не придут в голову. Спорили о молодом модном художнике, которого Петр Бежевый Свитер с восторгом назвал «бунтарем». Пан Щепаньский рассудительно сказал:

— Все, что делает ваш протеже, — это бунт талантливоего ниспровергателя, но не бунт талантливоего творца. Ощущаете разницу? Уж я-то за свою жизнь повидал этих бунтарей. Знаете, вид у них жалкий, как у старика, которому удалось помочиться без особых страданий.

Я глянул на Щепаньского.

— Это сказал не я, а очень давно Жюль Ренар, — улыбнулся он мне.

Петр же — Бежевый Свитер — настаивал на своем. И тогда пан Щепаньский сказал ему:

— Помните, мой друг, когда-то Пилат просто умыл руки, а Петр откровенно отрекся от своего учителя и кумира.

— На что вы намекаете? На то, что и меня зовут Петр? — воскликнул Бежевый Свитер. — Но я никогда не отрекусь!

Пан Щепаньский только улыбнулся. Охмелевший Эдвард заявил, что слава и признание — это дело везения, конъюнктуры сложившихся социальных обстоятельств. Эва, склонившись, что-то шептала ему на ухо. И лишь Божена внимательно слушала всех, перебегая взглядом серых глаз по лицам. Ей около тридцати, и она очень хороша. Прямые темные волосы чуть подкрашены рыжиной, словно в них запутался свет от неяркой, из глубины горящей лампы. У нее

высокая открытая шея, и мне видна была нежная синяя жилочка у горла.

Все они, очевидно, связаны были либо одной профессией, либо совместной работой.

Эдвард вдруг изрек:

— Бросьте вы блуждать среди абстракций! Школы, живопись, века, ценности! У нас в Езерно убили человека. Реализм!

— Когда? — спросил пан Щепаньский.

— Какая разница — когда? Убили — вот что важно!

— Откуда ты знаешь? — поинтересовалась Божена.

Эдвард махнул рукой.

То, что он знал об убийстве Свидрака, меня не удивило. Любой санитар из морга мог сообщить о нем своей жене, а для такого городка, как Езерно, этого достаточно. Желая продолжить тему, я спросил у Божены:

— Неужели действительно убили? Кого?

— Понятия не имею, — ответила она и посмотрела на часы.

— Наверное, кого-то убили, — сказал пан Щепаньский. — Раз Эдвард говорит, значит, кого-то убили, — он подмигнул мне, кивком показал на Эдварда, вяло жевавшего последнюю канাপку с зачерствевшим сыром.

Я тоже глянул на часы. Пора было двигать отсюда. И тут я вспомнил, что завтра должна приехать Сабина!

— Слушайте, Петр, — обратился я к Бежевому Свитеру, — нет ли у вас знакомых, кто бы сдал на сутки комнату? Завтра должна приехать жена, а в гостинице нет номеров.

— Комнату? — задумался он. — Да черт его знает, надо поспрашивать. Я живу в районе новостроек, в больших домах. Там вряд ли... Пан Михал, может, вы знаете, у кого на сутки можно комнату снять? — повернулся он к пану Щепаньскому, а затем ко мне: — Пан Михал живет в старой части города, там в основном особнячки, есть частные.

— Попытаюсь узнать, — ответил пан Щепаньский. — В крайнем случае, могу предложить вам свою мансарду. Правда, там не очень тепло. Я живу внизу и отапливаю только комнаты. В мансарде у меня библиотека. Бываю там раз в неделю...

Мы условились, что если они не найдут мне какой-нибудь комнаты, то можно будет устроиться в мансарде у пана Щепаньского...

Домой мы возвращались вчетвером: я, пан Щепаньский, Божена и Петр, который так же, как Эва и Эдвард, жил в

районе фарфорового завода, но пошел с нами, чтобы проводить Божию. Петр шел с паном Щепаньским, а я с Боженой чуть позади. Было около десяти часов. На узких темных и пустынных улочках гулко звучали наши шаги. Я заметил, что вокруг что-то изменилось, и понял: очистилось от туч небо, появились звезды, а где-то над крышами светила луна, и белесый свет ее отражался в окнах верхних этажей.

Вдруг Божена взяла меня под руку, приблизила лицо так, что я услышал легкий запах ее волос, и тихо сказала:

— А ведь вы знали и раньше, что в городе произошло убийство.

Мне ничего не оставалось, как спросить:

— С чего вы взяли, что я знал?

— Я наблюдала за вами. Вы человек новый. И естественно, мне было любопытно, что, как и о чем говорит незнакомый человек, сидящий со мной за одним столиком, в одной компании. Верно ведь? Так вот я наблюдала за вами. Когда Эдвард сказал: «У нас в Езерно убили человека», вы как-то странно замерли и прислушались.

— По-моему, это естественная реакция: среди мирного разговора об искусстве вдруг такое сообщение. Своеобразный смысловой шок для психики, настроенной совершенно на иную тему. Не правда ли? Разве вас тоже как-то не толкнуло это сообщение Эдварда? — пытался выкрутиться я.

— Но не так, как вас. В вашей реакции был какой-то особый нюанс. А потом, если хотите, и фальшь, когда вы спросили у меня: «Неужели действительно убили? Кого?»

— Допустим, вы правы, — сдался я. — Но я всего лишь журналист, об убийстве услышал сегодня случайно в гостинице от коридорной. Мой интерес чисто профессиональный: какими версиями обрастают такие слухи?

Я заметил, что во время нашего разговора Петр Бежевый Свитер несколько раз оглянулся, и Божена, поймав его взгляд, чуть заметно улыбнулась.

— Вы работаете вместе с Петром? — спросил я.

— Нет. Я вообще германист. Но сейчас занимаюсь фольклором и этнографией Силезии.

— Пытаетесь установить, влияние немецкой культуры на нашу или наоборот? — иронически спросил я.

— Пытаюсь доказать, что совместно, мы и немцы, могли бы сделать много полезного, — серьезно ответила она. — А Петр, Эва и Эдвард художники-реставраторы.

— А пан Михал?

— Пан Михал работает там же, в Цитадели. Он заве-

дует отделом специальных фондов. Он очень образованный человек... Вы надолго в Езерно? — вдруг спросила Божена.

— Еще неизвестно.

— Разве это не от вас зависит?

— Не знаю, как будет поворачиваться тема.

— Интересная?

— Возможно.

— Если будете скучать, приходите к нам, я живу с мамой. Отсюда недалеко, Старый Рынок, дом семь, квартира четыре. Фамилия моя Лапиньска.

— Спасибо. Скучать я, наверное, буду. Старый Рынок, семь, квартира четыре.

Мужчины, ожидая нас, остановились на углу.

Я попрощался с Боженой и Бежевым Свитером, поблагодарил их за сегодняшний вечер. Дальше мне предстояло идти с паном Щепаньским.

— Из-за молодежи я выбился из режима, — сказал он, глядя на часы. — В это время я уже обычно ложусь. Вы, конечно, в Варшаве привыкли к иному ритму?

— Да, пожалуй. Раньше часа ночи редко удается лечь.

— Они меня иногда вытаскивают в кафе посидеть. С ними бывает интересно. Старость ведь штука подлая — завистливая. Зависть эту чем-то надо насыщать, иначе она насытится тобой самим, — засмеялся пан Михал. — В особенности в одиночестве. А когда я с ними, с молодыми, вдруг видишь и свое какое-то превосходство. Петр — человек интересный. Резковатый, правда. Талантливый реставратор, знает языки. Он родился в Бельгии и в Польшу переехал с родителями лишь в сорок седьмом году.

— Моя жена театральный художник. Я бы хотел ей показать ваши фонды, да и сам не прочь посмотреть, если, конечно, вы поможете. Она приедет на сутки, — сказал я.

— Думаю, что это можно будет осуществить.

— Мне Петр нахваливал ваши сокровища.

— Кое-что есть.

— Как это уцелело?

— Уцелело чудом, как и сам город. Его ведь должны были взорвать как своеобразный архитектурный заповедник...

Мы остановились у входа в гостиницу, но я предложил пану Михалу проводить его.

— Ну что вы! — воскликнул он. — Я не девица. У нас можно ночью ходить спокойно. На вас просто повлияли эти разговоры об убийстве.

— А вы в это не верите?

— Нет, почему же! Все может быть. Правда, Петр не верит,— засмеялся пан Михал.— Он всегда не верит тому, что утверждает Эдвард. Но они очень дружны. Ну что ж, спокойной ночи,— заторопился он.— В каком вы номере?.. Хорошо. Завтра я вам позвоню в отношении комнаты.

Мы распрощались...

Мацек и Фисняк еще не спали. Они сидели у нас в номере, что-то обсуждая, потому что, когда я вошел, майор оглянулся на дверь и положил карандаш на листок бумаги.

— Видал?! — кивнул на меня Мацек.— Ну-ка дыхни!

— Гуляли? — спросил Фисняк. Китель на нем был расстегнут.

В комнате было накурено, сидели они тут, видимо, давно.

— Было немножко,— признался я.— Кстати, в ваше отсутствие к вам заходил пан Генсиорский.

— Кто-кто? — спросил Мацек и посмотрел на майора, но Фисняк пожал плечами.

— Пан Люциан Генсиорский! — надменно ответил я, доставая свой блокнот.— Год рождения тысяча восемьсот девяносто пятый, пенсионер, по специальности — бухгалтер. Холост. Родился в Ломже. Полвека безвыездно живет в Езерно,— декламировал я по блокноту, с превосходством бросая взгляд на Мацека и Фисняка.— Все ясно? — спросил я.

— Абсолютно,— ответил Мацек.— А тебе, Войцех? — спросил он у майора.

— В той же мере.

— Ну, хватит! Опять ты с кем-то познакомился? Что за пан Генсиорский? — спросил Мацек.

И тогда я рассказал им о визите пана Генсиорского, аккуратного, педантичного старичка, и о привычках его собачки по имени Крез, нашедшей чьи-то очки, которые Мацек, повертев перед глазами, сунул в боковой карман.

— Оправа хорошая, дорогая,— сказал Мацек.— Ладно, разберемся.

— Вот почти стенографическая запись нашей беседы,— я положил перед Фисняком вырванные из блокнота листки, ожидая, как прореагируют Мацек и майор на то, что без их разрешения я допросил Генсиорского.

Пока они читали, я снял пиджак и галстук.

— Что ж, неплохо. Тебя можно зачислять в штат,— произнес Мацек.— Если, конечно, ты ничего не болтал лишнего этому собаководу.

— Я-то не болтал. Но по городу уже пошел слух об убийстве. Разумеется, не от меня.

— С Генсиорским надо будет поговорить еще раз. Официально зафиксировать его показания,— сказал Фисняк.— Но если это достоверно,— он постучал карандашом по моим листкам,— значит, Свидрак был убит в воскресенье между 19 часами 30 минутами и 22 часами 15 минутами. Это почти совпадает с актом судмедэкспертизы. И пока это надо принять за факт, иначе мы будем метаться из стороны в сторону и вперед не продвинемся.

— Его могли убить в другом месте, а труп перенести в парк и усадить на скамью именно в этот отрезок времени,— заметил я.

— Мы ставили такой вопрос перед экспертом,— сказал Мацек, поглаживая подбородок.— В данном случае это исключено. И постоянно брать под сомнение результаты экспертизы мы не можем. Иначе действительно придется двигаться поперек... Значит, берем это время и место за отправную точку? Так, Войцех?

— Пойдем пока отсюда. Посмотрим, куда придем.

— Теперь вернемся к сообщению из Гдыни. Врона звонил.— Мацек повернулся ко мне.— У Марыськи есть брат, Казимеж Грженда, механик на буксирном судне. Во вторник утром он ушел в море. Я дал команду Вроне связаться с портовым начальством, пусть снимут Грженду с судна. Хочу, чтобы Врона привез его и сестрицу сюда.

— Зачем? — спросил я.

— Так или иначе, а по этой версии прошагать нам придется.

— Психологический эффект: допрос преступников на месте преступления? Так, что ли? — я посмотрел на майора.

— Почти так. С некоторым уточнением: допрос возможных преступников на возможном месте преступления. Мы не можем пренебречь фактом, что девица по имени Марыся Грженда в субботу вечером сидела в Гдыне в ресторане «Сим» с Ежи Свидраком, который в воскресенье был убит в Езерно,— развел майор свои тяжелые руки.— Тем более что она отрицает и то, что была в ресторане, и то, что видела когда-либо Свидрака.

— Да, но нет никаких доказательств, что эта девчонка, или ее брат, или они оба ездили вместе со Свидраком в Езерно! — возразил я.

— Совершенно верно. Никаких доказательств. Даже наоборот. Мои люди беседовали с кассиршами на Гданьском

вокзале. Как известно, Свидрак не ночевал у себя в номере в ночь с субботы на воскресенье. Не появился он там и в воскресенье: рано утром в этот день он выехал из Гданьска экспрессом. Это подтвердила одна из кассирш. Экспресс Гданьск — Варшава ушел почти пустой. Во-первых, был день отдыха, воскресенье, когда никто никуда не спешит ехать; во-вторых, в этот день кардинал Вышинский давал большое представление в Мариацком костеле. Ясно?.. Вокзал в это утро был почти безлюден. Эта самая кассирша продала всего пять билетов: два военному (он был с девочкой) до Варшавы, какому-то советскому туристу (у него был международный билет, и он взял лишь плацкарту до Варшавы), какому-то юноше спортсмену тоже до конца. А пятый билет взял человек, удививший ее. Пожилой, невысокий, плотный, в красивой теплой куртке, с приятными манерами, с красивым цветным саквояжем. Она обратила на него внимание еще и потому, что ехал он всего лишь до Складзенья, но попросил плацкарту! На такое расстояние почти никто никогда не станет тратить деньги на плацкарту: ехать-то всего пятьдесят два километра. Когда кассирше показали фотографию Свидрака, она узнала его. До отхода поезда он находился в билетном зале минут пятнадцать. У кассирши работы не было, и она видела Свидрака почти все эти пятнадцать минут. Был он один, и никто к нему не подходил.— Фисняк встал, прошелся по комнате и остановился у окна спиной к нам, сунул руки в карманы. Китель на нем был расстегнут, и спина его казалась еще шире.— Но в этом пасьянсе,— заговорил он снова,— есть одна мелочь: Марыся Грженда в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник, как заявили соседи, дома не ночевала.

— Не могла ли она...— начал я.

— Не могла ли она,— перебил меня Фисняк,— либо одна, либо с братом сесть незаметно в этот же поезд, но в другой вагон, не первого класса? Почему бы нет?

Фисняк умолк. Мацек начал расшнуровывать ботинки. А я сидел, обдумывая слова майора, ища в его версии какую-нибудь ущербность. Но придраться ни к чему не мог.

— Да, но мотивы?! — сказал я после долгого молчания.

Фисняк пожал плечами.

— Ограбление? — спросил я.— Но Мацек говорит, что деньги оказались на месте.

— Мы не знаем, сколько у него было,— засопел Мацек, распутывая узел на шнурке.— А где его саквояж? И что было в саквояже?.. Я могу тебе еще с десятков таких темных

вопросов подкинуть. Так мы далеко не уедем, если будем хвататься за любой вопрос, возникающий вдруг в голове.

Фисняк застегнул китель, провел широкой ладонью по волосам и сказал:

— Нам еще не ясен путь Свидрака из Гдыни до Гданьска. Не мог же он эти тридцать пять километров идти пешком!

— Это могла быть случайная попутная машина,— сказал Мацек.

— Судя по поспешности, с какой он умчался в Езерно, ему было необходимо это сделать, и едва ли он бы стал рисковать, рассчитывая поймать попутную машину на исходе субботней ночи,— возразил я.— Тут был риск не выбраться из Гдыни. Либо он заранее договорился с кем-то и его отвезли, либо взял такси.

— Ты хорошо соображаешь, Ян,— сказал Мацек, стаскивая ботинок.— Но дело это почти безнадежное — отыскать машину, на которой он уехал из Гдыни. Врона опросил всех таксистов. Никто ничего. Это могло быть и не такси. Это могла быть вообще не гданьская машина, а любая возвращавшаяся из Гдыни даже не в Гданьск. Куда угодно: в Эльблонг, Ольштын, Варшаву, в Люблин, вплоть до польско-советской границы на востоке; на юг — в Торунь, Лодзь, Ченстохов, Краков, и так — до границы с Чехословакией. А еще — на запад: Быдгощ, Познань — в общем, до самой границы с ГДР.— Мацек покачал головой.— Это я назвал тебе города в трех направлениях, куда можно попасть из Гдыни, не минуя Гданьска. А между ними есть еще городки, городишки, поселки и хутора! Короче, получается вся Польша! Вот и ищи эту машину, на которой Свидрак проделал всего тридцать пять километров — от Гдыни до вокзала в Гданьске.

Это перечисление было впечатляющим...

— Спокойной ночи,— сказал Фисняк, стоя у двери.

— Спокойной ночи,— отозвался я.

Мацек лишь кивнул и начал раздеваться.

Потом, когда мы уже легли и погасили свет, я слышал, как он долго вертелся и кряхтел.

— Спи, Мацек,— сказал я.

— Теперь ты видишь, что мы едим свой хлеб не зря,— вздохнул он.

— Как со следами протекторов?

— Пока никак. Случайный человек мог проехать в этом месте. Мотоциклов развелось как мух.

— А что вы решили с этой версией — с доктором Занне?

— Фисняк ковыряется. Завтра посмотрим. От нее ведь тоже не отмахнешься.

Я улыбнулся. Было темно, и Мацек, слава богу, не увидел моей улыбки.

ГЛАВА 7

Я проснулся и обнаружил, что Мацек уже ушел. Какое-то время я лежал, неторопливо раздумывая, как убить время до приезда Сабины. Освеженная сном голова обладает тем недостатком, что ее, едва человек продирает глаза, постепенно начинают заполнять мысли и всякие размышления, как поток воды, вдруг обнаруживший по дороге свободную емкость. И пока копаешься в этом сонме, что-то главное ускользает, и ты уже не в состоянии вспомнить, что же тебя заботило такое, что нужно продумать до конца на свежую голову и в первую очередь. Тогда начинаешь искать какие-то зацепки-ассоциации, чтобы по ним, как по обвалившимся ступенькам, взобраться в здание, где тебя ждет то, что ты жаждал увидеть.

Так, цепляясь памятью за обрывки вчерашних разговоров, я вернулся к раздумьям о процессе 1948 года. Проходил он в тяжелое и сложное время первых послевоенных лет. Разруха, ищут друг друга тысячи людей; уставшие, голодные, изможденные, возвращаются они домой — к руинам, пепелищам. Жилья нет, голодно. Люди колесят по измученной, опустошенной стране. В этой обстановке проходил судебный процесс над эсэсовцами Лехнером и Дингесом, расстрелявшими в Езерно четверых поляков. У трибунала было достаточно фактов и для обвинительного заключения, и для приговора. Все законно и справедливо. Суд состоялся. И это было главным. Дело пошло в архив. В то время было недосуг выяснять, что за бумаги лежали в ящиках, которые пытались вывезти из Цитадели расстрелянные. В атмосфере тех первых послевоенных лет хватало других забот, поважнее. Да и шестизначные цифры жертв войны и оккупации, почти каждодневно звучавшие со страниц газет, по радио, в разговорах, заслонили четверых расстрелянных в Цитадели в городке Езерно. Важно, что суд над виновниками состоялся, что акт возмездия свершился, всё прочее были детали, на которые в то время не хватало внимания. Шли годы, никому не могло прийти в голову заниматься этим. Не было повода. Прошло двадцать два года с тех пор. Но, может быть, сейчас, в спо-

койной обстановке наших дней, мне стоит попробовать покопаться в этом? Возможно, помогут Божена, пан Михал и Петр Бежевый Свитер?.. Ведь тех, расстрелянных, и этих людей связывают близость профессий, жизнь в одном городе. Правда, в 1944 году Божене и Петру было не больше пяти — семи лет. Но разве не могли они позже что-то слышать от старших, от старожилов Езерно?.. Неизвестно, что у меня получится с темой Свидрака, может, вообще ни черта: убийство, происшествие, случай, достойный внимания лишь судебных органов, а не моего еженедельника. А вот тема этих четырех расстрелянных может повернуться интересно, хотя и здесь все выглядит безнадежно и нереально из-за давности и из-за отсутствия хоть какого-нибудь фактика, за который можно ухватиться. Но попробовать стоит... в конце концов, даже неудача чему-то научит, а оплатит ее мой еженедельник из фонда командировочных расходов...

Умывшись и выпив чашку кофе с бутербродами, я вышел из гостиницы, купил в киоске газеты, и в тот момент, когда надо было что-то делать дальше, куда-то идти, я понял, что, собственно, я не знаю, куда мне идти. Было прохладно, но небо, очистившееся с ночи, напоминало, что все-таки уже весна. Яркое солнце быстро управлялось с темными дождевыми пятнами, они просыхали, асфальт становился серым, и на этот припек, укрытый от ветерка домами, слетались воробьи.

Без долгих раздумий я двинулся вдоль по улочке в ту сторону города, где я еще не был. Называлась улочка Ставова. Была она узка, с плотно прижатыми друг к другу невысокими домами из тяжелого камня.

Улица шла крутой дугой и оканчивалась неожиданно: я стоял перед редким кустарником, за которым поблескивало озеро. Идя по грунтовой дороге вдоль берега, я незаметно вошел в лес, затем выбрался на аллею и понял, что попал в парк Потоцкого, но с какой-то другой стороны. Было здесь тихо, лишь изредка сороки, лениво хлопая крыльями, перелетали с дерева на дерево.

Присев на пенек, я листал газеты, быстро просматривал их и подкладывал затем под себя — пенек был сырым. Дольше всего я задержался на чтении местной газеты «Новины Езерновски» — органа повятового комитета партии. На четвертой полосе с большим полиграфическим тщанием был напечатан портрет Ежи Свидрака с такой подтекстовкой: «Внимание! Просим граждан, знающих или видевших этого человека, немедленно сообщить в секретариат повятовой Рады Народовой». В этом прямолинейном ходе Мацека и

Фисняка был тот элементарный расчет, который порой плодотворнее всяких изощренных умопостроений. Кто-то же действительно мог видеть Свидрака! Просто случайно. И этот «кто-то» захочет в силу обыкновенной человеческой слабости проявить первым свою осведомленность.

Покинув парк, я вернулся в гостиницу. Дежурная сказала, что мне звонили и оставили номер телефона. Оказалось, звонил пан Михал. Мой телефонный разговор с ним был короткий и не очень для меня веселый.

— Порадовать не могу,— сказал пан Михал.— Комнату я вам не нашел. Сожалею, конечно, что не мог услужить... В общем, если вас устроит моя мансарда,— милости прошу.

— Спасибо, пан Михал. Но неудобно, стеснять вас не хочется,— отказался я, втайне надеясь, что он повторит приглашение и я, конечно, соглашусь, выбора у меня нет.

— Помилуйте, какое стеснение! Я живу один, совершенно один! Мне будет приятно, что в доме зазвучат человеческие голоса,— возразил пан Михал.

— Постараюсь как-то отблагодарить вас,— я поспешил подвести итог нашему разговору.

— Хорошо, хорошо,— засмеялся он.— Пришлите мне из Варшавы альбом каких-нибудь редких репродукций... У меня сейчас есть свободное время, приходите в Цитадель, я отведу вас домой...

Отдел, в котором работал пан Михал, находился за тяжелой, обитой дерматином дверью, а перед нею — еще и дверь-решетка. По узкому коридору пан Михал провел меня в свой кабинет. Стены его были уставлены шкафами с небольшими ящиками — каталогами. У окна стоял письменный стол, заваленный бумагами, бланками инвентаризационных и каталожных формуляров.

— Хорошо тут у вас, тихо,— сказал я.

— Это только кажется. Там,— указал он на шкафы с каталогами,— кипят страсти, бурлит жизнь, какие судьбы, какие катаклизмы! Века! Борьба школ и направлений. Там вопиют шедевры, чьи создатели умерли в нищете, потому что современники их не признавали. А так у нас тихо,— засмеялся он.

За несколько минут он вкратце рассказал мне о хранилище, посетовал, что не хватает средств на расширение реставрационных работ, что директор хранилища человек в этом деле случайный и пассивный, что молодежь работает с энтузиазмом и многое могла бы сделать.

— Я вижу, вы дружны с молодыми? — улыбнулся я.

- Они не живут за счет процентов с прошлого.
- Этот доход не всегда постыден.
- Но почти всегда боишься его девальвации. Не так ли? — весело сощурив глаза, он глянул на меня.
- Это очень субъективно.
- Что ж, не стану посягать на вашу точку зрения...

Дом, где жил пан Михал, был последним в ряду таких же небольших полутораэтажных коттеджей на тихой улице Святого Марка. Сразу за домом начинался низкий и редкий кустарник, шедший до самой железнодорожной насыпи, видневшийся вдали. С фасада дом был огражден металлической сеткой, на калитке из толстых железных прутьев висел синий жестяной почтовый ящик.

По плитам мы прошли через дворик к парадному и вошли в дом.

В конце коридора начиналась деревянная лестница, поднимавшаяся в мансарду. К моему удивлению, комната в мансарде оказалась довольно большой. Стены ее — от пола до косо́го потолка — были уставлены стеллажами, плотно забитыми книгами. У окна стоял огромный старинный письменный стол. Он был завален стопками папок, кипами старых газет, картонками формуляров и бог знает какими еще бумагами. И лишь посередине виднелось небольшое свободное пространство зеленого обтершегося сукна. Все покрыто пылью. Книги были старые — от самых маленьких, миниатюрных изданий до громадных фолиантов с массивными коричневыми и черными корешками, казавшимися сделанными из дерева.

По всему было видно, что в эту комнату заглядывали редко, на всем лежала печать запустения и забвения. Жилой вид комнате придавал лишь телефонный аппарат, вероятно параллельного подключения, но и на нем осела давняя пыль.

— Самое главное — вот, — сказал пан Михал, указывая на широченную тахту, покрытую гуральским одеялом с длинным шерстяным ворсом. — Чистое белье и подушки я вам дам... Когда-нибудь надо будет здесь навести порядок, — произнес он, обведя рукой комнату. — Перебрать книги, кое-что выбросить, кое-что оставить, что-то отдать в городскую библиотеку... Подойдет вам? — спросил он.

— Вполне, пан Михал. Большое вам спасибо, — искренне поблагодарил я. Что-то меня в этой комнате привлекало, несмотря на пыль и запустение. А может быть, именно это, и еще — обилие книг, таинственно молчавших за тяжелыми

переплетами и тускло светивших разноязыкой вязью, от-
тиснутой на их крепких, немнущихся выпуклых корешках...

Перед уходом пан Михал дал мне свежее постельное
белье, вторые ключи — от калитки и парадного. С полчаса
я посидел в доме, установил, где кухня, туалет и ванная,
затем не спеша отправился на вокзал встречать Сабину.

— Слушай, это же прелесть — пожить в такой анти-
кварной лавке! — воскликнула она, едва мы поднялись в ман-
сарду. Сабина тут же обнаружила старинной работы брон-
зовый светильник в виде распятия, с чашечками для свечей
по краям креста, там, где кончались руки Иисуса. — Пом-
нишь, у Пастернака: «Слишком многим руки для объятья ты
раскинешь по краям креста!» А вот посмотри! — и она схва-
тила с низкого подоконника часы в мраморной оправе со
стрелками в виде прямых римских мечей. — Хороший симво-
лический намек эти мечи. Не правда ли? И то, что часы не
идут, — великолепно! Иначе эти мечи нас за-ре-жу-ут! —
пропела она и тут же принялась наводить порядок, какой
можно было наскоро навести на письменном столе. Она скла-
дывала по бокам стола бумаги, папки и газеты ровными стоп-
ками, подняла штору на окне, открыла форточку, отыскала на
кухне мокрую тряпку, протерла ею тумбочку у тахты, два
кожаных кресла, повертелась у стеллажей и затем пошла
умываться.

Тем временем я позвонил в справочную и выяснил, что у
семьи Лапиньских, проживающих на Старом Рынке, 7, есть
телефон. Заполучив номер, я тут же набрал его и услышал
в трубке голос Божены.

— Вы уже скучаете? — спросила она, когда я назвался.

— Еще нет. Ко мне приехала жена. И я хочу, чтоб она не
скучала, а если две женщины вместе, из этого может что-то
получиться. Что, если мы пообедаем вместе? — спросил я.

— Втроем?

— Можем позвать Петра, — спохватился я.

— Где мы встретимся? — после короткой паузы спросила
Божена.

— Можно в «Цыганерии», — вспомнил я ресторанчик
возле вокзала. — Через час.

— Хорошо, — согласилась Божена.

Но в ресторан она пришла одна.

— Где же Петр?

— Просил извинить его, он очень занят.

Я познакомил женщин. Они мило улыбнулись друг другу. Сравнивать их я не стал: Сабина была мне верным, хорошим другом, и обижать ее даже мысленно я не хотел. Тем более что условия были не равны: Божена была значительно моложе...

Обед, к моему счастью, прошел непринужденно, я бы сказал — весело. Ироничность Сабины дополняла спокойную рассудительность Божены, нашлось много близких тем. На вечер Божена пригласила нас к себе.

— Она очень мила, — сказала Сабина, когда вечером мы вернулись от Лапиньских. — Умна, хорошо воспитана. Ты заметил, какая у нее высокая шея и как изящны щиколотки?

Сабина говорила между делом, стеля постель.

— Да, да, — согласился я. Видимо, я устал за день, и чувство мужской осторожности притупилось.

— Я говорю, щиколотки у Божены очень изящные, — повторила Сабина веселым голосом.

Отступать было поздно. Каждая женщина ревнует по своему. Когда Сабина чувствовала, что мне нравится какая-нибудь женщина, она начинала ее расхваливать, поощрительно улыбалась: мол, давай, давай, хорохорься, посмотрим, что из этого выйдет, а уж я потом посмеюсь над тобой всласть!.. Так было и на сей раз.

— Она очень молодо выглядит (понимай: «Она же моложе тебя, дурень, лет на пятнадцать! На кой черт ты ей нужен?!»), — продолжала Сабина.

— Это при вечернем освещении, — парировал я.

— Ну, милый, в темноте она покажется тебе еще моложе!

Это уже был запрещенный прием. И, почувствовав, что пересолила, Сабина, быстро раздевшись, юркнула под одеяло.

— Ладно, ложись, оправдывайся и опровергай, — засмеялась она...

Была полночь. Сабина спала, а я никак не мог уснуть. Слишком много кофе я влил в себя в гостях у Лапиньских. Мать Божены оказалась интеллигентной дамой, в меру гостеприимной, улавливавшей в беседе только те слова, на какие ей хотелось отвечать. Сухощавая, в платье старого фасона, седовласая, она ловко хозяйничала за столом. Как выяснилось в разговоре, она — художник-реставратор, но уже несколько лет не работает из-за приступов астмы, которые, как она полагала, вызывались запахом красок.

Все было хорошо в доме Лапиньских: легкий разговор — никто не навязывал друг другу своего мнения, вкусный торт со взбитыми белками, интерес к собеседнику и к каким-то деталям в его профессии. И лишь одно ощущение не покидало меня: едва уловимая напряженность во взглядах Божены и особенно ее матери, когда застольная беседа выходила вдруг из русла начатой ими темы, их осторожные усилия снова загнать эту беседу в ее колею.

И еще: когда мы уже одевались, в прихожей, на подзеркальном столике, где лежали платяные щетки, рожек для обуви и несколько старых газет, я увидел «Новины Езерновски» с портретом Свидрака. Он был обведен красным карандашом. В зеркале я заметил, как Божена, стоявшая за моей спиной и подававшая Сабине сумочку, скосила глаза в мою сторону и на мгновение замерла, словно ожидая, что я буду делать дальше. Как ни в чем не бывало я вежливо попрощался и поблагодарил их за гостеприимство.

«Что это может значить? — думал я теперь. — Свидрак и они. При чем здесь они — мать и дочь Лапиньские? Сказать Мацеку? Но что я ему скажу? О своих ощущениях? Смешно! А номер газеты с портретом Свидрака есть, наверное, в каждом доме в Езерно. И ничего странного, что он обведен красным карандашом».

И тут при мысли о Мацеке я вспомнил: в суматохе я не сказал ему, что в связи с приездом Сабины снял комнату. Тихонько, чтобы не разбудить Сабину, я встал, пробрался к телефону. При свете фитилька зажигалки я набрал номер.

— Слушаю, — не сразу хриплым голосом отозвался Мацек.

— Это я... Ради бога, извини, что разбудил. Я не приду ночевать. Нет, все в порядке... — и я коротко рассказал Мацеку, в чем дело. — Что у вас слышно?

— Завтра... И не по телефону... Я хочу спать. — Он повесил трубку.

Взошла луна. Ее дальний холодный свет заполнил комнату, осветив непривычные для меня предметы. Мне было странно, что я здесь, среди этих вещей, как бы отрешенных от людей. Было ощущение, словно я лежу среди мертвых театральных декораций.

ГЛАВА 8

Свое обещание пан Михал сдержал: договорился с начальством, и нам с Сабиной разрешили посмотреть кое-что из фондов хранилища. Пан Михал оказался занят, и нашим

гидом был Бежевый Свитер. Мы осмотрели коллекцию гениальных фальшивок, в числе которых была мраморная голова Цицерона, золотая чаша Марии Антуанетты, умопомрачительный шлем какого-то предводителя гуннов. Все это были настоящие шедевры, и упоминание о том, что они подделки, не могло умалить их истинную цену, ибо исполнены они были большими мастерами — скульпторами и ювелирами. Редкой и интересной была коллекция портретов пап. Состояла она из восемнадцати портретов, сделанных в разные века художниками разных школ. До войны портретов было тридцать три. Пятнадцать исчезли во время оккупации. Да и все остальное, что было в хранилище, в общем-то уцелело чудом, как говорил мне пан Михал. Почти все было вывезено немцами. И возвратилось на место после долгих поисков. Кое-что было найдено в частных музеях гитлеровских бонз, кое-что в железнодорожных вагонах, которые немцы в панике отступления загнали на маленькие станции в тупики. Собрать все это удалось благодаря сохранившимся немецким инвентаризационным описям, каталогам и тем распискам, которые немцы цинично оставляли взамен изъятых произведений искусства...

После темных помещений хранилища двор Цитадели и все вокруг казалось обесцвеченным нестерпимо белым солнечным светом.

— Вы заставьте мужа написать обо всем, что видели. Может, тогда нам отпустят побольше средств, и мы вытащим все это из запасников на свет божий,— обратился Петр к Сабине.

— Постараюсь уговорить его,— улыбнулась Сабина, поправляя воротник моего плаща.

Попрощавшись и поблагодарив его, мы с Сабиной ушли. Миновав пустырь, мы очутились в парке и направились по аллее, которая должна была вывести нас к поляне, где стояла безрукая Диана. Вкратце я рассказал Сабине историю со Свидраком, однако она ее мало заинтересовала, но все же место, где он был убит, мне хотелось Сабине показать.

Едва мы свернули к поляне, как сразу у кустов я увидел машину Фисняка, а на самой поляне Мацека, майора и еще троих незнакомых мне людей. Познакомив Мацека и Фисняка с Сабиной, я поинтересовался новостями.

— Есть новости, Ян, есть,— озабоченно ответил Мацек.— Вчера вечером звонил Врона: у брата Марыськи имеется мотоцикл.

— Ну! — воскликнул я.

— Смотрите, Ян,— сказал майор.

. На тропинке виднелся след протекторов.

— Дорожка эта идет через аллею к озеру, вдоль которого проходит мощеная дорога на Складзень, — сказал Фисняк. — Завтра приедет Врона. Он привезет сюда эту девчонку и от- тиски со скатов мотоцикла ее брата. Сравним, посмотрим...

Мы вернулись к Мацеку. Он стоял с Сабиной и что-то по- яснял ей.

— Ты уже освободился? — выразительно спросила Саби- на. Она посмотрела на часы. — Мой поезд через два часа, Янек... Желаю вам успеха, — улыбнулась она Мацеку.

Когда мы отошли, Сабина сказала:

— Он какой-то замученный, этот твой сыщик. Но доволь- но остроумный. А второй, майор, что ли, хорошо сложен. Я вижу, ты по уши влез в эту уголовную историю, Янек. Вот уж никогда не предполагала! Ты думаешь, у тебя что-нибудь получится из этого?

— А что должно получиться? — буркнул я.

— Я же не знаю, что ты задумал!

— Роман. Лучшую книгу века.

— И мы даже сможем поехать в Ялту в этом году?

— На Гавайские острова. В крайнем случае — на Ма- зуры.

— О, я уже была на Мазурах, Янек! — смеясь, восклик- нула Сабина, повиснув у меня на руке.

Я тоже засмеялся:

— Ладно тебе. Идем быстрее. Надо успеть пообедать и хоть часок побродить по городу. Тут есть чудные улочки.

Проводив Сабину, я с вокзала позвонил по автомату в гостиницу. Трубку снял Фисняк.

— Вы нас тут не застанете. Если хотите, двигайтесь пря- мо в комендатуру, — сказал он.

— Долго вы там пробудете? — спросил я.

— Трудно сказать...

В милиции я нашел их в небольшой узкой комнате с одним окном, возле которого стоял старый письменный стол и два стула. На подоконнике выстроились горшочки с кактусами. Земля в них пересохла, серо-зеленого цвета неприхотливые растения, похожие на живые существа, запылились. Мацек поливал их водой из мутного графина.

— Садись, сейчас потолкуем тут с одним человеком, — сказал он, стоя ко мне спиной.

Я вопросительно глянул на Фисняка.

— Станислав Красовский. Месяц назад вернулся из заключения. Сидел за пьяную драку. По рассказам местных товарищей, крайне невожатанный тип.

— Расскажи ему о его коллеге,— хмыкнул у окна Мацек.

— О каком коллеге? — не понял я.

— Об этом издате из Кельна.

— Он не мой коллега, Мацек,— я подмигнул Фисняку.

— Отрекаешься? То хвастался своим знакомством, втянул нас в этот сюжет, а теперь — в кусты! — Мацек поставил графин и сел за стол.— Так вот, люди Фисняка установили, что доктор Франц Занне прибыл в Гданьск по такому маршруту: ФРГ — Варшава — Краков — Варшава — Гданьск. В Гданьск прибыл в четверг, за два дня до приезда Свидрака. Жил в гостинице «Орбис-Монополь». Выехал из Гданьска во вторник, посетив перед этим Сопот, Гдыню, Эльблонг, Складзень и Езерно. Ночевал в Складзене в воскресенье в отеле «Полония». Утром во вторник возвратился в Гданьск и вечерним поездом укатил в Варшаву. О его существовании мы узнали от тебя позавчера, в среду. И это уже было поздно. Переночевав в Варшаве в «Орбис-Бристоле», он в среду поездом номер сто шесть Москва — Берлин в тринадцать часов двадцать минут по европейскому времени отбыл из Варшавы. Теперь лови его!

— А может, и не нужно? — посмотрел я на Мацека.

— Это его забота,— показал он на Фисняка.

— Я ничего и не говорю, Мацек,— отозвался Фисняк.— Но мы с тобой оба видели кельнский телефон доктора Занне на визитной карточке Свидрака. Вот и все.

В дверь постучали, и в комнату вошел мужчина в железнодорожной фуражке и бобриковом полупальто.

— День добрый, панове,— сказал он, снимая фуражку и обнажая лысую голову.— Я — Красовский. Станислав Красовский. Вы, кажется, хотели меня видеть?

— Присядьте, Красовский,— пригласил майор.— У нас к вам несколько вопросов.

— С удовольствием. Компания, я вижу, приятная,— нагло ответил Красовский.

— Спасибо за комплимент,— сказал Мацек, наваливаясь на стол.— Сегодня пятница, ну а мы начнем по порядку, с воскресенья. Вы работаете в котельной фарфорового завода. Так вот, ваш напарник сказал, что вы в воскресенье собирались на рыбалку. Это правда?

— Клянусь богом, что это правда!

— И то, что вы рыбачите обычно на старых сваях возле парка,— это тоже правда? — спросил Фисняк.

— Истинная, пан майор! — все еще посмеиваясь, ответил Красовский.

— Значит, в воскресенье вы были там?

— Там, пан майор, там. Лучшего места тянуть леща вы не найдете!

— Как долго вы там пробыли?

— Живу я в Складзене, как вам, наверное, уже известно,— он ехидно глянул на Мацека, а затем опять повернулся к Фисняку.— Так вот, из Складзеня я приехал поездом, что приходит в Езерно в обед. И с вокзала потопал прямо на бережок. Ну и сел. Порыбачил до вечера, поужинал, собрал снасть, туда-сюда повозился и двинулся не спеша снова на вокзал, чтоб ехать домой.

— А пока вы сидели рыбачили, ничего такого интересного не видели или не слышали? Скажем, после семи вечера. Тихо ведь было вокруг.

— Было тихо, это верно. Потому и клев был хороший. А что же я должен был увидеть или услышать, пан майор?

— Особенного ничего, Красовский,— включился Мацек.— Просто за вашей спиной, через дорогу, в парке убили человека. Пиф-паф! Из пистолета. В тишине, когда клевало хорошо.

Красовский перестал посмеиваться и выпрямился на стуле.

— Пан начальник, я говорю вам все время правду, а вы мне хотите что-то присобачить,— сказал он Мацеку зло.— Я ничего не знаю и знать не хочу. Да, я был на рыбалке там, на старых сваях, но про ваше дело — ни наяву, ни во сне. И вы мне ничего не докажете.

— А что сможете доказать вы? — спросил Мацек.

— Мне и не нужно, пан начальник. Отсидел я за свое. За чужое не собираюсь. Репутация у меня, конечно, не героическая, но это не значит, что вы имеете право...

— Послушайте, Красовский,— перебил его мягко Фисняк.— Мы ведь вас ни в чем не обвиняем. Я же вам просто задал вопрос: не было ли чего-нибудь такого, на что вы обратили внимание? Вот и все. Мы просто хотим, чтобы вы помогли нам.

— Я понимаю,— усмехнулся Красовский.— Как по нотам у вас это идет: пан начальник свое басом,— он указал на Мацека,— а вы свое тенорком. Только честно говорю: ничего такого не было, что бы вам было интересно. Может, покурим?

— Давайте,— согласился Мацек.

Во время этой паузы Мацек смотрел в окно, Фисняк прохаживался от двери к столу, а Красовский курил.

— Ну что, поехали дальше? — спросил Мацек, когда Красовский загасил сигарету.— Значит, особенного, на что бы вы обратили внимание, не было. Хорошо. Поставим вопрос иначе: а может, было что-нибудь совсем не особенное, на что вы не обратили внимания, поэтому и забыли? Вспомните. Постарайтесь.

Красовский молчал, ковыряясь в ухе.

— Ну, скажем, кто-нибудь мимо проходил, когда вы рыбачили, или встретили кого, когда возвращались? Хоть кого-нибудь вы видели за все это время?! — не унимался Мацек.— Не спешите, подумайте.

Поджав губы, Красовский отрицательно покачивал головой.

— Встретить я никого не встретил,— он раздумчиво разминал новую сигарету.— А видеть... Как сказать — видел?! Не очень-то уж и видел. Ну, обогнал меня мотоциклист. На развилке. Он свернул на грунтовку, что идет на Складзень, а я — вправо, чтоб через центр на вокзал идти.

И тут Мацек преобразился. На лице появилась добрая, знакомая мне улыбка, он вышел из-за стола и, став перед Красовским, попросил рассказать поподробней про мотоциклиста. Но уточнить Красовский ничего не смог: было темно, он услышал сзади стрекот, сошел с проезжей части, оглянулся, глаза ему ослепило светом фары, и мимо, по дороге на Складзень, промчался мотоциклист. Вот и все. В темноте и мотоцикл и сидящий на нем человек запечатлелись в памяти Красовского промелькнувшим черным силуэтом. Лишь одно утверждал Красовский, что мотоциклом управлял мужчина.

— Вы не помните, в котором это было часу? — спросил Фисняк.

— Могу точно сказать: без пятнадцати десять. Когда я вышел на угол Марцинковского и Глоговской, на часах, что над парикмахерской, было ровно десять. Я еще подумал, что перед поездом успею выпить кружку пива...

Я вспомнил этот угол, парикмахерскую, мимо которой проходил несколько раз. Часов, правда, я не помнил, но мысленно хорошо представил себе это место: большая стеклянная витрина с намалеванными на ней женской головой под феном и мужской головой с аккуратным, действительно парикмахерским пробором.

Больше из Красовского выжать ничего не удалось. Он

оказался пятым человеком из тех, кто в воскресенье был в непосредственной близости от парка и кого Мацек и Фисняк допросили за эти дни. И только один он сообщил о мотоциклисте...

По дороге к дому Лапиньских, куда я направился, чтобы передать Лапиньской-старшей коробку конфет, якобы купленную перед отъездом Сабиной — в благодарность за внимание, — меня не покидали раздумья о докторе Занне. В конце концов, нельзя подозревать всех и вся, так можно спятить. В уме я стал разрушать все, что выстроилось в мозгу Мацека, майора и моем, все, что делало немца как-то причастным к смерти Свидрака. Но как бы я ни ловчил, выводя доктора Занне из-под удара объективно сложившихся против него обстоятельств, все упиралось в одно: имена Занне и Свидрака были связаны между собой — кельнский телефон и фамилия Занне на визитной карточке Свидрака. И от этого никуда не уйти. Где-то в сознании моем проскочила мыслишка попытаться найти Занне в Восточном Берлине у его брата, если, конечно, он не соврал, что едет туда. Но мыслишка эта погасла, едва я подумал о ее преждевременности...

Божены дома не оказалось. Пани Малгожата Лапиньска была удивлена моим визитом, но все же пригласила войти и предложила чашечку кофе. От кофе я отказался и получил взамен чай с очень нежным, хрупким печеньем.

— Тесто для этого печенья пропускается, кажется, через мясорубку? — спросил я. — Очень вкусно!

— Откуда у вас такие познания? — улыбнулась Лапиньска.

— Видел, как это проделывает теща, — признался я.

Мы пили чай, говорили о пустяках, она спрашивала, понравился ли мне их город, сетовала, что Божена застряла здесь, что ей не удалось перебраться в Краков, где жизнь интересней, в особенности для молодой женщины.

Я чувствовал, как время торопливо приближается к тому моменту, когда мне все-таки пора будет убираться отсюда, а я еще и полшага не сделал к цели, ради которой я, собственно, пришел в этот дом. И тогда я решился.

— Пани Малгожата, — сказал я, — в моей профессии заложен тот элемент бестактности, который обычно нам прощают. Надеюсь, что и вы будете великодушны.

— В чем же он заключается, этот элемент? — спросила она, глядя мне в лоб.

— В необходимости задавать вопросы.

— У вас есть ко мне вопросы? — удивилась она.

— Некоторое время назад я случайно узнал, что во время оккупации в Езерно было расстреляно четверо польских граждан. К сожалению, осталось неизвестным, что послужило причиной расстрела. Повод мне известен, но вот причина... Было бы справедливым воскресить имена этих людей, воздать им должное. Не правда ли? Вы вполне могли знать их. Вас могли связывать с ними профессия и возраст.

— Вам известны имена этих людей?

— Да, — ответил я и назвал.

— Я знала их, — нахмурившись, ответила Лапиньска. — Но к тому, что знаете вы, я ничего добавить не могу.

Створки раковины захлопнулись, я так и не заглянул в них, чтоб увидеть желанную жемчужину. Оставалось встать, поблагодарить за чай, вкусное печенье и уйти. Но мне хотелось задать Лапиньской еще один вопрос. И сделать это надо было сейчас, другого случая, как я понимал, не будет.

— Пани Малгожата, ходит слух, что выдал их один из жителей Езерно, некий Ежи Свидрак. Он заведовал складом в магазине радиотоваров «Мегон».

— Мне эта фамилия не знакома, — пожала плечами Лапиньска.

Тогда я полез в карман пиджака, вытащил сложенную страничку из «Новин Езерновских» с портретом Свидрака.

— Это он, пани Малгожата.

Тут она допустила оплошность: она не стала всматриваться в портрет, разглядывать его, что было бы естественным, а, лишь скользнув взглядом по лицу Свидрака, ответила:

— Сожалею, но лицо этого человека я вижу впервые.

Однако я уже успел заметить, как побагровела ее морщинистая шея, как суетливо сухощавые чуткие пальцы начали возиться с белой накрахмаленной салфеткой.

Теперь я мог уходить. Нельзя быть нахалом и назойливым в доме, где тебя радушно принимали и угощали вкусным печеньем...

В общем-то я ничего не приобрел, кроме ощущения, что лицо Свидрака, возможно, ей знакомо...

Когда я пришел, пан Михал возился на кухне. Он был в оранжевом старом махровом халате.

— Жена уехала? — спросил он.

— Да. Вам большой привет и благодарность.

— Спасибо, но, право же, не за что.

— Завтра с утра я уберусь к себе в гостиницу,— сказал я.

— Вы можете жить здесь сколько хотите, если это не расходится с вашими намерениями,— возразил пан Михал.— Чашечку кофе? — предложил он.

— Нет, спасибо, на ночь не хочу,— отказался я и подумал, что остаться жить у него неплохо: во-первых, я никому здесь не мешаю, читать могу сколько хочу, свет гасить — когда мне заблагорассудится; во-вторых, письменный стол, библиотека, возможность поработать в свободное время; в-третьих, сама домашняя атмосфера со своеобразным уютом этой запущенной мансарды...— Пан Михал, если я вам действительно не буду в тягость, то, честно говоря, с удовольствием останусь.

— Я же вам сказал: живите сколько угодно,— развел он руками.— По вечерам будем пить чай или кофе и болтать.

— Тогда после ужина поднимайтесь ко мне,— засмеялся я.

Резво взбежав по ступенькам, я отпер дверь, вошел в комнату, зажег свет и по-хозяйски уселся в кресло. Наслаждаясь одиночеством, я вывалил затем из портфеля на письменный стол свои бумаги, положил сверху авторучку, как делал это дома, и снова уселся в кресло. В этом положении и застал меня пан Михал.

— Не помешаю? — спросил он.

— Нет, что вы! — откликнулся я.

Он сел на тахту. В комнате зажжена была лишь настенная лампа. В полумраке смутно виднелись книги на стеллажах. Я сидел в тени, свет падал на пана Михала, и я мог рассмотреть его лицо. Было пану Михалу лет шестьдесят, лоб высокий, с мысиками залысин по краям. Когда-то, наверное, у него была пышная шевелюра, а сейчас остались длинные, но редкие темные пряди, прошитые сединой. Крупный орлиный нос, крутой подбородок, рост и статность позволяли судить о былой привлекательности пана Михала.

— У вас, наверное, было много женщин? — спросил я.— Вы были красивым мужчиной в молодости.

— Был, был,— засмеялся он.— Но женщинами не увлекался. Меня волновали другие страсти. А с женщинами мне всегда мешал хороший вкус, поиск идеала.

— Нашли?

— Нет. Я не знал, в чем истина красоты. Меня смущало

ее многообразие. Каждый мужчина искренне считал самой красивой свою женщину. Это увело меня к Фрейду. Затем я понял, что истина красоты заключается в том, что красота — вечна. Следовательно, к женщинам это не относилось, так как их красоту съедало время, грубо говоря — старость. Вечной оставалась красота искусства. И я отдал свое сердце и руку ему...

Он говорил иронично, словно посмеивался над собой былым.

— Вы всю жизнь прожили здесь?

— Нет, я поездил и кое-что повидал. Но в Езерно живу очень давно. Этот дом принадлежал моей покойной сестре.

— А вы не знали тут такого человека — Ежи Свидрака? — спросил я.

— Свидрак?

— Да. Он во время оккупации заведовал складом магазина радиотоваров «Мегон». Филиал варшавского магазина.

— Варшавский «Мегон» я знал, что на площади Трех Крестов... Ежи Свидрак... Имя вроде знакомое, но откуда?.. Ведь это так давно было.

— Его имя как-то связывали с той четверкой расстрелянных, вы, наверное, помните — Лицен, Косинский, Ляссота, Глинска.

— Ах, вот что! Этих я знал. Близко, правда, мы не были знакомы. Странная была история, странная. Что их привело тогда в Цитадель — не могу понять. А этот Свидрак, кажется, то ли отказал им в чем-то, то ли выдал их гестапо... Почему он вас заинтересовал?

— Человек, которого убили здесь на днях, — это и есть Свидрак.

— Кто же, за что?!

— Могли же у него быть враги! — пожал я плечами.

— Враги! У кого их нет! — мягко улыбнулся пан Михал. — Христа тоже погубили враги.

— Но Иуда хоть сам повесился и тем самым раскрыл тайну, — засмеялся я.

— Думаю, что в случае с этим Свидраком на подобное благородство рассчитывать не приходится...

Проболтали мы еще с полчаса.

Когда он ушел, я сел к письменному столу. Надо было кое-что записать в блокнот. Покончив с этим, я с наслаждением влез на стремянку, стоявшую у стеллажей, уселся на ее верхнюю площадку и начал рыться в книгах. Сюда давно никто не заглядывал — пыль лежала на почтенных томах

верхних ярусов, да и книги здесь были такие, к которым читающий человек возвращается не часто: «Наполеоновские войны», «Переписка Вольтера», «Фрейд и его аксиомы» и тому подобное. За первым рядом книг шел второй. Читать мне даже не хотелось, доставлял удовольствие сам процесс: рыться в таком богатстве! Во втором ряду мне попалось несколько книг, которые я все же отложил для просмотра или прочтения «на после». Тут был огромный альбом-буклет «История папства в живописи», «Лев Толстой и прагматизм Европы», «Тайны красок фламандцев». То, что меня не интересовало, я снова ставил на место и перебирался к новой полке. И так — за рядом ряд...

Со стремянки я слез во втором часу ночи, обнаружив, что отобрал такую кучу книг, которую мне не прочитать и за месяц. Но все же я заснул с предвкушением радости, с чувством ожидания чего-то приятного и надежного...

ГЛАВА 9

Марыську и ее брата Казимежа Грженду привез утром поручник Врона. Помня свою оплошность, за которую получил взбучку от Мацека, красавец поручник старался теперь вовсю. Первым делом он доложил, что Казимежа посадил в машину прямо на причале, едва тот сошел с судна, а его сестрицу прихватил из дому, строго-настрого запретив им разговаривать между собой.

— А ты не превысил власти, Врона? — спросил его Мацек. — Смотри, как бы нам от прокурора не влетело... Что, начнем? — обратился он к Фисняку.

— Начнем с девушки, — предложил майор.

Все это происходило в той же комнатухе, где накануне они беседовали с любителем рыбной ловли Станиславом Красовским...

— Садись, Марыся, — сказал поручник, входя вслед за девушкой.

— Кофе, Врона. Для всех, — сказал Мацек. — Ты выпьешь с нами чашечку? — обратился он к девушке.

Она была явно смущена и напугана, и мне стало жаль ее. Марыська положила на колени сумочку, словно желая ею прикрыть места, которые не могла упрятать коротенькая юбка. Ноги у девчонки были очень красивые. Хороша она была и лицом. Быстрыми глазами посматривала она то на меня, то на Мацека, то на Фисняка, словно гадала, от кого из нас ей следует ждать подвоха или неприятности. Было ей

года двадцать три, смуглая, скуластая, с прямыми черными волосами. Она своим обликом подтверждала, что татаро-монгольская орда докатилась до Кракова. Милую святость ее лицу придавал маленький розовый рот — как у библейской Юдифи, какой ее изобразил Боттичелли, Юдифи, прославившейся тем, что, во-первых, она умерщвляла плоть молитвами, богобоязненностью и образцовым поведением, а во-вторых, отрубила голову Олоферну, спасая свой город и его жителей...

Сидевшая напротив меня Марыся Грженда из Гдыни находилась в этом кабинете именно потому, что не следовала Юдифи по первому пункту. Что же касается второго подвига библейской героини, то у Марыськи просто еще не было случая доказать свою любовь к родному городу и его жителям. Хотя я был уверен, что какой-нибудь новоявленный Олоферн тоже не устоял бы, завидя ее прелести...

Наверно, совсем о другом думал Мацек. Тим, старый работник уголовного розыска, усталый человек, который, вероятно, давно уже перестал удивляться тому, что очень много лет подряд делает одну и ту же работу. За это время возникли новые независимые государства в Африке и в Азии, впервые человек глянул из космоса на свою грешную Землю. А Мацек Тим все это время делает ту же самую, странно неиссякающую работу и задает разным людям одни и те же вопросы...

— Расскажи-ка нам, Марыся, как ты провела минувшую субботу. Начни с полудня. Только не фантазируй. Это хлеб Лема. Знаешь, есть у нас такой писатель? Так вот, это ты оставь ему. А нам нужно другое. Ну, в общем, ты знаешь, что нам нужно. Итак, в полдень в субботу ты...

— Я сидела дома.

— Читала? — спросил Мацек.

— Заканчивала шить блузку.

— Очень хорошо! Потом ты ее надела и пошла... Куда же ты пошла?

— Я ее не надевала, потому что не закончила.

— А в чем же ты пошла?

— Никуда я не ходила. Дождь шел. Я решила посидеть дома, посмотреть телевизор.

— Понятно, — вздохнул Мацек. — Значит, весь вечер ты сидела дома и смотрела телевизор? Так?

Девушка кивнула головой.

— С родителями?

— Нет, мама в Мальборке у сестры, а отца у нас нет.

— Ты, наверно, смотрела «Бонанзу»¹. Какую же серию ты смотрела?

— «Бонанзы» в тот день не было,— ответила Марыська.— Я смотрела концерт «Мазовше».

— Что ж, телепрограмму ты изучила неплохо,— пожевал губами Мацек и глянул на Фисняк.

— Ладно, оставим субботу в покое,— сказал Фисняк. Он сидел чуть сбоку, и девушка вынуждена была повернуть к нему голову.— С кем ты в воскресенье ездила сюда? С ним? — майор показал ей фотографию Свидрака.

— Нет.

— А с кем? — быстро спросил Мацек.

— Я никуда не ездила.

— А с ним где ты познакомилась? — снова вступил в дело Фисняк.

— Я его не знаю.

— Но Стефке-то ты говорила о нем,— напомнил ей Мацек.

— Я выдумала. Просто чтоб похвастаться.

— А вот официант из «Сима» не выдумывает,— сбоку сказал Фисняк.— Он запомнил его и тебя, потому что этот клиент был с большими деньгами. Так куда же вы пошли из «Сима»?

Девушка побледнела и опустила голову.

— Ко мне,— прошептала она.

— Теперь давай все по порядку,— сказал Мацек, вставая.— Почему врала?

— Я боялась, что он какой-нибудь... Ну, подозрительный... Когда пан поручник показал мне его фотографию, я подумала, что он натворил что-то. Очень уж много у него было денег.

— Дальше,— сказал Мацек.— Смелее, Марыська, правду говорить легче, чем врать! Ну, вперед!..

И она рассказала, что познакомилась со Свидраком в ресторане «Сим», что он угостил ее дорогим ужином. Она боялась, как бы брат об этом не узнал, пару раз за подобное он уже бил ей физиономию. Расставаясь, Свидрак сказал, что ему надо в воскресенье ехать в Гданьск. Больше она его не видела.

— Тогда ты поехала сюда разыскивать его? — спросил Фисняк.

¹ «Бонанза» — многосерийный детектив, часто идущий по польскому телевидению.

— Нет. Мы с братом поехали в Складзень. К бабушке. Она старая и больная, а Казимеж достал ей в комиссионной аптеке заграничное лекарство.

— Когда вы поехали в Складзень? И на чем? — спросил Мацек.

— Утром в воскресенье. На мотоцикле Казимежа.

— Почему ты скрывала, что ездила в Складзень?

— Казимеж просил никому не говорить. Он поехал незаконно. У него накануне отобрали права за превышение скорости.

— Адрес бабушки?

— Свентокшижская, восемь, квартира два. Пожалуйста, не делайте ничего Казимежу, он ведь хотел как лучше — отвезти лекарство. Я сказала всю правду... — заплакала Марыська. — А что, этот пан, с которым я была в «Симе», что-нибудь натворил? — всхлипывая, спросила она.

— Натворил, натворил, — буркнул Мацек. — Иди умойся и погуляй пока. Ты можешь еще понадобится. Походи здесь, возле дома...

Когда Марыська вышла, Мацек, взяв с подноса чашку остывшего кофе, спросил у Фисняка:

— Что ты обо всем этом думаешь?

— У меня ощущение, будто все эти дни мы играем в карты колодой, в которой точно есть козырный туз. Но ни разу он не был сдан на руки, — Фисняк сцепил пальцы и, вытянув руки, хрустнул суставами.

— Значит, плохо тасуем. Что за парень ее брат?

— В порту говорят, что хороший парень. Начальство им довольно. Несколько раз ходил в заграничное плавание.

Фисняк снял трубку и куда-то позвонил.

— Мацинский? Это я, Фисняк. Ну, что там? — спросил майор. — Ты не дразнись! Мало ли чего бы мы хотели! Тут возле меня Мацек Тим, могу передать ему трубку. Уж он тебе точно скажет, чего бы мы хотели от твоей экспертизы. Не желаешь? То-то! Тогда выкладывай мне. Очень похоже, говоришь? Не слабая ли это гарантия для нас? Дело уж слишком каверзное. Ладно, пришлешь официальное заключение. — Фисняк положил трубку. — Снимки и слепки очень удачные. Мацинский не сомневается, что следы протекторов в парке оставлены мотоциклом Грженды.

— Зови-ка, Врона, своего хорошего парня Казимежа Грженду, — вздохнул Мацек.

Брат Марыськи оказался совсем не похожим на нее. Он был коренастый, круто срубленный в плечах, ворот рубахи

распахнут, шея мускулистая, с темной обветренной кожей. Смотрел он прямо, покатывая на крепких челюстях желваки.

Мацек предложил ему сесть и сказал:

— Тут кое-что вас касается, Грженда. Послушайте,— Мацек включил магнитофон с записью допроса Марыськи с того места, где речь шла о поездке в Складзень.

Парень выслушал спокойно, затем придвинул стул ближе к Мацеку и сел, ожидая, что будет дальше.

— Узнаете голос? — спросил Фисняк.

— Да, Марыська.

— Вы подтверждаете ее рассказ?

— Все правильно,— кивнул он.

— Скажите-ка, Грженда, когда вы уехали из Складзеня?

— В воскресенье. В девять тридцать вечера. Вместе с Марыськой поехал к себе домой. Жена была на ночном дежурстве в больнице, а у нас малыш. Нужно было, чтобы Марыська за ним присмотрела.

— В котором часу вы были в Езерно? — спросил Мацек.

— А я не был здесь. У меня тут никаких дел нет,— мотнул он головой.

— Не получается, Грженда,— Мацек сложил пухлые ладони и снова развел их.— В Езерно, в парке, обнаружены следы именно вашего мотоцикла. Установлено экспертизой.

Грженда рассмеялся.

— Действительно не получается, пан майор,— повернулся он к Фисняку.— Ведь не был я в Езерно. И сколько бы вы мне ни твердили, что я туда ездил, столько раз я буду повторять, что я там не был. Потому что я там не был. Весь вечер, до самого отъезда, мы с Марыськой, не выходя, провели у бабкиной постели. Какой там Езерно! Я и так опаздывал домой! Говорю вам: в половине десятого вечера я махнул домой. Злился еще по дороге: неожиданно кончился бензин, и мы с Марыськой волокли мою «Яву» метров сто до бензоколонки...

— В котором часу вы были у бензоколонки? — перебил его Фисняк.

— Ровно в десять...

Разговор с Гржендой длился долго, но парень твердил свое: в Езерно он не был...

Кривая допроса пошла вниз. Мацек сник, словно стал безразличен ко всему, что делалось здесь. Фисняк угрюмо

молчал. Безмолвствовавший все время Врона кивнул Грженде: пойдём.. Они вышли.

— Я думаю, за этот спектакль ты мог бы угостить меня рюмкой водки,— сиплым голосом сказал мне Мацек.

— Пожалуйста,— согласился я, видя его расстроенное лицо.

— Пойдём в какую-нибудь кнайпу¹. Антракт, Войцех К чертовой матери!

— Вы идите, а я прокачусь с Гржендой в одно местечко,— отказался Фисняк.

На Старом Рынке мы нашли тихий подвальчик, взяли водки, консервированную селедку в винном соусе, шампиньоны и ветчину. Мацек с ходу, не ожидая меня, выпил рюмку, закусил селедкой и, прожевывая, сказал:

— Мне кажется, Ян, что тебе надо уезжать в Варшаву. Ты зря время теряешь. У меня ничего не получается. Что, если брат и сестра Грженды к этому не причастны, а Свидрака прикончил твой знакомый доктор Занне? Казимеж Грженда не просто отрицает, что ездил в Езерно, он выдвигает алиби! Как ты думаешь, куда поехал упрямый Фисняк? Повез Грженду к бензоколонке. И знаешь, он ведь может привезти оттуда алиби для Грженды. Парень утверждает, что уехал из Складзенья в 21 час 30 минут, что в 22 часа был у бензоколонки. А рыбак Красовский божится, что в 22 часа его обогнал мотоцикл. Не мог же один и тот же мотоцикл быть одновременно и в Езерно, и у озера, и на шоссе у бензоколонки, за пятьдесят километров от этого озера! Почти исключено, что мимо Красовского пронёсся другой какой-нибудь мотоциклист: следы мотоцикла Грженды, обнаруженные в парке, тянутся почти до того места на тропинке, где она сливается с дорогой, идущей на Складзень и где находился в тот момент Красовский. Вывод один: Грженда врет. Но представь себе, Фисняк привозит подтверждение, что в 22 часа Казимеж Грженда был у бензоколонки?!. Ну-ка налей ещё. Значит, он действительно выехал из Складзенья в 21 час 30 минут... Все это мог бы объяснить только один человек: Лем, любимый Станислав Лем. Уж он-то что-нибудь придумал бы насчет раздвоения личности, совмещения времени и пространства. Но все это годилось бы для издательства, а не для прокуратуры...

Слушая Мацека, я не перебивал его, я понял его состояние и потребность высказаться...

¹ К н а й п а — кабачок, забегаловка (жаргон.).

...Подходя к дому, я еще издали увидел у калитки Божену. Она смотрела в мою сторону, покуда я приближался к ней. Да, Божена Лапиньска была женщиной интересной, ничего не скажешь. Она была в модном сером плаще с погончиками, чуть бронзовевшие темные волосы, расчесанные прямо, казались оправой, в которой светилось чистое лицо. И мне стало приятно, что эта женщина ждала меня. Еще я надеялся, что она сейчас улыбнется. Но увы...

— Извините, Ян, что я вас подстерегаю. Мне нужно с вами поговорить, — сказала она серьезно.

— Может быть, поднимемся ко мне? — улыбаясь, спросил я.

— Я постараюсь не задерживать вас, — сказала она, направляясь к калитке.

— Пожалуйста, я не спешу.

— Мама передала мне ваш с нею разговор. Он очень ее расстроил. Она буквально больна. Ведь ей пришлось лгать вам, и она видела, что вы поняли это. Сейчас я все объясню. — Божена заложила руки за спину и оперлась о стеллажи. — Вы журналист. Ваше право выбирать себе темы. Но та, что выбрали вы, касается жизни и ныне живущих людей, не только погибших более двадцати лет назад. И не каждому приятно, когда посторонние начинают копаться в их прошлом, теребят раны, может быть, совесть. Всякое было в той прошлой жизни. Я говорю о страшном времени оккупации. Тогда по-разному испытывались и ломались людские судьбы. Было много героев. Но и много обыкновенных людей, просто ждавших конца этого ужаса. Таким человеком я могу считать маму. Мне не в чем ее упрекнуть. Ядвига Глинска была ее сверстницей и подругой, а трое других — просто коллегами, приятелями. Глинска была очень энергичная, отчаянная женщина. В ее решительности, как считает мама, была даже жажда жертвенности. Глинска однажды предложила маме участвовать в нападении на немецкий грузовик в Цитадели. Там были важные для них бумаги. Сказала, что сообщит ей подробности и имена остальных участников, если мама согласится. После раздумий мама отказалась. И единственной причиной, поверьте, была я. Мама понимала, с каким риском связано это нападение. Мне было тогда пять лет. Она растила меня сама, без мужа. Отца в сороковом немцы застрелили во время облавы. Мама сказала Глинской, как страшна ей мысль, что я могу остаться сиротой. Через две недели Глинска и ее друзья были пойманы и расстреляны. Вот все, что знает мама. Согласитесь, такое не очень приятно вспоминать.

Тем более рассказывать кому-то, кто по служебной обязанности, не особенно волнуясь — ведь это чужие, да и очень далекие страдания, — будет писать об этом... — Боже́на умолкла.

Я думал: возражать ей или нет? В ее восприятии Ядвига Глинска — экзальтированная женщина. А женщине-то этой и было всего 24—25 лет! Она была на два-три года моложе нынешней Божены! И так о Ядвиге, или приблизительно так, рассказала Божене ее мать. В ту пору ей было столько же, сколько Глинской, и помнила она Глинску именно такой. Могли я обвинять Божену за эти невольные искажения?! Ее эмоциональное отношение к той далекой поре, честное и чистое, тем не менее — вторично, оно сложилось из отраженных чувств и не может быть эквивалентным моему. Моя собственная плоть прошла сквозь то время, собственные мои глаза видели все, а сердце каменело, когда я, мальчишка-комсомолец, по ночам с автоматом под пальто пробирался на подпольную явку по тихим улицам Люблина. Божена видит во мне только человека определенной профессии. Для нее непостижимо, что каждое слово о годах войны и оккупации для меня — как зов оттуда, где погибли мои друзья, но куда уже не вернуться, где были страдания, пожары, пули, но где я сформировался как человек... Как все это объяснить ей?!

— Понимаю вас, Божена, — только и сказал я.

— И еще одно, — отозвалась она. — В те годы мы голодали. Мама рассказывала, что я вечно плакала и просила есть. Я была худенькая, синенькая, одни косточки, часто болела. Все ко мне цеплялось. Работы у мамы не было. Какая работа у художника-реставратора в те дни! А она была очень талантлива. Прекрасно знала стиль и манеру многих художников прошлого. И однажды у мамы появился заказчик. Человека этого она не знала. Он не назвался ей. Он предложил ей снять копию, подделав под старину, с картины неизвестного фламандского мастера. В виде аванса он принес сало, несколько банок мясных консервов, сахар и полмешка муки. Работала мама долго. Через какое-то время он пришел с новым заказом. Мама спросила, зачем это нужно. Он ответил, что некоторые немецкие офицеры падки на старинные картины, но ни черта не смыслят, надуть их легко, подсунув фальшивку и получив в обмен немного продуктов. Человек этот появился и в третий раз с просьбой скопировать портрет папы Сикста Четвертого. Это был последний заказ. Забрав работу, он больше не появлялся. — Божена сделала паузу и посмотрела на меня. — В прошлое воскресенье мама его встретила в

Езерно. У нее очень хорошая память: наверное, профессиональная цепкость. Она встретила его в парке. Было около трех часов дня. Мама растерялась, но он, очевидно, не заметил ее и ушел по боковой аллее. Знаете, почему я так подробна? Это тот, чья фотография напечатана в местной газете. Вы должны понять, почему мама умолчала об этом. Не всякий захочет вдуматься, как невинна история с этими картинами, сфальсифицированными ради куска хлеба. Каждый прежде всего услышит слово «фальшивка».

— Почему вы все же решили рассказать мне, Боже-на? — спросил я. — Мне скорее понятны мотивы, по которым вы и мама хотели умолчать.

— Мы пришли к выводу, что так или иначе вы во всем этом будете копать и, не исключено, до чего-то докопаетесь. И может, не только вы. Поэтому лучше, чтобы именно вы узнали обо всем и именно от нас. Я рассчитываю на вашу порядочность, Ян, вы не используете мою откровенность во зло нашей семье.

Я, безусловно, верил всему, что она рассказала...

— Кроме меня еще кто-нибудь посвящен в это? — спросил я. — Петр или пан Михал?

— Только Петр, — ответила она. — Да и то отчасти... Я сказала ему, что мама когда-то знала человека, изображенного на фотографии. Вот и все...

Расстались мы очень мило, словно ничего не произошло. Я передал привет пани Малгожате, получил приглашение заходить и затем двинулся в гостиницу к Мацеку.

Я пересек дорогу, где надо было сворачивать за угол — тот самый угол — скрещение улиц Марцинковского и Глоговской, о котором упоминал рыбак-любитель Красовский. Вот и эта парикмахерская, а над входом действительно часы, на них тогда и глянул Красовский, направляясь с рыбалки на вокзал, где надеялся выпить до отхода поезда кружку пива. Но странное дело: электрочасы над парикмахерской показывали ровно десять. На моих же было без четверти пять. То, что сейчас не десять утра и не двадцать два часа вечера, — это я знал даже без своих часов. Но я продолжал смотреть на электрочасы.

— Они уже много дней стоят, — произнес вдруг мужчина, затоптавший сигарету. — Пан, наверное, приезжий?

— Они и неделю назад показывали десять? — спросил я.

— Я же сказал пану: они уже много дней показывают одно и то же время, — он пожал плечами и вошел в парикмахерскую...

В гостиницу я почти бежал.

У входа в наш номер я остановился и прислушался: нет, мне не показалось — за дверью негромко пели. Я вошел. Мацек и Фисняк сидели за столом и играли в карты. Мацек был в комнатных туфлях, брюках и майке, его пиджак, сорочка и берет валялись на постели. Фисняк сидел в белоснежной трикотажной рубашке с короткими рукавами, китель его висел на спинке стула. На столе стояли две откупоренные бутылки пива. Колода карт была совершенно новая, вероятно только что купленная кем-то из них. Они не обратили никакого внимания на мое появление, продолжали играть, прихлебывать из бутылок пиво и тихо напевать. Пел, собственно, Фисняк, Мацек же, вероятно из-за отсутствия слуха, просто мелодекламирал.

— Ну что, Ян? — спросил Мацек, продолжая сдавать карты. — Бери, Войцех, бери, там, наверное, козырный туз. Чего ждешь? Принимай. Все равно тебе не отыгаться.

— Ты арап, Мацек. Или шулер. Пять партий подряд в эту игру выиграть нельзя, — засмеялся майор.

— Во что вы играете? — спросил я.

— Тебе не постичь, Ян. Это тюремная игра, самая любимая у жулья. Ты у нас человек интеллигентный, — Мацек веером разложил карты своими пухлыми пальцами, — тебе это не к лицу.

— Я могу предложить вам другую, — сказал я, посмеиваясь.

— Мы сейчас доиграем. Последний кон, — отозвался Фисняк, сбрасывая карту.

— Что слышно у вас? — спросил я его.

— Плохо. У Грженды алиби, — отозвался он, продолжая играть. — Парень у бензоколонки сказал, что помнит Грженду, который с девчонкой приволок красную «Яву-500» и попросил побыстрее заправить.

— А время? — произнес я.

— В том-то и дело, что — время, — загудел Мацек. — Когда этот, с бензоколонки, спросил у Грженды, чего, мол, спешишь, Грженда сказал, что дома малыш один, и поинтересовался, который час. И парень ему сказал, что десять.

— Ты проигрываешь, Мацек, — произнес Фисняк.

— А вот это! — выложил Мацек бубнового короля. — Попробуй!

Но тут я прервал их игру, прикрыв карты ладонью.

Они подняли удивленные лица.

— К какому же выводу вы пришли? — возвышаясь над ними, невозмутимо спросил я.

— Либо Красовский соврал, либо что-то перепутал, — ответил Фисняк.

— Не-ет, — покачал я головой. — Он сказал правду. Но ему солгали. Часы. Те, над парикмахерской, на углу Марцинковского и Глоговской. Они давно показывают десять часов или двадцать два часа, что в данном случае одно и то же. Они просто стоят. Поэтому Красовский мог видеть мотоциклиста либо до двадцати двух, либо после. Но поскольку вам подтвердили, что Грженда с сестрой были у бензоколонки в двадцать два, а вы считаете, что этот мотоциклист Красовского и Грженда — одно лицо, то Красовский видел его примерно в двадцать один час. Ведь от того места, где он обогнал Красовского, до бензоколонки, как заметил Мацек, пятьдесят километров. Чтоб покрыть их в вечернее время, надо не меньше часа. Алиби Грженды лопнуло.

— Кто тебе сказал о часах над парикмахерской? — спросил Мацек.

— Собственные глаза, — ответил я.

— Но Красовский видел мотоциклиста одного, — Фисняк встал и набросил на плечи китель.

— Э-э! — махнул рукой Мацек. — Грженда мог договориться, чтоб Марыська где-нибудь ждала его, а он прихватит ее, возвращаясь из Езерно.

— И это возможно, — сказал Фисняк, втискивая колоду в футляр. — Значит, все опять замкнулось на Грженде? Несмотря на то, что он твердит, что в Езерно не был, что выехал из Складзенья в двадцать один час тридцать минут?!

— Но следы протекторов в парке в Езерно от его мотоцикла! — воскликнул Мацек. — Это уже не из области наших предположений.

Тогда я сказал им:

— Вы люди трезвого расчета, в выводах следуете только логике. Это в вас неистребимо — такова профессия. Ладно! — сказал я. — А если на минутку отказаться от здравого смысла, пофантазировать? Неестественно на все, что так стройно и непробиваемо! Поверьте на мгновение, что, несмотря на все, Грженда говорит правду. Что тогда вам остается делать? Предположить, что мотоцикл Грженды сам, без водителя, съездил в Езерно, оставил там следы, возвратился в Складзень, взял Грженду и Марыську и в двадцать два часа был у

бензоколонки. Это было бы возможно у Лема, как сказал бы Мацек...

Фисняк слушал меня, прикрыв глаза. Мацек как завороченный смотрел на бутылку с пивом, словно считал поднимавшиеся на поверхность пузырьки воздуха.

— Тебя точно надо зачислить к нам в штат, — повернулся он ко мне. — Значит, кто-то, по-твоему, либо одолжил у Грженды мотоцикл, либо похитил его, съездил в Езерно, а затем вернулся в Складзень и возвратил машину владельцу? Ай-яй-яй! Что ты скажешь, Войцех?

В это время вошел Врона.

— Ну, как они там? — спросил его Мацек.

— Нормально, — ответил поручник. — Марыська все интересуется, что будет брату за езду без прав. А Грженда лежит и читает газету. Спросил, когда мы его отпустим. У них там какие-то ходовые испытания на судне.

— Их номера рядом? — спросил Фисняк.

— Да, — ответил Врона.

— Они не просят разрешения повидаться?

— Нет, — ответил поручник.

— Мы с тобой, Мацек, багажники, доверху набитые ценными стереотипами, — сказал майор. — А такой безделушки, как простая мысль Яна, там не оказалось. — Он иронически поклонился в мою сторону. — Гипноз обстоятельств, сложившихся вокруг Грженды и его сестры. Идейку вашу нужно учесть. Я отношусь к ней серьезно. И в доказательство замечу, что не совсем согласен с Мацеком. Мне думается, что Грженда, скорее всего, не одалживал мотоцикл. Скорее машину взяли без его ведома. — Фисняк снова снял китель и повесил его на спинку стула. Белая трикотажная рубаша плотно и красиво обтягивала тяжелые мышцы на его груди и спине. — Я вспомнил одну фразу из допроса Грженды: «Неожиданно кончился бензин». Неожиданно! Поручник, — повернулся он к Вроне, — пригласите-ка сюда Грженду.

Врона вышел и вернулся с Гржендой.

— Казимеж, — обратился Фисняк к парню, — вы сказали, что волокли мотоцикл, потому что неожиданно кончился бензин. Почему для вас это было неожиданным?

— Когда я выезжал из Гдыни, было полбака. Это точно. Может, чуть больше. Должно было хватить в оба конца: от Гдыни до Складзеня и обратно. Машина исправная, нигде не текло, — пожал плечами Грженда.

— Понятно, — сказал Фисняк. — Хорошо, идите отдыхайте.

— Как долго я буду отдыхать здесь? — спросил парень.

— Многое зависит от вас, — неопределенно ответил Фисняк.

Когда Грженда ушел, майор сказал Мацеку:

— Ну-ка, Тим, возьми бумагу и ручку. Сейчас кое-что подсчитаем... Готов? Слушай и пиши...

Стоя за спиной Мацека, я слушал голос Фисняка и следил, как Мацек выводил столбиком слова и цифры:

Мотоцикл «Ява-500».

При полном баке запас хода — 350 км.

Значит, полбака хватает на — 175 км.

От Гдыни до Гданьска — 35 км. } 87 км.

От Гданьска до Складзеня — 52 км. }

Все в оба конца — 174 км.

Значит, полбака как раз хватило бы.

Бензин же кончился на пятом км за Складзенем.

Т. е. не хватило приблизительно на 82 км, около 3-х литров.

От Складзеня же до Езерно и обратно — 84 км.

— Эти три литра и могли быть сожжены на чью-то поездку из Складзеня в Езерно и обратно, — сказал Фисняк. — И когда на пятом километре за Складзенем вдруг кончилось горючее, это было для Грженды неожиданным. Ему же ехать восемьдесят два километра, а тут — на тебе!.. Согласимся с Яном, что горючее было кем-то сожжено для поездки из Складзеня в Езерно и обратно. Для этого у нас есть основания: следы протекторов мотоцикла в Езерно в парке и мотоциклист, ехавший из Езерно в Складзень, которого видел Красовский. Тогда нам остается решить сущий пустячок: кто разъезжал на мотоцикле Грженды? Это уже твоя забота, Мацек, — сощурился Фисняк.

— Благодарю за доверие, — отозвался Мацек. — Но выяснение этого сущего пустячка я могу подарить тебе, а себе взять что-нибудь потруднее, — он покачал головой. — А может, ты возьмешься за это? — повернулся он ко мне. — Твоя же идея!

— Если получу особые полномочия, — засмеялся я.

— С таких требований начинают все грядущие диктаторы, — сказал Мацек. — А у нас все коллегиально... Хорошо, Войцех, я займусь пустячком, который ты мне уступил. В обмен на другой: если ты ответишь, где жил в Езерно Свидрак. Где-то же он остановился! Не болтался же целый день по городу и парку. Все-таки пожилой человек.

— Эта мысль меня уже посетила,— сказал Фисняк.

— Еще бы! — воскликнул Мацек.— По части мыслей вы гении. Где нам, бедным сыщикам, тягаться с вашей конторой. Наше дело — черная работа. А вы — ювелиры. Мы каждый день сметаем мусор в кучу. А вы иногда появляетесь на этой свалке, привередливо выбираете зернышко почище и клюете его. Поэтому у вас так много свободного времени, чтобы рождать мысли!

Мне показалось, что Мацек завелся. Какая-то озлобленность прозвучала в его словах, чем-то его Фисняк задел. Но майор сделал вид, что не заметил этого. Ему, вероятно, не хотелось в моем присутствии выяснять межслужебные отношения, и он примирительно сказал:

— Ничего утешительного мне не сообщили. В гостиницах Езерно и Складзеня Свидрак не останавливался. Но у него могли быть какие-то знакомые. Ведь он жил когда-то в этих краях.

— Я пойду пройдуся,— вдруг сказал Мацек, вставая.— Голова болит. Ты идешь? — спросил он у меня.

Фисняк незаметно моргнул мне и сделал знак рукой: мол, все обойдется, пусть идет.

Мацек быстро оделся, мы вышли с ним из гостиницы.

— Тебе куда? — спросил он.

— Налево.

— Я направо.

— Слушай, Мацек,— остановил я его,— я, в общем-то, понимаю все, что вы делаете. Кроме одного. Хоть какой-то мотив убийства вы имеете в виду?

Он посмотрел на меня так, будто мой вопрос с трудом доходит до его сознания. Затем, опустив голову и глядя на свои стоптанные и не очень опрятные ботинки, сказал:

— Что касается меня, то ревность и случайность я отвергаю. Ограбление? — Он пожал плечами.— Месть? С чьей стороны и за что? Свидрак не был здесь более двадцати лет. Намек, что он был провокатором и кого-то выдал,— всего лишь намек, почти ничем не подтвержденный. Вроде и не осталось никого, кто мог бы отомстить ему, если иметь в виду это. Зато есть две реальные версии: Казимеж, Марыська Ёрженда и кто-то, катавшийся на их мотоцикле,— раз. Твой немец, доктор Занне,— два. Видишь ли, чем больше я думаю о докторе Занне, тем проще мне кажется эта линия,— продолжал Мацек.— Проще в смысле логики. К этому вари-

анту мы можем подобрать и несколько мотивов убийства: месть за отказ продолжать сотрудничать, за болтливость, провал и так далее... Вот так, Ян... Ну, топай. Я пойду прогуляюсь. Приходи...

...Было свежо, тихо и звездно. Улочки, уводившие меня от центра, освещались слабо, я то и дело спотыкался о выбоины на древних тротуарных плитах. Благо, не было луж. В невысоких мрачноватых в эту вечернюю пору домах светящихся окон оставалось немного. Но те, что светились, задернутые шторами, казались мне странно удаленными во времени, словно я шел по средневековому городу — чужой, попавший сюда из двадцатого столетия человек. А там, за этими тяжелыми стенами, украшенными сюжетными барельефами и фризами с каменными быками, волокущими плуг, тритонами, пускающими струи воды, с маленькими балкончиками, опирающимися на консоли в виде смеющихся усатых маскаронов, — за всем этим, в комнатах со скрипящим мозаичным паркетом, мне виделась горожане — в расшитых камзолах, сидящие при свечах в глубоких креслах, вытянув ноги, облаченные в белые чулки и тяжелые башмаки. Они слушают, как прекрасная женщина в длинном, до пят, многоярусном атласном платье с большим вырезом на груди играет на клавесине. А рядом с нею в почтительной позе — юноша. В одной руке он держит флейту, а другой переворачивает ноты. Сегодня суббота, и они вот так отдыхают.

Сегодня суббота, уже неделя как я уехал из Варшавы. Еще раз скользнув взглядом по окнам, я подумал, что, может быть, в одном из этих домов провел свой последний день Свидрак...

Пан Михал, наверное, уже спал. Я тихонько поднялся в мансарду, постелил себе, сложил у тахты стопку книг, пристроил пепельницу и улегся. Что может быть приятнее, чем эта поздняя вечерняя пора в тихой комнате, заставленной книгами! Ощущение равновесия, бестревожности при мысли, что над тобой прочный потолок, за окнами мир и тишина, что вот-вот ты приступишь к книге и что в пачке есть еще десятка полтора сигарет!

Начал я с «Наполеоновских войн». Это была объемистая книга, отпечатанная на тончайшей бумаге в начале века. В ней хронологически давалось изложение наполеоновских войн, богатые авторские отступления анализировали с явной

симпатией к императору все его политические и военные предприятия.

Затем я взялся за буклет «История папства в живописи». Это был огромный альбом-футляр размером шестьдесят на сорок, в который вложены плотные листы — прекрасно исполненные цветные репродукции портретов многочисленных наместников бога на земле. Две страницы комментария рассказывали о знаменитых художниках средневековья и позднейших времен, создавших эти портреты. Лица пап, разумеется, должны были отражать лишь святость и божью скромность. Но писали их живые люди, и поэтому все эти Павлы II, Марцелии II, Пии II, Леоны X в тиарах или с тонзурами предстали передо мной старичками. Одни — с мешками под глазами, другие — со склеротическими розовыми сосудиками, проступавшими под дряблой кожей на щеках и кончике носа, третьи — со скрюченными подагрой пальцами, просто старичками, на лицах которых жизнь отложила печать своего явного и тайного многообразия.

Некоторые оригиналы я видел, когда смотрел с Сабиной фонды в Цитадели. Тогда они не поразили меня так, как эти репродукции. Не знаю даже почему.

Сложив все листы в футляр, я закурил и подумал, что мать Божены, должно быть, немало покорпела, снимая копию с одного из таких портретов, чтобы всучить ее какому-то немцу как оригинал. И тут меня пронзила, как электрический разряд, мысль: я вспомнил, что первый раз она родилась при разговоре с Мацеком и Фисняком сегодня вечером, но спор, начавшийся между ними, отвлек меня. А возникла эта мысль после фразы Фисняка о том, что Свидрак мог остановиться в Езерно у кого-то из своих давних знакомых, скрывающих это по какой-то причине. Почему же, подумал я сейчас, такой знакомой не может быть мать Божены?! Только потому, что я безоговорочно поверил рассказу Божены?! Она ведь могла сказать мне и полуправду! Это самое удобное. В действительности же пани Малгожата Лапиньска могла быть хорошо знакома со Свидраком: они были связаны в прошлом таким деликатным предприятием. Он вполне мог остановиться у них, приехав в Езерно и не пожелав почему-то прожить день в гостинице. И если так, то степень этого знакомства и взаимоотношений по определенным соображениям была представлена мне в варианте Божены. Все скрыть — дело рискованное, вдруг действительно я до чего-то докопаюсь. А полуправда выглядит убедительной, она психологически точно рассчитана: поверив в нее, так ска-

зять, заглотав и насытившись, я, быть может, откажусь от дальнейших раскопок и расспросов и успокоюсь на этом...

Вот как ловко все это у меня выстроилось: одно цеплялось за другое. Но тут же я представил себе лицо Мацека и его ухмылку: «Знаешь, Ян, по ночам так бывает: вдруг осенит тебя нечто гениальное. А утром вспомнишь, разглядишь — все поблекло, аж самому смешно...»

ГЛАВА 10

Меня разбудил телефонный звонок... Глянув на часы, я ахнул: четверть одиннадцатого. Ничего поспал! Босиком я ринулся к телефону. Звонила Божена.

— Вы очень заняты? — спросила она.

— Нет, не очень, — ответил я, и мне стало смешно: я представил себе ее элегантную, красивую, там, на другом конце провода, разговаривающую со мной, стоящим босиком в трусах и в мятой майке на холодном полу, почесывающим мосластой ступней сорок второго размера худую волосатую ногу и при этом серьезно отвечающим: — Пожалуйста, я к вашим услугам...

Через двадцать минут мы встретились на Старом Рынке.

— Я кое-что вам принесла, — сказала Божена. — Вот, — она протянула мне завернутый в газету длинный рулончик.

Развернув его, я увидел полиграфическую репродукцию портрета папы Сикста IV. Белое пожелтевшее поле бумаги по краям портрета хранило следы испачканных масляной краской пальцев, какие-то жирные пятна.

— Мама нашла это на чердаке в своем ящике. Там у нее хранятся краски, кисти, старые этюды. Эту репродукцию, как подсобный материал, ей принес тогда тот человек, — сказала Божена.

Я понял: с оригинала именно такого портрета и была скопирована пани Лапиньской фальшивка. Непонятным было другое: зачем мать Божены захотела показать эту репродукцию мне? Чтобы убедить в правдивости истории, которую Божена изложила накануне, еще раз напомнить мне, что взаимоотношения Малгожаты Лапиньской и Свидрака носили только деловой характер?..

— А что мне с ней делать? — с улыбкой спросил я.

Она покраснела. Мой прямой вопрос смутил ее.

— Возьмите на память. Будете в Варшаве рассказывать о провинциалах. Для достоверности продемонстрируете портрет.

Божена стала прощаться. Мне не хотелось, чтобы она уходила. Было воскресенье. Чем его занять — я еще не знал. Оставалось идти в номер к Мацеку или возвращаться к себе в мансарду, купить по дороге бутылку вина и распить ее с паном Михалом, поболтать с ним, а потом сесть поработать... Я стоял, раздумывая, какое же решение принять, и смотрел, как удаляется Божена. По опыту я знал: ничего нет тоскливее, чем коротать воскресные дни во время командировок в чужих городах, где нет у тебя ни родственников, ни друзей... Еще раз оглянувшись на Божену, я увидел ее далеко в конце улицы. И еще я увидел, что к ней подходил Петр Бежевый Свитер...

Купив бутылку рислинга, я вернулся в мансарду. Но пана Михала дома не оказалось. Я убрал постель, вытряхнул из пепельницы вонючие окурки, сел к письменному столу, раскрыл папку и выложил свои бумаги. Но дело не шло. Уставившись в окно, я смотрел на редких прохожих, на дома, за которыми начинался скучный серый пустырь с низкорослыми кустами...

Я вздрогнул — так неожиданно зазвонил телефон.

— Слушаю.

— Надеюсь, ты не спишь? — прозвучал ленивый голос.

— Как всегда, сплю, — отозвался я. — И, как всегда, меня будит вечно бдящий Пославский. Привет, Анджей! Ты откуда звонишь?

— Я в Езерно в гостинице. Мацек дал твой номер телефона. А ты неплохо устроился. Сабина знает?

— А как бы тебе хотелось? Шантажировать меня? Ты надолго?

— Нет. Сегодня же уеду. Давай приходи.

Я отправился в гостиницу...

— В честь чего ты пожаловал в воскресенье? — спросил я его, когда мы поздоровались.

— Госпожа Грэндинсон-Свидрак, бывшая жена покойного, соизволила ответить на наш запрос. Начальство удостоило меня чести доставить ее письмо представителям следствия. На, можешь ознакомиться. Она полька, так что все поймешь, — Анджей извлек из кармана конверт.

Бывшая жена Свидрака, Марта Свидрак, в новом заму-

жестве Грэндинсон, ставила в известность, что со своим первым (уже покойным мужем) она разошлась в 1963 году, но отношения поддерживала. Как истинная полька, она считает своим долгом сообщить все, что знает.

Свидрак, сколотив кое-какое состояние, стал владельцем небольшой фирмы, совершавшей комиссионные сделки, связанные с приобретением и продажей произведений искусства и антикварных вещей. Дела шли хорошо, и он разбогател. Она обращала внимание на то, что Свидрак несколько раз ездил в ФРГ и в страны Латинской Америки. И у госпожи Грэндинсон сложилось впечатление, что он кого-то разыскивал, поездки эти не были связаны с делами фирмы. Вел он также интенсивную переписку с разными людьми и общественными организациями, получал от них какие-то сведения и аккуратно оплачивал эти услуги. Последние шесть лет он только этим и занимался. Дела фирмы его интересовали как источник средств для поездок и оплаты сведений, которые он получал. Все это прекратилось вдруг в 1965 году. И однажды, позвонив бывшей жене, он сказал: «Марта, я хочу возвратиться в Польшу». Дело свое он удачно продал, а как распорядился деньгами, госпожа Грэндинсон-Свидрак понятия не имеет.

Я отложил бумагу. Что Свидрак кого-то разыскивал, нам ясно было уже из письма «Славянской Миссии» в Стокгольме. Теперь же, сопоставив географию его поездок и фразу из стокгольмского письма: «С лицами неславянского происхождения таких связей мы не имеем... попробуйте обратиться в «Комитет католического единства» в Кельне», — можно было предположить, что искал он немца. То, что искал в Кельне, — понятно. Но вот Латинская Америка! Там пребывают немцы определенной категории: те, кто по серьезным мотивам уехали после войны и не очень спешат возвращаться в Европу...

Выложив эти соображения Анджею, я сказал:

— Может, это все-таки доктор Занне?

— Допустим. И, отыскав его, договорившись встретиться в Езерно, Свидрак молниеносно понесся сюда, чтобы получить пулю? Ради этого так не спешат.

— Не исключено, что эту пулю должен был получить именно Занне, если Свидрак так настойчиво разыскивал его. Что мы знаем о Занне? Но при каких-то обстоятельствах случилось наоборот. Ты показывал Мацеку и Фисняку письмо Грэндинсон?

Анджей кивнул.

— Что они?

— Тоже поминают твоего доктора Занне.— Он достал из кармана таблетку соды и, морщась, без воды, проглотил ее. Это была многолетняя привычка человека, страдавшего изжогой...

Мы посидели вдвоем до сумерек. Сперва говорили. Потом молчали. С Анджеем это было легко. Свет зажигать не стали. Молчание, что-то обозначавшее в разговоре, который мы вели перед этим, должно было кончиться тем, что Пославский встанет и скажет: «Ладно, я поехал». Я знал, когда наступит этот момент.

И вот я уже проводил Анджея к машине, возвращаясь, купил пачку «Пястов» — не люблю, когда курева в обрез,— и вернулся в гостиницу. А через полчаса явился Мацек.

— Пославский отбыл? — спросил он, быстро проходя к письменному столу.

— Да.

— Хорошо, хорошо,— бормоча, он зажег настольную лампу, выдвинул ящик, порылся там.— Хочешь со мной в Складзень?

— А где Фисняк?

— Сейчас явится.

— Зачем тебе в Складзень?

— Навестим больную бабу Грженды.

— Сегодня воскресенье. Удобно ли?

— Для бабки это не имеет значения. Для нее теперь каждый день воскресенье. А для нас и воскресенье может быть понедельником.— Он уселся на стул, не снимая плаща, и сунул в карман берет.

Распахнулась дверь, и вошел Фисняк.

— Ну что? — выпалил Мацек.

— Никаких концов. Все обрублено.— Фисняк вытащил из кармана плотную бумажку.— Ядвига Глинска. Жила с родителями. Они умерли после войны. Замужем не была. Никаких родственников нет. Косинский. Был женат. Бездетен. Жену после его расстрела угнали в Равенсбрюк. Из концлагеря не вернулась. Есть сестра. Во Франции. Зигмунд Ляссота. Родители умерли перед войной. Брат был в СССР, затем служил у Андерса, был в АК. Убит в стычке с нашими где-то под Тарнобжегом. Чеслав Лицен. Родители погибли во время первой бомбежки Варшавы. Был женат. Имел сына. О них никаких данных нет. С Банахом — шофером — еще проще: он вообще был одинок.

— Оставим это. Тут не за что ухватиться,— сказал Мацек, потирая пальцами мочку своего большого уха,— Едем в Складзень, посмотрим, как живет старушка...

Дорога в Складзень шла сперва вдоль берега озера. Было уже темно. За низким молодым ельником в лучах редких фонарей маслянисто проблескивала вода, ветер морщил на ней желтоватый зыбкий свет. Затем дорога ушла в сторону, и мы уже неслись по шоссе, обсаженному низкими, тяжелыми, как каменные столбы, толстенными осокорями с отсеченными кронами. Стволы их были наклонены к кюветам. И мне казалось, что мы мчимся в тоннеле, пробивая его темень клиньями света фар.

В машине нас было пятеро: Фисняк рядом с шофером, Мацек, я и Казимеж Грженда. Сидеть было тесновато.

— Ну и кости у тебя,— ворчал Мацек незлобиво, когда на поворотах меня кидало на него,— как палками бьешь...

Дом, где жила бабка Грженды, находился на окраине, во дворе, огороженном с трех сторон старой каменной стеной. Это было обшарпанное полутораэтажное здание с острой черепичной крышей. Стояло оно в низине, полого уходившей к дальней железнодорожной насыпи. Торцовая глухая стена дома со стороны улицы — я увидел это в свете фар — была в черных мшистых пятнах грибковой сырости, которая ползла от фундамента кверху; разветвленные нити сухого безлистого плюща тянулись к выступавшей наружу тавровой балке. Двор был запущенный, грязный, с деревянным сараем у стены, где стояли тяжелые цилиндрические баки для мусора.

Мацек ходил по двору, посвечивая фонариком. Черная кошка, испугнутая лучом, рванулась прочь с кучи мусора.

— Где стоял мотоцикл? — спросил Фисняк у Грженды.

— Тут,— парень повел нас в закоулок между второй глухой стеной дома и забором, ограждавшим двор со стороны железнодорожной насыпи.

— Мог ли кто-нибудь воспользоваться вашим мотоциклом так, чтобы вы этого не знали? — спросил Мацек, обводя лучом закоулок и стену.— Скажем, в вечернее время?

— Вполне,— ответил Грженда.— Бабушка живет наверху, окна выходят в соседний двор, там тарный склад.

— Кто еще живет в этом доме?

— Направо — старик инвалид с женой. В квартире налево — пани Пехник с сыном. А наверху только бабушка.

— Вы идите к бабушке, Грженда. Придумайте там что-нибудь, почему вы вернулись. Только без глупостей. Иначе вы все испортите и нам, и себе...

— Мотоцикл можно было найти в трех случаях, — сказал Мацек Фисняку, — либо выследив, куда хозяин его загнал, либо пройдя в глубину двора до самого забора и случайно заглянув вдоль него в тупичок, либо просто заранее и надежно зная, что он там стоит. Для того чтобы совершить обдуманное убийство, да еще не здесь, а в Езерно — это сорок два километра в один конец! — первые два моих «либо» почти отпадают. Заметить Грженду на мотоцикле было непросто: он приехал сюда утром в воскресенье, загнал машину в закоулок и до самого отъезда, до вечера, не выводил ее. Так, во всяком случае, он утверждает. Второе: решив убить человека, находящегося за сорок два километра, убийца не стал бы ходить по дворам, заглядывать в закоулки в поисках транспорта.

— Но, проходя в воскресенье по улице, он мог случайно увидеть, куда Грженда поставил машину. Убийство могло быть и не задуманным заранее. Он мог взять мотоцикл просто по пьянке, по дурости, наконец, чтобы прокатиться в Езерно, но, столкнувшись при каких-то обстоятельствах со Свидраком, которого даже не знал, за что-то убить его.

— Нет, Войцех, — поигрывая кнопкой фонаря, возразил Мацек. — В этом случае проще и надежнее было бы бросить мотоцикл где-нибудь в Езерно, а не возвращаться на нем, чтобы поставить на то же место, зная, что хозяин в любой момент может хватиться и поднять шум. Человек, взявший мотоцикл, знал заранее, где он стоит, и считал необходимым почему-то возвратит его. А для этого он точно должен был рассчитать время, знать, что хозяину до определенного часа мотоцикл не понадобится... Давай так: я поднимусь к старухе, а ты займись соседями.

К бабке Грженды поднялся и я. Это была странная квартира. Обои на стенах выгорели, определить их возраст и истинный цвет можно было, лишь заглянув под рамы висевших олеографий на библейские сюжеты. Они были развешаны вокруг деревянного распятия, обрамленного слинявшими цветами из провощенной бумаги. В комнате пахло сгоревшей свечой, устоявшийся дух этот был разбавлен запахом то ли аниса, то ли валерьяны.

Бабка и внук уже пили чай. Старуха сидела в глубоком плюшевом кресле, на подлокотнике висела палка из красного дерева.

Мы извинились за вторжение. Грженда, подмигнув нам, сказал:

— Это и есть мои приятели, бабушка.

Старуха кивнула головой и, вытянув сухие желтоватые руки, предложила нам сесть.

— Внук не обижает? — спросил ее Мацек.

— Слава богу. Вот, привез мне, — и она указала на круглый столик, где стояли пузырьки и коробочки с лекарствами. — Он добрый. — Старуха ласково поднесла увядшую слабую руку к широкой, державшей стакан руке Грженды. — Ты, Казик, ездь только осторожней, — обратилась она к парню.

Мацек вдруг поднялся.

— Мы ждем вас внизу, Грженда. Допивайте чай, — сказал он, еще раз окинув комнату быстрым взглядом.

Попрощавшись и извинившись, мы вышли. Я испытывал какое-то чувство неловкости от этого вторжения. Мацек, видимо, тоже.

— Вот черт, язык не повернулся расспрашивать старуху, — пробурчал он. — Надо было, а не мог. Никак не привыкну к двум necessities: что-то выведывать у таких людей и рыться в платяных шкафах во время обыска. Ощущение, будто оставляешь пятна на чужих, дорогих кому-то вещах.

Мы вышли во двор. Далеко в низине, тяжело отбрасывая металлическое эхо, прогрохотал по насыпи поезд, прострочив темноту желтым пунктиром освещенных окон.

— Ты о чем думаешь? — спросил я Мацека. — Сожалеешь, что не допросил старуху?

— Любишь угадывать? — отозвался он. — Что ж, получи удовольствие: немножко сожалею. Но не очень. Иногда увидеть лучше, чем услышать. И я увидел...

В темном коридоре блеснула полоса света из открывшейся сбоку двери. Это вышел майор.

— Я увидел, а он услышал. Теперь мы это сложим, — Мацек ткнул меня локтем в бок и шагнул к Фисняку.

— Вы уже управились? — спросил майор. — Дело обстоит так: старик инвалид и его жена утверждают, что они не слышали, чтобы кто-нибудь, кроме Грженды, в воскресенье вечером ездил на мотоцикле. Уезжая, Казимеж и Марыська зашли к ним попрощаться, попросили по-соседски пригля-

дывать за бабкой. Потом Грженда завел мотор и выехал со двора.

— Тот, кто брал мотоцикл Грженды, мог выкатить машину, не заводя мотора,— сказал Мацек.— Только так он и должен был сделать. А возвращаясь, заглушил двигатель, не доезжая до двора, и вкатил машину опять на место.

— Теперь о семействе Пехник, живущем в квартире напротив,— продолжал Фисняк.— Мать и сын. Она домохозяйка. Сын работает диспетчером на компрессорной станции. Зовут его Лешек. Парень как парень. Ничего плохого соседи сказать не могут. Не пьет, услужлив, но вспыльчив и болезненно самолюбив. Сейчас его нет дома. Вчера уехал в командировку. Вернется завтра к полудню. Я беседовал с матерью. Мать не помнит, ходил ли он куда-нибудь в прошлое воскресенье вечером. Сыном довольна. Жалеет его. Он мечтал о карьере военного. Но в армию не взяли — сильная близорукость с астигматизмом... Но это все беллетристика для него,— Фисняк указал на меня.

— Нет, тут кое-что есть и для меня,— задумчиво сказал Мацек.

— А именно? — спросил майор.

— Позже.

— Хорошо. Слушай теперь главное: Лешек Пехник водит мотоцикл. Окончил курсы. Мечтает купить собственный. По словам матери, водит лихо. Однажды демонстрировал ей. Она полагает, что это своеобразное желание компенсировать то, чем обделила его природа: у него хилое телосложение, недостаток зрения. В общем, ощущение неполноценности, ущербности. Парень молодой, хочет быть равным среди сверстников, хочет нравиться девушкам, чем-то выделиться. Психологически, как видишь, довольно точно. Что будем делать?

— Надо попросить людей из местной комендатуры поинтересоваться этим Лешеком подробнее. Особенно важно, как он провел минувшее воскресенье. Пусть они его завтра прямо с поезда привезут к нам.

Фисняк принял предложение Мацека, и, дождавшись Грженду, мы двинулись обратно.

— Вас почти не видно,— встретил меня пан Михал, едва я вошел в дом.— Поиски сюжетов, коллизий! Суета,— улыбнулся он.— Все это преходящее... Ну что, будем ужинать?

— Чаю — с удовольствием, — сказал я.

Мы сидели на кухне. Я грыз белые сухарики, ожидая, пока закипит чай. Пан Михал аккуратно намазывал маслом ровный ломоть хлеба.

— Вам смешна моя работа? — спросил я.

— Нет, что вы! Меня просто иногда пугает глобальная утилитарность человеческих устремлений. Это разрушает возможность создавать то, что потом назовут прошлым: что-то постоянное и вечное, в чем должна отражаться эпоха, нация, ее лицо. — Он положил поверх масла ломтик сыра и принялся намазывать еще один кусок хлеба.

— Если все примутся создавать нечто вечное, постоянное, а на это требуется много времени, сеять хлеб и доить коров будет некогда. И мы элементарно умрем от голода, — засмеялся я.

— Но во всеобщем движении хоть какие-то точки должны оставаться неподвижными, чтобы по ним выверять и скорость, и расстояние, и направление. Иначе — бесцветный хаос. Этими точками может быть все, что создано разумом, кистью, словом.

— Аристократы духа? А его чернорабочие?! Ведь и они нужны. Вот я их и представляю. Я точно знаю, что никогда не втиснусь между Бальзаком и Мицкевичем. И даже если сделаю такую попытку, то реальной возможности увидеть, что из этого получится, у меня нет: для этого нужно прожить хотя бы сотню-другую лет. Но зато знаю, что мой репортаж какой-то человек прочтет с интересом сегодня. Меня это радует. И я совершенно спокойно отношусь к тому, что завтра в эту же страницу тот же человек равнодушно завернет башмак, чтоб отнести его к сапожнику...

Покачивая головой, пан Михал наливал в стаканы чай.

— Вы, наверное, в молодости были честолюбивы? — спросил я.

— Почему вы так решили?

— В ваших суждениях иногда сквозит мысль, что человек должен найти какую-то возможность напомнить о себе даже после своей смерти.

— Герострат?

— Ну нет, я не думаю, что это вас бы устроило. Впрочем, если вспомнить, что до нас дошло имя Герострата, а не имя создателя храма, который он уничтожил, то...

Пан Михал, улыбнувшись, погрозил мне пальцем.

— Смотрите, я могу обидеться, — сказал он.

— А как вы думаете, может ли человек совершить убийство из честолюбия, из желания самоутвердиться, зная о каком-то своем физическом недостатке? — спросил я.

— Это из области теории или то, чем вы сейчас увлечены, утилитарно? — лукаво взглянул он на меня.

— Утилитарно, — сказал я.

— Вполне возможно. В этом есть даже какая-то жажда справедливости.

— Либо боязнь постоянно страдать от несправедливости со стороны ближних. Убийство — акт самоутверждения?

Когда я поднялся к себе, было около одиннадцати. Пан Михал пошел спать. Улеглись, наверное, Мацек и Фисняк. Какие сны видят сейчас Малгожата Лапиньска, Бежевый Свитер и Божена?.. А может, Божена и Петр, взявшись за руки, бродят сейчас при луне вдоль озера, о чем-то говорят, посмеиваются надо мной? Потом остановятся у березы и станут целоваться... У Божены красивый рот...

Почему так: когда ты один в квартире, набитой тишиной, когда в окно льется загадочный лунный свет, когда томят бесплодные усилия выдавить на бумагу хоть одну мыслишку, — обязательно начинаешь думать о женщине. Той, полужнакомой, а потому волнующей, как все непознанное...

Я скосил глаза на стопку книг, среди которых торчал отобранный мною для прочтения томик «Фрейд и его аксиомы», и с неприязнью подумал о Фрейде, словно он, посмеиваясь, подслушивал мои мысли о тишине в пустой квартире и о Божене. Может, у меня это — отклонение от нормы? «Их эти комплексы не мучили», — подумал я о римских папах, чьи портреты лежали в толстом альбоме под томиком «Фрейд и его аксиомы».

Я вытащил из футляра портреты глав церкви, долго всматривался в их лица. Леон X. Просидел на папском троне семь лет. Морщин на лбу почти не видно, — значит, либо глуп, либо праведник. А вот Юлиус III. Глаза хитрющие. Прищурены. Что-то проблескивает в них. То ли похоть, то ли коварство. Старческая кожа обтянула скулы. А вот Урбан VIII. О-го-го! Правил двадцать один год, с 1623-го по 1644-й! Любил, наверное, вкусно поесть, а может, и выпить. Глаза сонные, спокойные... Ну, а как приятель пани Лапиньской, Сикст IV? Я извлек портрет, подаренный мне Боженой. Расправил его. Сикст IV произвел на меня впечатление утомленного мудростью человека, который хотел примирить свою должность божьего наместника с жизненной реальностью. Дело это было по тем временам особенно

сложным, и он, конечно, устал от таких забот: тяжелые желтые мешки висели под глазами и синие вены взбухли на впалых висках...

Я пробежал глазами напечатанный на внутренней стороне альбомной обложки хронологический список пап, последовательно сменявших друг друга... Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый... Под номером тринадцатым и шел Сикст IV. Какой же он, интересно, в альбоме-буклете? Я стал перебирать репродукции, но листа под номером тринадцать не было. Хоть тресни! Тогда я вывалил все листы из футляра и разложил их на тахте. Все оказались на месте. Кроме тринадцатого. И тут, глянув на своего Сикста IV — чуть помятого, залапанного, испачканного краской, — в верхнем углу белого поля я увидел цифру «13». И тогда до меня дошла простая мысль: портрет, подаренный мне Боженой, извлечен из точно такого же альбома — и формат, и бумага, и печать, и нумерация листов — все совпадало!.. Стоп! Извлечен из точно такого же альбома или... из э т о г о, который я снял со стеллажей?! Это существенная разница. Это даже интересно: в альбоме нет тринадцатого листа, портрета Сикста IV, и портрет под этим номером оказался у Лапиньской; теперь он лежит передо мной, вот он! Если же он изъят из этого альбома, то кем? Его принес Лапиньской Свидрак двадцать два года назад. Но как альбом Свидрака оказался у пана Михала?! Вразуми, господи! С ума можно сойти!.. Но господь был нем. Вразумить меня мог, пожалуй, пан Михал. Но, задавая ему вопросы, я вынужден был бы посвятить его не только в то, откуда у меня портрет, но и каким образом он оказался у матери Божены... А это некрасиво...

Сложив в футляр все репродукции, я убрал альбом и книги в стеллажи, спрятал своего Сикста IV на дно чемодана под газету и начал стелить постель...

В голове была сумятица, я вставал, курил, переворачивал подушку и уснул лишь к утру.

ГЛАВА 11

Пехника привезли в комендатуру Езерно, как и задумали, прямо со Складзенского вокзала, в полдень. Мацек был добродушно оживлен, все время улыбался, то втискивал толстые руки в карманы широких штанов, то вытаскивал их и поглаживал себя по животу. Фисняк, глядя на него, снис-

ходительно посмеивался и дважды сказал Мацеку: «Ты только не спеши».

Лешек Пехник оказался тщедушным узкогрудым парнем с худощавым, удлинённым к подбородку лицом и нависавшим над глазами большим открытым лбом. Сквозь толстые стекла старых очков со сломанной дужкой, ненадежно привязанной провололочкой, он спокойным взглядом осмотрел комнату, нас и, садясь, сказал:

— Пожалуйста, только побыстрее. Я устал с дороги.

— Мы постараемся, — ответил Мацек, — но и вы должны постараться. Как вы полагаете, зачем вы понадобились?

Парень, словно задумавшись, склонил голову, придерживая при этом пальцами очки. (Этот жест он будет повторять часто, так как дужка при резких движениях головы неудобно поднимала очки.)

— Затрудняюсь сказать, — ответил Пехник. — Люди вашей профессии для этого могут иметь много поводов.

— Вы правы, Пехник. Кстати, Пехник — это фамилия вашего умершего отца? — спросил Мацек, заглянув в какую-то бумажку, лежавшую на столе.

— Да.

— А фамилия вашего родного отца?

— Лицен.

— Не тот ли это Чеслав Лицен, архитектор, который был расстрелян немцами в тысяча девятьсот сорок четвертом году?

— Именно тот, — гордо ответил парень. — Покойников нет смысла трогать, — сухо добавил он.

— У меня к вам несколько отвлеченный вопрос, — отозвался Фисняк, подходя к столу. — Как бы вы поступили, столкнувшись однажды лицом к лицу с человеком, который, как вы уверены, повинен в гибели вашего отца?

Парень провел ладонью по высокому вспотевшему лбу и, придерживая дужку очков, ответил:

— Для меня это не совсем отвлеченный вопрос. Погиб-то мой отец. Вероятно, я сказал бы этому человеку какие-нибудь жестокие слова.

— Вам их не приходилось произносить? — медленно спросил Мацек.

— Что вы имеете в виду? — тихо, словно у него пересохло в горле, спросил Пехник.

— Ну, в своем воображении, в мечтах встретить этого человека. Знаете, у людей бывают заветные темы, на которые

они мечтают, фантазируют, придумывают целые сюжеты со своим участием в них? — продолжал Мацек.

— Нет, я этим не занимался.

— Встретив такого человека, вы могли бы его убить? — спросил Фисняк.

— Это зависело бы не только от меня...

Станный это был разговор. Вовсе не похожий на допрос. Но я понимал, что Мацек и Фисняк вели допрос. Втроем они ходили вокруг чего-то главного, о чем, как мне показалось, каждый из них знал, но словно боялся приблизиться вплотную, будто не замечая, что круг хотя и едва заметно, но ужимался, как шар, из которого очень медленно выпускают воздух.

— Вы знаете Казимежа Грженду и его сестру? — спросил Мацек.

— Знаю.

— Вы не помните, в котором часу они уехали от бабушки в прошлое воскресенье?

— В половине десятого вечера.

— Почему вы запомнили это время?

— Просто запомнилось. Даже не могу объяснить. Когда под окном у нас затарахтел его мотоцикл, я взглянул на часы.

— Тут вы говорите неправду... Хорошо, мы к этому вернемся. Одну минуточку... — Мацек снял телефонную трубку и набрал какой-то номер. — Это Тим... Да... Ну что?.. Точно? Спасибо. — Мацек снова повернулся к Пехнику: — Грженда говорит, что вы интересовались, когда он собирается уезжать. С чего бы это?

— Просто спросил. В этом нет ничего неестественного.

— Тут вы вторично говорите неправду, — сказал Мацек и обратился к Фисняку: — Продолжай, Войцех, я выйду на минутку...

Я почувствовал, что воздух из шарика стал вытекать быстрее. Ощутил это и Пехник. Он чаще утирал ладонью белый крутой лоб и выверенным движением поправлял очки.

— Я объясню, почему вы запомнили время отъезда Грженды, — сказал парню Фисняк. — Вы знали это время заранее, и когда Грженда завел мотоцикл, сработал рефлекс: вы глянули на часы — совпало ли это время его отъезда со временем, которое называл он вам. Теперь я скажу, почему вы интересовались, когда Грженда собирается ехать домой. До его отъезда вам надо было съездить в Езерню и обратно на его мотоцикле. Времени было немного, но ездите вы здо-

рово, и вы успели. Видите, как много я вам рассказал. А уж вы мне расскажите, зачем ездили в Езерно?

Вошел Мацек и, быстро переглянувшись с Фисняком, кивнул ему.

— Почему вы решили, что я ездил в Езерно? — спросил Пехник.

— Потому что вы там были, — вступил в разговор Мацек. — Я даже знаю точно место. Там след мотоцикла Грженды. В парке. У поляны, где стоит статуя Дианы с отбитой рукой. И скамья, — нажимал Мацек. — Снимите очки. Они поломанные, вам неудобно в них. — Он быстро сунул руку в карман, выдернул оттуда другие очки и протянул Пехнику: — Наденьте эти. Ваши. Тут хорошая оправа. Помните, где вы их потеряли и почему не стали искать?

Пехник медленно снял очки, опустил их в карман куртки, взял из руки Мацека другие, заученным движением надел их и сказал, как выдохнул:

— Ну вот!..

— Возьмите и это, — Мацек положил перед ним какую-то бумажку. — Это рецепт, по которому вы заказали новые стекла. Теперь они не нужны. Вы все поняли, Пехник?

— Да.

— Тогда рассказывайте.

В то воскресенье пани Пехник вместе с сыном приехала в Езерно. Ей нужно было к приятельнице за шерстью, а у Лешека были свои дела в мото клубе.

Они зашли в кондитерскую купить пирожных, и тут пани Пехник увидела Свидрака. Он стоял у окна, у столика, и пил кофе. Сначала она засомневалась: он ли? Очередь к прилавку двигалась медленно, и все это время пани Пехник, мучаясь сомнениями, осторожно разглядывала человека, стоявшего у окна. Затем, когда пани Пехник вышла с сыном на улицу, она оглянулась на окно-витрину. Ей виден был человек, пивший кофе. Взволнованная, она удивилась, как могла сомневаться! Ведь это он, тот, кого она знала по Езерно в те далекие годы, когда жила здесь; он, который, по уверениям шофера Банаха, выдал гестапо ее первого мужа и его друзей!..

— Лешек, ты видел мужчину в куртке? Он у окна пил кофе? — спросила она сына, когда они свернули за угол.

— Да.

— Это Свидрак. Ну, помнишь, я рассказывала тебе... Тот, о котором Банах говорил, что он отца выдал...

— Не может быть! Ты не обозналась?

— Не обозналась, Лешек. Я его и через сто лет узнаю, будь он проклят! Разгуливает на свободе... Кофе пьет как ни в чем не бывало... Простили, наверное... Господи, где твоя справедливость?! — покачала головой пани Пехник...

Расставшись с матерью, Лешек бегом вернулся к кондитерской. Сквозь окна он видел, как Свидрак, допив кофе, вытирал рот бумажной салфеткой.

Пехник остановил Свидрака, едва тот вышел.

— Я сын Чеслава Лицена, — сказал он, всматриваясь в лицо Свидрака.

— Вот оно что!.. Чеслава Лицена... Смотри ведь, совсем взрослый. Видно, мать тебе сказала, кто я? Я-то ее узнал. Думал, она меня не узнала.

— Узнала.

— А разговором не удостоила, — усмехнулся Свидрак. — Зря. Я бы кое-что рассказал ей.

— Ничего, я ее заменю, тоже не глухой.

— Это я вижу. Ладно, парень. Только сейчас я занят. Давай-ка вечером, а? Скажем, между восемью и девятью часами. В парке Потоцкого. Я уже прогулялся там. Хорошее место. Там есть поляна со статуей Дианы и скамеечка... Значит, договорились, — и, взмахнув рукой, Свидрак удалился...

Пехник ошеломленно стоял, переживая эту встречу. Он многое знал об отце со слов матери, вовсе не помнил его, но гордился легендой, к которой был как-то причастен. Ему не так важны были ее детали, оставшиеся где-то там, за пределом истекших двадцати двух лет, как тот отраженный от них свет. Он существовал для Пехника с детства, где почти неразлично виднелась фигура человека по имени Чеслав Лицен. Может, поэтому парню страстно хотелось увидеть Свидрака — не размытый временем облик, не некий символ, а живые черты: выражение глаз, рост, руки, одежду того, кто пришел вдруг оттуда, где жил бесплотно Чеслав Лицен. Это было странное, жгучее любопытство. Хотелось не просто увидеть, но услышать его голос, сказать ему в лицо самые жестокие, бьющие наповал слова...

Позже, возвращаясь из Езерно, Пехник сообразил, что попасть из Складзенья в Езерно ко времени, назначенному Свидраком, будет непросто: поезда в это время нет. И, уже подходя к дому, вспомнил о мотоцикле Грженды и тут же побежал выяснить, когда тот собирается уезжать...

Мать уже была дома. Он видел, что она мрачна, слышал, как, вздыхая, она тихо причитала: «Боже, где же справед-

ливість?.. Не побоявся приїхати сюди, проклятий... А нас і не спитали, можна ли його простити...»

І в Пехнику уже кипіла ненависть — не к якому-то невідомому по родині Свидрак, це був уже не символ зла, а людина, говоривший густим басом, носивший красиву куртку і важкі штиблети. Пехник бачив його своїми очима!..

Коли-то давно, ще хлопчиком, Пехник на чердаку будинку знайшов завернутий в тряпку парабеллум. Йому хотілося думати, що це пістолет батька. За довгі роки він звик до цієї думки, вона перетворилася в впевненість. Він зберіг пістолет там же, між стропил. Вирішив їхать в Езерно, Пехник по-хлопчишески, на всякий випадок, навіть не розуміючи, на якій, сунув пістолет в кишеню. Тихенько викинувши мотоцикл Грженди з двору, він відійшов від нього за кут, лише там заїхав і помчався по окопній вечірній пустельній дорозі. Він поспішав, щоб успіти до від'їзду Грженди повернутися додому, в Скюдзен, і поставити мотоцикл на місце.

В парку було тихо і темно. Тягнуло сыростю і прелым листом. Свидрак самотньо сидів на лаві. Не заглушив мотор, поставив машину у кущів на стежці, Пехник направився до Свидрака, відчуваючи, як у горла спазматично пульсує кров.

— Значить, ти приїхав!.. Молодець,— сказав Свидрак.— Жаль, що твій батько влип тоді в це справа.

— Влип! І вам тепер жаль? — лютею, спитав Пехник.

— Ти не петушися. Сядь.

— Я тут не гість,— викликаючи сказав Пехник.— Я і стоячи все вислушаю. Але мені потрібні не сочинення нарахунок вашої непричастності до смерті батька. Я бачу, ти прийшов побачити живого провокатора і спитати: не страшно ли йому було повертатися сюди? — розпалювався Пехник.

— Напрасно ти так. Я бачу, ти хотів інакше. Що ж, якщо ти прийшов не слухати, а плевати мені в обличчя, то краще відправляйся додому. Так ти все одно нічого не зрозумієш. А жаль,— промовив Свидрак і зробив рух, щоб піднятися.

— Назад! — Пехник налякано рванув з кишені пістолет.

— Стой! — вигукнув Свидрак.— Не глуми!..

Але Пехник уже вистріляв. Не цілячись. І побіг до мотоцикла. Споткнувшись, зачепився обличчям за кущі, почувствовав, як мокрою гілкою сорвало окуляри. Він не став їх шукати,

его колотили гнев и страх, и только одна мысль вспыхнула в воспаленном мозгу: как негромок был пистолетный выстрел, почти как мотоциклетный выхлоп...

Потом, когда он несся по шоссе назад в Складзень, эта мысль вдруг начала успокаивать: выстрел был негромок потому, что патрон очень давний, отсырел порох или испорчен пистолет и у пули не было прежней убойной силы... А может, он вообще промахнулся, ведь нажал курок не целясь? Не вернуться ли посмотреть? Но ужас гнал его дальше и дальше от этого места...

— Удивительно, как с таким зрением, без очков он не разбился, — покачал головой Мацек, — ведь несся на сумасшедшей скорости по темному шоссе.

— Предел нервного всплеска. Почти инстинкт, — отозвался Фисняк.

Мы сидели втроем. Пехника увели. Странное ощущение пустоты и тягостности как-то вдруг отделило меня от Мацека и Фисняка, что-то еще обсуждавших. Как по плохой телефонной связи, я слышал их слова о том, что Пехника надо будет свозить на место, закрепить показания, допросить мать и тому подобное.

— Молодец твой визитер, — обратился ко мне Мацек.

— Ты о ком? — не понял я.

— Пунктуальный пан Генсиорский и его собачка Крез. Ее бы поощрить за это. Помнишь, ты передал мне очки, которые нашел пес? — Мацек был возбужден. Я понимал его: он завершил нелегкую работу. Но мне почему-то возбуждение это было неприятным. — Я сразу показал очки окулисту. Тот сказал категорически: лицо, носившее их, обойтись без очков не сможет. Линзы необычные, сильные, такие не всегда сразу купишь, надо заказывать... Я ринулся в оптические магазины Езерно и Складзеня, договорился, если кто придет заказывать стекла с такими диоптриями, заказ принять, но поволынить, дать мне знать. Первое время Пехник носил старые очки с сломанной дужкой. И лишь позавчера, перед отъездом в командировку, взял давний рецепт и отправился к оптику. Тот увидел, что номера стекол совпали. Он велел ему прийти через неделю. Дважды звонил мне, но не застал. Вчера был выходной. И лишь сегодня утром, перед тем как привезли Пехника, дозвонился. Но ждать неделю, пока Пехник явится за новыми очками, уже не имело смысла. Мне сейчас нужны были очки, найденные собачкой, и рецепт.

Еще утром я послал Врону за рецептом к оптику. Помнишь, я звонил и выходил во время допроса? Это я узнавал, не вернулся ли Врона.

— Быстро парень сломался. Почти не пытался вывернуться, — сказал я.

— Это верно, — вздохнул Мацек. — Жаль парня, конечно. Допрашивать его придется не раз... Ну что, Войцех, — повернулся он к Фисняку, — подытожим итоги? Чего у нас не хватает?

— Существенного. Например, саквояжа Свидрака. Пехник утверждает, что о саквояже не имеет понятия. Я верю. Ему нужен был не саквояж, а Свидрак... Пока оставим без точного ответа следующие вопросы: почему Свидрак так поспешно примчался сюда; откуда на его визитной карточке телефон доктора Занне; почему совпало их пребывание в Езерно. С некоторой натяжкой допустим, что Свидраку не терпелось посетить родные места. Отвечая на второй вопрос, уговорим себя, что Занне и Свидрак просто давно знакомы, а одновременный приезд их сюда — совпадение, они могли быть здесь одновременно и не встретиться. Все это, конечно, по принципу короткого одеяла, — засмеялся Фисняк, — натянешь к подбородку — торчат ноги, укутаешь ноги — холодно в другом месте. Но хоть какое-то одеяло есть. А вот найти саквояж хотелось бы. Найдя его, мы, возможно, познакомимся с человеком, у которого остановился Свидрак, и поймем, почему он так срочно примчался сюда. Хотя дело сделано: убийца найден, мотивы объяснены.

— Ты что-то хстел, Ян, — Мацек заметил, что я заерзал на стуле.

— Я о том, где он мог оставить саквояж, — решил я, вспомнив свои ночные рассуждения о Лапиньских.

Но Мацек перебил меня:

— А почему мы держимся за веревку, которой сами же связали саквояж с местом, где Свидрак мог остановиться? Ну-ка разорви это! Вот он, саквояж, вот — отдельно, — Мацек подбросил на ладони спичечный коробок. — Разве сам Свидрак не мог его сдать, например, в камеру хранения? Нелепо, конечно, сдавать на один день, тем более что в нем всякие туалетные штучки. Как и нелепо болтаться с саквояжем целый день по городу, если его негде приткнуть. Почему бы не проверить такой пустяк?! Но особенно возиться с этим нужды не вижу. Главное сделано. Этого достаточно для прокуратуры и суда. Можно сворачиваться и завтра уехать домой...

...Однажды Юлиан Тувим сказал: «Родственников дает нам судьба, как хорошо, что друзей мы можем выбирать себе сами». Я всегда дорожил такой возможностью, очевидно потому, что дружил искренне и привязчиво. Мацек и Фисняк не были моими друзьями, нас свел случай, но мне уже было жаль, что не сегодня завтра расстанусь с ними. Я понимал, что они забудут обо мне через неделю: таковы были условия нашего знакомства...

Я думал обо всем этом, глядя, как поручник Врона усаживался в машину: вместе с Казимежем Гржендой и его сестрой Врона уезжал в Гдыню. Мацек что-то говорил ему, напутствовал, хлопал по плечу Грженду и незлобиво грозил пальцем Марысе. Фисняк, покуривая, молча стоял на тротуаре...

Наконец они уехали. И мы занялись последним: поисками саквояжа. На вокзальчике в Езерно нас постигла неудача. Оттуда мы покатали в Складзень. Из нас троих я был единственным, кто видел саквояж Свидрака — прекрасное изделие из плотной ткани в белую и зеленую клетку. Поэтому я первым перешагнул порог камеры хранения Складзенского вокзала и двинулся вдоль полок. За мной шли Мацек и Фисняк. Замыкал шествие дежурный служитель.

Саквояж я увидел, едва мы начали осматривать второй ряд полок. На нем была багажная наклейка с номером 1027.

По просьбе Фисняка дежурный достал квитанционные корешки. Полистав их, он заявил: саквояж сдан в минувшее воскресенье.

— Ну вот, я же говорил! — воскликнул Мацек.

— Вы не могли бы уточнить время, когда был принят этот саквояж? — спросил у дежурного Фисняк.

— Можно. Тысяча двадцать семь — это в конце моей смены, около двенадцати ночи. А кто сдавал — не помню. На лица я не смотрю. Мне это ни к чему.

— Когда, когда? — вскинулся Мацек. — Около двенадцати? А вы не путаете?

— Тут невозможно спутать. Около двенадцати, — ответил дежурный.

Получалось, что саквояж сдан спустя несколько часов после убийства Свидрака. Крякнув, Мацек глянул на Фисняка.

— Какие поезда в это время прибывают в Складзень? — спросил Фисняк.

— Проходящих нет. Последний прибывает в двадцать

три часа сорок минут из Езерно, местный. Дальше он не идет.

— Посмотрите, пожалуйста, получен ли багаж по предыдущей квитанции, номер 1026, и по следующей, номер 1028,— попросил Мацек.

Дежурный порылся в квитанционной книжке.

— 1026-й выдан в понедельник. А 1028-й пока стоит...

Мы стояли у окна и курили. Человек, сдававший чемодан вслед за тем, кто сдал саквояж Свидрака, с равной вероятностью мог появиться и сейчас, и завтра, и послезавтра. Фисняк и Мацек понимали это не хуже меня. Но желание побыстрее завершить все и надежда уехать в Гданьск еще сегодня заставили их молчаливо согласиться на нудное ожидание...

Владелец чемодана с багажной наклейкой № 1028 появился не скоро. Прошло несколько томительных часов, Мацек успел оформить изъятие саквояжа и обследовать его содержимое. В нем было только то, что человек берет с собой в недалёкую дорогу...

Человек этот пришел в сопровождении молодого красивого лесничего в форме и получил свой чемодан. Лесничий тут же услужливо подхватил его, и тогда Мацек, представившись, спросил, не помнит ли он, кто стоял перед ним в очереди в камеру хранения.

— Я приехал в понедельник рано утром и никакой очереди не было. Передо мной никто не стоял. Я, собственно, был первым и, кажется, последним в этот момент,— с вежливой улыбкой ответил пожилой мужчина, которого опекал красивый лесничий...

Тройку с восьмеркой легко спутать. Но если это случается, когда проверяешь лотерейный билет и, не заметив своей ошибки, несешься получать выигрыш, а там вдруг говорят, что ты ошибся, и подозрительно смотрят при этом,— чувствуешь себя так, словно тебя действительно поймали на авантюре. Нечто подобное, как мне показалось, отразилось сейчас на лице Мацека. Шаркнув ботинком и галантно прикоснувшись рукой к берету, он извинился перед пожилым человеком и его молодым спутником...

— Войцех, бери саквояж, и идем отсюда к чертовой матери,— пробурчал Мацек.— Не хочу я больше этим заниматься...

Что же получалось? Последний поезд прибывал в Складзень в 23 часа 40 минут — поезд местного сообщения, из Езерно. Больше поездов ни в Складзень, ни через него, ни из Складзеня до пяти часов утра нет. Значит, человек, сдавший сак-

вояж в камеру хранения, либо житель Складзенья, либо — Езерно. Если он житель Езерно, то вернулся к себе каким-то другим транспортом: он не стал бы торчать всю ночь на пустом вокзале, рискуя быть замеченным. Значит, кто-то, у кого Свидрак остановился, не хотел, чтобы об этом знали, а после смерти Свидрака тут же свез его саквояж в камеру хранения и так остался за пределами круга, который замкнули Мацек и Фисняк...

Я, разумеется, мог поделиться своими соображениями, у кого мог ночевать Свидрак. Но деликатность, о которой я не подозревал, удержала меня. Милые, симпатичные люди доверились мне, стоило ли впутывать их в эту историю, если и саквояж, и убийца уже найдены?.. Я понимал желание Лапиньских скрыть знакомство со Свидраком и то, что он остановился у них, если и правда остановился. Ко всему он еще убит...

В местной комендатуре Фисняк достал брезентовый мешок. Вместе с Мацеком упаковал в него вещи Свидрака, пистолет, гильзу, сунули туда же две магнитофонные бобины, синюю папку с донесениями, протоколами допросов и заключениями экспертизы.

Я решил уехать из Складзенья на следующее утро проходящим экспрессом. Мне нужно было кое-что еще записать, собрать все бумаги со стола, сложить вещи, попрощаться с паном Михалом, Боженой и ее матерью. Все это я намеревался сделать сегодня вечером.

Мацек и Фисняк укатили. Сейчас они, наверное, были уже где-то под Тчевом. А я сидел в мансарде за огромным письменным столом, заваленным моими бумагами и хламом пана Михала — газетами, карточками формуляров, папками. Но в таком ералаше я легко ориентировался. Я привык к этому дома и не терпел, когда Сабина наводила на моем столе идеальный порядок, после чего я с трудом отыскивал то, что мне было необходимо.

Горела настольная лампа, комната была погружена в полумрак. В этой тишине я мог теперь спокойно разобраться: чем существенным кроме торопливых записей я обладаю, какие открытия увезу из Езерно? Баланс был явно не в мою пользу: писать, собственно, не о чем...

Внизу хлопнула дверь. Это вернулся пан Михал. Я спустился к нему и объявил, что завтра утром уезжаю.

— Жаль, — сказал он. — Вы приятный собеседник.

Это был комплимент, полагалось ответить тем же.

— Где уж мне тягаться с вами! — сказал я.

— В чем же мое преимущество? — спросил пан Михал.

— Вы не даете советов....

— Что обычно делает большинство пожилых людей, — перебил он меня. — Вы это имели в виду? Старики любят давать хорошие советы, потому что уже не могут подавать дурных примеров, — засмеялся пан Михал. — Надо проявлять к ним снисходительность. И все же один совет я вам дам: обязательно попрощайтесь с Лапиньскими. В провинции очень болезненно относятся к таким вещам. Вам это ничего не стоит, а им будет приятно.

— Что вы! Обязательно! — воскликнул я. — Я и не мыслил иначе.

— Вы довольны своим пребыванием тут?

— Не совсем. Если окажетесь в Варшаве — милости прошу, буду рад видеть вас, — я дал ему свою визитную карточку.

— Улица Валечных, — прочитал он. — Все-таки сколько у нас героических названий!.. Не много ли напоминаний? А? Впрочем, история кровоточит на протяжении столетий... Валечных... Где же такая?

— Это район Саска и Кемпа.

— Что ж, спасибо.

Я взглянул на часы. Было около девяти. Позже идти к Лапиньским было неудобно. Мы попрощались с паном Михалом, уговорились, что если утром он уйдет раньше меня, то свои ключи я положу под резиновый коврик у парадной двери...

Поднявшись к себе, я позвонил Лапиньским. К телефону подошла Божена. Объяснив, в чем дело, я получил разрешение прийти.

Приведя себя в порядок и захватив бутылку рислинга, купленного накануне, я отправился к Лапиньским...

Все в этом доме оставалось по-прежнему. Даже место мое за столом. Напротив меня сидела пани Малгожата, справа — Божена. Пока мы пили чай, шел ленивый разговор о том, как лучше его заваривать, что полезнее — чай или кофе. Я высказался вообще за молоко (иначе разговор просто бы иссяк).

— А Петр увлекается кофе. И зря, — сказала пани Малгожата.

— Кстати, передайте ему привет, — сказал я, вспомнив, что не попрощался с Бежевым Свитером. — Он, по-моему, славный парень.

— Вы все успели здесь? — спросила Божена.

— Почти ничего,— ответил я.

— Но убийцу, кажется, нашли?

— Я же не работаю в милиции, Божена,— ответил я, удивляясь, как быстро в маленьких городах совершается круговорот новостей, слухов и всяких известий.

— А мне казалось, что это как-то связано с вашими интересами.

— Поначалу и мне так казалось.

— Поверьте, Ян,— сказала пани Малгожата,— я с удовольствием помогла бы вам. Но я ничего больше не знаю об истории с Ядвигой, кроме того, что уже знаете вы. Почему бы вам не порыться в судебных архивах?

— Там нет ничего,— ответил я.

— Удивительно,— сказала пани Малгожата и начала убирать со стола посуду...

Я пробыл у них еще с полчаса и стал прощаться. Мы сказали друг другу много приятных слов. Божена при этом ласково улыбалась, но мне казалось, что искренность ее улыбки скорее объясняется радостью, что наконец-то уезжает человек, доставивший некоторые хлопоты и волнения. Возможно, я ошибался. Раздумывая, я вспомнил слова Вольтера, что, откапывая ошибки, теряешь время, которое, возможно, употребил бы на открытие истины. И, возвращаясь по пустынным улицам к дому пана Михала, я перестал копаться в своих ошибках. Но к истине я не приблизился, хотя времени было достаточно. Дело, видимо, не только в наличии времени.

ГЛАВА 12

Как всегда, я проспал. Открыв глаза и глянув на часы, я катапультировал из постели и, понося себя за то, что вчера, вернувшись от Лапиньских, поленился собрать бумаги и уложить вещи, принялся делать это сейчас. Наверное, в тот момент я был похож на человека в старой киносъемке и возникшего теперь на экране,— так эксцентрично, суетливо и быстро я носился по комнате. Убрав постель, я затолкал свои вещи в чемодан, потом бросился к письменному столу и стал запихивать в папку бумажки и блокноты, исписанные и чистые страницы. Все вместе, в кучу — дома разберусь. Окинув последним взглядом комнату, мысленно попрощавшись с нею и убедившись, что ничего не оставил, я вышел и направился к вокзалу. У комендатуры я подумал, что было бы не худо, если б здешние коллеги Мацека и Фисняка подбро-

сили меня до Складзенья на машине. До отхода поезда Езерно — Складзень оставалось минут пятнадцать — почти критическое время. С этой мыслью я и вошел в кабинет коменданта. Он видел меня в обществе Мацека и Фисняка и знал, почему я с ними прикатил в Езерно.

Комендант был любезен и, выслушав мою просьбу, тут же скомандовал. Я повеселел и был почти счастлив, что так удачно все устроилось. Поблагодарив коменданта и высказав в превосходных степенях, как мне понравился их город (в этот момент он казался мне действительно самым прекрасным, ибо я уже не опаздывал на поезд, который должен увезти меня отсюда), я вышел на улицу. Машина стояла у ворот, и в ней уже сидел шофер. И в этот момент меня окликнули. Я оглянулся. Из подъезда комендатуры ко мне шла мать Пехника.

— Простите меня, я видела вас еще в коридоре, но вы так спешили,— сказала она и посмотрела на меня грустными, покрасневшими от слез глазами.— Что мне делать? Посоветуйте, ради бога! К кому обратиться за помощью?

Что я мог ей посоветовать?! Мне было искренне жаль ее, просительно стоявшую передо мной несчастную женщину с нелепым фиолетовым перышком на шляпе.

— Надо подождать, пока закончится следствие,— сказал я,— найти хорошего адвоката. Во всем разберутся добросовестно, а сын ваш, по-моему, ведет себя разумно.

— Я сама во всем виновата, сама,— запричитала она.— Зачем я рассказала Лешеку, что узнала этого ничтожного человека?! Он принес нашей семье столько горя! И этот проклятый звонок!

— Какой звонок? — не понял я.

И она рассказала, что в то роковое воскресенье под вечер к ним по телефону позвонил какой-то мужчина. Разговаривал с ним Лешек. Незнакомый голос сказал: «Вы сын Чеслава Лицена? Я звоню из Езерно. Вам не следует ехать на встречу со Свидраком. Он будет лгать и выкручиваться, утверждать, что ни в чем не виновен. Ему нельзя верить. Он задумал дурное против вас. Лучше не езжайте. Это опасный человек. Только он и повинен в гибели вашего отца». Пани Пехник видела, как побледнел сын. Он ходил по комнате и приговаривал: «Негодяй... Я так и предполагал». «Успокойся, Лешек, бог с ним»,— сказала сыну пани Пехник и ушла в булочную. Но сын не успокоился. Звонок еще больше распалил его желание встретиться со Свидраком. И едва мать скрылась за углом, он взобрался на чердак, взял пистолет, затем выкатил

мотоцикл и помчался. Не позвони этот не пожелавший назваться доброжелатель, может, все бы обошлось...

— Почему вы не сказали об этом звонке вчера представителям милиции? — спросил я пани Пехник.

— Не знаю, — вяло произнесла она. — Да и какое он имеет значение, когда Лешек признался, что убил?! — Потускневшим взглядом пани Пехник смотрела куда-то поверх моего плеча. — Извините, что задержала вас...

— Пани Пехник, скажите, вы хоть знали, за что был расстрелян ваш первый муж? — решился я.

Помолчав минуту, словно соображая, какое отношение имеет мой вопрос к тому, о чем мы говорили, она сказала:

— Они пытались угнать немецкую машину с ящиками.

— А что было в ящиках?

— Не знаю. Тогда говорили, что там были какие-то бумаги, германское имущество. Чеслав не рассказывал мне ничего. Не хотел, чтобы я нервничала. Я узнала лишь потом, когда их арестовали... Вам это, наверное, нужно? — безразлично спросила она.

— Мне хотелось бы знать об этом подробнее, — признался я.

— Я ничего не знаю.

— Извините, — сказал я и стал прощаться...

Мой вагон был почти пуст. В купе сидела пожилая сухоликая женщина и офицер-пограничник. Поезд несся по равнине, дробно отстукивая время и километры. Я стоял в коридоре у окна и курил. Кое-где на темных полях слабо светилась первая щетинка зелени. В иных местах, где земля была вспахана, по крупным жирным комьям скакало воронье, выщипывая из борозд червей. Потом поезд вошел в полосу дождя, косые стежки его, как трещины, оставались на стекле. За серой моросью уплывали хутора.

Я был доволен своими попутчиками — никто не делал попытки заговорить со мной. Больше всего мне не хотелось сейчас разговаривать. Я сходил в буфет, съел сосиски с горчицей и выпил бутылку лимонада. И снова с сигаретой устроился у окна, чтобы не торопясь разобраться, с чем я возвращаюсь из Езерно.

Не соврал я и не слукавил, когда сказал пану Михалу, что не совсем доволен своей поездкой; когда на вопрос Божены, все ли я успел сделать в Езерно, ответил: почти ничего. Финал темы Свидрака, ради которой я приехал в Гданьск,

делал невозможным публикацию моего репортажа о Свидраке: кому нужна эта грустная уголовная история?! Я не посмел бы ее даже предложить редактору. А если бы и предложил, он, прочитав, вскинул бы на меня недоумевающие глаза: «Ну и что?» Действительно: ну и что? Какой-то неуравновешенный малый пристрелил человека, которому правительство разрешило вернуться на родину. Для Мацека и Фисняка поездка в Езерно — полная удача: они завершили работу.

Вторая, возникшая уже по ходу дела, тема четверых расстрелянных, таившая в себе занимательный поиск, возможно, интересный результат, тема, как-то связанная со Свидраком, тоже оборвалась у глухой стены: либо мне не хотят говорить, либо молчат, потому что действительно ничего не знают.

В этой выглядевшей безысходно ситуации для меня оставалось немного утешительных моментов. Но они все-таки были. Я нисколько не сомневался, что длительное время Свидрак кого-то разыскивал. Этим человеком, вероятнее всего, был немец. И, похоже, Свидрак нашел его, ибо, по словам бывшей жены Свидрака госпожи Грэндинсон, поиски он прекратил внезапно. Вне связи с этим нельзя рассматривать записанный на визитной карточке номер телефона доктора Занне. Знаком ли с ним Свидрак давно, познакомился ли недавно или вообще незнаком — сейчас не имело особого значения. Важно, что этот телефон в Кельне Свидраку понадобился и хранил он его все время под рукой — вместе с письмом из «Славянской Миссии» в Стокгольме. Дальше: Свидрак был в каких-то отношениях с Малгожатой Лапиньской — подругой расстрелянной Ядвиги Глинской. Факт неоспоримый. Причем знакомство это относится еще к военному времени. Имелась версия, правда не доказанная и не опровергнутая, что Свидрак был осведомителем гестапо.

Все эти имена и ниточки существуют отдельно, оборванно, но, как мне казалось, в каком-то общем кругу. Как попытаться соединить их? С чего начинать? Что, если пойти по самому трудному пути — встретиться с доктором Занне? Для этого надо ехать в ГДР. Пойдет ли на это мой редактор? Нет никакой гарантии, что, во-первых, Занне не соврал мне, сказав, что будет гостить в Берлине у брата, и, во-вторых, он просто может не знать Свидрака или что-либо о нем, если вообще захочет со мной разговаривать.

Были еще детали, требовавшие ответа.

1. Каким образом у пана Михала очутился альбом ре-

продукций, из которого Свидрак взял портрет папы Сикста IV и передал его Малгожате Лапиньской?

2. Где, вернее, у кого остановился Свидрак в Езерно?

3. Кто и с какой целью звонил Лешеку Пехнику, отговаривая его от встречи со Свидраком?

4. Почему звонивший не назвался?

Хотя три последних вопроса хотелось бы «распечатать», все равно при любом ответе сам факт и мотив убийства Свидрака Лешеком Пехником уже не могли перестать существовать...

С вокзала я отправился на улицу Кароля Сверчевского — в свою комнату в общежитии партшколы. Умывшись, я спустился в дежурку и позвонил Анджею Пославскому.

— С возвращением, — приветствовал меня Анджей.

— Слушай, у тебя нет желания нанести визит Мацеку и Фисняку? — спросил я.

— У меня нет не только желания, но и времени.

— Жаль. Завтра утренним поездом я уеду в Варшаву.

— Черт с тобой! Великодушие — тоже добродетель. Жди, минут через двадцать заеду...

Анджей был точен, и через двадцать пять минут мы уже катили к комендатуре...

Кабинет Мацека оказался закрытым. Сунулись мы к Фисняку, но и там — никого. Анджей поймал в коридоре какого-то офицера и выяснил, что Мацек и майор с утра на докладе у начальства. Мы решили ждать.

— Им-то есть что докладывать: за десять дней раскрыли убийство. А что ты доложишь своему начальству? — спросил Анджей.

Какое-то время мы сидели молча. Но мысль, которая потихоньку зрела во мне, решила вдруг вырваться наружу.

— Слушай, а что, если мне съездить в Берлин, повидаться с доктором Занне? — сказал я Анджею. — Смотри... — и я изложил ему размышления, одолевавшие меня в поездке.

— Кроме казенных денег, ты ничем не рискуешь. Съезди, — ответил Анджей.

— Нет, серьезно.

— А я серьезно.

Мы опять умолкли.

— Возьми меня с собой в Берлин. Я буду носить твой чемодан и стирать тебе носки, — вдруг сказал Анджей.

— Слушай, пошел-ка ты...

— Не берешь — черт с тобой, езжай сам. Но на случай, если действительно поедешь, — сказал он уже серьезно, — запиши адрес: Рольф Хаммер. Карлсхорст, Марксбургштрассе...

Я ухмыльнулся.

— Пиши, дурак! Зачем тебе тратить деньги на гостиницу. Будешь жить у этого Рольфа... Отличный парень. Я у него жил месяц в прошлом году.

— Откуда ты его знаешь?

— Он женат на моей сестре. Всего-навсего. У них трехкомнатная квартира. Тебе выделяют комнату. От Александерплац пятнадцать минут езды. Если поедешь, дай мне знать накануне — я позвоню ему... Вот они идут, — встал Анджей.

В конце коридора показались Мацек и Фисняк.

— Ну как там Езерно? — спросил Мацек, когда мы расположились в кабинете.

— Ты за ночь успел соскучиться? — спросил я.

— Упаси господь! Сыт по горло! — воскликнул Мацек, развязывая шпагат на брезентовом мешке.

— Могу вам сообщить забавную подробность, — сказал я.

— Только, ради бога, ничего такого, как в прошлый раз, — засмеялся Фисняк.

— Все, что угодно, Войцех. Я уже ничего не боюсь, все у меня здесь, — сказал Мацек, потрясая синей папкой с бумагами и магнитофонными бобинами, извлеченными из мешка: — Валяй, что там у тебя, Ян... — бодро воскликнул он.

— Ничего особенного, — благодушно сказал я. — Просто я узнал, что перед тем, как Пехник уехал в Езерно к Свидраку, кто-то позвонил ему домой и отговаривал от этой поездки.

— То есть как? — Фисняк выпрямился в кресле.

— Очень просто, — ответил я и рассказал все, что услышал сегодня утром от пани Пехник.

— У тебя удивительная способность приносить пакостные новости, — замотал головой Мацек. Он надевал на вешалку куртку Свидрака. — Не привез ли ты сказочку пани Пехник? — спросил он, цепляя крючок вешалки на гвоздь, торчавший в боковой стенке канцелярского шкафа. — Почему же сам Пехник ничего не сказал? Ведь было два вопроса.

— Спроси у него, — пожал я плечами.

— погоди, Мацек, — остановил его Фисняк. — Пехник целиком признал себя виновным. Это подтверждено и закреплено. Парень, как ты убедился, с характером и с принципами. Он мог просто не захотеть в дело, которое касается сейчас

лично его, впутывать человека, оказывавшего ему тогда своеобразную услугу. Если этот звонок был в действительности, толковать его можно по-разному. Звонивший и впрямь мог искренне предупреждать Пехника. Но тогда он должен был верить, что Свидрак выдал Лицена, знать о дурных намерениях Свидрака, знать о назначенной встрече. А сообщить об этом ему мог только Свидрак. Судя же по всему, Свидрак скорее хотел разуверить Пехника в том, что виноват в гибели его отца, нежели причинить мальчишке какое-нибудь зло. Тогда звонивший преследовал другую цель: помешать этой встрече. Он ее почему-то не желал. Но, будучи не уверен, что парень откажется от своего намерения, на всякий случай хотел ожесточить его, настроить против Свидрака. Смотри, какие слова он говорил о Свидраке: «Он задумал дурное и против вас... лучше не езжайте... Это опасный человек. Только он повинен в гибели вашего отца... Он будет лгать и выкручиваться»... В обоих случаях этот человек должен был хорошо знать Свидрака и семью Чеслава Лицена. И в обоих случаях можно объяснить нежелание звонившего назвать себя. Разве он не мог быть тем, у кого Свидрак остановился в Езерно?! Или еще кем-нибудь, пожелавшим подло, благородно или трусливо — бери любое из трех объяснений! — остаться инкогнито. — Фисняк посмотрел на Мацека.

Я подумал, что звонить Пехнику мог и доктор Занне. Но кроме него — любой житель Езерно. Однако высказываться я уже остерегался.

— Что вы меня уговариваете? — вдруг спокойно спросил Мацек, окидывая нас взглядом.

— Я вообще молчу, — отозвался Анджей.

— Молчишь, но думаешь... — сказал Мацек.

— Разумеется. Думаю, что этот звонок для тебя не имеет никакого значения. Но для Пехника может иметь. Во время суда. Если, конечно, ему попадется умный адвокат.

— Это я без тебя понял, — отмахнулся Мацек. — Свяжись-ка, Войцех, с Езерно. Пусть они там потолкуют с Пехником на эту тему. И пусть попробуют выяснить, кто заказывал этот телефонный разговор. Это же по междугородной. По-моему, больше ничего не требуется? — спросил нас Мацек.

Фисняк вышел.

— Янек собирается в Берлин, — выпалил вдруг Анджей.

— Вот как! — глянул на меня Мацек, сгребая со стола бумаги и папки и распахивая их по ящикам. — Не к доктору ли Занне? — усмехнулся он.

— Представь себе, к нему,— сказал я.

— Ай да Янек! Придумал что-то, трах-бах и — в Берлин! Везет же людям! — засмеялся Мацек. — Когда же ты едешь? — Он вышел из-за стола и остановился передо мной.

— Никуда я еще не еду. Слушай его больше,— кивнул я на Анджея. — Еще предстоит с шефом разговор. Такую командировку непросто выбить.

— Да-а-а,— протянул Мацек. Он подошел к куртке Свидрака, распрямившейся на вешалке, и легко провел ладонью по гладкой и нежной синтетической ткани. — Вот бы достать такую! — мечтательно сказал Мацек. Он тронул пальцем маленькую дырочку — место, где вышла пуля, и, перевернув куртку, стал любоваться ее длинным замком-молнией, бортами с удобными карманами.

— Тебе такая не пойдет, Тим,— сказал Анджей. — Ты будешь в ней еще толще.

— Что ты понимаешь,— пробормотал Мацек, подступив к куртке вплотную и разглядывая ее. — Понимаешь... понимаешь... Слушайте, ну-ка подите сюда.

Мы подошли.

— Я или ослеп, или произошло нечто... — Он пошевелил растопыренными короткими пальцами, подыскивая слово. — Где входное отверстие? Ну-ка поищите вы.

Долго искать было нечего. Спереди куртка была абсолютно цела. Входного отверстия пули не существовало.

— Пуля вошла в сердце и вышла чуть выше лопатки. Так написано в заключении эксперта. Подожди-ка,— засуетился Мацек. — Вот рапорт капрала Торончака: «...он сидел в позе отдыхающего человека в наглухо застегнутой куртке». Капрал первым обнаружил труп. Вот пиджак Свидрака, его рубашка, смотрите, куда вошла пуля. Вот обе дырки, пятнышко крови. Где же входное отверстие на куртке? — Мацек так посмотрел на нас, словно мы похитили это отверстие. Затем он снял крышку с магнитофона, поставил одну из бобин с допросом Пехника и, отмотав большой кусок пленки, включил.

«...Он сидел на скамье в белой рубашке,— зазвучал голос Пехника,— и в пиджаке. Я стоял очень близко, я видел: из правого внутреннего кармана куртки торчала сложенная газета...»

— Понятно вам? — остановил Мацек магнитофон. — Эта газета лежит у меня в сейфе. Я сам вытащил ее из правого внутреннего кармана куртки,— указал он на шкаф. — Пехник стрелял в него, когда куртка была рас-

стегнута! Вот почему на ней нет входного отверстия пули! Кто же застегнул потом куртку? И зачем?

— Не тот ли, кто звонил Пехнику и пожелал остаться неизвестным?— произнес Анджей.

— Вот обрадую Фисняка!— злорадно воскликнул Мацек, словно это касалось только Фисняка...

Анджей глянул на часы.

— Мне пора,— сказал он мне.— Ты остаешься?

— Нет, пойду,— решил я, понимая, что, оставшись, буду только мешать...

ГЛАВА 13

С утра Сабина ушла к себе в театр. Я порядком соскучился по своей квартире и после ухода Сабины с удовольствием побродил по комнатам, заглянул в холодильник, вытряхнул из пепельницы Сабины все ее окурки, скопившиеся, наверное, дня за два.

Затем я отправился в редакцию. В Варшаве было совсем тепло.

Автобусом № 117 я доехал до Нового Свяга, отсюда по центру решил пройти пешком. Девчонки и молодые женщины уже учуяли весну. На этом параде мини-юбок и почти невидимых, цвета первого легкого загара, чулок я ощущал себя если не командующим, то, во всяком случае, принимавшим парад. Эта прекрасная весенняя игра отвлекла меня от мысли о предстоящем разговоре с редактором.

— У себя? — спросил я Алину — секретаршу редактора, веселую, добрую бабенку, готовившую ему отличный кофе, печатавшую на машинке вслепую всеми десятью пальцами и безошибочно угадывавшую графоманов, норовивших проскочить к шефу со своими стишками. На Алине было новое платье с большим вырезом. Вкруг шеи на тонкой золотой цепочке висел маленький крестик. Вернее, все мы просто знали, что он есть, так как сам крестик утопал в темной ложбинке, куда не принято заглядывать, и я не понимал, какой смысл носить этот крестик, если его не видно. Я находил этому только одно объяснение: грех и раскаяние должны быть рядом...

— Иди,— показала Алина на дверь.— Ты надолго к нему?

— Надолго. Завари нам самый лучший кофе, надо поднять шефу настроение...

Мы сидели за низким журнальным столиком. Слава богу,

никто не звонил, не прерывал наш разговор: ведь было важно, чтобы шеф выслушал меня внимательно, не отключаясь. Потом Алина внесла кофе. Пока все шло нормально. Гданьск и Гдыня прошли благополучно. Я приступил к рассказу о Езерно и Складзене, но не торопился, выкладывал все подробности и детали, следил, как у шефа в стакане убывает кофе. Теперь уже пора было заикнуться о поездке в Берлин: кофе был допит, и шеф с наслаждением закурил.

— В Берлин, говоришь? — Он поджал губы, густо выпустил дым через ноздри и задумался. — Давай так, — сказал он после долгой паузы, — чтоб это не выглядело авантюрой, поедешь делать материал об их электроламповом предприятии «Нарва». У нас давно запланирована эта тема. «Нарва» и наше родственное предприятие обмениваются делегациями, опытом и т. д. Подробности узнай сам. Под этим флагом будем пробивать тебе поездку. Только так...

— Ну что? — спросила Алина, когда я вышел.

— Кофе был превосходный! С меня причитается.

Через несколько дней я позвонил в Гданьск Анджею Пославскому.

Я. Привет.

А н д ж е й. Привет.

Я. Завтра отбываю в Берлин.

А н д ж е й. Так что, звонить мне в Карлсхорст родственникам?

Я. Сделай милость.

А н д ж е й. Ишь ты, какой любезный!

Я. Что у Мацека?

А н д ж е й. Все по-старому. Пехник подтвердил, что в день убийства ему звонил незнакомый человек. В общем, все, как рассказывала тебе его мамаша.

Я. Установили звонившего?

А н д ж е й. Он не такой дурак: заказывал Складзень с почты на вокзале в Езерно. Народу там толклось много. Девчонка, принимавшая заказ, ничего не запомнила.

Я. Передай привет Мацеку и майору. Будь здоров. Вернусь — дам знать...

Перед этим у меня состоялся еще один телефонный разговор. Было это в день моего возвращения из Гданьска, накануне беседы с шефом. Вечером я заказал Кельн, квартиру доктора Занне.

Разговор дали поздно. Сквозь плавающий шум я услышал в трубке далекий женский голос:

— Алло, слушаю.

— Квартира доктора Занне?— спросил я.

— Да.

— Простите, что так поздно. Это из Варшавы, его знакомый. Можно попросить доктора к телефону?

— Герр доктор в отъезде,— ответила женщина.— Он в Восточном Берлине у брата.

— Я еду в Восточный Берлин. Мне необходимо встретиться с доктором. Вы не смогли бы дать его адрес?

— Одну минуточку,— сказала женщина, и в трубке утихло.— Вы слушаете? Хайнц Занне, Канцовштрассе...— женщина еще раз повторила название улицы, номер дома и квартиры...

Поблагодарив, я повесил трубку. Значит, доктор Занне меня не обманул.

Итак, поезд № 106, Москва — Берлин. Он идет через Варшаву. Отправление в 13 часов 20 минут! От моего дома до Гданьского вокзала добираться не меньше сорока минут, через всю Варшаву, забитую в эту пору дня транспортом. Поэтому мы с Сабиной вышли из дому, имея хороший запас времени, и двинулись пешком до Аллеи Вашингтона — там легче поймать такси. Сабина редко провожает меня, привыкла к моим частым поездкам. Но в этот раз ей захотелось поехать на вокзал...

— Тапочки и пижама лежат сверху, завернуты в целлофановый пакет,— напомнила мне Сабина, когда, оставив чемодан в купе, мы вышли на перрон.

До отхода поезда оставалось минут десять — последние томительные минуты, даже с самым близким человеком говорить уже не о чем.

— Ты отсюда домой или в театр?— спросил я.

— Поеду в театр... Тебе сигарет достаточно?

— Думаю, хватит...

— Может, все-таки купить тебе это пальто?

— Какое?

— У Эвы.

— Нет, у него цвет какой-то странный. Как будто грязное.

— Как хочешь...

Наконец истекла последняя минута. Я вошел в вагон,

и все сдвинулось с места, медленно отплыли здание вокзала, перрон, носильщик с тележкой и фигура Сабины...

После Куновице — последней пограничной станции — поезд пошел медленней. Сгустились сумерки, но я еще различал, прильнув к стеклу, вновь загустевшие после войны приодерские леса, тихие и темные. Тогда, в конце зимы 1945 года, в их сырой зябкой глубине скапливались дивизии для последнего броска через ледяной Одер, за которым лежала дорога на Берлин...

Вошел немецкий пограничник и раздал желтые статистические бланки-вопросники, которые, по просьбе их авторов, нужно было заполнить аккуратными печатными буквами. За этим занятием я не заметил, как подъехали к Франкфурту. Немецкая земля. Немецкая речь. До Берлина оставался час с небольшим. И вдруг меня охватило чувство растерянности и тревожного сомнения: не слишком ли я был загипнотизирован своей же идеей, породившей эту поездку, достаточно ли в ней здравого смысла, смогу ли я в чужой стране осуществить замыслы, основанные не столько на фактах, сколько на умозаклчениях, не слишком ли много во всем этом эмоций взамен трезвого расчета?! Все-таки шеф молодец, дал мне запасной выход, придумав еще одну тему...

Поезд уже пересекал Берлин, минуя одну за другой станции эс-бан¹. И вот предпоследняя — Варшауерштрассе. Слева, над темным зданием, стоящим за густым переплетением железнодорожных путей, забитых вагонами, — огромный светящийся куб с изображением электрической лампочки. Далеко видна неоновая надпись на нем: «Нарва». Что ж, здравствуй, «Нарва». Более близкое наше знакомство еще впереди...

На Остбаннхоф² поезд прибыл почти по расписанию: в 21 час 40 минут. Выйдя из вагона, я спустился в подземный переход и снова поднялся на перрон «Д», откуда уходила электричка на Эркнер с остановкой в Карлсхорсте. Минут через пятнадцать на табло выскочила надпись «Эркнер», и вскоре подошел поезд. Народу в этот поздний для берлинцев час почти не было. В обратном направле-

¹ Э с - б а н — городская надземная железная дорога.

² О с т б а н н х о ф — Восточный вокзал в Берлине.

нии я опять миновал Варшауерштрассе, за окном в темноте, слабо разбавленной светом редких фонарей, проносился скучный пригородный пейзаж, какие-то насыпи битого кирпича. В вагоне я был один и от нечего делать разглядывал всякие предупредительные надписи о правилах поведения в электропоездах, рекламу торговой системы «Митропа». В аккуратной рамке висело изображение памятника жертвам фашизма в бывшем концлагере Равенсбрюк. Надпись предлагала: «Посетите Национальный мемориальный музей Равенсбрюк. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника...» Я смотрел на этот фотоплакат: изможденная женщина держит на руках такого же изможденного ребенка. Боже мой, могло ли человечество предположить, что ему понадобится и такая реклама!

Осткройц, Руммельсбург, еще один Руммельсбург и, наконец, Карлсхорст. Я посмотрел на часы. Было всего четверть одиннадцатого. В Карлсхорсте из поезда вышел только я. Киоск «Митропы» с выставленными на витрине сигаретами, пачками печенья, бутылками вита-колы, пакетиками каугумми — немецкой жевательной резинки — был закрыт. По брусчатке перрона я прошел в самый его конец, благо надписей-указателей было достаточно, и, спустившись по ступенькам под виадук, двинулся параллельно трамвайной колее. Я шел по широкой, абсолютно пустынной улице, вдоль холодно освещенных витрин: продуктовый магазин, кафе «Золотой бройлер», универмаг, посудо-хозяйственный магазин, дамское белье и мужские рубашки... Так, идя от квартала к кварталу, читая таблички с названиями улиц, выходивших на эту, вероятно главную, магистраль, я отмахал приличное расстояние, но нужной мне Марксбургштрассе не было. Да и спросить не у кого — пустота и тишина, словно все вымерло. Я понял, что надо двигаться назад, к вокзалу, где бóльшая вероятность кого-нибудь встретить. И действительно, в глубине какой-то темной улицы послышались шаги. Вскоре на угол, где я стоял, вышел патрульный полицейский, ведя на поводке служебную собаку. Я поздоровался и объяснил ему, в чем дело. Он любезно проводил меня почти до самого дома Рольфа Хаммера. Металлическая калитка была заперта. Я позвонил. Через какое-то время в одном из окон коттеджа вспыхнул свет, тихо загудел зуммер, в калитке шелкнул замок, и я вошел во дворик.

Встретила меня женщина лет сорока, в стеганом красном нейлоновом халате, маленькая, подвижная. Узнав,

кто я, она затараторила по-польски с невероятной быстротой. В течение нескольких минут я узнал, что она и есть сестра Анджея, что зовут ее Рена, что муж ее, Рольф Хаммер, врач и сейчас на ночном дежурстве и поэтому (извинилась она) не мог меня встретить. Тут же я был напоен чаем, затем Рена показала отведенную мне комнату, пожелала спокойной ночи, и я остался один. Делать было нечего. Белела высокая свежая постель, и я улегся, с блаженством ощущая, как покидает меня тревожная усталость...

Утром, после завтрака, я рассказал Рольфу о цели моей поездки. Слушал он сосредоточенно, не перебивая, лишь покачивал облысевшей, с остатками светлых волос, головой. С такими людьми приятно говорить. Он был из категории тех, кто внимательно относится и к серьезным словам, и к пустякам, коль скоро он уже тратит на собеседника свое время. Рольф, как оказалось, мой ровесник. Высокий, невероятно худой, с кадыком, остро торчавшим на тощей шее, в широченной вельветовой куртке с кожаными воротником и обшлагами. Если я забывал какое-нибудь немецкое слово, тут же на помощь приходила Рена. В этом разговоре мы все незаметно перешли на «ты».

— Как называется улица? Канцовштрассе? Сейчас я уточню, у меня есть план города,— сказал Рольф и вышел.

— Рольф из Котбуса. Мы в Берлине недавно,— сказала Рена.

— Канцовштрассе — это район Пренцлауер,— сказал, возвратившись, Рольф.— Я вспомнил. Там недалеко посудный магазин.— Он повернулся к Рене: — Помнишь, мы купили вазу, когда шли на новоселье к Карлу. Ты когда хочешь ехать? — спросил он меня.

— Сегодня же,— ответил я.— Даже сейчас. Как туда добраться?

— Отсюда доедешь до Осткройца. Там сойдешь. Поднимешься по лестнице на верхнюю платформу, сядешь в такую же электричку и — до станции Пренцлауер Аллея, пятая остановка. Когда выйдешь на улицу, налево, наискосок через дорогу увидишь посудный магазин. Спросишь у любого: Канцовштрассе — тебе покажут...

...Научившись пользоваться московским метро, где заблудиться, передвигаясь по городу, невозможно, свою первую поездку по Берлину я проделал идеально: отмахав

огромное расстояние, вышел на Пренцлауер Аллея и через несколько минут был на Канцовштрассе.

Вот и нужный дом, квартира 4. Я позвонил. Дверь открыл пожилой человек в пальто. То ли он собирался уходить, то ли возвратился и не успел раздеться. На рукаве пальто широкая желтая повязка с тремя черными кругами — знак, что человек нуждается в помощи, к нему должны быть внимательны прохожие, водители транспорта, продавцы: он либо болен, либо плохо слышит, плохо видит...

— Вам кого? — глухо спросил он.

— Я хотел бы видеть доктора Франца Занне.

— Франц, к тебе пришли. Ты слышишь, Франц! — негромко позвал он.

— Да-да, Хайнц, иду, — ответил голос из глубины квартиры.

Послышались шаги, и передо мной собственной персоной возник доктор Занне — то же бледное вытянутое лицо, толстые линзы в элегантной оправе, редкие, плотно прилегавшие к черепу светлые волосы.

Он узнал меня.

— О! — воскликнул он. — Неожиданно. Проходите. Это мой знакомый из Польши, — объяснил он брату...

В комнате доктор Занне усадил меня в широкое старое кресло, покрытое серым чехлом, сам устроился напротив, скрестил на груди руки и недоуменно уставился мне в лицо.

— Вы, конечно, ломаете голову, что привело меня к вам, — начал я.

— Да, — он вежливо развел руками.

— Как журналист я столкнулся с темой, в которой много проблем. Фантазией их не заполнишь, — торопливо заговорил я, словно боясь, что он не захочет дослушать меня. — В бумагах одного человека я встретил ваше имя. Я приехал сюда с надеждой, что вы поможете мне.

— Если не секрет, кто этот человек?

— Рассчитывая на вашу откровенность, я должен отвечать тем же. Ведь я более заинтересованное лицо. Не так ли? Человек этот — Ежи Свидрак.

— Ах, вот оно что! — Занне слабо улыбнулся. — Что же вы хотите о нем знать?

— Все, что знаете вы. В Гданьске, в день нашего знакомства, вы упомянули, что во время войны были в тех краях. Не доводилось ли вам бывать в местах поужнее? Скажем, в таких городках, как Езерно, Складзень?

— Я был там до конца тысяча девятьсот сорок четвертого года.

— Не сохранила ли ваша память что-либо связанное с расстрелом четырех польских интеллигентов, захваченных в Цитадели?

— Сохранила,— нахмурился Занне.— Вам и это интересно?

— Да! И очень,— сказал я, чувствуя, как от волнения вспотели ладони.— Ради бога, извините, я незвано вторгся к вам и задаю в такой протокольной форме вопросы!

— Видимо, у вас другого выхода нет... Хорошо. Немного, но кое-что я вам расскажу. При одном условии,— он вопросительно посмотрел на меня.

— Я слушаю.

— Ваша книга, статья или репортаж,— не знаю, что вы там пишете,— так или иначе коснется прошлого. Неприятного и трагического. Поэтому мое условие таково: пусть в том, что вы напишете, будут только факты, только правда, не нужно озлобленных интонаций при воспоминании о прошлом. Пусть вашей рукой водит мысль о будущем.

— Вполне приемлемое условие. У прошлого достаточно собственных интонаций,— сказал я как можно любезнее.

Занне понял меня.

— Здесь неподалеку есть уютный гаштет¹. Там нам будет лучше. Если не возражаете, конечно,— предложил он.

— Где вам удобней,— ответил я...

Мы вышли. Возле посудного магазина мое внимание привлек красный «ягуар». Задняя дверца машины была открыта, и на бордовом сиденье лежало несколько больших картонных коробок.

— Практичные люди,— усмехнулся Занне, кивнув на машину.

— Кто?

— Давайте постоим пять минут, увидите.

Вскоре из магазина вышел американский офицер. Тучный, багроволицый, он нес, прижимая большими руками к животу, еще одну картонную коробку. Поставив ее в машину, улыбнулся нам, приветственно воздел руку кверху, захлопнул дверцу, затем снял пилотку, вытер платком

¹ Г а с т ш т е т т — кабачок, закусочная.

лоснившийся лоб и сел за руль. Мягко заворчав, обдав нас бензиновым угаром, «ягуар» укатил.

— Они скупают мейсенский фарфор и хрусталь,— пояснил мне Занне.— Я наблюдаю это уже много лет. Удивительная ненасытность...

Гастштетт назывался «Три ступеньки». Лаконично и точно: по трем ступенькам мы спустились в маленькое помещение с темным деревянным потолком и такими же панелями. Четыре столика стояли вдоль стен, на тяжелых лавках со спинками сидели посетители. Два столика были посередине, напротив буфетной стойки. У окна,— вешалка.

Мы заняли столик в углу, у второго окна. Пока Занне изучал потрепанную карточку меню, я осторожно огляделся. За соседним столом сидели парни и девушки: все курили, тихо смеялись и потягивали из маленьких рюмочек; рядом старики беспощадно дымили тоненькими крепкими сигарами, запивая затяжки глотками пива, и резались в «скат». В противоположном углу, негромко переговариваясь, обедали четверо молодых солдат. Была суббота, день увольнительных. Табачный дым, запах жареного мяса и лука, острый дух кофе, быстрые движения официантки в белом переднике, короткие фразы буфетчицы, невозбужденные голоса посетителей — все это создавало атмосферу покоя, уюта, чего-то давнего и надежного.

— Я угощу вас профессиональным обедом,— посмеиваясь, сказал Занне.— «Репортерский суп» на первое. А на второе — «Закуска газетных развозчиков».

— Если это не из чернил, бумаги и типографской краски, то не возражаю,— сказал я.

— Нет, «Репортерский суп» — бульон из свиных ушек, головы, ножек и фрикадельки с мадерой. А «Закуска газетных развозчиков» — просто гренки со свиным штексом, ветчиной и шампиньонами. Годится?

— Годится.

— Водка, пиво или вино? — спросил он.

— Пиво.

— И кофе с коньяком?

— Не возражаю. Но ваше угощение не эквивалентно моему в Гданьске. Право, мне даже неловко,— сказал я.

— Пустяки.

Все столики обслуживала одна официантка. Но ждать нам не пришлось. Приняв заказ, она первым делом принесла пиво.

— Есть только «хель»,— сказала она, ставя бокалы на картонные кружочки с изображением медведя, несущего на подносе три пивных бокала.

Я вспомнил, что «хель»— это «светлый». Пиво действительно было светло-янтарное, с высоко взбитой пеной, при виде его я ощутил жажду.

— Так с чего начнем? Со Свидрака или с тех четверых? — спросил Занне, осторожно сдувая пену.— Очевидно, лучше в той хронологии, в какой это связано и со мной,— сказал он, делая маленький глоток...

ГЛАВА 14

Попад в этот тихий зеленый городок на берегу озера, стоявший в стороне от магистралей войны, лейтенант интендантской службы Франц Вильгельм Занне был почти счастлив. Он понимал относительность этого счастья в мире, оглушенном криком ненависти, когда из каждой щели потрясенного всеобщего человеческого дома сочится кровь...

Прощаясь с ним на вокзале, капеллан Кюнше сказал ему:

— Молись, Франц. Мы должны уцелеть. Не ради самих себя. Что бы ни случилось с Германией, но она опять захочет услышать слово божье. Кто же произнесет его, если не мы?! Береги себя...

Занне прибыл сюда из Эссена. Накануне отправки его вызвал полковник из штаба резервной группы.

— Что вы делали до призыва в армию?— спросил он.

— Я работал в канцелярии епископа,— ответил Занне.

— Капеллан Кюнше просил меня найти вам местечко поспокойней. Он был духовником моего отца. Ума не приложу, что мне с вами делать. Капелланских должностей у меня нет. Стрелять вы умеете?

— Нет,— ответил Занне.

— Не умеете или не желаете?

— Герр оберст, разрешите мне не отвечать на этот вопрос.

— Как хотите,— буркнул оберст.— Поедете в Польшу начальником армейского аптечного склада?

— Но я не знаю фармакологии.

— Сейчас это не требуется. Наши солдаты болеют лишь поносом и триппером. Латынь, надеюсь, вы знаете...

Прибыв в Езерно, в первые же дни Занне выяснил,

что в городке четыре костела. Два из них — Тела Божьего и Святого Войцеха — закрыты немецкими властями. Пятый — Доминиканский — взорван по приказу начальника полиции безопасности: в подземелье, где находились старые усыпальницы, гестапо обнаружило оружие.

Но все-таки два костела действовали. И Занне пошел в один из них на утреннюю воскресную мессу.

Под высокими сводами его встретил привычный прохладный сумрак, глухое звучание голосов, запах горевших свечей. Люди были одеты по-разному. Но одинаковыми казались ему лица у всех — обращенные к богу: кто сидел на старинных дубовых скамьях, кто преклонил колени в нише перед распятием, кто стоял в стороне, опершись плечом о могучую, выщербленную временем серую колонну. При его появлении поляки посторонились, словно окружая его чертой проклятия, которую ни он, ни они не смели преступить. Но Занне как бы не заметил этого, он был исполнен торжественной робости, ощущение это было вызвано всем, что он знал и любил с детства: яркие Иисусовы знамена, цветные витражи, ксендз, кружево его стихаря, блики свечей на алтарной позолоте, звон колокольников и белые, как херувимы, с цветами в волосах дети рядом с ксендзом и, наконец, нестройное пение под надрывный зов вздыхающего органа... Занне почувствовал, что спазм сжал ему горло.

Откуда-то в полумрак падала косая полоса живого света. Подняв глаза, Занне увидел большую рваную пробоину в своде, там синело настоящее небо. Он чуть улыбнулся ему и снова посмотрел на лица людей — просящие и доверяющие. И тогда его, верующего человека, истового католика, может быть, впервые в жизни обожгла в храме греховная мысль: разве и прежде эти люди не просили бога уберечь их и их детей, их кров и землю от огня, голода, смерти, от пули и мук унижения?! Они доверяют господу все: просьбы, покаяния, самые тайные исповеди. Но разве не проще, подумал он, чтобы люди обратили все эти чистые слова друг к другу в дни разъединяющей ненависти и разрухи? Они шепчут, потому что произносят самое сокровенное, то, что громко произнести по этой причине не могут. Ну, пусть так, шепотом, но промолвите это друг другу и мне, а я — еще кому-то. Тогда каждый будет знать, что наверняка услышан. Неужели так глубока откровенность этих слов, так кровоточаща их правда, что обращать их возможно только к невидимому собеседнику?! Тогда

тем более их надо доверить друг другу, нет в них, значит, ни постыдного, ни корыстного смысла. Что же прятать их в этот шепот? Что же тогда останется для людей, какие слова, просьбы, обещания?

Помолившись, но не испытав облегчения, тревожно удивляясь обуявшим его мыслям, Занне вышел из костела и зажмурил глаза — белым от яркого солнца был день и булыжины пустынной площади, где спокойно разгуливали голуби. Навстречу ему, к костелу, шел пожилой поляк в пенсне. Занне хотел ему поклониться, но в глазах поляка он вдруг увидел столько ненависти, что испугался, как бы этот поклон не прозвучал насмешкой. С тяжелым чувством униженности и безысходности Занне направился к себе...

Аптечный склад находился в Цитадели. Это было двух-этажное кирпичное здание — круг с тремя радиальными корпусами внутри двора. Если смотреть сверху, подумал однажды Занне, то этот круг и эти корпуса, вместе взятые, будут похожи на знак фирмы «Мерседес». В одном из таких корпусов-радиусов и находился склад. Все остальные помещения занимала какая-то странная воинская часть. Людей в ней было немного. Все в форме СС. Они что-то привозили на машинах, сгружали, снова увозили. Молча, деловито. Занне это не интересовало.

Однажды во дворе он услышал громкие голоса и, взглянув из своего кабинета через зарешеченное окно, увидел в центре двора две легковых машины — в камуфляжной окраске «пontiак» и «опель-кадет». Защелкали дверцы, вышли какие-то люди в черной форме. Занне отодвинулся от окна. Через несколько минут к нему постучали, и вошедший офицер, торопливо козырнув, спросил:

— Вы начальник склада?

— Я.

— Вас просит начальник гарнизона полковник Яппс.

Занне вышел. Яппс в своей серо-зеленой форме, окруженный фигурами в черном, был похож на мышь, обложенную породистыми котами.

— Сколько вам потребуется времени для передислокации склада? — спросил Яппс. — Мы нашли вам другое помещение, возле вокзала.

Занне недоуменно пожал плечами. Ему было безразлично, где будет находиться его склад, и, подумав, он ответил:

— Двое суток.

— Это много, — сказал, приблизившись, человек с

круглым рябым лицом.— Я — штурмбаннфюрер Пельциг,— представился он Занне.— Завтра к вечеру все помещения должны быть освобождены.

Занне перевел взгляд на Яппса, но по его глазам понял, что вопрос решен и едва ли Яппс в состоянии что-либо возразить этому рябому.

— Не мучьтесь, не мучьтесь, лейтенант,— сказал Пельциг,— это не моя прихоть. Я дам вам своих людей и машины. Но — чтоб завтра к вечеру.— И, повернувшись к невысокому человеку в штатском, стоявшему как бы отдельно, сказал:— По-моему, все в порядке, господин Цорн. Теперь здесь будем только мы.

Тот едва качнул головой, сел в машину. Снова защелкали дверцы, и странные гости покинули двор Цитадели...

Так Занне перебрался в новое помещение. Жил он при складе, в каморке. Была она одновременно и кабинетом: стол с полевым телефоном в футляре из толстой кожи, два стула, железная кровать. Кусок серой стены он обил газетами, вогнал большой гвоздь и повесил на него парадный мундир, а сверху шинель...

Как-то под вечер раздался телефонный звонок и властный голос спросил:

— Лейтенант Занне?

— Я слушаю.

— Говорит Пельциг. Помните? Вы свободны вечером?

— Да.

— Мне нужно с вами встретиться. Если не возражаете — у меня. Я пришлю машину.

И, прежде чем Занне успел что-либо ответить, голос в трубке исчез...

За рулем маленького военного «DKW» сидел пожилой эсэсовский ефрейтор; он едва касался руля, но машина послушно неслась по узким улочкам Езерно. Пельциг жил в старой части города, почти на окраине, в небольшом особняке.

Пельциг встретил его в холле. Широкая раздвижная стеклянная дверь соединяла холл с большой комнатой.

— Проходите, лейтенант,— пригласил Пельциг.— И, ради бога, не пугайтесь моего черного мундира. Он всего лишь символ,— засмеялся Мельциг,— и все могло случиться наоборот: вы — в нем, а я — в вашем либо вообще в штатском. Но каждый из нас все равно оставался бы самим собой. Не так ли?

В комнате было сумеречно, сквозь опущенные шторы

проступал слабый свет. Расширялся и суживался зеленый глазок индикатора приемника, и низкий женский голос пел грустную песню. И голос, и песня были знакомы Занне.

— Цара Леандр,— напомнил Пельциг имя популярной киноактрисы.— Красавица, но слишком тонкие ноги. Будем пить коньяк,— сказал Пельциг и повернулся к буфетной стойке.

На столе лежала пачка газет, чернели заголовки: «Дер ангриф», «Дас райх», «Дойче альгемейне цайтунг». Занне вспомнил, что он давно ничего не читал. Кроме «Фелькишер беобахтер», которую он иногда бегло просматривал, другие газеты ему не попадались. Пока Пельциг возился у стойки, Занне мучительно гадал, что хочет от него этот рябой плотный человек, живущий в таком особняке.

Смахнув на пол газеты, Пельциг поставил рюмки и бутылки, повесил на спинку стула свой китель. Оставшись в белоснежной рубашке, он уселся напротив Занне.

— Ну, за знакомство,— поднял он рюмку.— Прозит! Занне сделал большой глоток. Коньяк был ароматный, старый. Пельциг пил странно: краем широкой рюмки он поводил по губам, втянул ноздрями воздух, затем медленно, прикрыв веки, выцедил напиток.

— Разрешите мне называть вас по имени? Кажется, Франц?— спросил Пельциг.

Занне кивнул.

— Я буду откровенен, Франц. Прежде чем пригласить, я навел о вас кое-какие справки. В наши дни ошибаться в людях опасно. Я атеист, Франц. Вы — верующий католик. Это объективная гарантия, которую вы предоставляете мне за мою откровенность. Существует парадокс: при всей косности и консерватизме религии, в ней, по-моему, есть нечто сдерживающее человеческую стихию, обуздывающее пороки, заставляющее исполнять заповеди и клятвы. Дух превозмогает плоть. Я дорожу этим в других, потому что сам этим не обладаю.— Пельциг улыбнулся и снова наполнил рюмки.— Давайте выпьем еще... Я живу лучше вас и не хочу от этого отказываться. Вы живете хуже меня и тоже не хотите отказываться от своих убеждений. Кто из нас прав, Франц?

— Об этом не нам судить,— ответил Занне.

— Не осторожничайте. Я ведь с вами откровенен. Вас снова гипнотизирует мой черный мундир. Я знаю: то, во что верю я,— преходяще и недолговечно. Но исповедую!

Это дает мне возможность сейчас хорошо жить. А там будет видно. Ваша вера прочнее, надежней, долговечней. Потому что она — над всем. Но мне моя вера, повторяю, дает возможность пользоваться благами жизни. Вам же остается порицать, осуждать нас, но и молиться за нас.

— Вы пригласили меня, чтобы я помолился за вас?

— Нет, сначала я должен согрешить, — ухмыльнулся Пельциг.

— Вы не боитесь быть со мной откровенным? Ведь вы издеваетесь над идеей, в которую верите.

— Я всего лишь ей служу ради благ и удобств, которые она пока мне предоставляет. Понимаете, до тех пор, пока... И это я не боюсь вам сказать. Потому что вы не станете сообщать об этом в гестапо. Мне это легче сделать.

— Но и вы не станете.

— Почему? — удивился Пельциг.

— Таких незаметных интендатов, как я, в гарнизоне много. Но почему-то для подобной исповеди вы выбрали меня. Я вам зачем-то нужен.

— Вы угадали, Франц. Вы мне очень нужны, я вам доверяю.

— Чем я могу быть полезен?

— У вас на складе достаточно места, чтобы я мог хранить там несколько ящиков с кое-каким имуществом. По некоторым соображениям я не хочу хранить их у себя в Цитадели. Вам это ничем не угрожает. Вот и вся моя просьба, Франц.

— Это, очевидно, незаконно. И я должен был бы вам отказать.

— Это ваше право. Тогда считайте, что никакого разговора у нас не было. Я понимаю, что вас смущает. Но поверьте, я не занимаюсь карательными операциями, никого не допрашиваю. Я — искусствовед, к сожалению — недоучка, но толк в искусстве знаю. Я команду эйнцацгруппой, выполняющей задания статс-секретаря Мюльмана — особоуполномоченного по учету художественных и культурных ценностей. Так-то, дорогой Франц. Вот вам весь Руди Пельциг.

— Привозите свои ящики, — после паузы сказал Занне.

— Хорошо, Франц. Спасибо. Я не забуду этой услуги...

Ящики привез поздно вечером какой-то поляк. На стареньком грузовике. Привез сперва три ящика. И, осведомившись, кто здесь лейтенант Франц Занне, спросил, куда их складывать. Так впервые Занне встретился со Свидраком.

Он приезжал потом еще. Привозил по два-три ящика. Сгружая их, подмигивал Занне, как надежному соучастнику какой-то выгодной сделки. Занне смущали эти намекающие подмигивания, он уже ругал себя, что согласился исполнить просьбу Пельцига, но утешался мыслью, что остается в полном неведении о сути дела, в каком участвует Пельциг и этот поляк. И когда наконец поляк привез последние ящики, Занне облегченно вздохнул. Забрал их Пельциг, когда началась суматоха отступления и эвакуации.

После первого знакомства Пельциг приглашал Занне к себе еще несколько раз. Занне не уклонялся от этих визитов. Он впервые близко столкнулся с человеком из мира, который был для него пугающе непонятен, чужд и омерзителен. Но и любопытен. Пельциг много ездил по генерал-губернаторству, жил на широкую ногу, но никогда не рассказывал Занне о характере своей работы.

В один из таких визитов Занне застал Пельцига пьяным. Он расхаживал по комнате в белой рубашке. Черный эсэсовский китель висел на спинке стула.

— Вы молодец, Франц, что пришли! — воскликнул Пельциг. Рябое лицо его было багровым, руки глубоко втиснуты в карманы галифе. — Выпьете? Нет? Ну и черт с вами. — Пельциг вдруг схватил свой китель и набросил его на плечи Занне.

— А знаете, вам идет, Франц! — захохотал он. — Я закажу вам такой. Он будет храниться у меня. В ваши визиты сюда мы будем облачаться в эти кителя. Мы станем равны!

— Перестаньте. Иначе я уйду.

— Ишь вы, чистюля! Природа не терпит нарушения баланса. На ее весах мы с вами гири, но на разных чашах, — мрачно сказал Пельциг.

— Вам не кажется, что ваша чаша перевесила?

— Но я же сказал, что природа не терпит нарушения баланса! — выкрикнул Пельциг. И, приблизившись к Занне, зашептал ему в лицо: — В Мюнхене студенты университета освистали гаулейтера Гислера. Раскрыта студенческая подпольная организация... Листовки в Мюнхене, Вене, Штутгарте...

В холле слышались шаги. Пельциг выпрямился, быстро заговорил:

— У меня могли быть неприятности. Кто-то написал донос в Берлин. Я в руках у человека, который сейчас войдет сюда. Шведский коммерсант. Богат. Умен. Близок с партийной канцелярией. Впрочем, сам не пойму, кто он...

Когда гость вошел, Пельциг, преобразившись, весело представил его:

— Господин Уве Цорн. Знакомьтесь, Уве, это единственный близкий мне человек здесь — лейтенант Франц Занне.

Они поклонились друг другу. Занне узнал: этот человек приезжал тогда в Цитадель вместе с Пельцигом.

Пили коньяк из маленьких рюмочек и хороший кофе.

— Судя по комплименту Пельцига, вы действительно достойны дружбы, — легко улыбнувшись, сказал Цорн. — Руди очень разборчив в выборе друзей. А вы? — он смотрел Занне в глаза.

— У меня подобное чутье не столь развито, — ответил Занне. — И жизнь меня за это часто наказывала.

— Надеюсь, Франц, ко мне это не относится? — хмыкнул Пельциг.

— Время покажет, — насмешливо ответил Занне. У него было странное ощущение человека, идущего по бревнышку через пропасть, когда знаешь, что нельзя смотреть вниз, чтобы не видеть глубины, от которой кружится голова. Но какой-то голос все время соблазнительно шепчет: «Загляни, загляни!» Он понимал, чем чреваты такие беседы, но легкое опьянение подзуживало его полусуто дерзить. Они снисходительно позволяли ему это делать, как охотники позволяют загнанному и обреченному, но ничего не подозревающему лосенку порезвиться напоследок на зеленой, просветленной солнцем поляне. Так все это воспринимал Занне.

— Вам не надоело торчать на своем складе? — спросил Цорн. — Может быть, у меня появится возможность найти вам местечко повеселее?

— Благодарю. Но сейчас не принято быть особенно веселым.

— Что вы имеете в виду?

— Грешно веселиться в тылу, когда на передовой гибнут солдаты.

— Вы так патриотичны или набожны?

— Что вас больше устраивает?

— Правда.

— Вы посягаете на единственное мое богатство. Так я останусь совсем нищим, — улыбнулся Занне. — А что я получу взамен?

— Что вы желаете? — отвечая улыбкой, спросил Цорн.

— Гарантию, что за свои нахальные шутки я отсюда не попаду в гестапо.

— Руди, вы можете дать такую гарантию? — повернулся Цорн к Пельцигу.

— Разумеется!

Зазвонил телефон. Пельциг снял трубку.

— Штурмбаннфюрер Пельциг... Громче! Я плохо вас слышу! Так... Хорошо... Сколько их? Я не собираюсь их допрашивать. Мой человек помог вам, а дальше — это обязанность СД... Что? Держите их где хотите. В каком-нибудь подвале Цитадели.

— Что произошло, Руди? — спросил Цорн, когда Пельциг вернулся к столу.

— Какие-то поляки пытались ограбить склад, вывезти ящики.

— Мой склад? — равнодушно спросил Занне.

— У вас мания величия, Франц, — осклабился Пельциг, — кроме аспирина и презервативов у рейха есть и более ценное имущество. Они проникли в Цитадель. Но их там уже ждали. Если бы не мой человек, который привел полицию на это дело, у поляков все прошло бы гладко. Мне бы тогда несдобровать, — передернул он зябко плечами.

— Что теперь с ними будет? — спросил Занне.

— Допросят и, наверное, расстреляют. Законы военного времени, Франц, — деловым тоном ответил Пельциг.

В конце той же недели, рано утром, к Занне прибыл шофер Пельцига и сообщил, что штурмбаннфюрер просил Занне срочно приехать.

— Франц, — торжественно сказал Пельциг, — вам предстоит исполнить обязанности духовника. То, что вы умеете. Четверо приговоренных к смерти поляков. Среди них одна женщина. Пятый ночью сбежал.

— Это те? — волнуясь, спросил Занне.

— Да, — нахмурился Пельциг. — Они просили польского священника. Конечно, ничего в этом бы не было. Но перестраховщики из местной СД обратились за разрешением ко мне. Я отказал, Франц. Вы должны меня понять. Я не могу сейчас рисковать, привлекать к себе подобным жестом внимание гестапо. Цорн и так чудом спас меня от больших неприятностей. Я разрешил лишь, чтобы к ним пошел верующий католик-немец. Вы, Франц.

— Приказ о расстреле отдали вы? — спросил Занне.

— Я просто сказал, чтоб с ними поступили в соответствии с существующим порядком. Не смотрите на меня так. Я пре-

зираю этот порядок, но я ему служу. В этом дерьме я погряз давно, Франц. С тех пор как начал сознательно поносить печатно все истинное в искусстве... Я научился воспевать фальшивый, бездушный монументализм, крикливую и прямолинейную фотографичность, бездуховность живописи и скульптуры, славивших новый режим. Я видел его тупость, невежество, коррупцию, откровенную ложь. Они порождали с невероятной скоростью перерожденцев и карьеристов, приспособленцев и демагогов, цинично убеждавших всю нацию, что они действуют от имени народа и во имя его блага. Но я хотел жить. Альтернатива у меня была одна: либо с ними, либо — в небытие... Весь этот сарай уже прогнил и трещит. Но я не стану своей спиной подпирать его стены. Я выберу момент, когда надо будет выскочить из него, чтобы не угодить под летящие обломки. Но не думайте, Франц, что вы лучше меня. Или вы считаете себя борцом, черт подери?! Где ваши деяния, милый мой духовник? Прекраснодушные слова и чистосердечные молитвы? Да и то — с оглядкой, чтобы лишние уши не слышали. Вы меня не очень презирайте. Мы с вами, как оказалось, все-таки на одной чаше тех самых весов...

Занне стоял потрясенный. Он был не в состоянии что-либо ответить Пельцигу.

— Вы пойдете к этим полякам? — спросил Пельциг.

— Да, — тихо ответил Занне.

— Вас отвезут на моей машине. Там есть такой Лехнер. Он знает, кто вы.

— Не надо. Я пешком...

У входа в Цитадель его встретил гауптшарфюрер.

— Моя фамилия Лехнер, — козырнул он. — Вы Занне? Занне ответил.

— Они отказались от ваших услуг... Остальное — наша забота.

«Они умрут без исповеди и причастия», — думал Занне, идя к себе. Его жгли стыд и отчаяние. Он ощущал на себе грязь, выплеснувшуюся на него из слов Пельцига... Он шел, шепча молитвы, истово погруженный в это занятие; шел, не замечая ничего вокруг, его слуха не коснулся ни рев мотора грузовика, в котором сидели солдаты, ни громкая песня «Мария на лужайке», которую они орали...

Мы пили уже по второй чашке кофе. Публика в гостетте менялась. Ушли старики, игравшие в карты. Офи-

циантка убирала после них столик. За окнами угасал серый день.

Занне снял очки, протер полоской замши толстые стекла. И прежде чем он опять надел их, я успел заметить его глаза — отчужденные, с тем выражением стойкого удивления, с каким близорукие люди обычно видят мир, когда он внезапно предстает перед ними не сквозь корректирующие стекла. Но я подумал, что не только это было причиной подобного выражения его глаз. Он просто еще раз и очень подробно увидел сквозь годы все, что рассказывал мне.

— Со Свидраком мы свиделись еще раз. Если не ошибаюсь — года полтора-два назад. Он разыскал меня в Кельне через «Комитет католического единства», — снова, после долгой паузы, заговорил Занне. — Созвонился со мной и попросил разрешения приехать. Узнал я его не сразу. Все-таки прошло столько лет. Он напомнил, что он именно тот поляк, который привозил ко мне на аптечный склад ящики. Разговор у нас был несколько странный, Свидрак что-то недоговаривал. Меня это не занимало. Не он мне нужен был, а я ему. Вот как выглядел наш разговор:

С в и д р а к. Герр Занне, я искал вас долго. Эти усилия направлены на честное дело, и я надеюсь, что вы мне можете.

Я. Если это в моих возможностях.

С в и д р а к. Скажите, что хранилось в тех ящиках, которые я привозил?

Я. Понятия не имею. Меня это не интересовало. А разве вы не знали?

С в и д р а к. Человек, который давал мне их, говорил, что там — похищенные с немецких автомашин консервы и медикаменты. Их выгодно можно будет обменять и продать на черном рынке. А вы за большую взятку, дескать, согласились временно перепрятать их. Я получил приличные деньги, даже в рейхсмарках, от этого человека и полагал, что это выручка за те ящики. Усомнился я, лишь когда началась эвакуация ваших войск из Езерно. Вы помните эту панику. Так вот, в одной из автомашин, когда они скопились из-за пробки у моста, я увидел эти ящики. На грузовике. В кабине вместе с шофером сидел какой-то рябой эсэсовец. Уж я-то узнал эти ящики! Но что я мог выяснить?! Вслед за немецкими войсками я тоже бежал из Езерно. Так сложились обстоятельства.

Я. К этим ящикам я не имел никакого отношения, никаких взяток не брал... Но разве не Пельциг поручал вам привозить их ко мне?

С в и д р а к. Кто это Пельциг?

Я. Тот рябой эсэсовец.

С в и д р а к. Слава богу, не имел счастья быть знакомым с ним.

Я. Так кто же?

С в и д р а к. Для вас это не имеет значения. А вы были знакомы с Пельцигом?

Я. Да.

С в и д р а к. Он жив?

Я. Да.

С в и д р а к. И вы знаете его адрес?

Я. Он живет в сорока километрах отсюда.

С в и д р а к. Вы помните историю с расстрелом четырех поляков в Цитадели?

Я. Помню.

С в и д р а к. За что их расстреляли?

Я. Они пытались похитить какие-то ценные бумаги, подлежавшие уничтожению. Так, во всяком случае, сказал мне Пельциг.

С в и д р а к. Он имел отношение к их расстрелу?

Я. Пожалуй.

С в и д р а к. Благодарю вас, герр Занне. Извините, что отнял у вас время. Обещаю вам, что наш разговор не принесет вреда ни одному невинному человеку... Разрешите, я запишу адрес Пельцига...

Из гастштетта мы вышли, когда уже стемнело. Накрапывал дождь.

— Не знаю, посетил он Пельцига или нет,— сказал Занне.— Отношений с Пельцигом я не поддерживал. Первый раз он прислал мне письмо после выхода из тюрьмы. А потом еще было две-три открытки...

Возле дома на Канцовштрассе мы попрощались. Я поблагодарил Занне и сказал ему, что он очень помог мне. Сказал так из вежливости, еще не соображая, какие зерна вытряхну из его слов. Но что-то вытряхну, это я чувствовал.

— Обещайте мне, как Свидрак, что наш разговор не принесет вреда ни одному невинному,— сказал напоследок Занне.

Что ж, это я мог пообещать...

Несмотря на дождь, я решил пройтись пешком до станции Грейсвальдерштрассе: нужно было осмыслить все, что услышал от Занне, сообразить, пока я здесь, не возникнут ли еще какие-либо вопросы к нему.

В витринах неярко мерцали световые рекламы. Шурша по мокрому асфальту, проносились машины, притормаживая у желто-черных знаков пешеходных дорожек, полицейский-регулирующий в длинном белом плаще, глянцевого от воды, был похож на пришельца из космоса — на его поясе, в круговую, светились маленькие лампочки. Все вокруг казалось мне нереальным, я пребывал на рубеже прошлого и сегодняшнего, постепенно преодолевая странное смещение времени. Реальными были стрелки на моих часах, напоминавшие, что пора спешить в Карлсхорст. Купив желтый билетик с надписью «Berliner S-Bahn» и сунув его в компостерную машинку, прокусившую в нем треугольную дырку, я вышел на перрон...

В доме Рены и Рольфа Хаммеров в Карлсхорсте я прожил до конца недели. Несколько раз ездил на предприятие «Нарва», собрал там материал для очерка и в воскресенье утром отправился на Остбанхоф, чтобы сесть в тот же поезд Берлин — Москва.

Рена приготовила брату какой-то подарок в маленьком свертке, а Рольф вручил мне для шурина роскошный портфель.

На вокзале я купил для коллекции Сабины пачку сигарет «F-6», наскреб 48 пфеннигов на бутылку нежного пива «хель» и вошел в вагон...

Теперь можно было спокойно обдумать: что же я увозил из этой командировки? Прежде всего: подтвердилось, что Свидрак искал Занне. Непросто найти человека, которого видел несколько раз, да и то двадцать два года назад. И все-таки искал. Значит, он ему был очень нужен. Выяснилось, также, что Свидрак был как-то связан с немцами, с Пельцигом во всяком случае. Он, правда, сказал Занне, что с Пельцигом не знаком. Но мог по каким-то причинам и соврать. Если же не лгал, то между ним и Пельцигом был еще кто-то. Кто? Пельциг сказал, что на Ядвигу Глинску и ее сподвижников полицию вывел его человек, знавший об их намерении заранее. Скорее всего это был поляк. Немцу нелегко было в то время войти в доверие к людям, замышлявшим какую-нибудь акцию против оккупантов. Не был ли

этот человек и тот, поручавший Свидраку возить ящики Пельцига, одним и тем же лицом?.. Что еще? Да, содержимое этих ящиков. В них, разумеется, были не консервы и не медикаменты. В панике отступления Пельциг едва ли стал бы их увозить. Его начальник — особоуполномоченный по учету культурных и художественных ценностей штандартенфюрер СС Кай Мюльман заявил под присягой на Нюрнбергском процессе, что похищенные в Польше предметы искусства конфисковывались его эйнзацгруппами. Одну из таких возглавлял Рудольф Пельциг. Он знал цену произведениям искусства. Что могло помешать ему во время этого тотального грабежа тихонько прикарманить кое-что и для себя?! Не случайно же, полный хозяин Цитадели, где было много подвалов и укромных мест, он хранил какие-то свои ящики отдельно, на аптечном складе. И кто-то из поляков помогал ему в этом: либо Свидрак, либо человек, стоявший между Пельцигом и Свидраком. В Лондоне Свидрак владел фирмой по скупке и продаже произведений искусства и антикварных вещей. Значит, все-таки Свидрак? Тогда он соврал, что не знал Пельцига. В этой связи объяснимо и желание Свидрака узнать у Занне адрес Пельцига: возможно, тот его обделил, и Свидрак решил, спустя много лет, потребовать свою долю... Но зачем он вернулся в Польшу?..

Теперь о четверых расстрелянных. Установлено, что они пытались вывезти из Цитадели какие-то ценные бумаги, которые эсэсовцы обрекли на уничтожение. Бумаги... Какие?..

ГЛАВА 15

Утром я разговаривал с редактором. Он отнесся нормально к результатам моей поездки. Очерком о «Нарве» остался доволен.

Из редакции я ринулся по магазинам — к обеду мы ждали гостей, и Сабина вручила мне список, по которому я должен действовать: майонез, свежие огурцы, консервированная селедка в винном и горчичном соусах, мясо на антрекоты и «чего-нибудь еще», как сказала Сабина.

— Я тебе доверяю, — снисходительно добавила она. Какое великодушие, черт возьми, думал я, обливаясь потом в очереди за проклятыми антрекотами...

Гости ели и пили с аппетитом. Разговаривали. Бог знает о чем. И никто не поинтересовался моей поездкой.

— Ну как там? — спросил лишь кто-то.

— Ничего, — в том же тоне ответил я. Надо полагать,

спрашивавший удовлетворился этим, — он тут же затараторил, что в моду входят мужские одноцветные носки...

Гости ушли рано. Сабина отправилась спать, а я присел к письменному столу. Надо было разобраться в записях, сделанных в Гданьске, Езерно и Берлине, свести все воедино, придать им какую-то стройность, последовательность, выписать отдельно все, что предстоит еще выяснять. Я снял с полки толстую папку с езерновскими записями. Странички были не нумерованы, делалось-то все второпях, да и уезжал я из Езерно, будучи в цейтноте, — поспешно набивая папку своими бумагами, разбросанными на письменном столе пана Михала...

Я разбирал страницы, сортировал, нумеровал, иногда для этого мне надо было читать их. Между стопкой чистых листов, которые тоже были втиснуты в папку, мне попалось несколько незаполненных инвентаризационных музейных карточек-формуляров. Они валялись у пана Михала на письменном столе среди старых газет, журнальных вырезок и писчей бумаги. Заканчивая эту возню, меж двумя своими страничками я обнаружил журнальную вырезку о том, как лучше систематизировать в музеях изделия из бронзы и керамики. Надо будет возвратить это пану Михалу, подумал я. Затем нашелся мой синий тонкий блокнот, который я бесполезно искал по всем карманам, еще через несколько страниц чистой бумаги — снова формулярная карточка. Откладывая, я перевернул ее и — оцепенел: на плотной белой картонке формуляра зеленой пастой фломастера был намалеван знакомый мне рисунок. И сделать его мог *единственный* человек — Свидрак. Я вспомнил кафе «Фрегат» на морвокзале в Гдыне, ленивую позу Свидрака, только что сошедшего с теплохода. Он сидел и слушал объяснения Анджея Пославского, а толстые пальцы сжимали фломастер. Он делал им точные движения по листку бумаги: сперва круг, пересек его другим, овал, образованный этим пересечением, заштриховал ровными диагональными линиями, а полусферы — волнистыми... Я вспомнил, как меня раздражала эта мазня Свидрака в момент, когда озябший Анджей что-то любезно втолковывал ему... Это была устойчивая привычка, черта характера, отработанный до автоматизма за долгие годы прием выводить в одной и той же последовательности и манере одни и те же линии, фигуры.

Зеленый фломастер Свидрака... След его руки на формулярной карточке, которую я, очевидно перевернутую кверху чистой стороной, сгреб вместе со своими бумагами со

стола пана Михала... У кого еще могли быть такие формуляры?.. У Петра Бежевого Свитера, даже у Лапиньских... Но как эта разрисованная карточка попала в дом к пану Михалу, на его письменный стол?! Откуда он ее затащил или — кто затащил, принес ее к нему из места, где размалевывал ее Свидрак?..

Прислонив карточку к стакану с карандашами, я издали теперь вглядывался в нее, как в фотографию любимой женщины. И тут возник простой вопрос: а почему, собственно, Свидрак должен был размалевывать эту карточку обязательно где-то, а не у пана Михала? Эту возможность вычеркнул сам пан Михал, когда сказал, что Свидрака он не знает. Но это ровным счетом ничего не значит. Свидрак почему-либо мог прийти к нему и под другой фамилией...

Рано утром, когда Сабина еще спала, я тихонько уложил чемодан, стащил для пана Михала один из ее альбомов — «Скифская бронза», оставил записку и ушел на вокзал, чтобы успеть на экспресс Варшава — Гданьск.

То, что я затеял, казалось в определенном смысле рискованным, но слишком велик был соблазн...

В Гданьске я пробыл недолго. Вручил Анджею берлинские подарки от его родственников. Затем отправился в комендатуру. Рассказал Мацеку и Фисняку о своей поездке в Берлин и сообщил о намерении съездить в Езерно.

— Езжайте,— поразмыслив, согласился Фисняк.— Но не переусердствуйте там. Я приеду завтра утром.

Фисняк позвонил своим коллегам в Езерно и предупредил, что если я обращусь к ним, то мою просьбу следует выполнить немедленно. Кроме того, я выпросил на несколько дней из дела Свидрака его зеленый фломастер и тот клочок бумаги из блокнота Анджея, на котором Свидрак намалевал при мне все эти свои линии и круги...

Дежурный администратор гостиницы в Езерно узнала меня и любезно предоставила номер. Оставив в нем вещи, я пошел в комендатуру. По моей просьбе туда пригласили директора местного музея, в его ведении находилось хранилище в Цитадели. Директору показали карточки-формуляры и задали предложенные мною вопросы. Ответы вполне меня устраивали: этими карточками не пользуются уже лет восемь, тогда же их и прекратили печатать, так как были разработаны новые, более удобные; обработкой их занимался всегда только пан Михал Щепаньский — такова его должность, поэтому и хранились они у него в сейфе среди прочих

бумаг, инвентарных списков, каталогов и различных учетных бланков.

С визитом к пану Михалу я отправился сразу после рабочего дня. Нетерпение, гнавшее меня к нему, было, как я полагал, оправданным: слишком серьезные вопросы я собирался задать пану Михалу. За каждый из них он мог выставить меня за дверь, но считаться с этой возможностью я уже не хотел...

Приятное удивление и несуетливое дружелюбие пана Михала, едва мы обменялись рукопожатием, вновь вернули меня в спокойный мир наших прежних непродолжительных вечерних бесед.

— Какими судьбами? — спросил, мягко улыбаясь, пан Михал, когда мы поднялись в мансарду и уселись в кресла.

— Дела, — развел я руками, понимая, что надо начинать немедленно, иначе спасую, исчезнет острота и обнаженная логичность моих расчетов.

Надо было начинать. Но как?! С чего?!

— Я выполнил свое обещание. Вот вам подарок, — подал я пану Михалу альбом «Скифская бронза».

— Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Прекрасное издание, — ответил он, перелистав несколько иллюстраций.

— Я купил это в Германии, в магазине советской книги, — сказал я, прощая себе эту ложь. — Что у вас нового?

— Какие тут могут быть новости? — улыбнулся он. — Вы были в Германии?

— Да. В воскресенье вернулся... Это тоже ваше, я случайно захватил, когда уезжал от вас, — я бросил на стол несколько формулярных карточек. — И это, — положил я рядом журнальную вырезку.

Пан Михал равнодушно взглянул на бумажки.

— Это старье вы могли выбросить. Завалились тут, — показал он на стол, — давно как-то принес с десятка, нужно было срочно описать несколько экспонатов. А за журнальную вырезку спасибо, пригодится.

— Вот еще одна, — сказал я, — порывшись в папке и кладя на стол карточку с мазней Свидрака.

Он не обратил на нее никакого внимания, потом, правда, взял, взглянул и, тут же отложив, сказал:

— У вас точная рука. Окружности ведь без циркуля сделаны?

— Без циркуля, но не мной.

— Ах да, жена же ваша художница... Вы надолго в Езерно?

- Трудно сказать.
- Все по тому же делу?
- Почти.
- Поселитесь у меня?
- Нет, нельзя быть нахалом. Я остановился в отеле.
- Зря вы, зря... Будем пить чай?
- С удовольствием.

Пан Михал спустился вниз. Я слышал, как на кухне зашумела вода в кране. Звякала посуда. Чай он спроворил быстро, на легком подносе принес ломтики бисквита. Когда мы расположились, я спросил:

— Пан Михал, вам знакомо такое издание — «История папства в живописи»?

— Разумеется. Это очень редкое издание. Оно было осуществлено в Ватикане в тысяча девятьсот тридцать шестом году. Чрезвычайно малым тиражом. Комментарий к нему сделали на итальянском, испанском, польском, немецком и английском языках.

— У вас есть этот альбом?

— Был, — как-то осторожно сказал он. — Польский вариант. Мне привезли его из Рима. Я уплатил тогда за него большие деньги.

— Вы дорожили им и, конечно, никому на дсм не давали?

— Он вас интересует?

— Да.

— Что ж, попробую найти.

Альбом он искал долго. Прохаживался вдоль стеллажей, припоминая, на какой он полке, затем придвинул стремянку, взобрался на нее и начал выдвигать книги. Я тем временем вынул из портфеля репродукцию Сикста IV, отданную мне Боженой, положил на диван и прикрыл газетой.

— Вот, — пан Михал подал мне альбом. — Пыль. Я давно сюда не заглядывал.

— Пан Михал, эта репродукция не из подобного издания? — спросил я, извлекая Сикста IV из-под газеты.

— Похоже, — сказал он, приглядываясь к портрету. — Но мы можем сравнить, — он раскрыл альбом. — Где вы взяли эту репродукцию?

Чтобы промолчать, я откусил бисквит и глотнул чаю. Я ждал, что же будет дальше. А он переворачивал листы, отыскивая портрет Сикста IV. Делал это совершенно спокойно, как человек, который точно знает, что искомое лежит на месте. Так продолжалось несколько минут.

— Странно, — он пожевал губами и сощурил глаза. —

Все портреты есть, кроме номера тринадцатого, этого. Странно,— повторил он, и во взгляде его появилось напряженное желание что-то вспомнить.

Мне не хотелось, чтобы он вспоминал: я проверял очень важные для меня предположения. Так вот, мне не хотелось, чтоб он сейчас вспоминал, и я отвлек его вопросом:

— Все остальное на месте?

— На месте,— задумчиво кивнул он головой.— Обидно... Но странное совпадение,— он сделал рукой жест удивления.— Кроме вас, в моем доме последние пять лет никто не бывал. Не поймите это как намек. Но все-таки где вы взяли этот портрет?

— Подарила мне его Божена Лапиньска,— мягко сказал я.— Двадцать два года назад Малгожате Лапиньской его принес Ежи Свидрак.

— Свидрак? — пан Михал вскинул брови.— Ах, да! Человек, о котором вы спрашивали меня. Удивительное совпадение! — повторил он.— Не правда ли?

— Слава богу, что совпадение. Ведь, кроме меня, как вы сказали, последние пять лет у вас никто не бывал...

— Простите, Ян, я неудачно выразился.

— Надеюсь,— улыбнулся я.— Кстати, этот рисунок делала не моя жена,— сказал я, беря формулярную карточку.— Он попал ко мне вместе с остальными карточками и журнальной вырезкой с вашего письменного стола. Тут я действительно совершил случайное хищение.

— С моего стола?! — пан Михал откинулся на спинку кресла.— Вы меня разыгрываете, Ян,— засмеялся он.— Я не занимаюсь подобным малеванием.

— Не настаиваю на вашем авторстве,— весело сказал я.— Больше того, я обвинил бы вас в плагиате. И домой к вам эту карточку никто приносить бы не стал. Нелепо. Не так ли? — Он утвердительно кивнул.— Тем не менее я прихватил ее с вашего стола. Значит, разрисована она была в вашем доме, очевидно — в этой комнате. Даже точно могу сказать, когда. Я поселился у вас во вторник? Рисунок же был сделан двумя днями раньше — в воскресенье.

— Вы хотите стать графологом, Ян? Что у вас за настроение сегодня?

— Увы, нет. Но могу назвать вам и автора этой абстрактной картинки.

— Любопытно.

— Ежи Свидрак.

— Опять Свидрак? — спросил пан Михал, проведя рукой по глазам.

— Опять он. Вас, конечно, интересует, откуда у меня такая уверенность? Элементарно, пан Михал. Точно такой же рисунок Свидрак сделал в моем присутствии. В Гдыне, в кафе «Фрегат». В день своего прибытия на родину. В субботу. А в воскресенье вечером он уже был убит. Можете полюбоваться.— Я вытащил из кармана ту бумажку из блокнота Анджея.— А вот и орудие труда,— я извлек фломастер Свидрака и мазнул зеленой пастой по карточке-формуляру.— Тут уж совпадения быть не может. Да и в истории с репродукцией Сикста Четвертого...

— К чему же мы пришли? — тихо перебил он меня.— Итог?

— Не знаю,— пожал я плечами.— Видимо, к тому, что Свидрак был у вас в доме.

— Что же еще вы хотите?

— Пожалуй, больше ничего. Это ведь не по моей специальности: Между прочим, Рудольф Пельциг...

— Не спешите, Ян. Вы как азартный охотник... Вот почему вы были в Германии!.. Не думал, что журналистские интересы уведут вас так далеко.

— Что поделаешь,— сказал я...

Теперь я вернулся к своим исходным соображениям, которые привели меня к такому финалу, а пана Михала — к майору Войцеху Фисняку. Концепция моя выстроилась из следующих тезисов:

1. Свидрак имел отношение к художественным ценностям: являлся владельцем фирмы.

2. Он как-то был связан с эсэсовцем Пельцигом, который, хотя и по-своему, тоже занимался произведениями искусства.

3. Тогда же, двадцать два года назад, Свидрак передал Малгожате Лапиньской репродукцию портрета Сикста IV.

4. Точно такой же репродукции (не исключено, что именно ее) недоставало в альбоме пана Михала.

5. Свидрак поспешно приехал в Езерно, чтобы с кем-то встретиться. Не был ли этот человек тем, кто стоял между Свидраком и Пельцигом в те далекие годы?

6. Свидрак оставил свой след (зеленым фломастером на карточке-формуляре) в доме у пана Михала.

7. Тогда, может быть, пан Михал и является тем доверенным лицом Пельцига?..

Все эти пункты связывались в единое целое без особых

натяжек и допущений. Что подтвердит, а что опровергнет пан Михал — оставалось ждать недолго, но присутствовать при его допросе мне не хотелось. Я даже не мог себе объяснить толком это нежелание. Фисняк не понял моего отказа, даже был удивлен.

Вечером я просто дважды прослушал магнитофонную запись допроса...

«Ф и с н я к. Когда у вас появился Свидрак?

П а н М и х а л. В воскресенье. Был день моего рождения. Но человек я одинокий, живу замкнуто и гостей не ждал. Такого гостя в особенности. И хотя мы знакомы с тысяча девятьсот сорокового года, меня очень удручил его приезд. О причинах скажу позже. Когда я открыл Свидраку дверь, он, улыбаясь, сказал: «Здравствуй, Михал. Видишь, какой я внимательный. Вчера только прибыл из Англии, а сегодня уже в нашем старом Езерно, ведь у тебя сегодня день рождения».

Ф и с н я к. Вы не виделись двадцать два года. Так? Как он вас разыскал?

П а н М и х а л. Через Международный Красный Крест.

Ф и с н я к. Чем объяснить, что Свидрак помнил ваш день рождения?

П а н М и х а л. Это не случайно. Это, пожалуй, самое главное. В тысяча девятьсот сорок третьем году я пригласил его на свой день рождения. Тогда еще была жива моя сестра. Жили мы бедно, голодно, — одним словом, оккупация. Я выменял на рынке за рубаху бутылку самогона, несколько яиц. На балконе в ящике, где сестра в прежнее время сеяла весенние цветы, у нас рос лук. Сестра сварила из старых яблок подобие повидла. Было немного черного хлеба и картофеля. Вот и весь ужин. Свидрак пришел не один, а с каким-то немцем. Военный шофер, который их привез, внес картонный ящик, и Свидрак стал вытаскивать из него бутылки с венгерским вином, банки с сардинами, колбасу, масло... Я был смущен этим подношением, чувствовал себя униженно. А он усмехался: «Не смущайся, Михал. Господин Пельциг хотел доставить тебе удовольствие», — и оглядывался на немца. Так я познакомился с Пельцигом. Они просидели до полуночи. Пельциг вел себя очень деликатно, всячески подчеркивал, что солдатом его сделали обстоятельства. Много говорил об искусстве. Я же чувствовал себя мерзко.

Ф и с н я к. Как часто потом вы встречались с Пельцигом?

П а н М и х а л. Больше никогда. Хотя издали видел

его несколько раз... Не думаю, чтобы Пельциг утверждал обратное.

Ф и с н я к. Вернемся к вашему дню рождения. Вы упомянули, что считаете тот день в тысяча девятьсот сорок третьем году в чем-то роковым.

П а н М и х а л. Да. Кажется, спустя месяц Свидрак обратился ко мне от имени Пельцига с просьбой. У Пельцига был какой-то знакомый высокопоставленный чиновник по имени Уве Цорн. Он то жил в Езерно, то куда-то исчезал надолго. Так мне говорил Свидрак. Этому Цорну понравился портрет папы Сикста Четвертого, висевший в костеле святого Яна. Цорн хотел иметь точную копию, сделанную под старину. Свидрак попросил меня помочь, пообещал за это немного продуктов. И я направил его к Малгожате Лапиньской. Она была очень талантливая копиистка и реставратор. На всякий случай я дал Свидраку репродукцию портрета из своего альбома и попросил не ссылаться на меня, сказать пани Лапиньской, что он попытается всучить какому-нибудь немцу-любителю эту подделку в обмен на продукты. Тут, правда, я допустил оплошность: забыл потребовать у Свидрака, чтобы он возвратил мне репродукцию. Сейчас сетовать поздно... Но Свидрак обманул меня. Спустя много лет я узнал из западногерманского каталога, что кем-то для частной коллекции приобретен портрет Сикста Четвертого. Таким образом, мы стали обладателями лишь удачной подделки. Я понял, что это дело рук Свидрака и Цорна. Но я молчал, ибо и я был причастен.

Ф и с н я к. Как по-вашему, мог Свидрак иметь отношение к расстрелу тех четырех поляков?

П а н М и х а л. Мог. Здесь тоже в какой-то мере повинен я. В ноябре тысяча девятьсот сорок четвертого года я встретил архитектора Косинского. Мы были не очень близко знакомы, но знали друг друга давно. Он спросил, не знаю ли я, где можно достать машину перевезти какие-то вещи. Я вспомнил, что у Свидрака на складе есть старенький грузовик. Я познакомил их и попросил Свидрака помочь Косинскому. Мог ли я думать тогда, что речь шла не о перевозке вещей! Они попали в засаду в Цитадели. Свидрак пришел ко мне на следующий день. Был он пьян. Странно улыбаясь, он сказал: «Интересные у тебя приятели, Михал. Отчаянные люди. Я благодарен тебе, что ты познакомил меня с этим архитектором. Знаешь, что они хотели украсть? Какое-то имущество господина Цорна». У меня сложилось впечатление, что Свидрак связан с немцами гораздо ближе,

чем я предполагал. Как еще можно объяснить его бегство из Польши?

Ф и с н я к. А как объяснить его желание вернуться спустя двадцать два года?

П а н М и х а л. Не знаю. Мне-то он сказал сейчас, что является английским подданным.

Ф и с н я к. Вы часто встречали Свидрака в обществе немцев?

П а н М и х а л. Ни разу. Он был не так глуп. В те годы легко можно было получить от подпольщиков пулю. Надо полагать, что и немцы за что-то им дорожили и не хотели его дезавуировать.

Ф и с н я к. Не знаете ли вы, что же было в ящиках, которые хотели похитить архитектор Косинский и его друзья?

П а н М и х а л. Возможно, оружие, медикаменты. Но это мои предположения.

Ф и с н я к. Вас смущала лишь этическая сторона появления Свидрака сейчас в Езерно?

П а н М и х а л. Не только. И не столько. Он начал меня шантажировать. Предложил подменить некоторые картины из фондов хранилища фальшивками. Порекомендовал привлечь для этого какого-нибудь талантливому художника. Обещал большие деньги. Я, разумеется, категорически отверг это предложение. Тогда он спросил, как будем выглядеть мы с Малгожатой Лапиньской, если он где-нибудь на Западе печатно напомнит историю с портретом Сикста Четвертого, но в несколько иной интерпретации. И добавил, что в худшем положении всегда тот, кому необходимо оправдываться. Предложил мне поразмыслить.

Ф и с н я к. И все же вы его не выставили.

П а н М и х а л. Да. Мне не хотелось обострять ситуацию. Честно говоря, я был напуган его угрозой. Но решил тянуть с ответом до его отъезда. Тем более когда он упомянул, что ему необходимо в понедельник утром быть в Гданьске.

Ф и с н я к. Что же его задержало?

П а н М и х а л. Смерть.

Ф и с н я к. Когда Свидрак пришел к вам?

П а н М и х а л. Я уже сказал — в воскресенье.

Ф и с н я к. Время?

П а н М и х а л. Часов в десять утра.

Ф и с н я к. А убили его в воскресенье вечером. И мы точно знаем, что ему действительно необходимо было в понедельник утром быть в Гданьске. Как он вам объяснил свое желание задержаться в Езерно?

П а н М и х а л. Сказал лишь, что позвонит в Гданьск о том, что задерживается, что выедет в Гданьск утром в понедельник.

Ф и с н я к. Звонил?

П а н М и х а л. Я знаю, что он вышел от меня часа в три дня с тем, чтобы идти на почту.

Ф и с н я к. Вы не предложили ему позвонить с квартирного телефона?

П а н М и х а л. Не знаю почему, но я этого не сделал.

Ф и с н я к. Когда Свидрак возвратился?

П а н М и х а л. Он больше не возвратился.

Ф и с н я к. Странно. А должен был. Ведь приехал он ради деловой встречи с вами. И коль он решил остаться до понедельника, должен был вернуться, чтобы забрать саквояж с туалетными принадлежностями.

П а н М и х а л. Какой саквояж?

Ф и с н я к. Который вы сдали в камеру хранения в Складзене. По номеру квитанции мы установили, что саквояж сдан около полуночи. Спустя несколько часов после смерти Свидрака. Вы не учли этой нашей возможности... С десяти утра до трех дня, как вы сказали, он пробыл с вами. Когда же он разрисовал формулярную карточку, что вы не заметили? Ведь вы бы не стали хранить этот своеобразный автограф. Логично? Значит, малевал он в ваше отсутствие. А для этого он должен был еще раз прийти в ваш дом.

П а н М и х а л. Да. Он вернулся. Мне просто стыдно было признаться, что я оказал ему гостеприимство.

Ф и с н я к. Вы, конечно, видели фотографию Свидрака в местной газете, знали, что мы его разыскиваем. Почему вы молчали, что он был у вас?

П а н М и х а л. Согласитесь, не каждый захочет афишировать подобное знакомство.

Ф и с н я к. Вы очень ненавидели Свидрака?

П а н М и х а л. Мне вообще чуждо подобное чувство. Скажем так: этот человек был мне просто несимпатичен.

Ф и с н я к. Тогда странно, что вы не остановили руку убийцы.

П а н М и х а л. Я не совсем вас понимаю.

Ф и с н я к. Объясню. Вы стояли в парке за кустами, смотрели и ждали, как поведет себя этот мальчишка Пехник, встретившись со Свидраком.

П а н М и х а л. Вы думаете, что это было так?

Ф и с н я к. Ваш жизненный опыт и интеллект дают мне основание надеяться, что вы хоть в какой-то степени учиты-

ваете и мои профессиональные навыки, и то, что я готовился к этому нашему разговору.

П а н М и х а л. Благодарю вас за комплимент. И все-таки...

Ф и с н я к. Вы хотите, чтобы я продолжал? Хорошо. Пехник выстрелил и уехал. Вы подошли к скамье, убедились, что Свидрак мертв, порылись в его карманах — на всякий случай. Понимаю, это было неприятно. Но кто знает, может, у Свидрака была какая-нибудь бумажка с упоминанием вашего имени. Вы очень волновались. И допустили оплошность: машинально застегнули куртку на мертвом Свидраке.

Пауза.

П а н М и х а л. Это...

Ф и с н я к. Это легко подтверждается тем обстоятельством, что на куртке имеется лишь один пулевой след — выходное отверстие на спине. Спереди же куртка цела, хотя пуля вошла в сердце. Получается, что выстрел был сделан, когда куртка была распахнута. Нашли же Свидрака уже в застегнутой куртке.

П а н М и х а л. Но это мог сделать кто-то другой. Или вы полагаете, что я был в сговоре с этим мальчишкой?!

Ф и с н я к. Отнюдь. Вы просто знали его. Знали, что он сын расстрелянного архитектора Лицена. Но вы почему-то не хотели, чтоб Свидрак и Пехник встретились. С почты на вокзале вы позвонили Пехнику и пытались его отговорить от этой встречи. Вы пугали Пехника. Но не были уверены, что он вас послушает. Вы хотели ожесточить его против Свидрака. Вам помог случай: вы избавились от Свидрака чужими руками. Почему вы так не желали этой встречи?

Пауза.

П а н М и х а л. Я устал... Очень устал... Если можно, давайте продолжим завтра...

Ф и с н я к. Не возражаю. Ответьте только еще на один вопрос, чтобы пока с этой темой покончить. Как пришла вам в голову мысль позвонить Пехнику?

П а н М и х а л. Это очень важно для вас?

Ф и с н я к. Не для меня. Для судьбы Пехника.

П а н М и х а л. Вернувшись из города, Свидрак сказал мне, что видел в кондитерской вдову архитектора Лицена и ее сына и договорился встретиться с ним в парке. Я не понимал, зачем ему нужно это. Я не хотел, чтобы они встретились, я боялся, что Свидрак скажет, что остановился у

меня. Нужно было что-то предпринимать. Я был растерян... И решил позвонить...

Ф и с н я к. Пусть со слабым, но с неким психологическим расчетом. Не так ли?

П а н М и х а л. Да. Так.

Ф и с н я к. Что ж, на сегодня достаточно...»

Мы сидели с Фисняком на причальных мостках лодочной станции, еще тихой и пустынной. Темнели перевернутые днища вытасненных на песок лодок. Окна и двери станции были заколочены досками, на фанерном столбе у причала висел на длинном ржавом крюке спасательный круг с облупившейся краской. У берега, на спокойной озерной воде, плавали старые щепки, куски пакли, обрывки газет. Остро пахло пресной водой и почему-то травой — наверное, озерными водорослями.

— Как вы оцениваете этот допрос, Войцех? — спросил я.

Фисняк помолчал, глядя куда-то далеко на воду, затем, затолкав пальцем в ботинок длинный шнурок, сказал:

— Вроде все в нем есть. И как первая прикидка он годится.

— Вас ничего в нем не смущает?

— Кое-что смущает. Во-первых, уступчивость Щепаньского, он, почти не сопротивляясь, сдавал одну позицию за другой. Во-вторых, такой деловой человек, как Свидрак, обязательно должен был позвонить в отель или Пославскому, предупредить, что может задержаться в Езерно. Правда, Щепаньский упомянул, что Свидрак якобы вышел из дому с намерением позвонить в Гданьск с почты. Но звонка от Свидрака не было. Щепаньскому не пришло в голову, как он говорит, предложить Свидраку воспользоваться домашним телефоном. Но почему эта простейшая мысль не пришла в голову Свидраку? Допустим, Щепаньский не желал, чтоб Свидрака видели выходящим из его дома, чтоб Свидрак вел разговор из его квартиры. Тогда он должен был предложить Свидраку, что сам отправится на почту и от его имени позвонит. Но — опять же — звонка не было. А может, Щепаньский все-таки вышел из дому, через какое-то время вернулся и соврал Свидраку, что уже позвонил, соврал, чтобы скрыть пребывание Свидрака в Езерно? Видимо, Свидрак сообщил Щепаньскому, что о его поездке никто не знает. Может, он решил задержаться в Езерно ради назначенной встречи с Пехником? Неужели она так важна была для Свидрака?..

— Странно, что Щепаньский так рискнул: сдал саквояж в камеру хранения,— сказал я.— Проще было его зарыть где-нибудь, набить камнями и утопить здесь,— показал я на воду.

— Не думаю,— возразил Фисняк.— Он понимал, что мы будем искать саквояж. И исчезновение его истолкуем одним: саквояж остался там, где Свидрак остановился. Щепаньскому очень не хотелось, чтоб у нас даже мысль была, что Свидрак мог у кого-нибудь остановиться в Езерно. И, сдавая в воскресенье, в день приезда Свидрака, саквояж в камеру хранения, он полагал, что заставит нас думать, будто это сделал сам Свидрак: очень логично...

Слушая майора, я мысленно пытался, встав на позицию пана Михала, выдвинуть контраргументы. Я выбросил над ними лозунг: «Логические выводы из цепи фактов не всегда соответствуют фактическим обстоятельствам дела!» Однако эти возражения в чем-то были слабоваты. И я понял: во мне самом утвердилось ощущение противоречивости показаний пана Михала.

— Смотрите, Войцех,— сказал я,— в рассказе доктора Занне прозвучало, что Свидрак не был знаком с Пельцигом. Свидрак интересовался у Занне, кто такой Пельциг, жив ли он, где живет, за что были расстреляны те четверо, имел ли Пельциг отношение к этому. Не очень похоже, что все это Свидрак разыграл перед Занне. Щепаньский же заявляет, что Пельцига к нему в дом привел Свидрак, почти утверждает, что Свидрак как-то связан был с этим расстрелом. Занне говорил мне, как Пельциг хвастался ему, что на след этих четверых полицию вывел его человек. Если это был Свидрак, он должен был знать Пельцига... Ставить под сомнение рассказ Занне — нелепо. Поговорив с Занне о Пельциге, узнав его адрес, Свидрак тут же пообещал Занне, что невинный человек не пострадает. Есть большая вероятность, что для выяснения каких-то вопросов, на которые не смог ему ответить Занне, Свидрак сейчас же отправился к Пельцигу. Сделать это было так просто! Не из их ли беседы Свидрак узнал нечто такое, что заставило его разыскать Щепаньского и, вернувшись в Польшу, поехать в Езерно?

— Но почему так срочно?..

Мне вдруг стало смешно. Я вспомнил, с какой настойчивостью еще несколько дней назад мы, втайне наслаждаясь своими дедуктивными способностями, рассуждали о возможной причастности доктора Занне к смерти Свидрака. И вот сейчас столь же охотно подыскиваем аргументы, чтобы

представить Свидрака жертвой Щепаньского... Однако Фисняка подобные сомнения, пожалуй, не терзали.

— А ведь не похоже, что Свидрак понесся в Езерно, чтобы предложить Щепаньскому сделку с подменой картин,— сказал вдруг майор.— Дело-то свое в Лондоне он продал. Решил вернуться на родину. Истратил много времени и средств на поиски Занне. А может быть, и Пельцига...

— В день нашего знакомства Свидрак сказал мне: «Я вам такое расскажу, что пан сделает себе карьеру»,— вспомнил я фразу Свидрака, которой тогда в душе улыбнулся.— Он предвкушал какую-то сенсацию. Не для того ли, чтобы она прозвучала громче, ему нужно было срочно повидаться со Щепаньским?.. Кстати, деталь: в разговоре Занне со Свидраком последний нисколько не интересовался этим Уве Цорном. Нет ли у вас впечатления, что пан Михал все время как-то отодвигал Пельцига и подставлял в ваше поле зрения Цорна?

Фисняк помолчал, пожевал губами и сказал:

— Цорна я взял на заметку. Надо будет порыться в бумагах...

— Меня занимает еще один вопрос, майор. Если старик так боялся шантажа, то почему после встречи со Свидраком он не спрятал, не уничтожил свой альбом с портретами пап, где не хватало одной репродукции?

— Вопрос логичный. Но и на него есть ответ. Скажем осторожнее — вариант ответа. Разве исключено, что в прошлом их связывало нечто более существенное, нежели история с этим портретом, которая выглядела мелочью? И за четверть века из старческой памяти выпал факт, что в этом альбоме не хватает одной репродукции. Да и не мог Щепаньский предполагать, что где-то у Лапиньских со времен оккупации хранится эта репродукция и что вы ее заполучите.

— Что же дальше? — улыбнулся я.— Все-таки факт, что Свидрак возил какие-то ящики Пельцига на аптечный склад Занне. Так кто же есть кто?

— А на этот вопрос попробуем ответить с помощью самого Щепаньского. Завтра я изложу ему все эти противоречия, пусть уж он подсобит мне... Кто же есть кто? — он покачал головой...

Но до завтра была еще целая ночь. И в ней — такой длинной и мучительной от раздумий, от надсадной работы сердца, нервов и мозга — всего лишь краткое мгновение,

которое напрочь оборвало все, откинуло бытие за грань разумного, за ту грань, какую никто преодолеть не может. Случилось это в третьем часу утра. К пяти часам вся левая сторона тела пана Михала была парализована. Он потерял речь, ни на что не реагировал, лежал, бессмысленно уставившись в потолок...

— Тут надеяться не на что,— сказал врач Фисняку, хмуро стоявшему у окна, за спинкой кровати.— Инсульт. Процесс почти необратимый. У него родственники есть?

— Нет,— ответил я.— Он одинок...

Мы возвращались в Гданьск машиной. От бессонной ночи, от волнения трещала голова. Высмалив натошак полпачки сигарет, я ощущал во рту кисловатый привкус дыма, хотелось смыть его глотком крепкого чая с лимоном... Все окончилось неожиданно, бесперспективно, и ни о чем уже не хотелось думать. Уезжая из Езерно в этот раз, пожалуй, навсегда, я даже не зашел к Лапиньским, хотя такое намерение было...

Вечером Мацек, майор и Анджей решили устроить мне проводы. Мы пошли в ресторан «Янтарь» на Длуги Тарг.

— Он в худшем положении, чем ты,— сказал мне Мацек, говоря о Фисняке.— Ему-то придется перелопачивать это мутное дело. А для тебя оно уже кончилось. Правда, неизвестно — отверчусь ли я.

— Яна ты не жалеешь, Мацек,— хмыкнул Анджей.— Не смотри на его страдальческое лицо. Он воспрянет духом, едва вернется в Варшаву.

Я понимал, что они пытаются меня подбодрить.

— Что будем есть? — спросил Мацек, беря в руки меню.

— Только не рыбу,— взмолился Анджей, зная вкусы Мацека.— Я хочу кусок мяса. И все хотят мяса...

После «выборовой» стало легче. Даже мрачно молчавший Фисняк наклонился ко мне и сказал:

— Вы оставьте мне свой адрес, Ян. И телефон.

— Конечно,— ответил я.

* * *

Прошло три недели. Работу я почти закончил, и приятели уговаривали меня показать рукопись редактору. Я не поддавался, хотя понимал, что имею право на публикацию. Я ведь писал не роман, когда заранее знаешь, чем все кончится, и где поставишь последнюю точку. Это, по сути, по-

весть-репортаж, точку в ней поставила жизнь, не спрашивая у меня, хочу я этого или нет, удовлетворен ли будет читатель или воскликнет: «А почему нет конца?!» Так вот, несмотря на уговоры и эти соображения, я решил еще подождать. И вот почему. Мой коллега, аккредитованный в Бонне, ездил по моей просьбе в Руммельсдорф, чтобы поговорить с Пельцигом. Но тот отказался его принять. Майор Фисняк перевернул кучу старых бумаг в своем ведомстве и в архивах партизанского движения. Сохранились партизанские и послевоенные списки наиболее заметных гитлеровских бонз, «отличившихся» на территории генерал-губернаторства, с пометками об их передвижении по службе и об их дальнейшей судьбе. И тут выяснилось, что господин Уве Цорн, о котором говорили Занне и Щепаньский, бежал из Польши вместе со всем стадом, сцапали его американцы. По сведениям отдела памятников культуры, искусства и архивов штаба 3-й американской армии, Цорн был передан польским властям. Наши тут же отдали его почему-то (позже я, правда, понял, почему) полицейскому управлению Восточного Берлина. Это было сразу после войны, еще до образования ГДР. Я написал приятелю из «Нойес Дойчланд», который одно время работал в Варшаве, попросил попытаться разыскать следы Цорна. И через две недели получил ответ, что Уве Цорн, гражданин ГДР, жив-здоров, проживает в Рангсдорфе, под Берлином. Еще через две недели с новой командировкой в кармане я отправился опять в ГДР: шутка ли — нашелся Уве Цорн!

Итак, Уве Цорн...

* * *

Он сидел на тахте по-домашнему — в куртке из мягкой серой фланели, держал на согнутой руке сиамского бесхвостого кота, другой рукой привычным движением гладил его по короткой коричнево-фиолетовой шерсти. Глаза у кота были свирепые, морда маленькая, злая; казалось, он не испытывал никакого удовольствия от нежного прикосновения знакомой руки, а лишь терпеливо сносил прихоть: мол, так и быть — наслаждайся.

— Что же вы хотите знать об Уве Цорне? — спросил хозяин.

— Все, что знаете вы, — откровенно сказал я.

— Это и просто, и сложно, — покачал он головой. — Вроде никто лучше меня и не знал Цорна, однако не уверен,

смогу ли я быть объективным. Дело-то в том, что было два Уве Цорна, хотя и в одном лице,— улыбнулся он.

— Как это? — шевельнулся я в кресле.

— Леон, Леон, успокойся,— придержал он рукой выгнувшуюся спину кота, словно возмущившегося моим движением.— Для вас мне придется заполнить маленькую анкету. Устную, разумеется,— улыбнулся он снова.— Начать придется с факта моего рождения в Германии, в Брауншвейге. Отец мой был швед, мать немка. Пяти лет от роду вместе с родителями я переехал в Стокгольм, где жил дядька — брат отца — владелец небольшой фирмы спортивных товаров, которую со временем я принял в наследство. Отец мой был человеком прогрессивным, поддерживал тесные связи с левым профсоюзным движением. Знаете, даже был знаком с Фритьофом Нансеном, участвовал с ним в сборе средств для голодающих Поволжья...

С тревогой мы следили, как Гитлер шел к власти. Мне были ненавистны его лицемерные и в то же время циничные речи, рассчитанные на инстинкт толпы. В то время я уже заканчивал экономический факультет. Все друзья мои были антифашисты. Это, разумеется, определило и мое отношение к тому, что происходило в мире. Правда, иной раз чувствовал себя неловко: ведь мой отец и дядька — совладельцы процветающей фирмы. Но однажды один товарищ мне сказал: «Ты, Уве, славный парень и знаешь, чего хочешь. Не огорчайся. Мы верим тебе. И учти: борьба с наци требует разной тактики, ты можешь понадобится делу именно как будущий владелец солидной фирмы».

Цорн мягко опустил кота на пол и прошел к письменному столу.

— Этого, я думаю, достаточно,— сказал он.— Все остальное, то есть главное для вас, вы узнаете из моих записей. Сделаны они после войны, по памяти. Годы идут, память слабеет. А время это было сложное, но и дорогое — молодость ведь! Не хотелось бы, чтоб все исчезло бесследно. Записи эти вы мне должны обязательно возвратить...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИЗ ЗАПИСОК ЦОРНА

Жил я в Езерно — тихом небольшом польском городке, в коттедже, который подыскал мне Пельциг. Дом принадлежал пожилой польке пани Сенк. Муж ее до войны держал конюшни для ипподромов, умер перед оккупацией от цирроза печени. Все четыре комнаты — три наверху мои и одна внизу, где жила пани Сенк, — были заставлены тяжелой мебелью из махоня, фотографии и гипсовые барельефы лошадей разной породы красовались на стенах...

Зима стояла сухая и снежная. Последнее время меня мучила бессонница, и, лежа по ночам в постели, я слушал, как за окном на ветру скрипит высокая сосна, как звякает железная гофрированная коробка для противогаза на боку у часового, охранявшего мой коттедж. Часовому, наверное, было холодно; шаркая, он топтался под окнами, пристукивая жесткими одеревеневшими каблуками.

Я не хотел привыкать к снотворному, понимал, что просто очень устал, надо войти в режим сна, держать нервы в узде. Но оттого, что понимал, бессонница и раздражительность не покидали. Начитавшись днем сводок с фронтов и статей немецких военных корреспондентов, ночью, лежа с открытыми глазами, я старался представить себе те места России, о которых говорилось в немецких сводках. Я видел ровные заснеженные степи, где по зачерстневшей корке ветер с шорохом гнал белые метельные смерчи; чернели костяки печей сожженных деревень с аспидно-черными остывшими головешками, задубело раскачивались на виселицах трупы; увязая в снегу, шли люди — в лохмотьях, с глазами, в которых шевелился голод...

Приемник — небольшой «Кертинг», стоявший в столовой, — я слушал редко: Берлин мне был ни к чему, а московские передачи по-немецки нельзя — пани Сенк целыми днями торчала в доме.

Однажды я вернулся в неурочное время. Дверь была открыта, я вошел в столовую и успел заметить, что пани Сенк вздрогнула и отошла от приемника. Я подумал, что она просто напугана неожиданным моим появлением. Но, положив ладонь на заднюю картонную стенку приемника, я ощутил тепло. Не меняя волны, включил приемник. Лампы нагрелись быстрее обычного, и из динамика зазвучала польская речь: вещал Лондон.

Бледная пани Сенк остолбенела у двери.

— Что же они передавали? — спросил я, выключая приемник.

— Я случайно, герр Цорн... Клянусь вам, случайно, — лепетала женщина.

— Неправда. Приемник вчера был настроен на Берлин, — припирал я ее.

— Прошу вас, пожалейте меня, герр Цорн... Просто не знаю, как это вышло. Рука сама потянулась...

— Так нельзя, пани Сенк. За эту неосторожность вы можете оказаться в гестапо.

— Но вы не донесете на меня, правда? — взмолилась женщина. — Ведь я за вами так хорошо ухаживаю... И кофе всегда вовремя, и белье стираю, как мужу не стирала... Я что-то сообщу вам, герр Цорн... Относительно вас... Если вы не выдадите меня...

— Сядьте, пани Сенк. На этот раз я вас пожалею... Сядьте же! Что вы хотите сообщить?

Оглянувшись на дверь, женщина торопливо зашептала:

— Перед тем как вы поселились, меня вызвал герр Пельциг. Он велел мне следить за вами и все ему рассказывать... Только, ради бога, не говорите ему об этом... Он сказал, что будет давать мне продукты... А если я откажусь или стану врать, пригрозил отправить в Аушвиц.

— Что же вы успели ему сообщить? — спросил я, оценивая ситуацию.

— Ничего, герр Цорн! Клянусь богом, ничего...

— Что мне делать с вами, пани Сенк?.. Ладно! Идите и забудьте все, что вы тут делали и говорили. А господину Пельцигу будете сообщать то, что я вам прикажу. Вы поняли?! Идите же!..

«Сволочь, — подумал я о Пельциге. — Беклиц натаскивает его на меня... Что-то не дает Беклицу покоя...»

...С Беклицем я был знаком еще по Стокгольму как владелец фирмы спорттоваров «Спорт-Хьеллан и Цорн». Беклиц стоял во главе «Нордише гезельшафт» — «Северного общества» — пропагандистской организации нацистов в Стокгольме. Я знал, что она занималась не только пропагандой успехов третьего рейха и идей Гитлера. Через нее устанавливались контакты между шведскими промышленниками и заказчиками из министерства вооружения Германии. Сидели, наверное, там люди и из разведслужб. Впервые в «Нордише гезельшафт» меня привел Гуго Штайнер, приехавший за полгода до XI Олимпийских игр в

Стокгольм вести переговоры с моей фирмой. Об этом стоит рассказать подробней, так как вся эта история будет иметь отношение к дальнейшему.

Гуго Штайнер произвел странное впечатление. Крепыш с раздувшейся от мышц шеей и сплюснутым носом боксера, добродушный, грубоватый, помешанный на спорте малый, Штайнер в недавнем прошлом был чемпионом Германии в полутяжелом весе. Ринг он оставил и ушел в ведомство Ганса фон Чаммлера унд Остена — тогдашнего спортивного руководителя Германии. Занимал там высокий пост.

— Господин Цорн, — сказал тогда Штайнер, сидя у меня в кабинете, — мне выпало счастье говорить с вами от имени страны — устроительницы Олимпиады. — И, тут же сбившись с высокого штиля, Штайнер улыбнулся. — Мы хотим заказать у вас кое-какое оборудование и инвентарь. Все-таки четыре стадиона, бассейны, корты, гимнастические залы! Это должен быть такой спортивный праздник, чтоб все ребята запомнили! Вот список того, что нам нужно. Мой шеф, господин фон Чаммлер унд Остен, просил вас приехать и посмотреть на месте весь комплекс. Тогда вам легче будет давать нам рекомендации...

Я согласился выехать в Берлин. А накануне отъезда Гуго Штайнер привел меня в «Нордише гезельшафт» на вечеринку и представил меня там как лучшего друга Германии, который поможет ей стать самой приятной страной для спортсменов из 51 государства...

В Германии я в сопровождении Штайнера и еще каких-то важных лиц посещал строящиеся объекты, высказывал свои соображения, побывал в районе Доберица, где сооружался Олимпийский городок: 140 одноэтажных домов, снабженных всеми возможными удобствами...

Штайнер был горд и счастлив, что привез меня, такого полезного человека.

Фирма моя выполнила немецкие заказы в срок и выше всякой похвалы. По распоряжению фон Чаммлера унд Остена Штайнер прислал мне пригласительный билет на Олимпийские игры. Билет этот был вручен в «Нордише гезельшафт».

На игры я приехал 28 июля. Гуго Штайнер встречал меня на вокзале как давнего приятеля. Незаметно мы перешли на «ты».

— Ну как? — спросил я, когда мы ехали в машине по празднично иллюминированному Берлину.

— Все прекрасно! Ты увидишь, все будет отлично. —

Склонившись, Штайнер прошептал: — Фюрер распорядился дважды дать письменные обязательства, что на играх евреи не будут подвергаться дискриминации... Гениально!..

В день моего отъезда домой, прощаясь, Штайнер растроганно сказал:

— Знай, Уве, что у тебя в Берлине есть я. И, значит, все остальное, чем я располагаю.

— Спасибо, Гуго. Только не надо так торжественно, — смеясь, я похлопал Штайнера по плечу.

— И помни, что ребята из «Нордише гезельшафт» всегда будут рады тебе...

Внешне Германия производила впечатление благополучной и единой. Но я-то знал, что концлагеря забиты тысячами непокорных. Будучи в Берлине, я передал немецким антифашистам деньги и адреса для переправки в Швецию и Швейцарию тех их товарищей, чей след уже взяло гестапо. Это была одна из целей моего посещения Германии...

В один из дней я возвращался на машине из Сигтуны. Шоссе было мокрым, шел снег с дождем, но, слава богу, встречного движения почти не было. Перед моими глазами, подергиваясь, приплясывал на резиновой нитке смешной плюшевый тролль, привязанный к зеркальцу.

Я спешил: на три часа дня я был приглашен на обед промышленником, совладельцем верфи в Гётеборге Хильдингом Дальгреном. Я терялся в догадках: что ему нужно от меня — никаких деловых контактов прежде у нас не было.

До Стокгольма оставалось километров тридцать. За темной дубовой рощицей снова открылась равнина с мягкими линиями некрутых холмов, в которые выросли тяжелые валуны. Рядом с рощей — богатая мыза, крашенная охрой. Особенно хороши эти мызы в осенний солнечный день, в закатный его час, когда от стелющихся лучей оконные стекла и охра пылают на фоне еще зеленой рощи...

Но шел снег с дождем. Ветер гнал по Меларену низкую, без белых гребней волну, отчего озеро казалось покрытым темно-серой гофрированной пленкой.

Обед Дальгрэн устроил в отдельном кабинете. Он пришел минут за десять до меня. Стол уже был сервирован.

Мы поздоровались.

— Какое сегодня число, господин Цорн? — спросил, улыбаясь, Дальгрэн.

Я назвал.

— Совершенно верно. Что произошло в этот день в тысяча четыреста восемьдесят третьем году?

Вопрос был неожиданный.

— Родился Мартин Лютер! Что едят шведы в этот день? — не унимался Дальгрэн.

— Разумеется, жареного гуся!

— Полагаю, мы с вами не станем попираť традиции... Приступим...

Потом мы ели сыр, пили кофе со сливками.

Когда закурили, Дальгрэн без обиняков сказал:

— Вы очень сдержанны, господин Цорн, хотя все время думаете, зачем я пригласил вас. Мне нравится ваша выдержка, и я не стану вас томить. Немцы с каждым днем все больше проявляют интерес к возможностям нашей промышленности. У них острая потребность в вооружении. Я знаю, что у вас хорошие отношения с немецкой колонией здесь. Сейчас к ним зачастили заказчики из министерства вооружения Германии. Германия не хочет размещать свои заказы у нас через торгпредство, во всяком случае старается свести этот способ до минимума: избегает гласности. Все делается через эмиссаров, которые, прибывая к нам, даже не заходят в свое посольство. Я хочу получить кое-что из этих заказов, господин Цорн.

— Это непросто, господин Дальгрэн,— сказал я, задумчиво помешивая ложечкой кофе.

— Я знаю. Можете пообещать им выгодные кредиты и сжатые сроки.

— И это еще не все,— подогревал я его.

— Вы имеете в виду свои интересы? — спросил он.

— Вы угадали. Но этот процент я хочу получить не с вас, а с немцев,— сказал я, прикидывая возможные последствия этого разговора.

— Вашу любезность я не забуду, господин Цорн,— произнес он благодарно.

— Но для того чтобы я знал свои комиссионные, я должен знать сумму, на которую немцы разместят заказ.— Как коммерсант, я должен был блюсти свои интересы.

— Вы так не доверяете немцам? — удивился Дальгрэн.

— Я доверяю вам, господин Дальгрэн, и предпочитаю узнать эту цифру от вас,— твердо сказал я.

— Хорошо,— согласился он.

— В таком случае я попробую вам помочь. А кого из своих друзей вы хотели бы подкормить за счет немцев? — спросил я.

— Вы великолепны! — засмеялся Дальгрэн. — Скажем, предприятие слаботочных приборов Мэкклунда. Думаю, и он когда-нибудь это оценит.

— Вашей рекомендации для меня достаточно, — сказал я. — А гусь был превосходный.

— Сколько вам лет, господин Цорн? — вдруг спросил Дальгрэн.

— Тридцать.

— К пятидесяти вы будете очень богатым человеком, — пророчески произнес он. — Вы уже почти все умеете...

Расстались мы довольные друг другом...

Слух о моих пронемецких взглядах, о хороших отношениях с немецкой колонией в Стокгольме был полезен во всех отношениях. Теперь это достигло ушей промышленников, заинтересованных в немецких заказах. Германия вооружалась. Я понимал, что срывать размещение немецких заказов в Швеции будет почти невозможно, но утешался, что появится возможность хотя бы через прессу информировать мировую общественность о характере и масштабах этих заказов.

В «Нордише гезельшафт» я бывал вторую и последнюю пятницы каждого месяца. На так называемых товарищеских ужинах. В этот раз мне бросилось в глаза, что здесь появились новички: люди интеллигентного вида, с внимательными глазами.

Обязанности хозяина-распорядителя, как всегда, выполнял Конрад Беклиц.

— Господин Цорн, — взял он меня под руку, — мы очень дорожим теми, кто с пониманием относится к потребностям возрождающегося немецкого духа в нашей стране, — заговорил он патетически. — Разрешите представить вас моим новым товарищам...

Процедура знакомства прошла быстро. Я успел отметить, что наиболее независимо вел себя седоголовый крупный мужчина с озорно поблескивающими карими глазами. Звали его Отто Риттер. Меня усадили рядом с ним за торцовую, почетную, часть стола. Мне показалось, что это не случайно. Здесь ничто не могло быть случайным: ни сказанное слово, ни брошенный взгляд, ни угол — больший или меньший, — под которым в поклоне сгибалась чья-либо шея...

Пиво пили из старинных глазурованных кружек с тяжелыми свинцовыми крышками. Пили, весело, дружно, шумно болтая. Не очень усердствуя, играл в эту игру и я.

— Вам не надоела эта имитация? — тихо спросил у меня Риттер, кивнув головой на застолье.

— Я — гость, — в меру удивленно ответил я.

— Может быть, в Стокгольме есть более интимные места? — спросил Риттер.

— Удобно ли? — Я понял: что-то начинается.

— А вам не приходила в голову мысль, что вас пригласили ради меня? — спросил он.

— Ради вас? — удивился я.

— Представьте. Так что же, есть в Стокгольме более интимные места? — настаивал Риттер.

— Разумеется. Скажем, кабачок «Отдых Бельмана», — предложил я.

— Кто это — Бельман? — поинтересовался он.

— Был такой поэт в конце восемнадцатого века, — успокоил я его.

Риттер встал, подошел к Беклицу и что-то шепнул ему. Я видел, как Беклиц согласно закивал головой.

Удалившись сперва в курительную комнату, мы вскоре незаметно ушли вообще...

— Вы меня заинтриговали, герр Риттер, — сказал я, когда официант, приняв заказ, оставил нас вдвоем.

— Мне рекомендовали вас как человека, симпатизирующего Германии и способного оказать содействие.

Я поклонился.

— Я прибыл, чтобы разместить кое-какие заказы на шведских верфях, — начал он без вступления.

Это был почти сюрприз, но я сдержанно спросил:

— Вы думаете, я смогу помочь вам больше, чем ваше торгпредство здесь?

— Я прибыл неофициально... Кроме того, ваши связи... Мы надеемся на определенные льготы. Если вы согласитесь, ваши коммиссионные могут возрасти вдвое, господин Цорн.

— Каким образом? — спросил я. Мне нравилась его напористость.

— Через некоторое время сюда прибудет с такой же миссией некто Вильгельм Рейш. И я смогу ему порекомендовать вас, — сказал спокойно Риттер.

— Степень его полномочий?

— Достаточная,— усмехнулся Риттер.— Он капитан первого ранга.— И тут, спохватившись, словно сболтнул лишнее, сказал: — Разумеется, наш разговор конфиденциальный. Характер заказов таков, что мы не можем дразнить гусей... Но вас я посвящу,— сказал он после паузы, глядя мне в лоб.

— Эта сторона меня не интересует,— отмахнулся я.— Ответ я вам дам через день.

— Что вас смущает, господин Цорн?

— Мои возможности...

В тот же вечер я позвонил Дальгрёну:

— Господин Дальгрён, говорит Цорн. Вы не смогли бы сделать мне одно одолжение?

— Для вас — любое,— мягко прошелестел голос в трубке.

— Некто герр Отто Риттер хотел бы разместить у вас заказы на льготных кредитных условиях. Когда бы вы смогли принять этого господина? — торжественно произнес я.

— Вы феномен, Цорн,— расхохотался Дальгрён.— Уже?!

— Как видите. Ваш приятель Ивар Мэкклунд, вероятно, тоже не останется обойденным.

— Молю бога, чтобы я имел возможность когда-нибудь вас отблагодарить.

— Думаю, господь услышит вашу молитву,— ответил я...

Вот отрывок из информации, которую я спустя неделю после этих событий анонимно отправил в ведущие шведские газеты и в зарубежные агентства печати: «...военно-промышленные эмиссары Германии ищут неофициальных контактов с местными промышленниками: у Хильдинга Дальгрёна размещен заказ на валы и гребные винты на миллион двести тысяч крон. Однотипность и стандарт параметров и другие данные говорят об их назначении: военные суда, вероятнее всего,— подводные лодки одного класса. Сделку заключил Отто Риттер — представитель министерства вооружения. Заказчиком специального телефонного оборудования для внутренней связи (для крупнотоннажных военных судов) и спецэлектрооборудования был Вильгельм Рейш, капитан первого ранга. Заказ размещен на фирме слаботочных приборов Ивара Мэкклунда...»

Это имело последствия: через две недели с необходимым комментарием советское посольство, основываясь на сообщениях западной прессы, информировало МИД Швеции о настойчивости, с какой немцы, избегая гласности, заключают тут сделки при посредничестве ряда шведских коммерсантов, в частности таких, как владелец фирмы спорттоваров Уве Цорн. В «Гётеборгской промышленной газете» некоторые крупные шведские коммерсанты выразили обеспокоенность размахом строительства в Германии мощного флота, требовали перенесения всей внешней торговли в Гётеборг, в порт на Северном море, чтобы в случае войны не зависеть от Балтики, где немцы могут стать хозяевами. Затем все это подхватило агентство Рейтер как факт равнодушия, с каким Швеция рискованно для своей безопасности способствует подготовке Германии к войне. В Берлине неистовствовали, требовали расследовать, каким образом утекла такая информация. У меня раздавались анонимные звонки, неизвестные обзывали меня штурмовиком. Какая-то газета сообщила, что я специально ношу коричневый костюм, коричневый галстук и в тон к ним ботинки. Другие газеты брали меня под защиту: мол, я всего-навсего коммерсант, а не политический делец.

Позвонил и Конрад Беклиц из «Нордише гезельшафт».

— Господин Цорн,— очень вежливо сказал Беклиц,— я и мои товарищи выражаем вам сочувствие в связи с этой оскорбительной трескотней вокруг вашего имени.

— Вы о чем говорите, Беклиц?! — оборвал его я.— О каком сочувствии? Почему вы решили, что я нуждаюсь в сочувствии, а не в поздравлении?

— Простите, вы меня не так поняли! — заторопился Беклиц.

— Надеюсь. Потому что из Берлина меня именно поздравили и сообщили, что там вся эта газетная шумиха вызвала ко мне лишь уважение, а не сочувствие,— сблефовал я.— Всего доброго, герр Беклиц,— пресек я разговор, нажал на рычаг и медленно опустил трубку. Пусть попробует, сукин сын, проверить, кто меня поздравил...

Лишь один человек догадывался, каким образом утекла эта информация: седоголовый Отто Риттер — представитель министерства вооружения Германии, которого я свел с Хильдингом Дальгреном. Однако Риттер молчал. Но я понимал, что Беклиц раскапывать все начнет именно с него. Во всяком случае, поступить так было бы логично...

Настроение было паршивым. В Испании мы проиграли первую битву с фашизмом.хлопот в это время у меня было

много: позаботиться об участии тех солдат Интербригад, кому по разным причинам невозможно было возвратиться в свои страны,— необходимо было обеспечить им хоть временно сносное пристанище; нужно было подыскать, арендовать и оплачивать жилье для антифашистов и их семей, которым удалось бежать из Германии...

Сразу же после Нового года я получил из Берлина шифрованное письмо от немецких подпольщиков: «Найдите возможность открыть филиал фирмы в Германии с постоянным пребыванием там». Я понял, что в этом, видимо, есть большая нужда, немецким товарищам, очевидно, нужен был человек с легальными возможностями. У меня была двоюродная сестра. И я подумал, что в случае, если уеду, дела фирмы сможет вести ее муж.

Я понимал, что Германия, с ее совершенным аппаратом фильтрации, слежки, глобального надзора, породившего атмосферу взаимного недоверия, подозрительности и разобщенности,— тяжелое место для работы. Нелегко будет привыкнуть к постоянно звучащему слову «гестапо». И, честно говоря, я боялся такой перемены. Но смалодушничать оказалось тяжелее, чем переехать в Германию.

Парк Сан-Суси выглядел неуютно. Весна 1939 года была гнилой. На окнах дворца темнели опущенные жалюзи. Фонтаны не работали. Статуи ротонды Жана Пигалья были прикрыты на зиму специальными ящиками. Сквозь осевший серый снег на лужайках проглядывала прошлогодняя трава, а в прудах вместо белых лебедей покачивались в сизой воде льдинки. Накрапывал дождь.

Я и Гуго Штайнер стояли у бронзовой, с прозеленью, огромной фигуры Христа. Иисус не походил на мученика. Скорее на атлета — узлы тяжелых мышц, могучий торс, по которому стекали струйки таявшего снега и дождя. Здесь было особенно сыро. Я чувствовал, как зябнут ноги. Штайнеру хорошо было в сапогах. Теперь он носил черную форму СС как один из руководителей военно-спортивных организаций «гитлерюгенда». Кроме того, он являлся инспектором спортивных циклов в школах унтер-офицеров СС. Штайнер был рад моей идее переехать в Германию и открыть здесь филиал фирмы. Он уговорил меня поселиться в Потсдаме, где жил сам, и подыскал мне трехкомнатную квартиру на тихой улице недалеко от конного манежа.

Создание филиала фирмы и открытие двух ее магази-

нов — в Берлине и Дрездене — шло туго: сопротивлялись немецкие конкуренты. Меня это устраивало: улаживая отдельные вопросы с помощью приятелей Гуго, я не спеша, с выбором завязывал обширные знакомства в различных ведомствах, обживался в новой, не всегда ясной среде.

Уезжая из Стокгольма, я попрощался с людьми из «Нордише гезельшафт». Особенно тепло — с Конрадом Беклицем. Извинился перед ним за резкость в последнем телефонном разговоре. Беклиц был рад и понимающе кивал. Он полагал, что у меня есть в Берлине влиятельные знакомые, и терялся лишь в догадках, кто они...

— У тебя плохое настроение,— сказал Штайнер.— И совершенно напрасно, Уве. Ты увидишь, все утрясется. Твои заслуги помнят и сделают все, что можно. Кроме того, я очень надеюсь на Бруно Нойберта...

Нойберт был земляком, школьным другом Штайнера и занимал большой пост в партийной канцелярии. Три дня назад Штайнер восторженно отрекомендовал ему меня и попросил помочь...

— Настроение хорошее, Гуго. Просто дурная погода и сыро ногам,— отозвался я.— Пойдем-ка лучше чего-нибудь выпьем.

Колокол на старой ратуше бил полдень. Мы вышли, миновали обелиск и портал Кнобельсдорфа и двинулись к центру города. Даже в эту пасмурную погоду хорошо была видна венчавшая Дом Кнобельсдорфа позолоченная фигура человека, держащего земной шар...

Нойберт принял меня, помню, в среду, в конце рабочего дня.

— Садитесь, господин Цорн,— сказал он.

— Благодарю вас, господин Нойберт.— Я поклонился.— Я полагал, что мой вопрос не столь серьезен и его можно будет решить в инстанциях пониже. Право же, мне неловко. Штайнер перестарался.

— Гуго не виноват,— возразил он.— Я сам захотел познакомиться с человеком, симпатизирующим нашей стране. Мы умеем быть благодарными.— Нойберт погладил светлые брови.— Вы хотите открыть филиал своей фирмы и два магазина. Мы поможем вам открыть не просто два магазина, а первоклассные салоны шведских товаров. Но вместо филиала фирмы я хочу предложить вам другое,— он опустил голову.— Мы создадим смешанное шведско-немецкое бюро

по приобретению и сбыту художественных ценностей и антикварных изделий. И возглавите его вы. Как коммерсант вы должны понять огромные возможности этого дела. Частный капитал плюс надежная государственная поддержка.

— Но я ничего не смыслю в искусстве,— признался я честно.

— Это не требуется. Мы укомплектуем для вас превосходный аппарат. При нашей централизованной и точной системе он будет работать безотказно. Буду откровенен: нас устраивает именно смешанный шведско-немецкий вариант такого бюро,— сказал Нойберт.— Вы располагаете возможностью бывать в любой стране. Вы — коммерсант, господин Цорн,— Нойберт нажал на последние фразы.

Я не понимал, куда он клонит, но почувствовал, что речь идет о какой-то ширме.

— В ближайшие месяцы вы убедитесь в перспективности дела, которое я предлагаю вам возглавить. Я хотел бы предложить вам также пост коммерческого советника в исследовательском и просветительском обществе «Наследие». — Заметив недоумение в моих глазах, Нойберт порылся в ящике стола и протянул мне проспект: — Познакомьтесь.

Это был устав какой-то организации. В параграфе 2-м от 1 января 1939 года говорилось: «Исследовательское и просветительское сообщество «Наследие», созданное по желанию фюрера в апреле 1937 года, имеет своей задачей исследовать распространение, дух, воздействие и наследие нордической индогерманской расы; итоги этих исследований в соответствующей форме отразить и распространить в народе».

— Это как-то будет связано с делом, которое вы предлагаете развернуть мне? — недоуменно спросил я, возвращая устав.

— Очень тесно. В самом ближайшем будущем.

«Зачем я ему там нужен, в этом «Наследии»? Да еще коммерческим советником», — мучительно думал я.

— Ваши предложения, господин Нойберт, очень неожиданны. Мне нужно подумать. Через несколько дней я дам ответ,— сказал я.— Надеюсь, если я вынужден буду отказаться, это не повлияет на ваше обещание оказать мне содействие в открытии магазинов моей фирмы и ее филиала в Германии?

— Нет, нет,— быстро сказал Нойберт, однако в голосе

его прозвучало огорчение.— Мое обещание остается в силе. Но вы не захотите отказаться. Если, конечно, умеете заглядывать в будущее...

...Через три дня я дал согласие. Нойберт был доволен. Обсуждая возникшие вопросы, Нойберт удивил меня осведомленностью до мелочей и исчерпывающим решением каждого пункта.

— И последний вопрос,— вежливо сказал я.— Видимо, мне полагается знать, кто опекает общество «Наследие»: какое министерство? Ведь оно, насколько я понял, пользуется государственными ассигнованиями.

— Шеф — Гиммлер,— после паузы коротко бросил Нойберт.— Но коммерческим советником там будет наш человек — вы!— И, поняв, что это грубо, смягчил:— То есть человек, облеченный нашим доверием...

Неясно представляя себе, что конкретно могло интересовать Гиммлера в просветительском учреждении, я все же уловил, что Нойберт хочет иметь там своего человека. И я — шведский коммерсант, лицо нейтральное — очень устраиваю партийную канцелярию для такой роли. Устраивало это и меня...

Хлопот было много: поиски помещений для складов, для самого бюро, комплектование аппарата сотрудников. Я весь ушел в эту работу, одновременно занимаясь делами, связанными с открытием двух спортзалов — в Дрездене и в Берлине. Машина, пущенная Нойбертом, работала безотказно. Людей различных специальностей для будущего смешанного немецко-шведского бюро по приобретению и сбыту художественных ценностей поставляла канцелярия, подбирал их Нойберт. Я знакомился с ними, выясняя степень квалификации...

Все это я сообщил при первой же встрече представителю немецкого антифашистского подполья. Им оказался молодой парень в мешковатом, как бы случайно купленном костюме.

— Йорк,— представился парень.

Я понял: ведь под этим именем я был зашифрован у немецких подпольщиков.

— Вы всё сделали правильно,— сказал он.— Очень важно войти к ним в доверие. У нас таких людей уже почти нет... Очень важно. И не так просто. Гестапо умеет работать, мы это ощущаем. Понимаете, как вы нам не-

обходимы?! У вас в руках может оказаться самая разнообразная и неожиданная информация. Теперь у нас есть связь — рация. Она в моей машине, в ящике, сделанном как второй аккумулятор. Я работаю на заводе «Альфред Тэвес АГ» шофером на автоцистерне. Зовут меня Зигфрид Ремер. Можете звать просто Зиги.

Я поднял на него глаза.

— Будьте осторожны. Кристоф Хансель, через которого мы держали связь с вашими товарищами в Стокгольме, застрелился, когда гестапо его обложило.

— А как же вы?..— спросил я.

— Считайте, что мне повезло... Мы с ним редко встречались. Все — через «почтовый ящик». Он жил в районе Лихтенберг на Магдалененштрассе. Он был из группы «Рот Фронт». У него была аптека. Они выпотрошили его квартиру и аптеку, но ничего не нашли. Это мне удалось узнать... Но с его провалом мы потеряли печатный станок. Он был у него под аптекой в тайнике.

— Вы никогда не видели его с кем-нибудь? У него мог быть приятель?— спросил я.

— Вы думаете, если он что-нибудь хранил, то не дома.

— Да.

— Не знаю. Правда, однажды он сказал мне: «Зиги, у меня сегодня день рождения. Мне не хочется говорить о делах. Я ведь пришел на свидание». Я понял, что он имел в виду не меня,— в руках у него были цветы. О деле, конечно, мы поговорили. И когда я собирался уходить, он сказал: «Зиги, я хочу показать вам женщину, которую очень люблю. Погодите минутку, у нее сейчас заканчивается рабочий день». Женщина вышла из салона мод на Буххольцерштрассе. «Вот идет Зофи,— сказал он.— Она хорошенькая, правда?» Я согласился. Она была совсем некрасивая: маленькая, очень рыжая. Когда она переходила улицу, направляясь к нам, Кристоф сказал: «Теперь уходите, Зиги...» Я хотел поговорить с нею после гибели Кристофа, но товарищи запретили: боялись, что она на крючке у гестапо... Сейчас уже можно попробовать, прошло достаточно времени...

Мы оговорили с Зиги различные варианты связи и в одно из следующих свиданий продумали план встречи с Зофи, при которой Зиги меньше всего бы подвергался риску.

...Каким бы ни было мое официальное положение, я по-

нимал, что в этой стране, где люди следят друг за другом, по принуждению или добровольно, где донос, перестав быть пороком, стал актом патриотизма, ко мне будут присматриваться. Из двух десятков подчиненных — искусствоведов, художников-реставраторов, антикваров-оценщиков, технического персонала, работников фотолаборатории — найдутся и доброхоты, и профессионалы, получающие по 20 марок с проданной головы.

В первый раз я пришел на Буххольцерштрассе утром, перед открытием салона. Со дня провала Ханселя прошло много времени. Зофи могла уволиться, поменять место работы, уехать из Берлина вообще, просто сидеть в гестапо, если они хоть раз заметили ее с Ханселем. Но я увидел ее среди женщин, входивших в салон: невысокая, очень рыжая и действительно некрасивая. Потом я пошел за нею до самого дома. Она остановилась у дверей на втором этаже. Прошел мимо, поднялся выше. Когда она вошла к себе, спустился, прочитал на табличке: «Зофи Кирхбаум». Я изучил ее маршрут и распорядок дня: рано утром на работу, в перерыв — в кафе напротив салона, после работы — в продуктовый магазин возле дома и — домой. В воскресенье она ездила в Мариен-кирхе. «Хвоста» за нею не обнаружил. Но обнаружил другое: несколько раз, попетляв по улицам, она оказывалась на маленькой Клюкштрассе. Оттуда направлялась на Курфюрстенштрассе. Ни в один дом не заходила. Для обычных прогулок это были неподходящие места. Ехать сюда из Панкова, где она жила, какой смысл? Одним концом Клюкштрассе упиралась в Тирпиц-канал, по другой его стороне, на Бендлерштрассе, торчал высоченный дом нефтяной компании «Шелл», темнело угрюмое здание военного министерства...

Поразмыслив, я пришел к выводу, что Зофи либо выходила к кому-то на свидание, либо искала с кем-то встречи, но возвращалась ни с чем. И только побывав однажды днем на этих неприметных, зажатых домами улицах, я понял, с кем Зофи искала встречи: на Клюкштрассе находилось отделение ТАСС, а на Курфюрстенштрассе — клуб советского посольства... Что ее побудило к этому?.. Немка, жительница Берлина, она не могла не знать, на какой риск шла. Не могла не понимать, что за этими домами гестапо наблюдает... И все же шла сюда... Едва ли пустячное дело заставило эту женщину решиться на такое... Если все это верно, надо немедленно пресечь эти ее попытки: она подведет не только себя... Располо-

жить ее к разговору будет нелегко... Она может замкнуться вообще, убоявшись, что я провокатор... Тут нужно, чтобы вначале Зиги... Вначале он. И если не удастся ему, то я сохраню шанс поговорить с нею сам...

—...Фрау Кирхбаум, вы должны мне поверить... Больше я ничем не могу доказать, что я приятель Кристофа... Все это очень важно и серьезно, фрау Кирхбаум...— уговаривал ее Зиги.

Она слушала его, стараясь скрыть волнение. И Зиги понимал, что в ней осторожность борется со страстным желанием довериться, хоть искренним словом разделить с кем-то немоту своего одиночества.

— Как вас зовут?— спросила она.

— Артур Крейпе,— соврал Зиги.

— Среди приятелей Кристофа вы не знали Зиги Ремера?

— Нет.

— Если я и скажу что-либо, то лишь Ремеру. Так велел Кристоф.

Зиги чувствовал, что не проломит эту стену недоверия. Оставалась последняя попытка.

— У Кристофа был день рождения. Двадцатого января... Ему исполнилось тридцать четыре... Он ждал вас в тот день на Буххольцерштрассе... Было пять часов. Он стоял у бакалейной лавки. Вы переходили дорогу, вы так спешили, что проскочили под носом автобуса... Шофер высунулся из кабины... Помните, толстый такой, в синем берете, кричал на вас... А Кристоф был с цветами. Пять красных гвоздик. Он купил их в метро, когда шел сюда... Две марки восемьдесят пфеннигов...— Зиги видел, что ей почти дурно. «Она, наверное, здорово его любила... Удивительно, как ее не засекли во время встреч с Кристофом...»

С трудом разжав губы, женщина тихо, словно сдаваясь, спросила:

— Как вы могли это знать?

— Только потому, что я был с ним тогда. Мы ждали вас и говорили о вас и о цветах... А потом он отослал меня.

— Все-таки мне нужен Зиги Ремер,— сказала она, уже не так упрямо.

— Хорошо,— после паузы сказал Зиги, решаясь еще

на одну ложь. Он снял перчатки и закурил.— Сейчас он будет здесь...

Из машины я видел, как Зиги снял перчатки. Значит, пора вступать... Я подогнал к ним машину.

— Быстро садитесь.

Женщина села. Я сейчас же набрал скорость. По Фридрихштрассе к вокзалу шла толпа. А мы мчались вниз в противоположном направлении. Постояли у светофора перед Унтер-ден-Линден. И снова вниз. Свернули налево на Лейпцигерштрассе...

Машину я остановил в лесу, выключил двигатель и погасил фары. Было тихо и сыро. В темноте тоскливо кричала птица. В высоких соснах шумел ветер. Теплый, волглый, в котором слоился запах прели, хвои и весны.

— Фрау Кирхбаум, вы ведете себя неразумно,— сказал я.— Нельзя так назойливо вертеться на Клюкштрассе и Курфюрстенштрассе.

Она не шелохнулась.

— Вы понимаете, о чем я говорю?— повторил я мягко.

— У меня безвыходное положение. Воля Кристофа должна быть выполнена,— произнесла она каким-то отрешенным голосом.

— Значит, хорошо, что я вас нашел. Хотя делать это не имел права,— я пытался вернуть ее к реальности.

— Он никогда не бывал со своими друзьями в моем присутствии,— сказала она, словно продолжая думать о своем.

— Вы не должны обижаться. Он не имел права рисковать даже собой,— сказал я.

— Но он мне доверял,— вспыхнула она.

— Таковы условия, которые мы принимаем, фрау Кирхбаум, берясь за эту работу... Так что там у вас?— поторопил я ее.

— За две недели до гибели Кристоф почувствовал, что за ним следят. Мы вообще встречались крайне осторожно. Иногда в кино, на последнем сеансе. Я недоумевала. Однажды он сказал: «Когда-нибудь я тебе все скажу, а сейчас не требуй, поступай лишь, как я прошу. Есть очень важный документ. Я не могу передать его тем, кому он адресован. Ни из рук в руки, ни иным путем: я оборвал все связи с товарищами, чтобы не подвести их... Я отдаю его тебе. Если со мной что-нибудь случится, найди возможность переправить его кому-нибудь из советских журналистов здесь. Но будь крайне осторожна. Есть еще один

человек — Зиги Ремер... Но как ты найдешь его, ума не приложу?! Сейчас никак нельзя искать с ним связи... Даже тебе... Если гестапо видело хоть раз нас вместе... Я еще постараюсь что-нибудь придумать...» Кристоф отдал мне вот это, — она протянула мне миниатюрную кассету. — Из кино мы вышли, как и вошли, — отдельно. Он взял с меня клятву, что я не сделаю попытки повидаться с ним, пока он сам не разрешит... Но мы больше не увиделись...

— Когда вы начали искать встречи с советскими людьми? — спросил я, поглядывая на часы, понимая, что торчу с нею здесь слишком долго.

— Совсем недавно. Я боялась, что после гибели Кристофа гестапо, если оно знало обо мне, следит за мной... Я выжидала. Меня не трогали. И слежки я не видела... Но я еще выжидала... Я не могла подвести Кристофа... Найти вас у меня не было никакой надежды. И я начала ходить туда, где можно встретить русских товарищей Кристофа... Что вы знаете о Кристофе? — Она посмотрела мне в глаза.

— Все и ничего, Зофи... А скорее — ничего... Вы, пожалуй, больше. Спасибо вам... Давайте условимся, а условия те же, что и у Кристофа Ханселя: вы не будете пытаться разыскивать меня. Тут инициатива должна принадлежать мне. У меня больше опыта в этом деле, — я взял ее за локоть.

— Хорошо.

— Кем вы работаете в салоне?

— Машинистка-стенографистка в главной дирекции...

— Домой отвозить я вас не стану, — сказал я.

— Понимаю. Я сойду у ближайшей станции — У-бан¹. Вы действительно Зиги Ремер? — вдруг спросила она.

— А я уже и сам не знаю, кто я, — отшутился я. — Не терзайте себя сомнениями...

В кассете была пленка. Проявлена она или нет — я не знал. По совету Зиги я переправил ее в Стокгольм своим товарищам. Они будут знать, что с нею сделать.

«Если человеку чрезвычайно везет, значит, он этого заслуживает, — думал я о Зофи Кирхбаум. — Как ее прозевало гестапо?! Видимо, аптекарь здорово оберегал свою подругу... Кристоф Хансель... Она, наверное, ходит молиться за него в кирху...»

¹ У - б а н — метро (нем.).

Письмо было на бланке:

«Государственная картинная галерея Дрезден.

Директор.

Дрезден-А-1, 18 июня 1939 г.

Господину Уве Цорну, Берлин-Далем, Пюклерштрассе, 22

Уважаемый господин Цорн!

Необходимые бумаги вы можете получить у меня. Желательно обойтись без услуг почты. Поэтому целесообразно, чтобы вы командировали сюда исполнительного и толкового сотрудника.

С уважением

Ганс Поссе».

Я был удивлен. Никаких дел с галереей у меня не было. Несколько раз по идее Штайнера я, Нойберт и Гуго совершали загородные прогулки. С Нойбертом я уже познакомился ближе. И однажды он, подвыпив, бесцеремонно предложил мне называть его просто Бруно...

Еще раз перечитав письмо Поссе, я позвонил Нойберту, но секретарь ответил, что тот в отъезде. И я решил ехать в Дрезден...

В поездку с собой я взял Рудольфа Пельцига — нового сотрудника бюро. Это был молодой модный искусствовед, неглупый, ловкий парень. Облекая выкрики Геббельса в научные термины, Пельциг в изящном стиле скармливал их своим читателям, себе же оставляя право искренне восхищаться истинным в искусстве.

— Я ведь, в сущности, дилетант, — кокетничал Пельциг. — Недоучка. Искусству надо учиться всю жизнь. А я стал его толкователем...

Человек с мировым именем, известнейший искусствовед, один из лучших в Европе знатоков старого нидерландского и итальянского искусства, доктор Ганс Поссе принял нас в тихом, как святилище, кабинете. Директору Государственной картинной галереи в Дрездене в феврале исполнилось шестьдесят. Он был стар, мудр, образован и болен, что отчетливо отпечаталось на его лице.

— Рад с вами познакомиться, господин Цорн. Мне говорил о вас господин Нойберт, — тихо, как и подобает интеллигенту, сказал Поссе.

— Я счастлив, что получил возможность посетить вас, — поклонился я.

Пельциг ел глазами знаменитого Поссе.

— Вот те бумаги, которые предназначены для вас, —

Поссе протянул мне толстую пачку сшитых скрепками листов.— Посмотрите их. Возможно, у вас возникнут вопросы...

При первом же взгляде я понял, что это отпечатанный на машинке каталог произведений живописи. Картины классифицировались по странам. Рядом с названием каждой картины указывалось место, где она находится,— музей, галерея либо частное собрание. В каталоге было три страны: Польша, Голландия, Бельгия. Я начал с Польши:

1. Рембрандт. «Гроза» — Музей Чарторыйских, Краков.
2. Рафаэль. «Портрет молодого человека» — тоже.
3. Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем» — тоже.
4. Питер Брейгель. «Битва Карнавала и Поста» — тоже.
5. Рубенс. «Несение креста» — Национальный музей, Варшава.

6. Торборх. «Вербовщик» — замок в Лазенках, Варшава.
- Дальше шло в том же духе.

— Мы согласны вам всячески помочь. Картины, предназначенные вам, помечены вашими инициалами,— сказал Поссе.— Если это не расходится с вашими интересами, начните, пожалуй, с польских собраний,— мягко произнес он.

— Я не очень ясно представляю себе, что я должен делать с ними,— искренне удивился я.

— Произвести приблизительную оценку. Желательно в долларах. У вас для этого, полагаю, есть компетентные люди,— Поссе посмотрел на Пельцига.

— Да, но...

— Предвижу ваш вопрос,— улыбнулся Поссе.— Пусть вас не смущает, что картины находятся за границей. Работу эту все же следует проделать. В ближайшее время.— Он нажал на звонок, вошла секретарша.— Фрау Кольмер, приглашите, пожалуйста, из фотоотдела Михеля.— Поссе, извинившись, направился к двери.

Я сидел спиной к двери, глядя на письменный стол ученого, пытаюсь понять, что все это значит. Я слышал, как Поссе сказал кому-то:

— Михель, как обстоят дела с фотокопиями? Я просил вас отпечатать их в первую очередь.

— Герр доктор, я заканчиваю первую пленку.

— Пожалуйста, поторопитесь. Четыре экземпляра. Только четыре,— сказал Поссе.

— Слушаюсь, герр доктор. Я помню.

В голосе говорившего я уловил акцент.

— Вы свободны, Михель.— Поссе вернулся к столу.— Через некоторое время вы получите фотоиллюстрации к этом каталогу,— сказал он мне.

Разговор, судя по всему, был закончен. Поссе вежливо попрощался с нами и проводил до выхода...

— Гений! — воскликнул Пельциг, когда мы шли к машине.— Я слушал его лекции!.. А его статьи!..

— Да... Очень интересный человек,— машинально ответил я, продолжая думать о странности работы, которую предстоит выполнять...

В воскресенье втроем мы уехали на пляж под Бабельсберг: я, Гуго Штайнер и Нойберт. Солнце било отвесно, песок был горячий, в спокойном канале лоснилась вода.

Лежа на животе, разомлев от зноя, я сквозь сожмуренные лениво веки смотрел на длинного, тощего, со впалой грудью Нойберта. Он сидел, высоко подняв острые колени, и выдавливал угри из белой в пупырышках кожи. Тут же рядом, пыхтя, отжимался на руках Гуго, а я считал: «...Двадцать один, двадцать два...» Гуго чуть пополнил, но мышцы его еще не были дряблыми...

Все трое мы были почти ровесниками — тридцать, тридцать один год.

— А вы тоже слава богу,— сказал Нойберт, когда я поднялся и, разминаясь, напряг мышцы.

— Лыжи и плавание, Бруно. Круглый год,— подмигнул я ему.— У нас утонувший считается самоубийцей: нет шведа, который бы не умел плавать.

— Я много болел в детстве,— словно оправдываясь, сказал Нойберт.

Штайнер посмеивался.

— Пошли в тень,— сказал он.

По высокой мягкой траве, доходившей до пояса, мы вошли в глубокую тень от громадных дубов. Вдалеке, сквозь листву, виднелся старый замок.

— Я вас кое-чем угощу,— сказал я, извлекая из сумки пакет с едой и бутылку виски с черно-золотой этикеткой.

— Вы сноб, Уве,— сказал Нойберт.

— Нет. Я просто люблю все первого сорта,— возразил я.

— И это? — кивнул Нойберт на двух загоревших девушек, бежавших по горячему песку к каналу.

— И это,— я засмеялся.— А почему бы нет?

Гуго пить отказался. Он уминал бутерброд с ветчиной и дурашливо кривился, глядя, как я и Нойберт пьем виски.

— Какое впечатление произвел на вас доктор Поссе? — спросил Нойберт.

— Бросьте вы о делах! — отмахнулся я, подливая Нойберту.

— Кто это? — спросил Гуго.

— Тяжеловес, — захохотал Нойберт, хмелея. — А у вас много денег, Уве?

— Много. Но я хочу еще, — сказал я серьезно.

— Правильно! — пьяно воскликнул Нойберт. — И вы будете их иметь, если с умом продадите эти польские картины.

— Вы опять о делах, — остановил я его.

— Да, да, да! В ближайшее время вы их заполучите, — шумел он. — Но продавайте недалеко, где-нибудь в Европе, поблизости, чтобы мы это могли вернуть себе и снова продать! И дважды заработать!

— Я пошел купаться, — сказал я, вставая.

Штайнер отправился со мной. Нойберт остался допивать виски.

— Совсем пить не умеет. Да еще в жару, — сказал Гуго...

Когда мы вернулись, Нойберт, пьяно сопя, спал...

В Потсдам мы возвратились под вечер. Сидя в машине, Нойберт совсем раскис и мучился от головной боли.

— Ну вас к черту с вашим виски, — незлобиво сказал Нойберт, когда на завтра я вошел в его кабинет. — До сих пор голова трещит.

— Я вас угощал, но не заставлял, — развел я руками. — Вид у вас действительно неважный.

— Всю ночь мутило... Что у вас?

— Один вопрос. В какой валюте желательно оценивать эти польские картины? — поинтересовался я.

— Предпочтительно в долларах.

— И только?

— Посидите минуточку. Я сейчас уточню. — Нойберт вышел.

Обойдя стол, я выглянул в окно и быстро вернулся к столу. Прислушиваясь, я стал перебирать бумаги. Из-под кожаной папки с тисненым золотым орлом вытянул торчавший лист — второй экземпляр какого-то письма.

«Партийная канцеляция.
Рейхслейтер М. Борман.

Берлин, № 8.
Вильгельмштрассе, 64
12 июня 1939 г.
Строго конфиденциально!
2 экземпляра

Господину доктору Гансу Поссе,
директору Государственной картинной галереи,
Дрезден-А-1.

Уважаемый господин доктор Поссе!

Идея фюрера создать в Линце за счет приобретенных в других странах произведений искусства лучший и крупнейший в мире музей, идея эта, которую для удобства мы договорились именовать «Операция Линц», потребует огромных усилий и средств. Полагаю, что все картины, которые войдут в Ваш каталог, нужно разделить (по степени их ценности) на категории:

1-я категория — для музея фюрера в Линце. Обозначить их в каталоге можно индексом «ОЛ» («Операция Линц»).

2-я категория — картины, которыми может располагать по своему усмотрению (комплектование фондов в германских музеях и прочее) просветительское общество «Наследие». Для этого годится индекс «ОН» («Общество «Наследие»).

3-я категория (наименее ценная) — может быть передана шведско-немецкому бюро господина Цорна для реализации в любом месте земного шара. Это даст нам возможность иметь дополнительную валюту, которая будет поступать в Ваше распоряжение, как особоуполномоченного фюрера по осуществлению «Операции Линц». Эти картины можно обозначить индексом «УЦ» (Уве Цорн).

Буду рад узнать Ваше мнение по этому вопросу.

С уважением
М. Б о р м а н».

Я осторожно положил письмо на место.

Когда вернулся Нойберт, я стоял уже у окна спиной к столу.

— Значит, лучше всего в долларах и английских фунтах,— сказал Нойберт.— Я думаю, поляки нам уступят эти картины,— ухмыльнулся он.— Мы вас известим, когда это случится. Видимо, в ближайшие недели.— Нойберт выразительно посмотрел мне в глаза.

Потихоньку я научился воспринимать неожиданности. Но то, к чему я пришел, размышляя над словами, недомолвками и каталогом Поссе, над откровениями пьяного Нойберта и письмом Бормана, над индексами «ОЛ» и «ОН», обозначавшими в каталоге судьбу и назначение картин, не принадлежавших Германии,— все это смутило меня.

Весь мир угнетало предчувствие, что Гитлер готовится к нападению на Польшу. И то, что произведения искусства, принадлежавшие ей, были заранее внесены в каталог Поссе и как бы считались уже собственностью Германии, явилось для меня косвенным подтверждением, что нападение Гер-

мании на Польшу — вопрос решенный. Все это и все, что я понял об «Операции Линц» как об акции, которая должна сопутствовать оккупации, я сообщил Зиги Ремеру.

В правоте своих выводов я убедился, когда 27 августа 1939 года Нойберт откровенно сказал: «С завтрашнего дня Дрезденскую галерею закрываем ввиду угрожающей военной опасности». И еще одна чрезвычайная мера: партийный съезд НСДАП, намеченный на 1 сентября, был отменен.

Серьезность этих мер я ощутил и в атмосфере «Наследия», где периодически бывал как коммерческий советник. Штат «Наследия» значительно вырос. Тихие прежде комнаты наполнились трескотней пишущих машинок, возбужденными разговорами шумливых молодых людей, лихо щелкавших каблуками...

Однажды я просматривал финансовые отчеты за квартал. Государственные субсидии значительно сократились, но необычайно возросло финансирование в виде пожертвований со стороны крупных концернов: «Рейнметалл Борзиг АГ», «Винтерсхалль АГ», «Рейхсверке АГ фюр эрцбургбау», «Роберт Бош, ГмбХ», «Портланд-цементверке»... Список огромный. Тут и дурак уразумел бы: эти «пожертвования» исследовательскому и просветительскому обществу «Наследие» не что иное, как финансирование мероприятий, которые должны принести прибыль. И, как я понял, прибыль эта ожидалась в виде ценнейших произведений искусства из ограбленных музеев соседней страны...

В кабинет, слабо постучавшись, кто-то вошел. Я оторвал глаза от бумаги и увидел веселое лицо Конрада Беклица, гостеприимного Беклица из «Нордише гезельшафт» в Стокгольме.

— Вас не смутит мой новый костюм? — улыбаясь спросил Беклиц — на нем была форма офицера СС.

— Если б вы вошли голым, — начал я с шутки, — а вы ведь в самом модном! Давно из Стокгольма?

— Три недели.

— Что же раньше не появлялись? — вежливо осведомился я.

— Не знал, где вас искать.

— Не скромничайте, Конрад, — надо было ему польстить, — при ваших-то возможностях... Не предполагал, что вы в таких чинах.

— Что бы это изменило? — сощурился, весело спросил Беклиц.

— Я был бы с вами повежливей в Стокгольме.

— Ну, вам-то уж нечего бояться нас.

«Намекает на Нойберта, стервец. Знает о моих связях с партийной канцелярией», — понял я.

— Ну, как вы здесь? — спросил Беклиц.

— Тружусь, — я указал на бумаги.

— А у меня к вам дело. Что вы думаете о Рудольфе Пельциге? Только откровенно, — придвинулся он к столу.

— Если он в чем-либо и виноват, то только в своей молодости. Это, как известно, со временем проходит, — уклончиво ответил я.

— Мы хотим дать ему возможность вырасти. Если, конечно, вы уступите его.

— Я могу быть любопытным?

— Со мной — да.

— Зачем вам Пельциг? Мне жаль будет расстаться с ним.

— Нам тоже понадобятся в скором времени искусствоведы.

— Вам?! Зачем?

— Дальше вам любопытствовать не следует, — засмеялся Беклиц.

— Хорошо. Я отдам вам Пельцига при условии, что смогу при необходимости прибегать к его услугам, — не уточняя, сказал я.

— Значит, договорились...

30 августа 1939 года, за день до начала второй мировой войны, искусствовед Рудольф Пельциг вступил в СС под начало Беклица и перешел из смешанного шведско-немецкого бюро в «Наследие»...

Я понимал, что «Операцию Линц» и «Наследие» надо держать под контролем. Не исключено, что имеется в виду пополнение валютного потенциала Германии за счет реализации ценнейших произведений искусства в нейтральных странах. Важно знать места хранения, располагать учетными списками и каталогами. Кроме того, расширение сферы деятельности «Операции Линц» и «Наследия» сможет подсказать направление дальнейших военно-политических устремлений Германии...

В эти дни я почти не видел Пельцига: тот мотался между Берлином и Дрезденом, уезжал еще куда-то, а когда изредка появлялся у меня в бюро или в «Наследии», был весел, словоохотлив. Похоже было, что он, как многие люди, знающие некую тайну, жаждет проявить свою осведомлен-

ность, она его буквально мучит. Однако страх проболтаться все же удерживал Пельцига.

Я отметил, что Пельциг старался появляться в штатском, хотя был уже аттестован и получил звание лейтенанта СС — штурмфюрера. То ли он еще стеснялся мундира, то ли были другие причины — толком понять я не мог...

На встречу с Зофи Кирхбаум я решил поехать на эс-бан: так безопасней, чем на машине. Я не был уверен, что Кирхбаум придет. Но она пришла. Мы встретились на углу маленькой Плессерштрассе в Трептове.

— Что-нибудь случилось? — спросила Зофи.

— Да как вам сказать? Ничего особенного, кроме того, что идет война. Как вы живете?

— Без всяких перемен, — ответила Зофи, поправляя на рыжих волосах шляпку. — Меня никто не беспокоит, — сказала она, полагая, что меня интересует именно это.

— Это очень важно.

— Я ведь ничего не делаю такого...

— Тоже хорошо. Когда человеку живется спокойно, он и к плохому начинает относиться доброжелательно, — не-весело пошутил я.

— И тогда ему делается еще спокойней, — покачала головой Зофи. — И неотмщенные не снятся, — усмехнулась она.

— Вы посещаете церковь?

— Посещаю. Там люди снова обретают человеческий облик и вспоминают, что за ненависть им воздастся ненавистью, а за любовь — любовью...

— Помните, кажется, в благовествовании от Иоанна сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Тогда что же остается для врагов? Ненависть?.. Значит, все-таки ненависть и в господнем слове? — улыбнулся я.

— К нам приходил блоклейтер, читал лекцию. Он проделывал с Евангелием приблизительно то же, что и вы сейчас. Чего он добивался — мне понятно. А чего хотите вы? Тоже чтобы в моей душе была ненависть? Она есть. Я ненавижу их, как ненавидел Кристоф. И не пугаюсь этого. Вы ведь не просто пригласили меня на эту встречу и не случайно цитировали Евангелие. Не теряйте же времени...

Я не ожидал такого напора. Я подыскивал деликатные слова, а от меня требовали прямоты.

— Хорошо, Зофи, — сказал я. — Буду откровенен. Я нуждаюсь в людях, которые смогут мне помогать. Но даже

минимум того, что они будут делать, поставит их в ряд с теми, кого называют «враги нации». Справедливы или несправедливы законы этой страны, но они — законы и исполняются неукоснительно. А по этим законам предусмотрена смертная казнь. Но до этого — еще гестапо...

— И вы готовы к этому? — перебив меня, спросила она. — Ведь к этому надо быть готовым всегда, ночью и днем, когда наслаждаешься хорошим куском свинины, когда спишь, смеешься в кино, целуешься с женщиной, когда слушаешь музыку, когда хочешь выбрать красивые туфли или модный галстук... Всегда, всегда и всюду... Разве можно так жить? Я не смогу так...

— Вот и хорошо, что вы прямо, без обиняков... Оставим это.

— Вы меня неправильно поняли... Я не смогу так... Я должна буду думать и о смерти, и о гестапо... Что бы я ни делала — думать! Чтобы привыкнуть... Как привыкают к боли. Ведь когда бьют, можно привыкнуть. И тогда уходит страх. Остается лишь мысль о неизбежности... Только так вы сможете рассчитывать на меня... Если же потребуете других условий — ничего не получится. Так, как вы, я не смогу...

Я почувствовал, что разубеждать ее бессмысленно. Это — логика сложившегося характера. Что бы я ей ни толковал — все останется вне ее восприятия. Она не представляла себе иную возможность существования, связав свою судьбу с моей работой, как не могла постичь мой образ жизни.

— Я понял вас... Как вы отнесетесь к тому, если вам придется поменять место работы и, возможно, переехать в Дрезден?

— Мне безразлично. Ничто меня больше здесь не держит.

— У вас есть родственники?

— Нет, я одинока...

— Она хорошенькая? — спросил меня Нойберт через неделю. — Вы же говорили, что любите все первого сорта.

— Очень обыкновенная... Рыженькая, маленького роста, — посмеиваясь, ответил я. — Поскольку я не изменяю своим вкусам, ее нравственность — вне моих посягательств. К тому же она набожна.

— Ладно, с вас причитается: я устрою ее в галерею, в секретариат доктора Поссе... Теперь о более важном. В связи с окончанием польской кампании рейхсфюрер принял решение о создании филиала «Наследие» на присоединенных

восточных территориях. Называться он будет «Генеральное посредничество «Восток». Вот, познакомьтесь,— Нойберт протянул мне бумагу.— Прочитайте третий раздел.

«О порядке конфискации предметов искусства, архивов, документов, коллекций и т. д.» «...Одновременно устанавливается, что конфискованные предметы поступают в распоряжение специально выделенных на то лиц. Уполномоченному президента исследовательского и просветительского общества «Наследие» (Берлин-Далем, Пюклерштрассе, 16) вверяется главное посредничество с предоставлением права назначать посредников и помощников уполномоченного, а также права предпринимать все необходимые меры для собирания и сохранения конфискованных предметов».

— В какой степени это касается меня? — спросил я.

— Ваши полномочия коммерческого советника «Наследия» автоматически распространяются и на «Генеральное посредничество «Востока». Главный штаб его будет у вас в «Наследии», а филиал — в Лодзи, Катовицах, Данциге.

— Мне придется ездить туда? — поморщился я.

— Вероятно. Мы хотим иметь точную информацию. Поэтому предпочитаем иметь ее от вас, Уве. Предметами искусства занимается и еще один штаб: Геринга. По его указанию генерал-губернатор Франк назначил статс-секретаря штандартенфюрера СС доктора Кая Мюльмана особым уполномоченным по учету художественных и культурных ценностей в генерал-губернаторстве. Как видите, по сути, одним и тем же занимаются три ведомства: доктор Поссе, рейхсфюрер и рейхсмаршал...

— А партийная канцелярия хочет держать все эти три потока у своей плотины. Так я понял? — спросил я.

— Если не держать, то хоть знать, что в какую сторону течет. Это огромные богатства, Уве. Нельзя, чтобы они разползались бесконтрольно.

— Вы ставите меня в сложное положение, Бруно.

— Думаю, мы достаточно авторитетны, чтобы оберегать вас.

— Посмотрим.

Вскоре я получил первую информацию от Зофи из Дрездена. Она сообщала, что Поссе и Пельциг неоднократно выезжали в Нидерланды и Бельгию. Пельциг привез отсюда отснятые фотопленки, на коробках которых указаны государственные и частные собрания произведений искусства.

Я поблагодарил Зофи, попросил быть крайне осторожной.

Сразу же после возвращения Поссе из Польши Зофи сообщила, что Пельциг уехал во Львов, получив официальное разрешение советских властей. Кроме того, Зофи прислала копию письма Поссе:

«Государственная картинная галерея Дрезден

Дрезден-А-1, 14 декабря 1939 года.

Директор.

Господину

рейхслейтеру Мартину Борману.

Берлин, № 8, Вильгельмштрассе, 64

Глубокоуважаемый господин рейхслейтер!

Докладываю, что с 25 ноября по 4 декабря я находился в Кракове и Варшаве, выполняя данное мне поручение сообщить о характере и количестве конфискованных произведений искусства. Соответствующее сообщение я прилагаю к этому письму...

Хайль Гитлер!

Весьма преданный Вам
Г. Поссе.

1 приложение»

П р и л о ж е н и е:

«...В первую очередь усилия были направлены на сбор и сохранение художественных и культурных ценностей Варшавы, прежде всего из серьезно поврежденного королевского замка... В Краков почти ежедневно прибывали вагоны с реквизированными произведениями искусства...

Одновременно государственный фотоцентр приступает к последовательным съемкам всех значительных произведений искусства. Фотографии будут представлены генерал-губернатором фюреру в фотоальбомах.

В Кракове и Варшаве я осмотрел общественные и частные собрания, а также церковное имущество...

До тех пор, пока не будет учтен весь конфискованный материал, я не смогу, как уже было сказано, сделать предложение о его распределении. Однако я хотел бы уже сейчас предложить зарезервировать для музея искусств в Линце три главных полотна из собрания Чарторыйских: кисти Рафаэля, Леонардо и Рембрандта...

Позволю себе далее обратить Ваше внимание на то, что в руки русских попали находившиеся во львовском музее «Оссолинеум» серии прекрасных рисунков Альбрехта Дюрера и других старонемецких мастеров. Не исключено, что можно было бы еще спасти для Германии хотя бы 27 гравюр Дюрера.

Г а н с П о с с е».

На основании данных Зофи я сообщил Зиги, что «...во Львове на улице Листопада на вилле «Гражина», где находится немецкое представительство, официально занимающееся переселением лиц немецкого происхождения из СССР в рейх, работает одна из служб СД. Оттуда в Германию поступили списки ценных произведений искусства, имеющихся во Львове...».

Вернувшийся из Львова Пельциг был мрачен.

Я-то знал, в чем дело: под удобным предлогом Пельциг был выставлен из Львова советскими властями...

Однажды в какую-то дурную минуту я задумался о смысле того, чем я занимался здесь, в Берлине. Мне вдруг показалось, что все это нелепо сейчас, когда гибнут люди и города. Какова ценность сведений, которыми я располагал и передавал Зиги? Я не совсем такой представлял свою борьбу с фашизмом, когда ехал сюда.

— Вы напрасно так, — сказал мне Зиги, когда я поделился с ним этими сомнениями. — Информацию вашу анализируют как следует, попадает она по назначению. Конкретный результат ее? Он есть и будет. Мы понимаем, что в Стокгольме вам жилось бы и веселей и спокойней.

— Что вы, Зиги! Я не об этом, — устыдился я.

— Может, вы просто устали?

— Возможно... Оставим этот разговор.

— Конечно...

Кончалось лето 1940 года. Забот было по горло. Из оккупированной Польши, где размахнулись «Генеральное посредничество «Восток», эйнзацгруппы особоуполномоченного статс-секретаря доктора Кая Мюльмана, в «Наследие» поступало много бумаг: инвентаризационные списки, каталоги, оценочные ведомости на похищенные произведения искусства. Все это надо было перерабатывать в конфиденциальные отчеты для Нойберта. Я делал это добросовестно: интересы Нойберта и мои тут совпадали — копии я оставлял себе. Накапливался большой личный архив, который необходимо было сохранить, а значит, где-то хранить. И я все больше склонялся к мысли, что удобней всего — в Польше, подальше от спокойно деловой атмосферы Берлина. Пельциг, перешедший, как офицер СД, в одну из эйнзацгрупп Мюльмана, уже длительное время жил в Польше в тихом городке Езерно и писал мне, уговаривая приехать. На поездке деликатно настаивал и Нойберт, понимая, что там я смогу внимательней следить за всем и конкретней информировать. Терзало меня и другое: необходимо было изодраться, чтобы активной выглядела деятельность шведско-немецкого бюро, чтобы не возникло сейчас сомнение в целесообразности его существования.

Я верил: Гитлер сломает себе шею, как бы успешно ни шли его дела поначалу. И мои архивы, надеялся я, принесут пользу: легче будет разыскать награбленное, чтобы вернуть владельцам...

Посоветовавшись с Зиги, я решил ехать.

За несколько дней до отъезда вдруг появился Конрад Беклиц. Загоревший, в черной форме, с тяжелым портфелем в руках, Беклиц устало опустился в кресло и вытянул ноги.

— Зной! Африка! — выдохнул он, утирая платком лоб. — Хорошо вам, штатским: прохладный кабинет и возможность всегда уехать в Бабельсберг, поваляться на пляже.

— Никогда не завидуйте, Беклиц, если нет возможности удовлетворить зависть. И утешайтесь, что и вам кто-то завидует... Нате-ка, — я подал ему бокал содовой с кусочком льда, облепленный пузырьками. — У вас здоровое загоревшее лицо, а я бледный, осунувшийся человек, заваленный бумагами. А вы говорите: пляж, Бабельсберг... Я собираюсь в Польшу.

— А я только что оттуда.

— Ну как там?

— Собственно говоря, страны нет. Хаос. Распад государства — это распад нации, ее исчезновение. Это надо принять как реальность. И активизировать этот процесс.

Потом мы беседовали, уже сидя в машине Беклица. Поездку по городу предложил Беклиц. Меня это удивило — с чего бы днем, в зной?

— Вы помните Отто Риттера? Из министерства вооружения. Я познакомил вас в Стокгольме.

— Помню, — насторожился я.

— У него большие неприятности.

— Вот как? Что же именно?

— Длинный язык. Хорошо, если это всего лишь страсть к болтовне, — неопределенно сказал Беклиц.

Мы ехали по Клопштокштрассе. Возле казачьей православной церкви святого Николая Беклиц притормозил.

— Вы никогда не видели православное богослужение? — спросил он, словно забыв уже о Риттере.

— Нет, — ответил я, чувствуя, что это уловка: ждет, что снова спрошу о Риттере... С чего бы?.. Прощупывает или что-то знает?.. Если они до сих пор ищут, откуда тогда в Стокгольме утекла информация, то среди всех, с кем Риттер общался, первым всплыву я, главный в истории с заказами у Дальгрена... Капитан первого ранга Вильгельм Рейш... И ему я протезировал по просьбе Риттера... Если они зацепились за Риттера...

— Вы слышите их пение? — спросил Беклиц, указав на церковь. — Как из разверзшихся небес. Не правда ли?

Мы стояли у притвора. Из сумрака звучало пение, и в

темной глубине я видел перемещавшееся золотое свечение, колыхание теней... После службы из церкви повалил народ. Это были русские люди, в разное время и по разным причинам осевшие в Германии. Беклиц не уходил до самого конца, и мне показалось, что он специально держит меня, либо заранее договорившись продемонстрировать кому-то, либо надеясь, что кто-нибудь из этой толпы меня окликнет. Но тут же я оттолкнул эту мысль как собственное гиперболическое допущение.

— Вы хотите перейти в православие? — спросил я шутливо.

— В мусульманскую веру лучше — нет такого количества святых, — ответил Беклиц...

К разговору о Риттере Беклиц не возвращался, словно и не начинал его...

Дома я подробно вспомнил этот визит Беклица, его слова и интонации, отыскивая в них то, что могло быть не случайным...

Впервые после Стокгольма я увидел Риттера в кинотеатре «УФА-палас» на премьере хроникального фильма «Фойертауфен», посвященного окончанию восемнадцатидневной войны с Польшей.

Груды щебня, рухнувшие крыши и стены, свист бомб, грохот взрывов, и сквозь это — парадный голос диктора, воздававший хвалу силе немецкого оружия... Я впился глазами в экран, я впервые видел войну, какой она была в действительности. В горле пересохло, стучало в висках. Сзади от напряжения кто-то жарко сопел мне в затылок...

При выходе из кинотеатра я столкнулся с Риттером. Он почти не изменился: та же крупная седая голова и карие насмешливые глаза.

— Вам понравилось? — спросил Риттер.

— Могло быть менее страшно.

— Что поделаешь, материализованная идея.

— Увы, идеи не моя сфера, — сказал я.

— А с точки зрения нравственности? — иронически спросил Риттер.

Буркнув что-то невнятное, я пригласил его вместе поужинать.

В загородном ресторане, где мы устроились, было тихо и безлюдно. Риттер много и охотно говорил. Он долго прожил в США, учился в Массачусеттском технологическом и, как показалось мне, симпатизировал социальным институтам Америки. Риттер очень осторожно дал понять, что о своей

словоохотливости в Стокгольме не жалеет, имея в виду ее некоторые последствия и некую мою роль в той истории. Именно это обстоятельство, завуалированно намекнул Риттер, располагает его к откровенности и за этим ужином...

Мы встречались еще дважды. И Риттер, избегая прямых ответов, словно невзначай, как бы предлагал мне из праздного разговора и пестрого перемещения фраз самому извлечь то, что меня интересовало...

— Трагедия диктаторских режимов — самообольщение, — однажды сказал он, будто объясняя свое поведение. — Они принимают желаемое за действительное. И со временем начинают сами питаться ложью, забыв, что она придумана ими для других. Но ничто не может долго просуществовать, живя за счет своих же выделений: ни живой организм, ни общество. Прекращается движение вперед, прогресс. И общество погибает от собственной косности.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Что вам угодно, — осторожно ответил Риттер. — Даже средневековье...

Раздумывая над поведением Риттера, я склонялся к мысли, что, не очень понимая, кто я есть, он все же уловил возможность выпускать через меня за пределы Германии кое-что из кухни министерства вооружения...

Теперь, после визита Беклица, я был в замешательстве: в какой степени СД заинтересовалось Риттером? И был ли я единственным, с кем Риттер так доверителен? Если он влип в другом месте и за ним следят и видели меня с ним... Нужно было как-то уточнить его положение. Перебрав несколько вариантов, я решил позвонить Риттеру домой. Телефон был указан на визитной карточке, которую Риттер вручил еще в Стокгольме. Позвонил я из автомата. Набрав номер, долго ждал. Наконец кто-то снял трубку.

— Вас слушают, — сказала женщина.

— Если это квартира господина Риттера, прошу его к телефону. Говорит приятель по Массачусетсу.

В наступившей паузе я уловил тяжелое дыхание. Потом женщина сказала:

— Неделю назад мы похоронили Отто. Если вы из Массачусетса, вы должны знать, что он собирался в командировку в Америку... Но в Гамбурге на корабле что-то произошло... Несчастный случай... Вы понимаете? — со значением говорила женщина. — Он погиб там...

— Простите, до свидания, — я быстро повесил трубку...

Что могло произойти в Гамбурге на корабле? Может, он собирался бежать и они его накрыли?.. А если все это — и скорбный голос женщины, и история со смертью — липа, штучки Беклица, а Риттер сидит в подвале и они выдавливают из него показания... И фамилию мою он уже назвал...

Я решил смотаться в Карлсхорст, где жил Риттер.

С букетиком роз, купленным в Карлсхорсте в киоске у виадукса, я вскоре добрался до кладбища — небольшого, аккуратного, с посыпанными белым песком дорожками... Я вспомнил, что такого песка много, если ехать в сторону Кёпеника. Там хвойные рощи.

На кладбище было безлюдно, и я не торопясь искал то, что меня больше всего сейчас интересовало. Наконец в углу, между старым памятником и высоким чугунным крестом с наброшенным на него железным венцом в виде терновых листьев, увидел свежую могилу. На бронзовой табличке было вырезано: «Отто Риттер».

Я осторожно положил букетик на могилу человека, которого почти не знал и который так и остался для меня непонятным...

Теперь как-то можно было объяснить визит Беклица: Риттер ушел от них. И Беклиц, полагая, что я не знаю о его смерти, сблефовал, пытался меня прощупать... Они начали прощупывать тех, кто был и мог быть как-то с Риттером связан. Я в их версии оказался, очевидно, не последним... Пельцигу же Беклиц приказал приглядывать за мной...

Если раньше я надеялся как-то приблизить к себе Пельцига, оказывая ему кое-какие услуги, то после признания пани Сенк понял, что заблуждался.

В начале августа минувшего года, в дни моего краткого пребывания в Берлине, явился встревоженный Пельциг.

— Как вы ко мне относитесь, Уве? — спросил он.

— Допустим, хорошо, — ответил я, не понимая, в чем дело.

— Скажите, Нойберт выполнит вашу просьбу?

— Возможно, — пожал я плечами.

— Статс-секретарь доктор Мюльман сформировал отряд, который должен отправиться под Петербург, в группу армий «Север». Вместе с другими искусствоведами я включен в этот отряд. Эрмитаж. Понимаете? Но я не хочу ехать в Россию, Уве. Если вы скажете Нойберту, что я нужен буду вам в Берлине или в Польше, он оставит меня.

— Я попробую, Руди...

Нойберт выполнил мою просьбу. Пельциг был доволен. Да

и я остался не внакладе: я сообщил Зиги-Ремеру об отъезде под Ленинград группы Мюльмана, что, помимо всего, свидетельствовало о намерении Гитлера усилить нажим на Ленинград...

Накануне моего отъезда в Берлин Пельциг зашел ко мне, чтобы передать посылку для жены.

— Что вам, Руди, коньяк или ром? — предложил я.

— Безразлично, — ответил Пельциг.

Спиртного для него я не жалел. Пельциг располнел, рябое лицо его стало отечным. В непрерывных поездках по генерал-губернаторству с эйнзацгруппой, которой он теперь командовал, Пельциг не избегал ни угощений, ни подношений со стороны чиновников, чьи дистрикты он посещал. Он носился как гончий пес по бывшим воеводствам, забивая склады в Цитадели ящиками с награбленными художественными ценностями.

— Как идут дела, Руди? — поинтересовался я.

— Превосходно! — Пельциг расстегнул китель. — Если отвлечься от того, что под Москвой наступление сорвалось, а тут, почти в тылу, партизан стало больше.

— А вы хотели бы благодарности от поляков за ваши дела тут?

— Те-те-те, Уве! Не «ваши дела», а наши с вами, — пьяно погрозил пальцем Пельциг. — Или вы — в кусты уже?

— Вы что, Руди, боитесь остаться в одиночестве? — усмехнулся я. — Беклиц вас не покинет.

Пельциг махнул рукой...

Выехал я затемно, в седьмом часу утра, рассчитывая часа за три добраться до Познани, там позавтракать и двинуться дальше.

По белой полосе шоссе шли две темные колеи, наезженные военными грузовиками. Дул сильный встречный ветер, забивая ветровое стекло крупными хлопьями снега. Монотонно поскрипывал резинкой «дворник». Ровное поле было заметено снегом, лишь на взгорках, где ветер сдувал его, торчали вымороженные буро-желтые стебельки. Рядом со мной сидел автоматчик из комендантской охраны. Проносились встречные грузовики, под брезентовыми куполами их ежились солдаты.

Медленный серый рассвет выползал из-за низких, налитых тяжелой синевой туч. Где-то глубоко в них застряло солнце, лишь края туч, там, где они смыкались, чуть розо-

вели. Это была спокойная утренняя пора, когда, измученный бессонницами, я обычно засыпал под высокой легкой периной... Самая сладкая пора сна.

Я отхлебнул несколько глотков горячего кофе прямо из горлышка термоса, стоявшего у ног.

Эта поездка в Берлин была необходима. За длительное мое отсутствие в «почтовом ящике» могла накопиться «почта» от Зиги. Что-нибудь, наверное, имелось и у Зофи. Со мной могло произойти всякое, поэтому нужно было сообщить Зиги, что в заброшенном доломитном карьере в десяти километрах от Езерно я спрятал несколько ящиков с каталогами, инвентаризационными списками, описями произведений искусства. Кроме того, Нойберт зачем-то хотел меня видеть... Все было бы ничего, если бы я чувствовал себя лучше и в мозгу, как заноза, не покалывала иногда мысль, что и Беклиц, вероятно, не сидит без дела...

Недалеко от Познани я пересек новую границу рейха. У шлагбаума торчала будка. Дымя, горел костер. Полевой жандарм шевелил в нем обугленным концом тяжелой палки еловый лапник. Он сидел на корточках, и шинель туго обтянула его крутую спину. Полы шинели он заткнул за ремень, чтобы они не попали в огонь, и я видел, как плотно бриджи облегли его могучие ляжки. Второй жандарм в севшей на самые надбровья каске поднял руку с круглым дорожным жезлом. Проверка документов прошла быстро, и я двинулся дальше.

Безумно хотелось спать. Это одурманивающее желание накатывалось приливами, словно мне давали наркоз...

Дорога шла по высокой насыпи, круто уходя влево. Но знак, предупреждавший об этом, я, очевидно, прозевал. Проскочив короткий, уходящий изгибом тоннель, над которым шло железнодорожное полотно, я успел рвануть руль, но было уже поздно — машину занесло, и, сперва сползши, она рухнула затем вниз, обдирая краску на оградительных столбиках...

Заметили нас, как потом выяснилось, после полудня. «Кадет» мой лежал в ложбине среди оставшихся после дорожных работ огромных бетонных тюбингов. Солдат был мертв — магазин автомата, лежавшего у него на коленях, как нож, весь вошел ему в живот. У меня был разmozжен голеностопный сустав, сломаны ключица; три ребра и тяжелое сотрясение мозга. Но установили это лишь спустя двое суток в Берлине в армейском госпитале, куда меня привезли в беспамятстве...

...Что-то изменилось в мире. Я почувствовал это по тону газет, их приносила медсестра. Долгие месяцы я не имел доступа к печатному слову. Много читать еще не мог — ломило в затылке, болели глаза...

Да, что-то изменилось в мире. Я уловил это и в атмосфере госпиталя, в разговорах выздоравливавших старших офицеров. Отметил я и частые воздушные тревоги по ночам, остервенелую стрельбу зениток и тяжелые толчки бомбовых разрывов в разных районах города...

Мы сидели в госпитальном саду — я и мой шурин, которого Нойберт официально, как совладельца фирмы, известил об автокатастрофе. Но свидание врач разрешил только сейчас, спустя несколько месяцев.

— Все идет хорошо, — улыбаясь сказал шурин, — под Курском и Орлом кончено. — Он затянулся сигаретой и, сощутив глаза, посмеиваясь, выпустил дым.

Мне вдруг захотелось курить.

— Что вы курите? — спросил я осторожно, как мальчишка, собирающийся напроказить.

— «Честерфилд»... Не нужно вам еще. Потерпите.

— Одну, — взмолился я. И когда закурил, ощутил головокружение, дрожь в руках.

— Я посмотрел вашу почту «Наследии» за время, что вы здесь, — сказал он. — Ничего существенного: счета, авизо и прочее. Есть, правда, одно странное письмо со штемпелем трехмесячной давности. Я забрал его, — он протянул конверт.

«Уважаемый господин Цорн! Я нахожусь в командировке в Кракове. Сколько пробуду здесь — неизвестно. Сообщаю, что от господина Йорка никаких известий, хотя оставил ему подробное письмо. Таким образом, выполнить вашу просьбу относительно продажи ряда картин возможности не имею...»

Письмо от Зиги... Это мое имя — Йорк — знал только Зиги... Он обеспокоен отсутствием вестей. Рискнул написать на адрес «Наследия»... Я ведь не заглядывал в «почтовый ящик» целую вечность... Что-то он там оставил для меня... Но почему он в Кракове?

— Это письмо от моего приятеля, — сказал я. Изорвав письмо вместе с конвертом, я спросил: — Когда вы возвращаетесь в Стокгольм?

— Завтра. После обеда. Я посетил оба магазина: здесь и в Дрездене. Влачат жалкое существование. Немцам сейчас не до спортивного инвентаря. Как истинному коммерсанту вам сейчас нелепо держать эти магазины: убыточно. Вы ведь здесь слывете опытным дельцом... Понимаете, о чем я?

— Понимаю. Что-то придумаю,— сказал я, хотя думать еще ни о чем не хотелось — трещала башка...

Вечером я рылся в пачке давних газет и журналов, валявшихся на столе в комнате отдыха. Здесь стоял бильярдный стол с зеленым сукном, старое венское пианино и хороший «Телефункен». Светомаскировочные шторы были опущены. Кроме меня в комнате сидели за шахматной доской два немолодых офицера, они были накануне выписки. Из приемника на низких регистрах звучала мягкая мелодия Питера Крөйдера — известного автора шлягеров. Я любил такую сентиментально-грустную музыку с примитивной мелодией. Слуха у меня не было никакого, и серьезную музыку я не воспринимал. Слов в звучащей мелодии не было, и можно было, не отвлекаясь, думать о своем, листать пожелтевшие газетные страницы...

Внимание мое привлекла шестая страница с рубрикой «Культуршпигель», под которой я прочитал: «Умер Ганс Поссе». Дальше шла заметка и подпись под ней какого-то Роберта Шольца... В заметке сообщалось, что на 64-м году жизни скончался выдающийся искусствовед Ганс Поссе... Извещала об этом «Фелькишер беобахтер» в № 343 от 9 декабря 1942 года... Я подумал о Зофи, и первое, что решил сделать, выписавшись из госпиталя,— связаться с нею...

Тиргартен удивил меня — парк был пуст и тосклив. Никого ни на конных дорожках, ни в беседках над прудами. Многие рестораны на островках закрыты. Уныло и странно выглядела Аллея Побед с фигурами грозных рыцарей и курфюрстов, нелепо возвышавшихся сейчас на пьедесталах. Лишь по-прежнему алели площадки роз и висели старые таблички: «Не для евреев», «Евреям вход воспрещен». Но евреев в Германии уже не осталось, а немцам было не до прогулок.

Рядом шла Зофи Кирхбаум. Она осунулась. Шла, глядя под ноги. На ее рыжих волосах смешно сидела старая шляпка.

— Вы плохо питаетесь, Зофи? — спросил я.

— Наверное,— согласилась она и усмехнулась.— Все для победы: в неделю двести пятьдесят граммов мяса, два с половиной килограмма картофеля, а хлеба — двести сорок пять граммов в день на человека... От этого рациона немецкие женщины станут изящней, а мужчины с большим энтузиазмом будут драться за русскую свинину... Глухая стена... Покорность и лизоблюдство... Господи!

Мы шли уже по Унтер-ден-Линден, удаляясь от Бранденбургских ворот. На противоположной стороне, у здания, где до войны было советское посольство, с автомашины сгружали какие-то тюки. Теперь в этом здании министерство по делам оккупированных восточных областей...

— Кто вместо Поссе руководит «Операцией Линц»? — спросил я.

— Комиссар картинной галереи доктор Фосс. Совершенно остервенели. Грабят беззастенчиво, тащат картины из Нидерландов, Франции, России, Польши... Ужас! В этом конверте интересные бумаги... Может быть, это важно, — Зофи протянула мне «Берлинериллюстрирте» с вложенным между страниц конвертом. — Вы останетесь в Берлине?

— Какое-то время, — сказал я, поглядывая на нее сбоку. — Затем, очевидно, опять в Польшу... Зофи, прошу вас, будьте очень осторожны. Они не случайно стали публиковать в газетах списки арестованных и смертные приговоры. Это уже необходимость. Мера отчаяния...

— Тем лучше, — зло сказала Зофи. — Выбирая, каждый немец должен точно знать, что он выбирает: гибель с ними и за них либо — борясь с ними... Оставим это. Ведь мы однажды уже договорились... За себя вы можете быть спокойны... Что бы со мной ни случилось...

Мы попрощались у витрины отеля, где до сих пор почему-то висела карта Польши. В дни польского похода флажками со свастикой на ней отмечалось продвижение войск, и радостные берлинцы весело комментировали быстроту, с какой перемещались эти флажки на восток.

Я отправился к Нойберту.

Он встретил меня очень радушно.

— Хочу поблагодарить вас, Бруно, за деликатесы, которые вы передавали мне в госпиталь, и за то, что уведомили моего шурина, — сказал я, усаживаясь в глубокое кресло и удобно пристраивая еще побаливавшую ногу.

— Ну что вы, Уве! Не стоит об этом! — воскликнул он. — Я никогда не заводил приятелей на службе. Это вызывает массу сложностей. А с вами всегда было легко и просто. Это стоит многого, и этим надо дорожить. С вами и с Гуго... Да, бедняга пострадал... Вы уже видели?

— Нет! Что с ним? — я был удивлен.

— Во время бомбежки здесь, в Берлине, ему оторвало ногу. Теперь на костылях. Какой-то странный стал... Навестите его.

— Обязательно, — искренне сказал я. — Вечером я еду в Потсдам... У меня к вам дело, Бруно. Мы посоветовались с шурином и пришли к мысли ликвидировать наши салоны здесь и в Дрездене. Они убыточны. И... как бы это поделикатней — не отвечают сегодняшнему настроению масс.

— Не надо так пессимистично, Уве. Настроение масс можно регулировать. Важно, какое настроение у нас с вами, — он посмотрел на меня, понимая, что я изложил только вступление.

— Если я прикрою магазины, мое дальнейшее пребывание в Германии потеряет смысл. Смешанное шведско-немецкое бюро тоже изжило себя как форма. Значит, мне пора домой.

— Это — решение? — Нойберт встал из-за стола.

— Нет, я пришел советоваться. — Я понял, что перехлестнул.

— В отношении магазинов вы, пожалуй, правы, — глядя поверх моей головы, сказал Нойберт. — А ликвидировать бюро нам не хотелось бы. Для нас это возможность, в случае необходимости, через вас, представителя нейтральной страны, кое-что переправить в Швецию. Картины и наиболее ценные антикварные вещи... Оформить это продажей, но надежному человеку по дешевой цене... Своему человеку. Понимаете: вы продадите это самому себе. Естественно, вас может интересовать вопрос компенсации за ваши услуги. Мы готовы выслушать условия...

Я уловил: Нойберт говорит не свои слова, возможно чьи-то, кто повыше... Видимо, не случайно загадывают так далеко. И я удобен им как ширма...

— Мне надо подумать, Бруно... Неужели положение так угрожающе?

— Что вы! Идея жива, нация сражается... Вы должны быть с нами до конца, Уве. И тогда вы увидите истинность нашего пути.

— Мне нужно подумать, Бруно.

В Польшу я уехал поездом.

Накануне извлек из «почтового ящика» давнее сообщение Зиги Ремера, что его призывают в армию и что нового человека для связи я встречу уже в Польше. Теперь мне стало ясно, как Зиги очутился в Кракове...

В конверте, который передала Зофи, я нашел копию

письма из Минска гаулейтера Вейсрутениен (Белоруссии) Вильгельма Кубе:

«В результате продолжительных поисков остатков художественных ценностей мне удалось их наконец обнаружить и взять под охрану. В Минске имелись большие и ценные коллекции картин и художественных изделий, которые почти полностью вывезены из города. По приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера большое количество картин (в частности, тогда, когда я стал гаулейтером) служба СС отправила в Германию. Речь идет о миллионных ценностях, которых лишился генеральный округ Вейсрутениен. Картины якобы отправлены в Линц...»

Раздобыла Зофи и отчет по Украине. Составило его руководство штабной группы Р4 имперского министерства оккупированных восточных областей.

«Предполагается укрыть в родовом имении Рихау под Велау и в усадьбе Вильденхоф (владелец граф Шверин) имеющиеся в Харькове, Киеве, Виннице, Полтаве ценности:

1. Старинные иконы (из Музея русского искусства в Киеве).
2. Произведения известных мастеров немецкой, нидерландской и итальянской школ XVI, XVII и XVIII столетий (Киев, Харьков).
3. Из Киевской библиотеки Академии наук — первые экземпляры книг, напечатанных Иваном Федоровым, редкие издания Шевченко, Ивана Франко.
4. Из Софийского собора — 14 фресок XII столетия.
5. Из Киево-Печерской лавры — документы архивов киевского митрополита и книги из личной библиотеки Петра Могилы.
6. Из Полтавы и Винницы — первые печатные издания XVI—XVII столетий.
7. Из Центрального музея имени Шевченко (в Киеве) — произведения Репина, Верещагина, Ге.
8. Из Харьковской картинной галереи — картины Айвазовского, Репина, Поленова, Шишкина.
9. Все это имущество, принадлежавшее Украине, даже по приблизительным подсчетам, оценивается во многие миллионы марок...»

Третьим документом, попавшим в руки Зофи, было сообщение губернатора Кракова доктора Лозакера о секретной папке генерал-губернатора Ганса Франка «Новый немецкий город Варшава» — описание проекта, который Франк в конце 1939 года поручил разработать архитекторам в Вюрцбурге. Согласно проекту, Варшаву предполагалось снести с лица земли и на месте построить новый провинциальный немецкий город...

Я оценил значительность этих сведений и понял, что не зря согласился на уговоры Нойберта не возвращаться в Стокгольм. Мне предоставлялась, пожалуй, редкая возможность подробно знать о грандиозном грабеже, быть может, кое-что

спасти и уж во всяком случае сохранить документы о том, что и куда уплывает...

Соседом моим по купе был пожилой интендантский полковник — неразговорчивый хмурый человек, аккуратно раскладывавший на белоснежной салфетке домашнюю еду. Он ел холодные яйца всмятку, вставляя их поочередно в специальную хрустальную рюмочку, затем тонко нарезал колбасу и укладывал ее ломти на кусок хлеба. Ел молча, ритуально-сосредоточенно, и это раздражало меня. Поезд шел медленно. Его обгоняли воинские эшелоны. За окном шли зеленые глубокие леса с белыми вспышками березовых стволов, поля с высокими, склоненными в одну сторону от сильных дождей овсами... Когда стало смеркаться, полковник отодвинулся от окна ближе к двери.

— И вам рекомендую, — посоветовал он сухо. — Тут полно партизан. Очередь из автомата по окнам — примитивно, но...

— В Берлине бомбежки, тут партизаны. Неизвестно, что хуже, — сказал я злорадно. Уж больно противно ел этот старик.

— Хуже, что много еще штатских бездельников. А им бы полагалось сидеть в окопе, — буркнул полковник.

— Если вы имеете в виду меня, я не обижаюсь, — ответил я.

Полковник не отозвался. Откинувшись к стене, он долго и нудно высасывал, очевидно из больного зуба, кусочек застрявшей пищи...

Я уже не сомневался, что Пельциг следит за мной. Живя по-прежнему в особняке пани Сенк, я имел маленькое бюро в Езерно, где держал одну секретаршу. В комнате напротив был кабинет Пельцига. Несколько раз по понедельникам я замечал, что кто-то накануне рылся в моих бумагах. Рылся неопытно, поспешно. В воскресенье секретарша выходная. И в это время в мой кабинет мог без особых затруднений проникнуть только Пельциг: у него в последнее время по воскресеньям оказывалась срочная работа в служебном кабинете. Кроме того, пани Сенк сообщила мне, что Пельциг расспрашивал ее о содержании моих телефонных разговоров, о том, кто меня посещает. Я понимал, что Пельциг выполняет поручение Беклица. И хотя никаких прямых поводов волноваться не было, все это раздражало, настораживало, заставляло жить с лишней оглядкой, на что растрачивалось и внимание, и нервы...

Размышляя об этом, я поглядывал на отечное рябое лицо Пельцига, сидевшего рядом на заднем сиденье «понтиака». Шофер-эсэсовец гнал машину в Краков. Мы ехали на совещание к Мюльману.

Пельциг был молчалив, его клонило ко сну. Я опустил боковое стекло: в машине сладковато пахло бензином — где-то утечка. Ворвавшийся теплый ветер теребил волосы, и Пельциг то и дело отбрасывал их ладонью со лба, а затем надевал фуражку.

— Может, закрыть окно? — спросил я.

— Нет, нет, иначе я вообще усну, — отозвался Пельциг. — У меня из головы не выходит Гуго Штайнер. Я видел его всего один раз, когда вы нас познакомили, но все равно жаль парня. Был хороший боксер... Кстати, о ваших знакомых, Уве, — вдруг сказал Пельциг. — Когда вы ездили в Радом, звонил какой-то Йорк.

Это было уже серьезно... Откуда Пельцигу известен мой псевдоним?..

— Возможно, — кивнул я. — Был у меня такой заказчик... Хотел какие-то гравюры. Кажется, датчанин. Он ничего не просил передать? Откуда он звонил?

— Нет, ничего. Звонил, кажется, из Берлина...

«Не может быть, чтобы это Зиги... Зиги — и так неосторожно?! И почему из Берлина, Зиги в Кракове?! — ломал я голову. — Что-то не то... Стоп... Письмо! Да, письмо Зиги, которое принес шурин в госпиталь... Пока я лежал там, мою корреспонденцию мог свободно прочитать... Беклиц! Конечно, Беклиц! Он-то и поручил Пельцигу запустить этот пробный шар, полагая, что «Йорк» — еще одно лицо... Имя «Йорк» известно только Зиги.Ремеру...»

Новый мой связной жил в Складзене легально, имел подряд на дорожно-ремонтные работы от городских властей. Людвиг Кикульски. Фольксдойче. Я понимал, что у него были истинные имя и фамилия, что, возможно, никакой он не фольксдойче, а просто поляк-подпольщик. Да ведь и я для него и его товарищей отныне существовал как «Йорк», а Уве Цорн был просто немецким чиновником. Связь с польским подпольем многое облегчала: Берлин был далеко, и единственное звено, связывавшее меня с ним — Зиги Ремер, — оборвалось...

При первой нашей встрече Кикульски сказал:

— Будьте осторожны: у немцев работает хороший осведомитель. Для связи с нами был заброшен радист советской фронтовой разведки. Они его взяли, едва он успел легализо-

ваться... По просьбе представителя штаба первого обвода¹ должен вас проинформировать, что обстановка в Польше сложная. Силы Сопротивления очень пестры. Различными военными организациями руководят различные партии. И сплошные противоречия: ни единой платформы, ни единой программы. «Делегатура» старается использовать это, чтобы подчинить все своему влиянию. Мы стремимся изолировать народные массы от авантюризма правых. Успех и масштабы военных операций АЛ прочистили уже мозги многим, авторитет ее в народе огромен. К ней уже примкнули подразделения милиции Рабочей партии социалистов, некоторые Батальоны хлопские, созданные крестьянской партией Стронництво людове, отдельные отряды аковцев, — там есть дальновидные офицеры-патриоты... Вот такой орнамент получается...

Краков открылся издалека, как хорошо выписанный, стоявший за прозрачной кисеей театральный задник: в легкой фиолетовой дымке виднелся Вавельский холм, симметричные, словно вчekanенные в голубое небо, темные башни костелов, высокие сводчатые крyщи домов...

В зале, где проходило совещание, штатских и офицеров в общевойсковой форме было мало. Они заметно выделялись в черных рядах офицеров СС, принадлежавших к различным службам. Зал был высокий, опоясанный белым балконом с лепными фигурками муз и толстощеких младенцев, трубивших в рога. На сцене в президиуме под широким полотнищем флага сидели Кай Мюльман, Ганс Франк и еще какие-то чиновники из аппарата генерал-губернаторства.

Совещание открыл Мюльман. Говорил он тихо и размеренно. По его обращению к залу я понял, что здесь сидят люди, прибывшие из областей, присоединенных к рейху, и из дистриктов генерал-губернаторства. Понял я и то, что в зале много искусствоведов, к опыту и знаниям которых взывал Мюльман, требуя проявить максимум усилий и добросовестности в дальнейших поисках культурных ценностей... Из уст Мюльмана в зал негромко летели научные термины и изящные слова, которыми только и принято говорить об искусстве. И я подумал, что если отвлечься от сути происходившего, то сколько деловой пристойности было бы в выступлении каждо-

¹ Обвод — округ. Вооруженные силы Армии Людовой (АЛ) разделялись на обводы по территориальному принципу.

го, подымавшегося вслед за доктором Мюльманом на трибуну!...

Я слушал и думал о странной и трагической судьбе Германии. Все закономерно: рушилось то, что создавалось из упоенной лжи и демагогии, что обещалось как вечное и неизблемое. Страшные люди, стоявшие у власти, сейчас, как никогда, может быть, хотели знать правду о всех сферах жизни страны, но узнать ее было не от кого. Каждый партийный и государственный чиновник давал вышестоящему начальству лживую информацию: все, мол, хорошо, ибо был приучен умалчивать о недостатках, опасаясь, что его обвинят в неумении руководить. А он цепко держался за кресло — оно давало ему власть и благополучие. Должность — вот что определяло положение человека в этом обществе, не его личные качества, а должность! И так — снизу доверху: от маленького блоклейтера до самых высоких партийных бонз — сплошная ложь восхваления. Невежественные, малокультурные люди, творчески бесплодные, боявшиеся и ненавидевшие интеллигенцию, они, захватив власть, истребили и изгнали лучшую ее часть. Для себя же из ее среды отобрали самых слабых духом и самых бездарных. Первых принудили служить себе, вторые согласились на это добровольно; их бездарность плодила только то, что соответствовало интеллекту и примитивному мышлению нацистских чиновников. Служили эти представители новой культуры преданно, понимая, что только при этом лживом режиме они могут называться художниками, писателями, композиторами, чтобы обеспечить себе какое-то положение в обществе и загребать деньги; в условиях же морально здорового общества, естественной творческой конкуренции, где торжествует правда, они просто исчезнут...

Затем Мюльман объявил, что для участников совещания будет дан небольшой концерт, после которого он попросил остаться командиров эйнзацгрупп.

В перерыве между номерами я вышел из зала. Был полдень. Теплое осеннее солнце нагрело стены домов и тротуарные плиты. Тронутые желтизной листья каштанов осторожно колыхались на ветвях, словно боясь сорваться и упасть под ноги. На площади перед Сукенницей, где обрубком торчал пьедестал, на котором до войны возвышался памятник Мицкевичу, было пустынно. Лишь два офицера, наверное, фронтовики, в не очень свежих мундирах весело позировали своему приятелю, щелкавшему «лейкой».

Я долго ходил по Кракову. Не давала покоя мысль, что

где-то здесь Зиги Ремер. Я понимал, что искать его, бродя по узким улочкам, — бессмысленно, однако ничего придумать не мог.

Из выступлений Мюльмана и остальных я уловил, что они заторопились, что для тщательного отбора произведений искусства времени нет, надо хватать все, что под рукой: там, мол, разберемся...

Пообедав в офицерском ресторане при гостинице, я поднялся в номер, где остановился вместе с Пельцигом. Сбросив пиджак и туфли, ослабил узел галстука и завалился на кровать. Я дремал, иногда открывая глаза и видя кусок затекшей стены над дверным косяком, и снова смежал веки, и в этом полусне мысль моя возвращалась к одному и тому же: нужен Зиги. Каждый день в Цитадель все больше и больше прибывало ящиков с документами и произведениями искусства — картины, манускрипты, фарфор. Многие немцы не успевали внести в списки, и появилась возможность кое-что упрятать и сохранить в тайнике, в доломитном карьере... Но нужен был грузовик и шофер... Нужен был Зиги...

Разговаривали двое. Одного я узнал — Пельциг. Дверь его кабинета была распахнута. В воскресенье я никогда не приходил к себе в бюро. В этот раз мне понадобилась папка с отчетом для Нойберта, вечером фельдсвязью я должен был отправить ее в Берлин. Я остановился у входной двери, придерживая ее ногой, чтобы не хлопнула. Кабинет Пельцига был справа, моя комната — слева, и, если бы я направился к себе, Пельциг увидел бы, как я пересекаю приемную, где стоял маленький столик с пишущей машинкой, зачехленной черной потрескавшейся клеенкой. Тут обычно сидит Ютта.

— Допивайте коньяк, и закончим разговор. Вам не следует здесь торчать, — снова услышал я Пельцига. — Запомните на всякий случай: все мои личные ящики помечены буквой «Р».

— Вы уверены, что на аптечном складе никто не проявит любопытства к их содержимому? — спросил незнакомец.

— Тут я спокоен. Мне только нужно быть уверенным, что не любопытен ваш поляк, который возит их туда, — ответил Пельциг.

— Он не любопытен. Ему важно получить свое сало и консервы за работу. Я сказал ему, что в ящиках медикаменты.

— Хорошо. Портрет Сикста Четвертого, к сожалению, внесен в каталог. Придется снова заказывать копию вашей

художнице. Пошлите опять к ней этого поляка. Пусть только она поторопится. Я упакую эту фальшивку вместе с оригиналами других картин. В Берлине не сразу разберутся. Предыдущие подделки сошли,— засмеялся Пельциг.— У вашей копиистки большое будущее.

— А у нас с вами?

— Об этом надо заботиться сейчас. Беклиц благодарит вас за этого русского радиста. Он держит его в Кракове... Но толку от него мало. Его рано взяли: он не успел ни с кем связаться... Впрочем, это забота уже не моя. Ну, прозит!

Звякнули бокалы.

Мне очень хотелось убрать ногу, чтобы хлопнула дверь, как ни в чем не бывало пройти к своему кабинету, невзначай оглянуться — увидеть Пельцига, в особенности его собеседника, и, не скрывая, что я мог слышать часть разговора, посмотреть на растерянную физиономию Пельцига. Но я раздумал. Выйдя в коридор, тихо прикрыв дверь, сбежал по ступенькам вниз, вышел на улицу и быстро свернул за угол. Отсюда я мог видеть подъезд. Спустя десять минут из подъезда появился только Пельциг. И я с досадой понял, что собеседника своего Пельциг выпустил через калитку во внутреннем дворе на другую улицу.

Придя домой, я заказал разговор с Берлином. Пани Сенк, стараясь ступать потише, накрывала на стол. Большие листы салата, кропленные уксусом и чуть посыпанные сахаром, обрамляли блюдо, в котором лежали тугие помидоры и маленькие крепкие огурцы. Затем она подала в высокой чашке коричневый суп-гуляш с гренками, а на второе — кусок запеченной в хрустящем тесте свинины с тонким слоем сала вокруг.

Я был любезен с пани Сенк, сделал комплимент ее узорному, отделанному синей тесьмой переднику с большим белым карманом и вышитыми по нему инициалами хозяйки. Я старался задержать ее, мне нужно было, чтоб она слышала мой разговор с Берлином. Ждать пришлось долго.

Телефон зазвонил, когда я пил кофе. Зная любопытство пани Сенк, я специально стал спиной к ней, чтобы дать ей возможность остаться в комнате. Она тут же принялась вытирать тряпкой пианино, долго отыскивая на нем каждую пылинку.

— Да, да, пожалуйста... Приемная господина Нойберта. Благодарю. Алло! Бруно! Здравствуйте. Это Цорн. Да!.. — Разговор мой с Нойбертом носил полуделовой характер. Мне нужен был этот спектакль в присутствии пани Сенк. Когда

телефонистка дала отбой и в трубке басовито зазвучали короткие гудки, я, делая вид, что продолжаю разговор, громко сказал: — Да, новость неприятная. В какой мере это касается Пельцига?.. Неужели?! Много картин он присвоил? Очень жаль его... Нет, об этом не беспокойтесь, я понимаю конфиденциальность разговора. Спасибо... До свидания... — Я повесил трубку и повернулся к пани Сенк в тот момент, когда с тряпкой в руках она собиралась выйти. — Минуточку, пани Сенк, — я остановил ее. — Вы второй раз сегодняя вытирали пианино. Вы очень дорожите им?.. Присядьте... Вам представился случай заслужить благодарность господина Пельцига. — Я посмотрел на телефон. — Вы понимаете, о чем я?

— Я... так... — смутилась пани Сенк.

— Ничего. Я не в претензии. Вы ведь случайно слышали мой разговор. Не правда ли? — улыбнулся я.

— Что вы, герр Цорн! Я буду нема как рыба! — воскликнула пани Сенк.

— Вам следует поступить как раз наоборот. — Я ткнул в нее пальцем. — Вы помните наш уговор? Так вот: вы перескажете господину Пельцигу мой разговор с господином Нойбертом. И сделаете это сегодня же. Вы поняли? Ну и отлично... Обед был превосходный. В особенности свинина. Вы очень ловко делаете эту хрустящую корочку из теста. Она пропитывается салом. Очень вкусно...

Утром следующего дня Пельциг вошел ко мне в кабинет и молча уселся у окна. Я сделал вид, что занят, рылся в бумагах, что-то выписывал на отдельные листки, ожидая, с чего же начнет Пельциг.

— Извините меня, Руди, — сказал я, — мне срочно надо кое-что приготовить для Нойберта.

— Я хотел вам показать последний номер «Нахтаусгабе», — пропел Пельциг. — Вы теперь знамениты. Тут опубликована корреспонденция о вас: «Благородство и понимание момента». Роскошный заголовок! Послушайте, что они пишут: «Известный шведский коммерсант господин Уве Цорн подал пример всем немцам. Откликаясь на призыв доктора Геббельса, он закрыл два своих спортивных магазина — в столице и в Дрездене. Это истинное понимание условий военного времени...»

— Я читал это, Руди, — не поднимая головы, отмахнулся я. — Это Нойберт организовал. Он мне вчера признался.

— А я хотел сделать вам сюрприз... Что еще Нойберт рассказывал? — ухватился Пельциг. — Какие новости в Берлине?

— Ничего особенного. Участились воздушные налеты, — куражился я.

— Уве, вы не хотите быть со мной откровенны, — наконец выдавил Пельциг.

— Я откровенен в той степени, в какой вы со мной, — я посмотрел ему в глаза. — Собственно, что вы имеете в виду?

— В Кракове мне намекнули, что у Нойберта лежит на меня донос, — соврал Пельциг. — Неужели он вам ничего не сказал?

— Донос? О чем? — удивленно воскликнул я.

— Что якобы я присваиваю себе художественные ценности, принадлежащие рейху, — промямлил Пельциг. Его рябое лицо стало красным и потным.

— Если это так, дело плохо, Руди, — покачал я головой. — За финансовые махинации арестован шурин генерал-губернатора господина Франка. Некто Лаш. Гестапо из уважения к доктору Франку предоставило Лашу покончить жизнь самоубийством. — Это была правда, эту новость сообщил мне на прошлой неделе Нойберт. — Насколько мне известно, у вас нет влиятельных родственников. Зачем же вам нужно было так рисковать, Руди?

— Это все преувеличено, — Пельциг облизнул губы. — Это... в общем... — бормотал он.

— Перестаньте меня дурачить. — Я сказал это ему очень тихо. — Я знаю о доносе. Там сказано, что и сколько вы присвоили. Названо даже место, где вы храните ценности, — аптечный склад этого богомольного лейтенанта Занне.

Пельциг зашевелился.

— Вы сможете для меня что-нибудь сделать? — спросил он.

— Вы неправильно сформулировали вопрос, Руди. Вы должны спросить, захочу ли я вам помочь еще раз. Вы неблагодарный человек. — Я решил с ним быть пожестче. — И поступили неразумно, согласившись следить за мной. Беклиц наговорил вам много, но умолчал о главном: работая с Нойбертом, я оказываю помощь вашей партии. Для себя я извлекаю пользу как коммерсант: деньги. Я служу за деньги. Это самая верная гарантия для Нойберта. Поэтому я пользуюсь его доверием. И, оберегая интересы вашей партии, я оберегаю свои. Если вы это усвоили, вдолбите себе следующее: устраивая за мной слежку, Беклиц не учел, что и я выполняю похожие функции. Но не по отношению к нему лично: я контролирую организации, занимающиеся учетом

и конфискацией художественных ценностей. Это огромные деньги, Руди. И партия хочет, чтобы они текли только в ее мешок. Для этого ей нужен заинтересованный и честный контролер. Теперь вам нетрудно уяснить степень моих полномочий. Пусть даже они и негласные.

Туману было пущено достаточно. Перепуганный Пельциг увяз в нем.

— Что вы сможете сделать для меня, Уве? — пробормотал он. — Я должен выпутаться из этой истории... Я не шури́н Ганса Франка... Они не дадут мне возможности застрелиться... Они переломают мне кости... Да я и не желаю стреляться! Я свинья по отношению к вам. Но помогите мне!

— Все будет зависеть от вас, Руди, — дожимал я стервеца.

— Беклиц сказал: «Этот ловкий швед мне не по душе, хотя он и оказал нам некоторые услуги. Но в одном нашем пасьянсе его имя попадалось в вариациях, которые было бы опрометчиво всякий раз считать случайными...» Больше он ничего не сказал мне, но поручил следить за вами и докладывать. Вопросник он составлял сам. Я не умею этого делать, я не ищейка, будь он проклят!

— Где находится Беклиц?

— Почти постоянно в Кракове.

— То, что вы наворовали, входит в каталоги или инвентарные списки? — спросил я.

— Нет. Я не так глуп. Эти картины нигде не значатся. Но я могу вернуть их немедленно.

— Под разумным и удобным предлогом сделайте хороший подарок Беклицу. — Что ж, пружину я решил завести до отказа. — Скажем, дорогие гобелены или какую-нибудь антикварную штучку из музея. В общем, придумайте сами. Что-нибудь такое, перед чем Беклиц не устоит. Но эта вещь обязательно должна числиться в описи. Только так я смогу вас избавить от Беклица и спасти от больших неприятностей. Но запомните, Руди: не вздумайте меня морочить.

— Клянусь вам, Уве! — воскликнул Пельциг.

«Трусливый плут, — подумал я, когда Пельциг ушел. — О пани Сенк — ни слова, о своем агенте, выдавшем советского радиста, умолчал. О чем он еще умолчал?» Я оценивал опасность, которую представлял агент Пельцига, но рассудил, что выпрашивать о нем пока рискованно. Во всяком случае, до тех пор, пока Беклиц в силе...

Мне необходимо было передать Кикульски срочные сведения:

«Краков: губернатор доктор Лозакер. Служебный адрес: Адольф-Гитлер-плац, 27. Телефон 151-40. Люблин: губернатор доктор Вендлер. Телефон 18-80. Варшава: губернатор доктор Фишер. Дворец Брюль. Телефон 5-65-60. Галиция, Львов: губернатор доктор Вехтер, Дистриктштрассе, 18. Телефон 1-03-40, 1-04-00/7. Радом: губернатор доктор Кундт. Рейхштрассе, 53. Телефон 24-00/7».

Сведения эти я получил от Нойберта: губернаторам дистриктов было вменено в обязанность оказывать мне содействие, если в случае необходимости я с полномочиями Нойберта обращусь к местным властям.

Я понимал, что эти данные нужны советским партизанским штабам и подпольным польским группам АЛ. Лишь позже я узнал, что Беклиц, накрыв одну из явок, обнаружит в кармане убитого в перестрелке подпольщика эти имена, адреса и телефоны, записанные на кусочке серой оберточной бумаги...

Людвиг Кикульски выглядел старше меня лет на десять. Мрачноватый и, как показалось мне в этот раз, раздражительный человек с длинным морщинистым лицом, постоянно темным от ветра и загара. На выпиравших скулах синели точки.

— Что вы рассматриваете меня, как куклу на витрине? — хрипло спросил Кикульски, нарезая сало большими ломтями на газету, где кучкой лежали маленькие луковицы и длинный со вмятинами, похоже пустой внутри, соленый огурец. Мы сидели в старом сарае. — Это угольная пыль, — сказал Кикульски, погладив большими угластыми пальцами скулу с синими точечками.

— А я думал, это следы пороха, — ответил я.

— Может, и следы пороха, какая разница? — пожал плечами Кикульски. Из немецкой фляжки он налил в алюминиевые плоские кружки самогона. — Дело вот в чем, — сказал он, обхватывая кружку всей ладонью, — старайтесь, чтоб мой радиост выходил в эфир не чаще одного раза в неделю. Дела у немцев плохи. Полевая жандармерия озверела. СД пригнала машины с пленгаторами. Где-то работает еще чей-то передатчик. Близко к нашим частотам. Скорее всего это умники из «делегатуры», держат связь с Лондоном. По почерку радиста похоже, что какой-нибудь скочек¹ оттуда. Если нашу

¹ С к о ч е к — парашютист (польск.).

рацию прихлопнут, останемся без связи: замену найти не просто.— Он усмехнулся, поглядел в щель между досок.

— Я вас понял,— кивнул я.

— Что ж, давайте,— Кикульски поднял кружку.

Втянув носом воздух, я ощутил мерзкий запах самогона, от которого дернулся кадык, и с отвращением подумал, как трудно будет одолеть это пойло. Кикульски заметил.

— К коньяку привыкли? — снова усмехнулся он.— Ну, тут дело такое, что брезговать нельзя: Есть повод. Вчера, в понедельник, семнадцатого июля, войска Первого Украинского фронта вступили на территорию Польши. А по Москве вчера проконвоировали 57 600 военнопленных солдат, офицеров и генералов Гитлера.

Мы выпили. Кусая сало, положенное на хлеб, и грызя луковицу, Кикульски поглядывал в щель. Сарай, стоявший возле разбитого кирпичного фольварка, у самого леса, был завален всяким хламом: отъездившие свое фаэтоны, колеса со сбитыми ободьями, большие продавленные плетеные корзины, бумажные мешки с остатками цемента, старые рассохшиеся бочки и еще бог знает что...

Дожевывая жилистое, тянувшееся, как резина, сало, я переспросил:

— Значит, их провели по Москве?

— Да. Пятьдесят семь тысяч шестьсот!..

Мы попрощались. Первым вышел высокий сутулый Кикульски, попыхивая дешевой сигаретой...

Я узнал, что в третий раз за истекшие два месяца Беклиц отправлял из Кракова в Лихтенберг к себе в особняк подарки, полученные от Пельцига: музейный фарфор и уникальное, XVII века, столовое серебро польских королей.

Все это, как рассказал мне Пельциг, аккуратно было упаковано в ящики, и шофер под присмотром адъютанта Беклица загрузил ими багажник «хорьха». Командировочное предписание адъютанту подписал Беклиц. Что же, моя затея, кажется, удалась. Тут брезговать не приходилось. Я понимал, что Беклиц едва ли оставил меня в покое: он просто ждет от меня какой-нибудь глупости, чтобы на возможные возражения Нойберта чем-то обстоятельным убедить его, что со мной не все в порядке...

Секретарша Ютта, плоскогрудая, с большим тонкогубым ртом, уже пудрилась, собираясь уходить. Я хотел, чтоб она сделала это побыстрее.

— Что-нибудь еще, господин Цорн? — спросила она.

— Нет, Ютта, вы свободны. Возьмите, — я протянул ей два билета в казино. — Там какая-то заезжая певица сегодня.

— Благодарю вас, господин Цорн. До свидания...

Когда она ушла, я сел за машинку и начал печатать:

«Считаю необходимым поставить Вас в известность о фактах хищения чинами СС художественных ценностей, принадлежащих рейху...»

Я намеревался отправить письмо в два адреса: Нойберту в партийную канцелярию и, как уполномоченный по коммерческим вопросам «Наследия», — в штаб Гиммлера, которому подчинялось «Наследие». Расчет был прост: каждое из этих учреждений посчитает себя единственным обладателем такого сигнала. В обоих местах мне будут благодарны за преданность. Люди из штаба Гиммлера не захотят упустить возможность лишний раз доказать партии, что у них уши всюду, и понесутся с моей информацией к Нойберту. Я полагал, что Нойберт, беседуя на эту тему с людьми из штаба, не подаст виду, что уже осведомлен. Не сделает этого по двум причинам: во-первых, из лукавого желания услышать, в какой интерпретации ему преподнесут это дело; во-вторых, не желая дезавуировать своего человека — меня. Если же в партийной канцелярии поинтересуются, откуда в штабе такая информация, то и в этом случае мое имя не будет названо — по той же причине: имя надежного информатора там тоже умеют держать в тайне. Сообщат какую-нибудь ложь. Я рассчитывал подобной «услугой» двум ведомствам прежде всего получить в дальнейшем от тех и других — независимо — большие полномочия. И, конечно, имел в виду избавиться от Беклица.

Печатал я не под копирку, а сделал два первых экземпляра письма и приложения к нему с указанием фактов и фамилий, где не последнее место занимала фамилия Беклица. О Пельциге я умолчал...

Покончив с этим, я отправился домой. Хотелось принять душ.

В ванной перед зеркалом я долго рассматривал свое лицо, натягивая ладонью кожу, пробуя, хорошо ли выбрился. Морщины у глаз стали глубже, на загоревшем лбу у наметившейся залысины крутым изгибом проступала, пульсируя, вена. Я провел рукой по волосам, почувствовал, что они поредели. Хлопнула дверь. Послышались голоса. Я знал: это пани Сенк принимала почту. В газетах опять будет о выравнивании линии фронта. А в сущности — бегут. Дело идет к концу.

Я смутно представлял себе, как там все это происходит — на передовой, в окопе, в блиндаже; советских солдат, их лица, голоса... Да, дело идет к концу. Автоматизм моей нынешней жизни определен и задан вроде так давно, что иным я себя почти и не вспоминаю. И даже опасность — уже не острое ощущение с биением сердца и холодком в подвздошье, как у того, кто ночью в белесом гибельном свете ракет лезет через колючую проволоку, каждую секунду ожидая, что ударит в упор тяжелая свинцовая струя. У меня это — привычное желание не ошибиться. Как инстинкт шофера, долго работающего на одной трассе, когда он мчится по узкой горной дороге, когда перед его мысленным взором не возникают подробные картины того, что может случиться, если он ошибется. Это — работа, которую он выполняет изо дня в день... И ему давно известно, что произойдет в случае ошибки. Значит, просто работа... И ненависть моя совсем не та, какую каждодневно испытывает солдат к врагу, находящемуся в двухстах метрах в окопе: обнаженная, всепоглощающая жажда выстрелить и убить. Моя ненависть трезвее и расчетливей, определялась она спецификой и некоторой странностью поля боя, где я вел свою войну...

Еще на последнем свидании с Зофи Кирхбаум я попросил ее бывать в Берлине хоть раз в месяц и в эти посещения столицы заглядывать в «почтовый ящик», которым я некогда пользовался с Зиги Ремером. Особой надежды я не питал, делал это по простой привычке не отказываться от услуг случая. Но проходили месяцы, и в информации Зофи никаких упоминаний о «почтовом ящике» не было...

В одиннадцать утра уже стоял зной. Я распахнул окно кабинета. Стол был завален бумагами, к которым я не прикасался несколько дней. Мне были противны напечатанные на бланках вежливые письма, гроссбухи, бюллетени, банковские сводки — узкие полоски, забитые цифрами. Все это стало почти бессмысленным, как вертевшийся вхолостую шестеренки, ничего уже не способные привести в движение, — ремни трансмиссий были оборваны: с каждым днем война выводила из строя звенья отлаженной машины, которая некогда безотказно и ритмично служила ей...

За окном старик поляк с длинными, распушенными на концах усами поливал из лейки тротуар, и в кабинет проникал запах пыли, как бывает летом после слабого короткого дождя.

Вошла секретарша.

— Господин Цорн, из Дрездена прибыли счета на оплату реставрационных работ.— Она протянула мне пакет.

— Спасибо, Ютта. Оставьте их мне,— кивнул я.

Такие счета из галереи представляли за реставрацию картин третьей категории, которые не годились для «Операции Линц» и передавались мне. Присылала их Зофи. Счета эти меня не интересовали, важен был конверт, в каком она отправляла их: в особо важном случае Зофи должна была наклеить помимо марок почтового стандарта с портретами Гитлера юбилейную марку, посвященную 800-летию Любека.

Я взял аккуратно вскрытый Юттой плотный желтый конверт. Среди цветных, заметно подретушированных почтовых профилей Гитлера, робко, лишь в углах проштемпелеванных рукой осторожного чиновника, выделялась двадцатипфенниговая марка с гравюрным изображением готических шпилей древнего Любека. Зофи Кирхбаум подавала знак.

Какое-то время я сидел, глядя куда-то поверх стола, затем развинтил телефонную трубку, расслабил под мембраной контактный винт, выдернул проводок и вновь собрал трубку. Зуммер умолк. Выйдя в приемную, я сказал секретарше:

— Я в комендатуру. Вернусь после обеда. Будьте добры, Ютта, у меня что-то с телефоном, разыщите монтера.

— Да, господин Цорн. Все будет сделано...

Я решил позвонить в Дрезден. Другого выхода связаться с Зофи сейчас не было. Я понимал, что это рискованно, несмотря на условный язык, каким мы привыкли объясняться. Но звонить из своего кабинета все же не стал, надежней это сделать из кабинета начальника гарнизона полковника Яппса. Таким образом, Ютта не сможет не только подслушать, но и вообще не будет знать, что я куда-либо звонил в этот день и в это время: телефон у меня был испорчен. Яппса же вообще не интересовали мои звонки, полковник привык, что я иногда пользуюсь его связью для срочных разговоров.

Заказав для меня разговор, Яппс деликатно вышел из кабинета. Дрезден дали минут через двадцать. Голос Зофи, преодолевавший расстояние, был слаб, он то затихал, то звучал громче, словно говорил больной человек. И когда мы уже заканчивали обмен ничего не значащими новостями и взаимными пожеланиями здоровья, Зофи сказала: «За все время ваш маклер (так мы называли между собой Зиги) появлялся один раз. Он все там же. Работает в большом продуктовом магазине». Я понял: каким-то образом Зиги побывал в Берлине и оставил в «почтовом ящике» сообщение, что находится

по-прежнему в Кракове. Но что означает «большой продуктовый магазин»? Эту Эзопову фразу я понять не мог. Уточнять же не стал: большего по телефону Зофи сказать не могла, а возможно, и не знала...

Через день я получил от Нойберта письмо. Оно было тревожным, в нем звучали многозначительные намеки:

«...Все идет не так, как бы хотелось: прихоти войны. Но из любых перемен нужно уметь извлекать пользу. Потихоньку готовьте эвакуацию самого ценного из вашей Цитадели. Не забудьте инвентарные списки и каталоги. Поскольку в них зафиксировано, что, где и когда конфисковано, целесообразно, чтобы этими сведениями располагали только мы: их всегда можно ликвидировать. Проявив в этом вопросе в свое время неосмотрительную скрупулезность (имею в виду не просто факт наличия подобных документов, но их подробность и многотиражность), необходимо не дать кому-либо впоследствии воспользоваться ими против нас как документами уже юридического характера. Надеюсь, Вы меня поняли. Вам понадобится транспорт. Свяжитесь в Кракове с генералом Августом Буссе. Он выделит Вам десяток крытых грузовиков. Указания ему уже даны. Есть мнение, что Вам, возможно, придется с кое-каким грузом отправиться пароходом в Стокгольм, чтобы отдать этот груз под защиту флага Вашей прекрасной фирмы. Но пока, слава богу, это не стало практической необходимостью. Ваше сообщение о хищениях чинами СС произведений искусства, принадлежащих рейху, передано в следственные органы. Благодарю Вас...»

Не откладывая, я выехал в Краков.

Машина была с открытым верхом. Стоял тяжелый густой зной. В безветрии пыль, поднимавшаяся за колесами, долго висела серой пеленой, медленно и лениво опускаясь на сухую ломкую траву у обочин. Казалось, все пространство, от сожженного солнцем рыжего поля до белого выгоревшего неба, было заполнено упругой духотой, сквозь которую с усилием шла пышущая разогретым металлом и резиной черная машина. Расслабив на липкой от пота шее воротник рубахи, я откинулся на сиденье и прикрыл набрякшие веки.

Я снова думал о Зиги Ремере, в голове все время вертелась фраза Зофи: «большой продуктовый магазин». Что это? Шофер, солдат вермахта и «большой продуктовый магазин»...

Мы долго стояли у переезда, пристроившись в хвост к колонне грузовиков, ждавших, как и мы, куда откроется шлагбаум. Я вышел размять ноги, прохаживался вдоль грузовиков. На меня сонно и лениво смотрели разомлевшие от жары шоферы с бронзовыми лицами и тяжелыми загоревшими руками, лежавшими на баранках. Грузовики были забиты ящиками, картонными коробками и тугими мешками. Из

вялых полушутливых разговоров солдат, сопровождавших машины, я понял, что колонна направляется на какой-то интендантский склад и что везут они консервы, сахар и еще какие-то продукты.

Прошел товарняк. Шлагбаум подняли, и все пришло в движение. Но в Краков нам пришлось уже тащиться все время в хвосте колонны, в ее пыли и бензинном перегаре. И лишь у въезда в город на развилке мой шофер — молчаливый пожилой ефрейтор — свернул. Мы проехали с полкилометра по блестящему раскаленному булыжнику, когда сквозь дремотное состояние мой мозг вдруг прорезала мысль, сложившаяся как мозаика из отдельных кубиков.

— Разворачивайтесь и догоните эту колонну, — приказал я шоферу. — Поедете следом. «Конечно, решил я, скорее всего «большой продуктовый магазин» — это склад, армейский продуктовый склад, где Зиги работает шофером...»

Колонну мы настигли быстро и двигались следом до тех пор, пока она не въехала в распахнувшиеся железные ворота, у которых стоял часовой. Я успел заметить в глубине двора низкие, барачного типа складские постройки.

Генерал Буссе угостил меня холодным рислингом. Буссе был стар и мучился от жары. Он стеснялся, что потеет и все время вытирает чистейшим платком болезненно белый лоб и щеки, прошитые лиловыми склеротическими ниточками. Он трижды менял платок.

— Какие вам нужны машины? — вежливо спросил Буссе.

— Прежде всего крытые, — сказал я. — Шоферов лучше всего подобрать из интендантских, скажем, продуктовых складов, они имеют опыт перевозки грузов.

— Меня это тоже больше устраивает. Вы сами понимаете, брать сейчас грузовики в какой-либо танковой или артиллерийской части не очень своевременно.

— Шоферов я хотел бы подобрать сам... — Я сделал паузу. — Этого требует деликатный характер их будущей работы.

— Хорошо, это несложно, — согласился генерал. — Через час вам доставят все необходимое для этого. Вам выделяют кабинет.

— Благодарю вас, генерал. Закончив все, я позволю себе побеспокоить вас еще раз. — Я вышел...

...У меня уже рябило в глазах от бесконечных имен, фамилий, дат рождения. И наконец вот она, удача! Зиги Ремер!.. Шофер продуктово-вещевого склада... Рядовой Зигфрид Ремер!..

Посидев для видимости еще какое-то время в кабинете, куда мне принесли личные дела военных шоферов, я отправился к Буссе.

— Все в порядке, господин генерал. Вот список людей, которые меня устраивают. Их шесть человек,— сказал я, стараясь скрыть свою радость. Мне хотелось снять тяжелую каплю пота, висевшую на впалом виске генерала.

— Когда откомандировать их вам? — спросил он.

— Как можно быстрее!

— Я был рад с вами познакомиться.

— Я также, господин генерал...

В полночь я возвратился в Езерно.

Прибывших шоферов прикомандировали к эйнзацгруппе Пельцига. Машины их стояли в Цитадели, а жили шоферы в казарме комендантского взвода. Меня это устраивало. И сейчас, сидя с Зиги на пожухлой колкой траве возле карьера, я, не скрывая радости, разглядывал Ремера при мягком свете долгого июльского заката. Зиги был худ, из-под широкого ворота его кителя торчал кадык. Он улыбался, вертя в пальцах травинку.

— Ну что, дело идет к концу? — спросил он, смешливо дернув носом.— Они, правда, еще хорохорятся, стараются голову задрать повыше, чтобы не слышать запах дерьма, в котором сидят по шею.— Улыбка у Зиги была белая, проблискивали ровные зубы, а лицо темное, обветренное.

— Как вам удалось съездить в Берлин? — спросил я.

— Три дня отпуска дали. На похороны отца. Тогда я и оставил вам весточку...

Мы сидели долго. Стемнело. Просверливали тишину цикады, и легкий ветер приносил запах сена. Стало не так душно. По черному небу пошла яркая звездная сыпь.

Зиги сообщил, что установил связь с людьми из польского подполья в Кракове...

Обо всем договорившись, я показал ему тайник, куда Зиги предстояло возить ящики с документами и произведениями искусства, какие мне удастся спасти.

— С Пельцигом будьте осторожнее,— сказал я.— Развалившийся человек. Ничтожество. Присматривайте за ним.

Может появиться и еще один тип — Беклиц. Умен, хитер. Этот все примеривается ко мне. Кое-что у него есть. Но хочет наверняка. С поляками связь держите. При первой же возможности я устрою вам командировку в Краков. Отвезете им кое-что... Кто у вас остался в Берлине?

— Мать и сестра.

— Надо будет подумать, как отправить для них продуктовую посылку и деньги, — сказал я, понимая, что это действительно необходимо сделать. Я знал, что в Берлине голодно.

— Спасибо, — поблагодарил Зиги.

Потом Ремер ушел, а я еще сидел, ожидая, пока он отъедет подальше...

Шли дожди. Обложные, густые, серые. Низкие ветры обрывали последние листья, черные намокшие ветви корчились, словно пытались за что-то ухватиться. Вот-вот дожди должны были схлынуть, чтоб просветлело и налилось остудной синевой небо, когда на рассвете вдруг задубеет от первого заморозка земля, а по желтой стерне и пожухлым травам сверкнет сахарной крупкой иней. Пройдет неделя, и однажды ночью (как всегда это бывает — ночью) выпадет несмелый первый снег...

В Цитадели гремели молотки. Солдаты заколачивали ящики, грузили их в машины. Пельциг отправлял их в Складзень, где все это перегружалось в железнодорожные вагоны.

Всякий раз в отсутствие Пельцига я ухитрялся вывозить машиной Зиги Ремера несколько ящиков в свой тайник. Это было трудно: нужны были люди — просто грузчики. Дважды устраивал для Зиги поездку в Краков, снабжая его информацией для польского подполья: куда и какой груз отправляет Пельциг. Мы так и договорились с Киккульски: ему я буду передавать самое срочное, чтоб радист реже выходил в эфир. Всю же текущую информацию — через Зиги в Краков. С Нойбертом я поддерживал почти постоянную телефонную связь. Он же и сообщил мне, что по делу Беклица и других офицеров СС начато следствие...

Однажды вечером я наведалься к Пельцигу и застал у него моложавого интендантского лейтенанта Франца Занне, на складе которого, как я понял, Пельциг и хранил свои личные ящики, помеченные буквой «Р». Занне понравился мне неза-

висимостью суждений и умением иронизировать над собой. Вряд ли он знал о содержимом ящиков, которые хранил. Пельциг мог наврать ему с три короба...

Мы мирно беседовали, когда зазвонил телефон.

Пельциг снял трубку.

— Штурмбаннфюрер Пельциг... Громче! — гаркнул он. — Я плохо вас слышу. Так... Хорошо... Сколько их? Я не собираюсь их допрашивать. Мой человек помог вам, а дальше — это обязанность СД... Что? Держите их где хотите. В каком-нибудь подвале Цитадели...

— Что произошло, Руди? — спросил я, когда Пельциг вернулся к столу.

— Какие-то поляки пытались ограбить склад, вывезти ящики.

— Мой склад? — равнодушно спросил Занне.

— У вас мания величия, Франц, — осклабился Пельциг, — кроме аспирина и презервативов у рейха есть более ценное имущество. Они проникли в склад, но их там уже ждали. Если бы не мой человек, который вывел полицию на это дело, у поляков все прошло бы гладко. Мне бы тогда несдобровать, — передернул он зябко плечами...

Вскоре Зайне ушел, и мы остались вдвоем.

— У меня есть для вас приятные новости, Руди, — сказал я, наполняя рюмки.

— С удовольствием узнаю.

— Нет, сперва я задам вам несколько вопросов, — я отставил бутылку.

— Согласен, — миролюбиво сказал Пельциг.

— Что было в ящиках, которые хотели похитить поляки? — спросил я.

Он быстро глянул на меня. Затем опустил глаза. Взял в руки свою и мою рюмки и, медленно сближая и отстраняя их, сказал:

— По приказу фюрера должны быть уничтожены города, кварталы, здания — в общем, то, что мы называем символами польского духа. Не просто архитектурными памятниками, а историей страны, ее прошлым, ее сутью. Но, глядя на руины и пепелища, человек всегда надеется возродить свой очаг, свое прошлое. У поляков не должно быть даже надежды на это. Никаких иллюзий. Есть приказ обшарить все архивы, библиотеки, музеи, изъять оттуда старинные гравюры городов, рисунки зданий, эскизные фрагменты фриз, капителей, карниз, колонн, пилястр, валют. Должно быть изъято и уничтожено все, что может хоть как-то

помочь восстановить прежний облик старинных городов... Вот чем я занимаюсь последнее время, мотаясь по выделенным мне городам и городишкам.

— Много вы успели? — тихо спросил я.

— Успел, — ухмыльнулся он.

— Почему вы решили, что поляки хотели похитить ящики именно с этими бумагами? Может, они надеялись, что там оружие? — Забрав из его руки свою рюмку, я залпом ее выпил: уж очень меня ошеломила сообщенная им новость.

— Ерунда! — махнул он рукой. — Задержанные — два архитектора, искусствовед и художник. Кроме того, я имел информацию от своего человека, который никогда не ошибается.

— Он и предал их? — спросил я, прикидывая, что, скорее всего, в ящиках, которые мы с Зиги упрятали в тайнике, были вовсе не картины, а эти бумаги.

— Назовем это так. Но хватит, Уве. Я сказал вам больше, чем следовало, — словно предостерегая меня, он поднял ладонь.

— Вы не всегда были так щепетильны в служебных делах, — намекнул я.

— Не надо ссориться, Уве, — он попытался улыбнуться.

— Я задам вам еще два вопроса: где хранятся ящики, за которыми охотились поляки? — продолжал я.

— В блоке «А», в седьмом подвале.

— Скажите, человек, выдавший поляков, не имел отношение к аресту русского радиста? — рискнул я.

— О! Никогда бы не подумал, что вас и это может интересовать. — Пельциг встал.

— Я не уверен, что вы не поручили ему следить за мной.

— Разве вам есть чего бояться, Уве? — полушутя спросил Пельциг.

— У каждого свои тайны. У вас тоже. Не так ли?

— Да, это он. Но уверяю, за вами...

— Теперь выслушайте обещанную приятную новость: Беклиц арестован, находится под следствием, — перебил я его. — Если вас вызовут как свидетеля, твердите одно: Беклиц приказывал вам давать ему картины и фарфор. Вы поняли? А я подтверждаю это и дам о вас самый лестный отзыв. Беклиц конченный человек.

— А как с той бумагой... обо мне? — осторожно спросил Пельциг.

— Я сделал так, чтобы пока ей не давали хода, — успокоил я его.

— Как долго будет длиться это «пока»? Это все время будет зависеть...

— От меня. И, разумеется, от вас, Руди,— безо всяких предупредил я его.

— Хорошо...

На встречу с Киккульски я шел, взволнованный всем, что узнал от Пельцига.

— Вы думаете, он вам все выложил? Как бы не так! — ухмыльнулся Киккульски.— Видать, хитрая сволочь,— сильными большими пальцами он переломил сосновую щепку.

— Кто эти четверо, что пытались похитить ящики? — спросил я.

— Мы уже об этом слышали. С нами они не были связаны. Никто им этого не поручал.. Вот ведь...— На балке под крышей сарая зашуршал крыльями голубь. Киккульски поднял голову, вытянув плохо выбритую мускулистую шею.— Жаль их, черт возьми. Очень жаль...— Он долго смотрел вверх, о чем-то думая.

— Помочь бы.

— Как? — пожал он широкими костистыми плечами.

Я и сам понимал, что помочь невозможно: охранники из СД никого близко не подпускали к тому крылу Цитадели, где в одном из подвалов сидели под замком арестованные, которых завтра должны расстрелять.

— Что поделаешь, война,— вздохнул Киккульски.— Теперь вот что,— он прикурил от сигареты.— Мы связались с нашими краковскими товарищами. Вам выделено шесть крепких парней. Все знают по-немецки. Одеты будут в военную форму. У каждого солдатская книжка. Вопрос, как доставить их в Цитадель. Что, если с этим вашим шофером-немцем? Пусть подхватит их где-нибудь на выезде из Кракова.

— Это можно,— согласился я, понимая, что вдвоем с Зиги нам сложно будет управиться: ведь предстоит перебросить в карьер несколько десятков тяжелых ящиков с картинами и документами.— Такой вариант подходит. В Цитадели сейчас суeta. Народу вертится много. На них никто не обратит внимания. А я их встречу у ворот.

— Значит, договорились.

— Скажите, Людвиг, кто кроме вас знает обо мне? — спросил я.

— Вы чего-то испугались?

— А разве вы ничего не боитесь?

— Наверное, боюсь,— засмеялся он.— Ну, а что вас волнует?

— Осведомитель Пельцига.

— Что ж, это причина... Не знаю, насколько вас успокоит, но, кроме меня, вас никто не знает... Я в том смысле, что для остальных у нас существует просто некий Йорк...

— Ну, пусть существует,— улыбнулся я.

Мы помолчали. Кикульски встал, прошелся по сараю, подошел к двери и, ссутулившись, глянул в щель, затем вернулся на место.

— Вот что еще,— уставился он мне в лицо.— Я, наверное, скоро с вами расстанусь.

— Надолго?

— Это уж как судьба закажет. Мне с радистом приказано передвинуться в глубь рейха, в направлении Берлина.

Я был ошеломлен. Он это понял.

— Все, что посчитаете нужным, передайте через вашего немца-шофера. Он в Кракове имеет контакты с нашими товарищами... Вам ведь тоже здесь долго сидеть не придется: немцы вот-вот побегут отсюда, фронт рухнул. Если вы окажетесь в Берлине и если я туда доберусь, вот вам памятка, где и как мы там можем встретиться,— он подал мне полоску бумаги.— Прочитали? А теперь порвите...

Мы попрощались, и, как обычно, Кикульски первым вышел из сарая.

Накануне рождества Пельцига срочно вызвали в Краков. В Цитадели кипела работа, склады постепенно пустели. Я догадывался, что Пельциг отправился в столицу генерал-губернаторства получать очередные экстренные инструкции в связи с угрожающим положением на фронтах.

К вечеру, когда в Цитадели народу поубавилось, я решил спуститься в седьмой подвал блока «А». Как один из хозяев Цитадели, я мог это позволить себе. И все же в подвал я юркнул незаметно, когда совсем стемнело. Я шел по длинному сырому коридору, посвечивая себе фонарем и прижимая спрятанный под пальто ломик. Тяжелые низкие своды, пористые стены и стертые плиты источали промозглый устоявшийся дух подземелья. Здесь было холодней, чем на открытом булыжном дворе, где ветер ворошил сухой снежок. В одном из отсеков такого же подвала, только затопленного водой, трое суток продержали тех поляков — отчаянных, совсем молодых.

Тяжело отошла массивная, из толстых брусьев дверь.

Я осветил каземат, заставленный ящиками. Аккуратно подняв ломиком планки на гвоздях, в одном из них я обнаружил картонные и бумажные листы с рисунками и рабочими эскизами зданий, рисованными фрагментами лепки фасадов, порталов, балконных консолей. XIV, XV, XVI, XVII века. В ящике этом не было бесценных полотен великих художников, а всего лишь рабочие рисунки и эскизы архитектурных деталей... Всего лишь?..

Я вскрыл еще несколько ящиков — то же самое. И только в одном лежали освобожденные от рам полотна картин, и среди них — портрет папы Сикста IV. Но я не знал, что это уже фальшивка, которую Пельциг собирался отправить в казну рейха. Подлинник он хранил на складе у Занне...

Приведя ящики в прежний вид, я покинул подвал...

Как-то в конце недели в кабинет ко мне вошла Ютта.

— К вам господин из рейха, — доложила она, стоя у открытой двери.

— Пригласите, — сказал я.

Вошел круглолицый мужчина в новеньком синем двубортном костюме. Притворив за Юттой дверь, он поклонился и, прежде чем сесть, представился:

— Фербер, следователь полиции безопасности.

— Прошу вас, — указал я на кресло и, глядя на Фербера, подумал, что грузному человеку не следует носить двубортные костюмы. Странно, что я подумал об этом, а не о том, почему этот Фербер здесь. Неужели это тоже — защитная реакция нервной системы?! — Я вас слушаю.

Фербер несколько минут учтиво молчал. А может, это была не учтивость, а желание понять по моему лицу истинное мое состояние в этот момент. Он-то знал, что не всегда люди умеют все прятать за спокойными словами «я вас слушаю».

Я тоже ожидал, не торопил следователя, смотрел в его серые скучные глаза, но и у меня, наверное, глаза не были веселыми.

— Господин Цорн, я к вам по делу Беклица, — изрек Фербер.

Ах, вот что!

— Мы знаем ваши заслуги перед Германией, господин Цорн, и благодарны за внимание к ее интересам. Я имею в виду вашу записку о случаях хищения офицерами СС ценного имущества. Вы сможете подтвердить свои показания на очной ставке?

— Если это не будет расходиться с более высокими интересами Германии,— произнес я спокойно.

— Что вы имеете в виду? — он поднял брови.

— Мои контакты с партийной канцелярией,— ответил я.

— Понимаю. Какие у вас были отношения с Беклицем?

— Самые мирные. Я знал его еще по Стокгольму и всегда считал честным человеком,— сказал, поднимаясь. Я решил ходить вдоль стола, чтоб не давать ему возможности сосредоточиться.

— Он утверждает, что все найденное у него во время обыска — подарки, которые делал ему Пельциг. Но он не знал, что это — казенное,— произнес Фербер.

— Исключено,— возразил я.— Пельциг надежный офицер. Я работаю с ним давно. Иначе я не стал бы терпеть его рядом. Я — коммерсант, господин Фербер.

— Вы не будете возражать, если я побеседую с Пельцигом? — спросил он.

— Конечно, нет,— вскинул я плечами.— Пельциг в отъезде. Он в Кракове.

— Жаль... Беклица, очевидно, расстреляют,— после паузы сказал Фербер и поднял на меня глаза.

— Разве нет возможности обойтись с ним менее сурово? — сожалеюще произнес я.

— Законы военного времени... А ведь любопытно,— оживился Фербер,— вот вы высказали сожаление о судьбе Беклица, а мы нашли у него дома досье на вас.

— Вот как? — остановился я перед ним.

— Представьте. Там, например, упоминается дело бывшего сотрудника министерства вооружения Отто Риттера, капитана первого ранга Рейша. Есть заметки и более позднего времени: списки, служебные адреса и телефоны губернаторов, найденные у убитого польского партизана. Незадолго до ареста Беклица была накрыта партизанская явочная квартира под Краковом. Там захватили бумаги, в которых подробно упоминается «Операция Линц», «План новой Варшавы» генерал-губернатора Франка, предупреждение, что на Пельцига работает какой-то провокатор-поляк, и кое-что другое... Все это Беклиц выделил в отдельное досье, озаглавив его вашим именем. Как бы вы могли это объяснить?

Да, это требовало объяснения. Но над ним нельзя долго думать. И я сказал:

— С точки зрения логики Беклиц абсолютно прав. Среди десятков прочих и я вполне возможная фигура для подозрений: я знал Риттера, помогал ему и Рейшу размещать заказы,

я располагаю адресами губернаторов, которые мне официально вручил господин Нойберт, и в какой-то мере осведомлен об «Операции Линц». Я ведь тоже занимаюсь картинами... И так далее...

— Но почему среди «десятка прочих», как вы выразились, Беклиц остановился именно на вас, собрал в одной папке внешне разрозненные данные? — продолжал Фербер.

— Господин Фербер, вы приехали по делу Беклица или?.. — сухо спросил я, понимая, что надо самому начать задавать вопросы.

— Только по делу Беклица! — вскинул руки Фербер. — Но это же любопытно, согласитесь, господин Цорн!

— Скажите, — не унимался я, — имел ли право Беклиц, офицер СД, хранить дома папку с подобными документами? Не означает ли это, что он скрыл от начальства свои подозрения в отношении меня?

— Похоже. Он не имел права хранить дома досье... Этого я не могу понять, — выпятил он губы.

— Не кажется ли вам, что он собирался меня шантажировать? — внушал я Ферберу.

— С какой целью? — склонил он голову набок.

— Картины, ценности, — стучал я пальцем по столу. — Сейчас он клеветает на Пельцига, якобы тот делал ему подарки. Интересно, что он заявит, когда вы спросите его об этом досье?!

— Но вы говорили о самых мирных отношениях между вами?

— Об их искренности я могу говорить, имея в виду лишь одну сторону — себя. — Я сел снова за стол.

— Благодарю вас, господин Цорн. Вы меня убедили, — улыбнулся Фербер, вставая.

Прощаясь и провожая его к двери, я все же всем нутром ощущал, что Фербер далеко не убежден, что это досье интересует его меньше, чем дело Беклица.

Фронт был уже близок. Через Складзень — по железной дороге и шоссе — в сторону Гданьска шли отступавшие войска. Началась эвакуация Езерно. Все чаще отряды АЛ наносили удары по тыловым частям и штабным узлам немцев.

Готовился к отъезду и Пельциг. В Кракове он получил приказ отбыть в Дрезден, принять под командование эйнзацгруппу и автоколонну.

— Вы понимаете, в чем дело? — спросил он меня, когда мы стояли во дворе Цитадели.

— Не очень, — признался я.

Пельциг приблизил ко мне рябое лицо и прошептал:

— Имущество и документы, связанные с «Операцией Линц», должны быть перевезены из Дрездена в более надежное место.

— Куда же? — спросил я.

— Об этом мне скажут в Берлине.

— Кто останется здесь вместо вас? — поинтересовался я.

— Штурмфюрер Брюль. Он молод и неопытен, вы помогите ему довести дело до конца... Прежде всего — то, что осталось в седьмом подвале блока «А». — Пельциг посмотрел на меня, суетливо ловя взглядом мои глаза. — Уве, — он притронулся к моей руке, — почему вы скрыли от меня, что приезжал следователь?.. Мне сказала Ютта. Это относительно меня?.. Там не все в порядке? Я ведь сперва еду в Берлин... Я очень дорожу новым назначением. Все-таки Дрезден — это не Польша... Если с моим делом не все в порядке, мне надо что-то предпринять, а не ехать в Дрезден... Зачем приезжал следователь, Уве?

Я понял: если сейчас не спрошу Пельцига о том, о чем, боясь поторопиться, долго молчал, ожидая верного случая, то другого случая может уже не быть.

— Он приезжал по делу Беклица, — сказал я.

— Мною интересовался? — вкрадчиво спросил он.

— Разумеется, Руди, — затряс я головой.

— Значит, плохо?.. Вы же обещали...

— Руди, если вы ответите мне на один вопрос, можете спокойно отправляться в Берлин, — решился я.

— Вы все время держите меня на веревке страха, то натягивая ее, то ослабляя! Где гарантия, что вы наконец выпустите ее из рук?

— Я не выпущу ее никогда, Пельциг, — жестко сказал я, держась за пряжку его ремня. — Это в ваших же интересах: если освободить вас от узды, вам захочется напасть на меня. И уж тогда-то я вас не пожалею! Так что выбирайте. Если вы будете благоразумны, я сегодня же при вас позвоню Нойберту, и вы поймете, что там о Пельциге самого хорошего мнения. Это значит, что я выполняю свое обещание...

— Хорошо, задавайте свой вопрос, будь он проклят!

Я осознавал риск, на который шел. Если следователь Фербер, допрашивая Пельцига по делу Беклица, попутно

поинтересуется мною, Пельциг по глупости или из страха выложит, чем в разное время я интересовался. А уж досье, заведенное Беклицем, Фербер изучил... И все же я спросил:

— Имя вашего поляка-осведомителя, Руди?

— Но это невозможно!.. И зачем оно вам? — Пельциг ошеломленно всматривался в мое лицо.

— Вы уезжаете. А мне нужен надежный человек, — сожалеюще сказал я.

Пельциг молчал, раздумывая.

— Ладно, — вздохнув, произнес он. — Это бывший фотолаборант Поссе. — Пельциг снова умолк. — Его зовут Ежи Свидрак. Сейчас он работает в магазине радиотоваров «Мегон».

— Вы спокойно можете укладывать свои вещи, Руди, — сказал я, повеселев...

Рано утром, когда затуманенный рассвет вползал в узенькие улицы Езерно, а солнце, как раздавленный за тучами желток, расплылось над горизонтом, у выезда за город скопилась колонна автомашин. Где-то у моста была пробка. В этом плотном потоке торчал и грузовик, груженный ящиками, помеченными буквой «Р». В его кабине, подняв воротник шинели, сидел невыспавшийся Пельциг, навсегда покидавший Езерно...

С отступавшими войсками покинул Езерно и подрядчик Людвиг Киккульски — фольксдойче, испугавшийся приближения русских войск...

К вечеру я отправил оставшегося вместо Пельцига бестолкового, растерянного штурмфюрера Брюля в Складзень к начальнику станции добывать вагоны. Отупевший от свалившихся на него забот, совсем сопливый Брюль покорно кивал, выслушивая мои советы.

Став теперь полновластным хозяином Цитадели, я торопился использовать машину Зиги Ремера и грузчиков — шестерых польских подпольщиков, переодетых в немецкую форму: утром следующего дня все шоферы из Кракова должны были отбыть в свою часть, предстояла перемещение.

В седьмом подвале еще остались ящики — Пельциг пожертвовал ими ради своих, хранившихся на аптечном складе. Ящики из блока «А» эвакуировать должен был Брюль... Бумаги в них подлежали уничтожению...

Повесив карбидную лампу на железный крюк, Зиги пересчитал ящики.

— Мы сделаем хорошее дело, Зиги,— сказал я.

— Наверное,— пожал плечами Зиги.— Значит, расстаемся?

— Да. Ваш берлинский адрес у меня есть,— сказал я.— В Кракове будьте осторожны: у поляков в каком-то звене провал — информация, которую вы им передали, вернулась ко мне в беседе со следователем. Некий Фербер.

— Теперь уже не страшно,— подмигнул Зиги.

— Ну-ну, это вы бросьте,— погрозил я ему.— Я, очевидно, уеду в Берлин. Что будет дальше — трудно сказать. Поэтому сообщите полякам о тайнике в карьере. Передайте им также, что осведомителем у Пельцига в Езерно был Ежи Свидрак из магазина радиотоваров «Мегон». Советский радист и эти четверо расстрелянных — дело его рук... Брюлю я скажу, что рисковать побоялся — вдруг он не достанет вагоны! — и отправил эти ящики вашей машиной. Вы свезите их в карьер, хорошо там все прикройте напоследок и больше сюда не возвращайтесь. Езжайте прямо в Краков, в свою часть. Вы сами едете? — спросил я.

— В Яворчике я прихвачу лейтенанта Крумгольда. Он тоже в Краков.

— Ну, с богом,— сказал я.

Мы обменялись рукопожатием, и я вышел.

Из карьера Зиги выехал около полуночи. Он свернул на боковую дорогу, чтобы миновать Езерно. Крепчал мороз. В чистом черном небе дрожал яркий звездный свет, и большая белая луна в радужных кольцах спокойно плыла над тишиной высоко замеченных снегом полей. Зиги не спешил. Он вел машину по наезженным, затвердевшим к ночи снежным колеям, покуривая сигарету и гадая, куда переведут их часть: в Оппельн, Бреслау или Познань? Ровно работал мотор, но чуть постукивали пальцы...

Перед выездом из леса Зиги притормозил: из кузова выпрыгнули шесть человек и, помахав ему, скрылись в зарослях. В Яворчике в кабину к Зиги подсел близорукий лейтенант Крумгольд, больной, страдавший поносами резервист.

Далеко позади осталось Езерно, карьер с тайником. Дорога снова шла через лес. Он сжимал ее с двух сторон — темный, мягко опушенный снегом, беззвучно падавшим с ветвей от малейшего дуновения. Из сугробов черными прутьями торчали промерзшие до хруста кусты... Зиги ехал все дальше и дальше...

Рев самолета, вырвавшегося из-за кромки леса на бреющем полете, Зиги услышал внезапно, затем в лесу дважды ухнул бомбовый разрыв. «Наверное, там партизаны», — подумал Зиги в тот момент, когда «фокке-вульф» снова показался над дорогой. Краем глаза Зиги успел ухватить беззвучный всплеск короткого пламени и машинально затормозил. И в тот же миг что-то с треском хлестнуло в боковое стекло. Он даже успел вдохнуть хлынувший в кабину обжигающе-ледяной воздух. И drobный стук, ударив в бок, отшвырнул его к другой дверце. Зиги хотел нажать ручку, распахнуть дверцу. Но это ему казалось, что он нащупывает ручку. Пальцы лишь слабо трепетали, а слова, которые он хотел выкрикнуть, забулькали в горле и захлебнулись чем-то теплым и соленым.

Самолет улетел. Из лесу вышли двое.

— Постой здесь, Анна, — сказал парень, снимая автомат, — я пойду взгляну. — Он обогнул машину и распахнул дверцу. В кабине с поднятыми руками сидел обомлевший от ужаса Крумгольд. На его коленях лежал Зиги.

— Ну что, Збышек? — крикнула девушка.

— Иди сюда. В горячке они и по своим лупят. Ночью не разглядели... Тут еще один.

Они стояли перед открытой дверцей и смотрели на запрокинутое мертвое лицо Зиги. В глазах убитого застекленевше сиял лунный свет.

Они были очень молоды. Парню — лет двадцать, девушке и того меньше. Она дула на коченевшие пальцы.

Парень обшарил нагрудные карманы Зиги. Развернув солдатскую книжку, посветил фонариком: «Зигфрид Ремер... 1917 года рождения... рост 178... группа крови II...»

— Все это нужно отдать Рышару, — он сунул в карман документы убитого. — А этого прихватим с собой, — кивнул он на Крумгольда. — Пошли. К утру мне надо вернуться в город. — Не оглядываясь на черневшую на белой зимней дороге машину, они двинулись по лесной тропе...

До Кракова Зиги не доехал 280 километров...

Все это рассказала мне сестра Зиги Ремера в 1959 году, до этого я не мог ее найти, сразу после войны она переехала в Лейпциг. О гибели Зиги ей сообщил вернувшийся из плена Крумгольд.

Возвращаясь в Берлин, я не мог не учитывать возможного желания следователя Фербера встретиться со мной еще раз. Тем более если Фербер уже беседовал с Пельцигом, а Беклиц,

удовлетворяя на очередном допросе непраздное любопытство Фербера, подробно прокомментировал досье, заведенное им на меня. Но, кроме Берлина, ехать мне было некуда. К тому же я надеялся встретиться там с Кикульски.

Берлин был пустынен... На лицах людей лежала печать недоумения, обреченности и страха. Частые воздушные тревоги, бомбежки и пожары повергли некогда шумную столицу в состояние апатии. Уже не успевали, как прежде, быстро разбирать завалы, рухнувшие стены домов. Казалось, в городской воздух глубоко въелся горьковатый привкус дыма и копоти. На темных стенах белели высеченные осколками щербинки; висевшие тут же призывы и грозные предупреждения никого уже не успокаивали и не возбуждали...

Время, подгоняемое событиями, понеслось быстрее. С первых же встреч Нойберт настаивал, чтобы я пароходом вывез кое-какое особо ценное имущество партийной канцелярии, которое уже упаковано в ящики и может быть погружено в Киле как имущество шведского коммерсанта Цорна. Речь шла об очень дорогих картинах. Для спасения этих картин такой вариант меня тоже устраивал: до окончания войны я мог спрятать их у себя, в Стокгольме, а затем через прессу найти их истинных хозяев. Но я ждал встречи с Кикульски. Несколько раз в точное время приходил я в условленное место. Однако он не появлялся. И однажды я понял, что Кикульски не придет. Можно было предположить все, что угодно: его накрыла служба радиоперехвата, его мог еще по дороге в Берлин застрелить какой-нибудь пьяный фельджандарм, как переодетшегося в штатское дезертира; наконец, он просто мог погибнуть под обломками берлинских стен, сидя в бомбоубежище во время воздушного налета... Все, что угодно. Но это уже не имело значения...

В старом «почтовом ящике» я нашел важную весточку от Зофи. Я был рад, что она пережила февральскую трагедию Дрездена. Весточкой от Зофи Кирхбаум была копия, снятая ею с письма референта по вопросам «Операции Линц» доктора Готфрида Реймера начальнику саксонской государственной канцелярии в Дрездене:

«Относительно перемещения бюро по осуществлению «Операции Линц» из Дрездена в Альт Аусзее (Верхняя Австрия).

Позволю себе сообщить для Вашего сведения, что по указанию господина рейхслейтера Бормана все находящееся в Дрездене и в хранилище замка Веезенштейн имущество, связанное с «Операцией Линц», а также все документы и приложения были перевезены автоколонной, которую

сопровождал лично я, в Альт Аусзее (Верхняя Австрия) и размещены в абсолютно надежном бомбоубежище...

Пользуюсь случаем, чтобы искренне поблагодарить Вас, глубокоуважаемый господин министеряль-директор, за помощь и поддержку, оказанную «Операции Линц» государственными органами Саксонии».

Письмо было датировано 27 марта 1945 года.

Теперь я знал, куда и зачем отправился Пельциг. Но передать эти важные сведения я не мог: связи ни с кем у меня уже не было...

— Времени очень мало, Уве,— сопел в телефонную трубку Нойберт.— Союзники вот-вот... Да и русские рядом.

— Хорошо, Бруно. Грузите. Я выезжаю в Киль,— согласился я.

Но до Киля я не добрался: был задержан американским патрулем.

В начале августа 1945 года в числе лиц, которые должны были быть переданы союзниками представителям польских властей по их списку, числился и я. Отвез меня в Берлин на «виллисе» офицер отдела памятников культуры, искусства и архивов штаба 3-й американской армии...

ЕЩЕ ОДНО ПИСЬМО ЯНА

«...Привет! Пишу, чтобы уточнить некоторые моменты. Я только что вернулся из Дрездена. Так вот: Пельциг соврал Цорну, сказав, что осведомитель — поляк-фотолаборант Ежи Свидрак, работавший у Поссе в Дрездене. Мы проверили: Свидрак безвыездно жил в Езерно с 1936 года и действительно работал в «Мегоне». В Дрездене я разыскал фрау Зофи Кирхбаум. Она уже на пенсии. Я показал ей две фотографии — Свидрака и пана Михала Щепаньского — и спросил, кого из них она знает. Без долгих раздумий фрау Кирхбаум ткнула пальцем на пана Михала: «Мне знаком этот человек. Это фотолаборант Поссе герр Михаэль Щепаньский. Поляк. Он уехал в Польшу вместе с Пельцигом, кажется, в 1940 году». Ясно?! Почему же все-таки Свидрак бежал из Польши? В разговоре со мной и на допросе у Фисняка пан Михал говорил, по-моему, почти правду, с той лишь разницей, что поменял себя и Свидрака местами, дабы сохранить сочиненную им и Пельцигом версию, что

предатель — Свидрак. Так было удобней им тогда. Тем более пану Михалу это было необходимо сейчас. Он, очевидно, запугал тогда Свидрака: по городу, мол, ходят слухи, что ты, дружище, якшаешься с немцами в черном, видели, как ты выезжал из Цитадели с ящиками, болтают, что тех четверых выдал ты, ведь архитектор Косинский обращался к тебе за машиной; лучше, мол, беги из этих мест, пока не пришли русские или наши. Пельциг, конечно, мог избавиться от Свидрака с помощью гестапо. Но пану Михалу и Пельцигу было выгодней, чтобы Свидрак именно бежал, как бы боясь возмездия, а не стал героем-мучеником. Тот и дал деру, оставив свои грехи в молве людской.

Со временем Свидрак очухался и, живя в Англии, понял, какую шутку с ним сыграли. Занимаясь картинами, познакомившись с материалами процессов 1948 года, он сообразил, кто и зачем порекомендовал ему смыться. И невинному захотелось явить миру истину. Для этого надо было разыскать Занне, Пельцига, какие-то факты, а может, и документы и, наконец, пана Михала. Усилий, времени и денег он не пожалел. И принял решение вернуться на родину, располагая возможностью доказать, что предатель — пан Михал. Конечно, Свидрак сглупил роковым для себя образом, когда приехал и сразу же помчался в Езерно. Но его можно понять: уж очень хотелось ему видеть перепуганное лицо Щепаньского, насладиться именно в день его рождения его страхом, хоть в течение часа ощутить радость отмщения за все эти годы. Затем он, наверное, собирался выложить все официальным властям: надо полагать, он навестил и Пельцига, ведь не зря спросил у Занне его адрес. Но увы!..

Конечно, хотелось бы знать, как и почему Щепаньский стал осведомителем СД. Не думаю, что тут шантаж или деньги. Скорее — психологический излом, ненависть неудачника. Он ведь мечтал стать большим художником. Искусство знал блистательно, а своего создать ничего не мог. Геростратова неудовлетворенность. Впрочем, это — мои личные рассуждения...

Будь здоров!

Привет от Сабины.

Твой Я н».

ОТ АВТОРА

В 1970 году газета «Трибуна люду» в номере от 4 февраля в небольшой заметке сообщила, что некоторые рисунки Дюрера, в том числе известный (львовский) автопортрет, объявились в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Сообщила газета также, что и корреспондент французского еженедельника «Пари-матч» упоминает об этом.

Да, сложный путь проделали из кабинета искусств Львовской библиотеки Академии наук УССР рисунки великого Дюрера: львовский искусствовед Мечислав Гембарович принужден был отдать их примчавшемуся за ними доктору Каю Мюльману. Опровергнуть это невозможно: до ухода на пенсию Гембарович работал во Львовском музее этнографии и художественного промысла. Кай Мюльман вручил их Герингу (это Мюльман подтвердил под присягой на Нюрнбергском процессе). Естественно было бы, чтобы эти рисунки проделали наконец обратный путь, не такой трагический и сложный, и очутились там, где судьбой и правом им положено быть.

Мюльман и его сотоварищи хорошо пограбили во Львове: здесь по сей день в картинной галерее хранятся расписки, неосмотрительно забытые и оставленные ими взамен украденных произведений Рембрандта, Франческо Гварди, Гальса Дирка и других великих мастеров. Кое-кто из этих любителей искусства еще, наверное, жив. Сообщаю на всякий случай их фамилии: референты Гасселих, Регге, бывший бригаденфюрер СС Кацман, Путгофф, Гольц, Мозер...

Еще раз обо всем этом мы вспоминали с Яном Юркевичем в июне 1971 года, когда он гостил во Львове. Мы стояли в зале Львовской картинной галереи, где экспонировалась большая выставка — 142 гравюры — Дюрера в честь 500-летия со дня рождения художника. Выставка была составлена из фондов отдела графики Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

— Боже, я ведь вижу это впервые! — восторгался Ян.

— Сюда бы еще те, украденные двадцать четыре листа. Представляешь! — сказал я. — Интересно, если бы Дюрер воскрес, смог бы он изобразить Мюльмана, Пельцига, Нойберта?.. И как?

— Тут нужен был бы Гойя, — покачал головой Ян. — Еще одну серию «Каприччос».

Спорить я не стал...

Львов — Варшава — Берлин,
1969—1972

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗ НАРКОЗА	3
ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ . . .	241

Григорий Соломонович Глазов

БЕЗ НАРКОЗА
ВЫНУЖДЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ

М., «Советский писатель», 1985, 496 стр.
План выпуска 1985 г. № 38

Редактор *М. В. Иванова*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Н. Н. Талько*
Корректор *С. Б. Блауштейн*

ИБ № 4916

Сдано в набор 13.11.84. Подписано к печати 04.07.85. А 06475.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 28,87
Тираж 100 000 экз. Заказ № 715. Цена 2 руб.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула; проспект Ленина, 109

2 p.

